VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ СЛАВИСТОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

доктор филологических наук
С. Б. БЕРНШТЕЙН,

академик
В. И. БОРКОВСКИЙ,

доктор филологических наук
Н. И. ТОЛСТОЙ,

член-корреспондент АН СССР
О. Н. ТРУБАЧЕВ

Рукопись подготовила к печати
кандидат филологических наук
Т. В. ПОПОВА

С $\frac{0711\text{-}0202}{042(02)\text{-}73}$ БЗ-79-12-72

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ
Варшава, август 1973 г.

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1973

Р. И. АВАНЕСОВ

К ВОПРОСАМ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

0. 0. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

0.1. По вопросам периодизации истории русского языка писалось немало. Однако не все вопросы, даже из числа важнейших, были рассмотрены. Без претензий на полноту, в настоящем докладе автор излагает некоторые соображения относительно периодизации истории русского языка, обходясь без рассмотрения «истории вопроса», полемики с одними авторами или присоединения к взглядам других. Цель доклада — дать лишь повод к дискуссии, которая могла бы содействовать разрешению ряда еще не исследованных вопросов. Ниже конспективно излагаются некоторые из узловых вопросов рассматриваемой проблемы.

1. 0. ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧАЮЩИЕ ИСТОРИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

1.1. Первый вопрос — это вопрос о том, следует ли нерасчлененно изучать историю русского языка во всех его функционально-стилистических, книжно-письменных, народно-разговорных, диалектных, иначе местных разновидностях, или на первом этапе следует раздельно изучать историю народно-разговорного (в основе диалектного) языка и историю книжно-письменного (позднее литературного) языка. Нам кажется целесообразной вторая точка зрения. Необходимо создать историю русского диалектного языка и историю русского книжно-письменного (позднее литературного) языка.

История диалектного языка (иначе — историческая диалектология) строится на основе сравнительно-исторического изучения диалектных данных, а из письменных памятников извлекает лишь тот количественно доминирующий слой, который является общим для древнерусского народного языка и языка церковнославянского и генетически восходит к праславянскому фонду, а также то, что характеризует диалектные черты языка восточных славян. История книжно-письменного (позднее литературного) языка строится на основе изучения языка письменных памятников в его жанрово-стилистической дифференциации, относящегося к разному

времени и территории как целостной исторически изменчивой структуры в ее отношении к устной речи.

Одновременно должна существовать обобщающая, синтетическая история языка, охватывающая в равной мере как данные диалектные, так и данные книжно-письменного и литературного языков во всей сложности их функциональной, жанрово-стилистической и социальной дифференциации.

2.0. ДРЕВНЕБОЛГАРСКОЕ — (ДРЕВНЕ)ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЕ НАЧАЛО В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

2.1. Второй вопрос — это крайне существенный вопрос об отношении древнецерковнославянского языка и церковнославянского языка «русского извода» к народному диалектному языку восточных славян. Древнецерковнославянский язык может рассматриваться с двух точек зрения: с точки зрения историко-этнической — того этнического субстрата, на почве которого он появился, и с точки зрения функциональной. Между тем эти две принципиально различные точки зрения у нас часто не различаются, что приводит к беспримерной путанице понятий. С первой точки зрения, древнецерковнославянский язык — это древнеболгарский язык, может быть, один из диалектов; он не был единым, включал в себя южнославянские элементы разных территорий, а также западнославянизмы. С этой, первой, точки зрения, он может рассматриваться как нечто внешнее («чуждое») по отношению к древнерусскому языку, как восточнославянскому. Со второй точки зрения, он в равной степени принадлежит всем южным и восточным славянам (а в раннюю эпоху также и части западных славян) и не может считаться чем-то внешним или чужим по отношению к языку древних восточных славян. Отличия между церковнославянским языком «русского» извода и народным языком восточных славян в принципе были таковы же, как и отличия между церковнославянским языком болгарского или сербского изводов и народными языками болгар и сербов. В том и другом случае отличия эти определялись функцией церковнославянского языка как языка прежде всего богослужения, а также языка высокой церковно-религиозной литературы, культуры, науки (в той мере, в какой она могла существовать в условиях средневековья). Отсюда большое количество грецизмов — непосредственно перешедших в церковнославянский язык или калькированных, сложные синтаксические конструкции, в том числе и калькированные, отсюда высоко развитое словообразование (обычно на общеславянской основе) для передачи сложных и отвлеченных понятий и т. д. Эти отличия в равной мере характеризовали церковнославянский язык соответствующего извода как по отношению к народному древнерусскому языку, так и по отношению к болгарскому или сербскому народным языкам. Если элиминироваться от этих отличий как

обусловленных жанрово-стилистическим фактором, необходимостью передачи огромного количества религиозных (связанных с христианством) абстрактных, философских, культурных понятий, новых для всех славян, то окажется, что «русский» церковнославянский язык древнейшей поры и древнерусский диалектный язык обладают общей фонетической и фонологической системой (с элементами книжного буквенного чтения и древнерусских диалектных черт в церковнославянском). В значительной мере общими для русского церковнославянского языка и древнерусского народного языка были и основной словарный состав, и инвентарь словообразовательных морфем, и морфологическая система (флексия), и костяк синтаксической структуры, включающий в себя не только уровень словосочетаний, но также в немалой степени и уровень предложения, в том числе и многие сложноподчиненные конструкции.

Значительная общность в области фонетической и фонологической систем и в области флексии, а также основного словарного фонда, решающих уровней для идентификации языков, дает возможность говорить о едином древнерусском языке со сложной жанрово-стилистической и диалектной дифференциацией. И действительно, древнерусский язык нам известен в нескольких своих типах: книжном церковнославянском, деловом, народно-диалектном (в последнем случае надо различать и фольклорный). И все эти типы с точки зрения функциональной (не историко-этнической!) в равной мере были свои.

2.2. Древнецерковнославянский язык в решающих элементах своей народной основы, праславянской по происхождению — фонологической системе, флексии, словообразовании, в основном словарном составе, в основе синтаксического строя был близок языку всех славянских народов IX—X веков. Именно поэтому, обогащенный во всех уровнях своей структуры книжными элементами, связанными в первую очередь с переводами с греческого богослужебных и других книг «высокой» литературы, он так блестяще выполнял роль «культурного», книжнописьменного, литературного языка для всех южнославянских и восточнославянских народов, а также для части западных славян.

Здесь уместно отметить, что древнецерковнославянский язык и в своих книжных элементах не был един: он имел много лексических вариантов, по-разному переведенных греческих слов. В различной этническо-языковой славянской среде вместе с местным народным языком он постепенно по-разному развивался.

2.3. Нельзя принять широко распространенное мнение о том, что древнерусский книжно-письменный церковнославянский язык представляет собой нечто «искусственное», противопоставляемое «естественному», «живому» языку народа. Этот взгляд имеет глубокую традицию, но от этого не становится более правильным. Как можно считать древнерусский книжно-письменный церковно-

славянский язык искусственным, когда на нем писали оригинальные произведения, делали переводы с греческого и других языков, когда значительное развитие получило словообразование на общеславянской основе, причем некоторые словообразовательные модели и огромное количество конкретных образований отсутствовали в церковнославянском языке у болгар и сербов? Надо полагать, что древнерусский книжно-письменный церковнославянский язык и древнерусский народный язык в определенные эпохи были живыми формами языка в том смысле, что они находились в активном употреблении и развитии и, что особенно важно, ввиду близости основ их структуры, развивались в тесной и двусторонней связи между собой. Эта ситуация существенным образом отличается от ситуации с латинским языком у поляков, чехов, немцев, где книжно-письменный (латинский) язык в определенных жанрах и в определенные эпохи, был действительно чуждым народному языку как с историко-этнической, так и с функциональной точек зрения.

Взгляд на книжно-письменный (позднее литературный) язык как на язык «искусственный» в отличие от «живого», «естественного» народного языка восходит к натуралистическому взгляду на язык, свойственному младограмматикам, изучавшим в сравнительно-историческом освещении именно «естественные» языки, а из письменных памятников извлекавшим те элементы, которые характеризуют «естественные» языки, пренебрегая изучением нормированных, книжно-письменных форм языков как целостных структур именно в виду их «искусственности».

Древнерусский книжно-письменный церковнославянский язык и древнерусский народный, диалектный язык — это разные формы языка одного общества, нормированная форма, призванная служить орудием культа, культуры, высокой литературы, и ненормированная форма, диалектная, служащая в первую очередь для целей обиходно-бытового общения. Можно предположить уже для древнейшей эпохи также существование некоей наддиалектной койне. Эти формы древнерусского языка находились между собой в сложных взаимоотношениях, неодинаковых в разные эпохи. Но все они, как уже было отмечено, очень близки между собой по основным элементам своего строя. Отличия между ними, порою весьма существенные, определяются прежде всего различиями их функций.

2.4. Роль древнерусского книжно-письменного церковнославянского языка в истории русского, в особенности литературного языка несомненно была чрезвычайно велика, хотя и неодинакова в разные исторические периоды. Она объясняется тем, что русский литературный язык — единственный из славянских литературных языков, пронесший традиции церковнославянского языка с древнейших пор до наших дней. В этом смысле — культурно-историческом — он является преемником древнецерковнославянского языка. Однако эта роль была качественно различна в разные эпохи.

Она была волнообразна: затухала в древнейшие эпохи ввиду значительной общности народной основы книжно-письменного и народно-диалектного языка и, напротив, вспыхивала с новой силой (с конца XIV—начала XV в.) в эпоху так наз. 2-го южнославянского влияния, в связи с значительным расхождением болгарского и сербохорватского языков этого времени с русским (великорусским) народно-диалектным языком. А ведь именно к этому времени относится значительное количество южнославянизмов в современном русском литературном языке.

Мы уже говорили, что взаимодействие между древнерусским книжно-письменным и народным языками было двусторонним. Теперь добавим, что если о влиянии церковнославянского языка на русский литературный язык писалось очень много, то его влияние на народный диалектный язык — а эта проблема не менее важна — еще почти не изучено.

Специфика роли церковнославянского языка в истории русского литературного языка такова, что равно неприемлемо как утверждение о том, что русский литературный язык — это русифицированный церковнославянский язык (т. е. утверждение о «древнеболгарской» его основе), так и утверждение о том, что русский литературный язык — это церковнославянизированный русский язык (т. е. утверждение о народной его основе). В силу отмеченной выше близости основ строя «русского» церковнославянского языка и народного языка восточных славян, а также функциональных различий в употреблении того и другого, можно утверждать, что древнерусские книжные люди одновременно были носителями также одной из народных разновидностей языка. И если церковнославянский и народный типы языка были довольно четко, хотя и не абсолютно, разграничены, например, при чтении богослужебных книг, с одной стороны, и обиходнобытовой речи в семье, с другой, то они не были разграничены даже в высокой неканонической литературе, в особенности в оригинальных произведениях, где взаимно проникали — сосуществовали элементы того и другого (на всех уровнях системы языка). Поэтому здесь неуместно говорить об основе и наслоениях. Здесь скорее должна идти речь о своеобразной амальгаме, органическом сплаве, разные элементы которого с функциональной точки зрения одинаково исконны для древнерусского языка в его разных книжно-письменных и разговорно-народных разновидностях, имея в виду, что и сплав этот не был однороден в разные периоды истории языка.

2.5. Древние русские книжные люди, как уже говорилось, были носителями двух систем — книжно-письменной и народно-диалектной. Эти две системы, если угодно, представляли одну сложную систему, которая была едина в одних преобладающих своих звеньях и отличалась в других. Отличия эти были неодинаковы по отношению к разным уровням системы языка — они были совсем незначительны в фонологической системе, невелики в области флексии и более значительны в области лексики, словообра-

зования, синтаксиса, что обусловлено функционально стилистической спецификой книжно-письменного языка. Именно этим объясняется давно замеченный факт, что для истории народного языка и исторической диалектологии богослужебные книги и другие книги высокой церковно-религиозной литературы — во всяком случае в области фонетики — дают не меньший, если не больший материал, чем, например, грамоты и юридические документы. Например, они отражают положение с ‹ъ› и ‹ь›, свойственное древнерусскому языку, а не древнецерковнославянскому языку, отражают неодинаковую по диалектам историю фонемы ‹ě›, наличие двух или одной аффрикаты (цоканье), южнорусские явления вокализма закрытого слога («новое» ‹ě›, с середины XII в.), псковское неразличение свистящих и шипящих с конца XIII в. и т. д. Богослужебные книги древнейшего периода упорно держатся и ряда восточнославянских флексий — например *-ъмь*, в твор. п. ед. ч. муж. рода, *-ть* в 3 л. глагола. Употребляемая в них форма *себе*, *тебе* (при редкой *тобе*, *собе*, преобладавшей в народном языке) не была чужда части восточнославянских диалектов. Объяснить все это только бóльшим богатством лексики церковно-книжных памятников сравнительно с грамотами и юридическими памятниками едва ли можно. Тут дело во взаимном проникновении двух систем и образовании одной сложной системы с различиями в ее отдельных звéньях, некоторые из которых могут взаимно проникать из одной системы в другую и даже укрепляться в ней, устраняя конкурирующую с ней форму данной системы.

Отметим также, что данные книжно-письменных восточнославянских памятников свидетельствуют о том, что на месте *dj не произносился ‹žd› до 2-го южнославянского влияния. Правда, на месте *tj наряду с ‹č› употреблялось и ‹šč›, но ведь ‹šč› было свойственно и фонетической системе народного языка (на месте *stj, *skj). Поэтому наличие сочетания ‹šč› на месте *tj относится не к фонетической системе, как таковой, а к сфере морфонологии: наряду с чередованием ‹st› || ‹šč› или ‹sk› || ‹šč› появляется также чередование ‹t› || ‹šč›. Характерно, что в древнецерковнославянских неполногласных сочетаниях с ѣ в древнерусских памятниках писалась часто буква є и произносился, естественно, соответствующий звук древнерусской народной фонетической системы. В виду сказанного надо всячески возражать против представления наших русистов старшего поколения (например, Шахматова) о том, что на Руси имел место процесс постепенного слияния древнеболгарских звуков с русским произношением. Имело место скорее другое: наличие готовой письменности, основанной на очень близкой фонетической системе по отношению к системе народной древнерусской речи и установление правил чтения: например буква оу и ѫ были поняты как буквы-синонимы, буква ѣ как знак своей «родной» фонемы ‹ě› и т. д. Естественно, что в процессе чтения, которому обучались буквенно-слоговым методом, могли появляться отдельные произносительные черты, которые

отсутствовали в народной речи и стали осознаваться как черты высокой книжной речи (например, немягкое произношение парных твердых мягких согласных перед є). Но не менее интересно и то, что признаком «высокого» книжного стиля, в том числе на севере с его ‹г› (взрывным), стало произношение фрикативного, свойственное народному языку юга восточнославянской территории.

2.6. С течением времени различия между книжно-письменным и народно-разговорным языком стали увеличиваться: первый, скованный традициями был, естественно, консервативнее, причем в числе его консервативных элементов были не только давно усвоенные южнославянизмы (а также вновь образованные по их образцу), но и многие архаические черты восточнославянские, утратившиеся в народном языке, и вместе с первыми воспринимаемые как «славянизмы», как признаки высокого стиля, и обычно трактуемые исследователями как славянизмы. Второй развивал диалектные черты, охватывающие разные уровни системы языка и неодинаковые на разных территориях. Естественно, что и взаимодействие между ними становится качественно иным. Еще больше расходится книжно-письменный и народно-разговорный язык с конца XIV в. — в XV—XVI вв. в эпоху так наз. 2-го южнославянского влияния, к которой относятся многие «славянизмы» современного русского языка. Для поздней древнерусской эпохи и великорусского языка начального периода характерным становятся существенные различия в грамматической системе (особенно в системе глагола), не говоря об усиливающихся различиях в области словообразования, лексики, синтаксиса. Именно с этого времени можно говорить о русском церковнославянском языке как особом типе литературного языка русского общества, призванного обслуживать определенные культурные потребности. Однако это состояние вторично, относится к поздним эпохам и вовсе не лежит в основе русского литературного языка.

К XVII в. и в XVII в., а также позднее книжнописьменный («церковнославянский») язык переживает упадок, деградирует, сужается в своих функциях вплоть до того, что становится специфически культовым языком. Появляется «вульгарный» тип церковнославянского языка, употребляемый в ряде литературных жанров, во многом действительно искусственный. Грамматика его в ряде элементов становится непонятной как читающему, так и пишущему (отсюда ошибки в согласовании, неправильном употреблении личных форм простых прошедших времен и т. д.). Появляется демократическая литература, язык которой включает элементы вульгарного церковнославянского языка, приказного языка и живой речи. Все это стирает грани «высокого» церковнославянского языка, отделяющие его от других видов письменного языка. Роль церковнославянского языка как орудия формирующейся национальной культуры затухает.

Однако в XVII в. во всех своих основных чертах оказывается сформировавшимся так называемый московский тип народного

языка, средневеликорусский по характеру своей фонологической системы, флексии, лексики, с более старыми северными чертами и более новыми и значительными элементами южновеликорусскими (появляющимися и в XVIII в.). Этот язык имел уже довольно большую письменную традицию, если не литературную в собственном смысле, то деловую, приказную, канцелярскую. Именно на основе этого московского типа языка развивается новый литературный язык, который в связи с усложнением своих жанрово-стилистических функций не только широко использует (хотя и неравномерно в разных жанрах) многие книжно-письменные («церковнославянские») элементы (в области морфонологических чередований, словообразования, фонемного состава слов, словаря, синтаксиса), но и делает многие из них, в особенности многие словообразовательные модели продуктивными. Известно, что в это время широким потоком вливаются в русский литературный язык заимствования из новых западноевропейских языков и латинского. Но характерно, что при калькировании многих производных слов широко используются модели, восходящие к книжно-письменному («церковнославянскому») типу языка, что говорит об их продуктивности в русском литературном языке. Стилистические функции церковнославянских черт в составе новой общекнижной речи, где они употребляются наряду с элементами приказного языка и живой разговорной речи, ослабляются: церковнославянские элементы в этой ситуации функционально перерастают в обычные стилистически нейтральные элементы новой общекнижной речи, чем еще более изолируют церковнославянский язык. Сказанному не противоречит то, что книжная традиция (например, в области произношения ударения, некоторых форм) продолжает существовать в высоких стилях литературы, лишь постепенно, в XIX в. уступая литературному языку общенародного (в основе московского) типа.

2.7. Специфика истории русского литературного языка заключается в том, что он пронес непрерывную книжно-письменную (в основном южнославянскую, с историко-этнической точки зрения, и древнерусскую книжно-письменную — иначе церковнославянскую, с точки зрения функциональной) традицию с древнейших пор до наших дней. Книжно-письменные элементы южнославянского происхождения (к которым с течением времени присоединились и многочисленные восточнославянские архаизмы) и элементы народнодиалектные образовали своеобразный органический (хотя и неодинаковый для разных эпох) сплав, в котором с функциональной точки зрения нельзя видеть основу и наслоения, в которой те и другие с этой точки зрения в равной степени «свои». Этой спецификой в значительной мере объясняются споры о происхождении литературного русского языка. Мы полагаем, что решению этой проблемы много может способствовать принципиальное разграничение историко-этнической и функциональной точек зрения на древнецерковнославянский язык.

3.0. ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО, ДИАЛЕКТНОГО, ЯЗЫКА

3.1. К языку можно подойти с двух принципиально различных, хотя и тесно связанных точек зрения: как к структуре (знаковой системе), с одной стороны, и как к средству общения, с другой. В соответствии с этим история народного диалектного языка — иначе историческая диалектология — может состоять из двух отделов — история строя (структуры) народно-диалектного языка (изучающей историю отдельных звеньев системы языка во времени и пространстве) и истории образования и развития диалектов и других единиц диалектного членения, т. е. истории языка определенных, территориально ограниченных социально-языковых общностей (далее этот второй отдел исторической диалектологии будем называть историей диалектов).

3.2. Основным понятием истории строя диалектного языка является хроно-изоглосса (с выключенным пространством); ее можно представить в виде точки на шкале, указывающей на качество данного явления до и после этой точки. Другая хроно-изоглосса того же явления (для другой точки в пространстве) укажет ту же или другую критическую точку на шкале времени. Совокупность хроно-изоглоссы того же явления для разных точек в пространстве, иначе хроно-топо-изоглосса данного явления (т. е. изоглосса с включенным временем и пространством), если бы она имелась, могла бы показать этапы развития этого явления во времени на данной территории. Другие такие совокупности хроно-топо-изоглосс могли бы помочь воссозданию истории соответствующих других языковых явлений.

Естественно, что ни хроно-изоглосса, ни хроно-топо-изоглосса не даны непосредственно исследователю: они моделируются на основе ретроспективного сравнительно-исторического изучения данных лингвистической географии и широкого привлечения данных, извлеченных из письменных памятников, при этом чем дальше в глубь эпох, тем более расплывчато и неточно они характеризуют пространство. Таким образом, основным содержанием первого отдела истории строя диалектного языка является восстановление истории отдельных языковых явлений во времени и пространстве на основе моделирования хроно-топо-изоглосс. Пучки хроно-изоглосс определенного комплекса языковых явлений, проходящие в одно время или близко во времени друг к другу, позволяют выделить временные варианты системы языка на данной территории, каждый из которых в пределах «пространства» между двумя пучками хроно-изоглосс характеризуется относительным единством системы языка по отношению к данному комплексу языковых явлений. Они указывают также смену систем и «критические» переходные эпохи.

3.3. Основным понятием второго отдела — истории диалектов являются пучки хроно-топо-изоглосс. Каждая в отдельности трехмерная хроно-топо-изоглосса характеризует общность и раз-

личия в системе языка по данному языковому признаку на определенной территории и в определенный отрезок времени. Пучки избранных хроно-топо-изоглосс, имеющие одинаковые или близкие критические точки во времени и пространстве, позволяют вскрыть динамику развития диалектов, их историческую изменчивость во времени и пространстве, их перегруппировки и смены, т. е. историю диалектов и других единиц диалектного членения.

3.4. Трудность периодизации истории диалектного языка заключается в том, что не только отдельные древние системы языка, но и разные явления, относящиеся к одному уровню (например, к фонологической системе), могут иметь хроно-топо-изоглоссы, далеко не всегда совпадающие друг с другом. Это значит, что фонология может иметь свою периодизацию, а грамматика свою, и даже больше того: свои различные «периодизации» могут иметь, например, существительные и глаголы и т. д. Впрочем, «соседние» уровни системы языка, например, фонология, с одной стороны, и флексия и словообразование, с другой, тесно связаны между собой, что до известной степени обусловливает общность периодизации. Ср. в древнерусском языке смягчение полумягких согласных и процессы взаимодействия твердых и мягких разновидностей склонения, утрату редуцированных и далеко идущие процессы в области флексии и словообразования. Однако неравномерность и различные темпы развития языка в его разных уровнях дают основания некоторым ученым отрицать самую идею периодизации, что нам представляется неправильным.

Отрицание периодизации истории диалектного языка вполне аналогично отрицанию диалектов (например, в школе Жильерона), основанному на том, что каждое явление (и слово) может иметь свою изоглоссу (по нашей терминологии, свою топо-изоглоссу). Однако известно, что топо-изоглоссы многих явлений часто сближаются друг с другом, а порою и совпадают, образуя своего рода «пучки» и выделяя собой территории, характеризуемые относительным единством на каждой из них строя языка, — диалекты или другие единицы территориального членения языка.

Совершенно так же и различные отдельно взятые языковые явления данной территории, имея свои эпохи развития, выделяя свои хроно-изоглоссы, в то же время приближаются друг к другу в своих критических точках или даже совпадают во времени, образуя своего рода «пучки», между которыми система языка оказывается однородной по данным языковым явлениям. Включая пространство для тех же явлений, мы моделируем диалекты (и другие единицы диалектного членения) в их временной и территориальной динамике.

Так же, как отсутствие диалектов (в связи с отсутствием «пучков» топо-изоглосс) является лишь частным случаем лингвистической географии (и притом вполне возможным) и не может быть возведено в теорию, отрицающую диалекты, — невыявление периодов в развитии данного уровня системы языка при выключен-

ном пространстве ввиду отсутствия пучков хроно-изоглосс) или при включенном пространстве (ввиду отсутствия пучков топо-хроно-изоглосс) является частным случаем истории диалектного языка и также не может быть возведено в теорию, отрицающую его периодизацию.

3.5. Следует иметь в виду также, что разные явления не имеют одинакового значения для периодизации: одни явления связаны со всей системой данного уровня (например, фонологического) или оказываются существенно важными для развития другого «соседнего» уровня; другие явления носят частный характер и мало связаны с системой языка в целом. Естественно, что особенно существенными для периодизации являются первые. Так, например, тенденция к открытости слогов в праславянском во всем многообразии ее проявлений не только существенно изменила всю фонетическую систему, но имела также далеко идущие последствия для морфологической системы. Поэтому хроно-изоглоссы, характеризующие фонологические системы до и после монофтонгизации дифтонгов и связанных с нею явлений, представляются весьма важными для периодизации истории строя славянских языков. Падение редуцированных в древнерусском языке помимо того, что само по себе явилось важным явлением в истории фонологической системы, в то же время окончательно оформило фонеобразующую категорию твердости—мягкости согласных, а также укрепило корреляцию согласных по глухости—звонкости как категорию, нейтрализуемую в определенных фонетических позициях, иначе говоря, привело к качественно новому состоянию фонетической системы. Однако падение редуцированных, как известно, имело также важные последствия для словообразования и формообразования, а также значительно изменило фономорфологический облик слов и форм. Поэтому естественно важное значение падения редуцированных для периодизации истории строя русского диалектного языка, как впрочем и других славянских языков.

3.6. Итак, историческая диалектология состоит из двух тесно связанных между собой отделов — истории строя (структуры) диалектного языка, изучающего отдельные языковые явления в их временной и территориальной динамике, и истории диалектов, изучающей историю диалектов и других единиц диалектного членения. Остается сказать, что первый отдел исторической диалектологии носит структурный характер, так как она мало обращается к внеязыковым факторам. В противоположность этому второй отдел этой дисциплины — историческая диалектология — широко обращается к внеязыковым факторам. Выбор языковых признаков для выделения диалектов в разных хронологических срезах бывает обусловлен в значительной мере внеязыковыми факторами. Большое значение имеет характер территориального распространения соотносительных языковых явлений. К внеязыковым факторам относятся прежде всего данные экономической, социаль-

ной, политической и культурной истории, археологии, этнографии, без которых не обходится историческая диалектология. Существенно также, обслуживается ли данная диалектная территория одним или несколькими письменными (для поздней эпохи литературными) языками [1]. Однако современная историческая диалектология, в том числе и ее второй отдел — история диалектов, в соответствии с характером современной лингвистики в целом должна органически усвоить идею системности языка, т. е. иметь дело с элементами структуры языка, а не с отдельными разрозненными языковыми особенностями.

3.7. Периодизация истории диалектного языка затрудняется малым количеством специальных исследований по исторической диалектологии, неизученностью многих письменных памятников с историко-диалектологической точки зрения. Поэтому можно набросать лишь общую схему.

1. Период древнерусской (восточнославянской) народности.

а) Ярко осознаваемое этническо-языковое единство древнерусской (восточнославянской) народности при наличии диалектных различий (XI в. — первая пол. XII в.).

б) Углубление диалектных различий в связи с усилением феодальной раздробленности и событиями XIII в. Появление диалектных черт, которые впоследствии будут характеризовать украинский, русский и белорусский языки (вторая пол. XII в. — XIII в.). Значительное несоответствие диалектной карты этого времени диалектной карте позднейшей эпохи — когда обозначились территории современных восточнославянских языков.

в) Постепенное превращение идеи единства восточных славян в идею историческую, характеризующую общность их происхождения. Дальнейшее усиление центробежных процессов в связи с известными фактами истории восточных славян, развитием крупных центров на северо-востоке, северо-западе и юго-западе. Начальный этап формирования новых восточнославянских социально-языковых коллективов — русского (великорусского), украинского и белорусского. Неполная синхронность этого процесса в связи со спецификой истории Северо-Восточной Руси, с одной стороны, и Западной и Юго-Западной Руси, с другой (XIV в.).

2. Период русской (великорусской) народности.

Углубление различий между языком Северо-Восточной (Владимиро-Суздальской) и Северо-Западной (Новгородской) Руси, с одной стороны, и Руси Западной и Юго-Западной, с другой; формирование языка русской (великорусской) народности при одновременном углублении и развитии диалектных черт в периферийных областях (XV—XVII вв.). Формирование основных

---

[1] Более подробное изложение проблем истории диалектного языка, в частности критериев выбора языковых черт для выделения диалектов, см.: Р. И. Аванесов. Описательная диалектология и история языка. «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь, 1963)». М., 1963.

русских (великорусских) диалектов, известных (с учетом позднейших процессов) из современной диалектологической карты.

3. Период формирования русской нации.

Частный характер новых диалектных черт, их территориальная ограниченность, их наличие, главным образом, в периферийных районах. Постепенно усиливающийся процесс нивелировки диалектных различий под влиянием нормированного типа языка, «культурного», литературного языка. «Размывание» старых диалектных границ эпохи феодализма. Сложность этого процесса по отношению к разным уровням системы языка и разным территориям.

Предложенный опыт периодизации истории русского диалектного языка может быть иллюстрирован историко-лингвогеографическими картами, моделированными на основе ретроспективного изучения данных лингвистической географии с учетом материалов, извлеченных из письменных памятников.

3.8. Известно, что диалектный тип языка дифференцирован не только в территориальном отношении, но также в социальном и жанрово-стилистическом, причем эта дифференциация неодинакова в разных языковых ситуациях, в разные исторические эпохи. Вопрос о социальной дифференциации (см., например, различия в языке представителей разных поколений, разного пола, разных сельских специальностей и т. д.), а также о дифференциации жанрово-стилистической (см., например, обиходно-бытовой диалог, язык разных форм фольклора и т. д.) здесь не затрагивается. Он не рассматривается не потому, что он не существен, а потому что он тянет за собой целый комплекс других вопросов, которые не могут быть рассмотрены в кратком сообщении.

В предыдущем изложении мы имели в виду диалектный язык в его нейтральной (обиходно-бытовой) функции. Он и является обычно предметом диалектологии. Поэтому история диалектного языка нами понималась как история развития его строя, качества, его местных разновидностей, при том обычно в его архаическом типе, без должного учета социальной и жанрово-стилистической дифференциации.

4.0. ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

4.1. История книжно-письменного (позднее литературного) языка состоит также из двух дисциплин: истории строя языка и истории его употребления, функционирования. Если первая строится в соответствии с отдельными уровнями строя языка (фонология, флексия, лексикология и т. д.), то вторая членится по своим специфическим, чисто стилистическим, функциональным критериям, причем каждый ее отдел охватывает явления любых уровней системы языка. Первая — дисциплина по преимуществу структурная; вторая, непосредственно определяемая историей жанрово-стилистической дифференциации языка, значительно

дальше выходит за рамки изучения языка как структуры и широко обращается к таким внеязыковым факторам, как развитие просвещения, роль церкви, характер письменности и литературы, культурный обмен с иноязычными странами, политическая и экономическая структура общества и т. д. Более подробные сведения об этих дисциплинах (в особенности первой) сделано в другой работе автора.

4.2. Периодизация истории русского литературного языка строится не только на данных собственно русского (великорусского) языка, языка русской народности, позднее нации, но также и на данных книжно-письменного языка древнерусской (восточнославянской) народности, из единого корня которой позднее развивались народности русская (великорусская), украинская и белорусская и их языки. Специфика истории русского литературного языка в отличие от украинского и белорусского заключается в том, что традиции древнего книжно-письменного (церковнославянского) языка в нем не прерывались, и литературный язык нового времени, язык развивающейся нации, не создавался в значительной мере вновь на народной диалектной основе, а продолжал древнерусскую, в частности, книжно-письменную (церковнославянскую) традицию.

Если история народного, диалектного языка по преимуществу воссоздается на основе «обратного» ретроспективного сравнительно-исторического изучения диалектных данных с широким привлечением данных, извлеченных из письменных памятников (хотя может излагаться в прямом историческом порядке от древности до нашего времени), то история литературного языка в «прямом» порядке. Она ставит своей целью изучить древнерусский (русский книжно-письменный, позднее русский литературный язык) как целостную систему систем в ее жанрово-стилистической дифференциации и ее отношении к народному диалектному языку, неодинаковому в разные исторические периоды. Поскольку история древнерусского книжно-письменного языка (позднее литературного) изучает жанрово-стилистическую дифференциацию языка, а последняя обусловлена характером общества, бóльшим или меньшим развитием разных областей культуры и науки, наличием или отсутствием развитой устной публичной нормализованной речи, синкретизмом многих жанров письменности или выделением в определенную эпоху художественной литературы и т. д., то естественно, что история книжно-письменного (позднее литературного) языка — как и история диалектов (второй отдел исторической диалектологии) — не может не обращаться к внеязыковым, экстралингвистическим факторам.

Для этой дисциплины особенно существенны две координаты: изучение структуры языка произведений литературы одного жанра в его развитии во времени; и изучение языка произведений разных жанров в пределах одного времени. Такой перекрестный анализ даст возможность изучить историю книжно-письменного (позднее

литературного) языка как целостной структуры в ее жанрово-стилистической и временной дифференциации, относящейся ко всем уровням системы языка.

Для периодизации истории книжно-письменного (позднее литературного) языка существенны:

а) отношение к народному, диалектному языку; возможность местных разновидностей книжно-письменного языка;

б) характер устной формы книжно-письменного языка: от простого «произнесения» письменного текста (например, при богослужении) до широко применяемой устной публичной речи, имеющей свою специфику и свои жанры;

в) функционально-стилистическое членение книжно-письменного языка на несколько типов (например, для церковно-религиозной литературы, повествовательной литературы, публицистики, делопроизводства и т. д.) или стремление к выработке единого типа книжного языка;

г) наличие и степень нормализации или его отсутствие по отношению к разным уровням системы языка. Характер правописания и степень отражения на письме диалектных особенностей.

Как видно из последующего изложения, основные периоды истории литературного языка выделяются на основе периодизации внеязыковой, исторической. Деление внутри каждого периода производится на основании характера функционирования письменного языка по указанным выше признакам.

Следует иметь в виду, что предлагаемая ниже периодизация, как и всякая другая, имеет относительное значение: отдельные периоды и более мелкие подразделения в них не дискретны, не отграничены четко друг от друга во времени, а «наползают» друг на друга, в каждом из них есть как элементы уже прожитого этапа, так и элементы этапа наступающего. Тем не менее периодизация имеет большое значение, так как упорядочивает наше представление о развитии изучаемого предмета.

Применительно к истории древнерусского письменного (позднее русского литературного языка) можно выделить в предварительном порядке следующие периоды.

4.3. Древнерусский (древневосточнославянский) книжно-письменный язык (эпоха древнерусской, иначе древневосточнославянской народности).

Здесь намечаются следующие более дробные деления.

а. Значительная общность книжно-письменного и народного языков (если отрешиться от функционально-стилистически обусловленных элементов церковнославянского языка) в области фонологической системы, флексии, основного словарного состава и словообразовательных средств, костяка синтаксической системы и основного словарного фонда при значительном богатстве первого сравнительно со вторым. Наличие нескольких типов книжно-письменного языка функционально разграниченных: язык культа, агиографической и поучительной литературы, язык повество-

вательной литературы, язык светских юридических памятников и других деловых документов, характеризующихся разной долей книжных (церковнославянских) и народно-диалектных элементов. Узость применения публичной устной формы письменного языка. Слабость орфографической нормализации, обеспечивающая более или менее широкое отражение диалектных черт, неодинаковое для разных уровней языка и разных жанров письменности (XI в. — первая половина XII в.).

б. Продолжение многих черт, отмеченных для предыдущей эпохи при более широком расхождении письменного и народного диалектного языка в связи с консервативностью письменного языка и дальнейшим развитием диалектных черт в народном языке, отражающихся частично в письменном языке (вторая половина XII в.—XIII в.).

в. Дальнейшее расхождение в XIII—XIV вв. книжно-письменного и народно-диалектного языков не только в сфере лексики, словообразования, синтаксиса, но также морфологии и фонологии. Дальнейшее противопоставление в сфере письменного языка, книжно-письменного (церковнославянского) типа языка и делового, канцелярского, а именно языка грамот, светских юридических памятников, в которых при наличии определенных элементов книжно-письменного (церковнославянского) языка доминируют черты общенародные, частично диалектные. Сформирование намечавшихся ранее областных вариантов письменного языка на будущей великорусской территории — новгородского (с XI в.), смоленского (с первой трети XIII в.), частично он охватывал северо-восточные части белорусской территории, псковского (с конца XIII в.), ростово-суздальского (с XII—XIII вв.) (в скобках указаны даты древнейшего отражения в письменных памятниках отдельных черт соответствующих диалектов).

4.4. Русский (старорусский, среднерусский, великорусский) книжнописьменный язык (эпоха языка великорусской народности).

а. Период максимального расхождения книжно-письменного и народно-диалектного языков. Значительное стилистическое усложнение книжно-письменного (церковнославянского) типа языка (2-е южнославянское влияние), наблюдаемое во всех уровнях системы языка, в особенности — если не говорить об орфографии — в области синтаксиса, лексики, словообразования, усвоения фонемного состава слов в южнославянской форме ‹žd› на месте *dj, увеличение случаев с ‹šč› на месте *tj, укрепление многих неполногласных форм слова, ранее известных с неполногласием и полногласием и т. д. Сохранение многих из этих южнославянизмов в современном литературном языке. Одновременно этот период характеризуется укреплением и расширением функций делового (приказного языка) — XV в. Многие из намеченных черт характерны и для XVI в.

б. Период дальнейшего расширения функций делового (приказного) языка и распространение его на многие жанры письмен-

ности (кроме церковно-религиозных); деловой язык этого периода при своем несомненно народном характере заключает в себе также черты книжно-письменного (церковнославянского) языка.

Процессы нормализации делового (приказного) языка, о которых можно судить по распространению этого типа языка в его московском варианте на различные русские диалектные территории. Русский язык XVI в.; многие из намеченных черт характерны и для XVII в. Книжно-письменный (церковнославянский) тип языка продолжает развиваться в направлении, отмеченном в предыдущем пункте (дальнейшее усложнение, «плетение словес», дальнейшее отделение его от народного языка и сужение его функций). Устные формы письменного языка развиты слабо.

4.5. Развитие русского литературного языка нового времени (эпохи формирования русской нации).

а. Период дальнейшего сужения функций книжно-письменного (церковнославянского) языка и его перерождения в язык культа, церкви. В борьбе между книжно-письменным и народным типом письменного языка развивается вульгарно-народный тип церковнославянского языка, который стремится расширить сферы своего употребления на развивающуюся художественную литературу. Дальнейшая литературная обработка делового приказного языка, расширение его функций. Становление устной формы письменного (лучше сказать «культурного») языка, имеющей в своей основе московский тип народного языка и значительно обогатившийся за счет элементов церковнокнижного языка, утрачивающих свою «высокую» стилистическую окраску, и языка делового, приказного. Русский язык XVII в. Некоторые из этих черт намечаются уже во второй половине или в конце XVI в.

б. Период завершения превращения церковнославянского языка в язык культовый и начальный период образования литературного языка нового времени. Этот период характеризуется демократизацией литературного языка и значительным его обогащением за счет заимствований из западноевропейских языков, обусловленным ростом культуры, науки, производства, техники, художественной литературы. Особенно широки эти заимствования в первой трети XVIII в. (хотя они начали довольно широко проникать и ранее, в XVII в.). Впоследствии часть этих заимствований выпадает, а другая часть укрепляется и доходит до нашего времени. Развитие языка художественной литературы.

Несмотря на демократизацию литературного языка, разграничение книжного и общенародного языка (не говоря о языке диалектного типа) продолжает существовать во всех уровнях системы языка. Общенародный тип русского языка, носящий ярко выраженный «московский» средневеликорусский характер (в области фонетики и морфологии), обогащается многими элементами книжно-письменного и приказного типов языка, а также западноевропейскими заимствованиями. Особо заслуживает быть отмеченным продуктивность многих специфических книжно-письмен-

ных (церковнославянских) словообразовательных моделей (в новообразованиях и при заимствовании способом калькирования), которые в составе литературного языка нового времени в значительной степени утрачивают свою церковнославянскую стилистическую окрашенность. Таков в самом общем виде русский литературный язык XVIII в.

в. Период развития единого национального литературного языка, общенародного по своему характеру, стилистически разветвленного, представляющего собой сложный сплав разных по происхождению разнородных и разновременных явлений. Этот процесс в основном завершается в первой половине XIX в. и отражается в творчестве Пушкина и его преемников. Во второй половине XIX в. окончательно уступает свои позиции книжный тип литературного языка в области произношения (сохраняя лишь его отдельные рудименты).

История русского литературного языка XVIII—XX вв., ввиду сложности пережитых процессов, заслуживает специального рассмотрения, в частности, она нуждается в своей более дробной периодизации. Однако эта задача выходит далеко за рамки наших задач в этих кратких заметках.

5.0. ОБЩАЯ «ОБЪЕМНАЯ» ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

5.1. Общая «объемная» периодизация должна строиться на синтезе периодизации истории народного диалектного языка и истории книжно-письменного (позднее литературного) языка.

Накладывая друг на друга эти периодизации, можно сделать одно важное обобщение, касающееся того, что история строя народно-диалектного языка, кажется, опережает развитие функций и характера книжно-письменного (позднее литературного) языка. В самом деле, русский (великорусский) народный язык XVI в. по своей фонетической системе и грамматическому строю был уже весьма близок к современному русскому языку; обозначились и основные его диалекты, хотя и не вполне соответствующие позднейшим. В XVII в. звуковой строй и грамматический строй русского языка «московского» типа, характеризующие русский национальный язык, отличались от современного языка лишь в деталях. Между тем, какие значительные изменения претерпел русский (великорусский) книжно-письменный язык с XIV в. не только в функционально и жанрово-стилистическом отношениях, но также и в отношении грамматического строя. Еще более велик и богат качественными изменениями исторический путь развития русского литературного языка с XVII в. или после XVII в. до середины XIX в.

Как мы видели, второй отдел истории строя народно-диалектного языка, а именно историческая диалектология (точнее история диалектов и других единиц территориального членения языка),

и история книжно-письменного (позднее литературного) языка, во многом опираются на внеязыковые факторы. Качество и функции народно-диалектного и книжно-письменного (позднее литературного) языка охватывают все многообразие языковой действительности, причем функции языка непосредственно связаны с характером обслуживаемого общества. Ввиду всего этого общую «объемную» периодизацию истории языка следует строить, видимо, в терминах исторической периодизации.

Применительно к истории русского языка эта периодизация могла бы быть следующей:

1. Язык древнерусской (восточнославянской) народности (от предписьменной эпохи до XIV в.).

2. Язык русской (великорусской) народности (XV—XVII вв.).

3. Язык русской нации (XVII в., скорее, с середины или конца XVII в.).

Более дробное деление в пределах каждого периода по отношению к книжно-письменному (позднее литературному) языку указано выше. Поэтому здесь мы ограничимся замечаниями лишь о делениях в области истории диалектного языка.

5.2. Начальный период языка древнерусской народности характеризуется ярким осознанием языкового и этнического единства восточного славянства, несмотря на наличие диалектных различий (незначительных в области фонетической системы и грамматической системы и значительно бóльших в области лексики, которые, однако, с трудом поддаются реконструкции [2]). Со второй половины XII в. диалектные различия во всех областях строя языка (в том числе в области фонологии и флексии) значительно нарастают. Уже с ранней поры можно заметить черты, характерные для будущего великорусского (русского) языка. Со второй половины XII в. намечаются черты, характеризующие будущий украинский язык. С первой трети XIII в. мы различаем и черты, в будущем характерные для белорусского языка. Оговоримся, что мы здесь имеем в виду черты новообразования, так как архаизмы в каждом из названных языков и их диалектов (в особенности в области лексики), имелись в большом количестве, а также имеются и сейчас. Однако осознание восточнославянского единства в эту эпоху еще сохраняется. Конец древнерусского периода (XIV в.) характеризуется тем, что уже отчетливо выделяются все основные диалекты русского (великорусского) языка, такие как новгородский, псковский, ростово-суздальский (в его составе и московский говор), смоленский; в этот период (а также и ранее) несомненно существовал и акающий «южновеликорусский» диалект, не выделяемый на основе письменных памятников. К концу этого периода осознание восточнославянского единства постепенно начинает принимать исторический характер, что

---

[2] Лексические диалектизмы особенно интересны, так как могут восходить к глубокой, нередко праславянской, древности.

является результатом процесса распада Киевской Руси, вхождения Западной и Юго-Западной Руси в состав Литовского великого княжества, а затем за пределами этого периода Польско-Литовского государства.

Второй период — период русской (великорусской) народности — характеризуется двумя существенными процессами: с одной стороны, происходит дальнейшее разграничение русского (великорусского) языка от языка украинского и — менее отчетливо в связи с специфическими историческими условиями — от языка белорусского; с другой стороны, в пределах русской (великорусской) территории, несмотря на развитие централизованного Русского государства, во всех периферийных областях продолжают развиваться диалектные различия. Можно без большой натяжки сказать, что к концу данного периода создается современное диалектное членение русского языка (если не учитывать позднейших процессов, главным образом нивелировки диалектов).

К третьему периоду — периоду языка русской нации, как уже было сказано, диалектологическая карта русского языка установилась. Диалектные различия, если они и появляются, носят очень частный и ограниченный характер, охватывают отдельные небольшие периферийные районы. Основной процесс этой эпохи, особенно в более позднее время, заключается в нивелировке диалектных различий по мере распространения нормализованного типа национального языка, в постепенном «размывании» диалектных границ установившихся во всех своих основных чертах к концу XVII в.

5.3. Общая «объемная» периодизация истории русского языка должна быть создана на базе «наложения» друг на друга периодизации истории русского книжно-письменного (позднее литературного) языка и истории русских диалектов с широким привлечением внеязыковых данных — экономической, политической, социальной и культурной истории, истории просвещения и письменности, развития художественной литературы, развития устной публичной речи и т. д.

■

По необходимости в этих тезисах мы были достаточно кратки и не имели возможности ни оперировать материалом, ни критически обозревать предшествующую обширную литературу предмета. Для автора не столь существенно, какие положения он здесь выдвигает впервые, а в каких повторяет взгляды других ученых. Важно то, чтобы общими усилиями найти истину и построить научно целесообразную периодизацию истории русского языка, пережившего весьма сложный путь развития.

С. Б. БЕРНШТЕЙН

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ЯЗЫКОВ КАРПАТО-ДУНАЙСКОГО АРЕАЛА В СВЕТЕ ДАННЫХ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ

Настоящий доклад содержит конспективное изложение нескольких разделов монографии «Интерференция языков карпато-дунайского бассейна», над которой я начал работать после выхода в свет в 1967 г. «Карпатского диалектологического атласа» (в дальнейшем КДА). Над КДА работал большой коллектив диалектологов, в сборе материалов принимали участие не только опытные диалектологи Москвы и Львова, но и студенты разных учебных заведений. В определении задач КДА, в создании его «Программы» велика роль В. М. Иллича-Свитыча, обладавшего обширными познаниями в области балканского и карпатского языкознания. Работа над КДА показала, что многие прежние представления о взаимодействии языков в зоне Карпат и в прилегающих к ней областях в ряде случаев требуют пересмотра, учета фактов, которым прежде не придавали большого значения, привлечения новых данных из языков, далеких от исследуемого региона.

Вопрос о создании КДА был поставлен на первом всесоюзном координационном совещании по актуальным проблемам славяноведения в Москве в январе 1961 г. в докладе «Некоторые проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков» [1]. В нем речь шла об изучении юго-западных говоров украинского языка Прикарпатья и Закарпатья (говоров к западу от Днестра).

Еще в 1935 г. проф. В. Погорелов, известный специалист по древней славянской письменности, но далекий по своим научным интересам от диалектологии, обратил внимание на то, что в закарпатских говорах украинского языка встречаются особенности, чуждые украинскому языку, но хорошо известные болгарскому. Все эти особенности Погорелов назвал болгаризмами. К ним он отнес: краткие формы дат. п. личных местоимений в функции притяжательных местоимений (*жона ми*), союз *що* в значении относительного местоимения, превосходную и сравнительную степени с помощью частиц *май-* и *по-* (*май-слабый*, *по-слабый*), удвоенный предлог *зоз* (<със), слова *балта*, *бердо*, *брич*, *дойка*,

[1] «Актуальные проблемы славяноведения». — КСИС, 33—34. М., 1961, стр. 183—185.

жеб, *копылец*, *мерша*, *пазити*, *перть*, *полонина*, *псовати*, *сербати*, *твердо*, *читавый* и др.

Первый вариант статьи В. Погорелова был опубликован в газете «Русский народный голос». Позже, в 1940 г. она была перепечатана в научном издании братиславского университета [2]. Статья получила отрицательную оценку славистов. Первым откликнулся на нее известный знаток закарпатских говоров украинского языка Ив. Панькевич (1937); в XVII томе «Zeitschrift für slavische Philologie» появился критический разбор этой статьи М. Фасмера (1940). Оба критика обратили внимание на существенные методические промахи Погорелова. В основном они сводятся к следующему: автор не знает истории так называемых болгаризмов, не учитывает роли румынского и венгерского языков в передаче южнославянских элементов, не знает территории распространения этих болгаризмов за пределами юго-западных украинских говоров. Все это совершенно справедливо. Со своей стороны могу еще отметить такие недостатки наблюдений В. Погорелова. Все свои сопоставления закарпатских говоров он производил только с болгарским литературным языком, тогда как они должны строиться на тожественном диалектном материале. Это сделало бы сопоставления Погорелова более точными и убедительными, а кроме того, значительно увеличило бы количество сопоставимых элементов. Погорелов не обратил внимания на то, что закарпатские говоры украинского языка имеют аналогии не только в болгарском. но и в сербохорватском языке. Отсутствует в работе Погорелова самый элементарный этимологический анализ, он прошел мимо семантики и словообразования (именных суффиксов). Неудачный опыт Погорелова на длительный срок потушил интерес славистов к данной проблематике. Даже в обобщающем труде Л. А. Булаховского «Питання походження української мови» все ограничивается несколькими критическими замечаниями, повторяющими аргументацию И. Панькевича. Автор проходит мимо всей проблемы происхождения юго-западных украинских говоров и их связей с южнославянскими языками [3].

Интерес к указанной выше проблематике вновь обнаружился в середине 50-х годов. Теперь ею заинтересовались не только специалисты по украинской диалектологии, но и многие слависты и балканисты. Среди украинистов одни продолжали развивать и углублять положения В. Погорелова, другие раздвинули узкие рамки данной задачи. На основе детального лингво-географического изучения говоров началось исследование всех инославянских связей.

В 1955 г. в «Slavia» (XXIV, 2—3) была опубликована статья Ив. Панькевича «Українсько-болгарські мовні зв'язки в Семи-

---

[2] «Spisy Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave», 1940, № 2.
[3] Л. А. Булаховський. Питання походження української мови. Київ, 1956, стр. 204—205.

городі». По поводу этой статьи еще в 1963 г. я писал: «По уровню лингвистического анализа эта статья не отличается от статьи Погорелова. . . Изолированные и случайные сопоставления отдельных фактов, отсутствие строгого этимологического анализа, поразительная неосведомленность автора в болгарской диалектологии, игнорирование данных румынской и венгерской диалектологии (здесь Панькевич забыл о своих советах Погорелову) — все это дает нам основание поставить под сомнение все выводы и основные положения статьи» [4]. Было показано, что Панькевич продолжает не только тематику Погорелова, но и его методические принципы.

В 1960 г. вышла из печати монография Б. В. Кобылянского, посвященная происхождению восточно-карпатского и покутского диалектов и их отношению к украинскому литературному языку [5]. Кобылянский обратил особое внимание на связь с южнославянскими языками не закарпатских говоров, а говоров Прикарпатья. Таким образом было показано, что данная проблема имеет прямое отношение ко всем юго-западным говорам украинского языка, что в отличие от закарпатских говоров прикарпатские говоры украинского языка сильнее тяготеют к болгарскому языку. О более тесных связях говоров Закарпатья с сербохорватским языком, нежели с болгарским, показали наблюдения В. В. Нимчука [6].

Работы Ив. Панькевича, Б. В. Кобылянского и В. В. Нимчука не внесли ничего принципиального нового в решение проблемы, поставленной В. Погореловым. Был лишь пополнен список так называемых южнославянизмов, показано, что они встречаются не только в юго-западных говорах, но и в говорах к востоку от Днестра (в частности, в подольских говорах). Отмеченные выше недостатки статьи Погорелова в той или иной степени присущи и работам указанных авторов. Одинаково определяется объект исследования, нет различий в его анализе.

Значительно плодотворнее была деятельность тех украинских диалектологов, которые начали всестороннее лингво-географическое изучение юго-западных говоров по обширной программе, включающей изучение связей местных говоров с инославянским языковым миром. Здесь прежде всего нужно назвать труды И. А. Дзендзелевского и его учеников. Основное внимание их было направлено на выявление более очевидных и более поздних

---

[4] С. Б. Бернштейн. Карпатский диалектологический атлас. — ВЯ, 1963, № 4, стр. 77.

[5] Б. В. Кобилянський. Діалект і літературна мова. (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови). Київ, 1960.

[6] В. В. Німчук. Питання про зв'язки закарпатських українських говорів з південнослов'янськими мовами. «Тези доповідей V міжвузівської республіканської славістичної конференції». Ужгород, 1962, стр. 91—93.

западнославянских связей говоров Закарпатья[7]. Однако опубликованный «Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР» И. А. Дзендзелевского (I, Ужгород, 1958; II, Ужгород, 1960) дал большой и новый материал и для выявления связей этих говоров с южнославянскими языками. «Впервые получили лингво-географическое основание факты так называемых закарпатско-южнославянских связей, на которые в свое время обратил внимание В. Погорелов. Уже в рецензируемом томе «Атласа» можно отметить значительное число слов, имеющих закарпатско-южнославянский ареал. . . Совокупное рассмотрение изоглосс такого рода не только может дать многое для решения вопроса о генезисе закарпатских украинских говоров, но и способно пролить свет на проблему переселения южных славян за Карпаты»[8]. Должен сказать, что изучение первой части атласа И. А. Дзендзелевского окончательно решило вопрос о целесообразности нашей работы над «Карпатским диалектологическим атласом». Осенью 1959 г. были определены основные задачи КДА, В. М. Иллич-Свитыч приступил к составлению проекта программы. Независимо от нашего коллектива работа над проектом программы атласа шла на кафедре украинского языка Ужгородского университета. На совместном обсуждении проектов КДА в Ужгороде в 1962 г. был утвержден окончательный текст программы, который был опубликован в 1964 г.

Как сказано было выше, интерес к контактам северных и южных славян в районе Карпат в 50-е годы стали проявлять не только украинисты, но слависты и балканисты. Здесь в первую очередь нужно назвать труды Ивана Поповича, его «Geschichte der serbokroatischen Sprache» (Wiesbaden, 1960), а также многие статьи, в которых рассматриваются различные аспекты языковых контактов в карпатской зоне. Скудость систематизированного материала в «Geschichte der serbokroatischen Sprache» окупается наличием важных и чрезвычайно плодотворных мыслей, неожиданных сопоставлений, новизной подхода к решению ряда старых, давно обсуждавшихся проблем. Хочу обратить внимание на полезные в методическом отношении «Южнославянские лексические этюды» (КСИС 35, М., 1962, стр. 44—62), которые на конкретном материале глубоко освещают сложные процессы взаимодействия южных и северных славянских языков.

Ценный и во многом еще неиспользованный материал для освещения этих процессов содержится в исследованиях славянских элементов в румынском языке, румынской топонимике славян-

---

[7] См. монографию И. А. Дзендзелевского «Українсько-західнослов'янські лексичні паралелі». Київ, 1969.

[8] В. М. Иллич-Свитыч, Г. К. Венедиктов (рец. на «Атлас»). — ВЯ, 1960, № 3, стр. 118.

ского происхождения, древней славянской письменности Валахии и Молдавии. Особенно важные факты для решения вопросов стратификации славизмов в говорах Валахии, Молдавии, Трансильвании, Баната, Марамуреша и других областей содержится в лингвистических атласах, опубликованных в последние годы в Румынии и в МССР.

Еще в самом начале нашей работы над КДА мы ясно отдавали себе отчет в том, что решение поставленной нами задачи потребует от нас не только критического анализа работ наших предшественников, но и применения иных методических приемов, иного подхода к анализируемым фактам. Однако в одном очень важном пункте мы мало отличались от Погорелова, Панькевича и других исследователей юго-западных украинских говоров. Мы вслед за ними видели свою задачу только в выявлении «южнославянизмов». Обработка собранного материала, изучение различной лингвистической этнографической и исторической литературы по карпатистике, итоги большой комплексной экспедиции по изучению говоров Полесья показали, что мы, затронув лишь один аспект большой и очень сложной проблемы, не поняли, что он характеризует только одну сторону той многогранной картины языковых трансформаций, которые происходили в карпатской зоне после появления здесь славян и венгров. Стало совершенно очевидным, что между языками карпатской зоны происходили сложные процессы взаимопроникновения и взаимовлияния, в результате которых сформировалась определенная языковая общность, со своими специфическими чертами.

Выявление особенностей южнославянских языков в латеральных южных говорах некоторых северных языков (в украинских, словацких, чешских и польских говорах) представляет собою актуальную задачу славянского языкознания. В наличии этих особенностей здесь нет ничего неожиданного, так как давно хорошо известно, что до начала славянской колонизации Балканского полуострова (т. е. до VI в. н. э.) предки современных южных славян населяли равнины Дакии и Паннонии, склоны карпатских гор, на которых можно было заниматься земледелием. Мощная славянская колонизация Нижней и Верхней Мизии, Хемуса, Фракии, Македонии, Греции (не только Эпира и Фессалии, но и южных областей до самого Пелопоннеса), Малой Азии, позже западных районов Балканского полуострова привела к резкому сокращению славянского этнического элемента в областях между Дунаем и северными отрогами Карпат, к ослаблению, а позже и к прекращению контактов южных славян со своими северными сородичами. Однако наши предшественники в изучении этих контактов не различали элементов еще праславянского периода от поздних заимствований, собственно южнославянских фактов от общих черт, восходящих к ассимилированным индоевропейским языкам. Эти существенные ошибки Погорелова и других исследователей нам были ясны в самом начале работы. Однако

мы вместе с этими учеными не знали, что многие так называемые «южнославянизмы» в юго-западных говорах Украины хорошо известны волынским говорам украинского языка, западным говорам Полесья, ряду северо-западных говоров русского языка. Это относится не только к лексике, но затрагивает и семантическую сторону. Уже позже для нас стало ясно, что некоторые семантические сдвиги в терминологии горного ландшафта, которые мы связывали с карпатской миграцией славян, в действительности хорошо известны и в других районах (и не только в горных). В этом отношении неоценимую помощь нам оказала Полесская экспедиция, во главе которой стоял Н. И. Толстой. Толстой принимал активное участие в решении многих задач КДА, участвовал в обсуждении программы КДА. Это помогло ему обратить внимание на те факты в полесских говорах, которые в карпатских говорах относятся к заимствованиям из южнославянских языков (подробнее об этом см. ниже). Теперь уже совершенно очевидно, что решение поставленной в КДА основной задачи возможно лишь при всестороннем изучении всех аспектов языковой интерференции между северными отрогами Карпат и Дунаем с широким привлечением данных не только южнославянских, но и северославянских говоров, в ряде случаев далеко расположенных от Карпат. Необходимо учитывать и скудные остатки древних индоевропейских языков. Таким образом, в настоящее время довольно четко вырисовывается проблематика так называемого карпатского языкознания. Изучение, например, румынского языка может быть предметом романского языкознания, балканистики (румынский язык входит в «балканский языковый союз») и карпатского языкознания. В языковой ситуации карпатской зоны румынский язык играл очень большую роль.

Карпатское языкознание — большая и сложная область нашей науки. Главные задачи — проведение частных исследований отдельных вопросов, тщательный сбор различных материалов по надежным программам, составление общих и региональных лингвистических атласов, этимологические и топонимические исследования. Параллельно со всеми этими исследованиями необходимо решать и общие проблемы карпатского языкознания. Только они могут объединить итоги всех частных исследований и способствовать развитию всего карпатского языкознания в целом. Польский атлас Подкарпатья К. Нитча и М. Малэцкого, содержащий ценные факты для решения многих вопросов карпатского языкознания, был опубликован еще в 1934 г., но до сих пор в этом отношении использовался недостаточно (см. работы С. Лукасика, Э. Врабие и др.).

В последние годы завершены важные труды по отдельным разделам карпатского языкознания. Естественно, что большое внимание уделяется терминологии горного пастушеского скотоводства, которое принадлежит к традиционным местным занятиям. Лингвисты, историки и этнографы особое внимание уделяют тем

процессам, которые в той или иной степени связаны с так называемой валашской колонизацией[9].

Основными единицами, с которыми имеет дело исследователь проблем языковой интерференции на Карпатах, являются карпатизмы и балканизмы. В большинстве случаев эти элементы обнаруживаются в корневой части слова, в ее значении, в суффиксальных морфемах, в некоторых синтаксических конструкциях. Они отсутствуют в словоизменительных частях слова, так как в каждом языке карпатизмы и балканизмы подчиняются законам своей морфологии. Трудно с полной уверенностью говорить о фонетических карпатизмах.

Карпатизмы формировались в начальные периоды истории современных языков и диалектов карпатской зоны (первое тысячелетие н. э.). В этимологическом отношении они представляют разнородный материал.

В первом тысячелетии н. э. на территории Карпат были ассимилированы древние индоевропейские языки. К сожалению, от древних языков Дакии и Паннонии сохранились весьма скудные данные. Речь идет о языке даков и гетов. Выявление среди карпатизмов древних субстратных явлений представляет большие трудности. Практически их приходится устанавливать по методу остатков. Вслед за большинством ученых мы исходим из предположения, что со времени неолита Балканы и Карпаты были заселены племенами индоевропейского происхождения. Если карпатизмы не этимологизируются с помощью известных нам древних и современных языков балканской и карпатской зон, мы условно причисляем их к дакийским элементам. В большинстве случаев эти же элементы обнаруживаются и в языках к югу от Дуная, что свидетельствует о близости языков даков и балканских фракийцев. Есть все основания говорить об единстве того древнего субстрата, на основе которого сформировался «балканский языковый союз» и его северная (карпатская) периферия. При решении данной проблемы нельзя не учитывать тех древнейших особенностей, которые объединяют румынский и албанский языки. Со времени первых наблюдений А. Филиппиде в этом направлении сделано много. Конечно, это имеет значение прежде всего для решения вопросов происхождения румынского языка, для выяснения генетических связей дако-мизийского и древнеалбанского. Однако эти факты необходимо учитывать и исследователю карпатизмов.

Имеется один древний этнический элемент, который необходимо учитывать в большей степени карпатологу, нежели собственно балканисту. Речь идет о кельтском наследии. Хорошо известно,

---

[9] См. V. Chaloupecký. Valaši na Slovensku. Praha, 1947; D. Krandžalov. Valaši na Moravě. Materiály, problémy, metody. Praha, 1963; A. Vašek. Jazykové vlivy karpatské salašnické kolonizace na Moravě. Praha, 1967; Его же. Sur la méthodologie des recherches carpatologiques linguistiques. «Romanoslavica», XIV. București, 1967, и др.

что кельты проникали во внутренние районы Балканского полуострова. Однако заметных следов в языках местного населения они здесь не оставили. Со следами кельтской культуры на Балканах имеют дело лишь археологи, которые обнаруживают в различных районах кельтские поселения. Кельты здесь были ассимилированы фракийцами задолго до появления на Балканах первых славян [10]. Иной была роль кельтов в жизни народов Карпат и многих областей Центральной Европы (например, Чехии). В течение длительного времени основным населением провинции Норик были кельты, которые в первые века христианской эры испытали глубокое воздействие римской цивилизации и латинского языка. Именно здесь римляне проводили политику интенсивной урбанизации, в результате которой все местное кельтское население было романизовано. «В то время как в соседних областях, Ретии и Паннонии, либо вовсе не имеется памятников латинского языка, либо их находят только в более крупных центрах, — долины Дравы, Мура, Зальцаха и их притоков, вплоть до горного хребта, изобилуют памятниками глубоко проникшей романизации. Норик был преддверием и до известной степени частью Италии; пока легионы и преторианская гвардия формировались преимущественно из италийцев, Норику принадлежало в этом отношении первое место предпочтительно перед остальными провинциями» [11]. Романизованное население из Норика позже передвинулось на восток и заселило Верхнюю Паннонию. Возможно, что именно здесь нужно искать истоки той восточно-романской речи, которая из Трансильвании распространилась по всей Дакии и в смежных с ней областях. Не следует забывать, что почти всюду романские языки сформировались на к е л ь т с к о м субстрате. Интенсивная и глубокая романизация северной Африки не привела к созданию здесь романских языков.

Языковые следы кельтского субстрата через романскую речь проникли во многие языки карпатского ареала. Кельтское происхождение ряда карпатизмов не вызывает сомнений. Однако в некоторых районах карпатской зоны кельтское влияние могло быть непосредственным (не через восточнороманскую речь). Хорошо известно, что в первые века н. э. кельтское влияние имело место на территории юго-западной Польши и Верхней Силезии [12].

---

[10] Т. Г е р а с и м о в. Келтските етнически наслоения в българските земи. «Етногенезис и културно наследство на българския народ». София, 1971, стр. 40.

[11] Т. М о м м з е н. История Рима V. Провинции от Цезаря до Диоклетиана. М., 1949, стр. 175. О значительных следах кельтского влияния на территорию Норика и Верхней Паннонии в античное время см. R. K a t i t i č. Keltska osobna imena u antičkoj Sloveniji. — «Archeološki vestnik», XVII. Ljubljana, 1966, стр. 145—167.

[12] Подробнее см. T. L e h r-S p ł a w i ń s k i. Kilka uwag o stosunkach językowych celtycko-prasłowiańskich. «Rocznik Sławistyczny», t. XVIII, cz. 1, 1956, стр. 1—10; V. M a c h e k. Zur Frage der slawisch-keltischen sprachlichen Beziehungen. «Studia linguistica in honorem T. Lehr-Spławiński», 1963, стр. 109.

Еще сильнее и интенсивнее оно было в Богемии, где первые славянские поселенцы застали еще многочисленное кельтское население. Разграничить среди карпатизмов указанные две группы кельтизмов не просто. Дело в том, что некоторые кельтизмы могли проникнуть позже в румынский язык из славянских.

Среди карпатизмов велик процент слов романского происхождения. В этом нет ничего удивительного. Этот процент отражает ту большую роль, которую играла романская речь в областях к северу от Дуная. Носители романской речи на территории Дакии и Паннонии издавна принадлежали к тому мобильному этническому элементу, который проникал в различные районы карпатской зоны. В формировании общих черт в языках карпатского ареала романская речь играла выдающуюся роль. Конечно, не все местные романские элементы могут быть причислены к карпатизмам, т. е. к тем элементам, которые восходят к периоду формирования современной языковой карты Карпат. Влияние романской речи было очень длительным и в различные исторические периоды принимало разнообразные формы.

Неоднократно делались попытки преуменьшить роль романской речи в тех процессах языковой интерференции, которые привели к формированию на Карпатах определенного комплекса языковых тожеств. В этом отношении прежде всего необходимо назвать труды чешского балканиста историка Д. Кранжалэ, автора многих работ о роли румынского этнического элемента на Карпатах [13]. На основе разнородного материала ученый пытался доказать, что романский этнический и языковый элементы не могли оказать существенного влияния на ход этнической и языковой истории на Карпатах. Лингвистические доказательства Кранжалэ очень слабы. В данном докладе я лишен возможности показать это на анализе конкретного материала. Это будет сделано в монографии. Анализу работ Кранжалэ будет уделена специальная глава, несмотря на то, что многие положения ученого были уже убедительно опровергнуты балканистами разных стран.

Иной была роль романского (латинского) этнического и языкового элементов в формировании «балканского языкового союза», в тех процессах языковой интерференции, которые происходили в первые века н. э. на территории Верхней и Нижней Мизии, Македонии и соседних областей. Объясняется это тем, что романизация Балканского полуострова за исключением Далмации была поверхностной и не привела к ассимиляции местного населения.

О римской экспансии в различные районы Балканского полуострова существует большая литература. Это легко понять, так как многие балканские провинции играли важную роль в экономических, политических, военно-стратегических и демографических

---

[13] См. Dumitru Crânjală. Rumunské vlivy v Karpatech se zvláštním zřetelem k Moravskému Valašsku. Praha, 1938; Его же. Valaši na Moravě. Materiály, problémy, metody. Praha, 1963, и др.

планах Рима, начиная со II в. до н. э. К районам ранней романизации относилась Македония, которую римляне позже использовали «как базу для своего проникновения в остальные части полуострова» [14]. Большое значение Рим придавал северным провинциям полуострова, Верхней и Нижней Мизии. Здесь, особенно вдоль всего южного побережья Дуная, были расположены многочисленные укрепленные пункты, военные поселения. Велик здесь был процент пришлого населения в городах. Многочисленные местные эпиграфические памятники на латинском языке говорят о большой роли латинского языка в культурной жизни жителей данного района. Все эти давно и хорошо известные факты послужили основой для гипотезы, согласно которой уже в первые века н. э. фракийцы были романизованы, фракийский язык был поглощен балканским вариантом народной латыни. Этот взгляд разделялся многими крупнейшими учеными XIX в., имеются его сторонники и в настоящее время. Однако в распоряжении историков были факты иного рода, которые свидетельствовали, что в период римской экспансии в легионах собственно романский элемент играл ничтожную роль, что завоеванные балканские провинции заселялись выходцами главным образом из Малой Азии. О плохом знании латинского языка римскими солдатами и колонистами сохранилось несколько свидетельств. Все это дало основание еще Т. Моммзену утверждать, что условий для глубокой романизации Мизии не существовало. Он иронически пишет об апостолах римской цивилизации римских солдатах, которые в Мизии не могли быть проводниками латинской культуры и латинского языка. Они оставляли «достаточно места для прежних примитивных условий быта» [15].

Среди балканистов-лингвистов теория о быстрой и полной ассимиляции фракийцев римскими колонистами получила широкое распространение благодаря авторитету В. Томашека. Близок к нему был К. Иречек, который, однако, в отличие от Томашека полагал, что романизация охватила лишь северную часть полуострова. На основании тщательного изучения эпиграфического материала Иречек попытался установить границу между романизованным и эллинизированным коренным населением Балканского полуострова.

Исследования последних двух десятилетий заставили коренным образом пересмотреть точку зрения Томашека и других, согласно которой фракийский язык был ассимилирован задолго до появления на Балканах первых славян (т. е. до VI в. н. э.). Подводя итоги этим исследованиям, Б. Геров с полным основанием пишет: «Но как эллинизация к югу от Балканских гор, так и ро-

---

[14] Б. Геров. Въпросът за романизацията на тракийското население в българските земи. «Етногенезис и културно наследство на българския народ». София, 1971, стр. 33.

[15] Т. Моммзен. Указ. соч., стр. 187.

манизация к северу не затронула глубоко народную фракийскую массу. Она продолжала пользоваться своим родным языком, почитать свои божества и хранить свои обычаи»[16].

Сомнения в истинности старой точки зрения начались давно. Недавно стало известно письмо Иречека Л. Милетичу от 4 января 1903 г., в котором знаменитый венский балканист пишет: «Прошлой зимой я занимался одним вопросом: до какого времени существовал язык старых фракийцев. Теперь я совершенно уверен, что на фракийском языке говорили еще в VI в. и что были священное письмо и церковные книги, переведенные на фракийский язык. Об этом имеются сведения в некоторых житиях и описаниях путешествий в святые земли в это время. Покойный Томашек хотел доказать, что lingua bessa был романским языком, но сами памятники в наиболее достоверных списках показывают, что это не так»[17].

Я лишен возможности в своем докладе приводить новейшую аргументацию в пользу того положения, что славяне в VI веке н. э. вошли на Балканах в контакт с местным фракийским населением, которое еще сохраняло свой язык и свой уклад жизни. Это убедительно, например, показано В. Бешевлиевым на анализе личных имен у фракийцев[18]. Не менее убедительно об этом свидетельствуют архаические элементы материальной и духовной культуры болгарского народа. Об этом, наконец, говорит фракийский субстрат «балканского языкового союза». Сторонники Томашека придавали большое значение наличию обширного эпиграфического материала на латинском языке. Фактически это был их основной аргумент. Я должен согласиться с проф. Бешевлиевым, который с полным основанием указывает на шаткость и неубедительность этого довода. «Насколько ошибочно делать заключение на основе надписей о языке самого населения показывают многочисленные надписи на турецком языке в Болгарии до ее освобождения, число которых далеко превосходит число надписей на болгарском языке в этот же период. На основе только турецких надписей можно было бы утверждать, что болгарский народ был полностью отуречен»[19].

Современное состояние изучения роли романского элемента в этнической и языковой истории народов Балканского полуострова дает основание окончательно отвергнуть ту теорию происхождения румынского народа, родоначальником которой был Ф. Зульцер и которую разделяли многие крупные балканисты прошлого: Р. Рёслер, Ф. Миклошич, К. Иречек и др. Речь идет о так называемой балканской теории, согласно которой романские корни румынского народа нужно искать к югу от Дуная. Все приверженцы этой

---

[16] Б. Геров. Указ. соч., стр. 34.
[17] П. Миятев. Из архивата на К. Иречек. София, 1953, № 242.
[18] В. Бешевлиев. Проучвания върху личните имена у траките. София, 1965.
[19] Там же, стр. 94.

теории исходили из того непреложного для них факта, что романизация Мизии была длительной и глубокой. Она должна была оставить заметные следы в этнической и языковой истории болгарского народа (прежде всего в северной Болгарии). Однако следы эти весьма поверхностны, и нет никакой уверенности в том, что они восходят ко времени римской экспансии в Мизию. Следует учитывать возможность проникновения отдельных элементов романской речи в позднее время из румынского языка. На этом основании был сделан вывод, что старое романизованное население покинуло Мизию и переселилось в Дакию.

Велико значение в карпатской проблематике славянского аспекта не только потому, что среди карпатизмов много славянских элементов, но и потому, что в процессах этнической и языковой истории славян Карпаты и прилегающие к ним районы играли значительную роль. В течение длительного времени здесь шел процесс формирования отдельных праславянских диалектов, между которыми в различные периоды устанавливались сложные взаимоотношения. Это был тот район, где нарушалось четкое противопоставление основных славянских языковых групп и возникали новые этнические и языковые образования, характеризующиеся сочетанием разнородных признаков. Здесь создавался особый славянский языковый континуум, отдельные элементы которого уже позже пережили сложные трансформации. В иных исторических условиях на Карпатах могла бы сформироваться самостоятельная славянская языковая группа, в которой гетерогенные диалектные признаки представляли бы внутреннее единство. Этого не произошло в результате балканской миграции славян и ассимиляции оставшихся здесь славян румынами и венграми. Северная периферия карпатского континуума вошла в сферу воздействия восточных и западных славян.

Выше уже шла речь о так называемых южнославянизмах в юго-западных украинских говорах. Они характеризуют в той или иной степени языки карпатского ареала. «Южнославянизмами» их можно считать лишь с позиции литературных языков: они хорошо известны болгарскому и сербохорватскому литературным языкам, но отсутствуют в русском и украинском литературных языках. Как мы видели выше, именно так эту проблему решал В. Погорелов. При сравнении на диалектном уровне картина могла бы измениться коренным образом: многие карпатские «южнославянизмы» известны восточно-славянским говорам за пределами карпатской зоны и отсутствуют во многих говорах болгарского и особенно сербохорватского языков. Следует иметь в виду, что южнославянские языки сформировались уже на Балканах, в результате взаимодействия определенной группы праславянских диалектов с местными языками. Эти праславянские диалекты в карпатский период их жизни вместе с праславянскими диалектами северной зоны нельзя рассматривать с позиции современной славянской языковой карты, через призму современного языкового

мира, современных языковых отношений, современных классификационных критериев. Пользуясь современными данными, данными памятников письменности и топонимики, можно в какой-то степени восстановить некоторые признаки тех праславянских диалектов, которые оставили глубокий след в языках и диалектах карпатского ареала. Особо следует учитывать материал южнославянских языков, так как эти признаки в этих языках представлены полнее и шире. Лишь в этом смысле определенную группу славянских карпатизмов можно условно относить к «южнославянизмам».

Карпатизмы славянского происхождения формировались в поздний период истории праславянских диалектов в связи с карпатской миграцией славян. Процесс этот был сложным и длительным. Начало его относится к III—IV вв. н. э., завершение — к IX—X вв. н. э.

После балканской миграции славян установилась обширная языковая непрерывность от северных отрогов Карпат до южных районов Балканского полуострова. Именно после VI в. н. э. славянские говоры карпатского ареала получили выход на Балканы, где они пережили существенные трансформации. В связи с этногенетическими процессами в Дакии и Паннонии после VI в. н. э. начался длительный период постепенного разобщения славянского населения, обитавшего к северу и к югу от Дуная. Одновременно начался интенсивный процесс сближения северных говоров карпатского ареала с северной славянской языковой зоной.

Сравнительное изучение современных славянских говоров Карпат и говоров болгарского и сербохорватского языков (эта проблема пока еще не получила всестороннего освещения) как будто дает основание утверждать, что разобщение славянского населения Карпат и Балкан охватило прежде всего латеральные зоны. Наиболее устойчивой связь была в центральном районе. Очень решительно это положение было высказано мной еще в 1963 г. в статье «Карпатский диалектологический атлас». Там я писал: «Если говорить о болгарских говорах, то здесь особое значение приобретают северо-западные говоры Болгарии. Эти говоры имеют наибольшее число «карпатизмов». Близки к ним в этом отношении восточные, северо-восточные и центральные говоры штокавского диалекта сербохорватского языка. Именно центральный район северной границы южнославянского ареала в наибольшей степени связан с центральным районом южной границы северо-восточного ареала»[20]. Должен, однако, заметить, что в моем распоряжении имеется скудный материал, подтверждающий высказанную мысль. В этом направлении предстоит еще большая работа. Необходимо по программе КДА собрать материал из различных районов Болгарии и Югославии. Мы надеемся, что в этом нам окажут помощь диалектологи этих стран. Собранные материалы помогут осветить многие важные явления из истории южнославянских языков.

---

[20] С. Б. Бернштейн. Карпатский диалектологический атлас, стр. 81.

Диалектологические экспедиции последних лет, новые словарные материалы показали, что северная карпатская зона гораздо теснее связана с северным языковым массивом, нежели это представлялось прежде. Многие карпатские «южнославянизмы» идут далеко на север.

О связях говоров карпатского района с говорами северных областей до начала работы над КДА мы знали мало. В описаниях подольских и волынских говоров украинского языка уже давно фиксировались отдельные карпатизмы, но объяснить их здесь было не трудно. Известны были отдельные «южнославянизмы» в русских и кашубских говорах. О широком распространении на большой восточнославянской территории отдельных технических карпатизмов было известно и раньше. Речь идет главным образом о пастушеской терминологии (ср. *кошара*, *обора*, *куча* и под.). На начальной стадии работы над КДА мы безо всяких колебаний слова типа *луспа* 'чешуя рыбы', *дойка* 'дойная корова', *правий* 'прямой', *бабин* 'ласковое обращение бабушки к внуку', *михур*, *михирь* 'волдырь, пузырь', *бавний* 'медленный' и мн. др. считали теми элементами карпатской народной речи, которые генетически должны быть отнесены к южнославянским. Неожиданными оказались результаты полесской экспедиции.

Все перечисленные выше примеры (число подобных примеров велико) представлены в тех же или близких значениях в говорах Полесья [21]. В последние годы в связи с интенсивным изучением русской диалектной лексики аналогии карпатизмам обнаруживаются во многих северо-западных русских говорах.

В настоящее время мы знаем много лексем, семем, словообразовательных структур, которые объединяют западный диалектный пояс восточнославянских языков с карпатским и южнославянским языковым континуумом. Нет сомнений, что причину этого явления нужно искать в истории взаимоотношений праславянских диалектов второй половины I тыс. н. э. Нужно продолжать сбор материала, его тщательную обработку и всесторонний анализ. Полагаю, что мы еще не располагаем хорошо обработанным материалом, на основе которого можно было бы уже объяснить наличие специфических лексических элементов в латеральной (западной) зоне восточнославянских языков, в языках карпатского ареала, в южнославянских языках. Очевидно лишь, что наша дальнейшая работа должна идти в тесном контакте со специалистами по восточнославянской диалектологии.

Широкое поле деятельности открывается перед специалистами по западнославянской диалектологии. Польские диалектологи неоднократно отмечали наличие типичных карпатизмов в польских говорах. Только учитывая карпатскую языковую ситуацию, можно, наконец, решить вопрос о генезисе южных малопольских говоров, об их древних истоках, об «южнославянизмах» в сред-

[21] Н. И. Толстой. Об изучении полесской лексики. «Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря». М., 1968, стр. 13—16.

несловацких говорах и многое другое. Таким образом, изучение карпатизмов, их генезиса и территории их распространения перерастает узкие рамки карпатского языкознания и становится одной из важнейших задач славянского языкознания вообще. Совершенно согласен с проф. М. Карасем, что «создание специального карпатского атласа, охватывающего все языки этого района, независимо от их происхождения, является делом полезным и очень нужным для исследования истории этого района, а также отношений между отдельными славянскими языками» [22].

Последняя завершающая глава коренных этнических трансформаций на Карпатах связана с появлением здесь в конце IX в. н. э. нового этнического элемента. Речь идет о венграх, которые в конце IX в. появились в Паннонии, где они ассимилировали старое славянское население. Дискуссионного вопроса об языке этого населения в настоящем докладе касаться не буду. Этот специальный вопрос будет освещен в монографии.

Венгры на новом месте жительства испытали чрезвычайно глубокие трансформации не только в области языка, народного быта, но и в экономическом укладе, в социально-политической структуре общества. Скотоводство рано утратило номадный характер, основным занятием стало земледелие.

В общекарпатских этнических и языковых интерференциях венгры сыграли сравнительно небольшую роль. Объясняется это различными причинами. Венгры появились на Карпатах поздно. К концу I тыс. н. э. в основном уже сформировалась современная этническая и языковая карта данного района. Оседлое земледелие и равнинное скотоводство не вынуждали крестьянское население покидать насиженные места. На уровне основного крестьянского населения венгры представляли собою более замкнутую структуру, нежели румыны. В разные исторические периоды происходили изменения этнических границ венгерского народа, но они обусловливали лишь частные языковые контакты (венгерско-украинские, венгерско-словацкие и др.). Более важными и существенными были результаты венгерско-румынских контактов, но и они не сказались существенно на формировании карпатизмов [23].

Тем не менее среди карпатизмов мы находим слова венгерского происхождения. Они формировались не в крестьянской среде. Об этом свидетельствует сам состав венгерских карпатизмов. Примечательно, что основная их масса относится к торговле, городу, политической терминологии. Это хорошо известные на обширной

---

[22] М. Карась. Из карпатской лексики. «Исследования по славянскому языкознанию». М., 1971, стр. 409.

[23] Вопросы хронологии венгерско-румынских контактов недавно были рассмотрены Б. Келеменом в статье: Cu privire la începutul influenței maghiare asupra limbii române. — «Cercetări de lingvistică», XVI, 2. Cluj, 1971, стр. 231 и сл. Большой и новый материал, характеризующий венгерско-украинские языковые контакты в Закарпатской Украине, содержит лингвистический атлас П. Н. Лизанца — «Magyar-ukrán njelvi kapcsolatok» (Ужгород, 1970).

территории венгерские карпатизмы vám 'пошлина', marha 'скот, товар', gazda 'хозяин', varos 'город' и др. Не все венгерские карпатизмы имеют угро-финскую этимологию, но все они в языки карпатского ареала проникли из венгерского языка. Некоторые венгерские карпатизмы получили широкое распространение в языках Балканского полуострова. Грамматических карпатизмов венгерского происхождения нет.

В этнической истории Дакии и Паннонии не малую роль играли различные народности германского происхождения: гепиды, готы и др. Однако их следы в языках карпато-дунайского бассейна ничтожны. Значительнее роль немецкого (верхненемецкого) языка. Карпатизмы германского происхождения утвердились здесь через другие языки (ср. указанный выше венгерский карпатизм marha).

Сложной и многогранной была этническая история народов карпатского ареала во втором тысячелетии н. э. В первой половине этого периода была завершена ассимиляция славянского населения Дакии и Паннонии. Существенно менялись языковые границы, имели место перемещения отдельных этнических групп, появились новые народности (например, немцы, евреи и цыгане).

Наиболее важной для языковой истории народов Карпатского района в этот период была значительная колонизация земель к северу от Дуная задунайскими переселенцами, вызванная главным образом турецким завоеванием Болгарии и Сербии. Первые беженцы не оказали существенного влияния на этническую и языковую ситуацию в странах к северу от Дуная. В основном это были представители высших слоев феодальной Болгарии и Сербии: горожане и духовенство. С конца XVI в. начинается интенсивное перемещение крестьян во многие области Большой и Малой Валахии, позже Баната. Они принесли с собою многие новые языковые особенности, которые получили распространение в языках карпатского ареала. Это б а л к а н и з м ы, которые еще теснее сблизили языки народов Карпато-Дунайского бассейна. Большую роль в сближении этих языков играло номадное пастушество. «В скотоводческом словаре карпатских славян (украинцев, поляков, словаков) имеется много балканских элементов, которые представляют собою румынские (романские) слова или слова, которые румыны заимствовали из других балканских языков (среди них и южнославянских)»[24].

В этимологическом отношении балканизмы весьма разнородны. Большое место среди них занимают турцизмы. Непосредственное влияние турецкого языка на языки карпатского ареала было слабым. Несмотря на это, турцизмы получили весьма широкое распространение на большой территории Карпато-Дунайского бассейна. Примечательно, что состав турцизмов почти всюду тождествен. Принесли сюда турцизмы болгарские крестьяне, ремес-

[24] З. Г о л о м б. Генетички врски меѓу карпатската и балканската сточарска терминологија и улогата на словенскиот елемент во ова подрачје. «Македонски јазик», X кн. 1—2, 1959, стр. 22.

ленники, торговцы, балканские пастухи разной этнической принадлежности.

Разграничение карпатизмов и балканизмов на собственно славянском материале не всегда может быть осуществлено. Здесь в первую очередь следует учитывать семантику. Так, нет сомнений, что хорошо известное на Карпатах слово griža следует считать карпатизмом, несмотря на то, что оно встречается во всех болгарских говорах. Дело в том, что в языках карпатского ареала это слово сохраняет более древнюю семантику [25].

Значителен процент среди балканизмов слов новогреческого и албанского происхождения. Велика роль в их распространении балканских пастухов номадов. В XVI—XVII вв. высокогóрное овцеводство получает значительное развитие как на Балканах, так и на Карпатах. Пастухи номады свободно перемещались со своими стадами на значительные расстояния, не считаясь с государственными границами. Они даже пользовались особым покровительством турецкой администрации, которая оказывала им помощь при переходе через реки. Они пасли свои стада не только на Динарских горах, в горах Албании и северной Греции, Болгарии, но и заходили далеко на север от Дуная. В этот период кочевое овцеводство связывало экономически обширный район юго-восточной Европы от Пинда и Олимпа до северных Карпат. Это наложило глубокий отпечаток и на языки. Многие элементы балканских языков глубоко проникли в языки карпатского ареала, еще крепче объединив их.

Геологи и географы уже давно всесторонне изучают геоморфологическую структуру Карпат и прилегающих к ним районов. Уже велик вклад в общее карпатоведение этнографов, которые выявили и исследовали ряд существенных общих и локальных явлений материальной и духовной культуры народов карпатского ареала. К сожалению, в этой работе не участвуют лингвисты. Это наносит серьезный ущерб не только карпатскому языкознанию в целом, но и изучению отдельных языков и диалектов. В развитии карпатского языкознания должны быть заинтересованы не только карпатологи и балканисты, не только слависты, романисты и финно-угроведы, но и специалисты по отдельным языкам карпатской зоны. Большой интерес изучение проблем языковой интерференции на Карпатах представляет для теории языковых союзов, структурной типологии и других проблем общего языкознания. Я выражаю надежду, что на нашем VII съезде славистов мы не ограничимся только общим обменом мнений по вопросам карпатского языкознания, но и примем конкретную программу совместных исследований. Это, конечно, потребует решения ряда важных организационных вопросов.

---

[25] См. С. Б. Бернштейн. Из «Карпатского диалектологического атласа». «Lingua viget». Helsinki, 1965, стр. 19—24.

А. В. БОНДАРКО

КАТЕГОРИИ И РАЗРЯДЫ СЛАВЯНСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ

(морфологические категории и лексико-грамматические разряды)

В теории функциональной морфологии, в частности применительно к славянским языкам, одним из наиболее существенных является понятие морфологической категории. В данной работе это понятие рассматривается в сопоставлении с понятием лексико-грамматических разрядов (ср. глагольный вид и способы действия; число и разряды собирательных, вещественных, отвлеченных и конкретных имен существительных и т. п.).

Рассматриваемые категории и разряды — это языковые системы и группировки, являющиеся предметом лингвистического анализа; понятия же, отражающие свойства этих объектов, становятся элементами науки, которая их изучает; имея в виду такие понятия, можно говорить о категориях и разрядах морфологии.

О функциональной морфологии речь идет потому, что изучается соотношение функции и структуры; сопоставляются единства, которые могут взаимодействовать на функциональной основе, но отличаются друг от друга типом структурной организации, характером языкового — собственно грамматического или лексико-грамматического — выражения.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Начнем с более распространенного понятия — грамматической категории. Существует более широкое и более узкое понимание грамматической категории. При более широком понимании признается допустимым использовать данный термин по отношению к таким языковым явлениям, как имя существительное, класс мужских одушевленных имен существительных, инфинитив, подлежащее, придаточное предложение, спрягаемый глагол, время, настоящее время и т. д.[1] Термин «грамматическая категория» при таком его использовании охватывает настолько разнородные явления, что оказывается невозможным определить совокупность тех черт, которые объединяли бы их и отличали от иных объектов в области грамматики.

[1] См. М. Докулил. К вопросу о морфологической категории. — ВЯ, 1967, № 6, стр. 4—5.

Мы отдаем предпочтение более узкому пониманию грамматической категории, ограничивающему область таких категорий системами собственно грамматических форм [2]. По отношению к таким явлениям, как наклонение, время, лицо, число, мы используем термин «морфологическая категория» [3]. При этом подразумевается, что грамматические категории могут быть морфологическими и синтаксическими. Понятие синтаксической категории пока еще разработано недостаточно, однако нужно признать необходимость «отведения места» для такого понятия. Нет никаких оснований отрицать возможность определения его существенных признаков при той общей посылке, что морфологические и синтаксические категории рассматривались бы как видовые понятия по отношению к грамматической категории как понятию родовому [4].

Как известно, существуют две точки зрения на грамматические категории в их отношении к планам содержания и выражения. Одни ученые рассматривают грамматическую категорию как явление двустороннее, охватывающее не только грамматическое значение, но и формальные средства его выражения [5]. Другие трактуют грамматическую категорию лишь в плане содержания, т. е. как значение, хотя обычно и отмечают, что это значение соотнесено с определенными средствами формального выражения [6]. Первая точка зрения представляется более убедительной, так как она соотнесена с билатеральной концепцией языкового знака [7] и с общей трактовкой языка как двустороннего явления. Включение в дефиницию грамматической категории указания на свой-

---

[2] См., например, А. И. Смирницкий. Аналитические формы. — ВЯ, 1956, № 2, стр. 44; Д. А. Штелинг. О неоднородности грамматических категорий. — ВЯ, 1959, № 1, стр. 56, 63; О. С. Ахманова. Фонология, морфонология, морфология. М., 1966, стр. 88—92.

[3] Разумеется, это не исключает возможности характеристики таких категорий как грамматических и использования соответствующего более общего термина.

[4] Заслуживают внимания попытки дать определение этого родового понятия: см., например, К. Г. Крушельницкая. Грамматические значения в плане взаимоотношения языка и речи. Сб. «Язык и мышление». М., 1967, стр. 217—218; Zb. Gołąb, A. Heinz, K. Polański. Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa, 1968, стр. 283.

[5] См., например, Л. В. Щерба. О частях речи в русском языке. Сб. «Русская речь». Новая серия, вып. II. Л., 1928, стр. 7; B. Havránek. Genera verbi v slovanských jazycích. I. V Praze, 1928, стр. 6, 13—15; А. И. Смирницкий. Синтаксис английского языка. М., 1957, стр. 29; Б. Н. Головин. О типах, структуре и системе грамматических категорий. Сб. «Материалы по русско-славянскому языкознанию». Воронеж, 1963, стр. 301; М. М. Гухман. Грамматическая категория и структура парадигм. Сб. «Исследования по общей теории грамматики». М., 1968, стр. 121—124.

[6] См., например, А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка, изд. 2-е. Л., 1941, стр. 420—421, 432—434; Современный русский язык. Морфология. М., 1952, стр. 27—29; Грамматика современного русского литературного языка. Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 1970, стр. 302—303, 317.

[7] См. М. Докулил. Указ. соч., стр. 5—6.

ственную ей структурную организацию, на формы выражения категориальных значений очень важно. Такая дефиниция позволяет отличить грамматические категории от оппозиций лексико-грамматических разрядов и вообще от любых оппозиций, не опирающихся в данном языке на специальную систему грамматических форм (ср., например, грамматическую категорию определенности-неопределенности в болгарском языке и оппозицию значений определенности-неопределенности в русском языке, по отношению к которому в данном случае нет оснований говорить о грамматической категории).

Морфологические категории в славянских языках и в других языках представляемого ими типа мы рассматриваем вслед за многими исследователями как системы противопоставленных друг другу рядов грамматических (морфологических) форм с однородным значением[8].

К числу морфологических категорий в славянских языках относятся категории времени, наклонения, лица, вида, рода, числа, падежа (в данной категории есть не только морфологическая, но и синтаксическая сторона, однако по своей структуре и средствам выражения падеж является морфологической категорией), степени сравнения прилагательных и наречий. В болгарском и македонском языках этот перечень дополняется категорией определенности-неопределенности, представленной оппозицией форм с постпозитивным членом и общих форм; в этих же языках существует категория пересказывания, которая может быть истолкована как особая морфологическая категория, конституируемая противопоставлением пересказывательных и общих форм глагола. Особое место во всех славянских языках занимает категория залога, имеющая сложное морфолого-синтаксическое выражение; к морфологическим категориям залог имеет отношение лишь постольку, поскольку он выражается глагольными морфологическими образованиями.

Из проблематики морфологических категорий основное внимание в этой работе сосредоточено на вопросе об их структуре[9].

Структуру морфологической категории образуют ее компоненты — ряды грамматических (морфологических) форм (таковы, например, ряды форм повелительного, сослагательного и изъявительного наклонения как компоненты категории наклонения)

---

[8] В русской грамматической традиции эта точка зрения восходит к концепции А. М. Пешковского (см. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956, стр. 23—29). Ср. также А. И. Смирницкий. Синтаксис английского языка, стр. 28—31.

[9] Интересный анализ функций морфологических категорий дан в кн.: С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, стр. 17—94; наша трактовка семантического содержания морфологических категорий представлена в кн.: А. В. Бондарко. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971, стр. 76—113.

и отношения между этими компонентами — грамматические оппозиции разных типов.

Ряд грамматических (морфологических) форм [10], являющийся компонентом морфологической категории, может быть назван термином «граммема» [11]. Если включить этот термин в определение морфологической категории, то оно получит следующий вид: морфологическая категория — это система противопоставленных друг другу граммем с однородным значением [12].

Граммема как компонент определенной морфологической категории — это ряд форм, которые различаются с точки зрения других категорий, присущих данной части речи, но объединяются значением члена данной категории и противостоят рядам (ряду) форм со значением других ее членов. Например, граммема 2-го лица глагола — это ряд форм, которые различаются с точки зрения наклонения, времени, вида, залога, числа (одна форма отличается от другой с точки зрения по крайней мере одной из этих категорий), но объединяются значением 2-го лица и противостоят рядам форм со значением 1-го и 3-го лица [13].

Важно подчеркнуть взаимосвязь понятий морфологической категории и граммемы: если морфологическая категория понимается как единство планов содержания и выражения, то и граммема как компонент морфологической категории получает билатеральную трактовку.

В плане содержания граммема представляет собой значение члена определенной морфологической категории, например, зна-

---

[10] В дальнейшем используется термин «морфологическая форма».

[11] Данный термин используется некоторыми авторами для наименования компонентов грамматической категории, однако при этом имеются в виду лишь элементы плана содержания, см. K. Pike. Grammemic theory. «General linguistics», 1957, v. II, № 2, стр. 35—41; М. Янакиев. За грамемите, наричани в българската граматика «сегашно време» и «бъдеще време». «Известия на Института за български език», 8. София, 1962; З. М. Волоцкая, Т. Н. Молошная, Т. М. Николаева. Опыт описания русского языка в его письменной форме. М., 1964, стр. 35; А. А. Зализняк. Русское именное словоизменение. М., 1967, стр. 26—27. Иногда тот же термин используется и в другом смысле — по отношению к совокупности не встречающихся одно без другого элементарных грамматических значений (например, для формы *постучу* это совокупность таких значений, как «непрошедшесть», «совершенность», «индикативность», «нерефлексивность» и т. д.), см. Т. В. Булыгина. Грамматические оппозиции (К постановке вопроса). Сб. «Исследования по общей теории грамматики». М., 1968, стр. 200—203.

[12] Речь идет о значениях, однородных в том смысле, что они представляют собой противопоставленные друг другу разновидности значения одной и той же категории.

[13] Граммема в нашем понимании соответствует «формальной категории» А. М. Пешковского, определяемой им как «ряд форм, различных по своим формальным частям, но совершенно одинаковых по одному какому-нибудь значению. . .» (Указ. соч., стр. 24), а также «категориальной форме» А. И. Смирницкого (Синтаксис . ., стр. 28—32).

чение повелительного наклонения или совершенного вида. Это значение может быть представлено как система дифференциальных семантических признаков [14]. Таким образом, семантически граммема членима. Однако это членение в плане содержания уже не опирается на специальные различия в плане выражения. Каждый из дифференциальных семантических признаков самостоятельного выражения не имеет. Следовательно, как единство планов содержания и выражения граммема далее не членится. В плане содержания она оказывается действительно минимальным элементом (категориальным грамматическим признаком), соотносящимся с определенным комплексом элементов в плане выражения.

В плане выражения граммема как ряд морфологических форм характеризуется определенным комплексом формальных показателей данного значения. Этот комплекс включает в себя морфемы, но не сводится к ним. Так, выражение категориального признака несовершенного вида у производных образований не сводится к суффиксам имперфективации (в сочетании с дополнительными средствами — чередованием и ударением). Как показал Ю. С. Маслов, «рассматривая морфологическую систему выражения вида, следует исходить не из отдельных «морфем вида» как таковых, а из определенной комбинации видовых и невидовых морфем (включая и корневую морфему) в рамках глагольной основы» [15].

Граммема — это ряд морфологических форм, рассматриваемый в отвлечении от того или иного лексического наполнения. Конечно, такой ряд репрезентируется конкретными словоформами (например, ряд морфологических форм глагола со значением мн. числа репрезентируется рядом таких словоформ, как *делаем*, *делаете*, *делают*, *будем делать*, *делайте* и т. д.) [16], однако морфологическая категория конституируется собственно грамматическими рядами, а не рядами конкретных словоформ.

Из того, что граммема представляет собой ряд морфологических форм, вытекает, что мы имеем дело со сложным объектом, имеющим определенную структуру.

Компонент граммемы — морфологическая форма, обладающая категориальным признаком данной граммемы. Например, компоненты граммемы мн. числа имени существительного — форма мн. числа им. падежа, форма мн. числа род. падежа и т. д.; компоненты граммемы винит. падежа имени прилагательного — форма винит. падежа женск. рода ед. числа, форма

---

[14] См. анализ семантического содержания категорий вида и времени в кн.: А. В. Бондарко. Вид и время русского глагола. М., 1971, стр. 10—128.

[15] Ю. С. Маслов. Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке. М.—Л., 1963, стр. 10.

[16] Здесь и далее приводятся примеры из русского языка, однако они могут служить иллюстрацией аналогичных фактов и в других славянских языках.

винит. падежа ср. рода ед. числа и т. д.; компоненты граммемы 2-го лица глагола — форма 2-го лица ед. числа, изъявительного наклонения, настоящего времени, несовершенного вида, действительного залога, форма 2-го лица, мн. числа и т. д.

Для морфологических форм в славянских языках характерна многопризнаковость: морфологическая форма обладает несколькими категориальными признаками. Таким образом, одна и та же форма, соответственно числу категориальных признаков, является компонентом целого комплекса граммем.

Морфологическая форма — это отвлеченно-грамматический аналог словоформы, тот грамматический тип, который репрезентируется словоформами с их конкретным лексическим наполнением (так, приведенные выше формы могут быть репрезентированы такими словоформами, как *кони*, *коней* и т. д.; *красную*, *красное* и т. д.; *рассказываешь*, *рассказываете* и т. д.).

Отношения между формами-членами данного ряда — это прежде всего тождество с точки зрения объединяющего их признака члена данной категории, а также своего рода региональные отношения сходства и различия с точки зрения других категорий, представленных в этих формах. Между членами ряда устанавливаются отношения разной степени близости. Наиболее близкие друг к другу формы образуют особые группировки внутри ряда. Например, среди форм 2-го лица выделяются группировки форм типа *рассказываешь* — *рассказываете*; *расскажи* — *расскажите*; такие формы различаются лишь по признаку ед.-мн. числа, а по всем остальным признакам являются тождественными.

Рассмотрим теперь соотношения морфологических форм, являющихся членами противопоставленных друг другу рядов.

Противопоставление граммем — компонентов определенной морфологической категории может быть представлено в оппозиции любых морфологических форм, являющихся членами этих граммем. Например, противопоставление граммем несовершенного и совершенного вида представлено в оппозициях форм типа *рассказывай* : *рассказали*; *рассказывали* : *расскажи* и т. п.; противопоставление граммем ед. и мн. числа имен существительных представлено в случаях типа *плод* : *плодам*; *плоду* : *плоды*. Однако такая репрезентация является «смешанной»: оппозиция однородных граммем оказывается представленной оппозицией разнородных форм (к противопоставлению по данному признаку примешиваются противопоставления по признакам других морфологических категорий). В наиболее «чистом» виде оппозиция однородных граммем представлена в оппозициях тех форм, которые по всем остальным признакам тождественны, например, в оппозициях форм типа *рассказывай* : *расскажи*; *рассказывали* : *рассказали*; *плод* : *плоды*; *плоду* : *плодам*. В таких случаях оппозиция однородных граммем репрезентируется оппозициями однородных морфологических форм.

Противопоставленные друг другу однородные морфологические формы (так же как и представляющие их словоформы) образуют

тесные парадигматические единства. Эти единства выступают, в частности, в парадигмах склонения и спряжения (в однородных частях этих парадигм), например, в частях парадигмы лица, представленной оппозициями словоформ типа *иду* : *идешь* : *идет*; *идем* : *идете* : *идут*.

Если противопоставленные друг другу однородные морфологические формы представляют оппозицию всех однородных граммем (например, не только 1-го и 2-го лица или 1-го и 3-го, а всех трех лиц), то тем самым они репрезентируют морфологическую категорию. Таким образом, от оппозиции однородных морфологических форм исходит иерархическая линия, ведущая к морфологической категории.

Обратимся теперь к тем отношениям, которые устанавливаются в ряду «морфологическая форма — граммема — морфологическая категория» и в смежных парадигматических рядах.

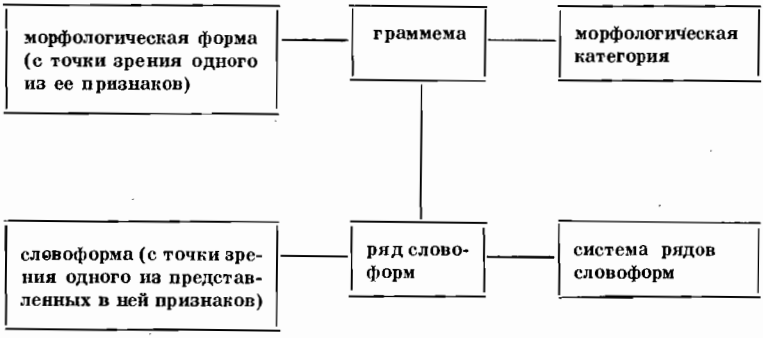
Между морфологической формой как компонентом данного ряда форм, этим рядом, т. е. граммемой, и морфологической категорией, представляемой данной граммемой, существуют отношения парадигматической иерархии. Эта иерархическая линия является фрагментом более общей иерархической системы: «морфологическая форма (со всеми ее категориальными признаками) — комплекс рядов форм, в точке пересечения которых находится данная форма (комплекс перекрещивающихся граммем) — комплекс морфологических категорий, представленных этими граммемами». Так, форма, представленная словоформами *иду*, *говорю*, *переписываю* и т. п., находится в точке пересечения линий, на которых расположены: ряд форм 1-го лица, ряд форм ед. числа, ряды форм изъявительного наклонения, настоящего времени, несовершенного вида, действительного залога; каждый из этих рядов представляет соответствующую категорию.

Этой иерархической системе, относящейся к отвлеченно-грамматической плоскости, соответствует аналогичная система в области конкретных, лексически наполненных величин: «словоформа (со всеми представленными в ней категориальными признаками) — комплекс перекрещивающихся рядов словоформ — комплекс систем таких рядов».

Рассмотрим соотношение двух рядов — отвлеченно-грамматического и «конкретного», имея в виду фрагмент общей иерархической системы, связанный с отдельной морфологической категорией (см. схему).

Связи между морфологической категорией и словоформой имеют характер «цепочки репрезентаций». Данная морфологическая категория (например, категория лица глагола) репрезентируется в каждом из составляющих ее рядов форм (в частности, в граммеме 1-го лица); этот ряд, в свою очередь, репрезентируется в каждой из входящих в него морфологических форм (например,

в форме 1-го лица, ед. числа, изъявительного наклонения, будущего времени, несовершенного вида, действительного залога), наконец, эта форма репрезентируется конкретными словоформами (*буду писать*, *буду делать* и т. д.).



Между 1-м и 2-м рядом существует несколько линий связей. Поэтому морфологические категории оказываются представленными в словоформе одновременно «по разным линиям». Помимо той цепочки репрезентаций, о которой шла речь выше (в направлении |‾‾), выделяются еще две: «морфологическая категория — граммема (ряд морфологических форм) — ряд словоформ — словоформа» (___|‾‾) и «морфологическая категория — система рядов словоформ — ряд словоформ — словоформа» (___|).

Связи между элементами внутри каждого из рассматриваемых рядов и связи между элементами разных рядов неоднородны. Связи первого типа (по горизонтали) — это репрезентации, основанные на отношении целого и его элемента. Связи же второго типа (по вертикали) — это репрезентации отвлеченно-грамматических величин в соответствующих конкретных, лексически наполненных.

Есть своя специфика и в каждой репрезентации «по горизонтали»: репрезентация «морфологическая категория — граммема» связана с переходом от оппозиции рядов к отдельному ряду; репрезентация «граммема — морфологическая форма» — это переход от ряда к отдельному его элементу (аналогичны отношения во 2-м ряду).

Благодаря «механизму ступенчатой репрезентации» в рамках данной иерархической системы явления языка оказываются связанными с речью. Из всех рассмотренных выше величин лишь словоформа является конкретно-материальной единицей языка, выделяемой как в парадигматическом, так и в синтагматическом плане, — единицей, не только существующей в языке, но и непосредственно представленной в речи. Что касается морфологической формы, то она может рассматриваться как единица, однако лишь в чисто грамматическом аспекте, как своего рода абстрактно-

грамматическая модель словоформы; непосредственно в каждом конкретном высказывании такая единица представлена словоформой. Все прочие величины — это парадигматические ряды и системы таких рядов, существующие в полном их объеме в системе языка и лишь опосредованно — через цепочку репрезентаций — выявляющиеся в речи.

Итак, в структуре морфологической категории «внутренние» отношения связаны с отношениями «внешними»: рассматривая структуру одной категории, мы тем самым затрагиваем ее связи с другими категориями. Узлом этих связей является словоформа, представляющая многопризнаковую морфологическую форму; отсюда расходятся линии, ведущие к разным морфологическим категориям. Сложная структура морфологической категории служит цели «аккордного» выражения целого комплекса категориальных признаков в каждом акте употребления словоформы [17].

Говоря о структуре морфологической категории, мы не анализировали грамматические оппозиции, поскольку об этом уже шла речь в другом месте [18]. Следует еще раз подчеркнуть, что замкнутая грамматическая оппозиция — это необходимый и существенный элемент структуры морфологической категории, специфический признак ее внутренней организации.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ

В славянских языках под этим весьма употребительным названием [19] можно объединить такие группировки, как способы действия глаголов, разряды возвратных глаголов (собственно-возвратные, взаимно-возвратные и т. д.), глаголы личные и безличные, существительные одушевленные и неодушевленные, личные и неличные, существительные собирательные, вещественные, отвлеченные и конкретные, прилагательные качественные, относительные и притяжательные; наречия качественные и обстоятельственные; разряды оценки степени качества у прилагательных и наречий; разряды местоимений; на периферии лексико-грамматических

---

[17] Об актуализации совмещенных в словоформе значений разных морфологических категорий и возможности их взаимодействия см.: А. В. Бондарко. Грамматическая категория и контекст, стр. 109—113.

[18] А. В. Бондарко. Указ. соч., стр. 85—94.

[19] Можно было бы говорить о «лексико-морфологических разрядах»; этот термин вошел бы в один ряд с терминами «морфологическая категория» и «морфологическая форма». В этом случае лексико-морфологические разряды противопоставляются разрядам лексико-синтаксическим (таким, как переходные и непереходные глаголы). В данной работе, однако, мы используем более общий термин «лексико-грамматический разряд», поскольку он является более обычным и употребительным, причем не только в славистике. См., например, А. А. Драгунов. Исследования по грамматике современного китайского языка. М.—Л., 1952, стр. 9.

разрядов (в той области, где отсутствует полнота характерных для них признаков) находятся группировки существительных собственных и нарицательных.

Различие между морфологическими категориями и оппозициями лексико-грамматических разрядов нередко не проводится. Так, в академической Грамматике русского языка 1952—1954 гг. раздел «Грамматические категории имен существительных» включает в себя такие подразделения, как «Имена существительные собственные и нарицательные», «Имена существительные одушевленные и неодушевленные», «Имена существительные со значением лица мужского или женского пола (личные существительные)», «Род имен существительных», «Число имен существительных» и т. д.[20] Академическая грамматика опирается в данном случае на определенную традицию, в частности, на труды А. А. Шахматова. С другой стороны, существуют работы, в которых данное различие проводится, хотя и недостаточно последовательно[21]. Специального обоснования этого различия в плане общей теории морфологии пока не существует, однако имеется хорошо разработанная концепция разграничения и вместе с тем взаимосвязи одной из морфологических категорий и одной из разновидностей группировок, которые мы относим к лексико-грамматическим разрядам. Речь идет о концепции соотношения глагольного вида и способов действия[22]. Проводя дифференциацию между морфологическими категориями и лексико-грамматическими разрядами (их оппозициями), мы во многом опираемся на эту концепцию.

Общая характеристика лексико-грамматических разрядов сводится к следующему:

1. Эти грамматически значимые (т. е. существенные для грам-

---

[20] Грамматика русского языка, т. I. Фонетика и морфология. М., 1953, стр. 104, 113 и след.

[21] См., например, Современный русский язык. Ч. II (Морфология. Синтаксис). Под ред. Е. М. Галкиной-Федорук. М., 1964, стр. 21—47, 67—86, 140—143, 152—154, 154—160, 187—190; Грамматика современного русского литературного языка, стр. 302—311, 317—355.

[22] См. Ю. С. Маслов. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление). Сб. «Вопросы грамматики болгарского литературного языка». М., 1959, стр. 157—202. В аспектологической литературе уже высказывалась мысль об аналогии между способами действия и разрядами имен существительных, правда, без специального анализа, в форме общего замечания. В частности, Э. Кошмидер, говоря о способах действия в польском и других славянских языках, пишет: «Все группировки подобного рода лежат в той же плоскости, что и семантические разряды существительных, например конкретные, абстрактные, увеличительные, имена собственные, одушевленные, неодушевленные и т. д.» (см. E. Koschmieder. Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie. Próba syntezy. Rozprawy i materjały wydziału I Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie, t. V, z. 2. Wilno, 1934, стр. 5; см. в русском переводе: Э. Кошмидер. Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза. Сб. «Вопросы глагольного вида». М., 1962, стр. 109); см. также Ю. С. Маслов. Глагольный вид . ., стр. 188.

матики) группировки слов обладают общим семантическим признаком и выделяются прежде всего на основе этой семантической общности.

2. Такие разряды могут, но не должны обязательно характеризоваться определенным морфемным показателем. Ср. характеризованные способы действия (например, усилительный: *разбушеваться*, *размечтаться* и т. д., длительно-ограничительный: *просидеть — просиживать*, *простоять — простаивать* и т. д.) и нехарактеризованные (например, статальный: *сидеть*, *спать*, *бодрствовать*, *скучать* и т. д., реляционный: *весить*, *зависеть*, *значить*, *преобладать*, *принадлежать* и т. д.). Ср. также характеризованные собирательные имена существительные (например, существительные на *-ство*, *-ество*: *крестьянство*, *купечество* и т. п.; *-ура*: *аппаратура*, *профессура* и т. п.) и нехарактеризованные (например: *мебель*, *хлам*, *сласти*); характеризованные отвлеченные существительные (например, на *-изм*, *-аж*, *-ация* и т. д.) и нехарактеризованные (например, *хандра*, *вздор*, *блажь*, *горе* и т. д.). Можно указать также на притяжательные имена прилагательные как характеризованный разряд и имена прилагательные качественные и относительные как разряды нехарактеризованные.

3. Лексико-грамматические разряды взаимодействуют с морфологическими категориями, связанными с ними семантически, в частности, могут определять соотносительность или несоотносительность компонентов данной категории Так, от способов действия глаголов во многом зависит видовая соотносительность или несоотносительность; разряды переходных-непереходных глаголов, а также разряды возвратных глаголов определяют соотносительность или несоотносительность действительного и страдательного залогов; принадлежность глаголов к разряду личных определяет изменяемость, а к разряду безличных — неизменяемость по лицам; разряды имен существительных одушевленных и неодушевленных воздействуют на категории падежа и рода; принадлежность имен существительных к разряду конкретных, с одной стороны, и к разрядам собирательных, вещественных и отвлеченных, с другой, обусловливает соотносительность или несоотносительность по числу; полнота или неполнота парадигмы числа зависит также от принадлежности имен существительных к разряду нарицательных или собственных; указанные выше разряды имен прилагательных и наречий определяют возможность или невозможность образования форм степеней сравнения; невозможность образования этих форм обусловлена также принадлежностью имен прилагательных и наречий к разрядам оценки степени качества; различные разряды местоимений (в рамках соотнесенности с одной и той же частью речи) обладают или не обладают категориями лица и рода, могут по-разному относиться к категории числа.

4. Соотношения рассматриваемых разрядов не представляют собой оппозиций рядов грамматических (морфологических) форм,

не опираются на специальную систему форм, на грамматическую парадигму.

Лексико-грамматические разряды неоднородны, в частности разнородны характеризованные и нехарактеризованные разряды. Первые представляют собой словообразовательные группы. Их взаимодействие с морфологическими категориями отражает связь морфологической системы в узком смысле с системой словообразовательной. Вторые имеют иной характер языкового выражения. Они перекрещиваются с лексико-семантическими группами. Несмотря на существенные различия между характеризованными и нехарактеризованными разрядами, мы все же считаем возможным объединить их как разновидности одного более широкого типа языковых группировок. Основанием для такого объединения является присущая обеим разновидностям способность воздействовать на морфологические категории, общность большинства тех основных признаков, которые характерны для лексико-грамматических разрядов (см. признаки, отмеченные выше в пунктах **1**, **3** и **4**).

Для определенных исследовательских задач признак, различающий характеризованные и нехарактеризованные разряды, может оказаться решающим. Он может послужить основой для рассмотрения того, что мы называем нехарактеризованными лексико-грамматическими разрядами, как группировок особого типа, выделяемых помимо лексико-грамматических разрядов. В этом случае вместо нашего членения «морфологические категории — лексико-грамматические разряды» была бы целесообразна трехчленная классификация, где в качестве третьего члена выступали бы указанные группировки особого типа, для которых потребовалось бы специальное название. Таким образом, общность рассмотренных лексико-грамматических разрядов является не абсолютной, а относительной, но именно так мы и стремимся ее представить.

Неоднородность лексико-грамматических разрядов не ограничивается различием между характеризованными и нехарактеризованными разрядами. Значительны расхождения между лексико-грамматическими разрядами по степени грамматикализации. Несомненно, важной исследовательской задачей является типология рассматриваемых группировок. Однако в данной работе в центре внимания находится другая задача: выявить наиболее общие черты лексико-грамматических разрядов (трактуя их границы весьма широко и предполагая возможность дальнейшего членения этой относительной общности).

Определить границы лексико-грамматических разрядов не всегда легко как в области дробных словообразовательных рядов, далеко не во всех случаях обладающих явно выраженной грамматической значимостью, так и на противоположном «полюсе», в области, граничащей с грамматическими категориями. Остановимся лишь на одном спорном вопросе, относящемся к этой проме-

жуточной области, — о переходности-непереходности глаголов. Что перед нами — грамматическая категория или оппозиция лексико-грамматических (лексико-синтаксических) разрядов? Рассматриваемая оппозиция в известном отношении сходна с грамматическими категориями: налицо выражение семантического различия — сочетаемость-несочетаемость с винительным падежом прямого объекта. Однако здесь нет системы грамматических форм, нет грамматической парадигмы. Группировки глаголов, сочетающихся и не сочетающихся с винительным падежом прямого объекта, не являются рядами грамматических форм (граммемами), по крайней мере в том смысле, в каком мы говорим о граммемах совершенного вида или женского рода. Перед нами не собственно грамматическое, а лексико-синтаксическое выявление семантического различия. Сочетаемость-несочетаемость с винительным падежом прямого объекта, как известно, может зависеть от различия лексических значений и оттенков значений одного и того же глагола. Это подчеркивает лексико-семантическую основу данной оппозиции. Таким образом, признавая «пограничную» природу переходности—непереходности, ее близость в некоторых отношениях к грамматическим категориям, мы все же относим данную оппозицию к области лексико-грамматических разрядов. Подобно другим различиям в этой области, различие переходных-непереходных глаголов оказывает влияние на парадигму «соседней» грамматической категории. В данном случае речь идет о воздействии на морфолого-синтаксическую категорию залога: если переходные глаголы в славянских языках, как правило, образуют пассив, то непереходные глаголы, как правило, пассива не образуют.

Для лексико-грамматических разрядов характерна возможность членимости на подгруппы, подразряды и т. д. (ср., например, подгруппы в рамках вещественных существительных, подгруппы притяжательных прилагательных, разновидности начинательного, смягчительного, дистрибутивного и ряда других способов действия). С другой стороны, рассматриваемые разряды могут объединяться в более крупные группировки (ср. предельные и непредельные глаголы, считаемые и несчитаемые имена существительные). Лексико-грамматические разряды вступают в разнообразные отношения друг с другом. Лишь одним из частных случаев этих отношений (наиболее грамматикализованным их типом) являются отношения бинарной или тернарной оппозиции, охватывающей всю лексику в рамках данной части речи (ср. имена существительные одушевленные и неодушевленные, глаголы личные и безличные). Более широко распространены отношения частично пересекающихся группировок, не охватывающих всех лексических единиц данной части речи и не образующих стройных систем, компоненты которых выделялись бы на основании единого принципа [23]. Перед нами не выдержанные логически классификации,

[23] Ср. Ю. С. Маслов. Глагольный вид . ., стр. 188—189.

а неоднородные, нередко непоследовательные ряды, которые даны в языке именно в таком «неправильном» виде. Исследователь выделяет эти ряды на основе семантической, а также (отчасти) и формальной общности. Получается описание весьма пестрой и логически нестройной картины, но думается, что этого не стоит опасаться, так как именно такова природа разрядов лексики, даже если они являются грамматически значимыми. Напротив, была бы более опасна стройность и логическая выдержанность, которая навязывалась бы языку априорными требованиями лингвистической теории.

Лексико-грамматические разряды в известном смысле сопоставимы с частями речи, поскольку мы имеем здесь дело с соотношением классов и подклассов слов [24]. Те и другие — группировки слов, а не грамматических форм (в этом смысле части речи как классы слов несопоставимы с морфологическими категориями — системами форм). Вместе с тем целесообразно рассматривать части речи как особые грамматические разряды «высшего типа», так как между ними и анализируемыми нами лексико-грамматическими разрядами имеются существенные различия.

1. Лексико-грамматические разряды, в отличие от частей речи, не дифференцируются по синтаксической функции в предложении (хотя могут обладать разной сочетаемостью). 2. Если части речи отличаются друг от друга по составу свойственных им морфологических категорий, то лексико-грамматические разряды внутри определенной части речи по данному признаку уже не различаются (они могут отличаться лишь разным отношением к компонентам той или иной морфологической категории, к граммемам). 3. Значения частей речи и значения лексико-грамматических разрядов находятся на разных ступенях семантической иерархии и характеризуются разным отношением к лексике. Части речи обладают категориальными значениями, которые охватывают всю лексику внутри данного грамматического класса слов и являются нечувствительными по отношению к различиям между отдельными группировками этой лексики и между индивидуальными лексическими значениями слов. Эти категориальные значения устанавливаются на высоком уровне семантической абстракции, в системе частей речи, где и определяется соотношение семантических признаков предметности, действия и т. д. Что же касается лексико-грамматических разрядов, то им присущи, как говорилось выше, значения иного типа. Они охватывают лишь определенные группы лексики внутри данной части речи и потому могут быть чувствительными к различиям между лексическими значениями группировок слов и отдельных лексических единиц. Значения частей речи и значения лексико-грамматических разрядов относятся к разным плоскостям, к разным типам. Мы придерживаемся

---

[24] Ср. А. А. Холодович. Опыт теории подклассов слов. — ВЯ, 1960, № 1, стр. 32.

той точки зрения, что первые являются грамматическими, вторые же относятся к числу лексико-грамматических (в частности словообразовательных) значений.

Подчеркивая различия между частями речи как грамматическими классами слов и рассматриваемыми разрядами как лексико-грамматическими подклассами внутри этих классов, мы не должны упускать из вида связи между теми и другими. В частности, между значением части речи и значениями выделяемых в ее рамках лексико-грамматических разрядов имеется определенная зависимость: первое значение обусловливает общий характер последних. Ср. присущее имени существительному значение предметности и обусловленные им (согласованные с ним) значения одушевленности—неодушевленности, вещественности и т. д. Аналогично отношение между присущим глаголу значением действия и обусловленными им (как его характеристики) значениями различных способов действия. Ср., с другой стороны, несовместимость категориального значения действия и значения вещественности.

СООТНОШЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ

Различия между морфологическими категориями и оппозициями лексико-грамматических разрядов заключается, во-первых, в их структуре, в типе и формах языковой организации, а во-вторых, в типе значения.

При сопоставлении морфологических категорий и лексико-грамматических разрядов важно придерживаться принципа однопорядковости, иерархической равноправности сравниваемых величин. Было бы неправильно сопоставлять морфологическую категорию в целом с отдельным лексико-грамматическим разрядом или с отдельной группировкой таких разрядов (например, категорию вида с общерезультативным способом действия или с группировкой предельных глаголов), так как в первом случае перед нами система (оппозиция) определенных классов (классов форм), а во втором — отдельный класс (класс слов). В рассматриваемой области закономерны сопоставления двоякого рода: либо сопоставление морфологической категории с оппозицией лексико-грамматических разрядов или их группировок (ср. категорию вида и оппозицию предельных-непредельных глаголов), либо сопоставление компонента морфологической категории с отдельным разрядом или отдельной их группировкой (ср. совершенный вид и общерезультативный способ действия или совершенный вид и группировку предельных глаголов).

Сопоставим морфологические категории с оппозициями лексико-грамматических разрядов или их группировок. Речь идет об оппозициях таких разрядов, как имена существительные

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, глаголы личные и безличные, об оппозициях таких группировок, как считаемые и несчитаемые имена существительные, предельные и непредельные глаголы.

Здесь налицо определенная общность с морфологическими категориями: перед нами замкнутые оппозиции того типа, который широко распространен в грамматике — бинарные оппозиции, охватывающие всю лексику в рамках данной части речи. Однако такие оппозиции все же нельзя отождествлять с морфологическими категориями, так как эти оппозиции не опираются непосредственно на специальную систему рядов морфологических форм. Так, оппозиция одушевленных и неодушевленных существительных имеет грамматическое выявление в некоторых формах падежа и в категории рода, но собственной системы рядов морфологических форм не имеет. Личные и безличные глаголы — это противопоставленные друг другу классы слов (подклассы определенной части речи), по-разному относящиеся к морфологической категории лица, но сами по себе эти классы слов не представляют собой рядов морфологических форм. Предельные и непредельные глаголы по-разному относятся к категории вида, но специальной системой морфологических форм данная оппозиция не располагает. Нет и системы морфологических форм считаемости-несчитаемости, хотя противопоставление этих разрядов находит отражение в соотносительности-несоотносительности существительных по числу.

Компонент морфологической категории (граммема) и отдельный лексико-грамматический разряд или группировка таких разрядов по своей структуре различны. В области лексико-грамматических разрядов мы не находим ни многопризнаковых морфологических форм, ни тех отношений между ними, о которых шла речь в первой части этой работы. Компоненты лексико-грамматического разряда (например, разряда одушевленных имен существительных или разряда взаимновозвратных глаголов) — это отдельные слова или группы слов; их соотношения, находящиеся в области лексических и словообразовательных связей, естественно, отличаются от соотношения членов замкнутого ряда морфологических форм.

Обратимся теперь к различиям в типе значения. Значения компонентов морфологических категорий противостоят значениям лексико-грамматических разрядов как грамматические значения лексико-грамматическим, в частности словообразовательным. Наиболее важные различия между теми и другими сводятся к следующему.

Первые, будучи значениями классов грамматических форм, могут охватывать всю лексику в рамках данной части речи (ср. значения сослагательного наклонения или дательного падежа); в тех случаях, когда обнаруживаются зависимость рассматриваемых значений от лексики, эта зависимость заключается в соче-

таемости или несочетаемости с определенными индивидуальными и групповыми лексическими значениями (ср. значения повелительного наклонения, 1-го лица, совершенного вида), но не в производности от них, не в выводимости из них. Даже в том случае, когда класс форм (граммема) вместе с тем представляет собой определенный класс слов (таковы члены классификационной категории рода имен существительных), значение этого класса форм (например, значение мужского рода) не является производным от лексических значений слов или групп слов данного класса (в нашем примере — от значений слов мужского рода). Морфологическая категория классификационного типа классифицирует слова, но по грамматическому, а не по лексическому признаку.

Что касается значений лексико-грамматических разрядов, то они всегда, как уже говорилось, распространяются лишь на определенную группу лексики. Эти значения, если речь идет о характеризованных разрядах, являются результатом взаимодействия семантики словообразовательной морфемы и лексических значений тех основ, к которым она присоединяется. Если речь идет о нехарактеризованных разрядах, то их значения являются непосредственно производными от лексических значений слов, входящих в данный разряд. Таковы, например, значения статального, реляционного и эволютивного способов действия, значения качественных и относительных прилагательных. Во всех случаях речь идет о значениях, основанных на абстракции иного типа по отношению к собственно грамматической — абстракции словообразовательной и лексической.

Значения граммем всегда включены в замкнутые системы противопоставленных друг другу однородных значений; хотя значения лексико-грамматических разрядов также могут образовать замкнутые оппозиции, это свойство, как уже говорилось выше, не является для них всеобщим и обязательным.

Значения лексико-грамматических разрядов могут быть столь же отвлеченными, как и значения членов морфологических категорий (ср. значения предельности—непредельности, результативности, одноактности—многоактности, с одной стороны, и значения целостности—нецелостности, с другой), но они вместе с тем могут достигать той степени конкретности, которая для членов морфологических категорий не характерна. Таковы, например, значения кумулятивного способа действия (*набраковать*, *набросать*, *навешать*, *нагородить* и т. д.), длительно-смягчительного (*наигрывать*, *накрапывать*, *напевать* и т. д.), сопроводительного (*приговаривать*, *приплясывать*, *присвистывать* и т. д.).

Отмечая различия между значениями компонентов морфологических категорий и значениями лексико-грамматических разрядов, следует вместе с тем обратить внимание на черты сходства между ними, отличающие их от индивидуальных лексических значений. В частности, те и другие, будучи представленными в слове, выражают определенное типовое формальное содержа-

ние [25], сопутствующее индивидуальному лексическому значению слова. Те и другие могут быть содержательно тождественными. Такие значения как результативность, многократность и т. п. в принципе могут быть как грамматическими, так и лексико-грамматическими (в разных языках и даже в одном и том же языке) — все зависит от того, каково их отношение к лексике, как они выражены, как организованы. Не случайно по поводу сущности таких значений обычно существуют разные мнения: здесь отражается сходство рассматриваемых типов значений по некоторым признакам, отсутствие резкой грани между ними.

Морфологические категории и лексико-грамматические разряды (оппозиции таких разрядов и их группировок) связаны друг с другом постепенными переходами. Определенная последовательность ступеней в градации по принципу «возрастающей лексичности» постепенно подводит к той грани, где кончаются морфологические категории и начинаются лексико-грамматические разряды.

Максимальной «грамматичностью» характеризуются лишь такие категории словоизменительного типа как наклонение, время, лицо, падеж, род и число имен прилагательных (однако и здесь могут наблюдаться лексические ограничения, например, в парадигме лица). Категория числа имен существительных находится уже на другой ступени. Хотя эта категория и представлена в своей основе формами одного и того же слова, здесь широко распространены явления лексикализации морфологических форм, дефектности морфологической парадигмы. Еще бóльшую зависимость от лексики обнаруживает категория глагольного вида, которую, на наш взгляд, следует отнести к смешанному словоизменительно-классификационному типу. Здесь как бы на равных правах в качестве членов грамматического противопоставления выступают формы одного и того же слова (в области имперфективации) и формы разных слов (в области перфективации) [26]. Следующая ступень — классификационные (классифицирующие) категории, такие, как род имен существительных, лицо местоимений. Мы имеем здесь дело уже с лексико-грамматическими (лексико-морфологическими) категориями [27]. Здесь можно видеть то звено, которое непосредственно связывает морфологические категории с оппозициями в области лексико-грамматических разрядов. Перед нами противопоставленные друг другу ряды морфологических форм, являющиеся вместе с тем подклассами частей речи.

---

[25] О типовом формальном содержании в связи с характеристикой грамматического значения см. В. И. Кодухов. Мышление и языковые значения и функции. Сб. «Язык и мышление». М., 1967, стр. 105—106.

[26] Подробнее см.: А. В. Бондарко. Виды глагола и способы действия в русском языке. «Русский язык в национальной школе», 1971, № 2, стр. 7—11.

[27] Мысль о различении словоизменительных категорий как грамматических и классифицирующих категорий как лексико-грамматических была высказана А. И. Смирницким (Древнеанглийский язык. М., 1955, стр. 213).

Дальнейший сдвиг означает переход от морфологических категорий к лексико-грамматическим разрядам: налицо такие грамматически значимые разряды слов, которые уже не представляют собой рядов морфологических форм.

Подчеркнем, что несмотря на ту постепенность переходов, о которой шла речь выше, принципиальное различие между морфологическими категориями и оппозициями лексико-грамматических разрядов (соответственно между граммемами и отдельными лексико-грамматическими разрядами или их группировками) всегда сохраняет свою силу, качественные грани между теми и другими достаточно отчетливы даже в наиболее сложных для анализа «пограничных зонах».

До тех пор, пока та или иная морфологическая категория оказывается недостаточно дифференцированной по отношению к связанным с нею лексико-грамматическим разрядам, наиболее актуальной исследовательской задачей является обоснование различий между данной категорией и этими разрядами. Такого рода задача долгое время стояла перед аспектологией, и до сих пор она в какой-то мере сохраняет свою актуальность. Хотя принципиальные различия между видами и способами действия в основном определены, все же остаются не до конца ясными такие вопросы как соотношение значения совершенного вида и общерезультативного способа действия. Аналогичная задача остается в известной степени актуальной и по отношению к дифференциации компонентов категории залога и некоторых лексико-грамматических разрядов возвратных глаголов (залоговых разрядов). Однако по мере выяснения различий между определенными морфологическими категориями (их компонентами) и лексико-грамматическими разрядами все более актуальной становится задача изучения связей и взаимодействия между ними.

Рассмотрим в качестве примера одну из сторон взаимосвязи видов и способов действия. Речь идет о явлении, которое может быть определено как реализация значения видов «через способы действия».

Видовые значения выражаются не изолированно от способа действия глаголов. Способы действия оказывают влияние на проявление видовых значений, накладывают на них определенный отпечаток. Так, в зависимости от способа действия проявляются различные варианты присущего совершенному виду признака неделимой целостности действия (этот признак, положенный рядом аспектологов в основу видового противопоставления, мы рассматриваем как доминанту семантического содержания совершенного вида). При одноактном способе действия (*мелькнуть* и т. п.) в значении целостности активизируется прежде всего та сторона, которая связана с компактностью, сомкнутостью действия. В глаголах дистрибутивного способа действия (*всех переловили*; *дети переболели корью*) целостность выступает как вторичное сведéние к единству того, что в реальной внеязыковой действительности

является множественным: действие представлено как сложное целое, в котором отдельные элементы сконцентрированы в едином комплексе. В глаголах начинательного способа действия (*запеть* и т. п.) целостность относится именно к началу действия — к той фазе, которая получает специальное словообразовательное выражение. В глаголах комплетивного способа действия (*доиграть* — *доигрывать* и т. п.) значение целостности реализуется как полнота проявления конечной фазы действия. При общерезультативном способе действия (*записать* — *записывать* и т. п.) значение целостности выступает прежде всего как полнота проявления глагольного признака, что связывается с полнотой результативности — достижением результата. Возникает семантический комплекс, в котором элементы целостности и результативности оказываются спаянными друг с другом. Значение целостности взаимодействует не только с результативностью, но и с предельностью. Целостность не совпадает с предельностью, но включает в себя элемент ограниченности действия пределом. Монолитное, целостное действие как бы ограничено со всех сторон, замкнуто, исчерпано в отведенном ему пределе. Нетождественность целостности и предельности определяется, во-первых, тем, что у целостности есть и другие стороны, о которых шла речь выше, а во-вторых, тем, что предельность как возможность предела распространяется и на несовершенный вид (за исключением непредельных глаголов). Итак, признак целостности действия, рассматриваемый в отвлеченно-грамматической плоскости как простой, при его реализации в конкретных словоформах оказывается сложным, многосторонним. Проходя «через призму» способа действия, целостность каждый раз получает особую окраску. Все же не следует преувеличивать эту вариативность. При всем различии оттенков всегда сохраняется постоянная и неизменная основа данного значения — выражение ограниченной пределом («со всех сторон») монолитности действия, выражение факта, а не развивающегося процесса. Способ действия может наложить отпечаток на проявление данного значения в словоформе, но он не может изменить его основу, относящуюся к более высокому уровню абстракции.

Наиболее существенной чертой семантического содержания несовершенного вида является возможность выражения действия в процессе его протекания. Это значение, выступая в той или иной словоформе, также обнаруживает связь со способами действия, реализуется «через способ действия». Так, в глаголах инхоативного способа действия (*киснуть*, *бледнеть* и т. п.) процессность выявляется как динамика перехода из одного состояния в другое; глаголы статального способа действия (*сидеть* и т. п.) передают процесс не как поступательное развитие, развертывание действия, а как статическое пребывание в определенном состоянии.

Исследование взаимодействия морфологических категорий и лексико-грамматических разрядов приводит к постановке вопроса о более широких языковых единствах, которые охватывают свя-

занные друг с другом категории и разряды, а также другие языковые элементы, объединенные взаимодействием на семантико-функциональной основе. Такие единства (аспектуальность, залоговость и т. п.) могут быть названы функционально-семантическими полями. Это понятие представляется очень важным для функциональной морфологии, однако в его специальном рассмотрении здесь нет необходимости, поскольку об этом шла речь в других наших работах [28]. Отметим лишь, что в структуре функционально-семантического поля, включающего в свой состав морфологическую категорию, именно эта категория играет роль ядра или центра. По отношению к морфологическим категориям лексико-грамматические разряды представляют ту ближайшую среду («ближайшую периферию»), где осуществляются многие из процессов взаимодействия грамматики и лексики. Эти процессы могут проходить в рамках функционально-семантического поля — между ядром и его ближайшим окружением (ср. соотношение глагольного вида и способов действия в рамках поля аспектуальности). Процессы взаимодействия грамматики и лексики могут осуществляться и в пределах целой группировки частично пересекающихся функционально-семантических полей (ср. соотношение категории числа с собирательными, вещественными, отвлеченными и конкретными существительными в пределах группировки полей нумеральности, собирательности и т. д.).

Изучение морфологических категорий в их соотношении с лексико-грамматическими разрядами, так же как и анализ функционирования морфологических категорий, не укладывается в рамки морфологии, понимаемой в узком смысле. Однако включение в морфологию (функциональную морфологию) широкого круга вопросов, относящихся к проблеме взаимодействия грамматики и лексики (такой подход к грамматическому учению о слове нашел в нашей традиции наиболее яркое выражение в труде В. В. Виноградова «Русский язык») оправдано реальной связью морфологической системы языка с элементами словообразовательной и лексической систем.

---

[28] См. Грамматическая категория и контекст. ., стр. 5—75; К теории поля в грамматике — залог и залоговость (На материале русского языка). — ВЯ, 1972, № 3.

В. И. БОРКОВСКИЙ

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В ИСТОРИИ СИНТАКСИЧЕСКОГО СТРОЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ (XI—XVII ВВ.)

В 1968 г. в Москве в издательстве «Наука» вышли две книги, подготовленные в секторе сравнительно-исторического изучения восточнославянских языков Института русского языка Академии наук СССР: 1) Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения (автор — В. И. Борковский); 2) Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения (коллектив авторов) [1] (редактор — В. И. Борковский).

В этих трудах, построенных на огромной картотеке (до 50 000 авторских карточек, свыше 400 000 светокопий), включающей памятники XI—XVII вв. различных жанров (летописи, житийная литература, деловая письменность и др.), центральное место занимает период XV—XVII вв., поскольку синтаксис этого периода менее изучен, чем синтаксические явления XI—XIV вв., периода древнерусского.

После издания названных исследований, посвященных простому предложению в древнерусском, старорусском, старобелорусском и староукраинском языках, сектор приступил к работе по изучению сложного предложения в восточнославянских языках и предлагает вниманию читателей тоже две книги: «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Бессоюзные сложные предложения, сопоставляемые со сложноподчиненными». М., изд-во «Наука», 1972 (автор — В. И. Борковский) и «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Сложноподчиненные предложения». М., изд-во «Наука», 1973 [2] (редактор — В. И. Борковский).

---

[1] Л. А. Глинкина — Вторые косвенные падежи; Е. И. Кедайтене и И. С. Ятрополо — Творительный падеж; Е. И. Кедайтене — Дательный самостоятельный; Р. Б. Кершиене — Дательный падеж; Л. Е. Лопатина — Именное сказуемое; С. Е. Морозова — Родительный падеж; М. Н. Преображенская — Винительный падеж; В. З. Санников — Согласованное определение; В. Ю. Франчук — Местный падеж.

[2] Р. Б. Кершиене — Сложноподчиненные определительные предложения; Л. Е. Лопатина — Сложноподчиненные предложения следствия; С. Е. Морозова — Сложноподчиненные условные, уступительные и временные предложения; М. Н. Преображенская — Сложноподчиненные предложения пояснительные, причины, цели; В. К. Сорокина — Сравнительные сложно-

В обеих книгах рассмотрена судьба сложного предложения в памятниках XV—XVII вв., причем значительно расширен список источников, относящихся к указанному периоду.

Четыре указанных тома, а также другие исследования по историческому синтаксису восточнославянских языков позволяют сделать некоторые общие выводы о том, как изменились простое и сложное предложения в восточнославянских языках, что́ было сходного и различного в их истории.

Остановимся на некоторых наиболее ярких, характерных явлениях синтаксиса [3].

Старорусские, старобелорусские и староукраинские памятники позволяют нам с большей или меньшей степенью точности установить черты сходства и различия в судьбе членов предложения отдельных восточнославянских языков, сделать вывод, что черт сходства больше, чем черт различия. Весьма существенно то, что черты сходства проявляются на главных направлениях синтаксических изменений.

Одной из примечательных особенностей древнерусского синтаксиса является употребление именительного предикативного при связках *буду* и *былъ*. В грамотах, летописях и других памятниках полное господство именительного предикативного имени существительного, при редких случаях творительного предикативного.

Первые случаи с творительным предикативным относятся к XIII в.: творительный при форме прошедшего времени глагола-связки в Готландской редакции Смоленской торговой договорной грамоты 1229 г. (та два *была послъмь* оу Ризѣ), творительный при форме будущего времени в той части Синодального списка 1-й Новгородской летописи, которая написана во второй половине XIII в.

Несомненно, однако, что в тот же период в живом русском языке употребление творительного предикативного (и при форме прошедшего времени и при форме будущего времени глагола-связки) уже было обычным.

Именно влиянием живой речи объясняется расширение случаев постановки имени существительного в тв. п. в старорусских, старобелорусских и староукраинских памятниках с XV в.

В старорусских памятниках это расширение идет медленно, но наблюдается в памятниках различных жанров: я блгвляю

подчиненные предложения; В. Ф. Харпалева — Сложноподчиненные предложения дополнительные и места.

[3] Мы не касаемся вопроса о типах простого предложения, поскольку история определенно-личных, неопределенно-личных, безличных и неполных предложений в восточнославянских языках освещена нами в докладе на VI Международном съезде славистов в 1968 г. «Изменения в структуре простого предложения в восточнославянских языках» («Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. (Прага, август 1968 г.)». М., «Наука», 1968).

игумена хто *буде игуменомъ* у стго николы. и старцовъ черенцовъ свою братью (Двинская вкладная грамота игумена Василия XV в. Шахм. Исслед., № 12); и *былъ* отецъ твои *бояриномъ* князя Михаила Кубенского (Письма Ив. IV, л. 171).

Значительный рост случаев с творительным предикативным мы находим лишь в памятниках XVII в.

Отличие старобелорусских и староукраинских произведений от старорусских только в том, что случаи с заменою формы именительного падежа имени существительных формою творительного встречаются в них чаще, чем в старорусских. Значительно больше отличалась судьба имени прилагательного в составе сказуемого в тех же памятниках от судьбы имени прилагательного в старорусских памятниках.

В древнерусских памятниках в состав сказуемого входила именная форма качественного прилагательного. Первые достоверные случаи с местоименной формой качественного прилагательного, весьма редкие, относятся к началу XIII в.

И здесь тоже, по-видимому, сказалось влияние живой речи, где такое употребление не было исключением. Показателен пример из берестяной грамоты (язык берестяных грамот был особенно близок к живому разговорному языку): верши всѣ *добрыи* (Новг. берест. гр. рубежа XIII—XIV вв. Арц. и Борк., № 195).

Поскольку не было распространено употребление местоименной формы качественного прилагательного в составе сказуемого даже в старорусских памятниках XVII в., задерживалась и постановка имени прилагательного в тв. п., ибо только местоименная форма была близка по своим синтаксическим и лексическим функциям к существительному (в тех случаях, когда субстантивировалась) и могла пережить сходную с ним судьбу.

В старобелорусских и староукраинских памятниках местоименная форма в составе сказуемого не составляет исключения уже в XVI в., а затем она постепенно вытесняет именную форму. В современном белорусском и украинском языке, как правило, в роли предикативного имени в составном сказуемом выступают местоименные формы прилагательного, в русском — и именная и местоименная, однако, возможности постановки последней увеличиваются в языке.

В связи со сказанным неудивительно, что творительный предикативный имени прилагательного находим в старорусских памятниках с XVII в., а в старобелорусских и староукраинских — с XVI в.

История вторых косвенных падежей (винительного, родительного и дательного) сходна с судьбой второго именительного, о которой сказано выше, хотя имеет и отличия.

В древнерусских памятниках из вторых косвенных падежей особенно широко было представлено употребление второго винительного падежа.

Имя прилагательное, как и в составе сказуемого, стояло в именной форме, примеры с местоименной формой в своем большинстве могут быть объяснены как случаи с употреблением субстантивированных прилагательных.

Уже в древнейших памятниках рядом со вторым винительным падежом имени существительного находим творительный падеж. Однако второй винительный наблюдаем еще в старорусских памятниках, хотя и реже, чем творительный предикативный. По-видимому, уже с XVI в. нормой стала постановка имени существительного в творительном падеже.

Та же картина в старобелорусских и в староукраинских произведениях, только в этих памятниках шире, чем в старорусской письменности, встречается предложно-именное сочетание *за*+вин. п. ед. ч.: ты ми *его даи за мужа* (Ист. о Гвид., с. 145); *которого приемши за пастыря* (Виш. Книжка, с. 24).

Неудивительно, что эта конструкция сохранилась и в современном белорусском и украинском языке.

Употребление творительного падежа прилагательного на месте второго винительного падежа связано с расширением случаев постановки в составном сказуемом и во втором косвенном падеже местоименной формы имени прилагательного.

В старорусских памятниках именная форма во втором винительном падеже еще преобладает над местоименной формой, что задерживало распространение конструкций с творительным падежом.

Второй винительный прилагательного мы находим не только в XVIII в. (и с именной и с местоименной формой), но и в первой половине XIX в. (как правило, с местоименной формой).

Заметим, что в XVIII в. встречаются и формы второго винительного падежа существительных, но значительно реже, чем прилагательных.

Что касается старобелорусских и староукраинских памятников, то в них местоименная форма прилагательного не составляет исключения уже в XV в., и замену второго винительного творительным предикативным наблюдаем в памятниках с XVI в.

Второй винительный причастия, широко представленный в древнерусских памятниках, в старорусских произведениях постепенно ограничивается в употреблении. Тем не менее еще большое число случаев со вторым винительным падежом причастия (в именной и местоименной форме) находим в сочинениях XVIII в., редкие случаи — в произведениях XIX в. (только местоименная форма причастия). Ограничимся одним примером: Я нашел его у ворот сидящего на скамейке (М. Ю. Лермонтов. Максим Максимыч).

Не окончательно вышел второй винительный причастия и в наше время, хотя уже с XVIII в. он постепенно заменяется творительным падежом.

Вместо конструкции со вторым винительным падежом, а в дальнейшем рядом с конструкцией с творительным падежом русский язык знает и широко употребляет сложноподчиненное предложение с союзом *что*.

На месте первого винительного в придаточной части стоит именительный падеж подлежащего, а на месте второго винительного причастия составное сказуемое с причастием страдательного залога (если в обороте был второй винительный причастия страдательного залога) или глагольное сказуемое (если в обороте был второй винительный причастия действительного залога).

Характерной особенностью старобелорусских и староукраинских памятников является то, что в них (особенно в старобелорусских) в большей степени, чем в старорусских, представлено употребление местоименной формы причастия и процесс замены второго винительного падежа творительным падежом проходил более активно.

Творительный на месте винительного находим уже в старобелорусских и староукраинских памятниках первой половины XVII в.

Сходной со вторым винительным была и судьба второго дательного.

Этот падеж, в отличие от второго винительного, редко употреблялся в древнерусских памятниках, более часто — в старорусских.

Второй дательный имени существительного стал заменяться творительным падежом в старорусских произведениях, по-видимому, уже в XV в., в памятниках XVI в. тв. п. встречается часто, а в сочинениях XVII в. он уже широко распространен.

Что касается имен прилагательных и причастий, то единичные случаи с творительным падежом на месте второго дательного находим лишь в памятниках XVII в., нормой в этот период остается постановка второго дательного падежа.

В старобелорусских и в староукраинских памятниках второй дательный встречается еще реже, чем в старорусских произведениях.

Замена второго дательного падежа существительных творительным падежом наблюдается лишь с XVI в. (в старобелорусских произведениях) и даже еще позже — с XVII в. (в староукраинских памятниках).

В старобелорусских и староукраинских памятниках возможно также употребление предложно-падежного сочетания *за*+вин. п. ед. ч., о котором говорилось уже выше в связи с изложением вопроса о втором винительном падеже: ачъ колвекъ есть речъ необеспечна *цареви ити за посла* (Александрия, с. 62). В старорусских памятниках, начиная с XVII в., встречается предложно-падежное сочетание «*въ*+местный падеж мн. ч.» (при инфинитиве *быти*), получившее в XVIII в. широкое распространение в деловой письменности: А на строителя Аврамия послали мы челобитную боярину Борису Ивановичу, чтоб *ему*, *Аврамию*, *в строителях*

у нас *не быть* и в монастыре с нами не жить (грамота 1660 г. — АХМ, стр. 120).

Как видим, процесс замены вторых косвенных падежей другими синтаксическими конструкциями во всех восточнославянских языках шел в основном в одном направлении, но с различной степенью активности (в старобелорусском и староукраинском более активно, чем в старорусском).

Большее место, чем в старорусском языке, заняло в старобелорусском и староукраинском языке предложно-падежное сочетание «*за*+вин. п. ед. ч.»

В истории зависимых падежей особенный интерес представляет собой процесс замены в ряде случаев беспредложных падежей теми же или другими падежами с предлогом.

В то же время может иметь место и увеличение употребительности беспредложного падежа, но не за счет падежа с предлогом, а другой синтаксической конструкции.

Имеем в виду постепенное вытеснение родительным падежом принадлежности притяжательного прилагательного при определяемом предмете, а также и синонимичного с родительным принадлежности дательного беспредложного падежа.

В древнерусских памятниках мы встречаем все три указанных способа выражения принадлежности, причем господствующий способ даже в грамотах, язык которых, как известно, наиболее близок к разговорному, — при помощи притяжательных прилагательных.

Способ этот имел определенные преимущества, так как при многозначности родительного падежа и дательного падежа для притяжательного прилагательного характерна однозначность.

Неудивительно, что на всем протяжении рассматриваемого периода (XI—XVII вв.) притяжательное прилагательное, как средство выражения принадлежности, господствует. Не только дательный принадлежности, встречавшийся далеко не во всех памятниках (в грамотах он не представлен), но и родительный принадлежности не вытеснили окончательно этот способ выражения принадлежности в восточнославянских языках, хотя в XVIII в. и в более позднее время процесс замены притяжательного прилагательного родительным принадлежности протекал особенно активно.

Однако не всегда было можно или не всегда было удобно использовать притяжательное прилагательное.

В древнерусском языке были широко представлены субстантивированные имена прилагательные, а также имелись и субстантивированные причастия.

Как те, так и другие могли обозначать лицо, и могла возникнуть необходимость обозначить принадлежность именно этому лицу.

Единственный возможный способ — употребление субстантивированного прилагательного или причастия в родительном

падеже. Этот способ находим уже в древнейших памятниках: бы же родителема *блжнаго* преселитися въ инъ градъ коурьскъ нарицаемыи (Ж. Феод. Печ., л. 27).

В старорусских, старобелорусских и староукраинских памятниках такие случаи, в связи с расширением групп субстантивированных прилагательных и причастий, встречаются значительно чаще.

Неудобства в употреблении притяжательного прилагательного возникали тогда, когда определяющее слово должно было иметь при себе определение, приложение или управляемое слово. Вот почему много примеров с родительным принадлежности именно в этих случаях, особенно тогда, когда определяющее слово и относящееся к нему определение составляют лексическое словосочетание (*великий князь*, *великий государь*, *святая богородица* и др.).

Следует, однако, отметить, что уже в древнейших памятниках находим, хотя и редко, родительный принадлежности имени существительного, не имеющего при себе определяющих или зависящих от него слов: и въшьдши въ єдинъ манастырь *женъ* и тоу остризися (Ж. Феод. Печ., л. 32).

Старорусские, старобелорусские и староукраинские памятники дают сходную картину дальнейшей судьбы притяжательных прилагательных и родительного принадлежности: они говорят о значительном расширении случаев употребления родительного принадлежности имени существительного без определяющих или зависящих от него слов.

Таким образом, процесс вытеснения притяжательных прилагательных родительным падежом принадлежности, вначале (в древнерусском языке) малозаметный, затем интенсивно протекает во всех восточнославянских языках в период XV—XVII вв., при этом лишь несколько отличаясь в темпах: в украинском и белорусском медленнее, чем в русском.

Замена беспредложных падежей падежами с предлогом характерна для каждого зависимого беспредложного падежа, затрагивает она лишь определенную по значению группу случаев употребления данного падежа.

Это общая для всех восточнославянских языков тенденция.

В дальнейшем изложении мы ограничимся лишь беспредложными падежами с пространственным значением, оказавшимися весьма неустойчивыми в славянских языках. Это замечание в первую очередь относится к родительному, дательному, винительному и местному беспредложным падежам, а затем, в меньшей степени, и к творительному беспредложному падежу с указанным значением.

В родительном падеже замена беспредложного падежа предложным коснулась так называемого родительного отложительного, или удалительного, широко представленного (без предлога) в древнерусских памятниках после глаголов, обозначающих уда-

ление, отделение от чего-нибудь (как в прямом, так и в переносном значении).

Уже в тех же древнерусских памятниках встречаются, хотя и редко, примеры с предложными конструкциями (обычно с предлогом *отъ*, иногда с предлогами *изъ*, *съ*).

Старорусские, старобелорусские и староукраинские памятники говорят о вытеснении беспредложных конструкций предложными, в первую очередь в словосочетаниях со значением удаления в пространстве.

У русских поэтов не только XVIII в., но и XIX в. при глаголе со значением *бежать*, для указания на удаление в переносном значении, еще употребляется (у писателей XVIII в. довольно широко) родительный беспредложный.

Многочисленны примеры такого употребления в стихотворных произведениях А. С. Пушкина, не только ранних, но и поздних: Татьяна бедная горит; Ее *постели* сон *бежит* («Евгений Онегин»); «Теперь ты *ласк* моих *бежишь*» («Полтава»); «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире Мой прах переживет и *тленья убежит* («Я памятник себе воздвиг нерукотворный»).

При обозначении предела движения при глаголах, в состав которых входила приставка *до*, уже в древнерусских памятниках рядом с родительным беспредложным (доиде кыева града Чт. Б. и Г., с. 14) находим и род. п. с предлогом *до*.

В старорусских памятниках господствуют конструкции с предлогом и беспредложная конструкция, которая изредка встречается еще в XVII в., в частности в пословицах XVII в. (Ꙗзыкъ Киева даведетъ. Л. 381), в дальнейшем вышла из употребления.

Памятники старобелорусские и староукраинские дают другую картину. В них, особенно в старобелорусских, сохраняется беспредложная конструкция. Но, как правило, для указания предела в переносном значении: а коли *доидетъ лѣт*, будет великое доброти (Пов. о витязях, с. 20); *дошли* цэлого *Немна* (Лет. Рачин., с. 225); *дошедши* досконалного *възросту* (Виш. Книжка, с. 27).

Характерно, что именно в переносном значении эта конструкция изредка встречается у украинских писателей не только XIX, но и XX в. У Т. Шевченко мы ее находим после глаголов *довести* в соединении с *краю* в значении *завершить* (довести краю; у него же: довести до краю), *дожити* (Такого дожити; у него же: дожить До світу божого).

Дательный беспредложный для указания места, куда направлено действие, встречается в древнерусских памятниках, но преимущественно в летописях [4], в грамотах [5] его не находим:

---

[4] См. большое число примеров из Лаврентьевской летописи в работе: Е. Ф. Карский. Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьевского списка летописи. Л., 1929, стр. 32—34 (отдельный оттиск из «Известий по русскому языку и словесности Академии наук СССР», т. II, кн. 1).

[5] В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение. Львов, 1949, стр. 362.

Ꙗрославъ же *приде Новугороду* (Лавр. л., л. 50 об.); *бѣжа* ко тьсти своюму *Чернигову* (там же, л. 146).

Уже в древнерусских памятниках употребляется, наряду с дательным беспредложным, дательный с предлогом *къ* (направление движения к пункту без захода в него), винительный с предлогом *въ* (движение к пункту с заходом в него), а также родительный с предлогом *до*.

В старорусских, старобелорусских и староукраинских памятниках беспредложная конструкция окончательно вытесняется конструкциями с предлогом.

В современных литературных языках находим конструкции с предлогами *къ* и *въ* (в русском языке), с предлогами *въ* и *до* (в белорусском и украинском языках).

Некоторые русские, белорусские и украинские говоры знают беспредложный дательный падеж для обозначения направления движения, но обычно лишь в определенных словосочетаниях [6].

Винительный беспредложный падеж при глаголах движения для обозначения конечного пункта движения в древнерусских памятниках XI—XIV вв. представлен лишь единичными примерами и окончательно вытесняется предложными конструкциями (винительным с предлогами *въ*, *на*,[7] родительным с предлогом *до*) в памятниках восточнославянской письменности XV—XVII вв.

Во всех современных восточнославянских языках беспредложный винительный падеж заменился винительным с предлогом *въ*, а в белорусском и украинском также родительным с предлогом *до*.

Творительный места, направления представлен в древнерусских памятниках разных жанров, причем как для указания протяженного, так и ограниченного пространства.

Круг существительных для обозначения ограниченного пространства был невелик и в древнерусских и в более поздних памятниках. Чаще других встречаем формы *ѡконцемъ*, *окномъ*, *вороты*, *воротами*, *враты*, *дверми*.

В современных восточнославянских языках творительный беспредложный ограниченного пространства сохранился лишь в словосочетании *кровь пошла горлом (носом)*, *кроў пайшла горлам (носам)*, *кров пішла горлом (носом)*.

На месте беспредложных конструкций — предложные: *через* с винительным падежом (в русском языке), *цераз*, *праз* (в белорусском языке), *через*, *крізь* (в украинском языке).

---

[6] В белорусском — со словом *двор*: побег двору, прибег двору и т. п. (Е. Ф. Карский. Белорусы. Язык белорусского народа, вып. 2—3. М., 1956, стр. 413).

[7] См. ряд случаев с параллельным употреблением *въ* и *на* в грамотах (преимущественно поздних). — В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение, стр. 376.

Более устойчивыми оказались конструкции с беспредложным творительным падежом для указания протяженного пространства.

Они представлены в древнерусских памятниках для указания пути—пространства, по которому осуществляется движение: берегом, лесом, горою, полем, сухим путем, морем, водою, рекою, Волгою и т. д.

В старорусских, старобелорусских и в староукраинских памятниках тв. п. полностью сохраняет свои позиции: Везли не дорогою в монастырь — болотами да грязью, чтоб люди не сведали (Аввакум. Житие, с. 94—95); Водою плы^т^ осторожливу быть а море^м^ з горе^м^ (Пословицы XVII в., л. 332 об.); и пошла тым лугом ѡдною стежкою (Ист. о Гвид., с. 161); иж перед тым ѡни землѧми Вербичовскими еждживали (Львов. гр. 1537 г., Arch. Sang., IV, № 80).

Этот беспредложный творительный падеж мог быть употреблен в восточнославянской письменности и при отсутствии глагола движения [8].

Современные восточнославянские литературные языки знают данный падеж с указанным значением в целом ряде словосочетаний с глаголами движения, причем в белорусском [9] и украинском [10] возможности его употребления шире, чем в русском.

Господствующей конструкцией во всех восточнославянских языках является предложная: *по* с дательным падежом (в русском языке, редко — в белорусском), с предложным падежом (в белорусском и украинском).

Наличие в берестяных грамотах — частных письмах XII в. случаев с местным падежом без предлога имени существительного (в обоих случаях — наименование города) для обозначения места говорит о том, что в XII в. этот местный падеж был еще живым явлением.

Отметим эти примеры, уже приводившиеся в наших работах [11]: тъгдъ вздле оу мене лазъвке передславълѣ (Новг. берест. гр. начала XII в. Арц. и Борк., № 105); коупилъ еси: робоу: плѣскове (Новг. берест. гр. XII в. Арц. и Борк., № 109).

Многочислены примеры с местным падежом без предлога и в грамотах на пергамене XII в. и первой половины XIII в. (рядом и случаи с предлогами *въ* и *на*).

---

[8] См. ряд примеров в работах: В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение, стр. 379; З. Д. Попова. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века. Воронеж, 1969, стр. 88.

[9] См. примеры: Граматыка беларускай мовы. Том II. Синтаксис. Мінск. 1966, стр. 178.

[10] См. примеры: О. П. Беспалько. Нариси з історичного синтаксису української мови. Київ, 1960, стр. 95—96.

[11] А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.). М., 1958, стр. 150; В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. Изд. 2-е, дополненное. М., 1965, стр. 479.

Анализ этих грамот позволил нам в свое время (в работе, изданной в 1949 г.) сделать вывод [12], что в первой половине XIII в. форма местного падежа уже не была продуктивной, поскольку в местном падеже без предлога могли употребляться наименования древнерусских городов, в отношении которых существовала определенная традиция, а названия иностранных городов имеют при себе предлог.

Вытеснение местного падежа без предлога для обозначения места шло так интенсивно, что «с XV в. он почти окончательно исчезает» [13].

Вот почему период XV—XVII вв. это уже не история беспредложного местного падежа как падежа изменяемой части речи, а история наречных образований, имеющих форму местного падежа, история падежных конструкций, своими истоками уходящими в древнейший период восточнославянских языков.

Эта история, при общих чертах сходства, имеет и свои особенности в каждом из восточнославянских языков. Рассмотрение беспредложных конструкций с пространственным значением дает основание для вывода о большом сходстве в употреблении беспредложных конструкций в старорусском, старобелорусском и староукраинском языках, унаследовавших эти конструкции от древнерусского языка. Замена беспредложных конструкций предложными, в которых имеется новый формальный показатель, помимо падежной формы, позволяющий уточнить, подчеркнуть значение этой падежной формы, вела в ряде случаев к отличиям в судьбе конструкций, уже предложных, в различных восточнославянских языках.

Если замена была почти полностью осуществлена в древнерусский период, причем не одной, а несколькими конструкциями, каждый из восточнославянских языков мог предпочесть какую-нибудь одну из них или сохранить все (с большей или меньшей степенью употребительности). Когда отсутствовали конкурирующие предлоги (в связи с тем, что с данным значением и только с определенным падежом употреблялся один предлог), мы наблюдаем полное сходство в судьбе той или иной беспредложной конструкции: произошла замена ее во всех восточнославянских языках конструкцией с одним и тем же предлогом, с одной и той же падежной формой.

Выдвигаемое нами положение о том, что от числа формальных признаков в известной степени зависит степень «яркости» отличительных признаков в синтаксических конструкциях восточносла-

---

[12] В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение, стр. 381—383. См. также: В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка, стр. 479—480.

[13] Е. Ф. Карский. Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 2—3, стр. 420.

вянских языков, может быть обосновано при анализе конструкций сложного предложения.

Меньше всего формальных признаков в бессоюзных сложных предложениях, сопоставляемых со сложноподчиненными: порядок частей сложного предложения, в какой-то степени видо-временные отношения глаголов-сказуемых и порядок слов в частях сложного предложения.

Основное в этих предложениях — смысловые связи, что является общим для всех языков и таким образом не служит различительным признаком.

В сложноподчиненных предложениях дополнительными формальными признаками являются союзы и союзные слова, позволяющие особенно четко определить структуру сложного предложения и помогающие выяснению смысловых связей между частями предложения.

Порядок частей предложения в тех сложноподчиненных предложениях, в которых зависимая часть может быть и в препозиции и в постпозиции, уже не является различительным признаком.

В бессоюзных предложениях причины часть предложения, которая указывает на обоснование, мотивировку, причину того или иного действия, названного в другой части, всегда находится в постпозиции.

Это основной формальный признак, способствующий определению смысловой связи частей сложного предложения как результата — причины (при перестановке смысловая связь обратная: причина — результат).

Смысловая связь между частями бессоюзного сложного предложения лишь в какой-то степени зависит от грамматической формы сказуемого в первой части предложения. Она наиболее заметна в тех случаях, когда сказуемое первой части — повелительное наклонение глагола. Требование, долженствование (с отрицанием или без него) создает смысловую неполноту первой части, поскольку, как правило, нуждается в обязательном обосновании этого требования, приказа: да пришли сороцицю. *сороцице забыле* (Новг. берест. гр. XIV—XV вв. Арц., № 43) [14]; Не бои сѧ *еще* ѧ никово пиѧново напоил (Лудольф, с. 52); Не кручинься на Марковну: *она* ничего сего не знает; простая баба, право (Аввакум. Письма, с. 208); а теперь рачьте ваша милость, рокъ подобный намъ положити: *мы* хочомъ тыи судьи верхумененыи межи собою и теперь вести на тыи земли (Берест. гр. 1518 г. Лит. метр., т. I, кн. 3, № 24); Не дивуйся тому и не соблажняйся, возлюбленный брате, православный християнине, *было* то прежде, есть и будет (Виш. Ответ Скарге, с. 173).

Во всех восточнославянских языках бессоюзные сложные предложения имеют полностью совпадающую структуру. Представлены они небольшим числом примеров как в старорусских, так и в старо-

---

[14] Выделяем курсивом первое слово второй части предложения.

белорусских и староукраинских памятниках. Лишь в некоторых памятниках находим довольно много бессоюзных сложных предложений причины, причем это зависит не от территории, на которой памятники возникли, а от их жанра, от индивидуальных особенностей стиля писателя.

Так, можно отметить склонность протопопа Аввакума к употреблению этих предложений, которые у него, как правило, удивительно четки, лаконичны: Все на брюхе лежал: *спина* гнила (Аввакум, Житие, с. 66); Мне веть неколи плакать: *всегда* играю со человеки, таже со страстьми и похотьми бьюся, окаянный (Аввакум, Письма, с. 292).

В живой речи бессоюзные сложные предложения причины занимали, несомненно, большее место, чем в письменном литературном языке XV—XVII вв.

Это положение подтверждается не только тем, что они многочисленны в сочинениях Аввакума, в записях разговоров в Грамматике Лудольфа.

И в современной живой речи, русской, белорусской, украинской, особенно в диалектной, они широко распространены. Характерно употребление бессоюзных сложных предложений причины в тех случаях, когда народную мудрость, жизненный опыт необходимо передать в предельно сжатой и в то же время выразительной форме: Не паглядай на чужых жонак: ци скасееш, ці здурнееш: не вучы кульгаць: і так ногі баляць [15].

Бессоюзные сложные предложения, в которых вторая часть п о я с н я е т, раскрывает содержание первой части, встречаются (как в древнерусских, так и в памятниках старорусских, старобелорусских и староукраинских) чаще, чем бессоюзные сложные предложения причины

Структура их та же, что и в бессоюзных сложных предложениях причины. Имеем в виду порядок частей сложного предложения.

Видо-временные соотношения глаголов-сказуемых во всех восточнославянских памятниках (старорусских, старобелорусских и староукраинских) весьма многообразны, но чаще всего глагол-сказуемое в обеих частях предложения стоит в форме прошедшего времени.

Во всех восточнославянских памятниках большая или меньшая полнота первой части предложения, необходимость ее пояснения или возможность обойтись без этого пояснения зависят от лексического значения поясняемого слова.

Когда поясняемое слово—местоимение, или образованное от местоимения наречие, вторая часть обязательна, ибо она раскрывает конкретное содержание этого слова [16]: Потом приехал архи-

---

[15] Ф. Я н к о ў с к і. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы. Выданне другое, дапоўненае. Мінск, 1962, стр. 143, 196.

[16] Выделяем курсивом первое слово второй части предложения.

епископ с Москвы и правильною виною ево, Струну, на чепь посадил за сие: *некий* человек с дочерью кровосмешение сотворил, а он, Струна, полтину взяв и, не наказав мужика, отпустил (Аввакум, Житие, с. 68); Глаголеть же нѣкіи отъ премудрыхъ святых, яко начало рати противу греха подвига человѣку постъ. И самъ Господь сие показалъ: *постися* 40 дніи (Спис. пр. люторов, с. 49); Володимеръ же кнѧзь оуказалъ бѧшеть свои воеводамъ тако. *Василкови* и Желиславу не роспꙋщати воеватъ но поити всимъ к городоу (Ипат. л. (Гал.-Вол.), л. 294 об.). Поясняемые слова — местоимение или образованное от местоимения наречие могут стоять на конце первой части предложения (в первом и третьем из приведенных выше примеров на самом конце первой части, во втором — перед управляющим глаголом).

Следует отметить, что часто и в тех случаях, когда поясняемое слово (преимущественно имя существительное, реже глагол и другие части речи) имеет самостоятельное значение, первая часть представляется неполной без второй, требует обязательно пояснения.

Полную ясность в контекст вносит только поясняющая часть в следующих, например, предложениях: ньмного ѡсподинь ржи на твою цасть. *два* ѡвина цьтвьрти (Новг. берест. гр. XV в. Арц., № 23); Бес — от веть не мужик: *батога* не боится; боится он креста Христова, да воды святыя, да священнаго масла, а совершенно бежит от тела Христова (Аввакум, Житие, с. 76).

Как в старорусских, так и в старобелорусских и в староукраинских памятниках не происходит значительных изменений в структуре бессоюзного сложного предложения, вторая часть которого указывает на следствие, результат действия, названного в первой части

Можем только отметить, что выходят из употребления бессоюзные сложные предложения, в начале второй части которых стоит *а* (но *и* в значении усилительной частицы встречается чаще, чем в памятниках XI—XIV вв.), что сами предложения становятся более компактными: землѧ готова, *надобь* сѣмѧна (Новг. берестяная гр. начала XV в. Арц., № 17) [17]; грязно *санми* ѣхатъ не можешъ (Лудольф, с. 55); И я поднялъ и положил ево на постелю, и исповедал, и маслом священным помазал, *и бысть* здрав (Аввакум, Житие, с. 63); На томъ же зьезде было немилостивые посварки и забойства, *выличили* на томъ сейме невинне забитыхъ семъ сотъ головъ (Лет. Баркул., л. 143); Того жъ року юня 21 громъ запаливъ церковъ великую у Стародубѣ Рождества Пречистои Богородици, *и* уся згорела (Лет. Сам., с. 159); Христос (до него рече): Не ридай мене, Аде, наполню пива во остатній день, *Будеш* мѣти якось мѣл (Сл. о збур. пекла, с. 232).

Интерес представляет судьба бессоюзных сложных предложений времени, которые в современных литературных восточнославянских языках употребляются редко, несколько чаще —

---

[17] Выделяем курсивом первое слово второй части предложения.

в диалектной речи и в фольклоре этих языков, однако, в ряде случаев тот или иной пример можно отнести и к бессоюзным сложным предложениям условия.

Таким образом, бессоюзные сложные предложения времени, хотя и сохранились во всех современных восточнославянских языках, не заняли в них среди временных конструкций большее место, чем в древнерусских памятниках, где эти предложения представлены небольшим числом случаев.

В старорусских, старобелорусских и староукраинских произведениях бессоюзные сложные предложения времени тоже встречаются не часто, при этом обычно в памятниках, которые близки к народной речи. Во всех случаях часть предложения со значением времени стоит на первом месте [18]: И в четвертый день очхнулась; села, да плачет; есть ей дают — *не ест* (Аввакум, Житие, с. 117); Лошадка напиталася — *опять* поехал путем или на работу о имени господни (Аввакум, Письма: с. 266); Єдинъ мо҃вил *остро*, а два *стало пестро* (Пословицы XVII в., л. 340 об.) [19]; На гробе же пророка Іелисея мертваго положено, *оживе* мертвый (Спис. пр. люторов, с. 11); И еще Бово был з Дружнею не ростал сѧ, *прышли* Сарацэны къ прыстанищу изъ за морѧ, Лукапер великого солъдана сын (Ист. о Гвид., с. 139); Сталося розерване згоди королю полскому з Турчиномъ — *зараз* по отправленю сейму войска полскіе казано збирати (Лет. Сам., с. 158); В томъ часѣ Зосимъ умеръ *наступилъ* Бонифацій, по нашему Внифантій (Палин. Копыст., с. 583).

По-видимому, ощущалась необходимость в скрепах между частями предложения, позволяющих в то же время отграничить вторую часть от первой. В роли скреп выступают союзы *и*, *а*, *ино*, соотносительные слова-наречия *так*, *тогда*.

Предложения таким образом заняли как бы промежуточное положение между бессоюзными (с ними их сближает то обстоятельство, что первая часть, указывающая на время, не имеет подчинительного союза) и сложноподчиненными, поскольку имеется союз или соотносительное слово—наречие.

Поскольку нет подчинительных союзов, эти предложения ближе к бессоюзным сложным предложениям. Отметим, что в дальнейшем предложения времени (без подчинительного союза) с союзами *и*, *а*, *ино* перестали употребляться во всех восточнославянских языках.

В русских, белорусских и украинских говорах встречаются и конструкции с постпозицией части предложения, указывающей на время. Особенно большой материал собран по русским говорам.

Как видим, судьба бессоюзных сложных предложений времени была сходной во всех восточнославянских языках. Основное отличие в степени употребительности этих предложений: в старорус-

---

[18] Выделяем курсивом первое слово второй части.
[19] Два предложения со значением времени.

ских памятниках они встречаются несколько чаще, чем в старобелорусских и в староукраинских.

Нами отмечалось, что в грамотах были широко распространены бессоюзные сложные предложения, в которых первая часть указывает на условие[20].

К числу бессоюзных мы отнесли и предложения с союзом *а* в обусловливающей части, поскольку *а* в условных предложениях является союзом начинательным, отграничивающим данное предложение от предыдущего, а не союзом условия. Как известно, союз *а* начинательный может стоять и не в условном предложении. В качестве примера приведем текст из частного письма — из Новгородской берестяной грамоты, относящейся к XII в.: ꙗже ми отьць даѧлъ и роди съдаѧли а то за нимь *а* нынѣ водѧ новую женоу а мънѣ не вдасть ничьто же изби въ роукы поустилъ же мѧ а иноую поѧлъ (Арц. и Тих., № 9).

Второе *а* (а нынѣ. . .) совершенно отчетливо отграничивает данное предложение от предыдущего.

Мы подчеркиваем, что именно второе *а* (а нынѣ . . .), а не первое, поскольку наш пример[21] вызвал возражение со стороны одного слависта, без основания полагавшего, что идет речь о первом *а*.

Еще пример из старорусской грамоты начала XV в.: ньмного ѡсподинь. ржи. на твою цасть. два ѡвина. цьтвьрти. *а* пѧнтьликь видьль самь (Арц., № 23).

Условность в предложениях с *а* выражалась не союзом *а*, а порядком слов в обусловленной части, ее местом (препозиция) по отношению к обусловливаемой, а также соотносительным употреблением глагольных форм в обеих частях (в устной же речи и интонацией).

Если исключить примеры с *а* начинательным в условных предложениях, то придется признать, что число случаев с условными бессоюзными предложениями было сравнительно небольшим (особенно без соотносительного союза во второй части предложения) как в памятниках XI—XIV вв., так и в произведениях периода XV—XVII вв.

Очевидно, однако, что в живой разговорной речи, как об этом в частности свидетельствуют пословицы XVII в., употребление бессоюзных предложений без *а* и без соотносительного союза во второй части было обычным, а не составляло исключения.

Приведем несколько примеров без *а* и без соотносительного союза из восточнославянских памятников (старорусских, старобелорусских и староукраинских)[22]. 1) Слушай же, что говорю: не станешь писать, *я* петь осержусь (Аввакум. Житие, с. 121);

---

[20] В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение. М., 1958, стр. 67—84.

[21] Мы отметили его в работе: Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение, стр. 99.

[22] Выделяем курсивом первое слово второй части предложения.

Бить борана *сьѣдя* бояря уби козла *не обрася* зла (Пословицы XVII в., л. 328 об.)[23]; 2) бы не бы то лиходеи. *не выдали есмо* тобе его (Страсти Христовы, л. 19); 3) и присла вина чюмъ и ре не ѡбыкли пити молока. *пии* вино (Ипат. л. (Гал.-Вол.), л. 271).

Хотя было широко распространено употребление в начале предложения начинательного *а*, случаи с *а* (также, как и в рассмотренных ранее примерах, без соотносительного слова в обусловленной части) немногочисленны.

Приведем несколько примеров:

1) а холо или роба име на господу вадити. *томѹ* ва вѣры не инѧти (Новг. договорная гр. 1471 г. Шахм., О языке, № 20); А случитца суд смесной, *иіцея* и ответчик судимы будут не одному судье (Суд. 1589 г., л. 31); 2) А што обедве стороне на светки и на суди наложать, *повинни будут* тые суди сами оправовати (Лит. ст. 1529 г., с. 48); 3) а не да(в)ши и(м). *сами* собѣ возму(т) ка(к) и доту(л) бра(ли) (Гр. Петра воеводы и боярской рады 1456 (?) г., Укр. гр. XV ст., № 53).

В древнерусских памятниках нами отмечалась одна интересная черта: *а* может начинать часть предложения в составе условного предложения с союзом *аже* в обусловленной части[24].

Приведем один из примеров, достаточно ясный лишь в том случае, когда приводится полностью: Аже розгнѣваюеть сѧ кнѧзѣ на своюего чл҃вка. а боудѣте винъватъ немчицю роусинъ. а ѡтимьть кнѧзѣ все женоу и дѣти: оу холъпство: пѣрвоюе платити юмоу: : латинину: а по томь кнѧзю какъ любо съ своимь чл҃вкмь (Смоленская гр. 1229 г. Список А.—Сум. и Лоп., стр. 21—22. См. также списки В и С. Сум. и Лоп., стр. 26, 31).

Обусловливающая часть предложения начинается союзом *аже*, обусловленная—словами *пѣрвоюе платити*. В это сложноподчиненное предложение вклиниваются два дополнительных условия, начинающиеся с *а*: 1) а боудѣте винъватъ немчицю роусинъ; 2) а ѡтимьть кнѧзѣ все женоу и дѣти: : оу холъпство.

При переводе этих частей предложения на современный русский язык мы употребили бы дополнительно слова *при этом* при первом из указанных условий: если при этом. . .

Вставное условное предложение мы находим и в поздних памятниках.

Приведем пример из Судебника 1497 г., отличающийся от отмеченного выше тем, что в нем в начале текста не *аже*, а начинательное *а*[25]: А доведут на кого татбу или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, а будет ведомой лихой,

---

[23] Два бессоюзных условных предложения.

[24] В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение, стр. 170.

[25] В Судебнике 1497 г. лишь два сложноподчиненных предложения условия (с *аще* и *оже*).

и ему того велети казнити смертною казнью, а исцево доправити из его статка (Суд. 1497 г., л. 8). Вставное условие: а будет ведомой лихой.

Отметим еще пример из старобелорусского памятника, в котором тоже имеется вставное условие (а ухватять съ лицом): А который будеть люди выводити, а любо челядь неволную, а ухватять съ лицом: того на шибѣницу (Западнорус. гр. 1468 г. АЗР, т. I, № 67).

Если обратиться к современному фольклору (к пословицам), к записям диалектной речи восточнославянских народов, то окажется, что и фольклор и живая диалектная речь широко пользуются бессоюзными сложными предложениями условия без соотносительного союза (и без начинательного *а*).

Это, как мы полагаем, тоже является свидетельством в пользу мнения, что указанные бессоюзные сложные предложения, немногочисленные в памятниках восточнославянской письменности, занимали значительно большее место в живой речи XV—XVII вв. Их несомненное достоинство — краткость, возникшая в результате отбора лишь самых необходимых для данного высказывания слов.

В письменной речи господствуют бессоюзные сложные предложения с сопоставительным союзом во второй части (без *а* начинательного в обусловливающей части и с начинательным *а*).

Включение нового формального признака привело к некоторым различиям в строе этих предложений в восточнославянских языках, чисто внешним — к употреблению того, а не другого скрепляющего звена. В то же время эти предложения, как и временные, о которых мы говорили выше, в какой-то степени приблизились к сложноподчиненным, хотя и не стали ими, поскольку в них нет подчинительного союза в обусловливающей части предложения.

В старорусских памятниках в качестве соотносительного союза находим *и* и *ино*, причем чаще употребляется *и*, однако, в некоторых памятниках (например, в двинских грамотах XV в.) соотносительный союз *ино* господствует. Соотносительный союз *а*, редко употреблявшийся в памятниках XI—XIV вв., в более поздних памятниках нам не встретился, по-видимому, его постановке препятствовало противительное значение, которое характерно для этого союза.

Крайне редко находим в старорусских памятниках примеры с союзом *то* в обусловленной части, который в дальнейшем стал господствующим соотносительным союзом в литературном русском языке (помимо него могут употребляться *так* и *тогда*).

Наречие *такъ* в роли соотносительного союза встретилось нам в пословицах XVII в. дважды, но в пословицах XVII—начала XVIII столетия значительно больше примеров.

Поскольку в литературных памятниках бессоюзные сложные предложения с *такъ* встречаются редко, а в фольклоре и в народных говорах они широко представлены, Б. В. Лавров приходит

к вполне обоснованному выводу, что эти предложения — особенность разговорной речи, диалектная черта [26].

Ограничимся несколькими примерами с соотносительными союзами: Громъ не грянетъ *и* мужикъ не дрогнетъ. (Пословицы XVII в., л. 336 об.); А похочет небоец з бойцом битися сам, *ино* им битися (Суд. 1589 г., л. 21); Так, то ты говоришъ; тутъ ефимокъ, иньде иной, *такъ* станетъ два ефимка; отдаватъ ли тобѣ такъ? (Разговорник 17 в., с. 45—46); Узелокъ да памятца *то* дѣло станеца (Пословицы XVII в., л. 367).

Виды соотносительного употребления тех или иных форм в роли сказуемого обусловливающей и обусловленной частей бессоюзного сложного предложения в старорусских памятниках чрезвычайно разнообразны (многообразны они и в современном русском языке).

Поэтому мы остановимся только на одном редко встречающемся виде, который в дальнейшем, благодаря своему структурному своеобразию, получил распространение как ярко выражающий условие. Имеем в виду предложения с повелительным наклонением глагола со значением условия в первой части предложения.

Примеры немногочисленны даже в пословицах XVII и XVII—начала XVIII в. (в дальнейшем в пословицах они стали употребляться чаще): Кинь хлѣбъ соль за собою объявися пре тобою. (Пословицы XVII в., л. 352); Не пеи много вина не истеряешь ума. (Там же, л. 359); Не и³бываи постылого не во³ме бгъ милого (Там же, л. 359); Не замаи дерма такъ не ваняетъ (Там же, л. 361 об.); Богатѣе себя взае не даваи, так не оголѣешъ (Пословицы XVII—XVIII вв., л. 3 об.).

В старобелорусских памятниках находим следующие соотносительные союзы: *и*, *ино*, *то*, *тогды*.

Как и в старорусских памятниках, *то* встречается редко, широко представлено употребление *ино*. В отличие от старорусских памятников немногочисленны примеры с *и*, многочисленны с *тогды*, если нужно подчеркнуть помимо условных и временны́е отношения, например, в Литовском статуте 1529 г.

В современной белорусской речи, в языке художественной литературы употребляются бессоюзные сложные предложения, в обусловленной части которых стоит *то*, *тады*, *дык*.

В современном русском литературном языке употребляются *то*, *так*, *тогда* при явном господстве *то*, в литературном белорусском языке *то* лишь несколько чаще встречается, чем другие соотносительные слова. Среди старобелорусских памятников (а также и среди староукраинских) нет сборников пословиц [27], по-

---

[26] Б. В. Лавров. Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. М.—Л., 1941, стр. 28—29.

[27] Однако в старинных белорусских произведениях, в частности в отписках Оршанского старосты Филона Кмиты Чернобыльского 1573—1574 гг., встречаются белорусские пословицы. См.: Е. Ф. Карский. Белорусы,

этому мы не имеет возможности привести примеры с бессоюзными предложениями условия, в которых сказуемое первой части имеет форму повелительного наклонения глагола.

Современные пословицы (указанного типа) белорусского народа, многие из которых — наследство от далекого прошлого, позволяют сравнить их со старорусскими пословицами, в частности следующую пословицу: Кінь за собою — знайдзеш перед сабою [28].

Отметим еще несколько пословиц: Рана у поле выязжай — лешшы будзе ураджай; Кладзі гной у пару́, збярэш збожжа гару; Пільнуй гаспадаркі, будуць у гаршку скваркі; Сей горы і даліны—не будзеш мець няшчаснае гадзіны; Пагладзь ката — ён і хвост задзярэ; Пацалуй свінню — укусіць [29].

Приведем несколько примеров с соотносительными союзами из старобелорусских памятников: каково боудеть межи вами слово или какова пра. *и* вы на мене сошлетеса акы на третии (Лет. Супр., л. 53); А извиниться наш Полочанинъ у Ризе, *ино* его Немьцемъ у Ризе не казнити, отпустити его у верхъ (Полоцк. гр. 21 июня 1405 г. РЛА, № 154); было бы што вышей третее части ей записано, *то* маеть ѡтъ нее ѡтлоучоно быти и дано братьи моей (Могилев. гр. 1533 г. Arch. Sang., т. III, № 437); а не хотела бы она по моемъ животе пойти за моуж, а на вдовемъ стольцы седела, *тогды* она маеть тые села в той соуме до живота своего держати (Там же).

И в старобелорусских памятниках многообразны виды соотносительного употребления тех или иных форм в роли сказуемого обусловливающей и обусловленной частей бессоюзного сложного предложения. В белорусских пословицах сходного вида (с повелительным наклонением глагола в первой части предложения) может стоять соотносительный союз: Дай зямлі, і яна дасць; Пасадзі на такую (добрую) раллю дзіця, дык і яно вырасце; Дай дзецям волю, то сам улезеш у няволю [30].

На присутствие в белорусском языке предложений с повелительным наклонением глагола в обусловливающей части предложения указывал в свое время основатель белорусской филологии и белорусского языкознания академик Е. Ф. Карский, который привел примеры из живой речи и из фольклора, в частности и пример, лишь несколько отличающийся от одного из отмеченных выше: здаётца, *пасадзі* на поле дзіця, та й тóе вырасце [31].

т. III. Очерки словесности белорусского племени. Народная поэзия. М., 1916, стр. 394 и след.

[28] Ф. Янкоўскі. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы, стр. 229. Ср. приведенную выше пословицу: Кінь хлѣбъ соль за собою объявися пре тобою. (Пословицы XVII в., л. 352).

[29] Ф. Янкоўскі. Указ. соч., стр. 40, 106, 113, 117, 323, 353.

[30] Ф. Янкоўскі. Указ. соч., стр. 101, 112, 115.

[31] Е. Ф. Карский. Белорусы, т. II. Язык белорусского племени. Очерки синтаксиса белорусского наречия. Варшава, 1912, стр. 110 (новое издание: Е. Ф. Карский. Белорусы, вып. 2—3. М., 1956, стр. 383).

Староукраинские памятники знают те же соотносительные союзы, которые мы отметили в старорусских и старобелорусских произведениях: *и*, *ино*, *тогда*, *то*.

Как и в старобелорусских памятниках, чаще встречаются соотносительные слова *ино* и *тогда*.

Приведем несколько примеров: И маеть онъ намъ вѣрнымъ быти: а съ кимъ мы будемо, *и* онъ зъ нами, а съ кимъ не смирни, *ино* и (онъ) противно тому маеть быти несмѣренъ (Луцк. гр. 1438 г., АЗР, т. I, № 37) [32]; Павел речет; «Не замай, никтожь не прелщается, если мнится быти мудр, не замай, учинится глуп, *тогда* будет премудр (Виш., Зачапка, с. 195); Не жури ж ся ти для того, Найдем в полю коний много, А не найдем, *То* піш підем (Песня про козака и Кулину, стр. 180).

Как и русскому и белорусскому языкам, украинскому языку известны предложения с повелительным наклонением глагола в обусловливающей части: дай мэн'і́ те хаз'а́йство | так і ба́т'ко си́тий бу́дэ | і ти | і ба́ба [33]; Посій мене́ у боло́то, бу́деш ма́ти зло́то [34].

Рассмотренный нами материал позволяет сделать вывод, что бессоюзные сложные предложения условия прошли в восточнославянских языках сходный путь развития.

Различия лишь в степени употребительности того или иного из соотносительных слов, присоединяющих обусловленную часть к обусловливающей части предложения.

Многие отечественные языковеды остановили свое внимание на определительных бессоюзных предложениях, поскольку этот тип, во-первых, отсутствует в современных литературных восточнославянских языках, а во-вторых, вызывал и вызывает споры и самые различные толкования.

Проследим судьбу этих конструкций в памятниках XV—XVII вв., т. е. того времени, к которому относятся уже не древнерусские, а старорусские, старобелорусские и староукраинские памятники. Отметим тот интереснейший факт, что в памятниках данного периода мы наблюдаем рост числа бессоюзных сложных определительных предложений по сравнению с памятниками XI—XIV вв. — древнерусскими памятниками. По-видимому, это результат все усиливающегося влияния живой устной речи. Характерно, что в новгородских берестяных грамотах XI—XIV вв., являющихся частными письмами, данные предложения представлены, а в официальных договорных грамотах того же периода они отсутствуют.

---

[32] Два бессоюзных предложения. В одном соотносительное слово *и*, в другом — *ино*.

[33] Пример из записей диалектной речи в книге: Ф. П. Жилко. Нариси з діалектології української мови. Київ, 1955, стр. 275. Пример записан в Полтавской области.

[34] К. Ф. Герман. Безсполучникові складні речення в буковинських говірках. — «Тези доповідей XXII наукової сесії. Секція філологічних наук (травень—червень)». Чернівці, 1966, стр. 12.

Степень употребительности бессоюзных сложных определительных предложений зависит от жанра памятника. Их нет или почти нет там, где отсутствует описание людей, предметов, характерных для них признаков, например, в сводах законов (Судебники 1497, 1550 и 1589 гг.). Много примеров в «Путешествиях по святым местам», в повестях.

Рассмотрим все три типа бессоюзных предложений по классификации А. А. Потебни: 1) Для этого типа характерно то, что «дополнение или подлежащее главного предложения указывает на подлежащее или дополнение придаточного паратактичного, при коем нет не только относительного, но и указательного местоимения» [35]. Образцы, приведенные А. А. Потебней: прислалъ человека, Иваномъ зовут, N сказался села N крестьянинъ, Игнашкою зовутъ; 2) Ко второй группе относятся предложения, в которых существительное главного предложения повторяется в придаточном (с указательным местоимением или без него, с соединительным союзом *и*, *а* при придаточном или без союза). Образец, данный А. А. Потебней: есть печера, *изъ тоя печеры* исходить источникъ, Дан. Пал.; 3) К третьей группе причисляются предложения, в придаточном предложении которых не повторяется существительное главного предложения, а стоит местоимение (*и*, *онъ*). Образец в книге А. А. Потебни: Есть печера, (а) *изъ нея* исходить источникъ.

Широко представлен в памятниках восточнославянской письменности первый тип бессоюзных сложных определительных предложений. Приведем ряд примеров из старорусских, старобелорусских и староукраинских памятников: 1) и ту стоитъ городокъ, *по Гречески именуется крѣпость* (Пут. Моск. купцов, с. 137); а промежъ тѣхъ градовъ идетъ рѣка зовомая Кура, *не мерзнетъ никогда* (Пут. Гогары, с. 111); а вино гсдрь продаютъ подле ншева двора черкасы *а стоятъ на Воскресенскомъ подворе* (Челобитная А. И. и Ф. И. Безобразовых, 7 марта. — Памятники XVII в., № 120, с. 70); Да у меня ж был на Москве бешаной, — *Филиппом звали*, — как я из Сибири выехал (Аввакум, Житие, с. 114); 2) и ѡдна панна *носила королевича сына ее*, ушла в ложницу, а дитѧ начало плакати (Пов. о витязях, с. 10); Абда Олѣевичъ *гроши бралъ у Аликеча*, слугу выслалъ, кляча, согай, рогати (Сп. татар дом., с. 1367); 3) Виде(л) [теж] есми Ла(в)рика бу(д)ника, вы(с)те(б)це лежачого, збитого, *ногою левою не (в)лада(е)т, голе(н) вся синя* (АКЖ, Акт № 3).

В современных литературных восточнославянских языках, в разговорной беглой речи возможны такие построения, но, в отличие от сходных конструкций в восточнославянских памятниках, в них опущено союзное слово — определительное местоимение как удлиняющее определяющую часть.

---

[35] А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, т. III. М., 1968, стр. 251—252.

Диалектная речь восточных славян сохраняет конструкции, унаследованные от периода XV—XVII вв., особенно часто встречаются они в фольклоре, преимущественно в сказках, то есть в том виде устного народного творчества, который ближе всего к устной разговорной речи, когда в этой речи содержится повествование о каких-либо событиях. Показательный материал находим в частности в двух выпусках сборника И. Рудченко «Народные южнорусские сказки» (Киев, 1869—1870). Ограничимся двумя примерами, сохраняя орфографию сборника: Приходить до дому тай росказує змійі: бачив одного чинця, *коло манастыря ходив* (Рудч., в. I, с. 148); Був собі один чоловік багатенький, *мав собі корів доволі* (в. 2, с. 167).

Если в первом типе бессоюзных сложных определительных предложений нет никаких указаний на связь определяющей части с определяемой, кроме ясно выраженного смыслового единства, то во втором типе эти указания даже избыточны, поскольку повторяемое существительное может иметь при себе еще и указательное местоимение. В старорусских памятниках второй тип предложений встречается значительно реже, чем первый тип. Исключение составляют челобитные XVII в., где этот тип представлен многими примерами. В старобелорусских и в староукраинских памятниках второй тип бессоюзных сложных определительных предложений тоже встречается не часто. Отметим несколько примеров из восточнославянских памятников: 1) и въ той пещерѣ источникъ, *отъ того источника питалась Елизаветъ*, а створенъ тотъ источникъ Божіимъ повелѣніемъ, а не копанъ ни кѣмъ (Пут. моск. купцов, с. 145); 2) а Либрунъ был жывъ и держалъ тот город, *а имя тому городу Кесарыя*, а велми былъ город давныи (Пов. о витязях, с. 124); 3) А у Миха(л)ка взято сермягу новую, за которую дано по(л)копы грошє(и), шапка [!], за которую дано грошє(и) шє(ст) <, > поя(с) з калитою и з ножами, и з ѡгнивомъ, *а в калитє было грошє(и) три(д)цат*, поя(с) з калитою и з ножами уго(р)ски(ми), *а в калитє грошє(и) по(л)трєтя(д)ца(т)* [!] (АКЖ, Акт 55).

Второй тип бессоюзных сложных предложений сохранился в фольклоре восточнославянских народов. В первую очередь это относится к сказкам с их неторопливым повествованием, в котором особенно выделяются, подчеркиваются отдельные слова. Такому подчеркиванию способствует их повторение, особенно тогда, когда при повторении повторяющееся слово имеет при себе указательное местоимение.

Приведем несколько примеров из уже упоминавшегося ранее сборника, изданного И. Рудченко, где широко представлен рассматриваемый нами тип предложений: Ото він колись пішов од нейі, — ходив по лісі, тай наглядів яму, *а в тій ямі було дванадцять чортів* (Рудч., в. I, с. 57); Коли зачав його вітер приносить до якогось берега, *а под берегом була дужа здорова пуща* (в. 2, с. 19); а потім на морі лежить золотий міст, а *на тому мосту різни дерева стоять* (в. 2, с. 96).

Третий тип бессоюзных сложных определительных предложений, в котором функции связующего звена между частями предложения выполняет местоимение *онъ*, заменяющее имя существительное, встречается часто в восточнославянских памятниках, особенно часто в деловой письменности, иногда рядом с первым и вторым типом. Приведем несколько примеров: 1) пойдетъ ихъ насадъ съ солью къ Вологде, *а въ немъ четыре тысячи пудъ соли* (Моск. гр. 1551 г. АИ, т. I, № 156); и ту господь воскреси его; и ту стоитъ церковь Воскресенія Христова, другая Лазаря, *а въ ней гробъ Лазаревъ, и сестры его Мароы и Маріи* (Пут. моск. купцов, с. 139); 2) Потомъ идꙋчи пре[з] оны[і] лѣсъ видѣли ѡдно дерево велми высокое, *на не*[м] *седѣлъ птахъ велики*[і], а тое дерево ани ли[ст]а, ани ѡвочу жадного не мѣло (Александрия, с. 106); Ла(в)рика з буды взя(в)ши, зби(л), змо(р)дова(л), а сє(р)мягу, кожу(х), сокиру, ша(п)ку и чєрєз с пнзми ѡ(т)ня(л), *в нє(м) было двє ко[пє] и дєсє(т) грошє(и) лито(в)ски(х)*, што всє ко(ш)товало пя(т) ко(п) и грошє(и) три(д)ца(т) пя(т) лито(в)ски(х) (АКЖ, Акт № 3).

Рассмотренный нами третий тип бессоюзных сложных определительных предложений не вытеснил даже в XVII в. два других типа предложения, хотя в нем более заметна зависимость определяющей части от определяемой, чем в предложениях первых двух типов, части предложения в предложениях этого типа более тесно соединены в одно целое. В памятниках XVII в. мы находим все три типа бессоюзных сложных определительных предложений.

Третий тип встречается в живой диалектной речи восточнославянских народов, но значительно чаще (хотя и реже, чем второй тип) он употребляется в фольклоре — в сказках. В сказках, изданных И. Рудченко, в два раза больше случаев со вторым типом предложения, чем с третьим. Интересно отметить, что в старопольском языке мы видим несколько иную картину, насколько об этом можно судить в частности на основании рукописи 1669 года (Wacław Potocki «Zebranie przypowieści . . .») Из бессоюзных сложных определительных предложений, употреблявшихся рядом со сложноподчиненными с союзным словом *który*, чаще всего встречаются предложения третьего типа с *on* или *ten* (преобладает *ten*)[36]. Dice Bogini ktora Sądow y Trybunałow pilnowala, sprawy rozstrzygała y uspakaiała między przeciwnemi stronami, *iey Kapłani zwali się Dicaste* miala taBogini Koscioł wEfezie (k. 10)[37]; Neptun, dlaswoiey ofiary nastręczył mu nie słychaney wielkosci y cudnosci Byka, *tego obaczywszy Minos chciał gosobie zachowac ainszego ofiarowac* (k. 4 r); Tentedy Chiron był Praeceptorem Achillesowem, *ten go przy inszych*

---

[36] Примеры из Картотеки Польского словаря XVII и первой половины XVIII в. в Варшаве.

[37] В предложении и второй тип определяющей части: miała taBogini Koscioł wEfezie.

naukach naCytrze grac, y na ziołach się znac wycwiczył (к. 6 ч.)[38].

Данные старорусских, старобелорусских и староукраинских памятников позволяют нам сделать вывод о сходстве и даже полном совпадении структуры бессоюзных сложных определительных предложений в восточнославянских литературных языках XV—XVII вв. Судьба этих предложений в восточнославянских языках была сходной: они сохранились в фольклоре (все три типа), в живой диалектной речи (преимущественно первый тип).

В разговорной речи встречается только первый тип, но он представляет собой новое явление языка, имеющее лишь некоторое внешнее сходство со старинной конструкцией.

История сложноподчиненных предложений в восточнославянских языках могла бы послужить темой для специального доклада, поскольку в этих предложениях произошли особенно значительные изменения на протяжении XV—XVII вв. и последующего времени.

Мы ограничимся поэтому лишь краткими выводами о тех изменениях в указанный период, которые являются общими для всех типов сложноподчиненных предложений в восточнославянских языках.

Общее для всех языков данной семьи явление — постепенное увеличение числа случаев с постпозицией и интерпозицией зависимой части, причем в определительных предложениях этот процесс протекал одновременно с устранением повторения имени и закончился (в литературных языках) полным отказом от конструкций с препозитивной определяющей частью. Это самая главная и самая яркая черта сходства в истории сложноподчиненных предложений в восточнославянских языках.

Благодаря усовершенствованию структуры сложноподчиненных предложений, которое сопровождалось увеличением степени зависимости придаточного предложения от главного, отпала потребность в сочинительных союзах, «скреплявших» части сложноподчиненного предложения.

В то же время наблюдается отбор союзов из числа имеющихся и вновь возникших. Наименее стойкими оказались те союзы, которые были заимствованы из старославянского языка и отсутствовали в живой речи восточных славян. Сфера употребления этих союзов постепенно суживается, они становятся принадлежностью лишь высокого стиля, а позже вытесняются из литературного языка другими союзами.

Для всех восточнославянских языков характерно стремление освободиться от многозначных союзов, от союзов-синонимов, стремление уточнить и дифференцировать функции союзов. «Набор» союзов оказался в литературных восточнославянских языках не вполне совпадающим, так как выбор их, преимущественно

---

[38] В отличие от предыдущего примера в данном примере определяющая часть стоит не непосредственно после определяемого слова Praeceptor.

в тех случаях, когда возникала необходимость в новом союзе, зависел от роли диалектов в формировании отдельных литературных языков, кроме того, темпы изменений, происходивших в сложноподчиненных предложениях в близкородственных языках, не всегда были одинаковыми, не всегда была одинаковой и степень употребительности той или иной синтаксической конструкции.

Несмотря на значительные изменения в системе подчинительных союзов, большинство подчинительных союзов (в том числе и некоторые новые союзы) находим в памятниках всех трех языков — старорусского, старобелорусского и староукраинского. Эти союзы, в результате определенных фонетических и морфологических явлений в каждом из восточнославянских языков, несколько отличаются (не всегда) по своему звуковому составу в одном языке от тех же союзов в родственном языке.

В сложноподчиненных предложениях формальных признаков связи больше, чем в бессоюзных сложных предложениях, синонимичных сложноподчиненным. Поэтому более отчетливыми кажутся различия первых в отдельных восточнославянских языках, чем вторых. Следует, однако, подчеркнуть, что эти различия в лексическом составе, а не в главном — в структуре сложноподчиненных предложений.

В нашем докладе мы не имели возможности остановиться буквально на всех синтаксических конструкциях. Тем не менее даже краткий обзор, посвященный некоторым конструкциям, позволяет нам сделать вывод, что черт сходства в истории синтаксической системы в восточнославянских языках значительно больше, чем черт различия. Сходство наблюдается при этом не только в тех явлениях синтаксиса, которые унаследованы от древнерусского языка, но и в новых, возникших уже в период образования старорусского, старобелорусского и староукраинского языков.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Аввакум. Житие — «Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения». Под общей редакцией Н. К. Гудзия. М., 1960.

Аввакум. Письма — Письма протопопа Аввакума. Там же.

АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею, т. I—V. СПб., 1846—1853.

АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею, т. I—III. СПб., 1841—1842.

АКЖ — Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582—1558 рр.). Підготував до видання М. К. Бойчук. Київ, 1965.

АХМ — Акты хозяйства Б. И. Морозова, ч. II. М.—Л., 1945.

Александрия — Александрия по Ленинградскому списку. «Александрыя». Мінск, 1962.

Арц. — А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.). М., 1954 (№ 11—83).

Арц. и Борк. — А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.). М., 1958 (№ 84—136); Они же. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963 (№ 195—318).

Арц. и Тих. — А. В. Арциховский и М. Н. Тихомиров. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). М., 1958 (№ 1—10).

Виш. Зачапка — Зачапка мудраго латынника з глупым русином. Вишенский Иван. Сочинения. Подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина. М.—Л., 1955.

Виш. Книжка — Книжка. Там же.

Виш. Ответ Скарге — Краткословный ответ Скарге. Там же.

Ж. Феод. Печ. — Житие Феодосия Печерского, по Успенскому сборнику XII в. — «Сборник XII века московского Успенского собора», вып. I. Под ред. А. А. Шахматова и П. А. Лаврова. М., 1899.

Ипат. л. (Гал.-Вол.) — Галицко-Волынская летопись, ок. 1425 г. ПСРЛ, т. II, изд. 2. Под редакцией акад. А. А. Шахматова. СПБ., 1908.

Ист. о Гвид. — История о княжати Кгвидоне. Изд. А. Н. Веселовским. «Из истории романа и повести. Материалы и исследования». Вып. II. Славяно-романский отдел. «Сб. ОРЯС», т. 44, № 3. СПб., 1888.

Лавр. л. — Лаврентьевская летопись, 1377 г. ПСРЛ, т. I, вып. 1—2, изд. 2. Л., 1926—1927. Редактировал и правил корректуру акад. Е. Ф. Карский.

Лет. Баркул. — Баркулабовская летопись. «Киевские университетские известия», год 38-й, № 12, 1898.

Лет. Рачин. — Западнорусская летопись по списку Рачинского. ПСРЛ, т. 17. Изд. 2. СПб., 1907.

Лет. Сам. — Летопись Самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех малороссийских хроник: Хмельницкой, «Краткого Описания Малороссии» и «Собрания Исторического». Издана Киевскою Временною Комиссиею для разбора древних актов. Киев, 1878.

Лет. Супр. — Супрасльская летопись. ПСРЛ, т. 17. Изд. 2. СПб., 1907.

Лит. метр. — Литовская метрика. См.: РИБ, т. XX, XXVII, XXX, XXXIII.

Лит. ст. 1529 г. — Старый литовский статут 1529 г. По копии с рукописи XVII в. «Временник имп. Московского Общества истории и древностей российских», кн. 18. М., 1854.

Лудольф — Генрих Вильгельм Лудольф. Русская грамматика. Оксфорд, 1696 — Henrici Wilhelmi Ludolfi Grammatica Russica Oxonii A. D. MDCXCVI. Edited by B. O. Unbegaun. Oxford, 1959.

Палин. Копыст. — Палинодия Захария Копыстенского, 1621 г. «Памятники полемической литературы в Западной Руси», кн. I. РИБ., т. IV. Пб., 1878.

Памятники XVII в. — Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия (Из фонда А. И. Безобразова). Изд. подготовили С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. М., 1965.

Пересторога — Пересторога И. Борецкого (1605—1606 гг.), во Львове. — АЗР, т. IV. СПб., 1851.

Песня про козака и Кулину — Песня про козака и Кулину. — В кн.: Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.). Упорядкував академік О. І. Білецький. Видання трете доповнене. Київ, 1967.

Письма Ив. IV — Письма Ивана Грозного А. Курбскому. — «Сочинения князя Курбского», т. I. РИБ, т. XXXI. СПб., 1914.

Пов. о витязях. — Починаеться повесть о витезях с книг сэрбъских. Изд. А. Н. Веселовским. «Из истории романа и повести. Материалы и исследования». Вып. II. Славяно-романский отдел. «Сб. ОРЯС», т. 44, № 3. СПб., 1888.

Пословицы XVII в. — Сборник пословиц XVII века. — В кн.: П. К. Симони. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и пр. «Сб. ОРЯС», т. 66, № 7, СПб., 1899.

Пословицы XVII—XVIII вв.— Пословицы Петровского времени (конца XVII—начала XVIII столетия). Там же.

Пут. Гогары — Путешествие по святой земле дьякона Гогары в 1634 г. «Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым», т. 2, кн. VIII, СПб., 1849.

Пут. моск. купцов — Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова по святым местам в 1582 г. Там же.

Разговорник 17 в. — Русский рукописный разговорник 17 века — Historisk—filosofiske Meddelelser ungivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Bidn 39, nr. 8. Ein russisches Handschriftliches Gesprächbuch aus dem 17. Jahrhundert. Mit Kommentar von Hans Christian Sørensen. København, 1962.

РЛА — Русско-ливонские акты, собранные К. Е. Напьерским. Изд. Археографической комиссией. СПб., 1868.

Сл. о збур. пекла — Слово о збуреню пекла. — В кн.: Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.). Упорядкував академік О. І. Білецький. Видання трете доповнене. Київ, 1967.

Спис. пр. люторов — Списание против люторов. «Памятники полемической литературы в Западной Руси», кн. III. РИБ, т. XIX. Пг., 1903.

Сп. татар дом. — Пописъ татаръ домовыхъ Великого Князства Литовъского.— «Пописъ войска Литовского 1567 г.» РИБ, т. XXXIII. Пг., изд. Археографической комиссии, 1915.

Страсти Христовы — Страсти Христовы в западнорусском списке XV века. «Памятники древней письменности и искусства», № 140. СПб., 1901.

Суд. 1497 г. — Судебник 1497 года. — Судебники XV—XVI веков. Под общей редакцией академика Б. Д. Грекова. М.—Л., 1952.

Суд. 1589 г. — Судебник 1589 года. Там же.

Сум. и Лоп. — Смоленские грамоты XIII—XIV веков. Подгот. к печ. Т. А. Сумникова и В. В. Лопатин. М., 1963.

Укр. гр. XV ст. — Українськи грамоти XV ст. Підготовка тексту, вступна стаття і коментарі В. М. Русанівського. Київ, 1965.

Чт. Б. и Г. — Чтение о житии и погублении блжную стрпца. бориса и глѣба. «Сказания о святых Борисе и Глебе. Сильвестровский список XIV в.». По поручению и на иждивении имп. Археологического общества издал И. И. Срезневский. СПб., 1860 (литографированный текст).

Шахм. Исслед. — А. А. Шахматов. Исследование о двинских грамотах XV в. «Исследования по русскому языку», т. II, вып. 3. СПб., 1903.

Шахм. о языке — А. А. Шахматов. О языке новгородских грамот XIII и XIV века. «Исследования по русскому языку», т. I. СПб., 1885—1895.

Arch. Sang. — Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, wydane nakładem właściciela pod kierownictwem L. L. Radzimińskiego. T. I—IV. We Lwowie, 1887—1890.

Ж. Ж. ВАРБОТ

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДИАХРОНИЧЕСКОГО ИСТОЛКОВАНИЯ МОРФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВАРИАНТНОСТИ В СЛАВЯНСКИХ ОТГЛАГОЛЬНЫХ ИМЕНАХ

Системное представление о словообразовательно-диахронической организации лексики славянских языков предполагает сравнение и обобщение результатов этимологического и историко-словообразовательного истолкования слов отдельных этимологических гнезд не только в генетическом плане (образование слова от какого-то другого слова по определенной словообразовательной модели и вхождение слова в то или иное гнездо), но и в плане соотносительно-диахроническом: существенно определение диахронических отношений родственных слов при отсутствии между ними (во всяком случае, на данном этапе изучения) непосредственных связей производящего и производного. Представляется, что именно ограниченность сведений последнего рода объясняет отсутствие попыток графического изображения этимологических гнезд, о перспективности которого для теории и практики этимологизации неоднократно упоминали [1].

Одним из ближайших объектов диахронической оценки являются вариантные лексемы, т. е. родственные слова, близкие или тождественные семантически, различающиеся по одной из структурных характеристик (разные типы основ для имен существительных; разные производящие суффиксальные глагольные основы для отглагольных имен существительных; разные ступени корневого вокализма; разные, но сводимые к одному генетическому источнику суффиксы и т. п.). Варианты всегда были существенным подспорьем для этимологии, определяя во многом направление поисков этимологического истолкования слова [2]. Однако, использовав данные вариантности как отправную точку исследования, этимология далеко не всегда возвращается к вариантам для объяснения их соотношения. В этимологических словарях варианты нередко разносятся по разным статьям, что во многом обедняет содержащуюся в них взаимную этимологическую информацию и снимает вопрос об их диахронических отношениях.

Разумеется, отсутствие в большинстве случаев соображений о соотношении вариантов имеет свои веские причины: очевидно,

---

[1] Ср. Y. Malkiel. Etymology and the Structure of Word Families. — «Word», v. 10, № 2—3, 1957, стр. 265—266.

[2] Там же, стр. 266—267.

что главными источниками, порождающими вариантность, являются диалектная разобщенность и разновременность образования слова [3], так что вопрос вариантности оказывается зависимым от таких сложных проблем славянского языкознания, как диалектное деление праславянского языка и история праславянской морфонологии и словообразования.

В данной работе рассматривается один из случаев вариантности отглагольных имен — морфонологическая вариантность, точнее — вариантность корневого вокализма. Это наиболее широко представленный и на первый взгляд достаточно прозрачный тип вариантности. Но установление соотнесенности группы вариантных имен с группой глагольных основ в каждом отдельном случае этимологического анализа не всегда с очевидностью определяет диахроническое соотношение вариантов, поскольку это определение оказывается связанным с историей славянского аблаута, глагола и словообразования.

Проблема аблаута и проблема морфонологической вариантности взаимосвязаны многократной и разнонаправленной зависимостью. Один из наименее исследованных аспектов славянского аблаута — особенности его развития в различных диалектах праславянского языка [4]. Вероятно, морфонологическая вариантность во многих случаях является следствием этой дифференциации, и изучение данного типа вариантности должно быть одним из путей к реконструкции специфического развития аблаута в праславянских диалектах. Предметом данной работы избрана другая сторона отношений морфонологической вариантности и аблаута, а именно — возможность диахронического истолкования вариантности на базе имеющихся сведений об истории аблаута и его роли в именном отглагольном словообразовании. Наиболее разработан вопрос об аблауте в бессуффиксальных («корневых») именах; более ограничены данные о роли аблаута в суффиксальном словообразовании. Следует в связи с этим отметить, что морфонологическая вариантность характерна именно для бессуффиксальных имен и в суффиксальных образованиях встречается значительно реже.

Рассмотрение структурно близких родственных отглагольных имен показывает, что воспроизведение словообразовательной модели на разных хронологических уровнях (т. е. последовательное образование имени от одного и того же или родственных глаголов в разные периоды развития языка) не дает, как правило, слов с тождественным значением: ср. русск. *сугроб* 'бугор снега', образование раннепраславянского периода от *grebti с апофоническим *о в корне, и др.-русск. *сугребъ* 'груда, куча, определенная

---

[3] Ср. George Y. Shevelov. A Prehistory of Slavic. Heidelberg, 1964, стр. 106—107.

[4] С. Б. Бернштейн. К истории праславянского аблаута (ступень редукции). — «Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Научная сессия. Тезисы докладов». Изд-во МГУ, 1964, стр. 79.

мера'[5], образованное от того же глагола с сохранением в имени вокализма глагола; полесск. *утóр* 'вентиляционное отверстие в колодочном улье, а также колышек, закрывающий это отверстие' и *вс'т'óр* 'потолок «борти» — внутренней части долбленого улья' [6] (от *terti); чеш. nádor 'желвак, опухоль' (от *derti или *dero) и naděra 'чванный, надутый человек' (от итератива naderati se). При этом более позднее образование обычно ближе по значению к глаголу, более прозрачно, чем старое имя. Это позволяет предполагать, что тождество значений, характеризующее многие из рассматриваемых ниже случаев вариантности, свидетельствует о возникновении вариантности в результате морфонологического преобразования древних лексем на более поздних хронологических уровнях.

Анализируя взаимодействие лексических изменений и словообразования в истории производных от глагола ἔδω в древнегреческом, Бенвенист отметил организующую роль словообразования, обеспечивающего и постоянно восстанавливающего ясные и симметричные противопоставления вопреки лексическим новообразованиям и фонетическим изменениям [7]. В качестве одного из способов сохранения противопоставления выступает преобразование основы древнего слова в направлении сближения ее фонетического облика с производящим глаголом, так что в древнегреческом «был целый ряд первичных производных, утраченных в историческую эпоху и обнаруживаемых только в преобразованных формах, которые их заместили» [8]. Аналогичное явление можно предполагать в истории многих славянских отглагольных имен, обнаруживающих морфонологическую вариантность, поскольку преобразование может охватить не всю языковую территорию (хотя, разумеется, вариантность не всегда есть следствие преобразования, а преобразование может произойти на всей языковой территории, не оставив первоначальной формы).

Ниже рассматриваются основные типы морфонологической вариантности в славянских отглагольных именах. Известно, что для праиндоевропейского и раннепраславянского именного отглагольного словообразования было характерно противопоставление производящей глагольной основы и производного имени по вокализму (качественное или количественное), тогда как позднепраславянский период и история отдельных славянских языков характеризуются тождеством вокализма производного имени вокализму производящего глагола. Поэтому для классификации

---

[5] И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т. III. СПб., 1903, стб. 594 (Далее — Срезневский).

[6] В. В. Анохина, Н. В. Никончук. Полесская терминология пчеловодства. «Лексика Полесья». М., 1968, стр. 363 и 325.

[7] E. Benveniste. Renouvellement lexical et derivation en grec ancien.— «Bulletin de la Société de linguistique de Paris» (Далее — BSL), t. 59, f. 1, 1964, стр. 34, 39.

[8] Там же, стр. 33.

типов морфонологической вариантности в отглагольных именах (имея в виду ее диахроническую оценку) наиболее существенны следующие аспекты: ступень корневого вокализма имени (при этом особенно важны ступени, обязанные своим возникновением апофонии: *о, ступень редукции, ступень удлинения), отсутствие или наличие глагольной основы с тождественной ступенью вокализма, при наличии такой основы — ее морфологический тип и возможность образования от нее соответствующего имени (здесь особенно существенным оказывается тип имени: бессуффиксальное или суффиксальное, с каким суффиксом). Соответственно случаи вариантности разделяются на две большие группы: I — вариантность вокализма в именах при наличии для всех членов вариантности тождественных по вокализму глагольных основ и II — вариантность с участием изолированных ступеней корневого вокализма (под изолированностью корневого вокализма имени понимается отсутствие тождественной ступени вокализма в родственных глагольных основах, которые могут быть реконструированы для праславянского). В обеих группах проводится классификация по ступеням корневого вокализма, участвующим в вариантности, с последующим подразделением в зависимости от того, какому морфологическому типу глаголов тождественны по вокализму варианты имен.

I. ВАРИАНТНОСТЬ ВОКАЛИЗМА В ИМЕНАХ ПРИ НАЛИЧИИ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ВАРИАНТНОСТИ ТОЖДЕСТВЕННЫХ ПО ВОКАЛИЗМУ ГЛАГОЛЬНЫХ ОСНОВ

1. Один из членов вариантности — ступень *о

1) *о : *е.

Вокализм *о представлен также в глаголах на -iti, вокализм *е — в корневых инфинитивах или в инфинитивах на -ati (при настоящем времени на -je-).

Это один из самых распространенных типов вариантности. Некоторые случаи:

*lože (ст.-сл. ложе, болг. *лóже*, схр. lože, слов. lȇže, чеш. lože, польск. łoże, в.-луж., н.-луж. łožo, русск., укр. *ложе*): *leže (слов. lȇža, польск. диал. leże) — ср. *ložiti и *legti.

*obtokъ (болг. *óток* 'опухоль, отек', схр. ȍtôk, чеш. otok, русск. диал. *отóк*, укр. *отік*, род. ед. *отоку* 'то же'): *obtekъ (схр. otek 'опухоль, отек', русск. *отек*) — ср. *točiti и *tekti.

*mǫty, -ъve (чеш. moutev 'пест', слвц. mútvica 'уполовник', польск. mątew 'мутовка', кашуб. mǫtev, в.-луж. mutej, н.-луж. mutwej то же, русск. *мутóвка*): *męty, -ъve (слов. mȇtev, -tve 'сбивание масла', ср. metíč 'пестик' [9]; вероятно, сюда же схр.

[9] V. Novak. Über die Milchwirtschaft bei den Völkern Jugoslawiens. «Viehwirtschaft und Hirtenkultur. Etnographische Studien». Budapest, 1969, стр. 576.

mȅtvica 'коленная чашка', ср. в русск. загадке: *мутовка* мясная, квашня кожаная? нога в сапоге[10], семантическим основанием для наименования коленной чашки может быть значительная свобода движений в этом суставе) — ср. *mǫtiti и *męsti (в частности, слов. mȇsti 'мешать': kadar se mleko mete, se iz njega maslo dela; схр. mésti, métem 'мешать, будоражить', m. maslo 'сбивать масло').

*logovo, *logovišče (польск. диал. łogowisko 'ложе, логово'; русск. *логово*, *логовище*): *legovo, *legovišče (болг. *легóвище* 'ложе, логово', чеш. lehoviště, польск. legowisko, в.-луж. lěhwo то же) — ср. *ložiti и *legti.

*motul'ь, *motyl'ь (слов. motúlj 'бабочка', 'болезнь овец', чеш., слвц. motýl 'бабочка', польск. motyl то же, русск. *мотыль* 'бабочка', 'овечий глист', укр. *мотúль* 'бабочка', блр. *мотыль* соб. 'бабочки'): *metul'ь, *metyl'ь (схр. mètylj 'глист', слов. metúlj 'бабочка', 'болезнь овец', metìlj 'бабочка', 'глист', в.-луж. mjetel 'бабочка', н.-луж. mjatel' то же, русск. диал. *метыль* 'моль, тля') — ср. *mǫtiti и *męsti.

*mǫtežь (схр. mȕtež 'муть', слов. mȏtež 'мятежник; расстройство; осадок в масле'): *mętežь (ст.-сл. мѧтежь 'волнение, смятение', болг. *метéж* 'возмущение, беспорядок', схр. mȅtêž 'суматоха, шум, бунт', слов. mętež 'путаница, мятеж, нездоровье, осадок в масле' ст.-чеш. mětež 'беспорядок', слвц. mätež то же, русск. *мятеж*) — ср. *mǫtiti и *męsti.

Сюда же относятся случаи вариантности *ō : *ē в глаголах с обобщенной долготой, морфонологически тождественные с *o : *e, например:

*lazivo (польск. łaziwo 'приспособление для влезания на бортное дерево'): *lězivo (польск. leziwo 'приспособление для влезания. . .', чеш. lezivo 'плетеная лестница, бортническое приспособление', русск. диал. *лéзево* 'снаряд для лазания по бортям', укр. *лéзиво* 'лестница из лыка') — ср. *laziti и *lězti.

Приведенные случаи должны быть разделены на две группы: бессуффиксальные имена (и производные от них суффиксальные: *logovo) и суффиксальные имена. Все бессуффиксальные имена с вокализмом *o имеют тождественные по вокализму соответствия среди инфинитивов на -iti, но в именах нет следов производности от этих глагольных основ (разве только -j-основа в *lože?). Скорее все они — производные от глагольных основ с корневым вокализмом *e, образованные по древней индоевропейской модели с чередованием *e : *o. Бессуффиксальные имена с вокализмом *e, тождественным вокализму глаголов, — более поздние образования. Тождество значений имен с вокализмом *o и с вокализмом *e в приведенных случаях позволяет предполагать, что имена с корневым *e являются более поздним преобразованием имен с корневым *o, вокализм которых был изменен по аналогии с однокоренными глаголами,

---

[10] В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2, т. II, М., 1955, стр. 361—362 (Далее — Даль [2]).

имеющими корневое *е. Такое преобразование, например, предполагал Гебауэр в ст.-чеш. návaz 'амулет': ср. ст.-чеш. návuz (то же) и глагол navázati[11] (ср. и тождественное соотношение др.-русск. *навязъ* и *наузъ* 'чародейственная навязь').

Трудно судить об относительной хронологии вариантов с корневыми *о и *е в приведенных суффиксальных именах (*motul'ь, *motyl'ь : *metul'ь, *metyl'ь; *mǫtežь : *mętežь; *lazivo : *lězivo). Изучение славянского словообразования не дает оснований для предположения, что в отглагольных именах с суффиксами -ul'ь, -yl'ь, -ežь, -ivo предпочитались какие-то определенные ступени корневого вокализма. Скорее во всех этих моделях имена сохраняли вокализм производящих глагольных основ, так что перечисленные имена являются производными от тех глагольных основ, которые тождественны им по вокализму, и каждый из вариантов может претендовать на старшинство.

Только в парах *motul'ь : *metul'ь и *motyl'ь : *metyl'ь можно предполагать бóльшую древность вариантов с корневым *о, поскольку соответствующая глагольная основа — *motiti — утрачена почти во всех славянских языках и это могло быть одним из оснований для воспроизведения той же модели на базе глагола *mesti или, скорее, для преобразования старых имен с вокализмом *о в сторону сближения с глаголом *mesti.

Одним из случаев, когда вариантность *о : *е может облегчить этимологизацию, является анализ группы чеш. диал. šutořica, šuteřica, šutera, sotoreň 'метель'[12], н.-луж. sutoriś 'дуть (о ветре)', sutor 'вихрь, схр. nasutoriti se 'нахмуриться', русск. диал. *сýторить* 'говорить пустое, вздорить', *сýтóриться* 'суетиться, хлопотать, упрямиться, вздорить', *сутóрить* 'мешать делу, толкаться в ногах, тереться меж другими'[13]. Наличие варианта с корневым *е (чеш. диал. šutera, šuteřica) позволяет предположить, что речь идет о производном от слав. *terti, *tьrǫ, т. е. первоначально *sǫtorъ, *sǫtora 'беспорядок, метель', откуда отыменный глагол *sǫtoriti и, в результате аналогического преобразования по глаголу *terti, — *sǫtera (начальное š в некоторых формах — экспрессивного происхождения). Поскольку поздний вариант представлен только в чешском, возможно также, что это не *sǫtera, а *sǫtěra, возникшее в связи с аналогическим влиянием итератива *těrati [ср. ниже тип 3) в)].

2) *о : ступень редукции.

Вокализм *о характеризует также глагол на -iti, ступень редукции — глагол на -nǫti.

---

[11] J. Gebauer. Slovník staročeský. D. II. Praha, 1916, стр. 512 и 519.

[12] V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. 2 vyd. Praha, 1968, стр. 631 (Далее — Machek²); F. Svěrák. Karlovické nářečí. Brno, 1941, стр. 136 (Далее — Svěrák. Karlov).

[13] Н. Кедров. Материалы лексикографические по новгородским говорам. — «Живая старина», год 8, вып. III—IV, 1898, стр. 407.

*naduxa (слов. nadûha 'астма, кашель', ср. и схр. naduha 'дуновение, дыхание'): *nadъxa (чеш., слвц. nádcha 'простуда, насморк, катар', укр. *нáдха* 'отрыжка с неприятным запахом', ср. и схр. nadaha 'вдохновение') — ср. *dušiti и *dъxnǫti.

И здесь тождество значений позволяет предполагать преобразование старого имени *naduxa в *nadъxa по аналогии с *dъxnǫti.

3) *o : ступень продления редукции или удлинения гласного полного образования.

а) И ступень *ȯ, и ступень *ō представлены также в инфинитивах на -iti.

*torъ (схр. tôr 'загон для скота', чеш., польск. tor 'дорога', русск. *тор* 'дорога, бойкое место'): *tarъ (кашуб. tar 'торная дорога') — ср. *toriti и *tariti.

Соотношение имен и глаголов этого типа сложно. Возможно предположение о вторичном образовании имен типа *tarъ путем наложения удлинения на апофоническое *o более древних имен типа *torъ[14].

б) Ступень *o представлена также в корневом инфинитиве, ступень удлинения — в итеративе на -ati, -aje-.

*nabodъ (болг. нáбод 'укол', слов. nabòd, чеш. nábod то же; ср. болг. диал. нáбодн'а, набóтка 'двурогие железные вилы'[15]): *nabadъ (слов. nabàd 'шип, шпора') — ср. *bosti и *badati. *nabadъ может быть более поздним воспроизведением модели имени *nabodъ на базе итеративного глагола: это согласуется как будто и с различием значений — абстрактного у *nabodъ и конкретного у *nabadъ. Но наличие производных от *nabodъ с конкретно-предметным значением (болг. нáбодн'а) делает вероятным предположение о возникновении *nabadъ в результате преобразования *nabodъ по аналогии с итеративным глаголом.

в) Ступень *o представлена в инфинитиве на -iti, долгий вокализм — в итеративном инфинитиве на -ati-

*guba, *gubъ (слов. guba 'складка', польск., кашуб. gub 'фалда, сборка'): *gyba, *gybъ (схр. gîb 'сборка, складка', слов. gîb 'сгиб, сустав', gíba 'сгиб, складка', кашуб. ǵib, ǵiba 'наивысшая точка полукруглого лука, напр., у ручки корзинки') — ср. *gubiti и *gybati.

*zavora, *zavorъka (болг. *завóрка* 'засов', слов. zavǫ̑ra 'заграждение, шлагбаум, запор, препятствие', чеш. závora 'засов', польск. zawora 'засов, преграда', русск. *завóра* то же, укр. *завóра* 'бревно для задвижки ворот'): *zavira, *zavěra (слов. zavę̑ra, zavîra 'пре-

---

[14] Обзор материала по этому типу вариантности, возможные толкования его и обоснование реконструкции праслав. *tariti см.: Ж. Ж. Варбот. К реконструкции количественных чередований в некоторых славянских этимологических гнездах. — «Этимология. 1970». М., 1972, стр. 58, 59—60.

[15] Л. Гълъбов. Говорът на с. Доброславци, Софийско. — Сб. «Българска диалектология», кн. II, София, 1965, стр. 91 (Далее — БД); Максим Сл. Младенов. Лексиката на ихтиманския говор. — БД III, стр. 110; Н. Кънчев. Говорът на село Смолско, Пирдопско. — БД IV, стр. 120.

пятствие, тормоз', чеш. závěrka, závírka 'запор', в.-луж. zawjera 'запор, преграда') — ср. *-voriti и *-virati, *-věrati.

Имена с корневым *о в этих случаях — более древние образования от глаголов с корневым *е. Имена с корневым удлинением, тождественным удлинению в итеративных глаголах, — более поздние образования от этих глаголов или, что представляется вероятным, являются преобразованием имен с корневым *о по аналогии с итеративными глаголами.

Примером вариантности в суффиксальном отглагольном имени является *lěpъkъjь (схр. lȅpak 'клейкий, липкий', слов. lépek, чеш., слвц. lepký, польск. lepki, н.-луж. lěpki, русск. диал. *лéпкий* то же): *lipъkъjь (болг. *лúпкий* 'клейкий', чеш., слвц. lipký, польск. lipki, русск. *лúпкий* то же) — ср. *lěpiti и *-lipati. Для древнейших славянских прилагательных этого типа характерен корневой вокализм в ступени *о или ступени редукции [16]. Поэтому *lipъkъjь должно быть или поздним воспроизведением модели *lěpъkъjь на базе итеративного глагола, или продуктом преобразования *lěpъkъjь по аналогии с этим глаголом.

Довольно ярким случаем данного типа морфонологического преобразования является укр. *настúрний* 'надоедливый, навязчивый'. Происхождение этого прилагательного, бесспорно связанного с *terti, *tьrǫ, *tirati [17], предстает в новом освещении при учете близких по значению слов с корневым *о из других славянских языков: схр. nastor 'злоба, враждебность, преследование', слов. nástor 'упрямство, злоба, вражда', nástoren 'упрямый, злой, обидный', nastoríti 'причинить, наделать', русск. диал. ряз. *натóрный* 'нахальный, назойливый, неотвязчивый' [18], подмоск. *настóристый* 'строптивый, упрямый, своевольный' [19]. Эти лексемы дают основание для реконструкции праслав. *na(s)torъ, производного от *na(s)terti (ср. схр. natjerati 'принудить, заставить, приневолить', укр. *настéрло* 'припало, приспичило, захотелось'); от *na(s)torъ образовано далее *na(s)torьnъjь. Укр. *настúрний* не может быть синхронно этому своему варианту, т. к. соответствует более поздней словообразовательной модели (без чередования гласных), и поэтому закономерно толкуется как преобразование старого *nastorьnъjь по аналогии с итеративным глаголом. Можно поставить вопрос, не является ли подобным преобразованием параллельного производного с приставкой do- чешское dotěra 'нахал'.

В плане анализируемого типа вариантности *о : ступень продления может быть, кажется, пересмотрена и этимология славянского

---

[16] A. Meillet. Études sur l'étymologie et vocabulaire du vieux slave, p. II. Paris, 1905, стр. 327 (Далее — Meillet. Études II).

[17] См. Ж. Ж. Варбот. Заметки по славянской этимологии (укр. кочубей русск. настырный, измываться). — «Этимология, 1968». М., 1971, стр. 69—72.

[18] Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского р-на Рязанской обл.). Под редакцией И. А. Оссовецкого. М., 1968, стр. 328.

[19] А. Ф. Иванова. Словарь говоров Подмосковья. М., 1969, стр. 288. (Далее — Иванова. Подмоск.).

прилагательного со значением 'быстрый', отраженного в следующих лексемах отдельных славянских языков: чеш. ruče 'быстро', ст.-чеш. rúčí, ručný 'быстрый', чеш. диал. и слвц. rúči, польск. rączy то же, в.-луж. ruče 'быстро', укр. *ру́чий* 'ловкий'. В этимологизации этого слова наметилось два направления: принятие за основу польской формы ведет к реконструкции *rǫčьjь, откуда далее истолкование этого прилагательного как производного от *rǫka[20]; принятие в качестве исходной формы с корневым u (вероятно, с вторичной назализацией в польском) позволяет установить связь со слав. *ručajь[21]. Существенным доводом в пользу последнего толкования, с реконструкцией *ručьjь, *ručьnъjь, является чеш. диал. ručný 'быстрый', вариантное по отношению к ст.-чеш. ručný. Вокализм *ručajь обычно сопоставляется с болг. *ру́квам, ру́кна* 'устремиться, быстро потечь', схр. *преру́чити* 'перелить', которые позволяют объяснить также значение и вокализм прилагательного *ručьjь, *ručьnъjь. Вариант ručný сопостави́м с чеш. диал. ručat' 'течь, струиться' rýkat то же[22] и русск. диал. *рыча́ть* 'быстро, стремительно течь'[23], т. е. не только с итеративной основой *rykati, но и с основой на -ě- — *ručati (корневое удлинение характеризует довольно значительную группу славянских глаголов на -ěti). Наличие при *ručьnъjь бессуффиксальной параллели — *ručьjь позволяет считать суффиксальное образование вторичным отыменным производным от *ručьjь. Для *ručьnъjь подобная бессуффиксальная параллель отсутствует. Можно предполагать, что *ručьnъjь является преобразованием

---

[20] Machek [2], стр. 522.

[21] A. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego, 2 wyd. Warszawa, 1957, стр. 455, 467 (Далее — Brückner); Fr. Sławski. Oboczność ǫ: u w językach słowiańskich. — «Slavia occidentalis», t. 18, 1947, стр. 268.

[22] Machek [2], стр. 272.

[23] Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852, стр. 195.

В этимологической литературе преобладает истолкование слав. *ručajь, *ručьjь и *rukǫti, *ručati 'стремительно течь' как родственных *rykati 'реветь, шуметь'. Эта связь представляется, однако, вторичной, основанной на омонимии этимологически различных групп слов. Более реалистично предположение Ст. Шобера о родстве *ručajь с гнездом *reu̯- 'рвать, драть', при допущении семантического развития 'рвать' > >'мчаться' и первичности для *ručajь значения 'быстро текущий' (St. Szober. Kilka etymologij. — «Prace filologiczne» XIV, 1929, стр. 601—602). В подтверждение этого истолкования могут быть приведены слов. rukati 'трясти, рвать' (J. Tominec. Črnovrški dialekt. Ljubljana, 1964, стр. 196) и болг. диал. родоп. *ри́чкам са* 'бороться, скакать, буйствовать' (БД V, стр. 205), пирдоп. *ри́чам, реча́* 'колоть, брыкать, кусать, замахиваться, ударять' (БД IV, стр. 139). Эти глаголы, вероятно, родственны приведенным выше *rukǫti, *ručati 'течь'. Позволяя предполагать для всей группы первичное значение 'рвать, кусать' (откуда далее 'бороться, буйствовать' > 'стремительно течь'), они дают возможность истолковать праслав. *rukǫti, *rukati, *ručati, *rykati как -k-расширение (и.-е. *reuk-) и.-е. корня *reu̯-, родственное слав. *ryti, rъvati. Именным производным от реконструируемых *rykati, ručati 'рвать' может быть русск.-ц.-сл. *рыкъ* 'вретище' (Срезневский III, стб. 211).

*ručьnъjь по аналогии с глаголами *rykati, *ryčati. Следует отметить, что и *ručьnъjь, и *ryčьnъjь зафиксированы только в чешском языке.

4) *o : ступень редукции: ступень продления редукции.

а) Вокализм в ступени *o характеризует также основу настоящего времени на -o-/-e-, вокализм в ступени редукции — инфинитив на -ati (соответствующий настоящему времени на -o-/-e-), ступень продления редукции — итератив на -ati, -aje-.

*otъzovъ (схр. odzov, слов. ôzov, ozóva[24], польск. редк. odzow): *otъzъvъ (польск. odzew, -zwu, ст.-польск. odezw, русск. диал. *отóзвы* м. р., мн. 'стол у родителей молодой, на другой день свадьбы'): *otъzyvъ (схр. ȍdziv, польск. odzyw, русск. *óтзыв*) — ср. *zovǫ, *zъvati и *-zyvati.

Соответствующее бесприставочное имя *zovъ имеет точное соответствие в др.-инд. hávas 'зов'. Можно думать, что и для приставочных имен, образованных, вероятно, по аналогии с *zovъ, первичен вокализм *o. Варианты с вокализмом в ступени редукции и ступени продления редукции являются или более поздним воспроизведением отглагольного имени на базе глагольных основ *zъvati, *-zyvati, или преобразованием первичного *otъzovъ по аналогии с этими глаголами.

б) Ступень *o характеризует также глагол на -iti, ступень редукции — глаголы на -ati (первоначально неитеративные) или -ěti, ступень продления редукции — итератив на -ati, -aje-.

*kruxъjь, *kruxъkъjь (слвц. диал. kruchký 'ломкий'[25], чеш. kruchý, польск. kruchy, ст.-польск. kruchki, русск. диал. *крухóй* 'то же'): *krъxъjь, *krъxъkъjь (схр. kȑhak 'ломкий', слов. kȑhek, чеш. křehký, слвц. krehký польск. диал. krechy, ст.-польск. krechki, в.-луж. krjehki, русск. диал. *крóхкий*[26], укр. *крихкий* 'то же'): *kryxъjь (польск. диал. krychy) — ср. *krušiti, *krъxati (схр. kȑhati, kȑham, арх. kršem), *krъšiti (< *krъšati? ср. схр. kȑšiti, слов. kȑšiti, болг. *кърша*) и *kryxati (польск. диал. krychać).

Ступень *o и ступень редукции представлены также в вариантных бессуффиксальных именах *kruxъ (ц.-сл. *крухъ*, болг. *крух*, схр. krȕh, слов. krùh, чеш., слвц., польск., в.-луж. kruch, русск., укр. *крух*) и krъxa (ст.-польск. krszyna, русск. *кроха*).

Из бессуффиксальных отглагольных имен прилагательных к раннепраславянскому периоду могло бы быть отнесено *kruxъjь с закономерным вокализмом *o, но значение этого прилагательного — 'ломкий, хрупкий' — точно соответствует значению 'способ-

---

[24] K. Štrekelj. Slovarski doneski iz živega jezika narodovega. — «Letopis Matice Slovenskej», 1894, стр. 30.

[25] V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957, стр. 238.

[26] Картотека Псковского областного словаря (Ленинград); А. И. Иванова, М. А. Кустарева, Б. А. Моисеев. Материалы для «Смоленского областного словаря». — «Ученые записки Смоленского ГПИ», вып. IX. Смоленск, 1958, стр. 118.

ный к действию', которое характерно для отглагольных прилагательных с суфф. -ъk-[27]. Поэтому правы, вероятно, Махек и Славский, считающие бессуффиксальное *kruxъjь (как и *krъxъjь) обратным образованием от *kruxъkъjь (соответственно *krъxъkъjь)[28]. Что касается отглагольных прилагательных с суфф. -ъk-, то в древних слав. образованиях этого типа равно представлены и ступень *o, и ступень редукции (см. выше *lěrъkъjь). Правда, изолированное положение засвидетельствовано только для ступени *o (*kortъkъjь) и соответствия за пределами славянских языков имеют лишь прилагательные с корневым *o (*kortъkъjь — лит. kartùs; *ǫzъkъjь — др.-инд. aṃhus, арм. anjuk, гот. aggwus, лат. angustus), так что можно предполагать, что более древней морфонологической характеристикой этой модели является вокализм в ступени *o. Но вокализм *kruxъkъjь не изолирован: он точно соответствует вокализму глагола *krušiti; с другой стороны это слово не имеет точных соответствий в других индоевропейских языках. Поэтому можно лишь отметить, что *kruxъkъjь соответствует более древней характеристике модели с суфф. -ъk-, чем *krъxъkъjь, но, поскольку оно не противоречит и более поздней тенденции к сохранению в отглагольном имени вокализма глагола, трудно утверждать определенно, что *kruxъkъjь древнее, чем *krъxъkъjь.

Польск. диал. krychy воспроизводит вокализм диалектного итератива krychać и является более поздним образованием, чем *kruxъjь (и *kruxъkъjь) и *krъxъjь (и *krъxъkъjь). Поскольку не зафиксировано прилагательное *kryxъkъjь, польск. krychy может быть результатом преобразования *krъxъjь по аналогии с итеративным глаголом.

5) Особым случаем вариантности с участием ступени *o является чередование *o с нулевой ступенью, сохранившейся от праиндоевропейского. Этот случай представлен в отношениях *grěn-(ъk)ъjь (слов. grének 'горький', ср. слов. grẹ̑n f. 'горечь', greníti 'делать горьким; печалить'): *gorěnъjь (это прилагательное может быть реконструировано на основе производных глаголов: русск. диал. *горéнить*, *горóнить* 'горчить, отзываться горьким', полесск. *горэ̂ныты*, *горэ̂нит'* 'горчить'[29]). Вариант *gorěnъjь по вокализму тождествен глаголу *goreti, вариант *grěn(ъk)ъjь — глаголу *greti, который продолжает древнюю основу с -ě-расширением и нулевым вокализмом. Расширение -ě- сохраняется в производных от *greti: ср. русск. диал. *грéво* 'печное тепло', *гренúца* 'переводина на варницах, на которой висит солеварный котел', *грéнок* 'поджаренный,

---

[27] N. Troubetzkoy. Les adjectifs slaves en -ъkъ. — BSL, t. 24, f. 1, 1923, стр. 130—137.

[28] Machek[2], стр. 297; F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. III. Krakow, 1966—1969, стр. 166, 167, 80—81 (Далее — Sławski).

[29] Ф. Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. «Лексика Полесья», стр. 29; Н. Никончук. Из лексики полесского села Листвин.—Там же, стр. 81.

подсушенный хлеб ломтями', укр. *загрітоk* 'теплота'. Следовательно, структура *grěn(ъk)ъjь, как производного от *grěti, закономерна. Менее понятно строение варианта *gorěnъjь, который мог бы быть соотнесен только с существительным *gorěnьje, но образование глагола или прилагательного от этого существительного невозможно. С другой стороны, в славянском этимологическом гнезде, связанном с и.-е. *gher-, активной производящей основой был именно глагол *gorěti. От него образованы прилагательные со значением 'горький': *gorьkъjь и *gorupъ (др.-серб. gorup, слов. gorjup). Все это дает основание предполагать, что более древним вариантом из двух рассматриваемых является *grěn(ъk)ъjь, а вариант *gorěnъjь возник в результате аналогического воздействия глагола *gorěti.

2. Один из членов вариантности — ступень *ō

1) *ō : *e.

Вокализм *ō характеризует также глагол на -iti, вокализм *e — корневой инфинитив.

* pagraba (слвц. диал. pahraba 'кучка раскаленного пепла') : *pagreba (слвц. pahreba 'то же') — ср. *grabiti и *grebti.

Хотя вокализм *pagraba тождествен глаголу *grabiti, в имени нет следов производности от глагола на -iti (ср. *grabja). Возможно, *pagraba — старое имя с корневым удлинением, а *pagreba — его преобразование по аналогии с глаголом *grebti (однако производящая основа *pagraba в таком случае так же неясна, как и для *grabiti, если только не предполагать наложение удлинения на апофонический вокализм *o, ср. далее тип II 3).

2) *ō : ступень продления редукции.

*drapa (схр. drȁpa 'изношенная, обшарпанная вещь', чеш. drápka 'кудель, прочесанная гребнем', в.-луж. drapa, drapka 'скребок', полесск. *драпкú* 'бахрома'[30]) : *dripa (болг. *дрúпа* 'лохмотья, тряпка', схр. drípa 'тряпка, лоскут'[31], слов. drípa 'понос', чеш. dřípa 'тряпка, лоскут', в.-луж. dripa 'трещина', укр. *дрúпи* 'тряпье').

Ступень *ō представлена также в *drapati, которое, однако, является не регулярным итеративом, а продолжением древней основы с *ō (ср. греч. δρώπω 'разрубать, разрывать' Гесихий, лтш. druõpstala 'кусочек'), возможно — основы на -i- (ср. чеш. диал. -drápit[32], схр. drapiti[33], ст.-польск. drapić). *drapa может быть параллельным древним образованием с корневой долготой (ср. старый акут в схр. drȁpa).

---

[30] А. С. Соколовская. Полесские названия одежды и обуви. «Лексика Полесья», стр. 286.

[31] P. Skok. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. I. Zagreb, 1971, стр. 445 (Далее — Skok).

[32] Machek[2], стр. 126.

[33] Skok I, стр. 445.

Ступень продления редукции характеризует итератив *dripati (слов. drípati 'разрывать', чеш. dřípati 'рвать на куски', русск. *задри́пать* одежду 'измарать и изорвать'), производный от *drьpati (болг. *дъ́рпам*, *дръ́пвам*, схр. dȑpati, слов. dȑpati)[34]. *dripa и воспроизводит вокализм этого итератива, являясь более поздним образованием, чем *drapa (предположению о наличии здесь преобразования *drapa в *dripa мешает несовпадение значений в большинстве случаев, однако ср. схр. drȁpa и drípa).

3. Один из членов вариантности — ступень редукции

1) Ступень редукции: *e.

Ступень редукции представлена также в инфинитиве на -ati, а ступень *e — в соответствующей основе настоящего времени на -je-.

*zьdъ (ц.-сл. *зьдъ* 'дом', др.-русск. *зьдъ* 'глина'; ср. *zьdь: чеш. zeď, схр. zȁd 'стена'): *zidъ (болг. *зид* 'стена', схр., слов. zȉd 'то же') — ср. *zьdati, *zidjǫ.

Наличие для *zidъ точных соответствий в др.-прусск. seydis 'стена' и греч. τεῖχος 'каменная стена' свидетельствует скорее в пользу истолкования его как индоевропейского имени, однокоренного с глаголом *zьdati, *zidiǫ, чем как производного от основы настоящего времени *zidjǫ. *zьdъ — более позднее образование от инфинитивной основы, возможно — результат преобразования *zidъ по аналогии с инфинитивом (ср. сохранение *zidъ лишь в тех языках — болгарском, словенском, сербохорватском, где обобщена основа итератива на -ati, совпавшая со старой основой настоящего времени).

В плане вариантности ступени редукции и *e как ступеней вокализма, распределенных между соотносительными основами настоящего времени и инфинитива (т. е. в порядке, обратном случаю *zьdati, *zidjǫ) может быть рассмотрена этимология чеш. диал. морав. и слвц. kolebina 'выбоина, впадина, ущелье'[35], которое Махек счел неясным. Наличие в тех же моравских говорах слова kadłubek, kadłbek, одним из значений которого является 'ямка'[36], позволяет высказать предположение о принадлежности kolebina к гнезду глагола *delbti, *dьlbǫ. Тогда kolebina восходит к *kodelbina (форма kolebina вм. ожидаемого *kodlebina может быть объяснена характерным для среднесловацких говоров

---

[34] Для объяснения этих славянских глаголов не обязательно предполагать и.-е. *dreip-, как предлагает Скок (Skok, там же): ь в drьpati может быть ступенью редукции к и.-е. *e (греч. δρεπω), закономерной в регулярных глаголах на -ati, -je- (ср. *dьrati, *derǫ).

[35] Fr. Kott. Dodatky k Bartošovu Dialektickému slovníku moravskému. Praha, 1910, стр. 43 (Далее — Kott. Dod. k Bart.).

[36] F. Bartoš. Dialektický slovník moravský. Praha, 1906, стр. 136—137.

изменением dl > l при dl любого происхождения), которое сопоставимо как морфонологический вариант с *kodьlba, *kodьlbina, давшим русск. *колдо́ба*, *колдо́бина* 'яма с водой, глубокая выбоина на дороге, залитая водой; сухая ямина' и (в результате другого упрощения группы *dьlb-) диал. калуж. *калби́на* 'озерко' [37]. Вариант *kodelbina тождествен по вокализму инфинитиву *delbti, вариант *kodьlbina- — соответствующей основе настоящего времени *dьlbǫ; они могут быть признаны синхронными диалектными образованиями.

2) Ступень редукции: ступень продления редукции.

а) Ступень редукции характеризует также основу настоящего времени на -o-/-e-, ступень продления редукции — итератив на -ati.

*obsъpa (ст.-сл. осъпа, болг. *оспа* и т. п. — общеславянское название сыпи и сыпной болезни): *obsypa (слов. osîpa 'какая-то кожная болезнь', osîpica 'корь') — ср. *sъpǫ и *sypati (аналогичная вариантность представлена и в других приставочных образованиях от этого корня: *nasъpъ: *nasypъ, *otъsъpъ: *otъsypъ). Оба варианта — производные от тождественных им по вокализму глагольных основ. Более позднее *obsypa является, возможно, преобразованием *obsъpa по аналогии с итеративом.

б) Ступень редукции характеризует глагол на -nǫti, ступень продления редукции — итератив на -ati.

*pomъkъ (ст.-польск. и диал. pomek 'силки для ловли птиц', ср. чеш. pomeč, русск. диал. *по́мцы*, *по́мча*, *по́нцы* 'то же'): *pomykъ (ст.-польск. pomyk 'силки') — ср. *mъknǫti и *mykati. Вероятно преобразование *pomъkъ, производного от *mъknǫti, в *pomykъ по аналогии с *mykati.

4. Один из членов вариантности — ступень *e

*e: ступень удлинения гласного полного образования или ступени редукции.

*paberъkъ, *paberъka (схр. pȁperak 'остатки после сбора урожая' [38]), болг. *па́берка* то же): *pabirъkъ, *pabirъka, *pabĕrъkъ (схр. pȁbîrak 'остатки после сбора урожая', чеш. pabĕrek то же, русск. диал. *па́бирка* 'количество набранного, остатки') — ср. berǫ и *-birati, *-bĕrati. Вероятно преобразование старых *paberъkъ, *paberъka, образованных от основы настоящего времени *berǫ, по аналогии с итеративными глаголами.

---

[37] Картотека словаря русских народных говоров (Ленинград). Ср. также укр. *ковба́ня* 'котловина или глубокая яма, наполненная водой', *калаба́ня* 'лужа', *калаба́тина* 'топкое место'. Толкование украинских слов см. M. Jurkowski. Terminy na określenie źródła, ujścia i głębi w języku ukraińskim. — «Slavia Occidentalis», XIII, N 1, 1964, стр. 70. Обзор материала см. Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология. М., 1969, стр. 230—231.

[38] Skok I, стр. 201.

I. ВАРИАНТНОСТЬ С УЧАСТИЕМ ИЗОЛИРОВАННЫХ СТУПЕНЕЙ КОРНЕВОГО ВОКАЛИЗМА

1. Изолированной ступенью является *o

1) Изолированное *o : *e.

а) *e представлено также в корневом инфинитиве.

*obplotъ, *obplotь (схр. oplot 'забор', чеш. oplot, oplot', польск. opłot, русск. диал. *оплóт* 'то же'): *obpletъ, *obpleťь (ст.-чеш. oplet, oplet' 'забор', укр. *опліт*, род. ед. *оплета* то же) — *plesti.

*dolbto (русск.-ц.-сл. *длато*, болг. *длатó*, чеш., слвц. dláto, ст.-польск. dłóto): *delbto (болг. *длетó*, схр. dlijetò, слов. dléto) — ср. *delbti.

*(s)korupa (болг. диал. *корупка* 'скорлупа'[39], ст.-чеш. skořupina, диал. škorupa, слвц. диал. skorupa, škorupa[40], польск. skorupa то же): *čerupa (болг. *черупка* 'скорлупа') — ср. *čerti (глагол *čerti, *čьrǫ 'драть, царапать' может быть реконструирован для праславянского на основе укр. *чрести*, *чру* 'сдирать кору' — ср. лит. skìrti, skiriù[41]).

б) *e представлено также в основе настоящего времени на -e- или -je-.

*stol'a, *stolь (др.-русск. *столя* 'потолок, кровля', укр. диал. *стóля*, *столь* 'потолок'[42], русск. диал. смол. *столь* 'то же'): *stel'a, *stelь (болг. *стéля* 'крыша, кровля, палуба', польск. диал. ściel 'потолок', др.-русск. *стеля*, укр. *стéля*, русск. диал. юж. и зап. *стель* 'то же') — ср. *stel'ǫ.

2) изолированное *o: ступень редукции.

а) Ступень редукции представлена также в корневом инфинитиве, в инфинитиве на -nǫ- или -a-.

*krovъ (ст.-сл. кровъ 'крыша, убежище', схр. krôv 'крыша, палуба', слов. krȍv 'крыша', чеш. krov 'крыша, настил', в.-луж. krow 'то же'): *kryvъ (чеш. kryv 'настил, палуба', в.-луж. kryw 'покрышка', н.-луж. kšyw 'покрышка, крыша') — ср. *kryti.

*sǫdorga (русск. *судорога*): *sǫdьrga (укр. *сýдорга*) — ср. *dьrgnǫti, *dьrgati.

б) Ступень редукции представлена также в основе настоящего времени на -e-.

*obpona (ст.-сл. опона 'завеса', схр. ȍpona 'перепонка, кожица, завеса', слов. opȏna 'завеса, занавес', чеш., польск. opona 'то же',

---

[39] Г. П. Клепикова. Материалы для словаря юго-восточных болгарских говоров. «Славянская лексикография и лексикология». М., 1966, стр. 151 (статья *корýба*).

[40] Machek[2], стр. 547—548 (статья — skořápka).

[41] Подробно см.: Ж. Ж. Варбот. К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. I. «Этимология. 1971». М., 1973, стр. 8.

[42] А. С. Лысенко. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. «Славянская лексикография и лексикология». М., 1966, стр. 52—53.

русск. *опóна* 'покров, завеса', укр. *опóна* 'полог, занавес'): *obrьna (схр. ȍrna, слов. ȏrna 'тонкая кожица') — ср. *rьnǫ.

*drъvotonъ, *drъvoton'a (слов. drvotòn 'место, где рубят дрова'[43], блр. *дроватóня* 'то же'): *drъvotьn'ь, *drъvotьn'a (слвц. drvoteň 'то же'[44], польск. диал. drewotnia, drewutnia, drwotnia 'сарай для рубки и хранения дров', русск. диал. *дровóтня* 'дроворубка'[45], укр. *дровíтня* 'бревно, на котором рубят дрова, а также место, где оно находится', блр. *дрывóтня* 'склад дров'[46]) — ср. *tьnǫ.

3) Изолированное *o: ступень удлинения гласного полного образования или ступень продления редукции, представленная также в итеративных глаголах на -ati, -aje.

*pritonъ (русск. *притóн* 'пристанище, убежище, место сборища'): *pritinъ (блр. *прицúн* 'притон') — ср. *tinati (наличие варианта *pritinъ свидетельствует в пользу этимологической связи *pritonъ с *tęti, *tьnǫ, которую предположил Младенов, но отверг Фасмер[47], ср. также русск. *притúн* в контекстах: дереву *притúн* 'оно приросло', *притúнное* местечко 'привадное, приютное, укромное').

*zorkъ (ст.-сл. зракъ 'зрение, вид, образ', болг. *зрак* 'луч света', схр., слов. zrâk 'луч', чеш., слвц. zrak 'зрение, взгляд', польск. wzrok 'то же', русск. диал. *зóрок* и *зорóк* 'взор, взгляд, вид, лик, зрачок'): русск. диал. *зирóк* 'зрачок' — ср. *zirati.

4) Изолированное *o: *e (представленное также в основе настоящего времени на -e-): ступень продления редукции (представленная также в итеративе на -ati, -aje-).

*oborъ (чеш. obor 'избранные, толпа', ст.-польск. obor 'выбор'): *oberъ (польск. obiór 'выбор'): *obirъ (схр. ȍbîr 'выбор') — ср. *berǫ и *-birati.

5) Изолированное *o: ступень редукции (представленная также в инфинитиве на -a-, при настоящем времени на -e-, или на -ě-): ступень продления редукции или гласного полного образования (представленная также в итеративе на -ati, -aje-).

*naborъ, *nabora (болг. диал. *нáбор* 'складка, сборка'[48], *нáбур* 'складки на одежде'[49], схр. nábor 'то же', слов. диал. nabore 'сборки, складки около воротника'[50], чеш. nábor 'складки', ср.

---

[43] Sławski I, стр. 164.
[44] Fr. Kott. Česko-německý slovník, I. Praha, 1878, стр. 316 (Далее — Kott).
[45] Даль[2] IV, стр. 403 (статья *тетú*).
[46] М. Гарэцкі. Беларуска-расійскі слоунічак, выд. 3. Мінск, 1925, стр. 51.
[47] См. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, III. М., 1971, стр. 367.
[48] Максим Сл. Младенов. Лексиката на ихтиманския говор. — БД III, стр. 110.
[49] Петко Китипов. Речник на говора на с. Енина, Казанлъшко.— БД V. София, 1970, с. 131.
[50] M. Ložar. Rokavci v slovenskih nošah. — «Etnolog» XVII, 1944, стр. 73.

русск. *набористый* 'пышный, богатый складками'): *nabьrъ (схр. диал. nâbar 'складки'[51]): *nabĕrъ, *nabĕra (слов. nabę̑ra 'складка', чеш. диал. nábĕry 'складки, сборки у пояса'[52], слвц. náber 'складки на ткани, на одежде') — ср. *bьrati и *-bĕrati (чеш. nabírati, слвц. naberat', слов. -bę́rati).

*gromotъ (схр. grȍmot, слов. gromòt, слвц. hromot[53], ст.-польск. gromot, н.-луж. gromot): *grьmotъ (слов. grmòt, чеш. hřmot, польск. grzmot, ср. ст.-чеш. hřmet, польск. диал. grzmiot): *grimotъ (н.-луж. grimot, в.-луж. hrimot), ср. аналогичную вариантность в бессуффиксальном имени *gromъ: *grьmъ (слвц. hrm[54], схр. диал. grm[55]): *grimъ (схр. диал. grin te zel[56]) — ср. *grьměti и *-grimati (н.-луж. grimaś, в.-луж. hrimać).

Во всех приведенных случаях вариантности отсутствие для вариантов с корневым *o тождественных по вокализму соответствий среди глагольных основ само по себе уже свидетельствует в пользу большей древности этих вариантов в сравнении с другими, имеющими такие соответствия, поскольку обнаруживает невозможность образования имен с корневым *o от глаголов с той же ступенью вокализма и предполагает апофоническое происхождение *o в именах, т. е. более старый способ образования имен, чем производство их от глаголов с сохранением глагольного вокализма. Для бессуффиксальных отглагольных имен образование с апофоническим *o является древней, праиндоевропейской моделью, сохранившейся, вероятно, в раннепраславянском словообразовании. Труднее судить о степени регулярности чередования *e : *o в образовании от глаголов имен с тем или иным суффиксом— ср. приведенные выше *dolbto, *(s)korupa, *zorkъ, *gromotъ. Для праславянских образований с суфф. -to отмечено преобладание вокализма *o (ср. *pǫto, *tĕsto)[57], что свидетельствует в пользу большей древности *dolbto, чем. *delbto. В отношении имен на -otъ известно, что древнейшие образования характеризовались своего рода гармонией гласных: корневому *o сопутствовал суффикс -otъ, корневому *e — суффикс -etъ (в данном случае несущественно, каким образом возникла данная модель)[58]. Следовательно, *gromotъ соответствует древней морфонологической характеристике этой модели. Кажется, предпочтение вокализма *o можно предполагать и в образованиях с суффиксом -kъ (ср. *porkъ

---

[51] Skok I, стр. 201.
[52] Kott. Dod. k Bart., стр. 58.
[53] Kott VI, стр. 375.
[54] Machek[2], стр. 189.
[55] Skok I, стр. 623.
[56] Там же.
[57] Meillet. Études II, стр. 296.
[58] См. N. van Wijk. O rzeczownikach typu trepetъ i o czasownikach typu trepetati, trepeštǫ. — «Symbolae Grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski», v. II. Cracoviae, 1928, стр. 164; A. Vaillant. Les présents slaves en -te-. — BSL, t. 56, f. 1, 1961, стр. 18.

'стенобитное орудие', *tukъ), что подтверждает древность структуры *zorkъ.

Максимальная близость (а часто и тождество) значений при морфологическом тождестве вариантных имен позволяет предполагать, что более поздние варианты, имеющие тождественные по вокализму соответствия в глагольных основах, являются результатом не независимого повторного образования слов, а вторичного преобразования унаследованных от раннепраславянского периода имен по аналогии с глаголами. Такое преобразование предполагал для *dolbto:*delbto Мейе [59]. Достаточно прозрачно преобразование в русск. диал. *зирóк* (ср. *зорóк*), где изменению под влиянием итеративного глагола — *зирать* подвергся гласный первого слога, но сохранился второй слог полногласного сочетания, восходящего к *zorkъ (осмысление гласного второго слога как суффиксального, откуда далее беглость гласного, — вторичное явление).

При учете возможности диахронического истолкования морфонологической вариантности с участием изолированной ступени *o представляется правомерным пересмотр некоторых этимологических решений. Так, чеш. диал. oteň, -tně 'деревянная перегородка между током и закромом в овине' объясняется или как *otъnъ, родственное слав. *tynъ [60], или как сокращение синонимичного oploteň [61]. Однако параллельное záteň, -tně 'закром для снопов в овине' [62] (Махек объясняет его из *za-oteň) обнаруживает вариантность, которая может быть реконструирована как *zaton'ь (чеш. zátoň): *zatьn'ь (чеш. диал. záteň): *zatina (ст.-чеш. zátina) и позволяет толковать эту лексему как производное от слав. *tęti, *tьnǫ 'рубить' (ср. синонимичное чеш. záseka, русск. *засек*, *сусек*). Наиболее древним вариантом является в таком случае *zaton'ь (> zátoň), преобразование которого по аналогии с глагольными основами *tьnǫ и *-tinati и дало, вероятно, варианты záteň и zátina (правда, последний отличается морфологическим типом основы). Соответственно и oteň должно восходить к *obtьn'ь (которое, в свою очередь, может быть преобразованием незафиксированного *obton'ь).

В диахроническом плане могут быть рассмотрены также отношения болг. *скóкот* 'щекотка' и *щéкот* 'то же', ср. также русск. *щекотка*. Поскольку для древнейших отглагольных образований с суффиксом -otъ характерен корневой вокализм в ступени *o (см. выше), более древним вариантом должно быть признано *скóкот*, когда как *щéкот*, судя по соотношениям вариантов *gromotъ : *grьmotъ: *grimotъ (см. выше), может быть результа-

---

[59] A. Meillet. Varia. — «Mémoires de la Société de linguistique de Paris», t. 13, f. 4, 1905, стр. 241.

[60] F. Bezlaj. Contributions lexicographiques. 3. Tchèque dialectal oteň «clôture». — «Slavistična revija», VIII, N 3—4, 1955, стр. 56—58.

[61] Machek², стр. 422.

[62] Так толкует значение Махек, поправляя других авторов, обычно дающих значение 'перегородка между током и закромом' (там же, стр. 711).

том аналогического воздействия глагола. Таким глаголом является, вероятно, *ščьkati, *ščьknǫti 'колоть, ломать, дергать', которое может быть реконструировано на основе многочисленных данных различных славянских языков, в частности: схр. диал. čȍkat 'клевать'[63], слов. ščekáti 'доить', чеш. ščikati 'рвать листья с деревьев на корм скоту', диал. морав. 'небрежно жать', польск. szczyknąć, szczknąć, szczykać 'ущипнуть, сорвать (травку, цветок и т. п.)', редк. 'глотнуть, сшить, наметать наскоро', др.-русск. *ущькнути* 'ущипнуть; закусить, откусить', русск. диал. вост. *щечи́ть* 'теребить, дергать, брать, щипать; таскать украдкой', *чкать, чкнуть* 'ударить, бить, стучать', псков. *щеканýть* 'уколоть'[64], укр. *щакáти* 'раскалывать (дерево)'. В пользу связи болг. *щéкот*, русск. *щекотка* (*ščьkotъ) с этим глаголом свидетельствует диалектное (курск.) словоупотребление: птицы *ощекотали* все ягоды[65] (ср. птица *щечит* вишню[66]), которое помогает восстановить возможное развитие значения: 'укол, щипок' > 'легкое прикосновение, вызывающее раздражение, щекотка'. Ср. также диал. подмоск. *щекотли́вый* 'упрямый, непокорный, строптивый'[67]. Словен. ščegèt, -ę̑ta 'щекотка' является результатом вторичного преобразования *ščьkotъ. Наличие для глагола *ščьkati, *ščьknǫti старого производного имени с вокализмом *o — *skokotъ свидетельствует о праславянской древности этого глагола, нередко рассматриваемого как преобразование глагольных основ с корнем *ščep-/*ščьp-[68].

2. Изолированной ступенью является *ō

1) Изолированное *ō: ступень редукции.

*udarъ (ст.-сл. ударити, болг. *ýдар*, схр. ȕdar, русск., укр. *удар*): *udьrъ (чеш. uder, слвц. úder, польск. na udry) — ср. *dьrati (при основе настоящего времени *derǫ) и *dьrǫ (при основе инфинитива *derti). При отсутствии в славянских языках глагола с корневым *o неясна производящая основа для *udarъ с его *ō. Возможны два предположения: утрата производящего глагола с корневым *o, или, что более вероятно, наложение удлинения на апофоническое *o в отглагольном имени *udorъ : ср. русск. диал. *удóрок* 'отодранный кусок ткани', *удóр* 'действие по глаголу *удрáть*' (ср. ниже *sǫborъ: *sǫbarъ). Тождество значений *udarъ и *udьrъ позволяет предполагать, что последнее является результатом преобразования старого *udarъ по аналогии с глаголом.

---

[63] L. Zore. Paletkovane. «Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti», knj. 138, 1899.
[64] Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1958, стр. 310 (Далее — Дополнение к Опыту).
[65] Там же, стр. 171.
[66] Даль[2] IV, стр. 656 (*щечи́ть*).
[67] Иванова. Подмоск., стр. 549.
[68] Ср. Machek[2], стр. 626.

2) Изолированное *ō: *o (представленное также в инфинитиве на-iti).

*oblava (польск. obława 'цепь людей, охватывающая часть леса, чтобы не ушел зверь; лесная охота', русск. *обла́ва* 'вид охоты — выставка зверя из лесу, из камышей на стрелков или в тенета', укр. *обла́ва* 'толпа, окружающая что-либо'): *oblova (ст.-польск. obłowa 'цепь людей. . .', русск. диал. *обло́ва* 'вид охоты. . .') — ср. *loviti. Хотя в славянских языках нет следов вокализма *e в этом корне, можно предполагать, что *oblova, как и *loviti, имеет апофоническое *o и является более древней формой, чем *oblava, которое или образовано с удлинением корневого гласного от *loviti, или, что представляется более вероятным, возникло как преобразование варианта *oblova путем удлинения корневого *o.

3) Изолированное *ō: ступень редукции (представленная также в инфинитиве на -ĕ-): *o (характеризующее также инфинитив на -i-).

*stramъ (слвц. stram 'вид саней — с толстым опорным брусом, oplin'ом, польск. диал. stram 'один из четырех копылов в санях; поперечный брус в санях; основная балка в избе', ср. также слов. stráma 'опорный брус в санях', схр. диал. stramica 'лестница к повозке' [69]): *strьmъ (болг. диал. *стрем* 'крытый внутренний двор в доме; нижний этаж' [70], ср. слов. štremelj 'пень срубленного дерева' [71]): *stromъ (слов. strȍm 'крыша, беседка', чеш., слвц., н.-луж. strom 'дерево', русск. *стро́мы* 'кровельные стропила; перила или балясины', укр. диал. *стром* 'дерево') — ср. *strьměti и *stromiti.

Вариант *stromъ с апофоническим *o должен быть старше и *strьmъ, с вокализмом, тождественным вокализму глагола *strьměti, и *stramъ, которое предполагает удлинение апофонического *o производящего глагола *stromiti или наложение удлинения на апофоническое *o старого *stromъ. Наиболее поздним образованием является *strьmъ, воспроизводящее вокализм глагола без изменений. Возможно, этот вариант возник в результате преобразования *stromъ по аналогии с глаголом (ср. слов. strȍm 'крыша, беседка' и болг. *стрем* 'крытый двор. . .').

3. Вариантность с двумя изолированными ступенями

Изолированное *o: изолированное *ō.

*sǫborъ, *sǫborь (болг. *събо́р* 'собрание', чеш. soubor, слвц. subor 'совокупность, собрание, набор', русск. диал. *субо́р* 'камень, валун, собранный с пашни и сложенный грудою', блр. *су́борь*

[69] F. Iveković, I. Broz. Rječnik hrvatskoga jezika, II. Zagreb, 1901, стр. 478.
[70] Тодор Стойчев. Родопски речник. — БД II, стр. 273.
[71] J. Tominec. Črnovrški dialekt. Ljubljana, 1964, стр. 216.

'смесь хлебных семян'): *sǫbarъ (русск. диал. *субáр* 'обметки, сметки, смесь'). В гнезде *bьrati отсутствует глагол с вокализмом *o, который мог бы послужить производящей основой для *sǫbarъ. Но это не единичный случай — ср. выше *udarъ, а также тождественное положение в славянских производных от и.-е. *(s)ker-: вокализм *o в глаголах отсутствует, а ступень *o характеризует только *skara (чеш., слвц. диал. škára 'кожа'[72]), которое соотносится со *skora так же, как *sǫbarъ с *sǫborъ. Вариант *sǫborъ, предполагающий качественное чередование, древнéе варианта *sǫbarъ, предполагающего удлинение апофонического *o. Возможно, что *sǫbarъ возникло в результате наложения удлинения на апофоническое *o в *sǫborъ[73].

4. Изолированной является ступень продления редукции

Изолированная ступень продления редукции: ступень редукции: *o.

*ryxlъjь (чеш. rychlý 'быстрый, скорый', слвц. rýchly, польск., в.-луж., н.-луж. rychły 'то же'; русск. *рыхлый* 'неплотный, рассыпчатый, легко разбивающийся'): *rъxlъjь (схр. rahao 'рыхлый, рассыпчатый', слов. ráheł 'слабый', русск. диал. *рóхлый* 'рыхлый, вялый, хилый', откуда русск. , блр. *рохля* 'вялый, ленивый, неповоротливый человек'): *ruxlъjь (схр. ruhao 'рыхлый', укр. *рýхлий* 'то же', *рухлúвий* 'подвижный, проворный', русск. диал. *рухлый* 'неплотный'). Два значения этого прилагательного: 'быстрый' и 'неплотный, рассыпчатый' (откуда 'слабый, хилый') — равно объясняются из основных значений производящих глаголов с корнем *rux-/*rъx-, которые могут быть реконструированы как 'рыть, копать, отбрасывая в стороны' > 'сдвигать с места' и 'разрушать'. Каждое из значений представлено в вариантах с различными ступенями корневого вокализма. Поэтому представляется возможным рассмотрение единого образования с суффиксом -l- и двумя значениями, частично распределенными по диалектам: в западнославянских языках представлено только значение 'быстрый', в южнославянских — только 'неплотный, рассыпчатый'.

Однокоренные глагольные основы имеют вокализм в ступени *o и в ступени редукции: *rušiti (с преобладающим значением 'разрушать, уничтожать', но также и польск. ruszyć 'трогать, двигать'), *ruxati, *rušati (чеш. морав. rozrouchat se 'подняться — о тесте', ляш. rušat' 'двигать'[74], карлов. rušať 'спешить'[75], слвц.

---

[72] Machek[2], стр. 547 (статья skora).

[73] Аналогичное истолкование пары *skora: *skara см.: Ж. Ж. Варбот. К реконструкции чередования гласных в некоторых славянских этимологических гнездах. «Кузнецовские чтения. 1970», Тезисы докладов конференции по фонологии и морфонологии. М., 1970, стр. 21.

[74] Machek[2], стр. 523.

[75] Svěrák. Karlov., стр. 133.

rušat' sa 'двигаться', польск. ruszać 'двигать, трогать', укр. *рухáти, рушáти* 'то же'), *rъxnǫti (болг. диал. *ръшна* 'ходить, бродить'), *rъxati (болг. *рéхам се* 'бродить', ср. *рехав* 'рыхлый'). Единственный глагол, в котором представлена ступень продления редукции, — чеш. uryšiti 'загнать (коня)' [76] — производит впечатление отыменного образования, возможно — от бессуффиксального имени *rухъ, к которому может быть также возведено русск. диал. влад. *рыхом* 'кое-как, не так, как должно' [77].

В старых славянских отглагольных прилагательных с суффиксом -l-, как правило, сохранялся вокализм производящего глагола, случаев апофонии не отмечено (единственное зафиксированное различие вокализма между прилагательным и родственным глаголом — сохранение в прилагательном ступени *e, утраченной в глаголе: ср. *teplъjь — *topiti). Вокализм вариантов *ruxlъjь и *rъxlъjь соответствует огласовке родственных глаголов (см. выше). Вероятно, и *ryxlъjь сохраняет вокализм производящей глагольной основы, утраченной славянскими языками. Махек считал такой основой итератив *ryxati [78]. Но среди славянских прилагательных с суфф. -l-, кажется, нет образований, тождественных по корню итеративным глаголам на -ati, -aje. Поэтому более вероятной для утраченной основы представляется форма с суффиксом -nǫ- или -ě- (эти типы основ в славянских языках нередко имеют вторичное удлинение), т. е. *ryxnǫti или *ryšati (ср. лит. rūšėti). Реконструированное выше корневое имя *rухъ должно быть производным от этой основы (следует отметить, что рефлексы этого имени сохранились в тех же языках, где представлен вариант *ryxlъjь).

Возможно параллельное образование вариантов *ryxlъjь, *rъxlъjь и *ruxlъjь от соответствующих глагольных основ.

5. Изолированной является ступень редукции.

1) Изолированная ступень редукции: ступень продления редукции.

*plъtъ (чеш., слвц. plt', польск. płet, русск. *плот*, укр. *пліт*, род. ед. *плоту*): *plytъ (ст.-польск. płyt, диал. napłytek) — ср. *plynǫti [79]. Для древних отглагольных образований с суфф. -tъ характерен вокализм в ступени *o и в ступени редукции [80]. Вариант *plъtъ имеет соответствие за пределами славянских языков — в др.-инд. plutas 'плывущий', plutam 'течение'. Следовательно,

---

[76] Machek², стр. 528.
[77] Дополнение к Опыту, стр. 234.
[78] Machek², стр. 527.
[79] Обоснование наибольшей древности основы с суфф. -nǫ- для вокализма в ступени продления редукции см. A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves. T. III, 1 p. Paris, 1966, стр. 200, 233.
[80] Meillet. Études II, стр. 296.

вероятно преобразование древнего *plъtъ в *plytъ по аналогии с глаголом *plynǫti.

2) Изолированная ступень редукции: *o.

*kyjana, *kyjanъka (чеш. kyjana, kyjanka 'валек для стирки белья', польск. kijania, kijanka 'валек для стирки белья, орудие для трепания льна', кашуб. kíjonka 'валек для стирки белья и трепания льна', н.-луж. kijańca 'валек', в.-луж. kijeńca 'то же', ср. укр. *киянéць* 'нога с ляжкой в мясной туше'): *kujanъka (кашуб. kújonki plt. 'заросли') — ср. *kovati, *kujǫ.

*kyjana, *kyjanъka — явно производное от существительного *kyjь, родственного *kovati. Из первичного значения этого имени — 'палка' — равно объясняются как вторичные и 'валек', и 'заросли' (ср. русск. диал. *палочник* 'кустистый или молодой лесок, годный на палки'). Непосредственные производные от *kovati имеют иной круг значений, более близкий актуальному значению глагола — 'ковать': ср. чеш. kuják 'верстак, наковальня для отбивки косы', кашуб. kujòn 'дятел'. Поэтому можно предполагать, что кашуб. kújonki 'заросли' восходит к *kyjanъka 'палка, валек', преобразованному по аналогии с глаголом *kovati, *kujǫ (кашуб. kuc) в его древнейшем значении 'бить'.

3) Изолированная ступень редукции: ступень продления редукции: *o.

*plъty, -ъve (польск. płetwa 'плавник'): *plyty, -ъve (схр. plitva 'плавник', слов. plîtva 'плот, жабры, плавник', ст.-чеш. и диал. чеш. plytva 'плавник', ст.-польск. płytwa 'то же'): *pluty, -ъve (слов. plûtva 'плот', чеш. ploutev 'плавник', слвц. plútva 'то же') — ср. *plynǫti и *pluti. Махек считает наиболее древним вариант с корневым *y, предполагая впоследствии аналогическое воздействие инфинитива *pluti [81]. Но изолированное положение вокализма в ступени редукции варианта *plъty, тождественное родственному образованию со структурно близким суффиксом *plъtъ (см. выше), свидетельствует скорее о большей древности варианта *plъty, тогда как *plyty и *pluty могут быть результатом позднейших параллельных преобразований по аналогии с глаголами.

6. Изолированной является ступень *e

Изолированное *e: *o.

*drebъ (болг. *дреб* 'вычески, остатки шерсти, конопли, льна и пр.', диал. 'печень, легкие' [82]): *drobъ (болг. бял *дроб* 'легкие', черен *дроб* 'печень', диал. *дроб* 'куски хлеба в молоке, супе, каше', 'обрывок, ошметок' [83], схр. drôb 'внутренности', слов. drób 'ме-

---

[81] Machek², стр. 463.
[82] Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев. Български етимологичен речник, VI. София, 1968, стр. 422.
[83] Там же, стр. 429.

лочь, отбросы, внутренности', чеш. drob 'кусочек, крошка', диал. 'внутренности забитых животных', польск. drób 'домашняя птица', droby 'внутренности', укр. *дріб*, род. ед. *дробу* 'домашняя птица') — ср. *drobiti.

Вариант *drobъ вряд ли является производным от *drobiti, скорее это старое образование с апофоническим *o (ср. др.-исл. draf 'крошки', лтш. drapsnas 'крошки, отходы'). Что касается *drebъ, то трудно сказать, на какой стадии развития славянских языков его вокализм *e стал изолированным, поскольку в одном языке все-таки сохранились следы глагола с тем же вокализмом — в.-луж. drjebić, так что возможна реконструкция глагольной основы с вокализмом *e для праславянского языка, хотя бы для части его диалектов. В таком случае *drebъ может быть результатом преобразования старого *drobъ по аналогии с глаголом (ср. тип *obtokъ: *obtekъ). Правда, глагол зафиксирован в верхнелужицком, а *drebъ — в болгарском, но первоначальные ареалы обеих лексем были, вероятно, шире: ср. польск. диал. dremny (<*drebьnъjь) 'мелкий' (может быть производным и от глагола, и от имени *drebъ), русск. *дребедень*.

Такая же вариантность представлена в производном от того же корня с варьирующимся суффиксом *drebezgъ (болг. *дребусък* 'мелочь, мелкота', русск. *дре́безг* 'осколок'): *drobezgъ, *drobězgъ (схр. арх. drobísak 'крошка', слов. drobẹ̑zen 'мелочь, мелкота', ст.-чеш. droběz 'обломки', слвц. drobizeň, drobizg 'мелочь', польск. drobiazg, в.-луж., н.-луж. drobjaz, русск. диал. *дробезга́*, блр. *дробеза́* 'то же'). Морфонологическая характеристика этой суффиксальной модели неясна, но наличие лит. drebėzna 'осколок' дает основание предполагать бо́льшую древность варианта с корневым *e, чем с *o.

Аналогичная вариантность обнаруживается в образовании с тем же суффиксом, родственном глаголу *lomiti. Вариант *lomozgъ отражен в чеш. диал. ляш. lomozg 'обломки, кусочки' [84], силез. lomozk 'то же'. К варианту с вокализмом *e — *lemezgъ или *lemezga — может быть возведено русск. диал. твер. *лемезга́* 'плева, плена на мясе' (='отходы, отбросы от разделки'? ср. там же *леме́шинка* 'убоина, говядина'). Форма -a-основы, возможно, свидетельствует о влиянии слова *мезга*. Большинство славянских языков (в том числе и русский) знает однокоренной глагол лишь с вокализмом *o — *lomiti, но кое-где сохранились следы основы с корневым *e (правда, основа преобразована): схр. lijèmati 'бить, колотить', в.-луж. lemić 'ломать, разбивать', кашуб. lèmic 'бить, ударять, идти (о дожде), сдирать кору с веток, колоть', так что на ранней стадии развития праславянский язык имел, вероятно, хотя бы в части диалектов глагол с корневым *e, производным от которого и является *lemezg-. Следует отметить тождество гласных корня и суффикса в каждом варианте: *lo-

[84] Machek², стр. 339.

mozgъ и *lemězg-. Поскольку такая своеобразная гармония гласных характеризует обычно старые производные (ср. имена на -otъ/-etъ), можно предполагать в данном случае параллельное образование от разных глагольных основ по одной и той же модели.

7. Особым случаем вариантности является наличие в двух формах имени разных гласных, исторически сводимых к одной и той же ступени огласовки, причем гласная одного варианта тождественна гласной глагольного корня. Например: *obovь (ст.-польск. obow): *obuvь (слов. obûv, чеш. obuw, польск. obuw, русск. *обувь*) — в обоих вариантах вокализм восходит к *ou, т. е. старой ступени *o, но в *obuvь как будто появляется вставное v. Вопрос решается сопоставлением с инфинитивом *obuti: очевидно, что старой формой имени является*obovь, которое преобразовалось в *obuvь, с подстановкой u вместо o, по аналогии с глаголом [85].

Аналогичным преобразованием объясняется вариантность *nasovьn'ь (русск. диал. *нáсовень* 'различного рода одежда: сарафан, рубаха', ср. и *насóв*, *насóвец* 'то же'): *nasuvьn'ь (ст.-польск. nasuwień 'верхняя одежда') — ср. польск. nasunąć и nasuwać.

Преобразование этого типа — довольно пóзднее: по самому своему существу оно возможно лишь после монофтонгизации дифтонгов, которая создает различие гласных в корнях имени и глагола.

8. Следует отметить также вариантность в суффиксальных именах с участием изолированной (т. е. не представленной в глаголах) ступени вокализма, имеющей, однако, соответствие в родственных бессуффиксальных именах. Например, *gorъkъjь (чеш. horký 'горячий', русск. диал. арханг. *горко* горит 'сильно, ярко горит' [86]): *garъkъjь (русск. диал. псков. *гáркий* 'хорошо горящий' [87]) — ср. *gorěti, но *garь; *grьmǫtjьjь (русск. *гремучий*): *gromǫtjьjь (чеш. диал. hromúcí, укр. *грімýчий*) — ср. *grьměti, но *gromъ (глагол *gromiti — отыменный и имеет значение 'поражать', а не 'греметь'). В обоих случаях очевидно преобразование старых отглагольных суффиксальных имен с вокализмом, тождественным вокализму производящих глаголов, — *gorъkъjь и *grьmǫtjьjь (последнее по происхождению — причастие) под аналогическим влиянием однокоренных бессуффиксальных имен.

Предложенный анализ некоторых славянских отглагольных имен, характеризующихся морфонологической вариантностью, показывает, что лишь в немногих случаях необходимо предположение о синхронности вариантных форм, т. е. их параллельном образовании по тождественным моделям от разных глагольных основ (например, *lazivo: *lězivo, *kodelbina: *kodьlbina, *ryxlъjь: *rъxlъjь: *ruxlъjь, *lomozgъ: *lemezgъ). Бóльшая же часть вариант-

---

[85] Machek², стр. 406.
[86] Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852, стр. 40.
[87] Картотека Псковского областного словаря (Ленинград).

ных отношений поддается истолкованию в диахроническом плане. При этом тождество значений позволяет во многих случаях предполагать не просто воспроизведение словообразовательных моделей старых отглагольных имен на базе других глагольных основ, а преобразование старых имен.

Влияние на вокализм отглагольных имен со стороны других родственных им имен ограничивается незначительным числом случаев. В большинстве своем морфонологическая вариантность в отглагольных именах связана с влиянием на имена со стороны глагольных основ. Вариантность представлена и в именах, имеющих тождественные по вокализму соответствия среди глагольных основ для всех своих вариантов, и в именах, один из вариантов которых не имеет таких соответствий. Во втором случае можно предполагать, что именно отсутствие в глаголах ступени вокализма, тождественной вокализму старого имени, создает благоприятные условия для аналогического влияния со стороны родственных глагольных основ с другим вокализмом. Но в первом случае приходится признать, что наличие тождественного вокализма в глаголе не мешало в ряде случаев воспроизведению модели на базе другой глагольной основы или даже преобразованию старого имени по аналогии с другой глагольной основой (ср. *logovo: *legovo). Правда, в некоторых случаях глаголы с тождественным вокализмом имели иное значение, нежели соответствующие старые имена (что естественно, поскольку имя не всегда является производным именно от этой глагольной основы — ср. имена с корневым *o и глаголы на -iti с таким же *o; кроме того, следует считаться с историческими изменениями значений), так что имя оказывалось фактически в изолированном положении: ср. *na(s)torъ и *toriti. Переразложение в основах глаголов также могло разобщить тождественные по вокализму имена и глаголы: ср. *zavorъ и *zatvoriti (не говоря уже о существенных различиях, обусловленных процессом монофтонгизации дифтонгов). Наконец, трудно решить вопрос о степени представленности и длительности функционирования во всех праславянских диалектах отдельных глагольных основ, сохранившихся лишь в некоторых славянских языках (например, *motiti). Но есть много случаев вариантности и при достаточной близости значений имени и тождественного по вокализму глагола: ср. *lože: *leže и *ložiti; *nabodъ: *nabadъ и *bosti; *lěpъkъjь: *lipъkъjь и *lěpiti. Следовательно, речь идет о влиянии на отглагольное имя со стороны всего круга родственных глагольных основ. Рассмотренные случаи свидетельствуют об особенно активном влиянии со стороны корневых инфинитивов и итеративных основ (на -ati, -aje).

Вариантность типа *obovь: *obuvь, *nasovьn'ь: *nasuvьn'ь особенно прозрачно обнаруживает природу этого влияния глаголов на имена — тенденцию к тождеству фонетической формы корня в имени и родственном глаголе. Тот же тип вариантности (*obovь: *obuvь), а также некоторые другие случаи (см. выше русск. *зиро́к*),

свидетельствуют о позднем — после монофтонгизации дифтонгов и даже (в последнем случае) после развития полногласия — возникновении вариантности. Возможно, о позднем характере вариантности (как явлении отдельных славянских языков) говорит и фиксация многих младших вариантов лишь в отдельных языках (ср. *nabadъ, *pomykъ, *ryčьnъjь, *kryxъjь). Это соответствует общей закономерности отглагольного словообразования в славянских языках — сохранению в отглагольных именах вокализма производящей глагольной основы. Однако некоторые случаи вариантности можно истолковать как свидетельство преобразования вокализма отглагольных имен по аналогии с глаголами еще до монофтонгизации дифтонгов, т. е. в раннепраславянский период: так, преобразование *(s)korupa по аналогии с глаголом, давшее впоследствии *čerupa, могло произойти только до первой палатализации, разобщившей имя (*(s)korupa) и глагол (*čerti). Следовательно, тенденция к тождеству вокализма отглагольного имени вокализму производящего глагола начала действовать еще в раннепраславянский период.

С другой стороны, есть случаи вариантности, которые могут быть объяснены как следствие наложения удлинения на апофоническое *o в отглагольном имени: ср. *sǫborъ: *sǫbarъ, возможно — и *stromъ: *stramъ. Если здесь действительно имело место удлинение, то оно связано, вероятно, с аналогическим воздействием отглагольных имен с корневым *ō, образованных от глаголов с корневым *o (типа *tvarь от *tvoriti). Следовательно, вариантность является следствием аналогии с актуальной словообразовательной моделью — удлинением в отглагольных именах— и подтверждает актуальность этой модели для какого-то древнейшего периода праславянского языка.

Возможность морфонологических преобразований на разных хронологических уровнях делает весьма условными приведенные выше почти для всех вариантов реконструкции на уровне позднепраславянского, поскольку многие варианты могут быть образованиями собственно отдельных славянских языков (реконструкция в этих случаях имеет структурно-обобщающее, но не хронологическое значение). С другой стороны, из приведенного анализа следует, что многие древние отглагольные имена, подвергшись аналогическим воздействиям глаголов и актуальных словообразовательных моделей, могли сохраниться в славянских языках лишь с преобразованным вокализмом корня. Поэтому в тех случаях, когда древнейшая форма имени сохранилась в некоторых славянских языках, наличие в других славянских языках более поздних вариантов того же имени может служить основанием для предположения о более широком первоначальном распространении древнейшей формы в праславянских диалектах.

Е. И. ДЕМИНА

ПРОБЛЕМА НОРМЫ В ФОРМИРОВАНИИ КНИЖНОГО БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА XVII В. НА НАРОДНОЙ ОСНОВЕ

Во второй половине XVI—XVII столетиях в странах Центральной и Восточной Европы «шел интенсивный процесс формирования новой литературы и новых литературных языков, процесс, сопутствующий развитию гуманистических идей, освобождению от средневековой схоластики» [1]. Возникает ряд литературных языков, не имевших (или почти не имевших) своей литературно-языковой традиции: словацкий, лужицко-сербский, литовский, румынский, албанский, которые функционируют наряду со старыми литературными языками (латинским и немецким в Словении и Лужицкой Сербии, латинским, польским и отчасти русским в Литве, книжнославянским в Валахии, Молдавии, Трансильвании). Успешно развиваются народные литературные славянские языки, основы которых были заложены в предшествующие эпохи (чешский, польский, хорватский). В ареале «греко-славянского мира» помимо сохраняющего свои позиции традиционного литературного языка (византийского в Греции, книжнославянского в редакции XIV—XV вв. в Московской и Западной Руси, Сербии и Болгарии) начинают употребляться или получают свое дальнейшее развитие различные типы литературного (книжного) языка на основе народной речи. Возникает своеобразное гомогенное литературное двуязычие, членами которого выступают генетически ближайше родственные литературные языки, отражающие разные стадии (архаическую и современную) развития языка письменности [2].

Так, греческие писатели XVI—XVII вв. — Феофан Елеавулк, Йоакиний Картанос, Дамаскин Студит, Дорофей Монемвасийский, Агапий Критский и др. создают свои произведения на языке, близком к живому новогреческому языку того времени (димотике), свободном в той или иной степени от влияния византийской языковой традиции. Вместе с тем, в ряде сочинений тех же писателей

---

[1] Н. И. Толстой. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.). — «Славянское языкознание». Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, 1963). М., 1963, стр. 254.
[2] Н. И. Толстой. Указ. соч., стр. 239—244.

(Феофана Елеавулка, Дамаскина Студита) находим традиционный литературный язык [3].

«Простой русской мовой» (так называли западнорусский литературный язык, близкий в одних своих вариантах к украинскому, в других — к белорусскому народно-разговорному субстрату) наряду с книжнославянским, польским и латинским пользуются во второй половине XVI—начале XVII в. в Белоруссии и на Украине. Здесь кроме того отмечаются компромиссные опыты создания языка письменности: книжнославянско-западнорусские, западнорусско-польские, книжнославянско-западнорусско-польские [4]. В Московской Руси сохраняется употребление двух ранее сложившихся типов литературного языка — народно-литературного и книжнославянского (со своими стилистическими разновидностями), хотя процесс демократизации литературы существенно изменяет сферу функционирования каждого из них, создает предпосылки для взаимодействия и соперничества в некоторых жанрах книжнославянского и народно-литературного русского языка и накладывает на каждый из этих типов языка заметный отпечаток [5].

Веяние времени коснулось и Болгарии, где в начале XVII в. осуществляется один из первых в послекирилловскую эпоху опытов создания книжного (потенциально-литературного) языка на народной основе, который сохранял связь с традиционной нормой и отличался достаточно высокой для своего времени последовательностью в употреблении избранных графических и языковых средств [6]. Язык этот, отраженный в дошедших до нас от второй половины XVII в. сборниках религиозно-поучительного содержания — дамаскинах, — явился качественным скачком в истории литературного языка в Болгарии. Именно в нем впервые был осуществлен синтез возможностей, предоставляемых народным болгарским языком и богатого наследия старого литературного языка, причем в структурном отношении победила живая болгарская речь [7].

---

[3] Д. Петканова-Тотева. Из гръцко-българските книжовни отношения през XVII—XVIII вв. «Годишник на Софийския университет», факултет по славянски филологии, т. LXII. София, 1969, стр. 53—54.

[4] Н. И. Толстой. Указ. соч., стр. 244—264.

[5] В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. IV Международный съезд славистов. Доклады. М., 1958, стр. 66—76.

[6] В. И. Ламанский. Непорешенный вопрос. Статья II. Болгарское наречие и письменность в XVI—XVII вв. — ЖМНП, ч. 144, 1869, стр. 90—104; Б. Велчева. Норма и традиция в българския книжовен език от XVI—XVIII вв. «Български език», 1966, кн. 2, стр. 115—121.

[7] Трудно поэтому по отношению к Болгарии безоговорочно согласиться с высказыванием Н. И. Толстого о том, что вторая половина XVI—XVII вв. на славянском Юге явились «периодом самым тяжелым и трудным для книжной образованности и письменности, порой лихолетья и глубокого застоя, который даже нельзя назвать кризисом, так как он был вызван чисто внешней причиной — усилением турецкого гнета» (указ. соч.,

Книжникам, предпринявшим попытку писать «бльгар'скы^м^ языко^м^» (об этом они сообщают в заголовках к отдельным произведениям, см., например, Тихонравовскую рукопись, л. 21 об., Троянскую рукопись, л. 47), удалось понять и отразить ведущую тенденцию своего времени. Об этом свидетельствует не только широкое распространение созданного ими сборника, который переписывался в Болгарии на протяжении двух веков, пополняясь новыми переводами и редакциями старых, но и осуществление в XVII—XVIII вв. ряда новых опытов демократизации языка письменности, по-разному решавших проблему соотношения в нем книжных и народных элементов, нередко сводящихся к попытке писать на диалекте. Наряду с этим продолжали функционировать поздние редакции книжнославянского языка (болгаро-сербская, церковнославянско-русская). Сосуществование различных типов книжного языка, претендовавших на роль литературного, продолжалось вплоть до второй половины XIX в. Их взаимодействие во многом определило характер норм современного болгарского литературного языка [8].

В свете сказанного актуальной становится задача изучения видов и типов литературно-языковой нормы, возникавшей в ситуации гетерогенного или гомогенного литературного двуязычия. Это важно не только для создания типологии нормы, но и для «структурно-исторической дифференциации разных эпох и периодов истории литературного языка [9].

Проблематика формирования нормы, как известно, разработана весьма слабо. «Большие неясности и противоречия характеризуют понимание и освещение взаимоотношений народно-разговорных, прежде всего диалектных, элементов и элементов письменно-книжной традиции при исследовании становления норм национальных литературных языков» [10]. Решение названной проблемы,

---

стр. 267—268). Создание письменности на доступном широким массам, родном языке отражает характерную для этой эпохи в Болгарии тенденцию к демократизации культуры и письменности, к превращению их в условиях иноземного ига в средство сплочения народности, тенденцию, подготовившую собой болгарское Возрождение. И в историко-литературном отношении, как это справедливо отметил П. Динеков, дамаскины, хотя и связаны рядом признаков со средневековым периодом, содержат вместе с тем черты, которые их роднят с начальным этапом литературы Возрождения (см.: П. Динеков. Дамаскините и езикът на българската възрожденска литература. «Български език», 1971, кн. 2—3, стр. 206—207).

[8] См. подробнее: Е. И. Демина. Место дамаскинов в истории болгарского литературного языка. «Советское славяноведение», 1966, № 4, стр. 31—33; Ее же. «Начало» современного болгарского литературного языка в свете общей периодизации истории литературного языка в Болгарии. — ВЯ, 1969, № 6, стр. 89—93.

[9] В. В. Виноградов. Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпоху. М., 1963, стр. 8.

[10] В. В. Виноградов. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967, стр. 92.

в частности применительно к культурно-языковой ситуации в Болгарии, представляется целесообразным начинать с исследования конкретных типов книжного языка, претендовавших на роль литературного, с выявления самого наличия и специфики присущей им нормы в ее отношении к книжной традиции и диалектной основе. Лишь располагая данными предварительных исследований, можно будет на следующем этапе путем сравнительного анализа попытаться проследить процесс постепенного становления единых норм литературного языка нации, «превращение потенциальных возможностей языка как системы выразительных средств в факт осознанных, принятых образцов речевого общения» [11].

В настоящей работе содержится попытка рассмотреть в интересующем нас аспекте книжный язык на народной основе, возникший в начале XVII в. при осуществлении перевода ряда произведений Дамаскина Студита и других церковных авторов. Этот перевод в двух самостоятельных редакциях дошел до нас в составе Тихонравовского, Протопопинского, Троянского, Пловдивского № 118 дамаскинов, с одной стороны, Люблянского, Тревенского, Дряновских А и Б дамаскинов, с другой. Названные списки датируются второй половиной XVII в. Сравнение этих списков независимых одна от другой редакций обнаруживает общие языковые особенности, идущие от болгарского первооригинала начала XVII в. Далее язык этого первооригинала будем называть КЯНО, т. е. книжный язык на народной основе.

Определение объекта исследования основывается на результатах проведенной нами ранее работы по сравнительному текстологическому изучению всего круга восходящих к первооригиналам XVI—XVII вв. дамаскинов на книжнославянском и новоболгарском языках. Полученное в итоге этого исследования представление об истории новоболгарской письменности, о типах дамаскинов по составу статей и редакциям их текста, об источнике перевода входящих в них произведений, о взаимоотношении дошедших до нас рукописей [12] позволило отказаться от довольно распространенного в славянской филологии и историческом болгарском языкознании суждения о дамаскинах вообще, о языке дамаскинов вообще. Именно отсутствием дифференцированного подхода к различным по происхождению типам сборников, связанных с различными школами письменности, по-видимому, во многом объясняется амплитуда колебания в определениях «языка дамаскинов», который одни оценивают как попытку писать «прямо на своем родном

---

[11] Г. В. Степанов. Испанский язык Америки в системе единого испанского языка. Автореф. докт. диссерт. Л., 1966, стр. 9.

[12] Е. И. Демина. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в., ч. I. Филологическое введение в изучение болгарских дамаскинов. София, 1968, гл. II, III. В этой работе содержатся необходимые сведения об упоминаемых нами памятниках.

диалекте», а другие как «смесь языка живого и мертвой церковнославянщины русской и сербской редакции» [13].

Предпосылкой для наших дальнейших суждений является следующее представление об истории создания КЯНО, об историко-культурной и языковой ситуации, связанной с появлением первых болгарских дамаскинов.

В начале XVII в. в одном из скрипториев, расположенных, как можно полагать на основании палеографических и языковых данных [14], в районе балканских говоров восточного наречия, был создан переводной сборник религиозно-поучительного содержания. Он предназначался для чтения в церквах простому народу и был поэтому написан на народном в своей основе языке. Оригиналом для перевода послужили дамаскины на книжнославянском языке болгаро-сербской (ресавской по происхождению) редакции, восходящие к так называемому «среднегорскому» переводу конца XVI в. с греческого произведений Дамаскина Студита, а также иные славянские источники. В языке этих памятников, как заметил еще П. А. Лавров, уже «заметна свежесть, и в нем пробивается народная струя, сказывающаяся в народных выражениях и во влиянии живого языка», хотя в целом он остается обычным для этой эпохи в Болгарии болгаро-сербским литературным языком синтетического строя [15].

Судя по особенностям переводческой техники (в болгарском сборнике находим, с одной стороны, точный, почти пословный перевод ряда произведений, с другой — перевод вольный, приближающийся к пересказу [16]) над составлением сборника работало не менее двух книжников. Сам подбор произведений не был случайным. Подобно древним славянским гомилиарам интересующий нас сборник содержал цикл произведений: житий, памятей святых (это главным образом жития святых эпохи раннего христианства, в борьбе с чужой верой остаивавших свои убеждения), апокрифов, проповедей, чтение которых по месяцеслову приурочивалось

---

[13] Ср., например: П. Динеков. Отношението на Паисий Хилендарски към въпроса за езика. «Известия на Института за български език», кн. XIX. София, 1970, стр. 563, и T. Lehr-Spławiński, W. Kuraszkiewicz, F. Sławski. Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich. Warszawa, 1954, s. 159.

[14] Б. Велчева. Показателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от XVII и XVIII вв. «Известия на Института за български език», 1964, кн. X, стр. 214, 219; Е. И. Демина. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Часть II. Палеографическое описание и текст. София, 1971, стр. 33—34; Б. Райков. Йеромонах Даниил и Етрополският книжовен център през първата половина на XVII в. «Старобългарска литература. Изследвания и материали», кн. 1. София, 1971, стр. 285—286.

[15] П. А. Лавров. Дамаскин Студит и сборники его имени «дамаскины» в югославянской письменности. Одесса, 1899, стр. 3.

[16] С особенностями перевода статей из состава первого болгарского сборника можно ознакомиться в указ. исследовании Тихонравовского дамаскина, ч. I, § 16—98 гл. III, где даны отрывки книжнославянского текста статей и их болгарский перевод с указанием разночтений по спискам.

к определенному дню того или иного месяца (с начала индикта 1 сентября), а также к дням и неделям Великого поста. Это определило особый состав и последовательность статей болгарского сборника, которым нет соответствия ни в «Сокровище» Дамаскина Студита, ни в дамаскинах на книжнославянском языке [17].

Наличие ясной цели (создание сборника определенной структуры и содержания), единого метода решения поставленной задачи (перевод с дамаскинов и других оригиналов на книжнославянском языке на вновь создаваемый книжный язык), достаточно высокая для своего времени последовательность в употреблении избранных графических и языковых средств дают возможность оценить деятельность книжников начала XVII в. как сознательный опыт создания нового общедоступного языка письменности.

Для понимания историко-культурной и социолингвистической ситуации формирования КЯНО важно иметь в виду следующие обстоятельства. КЯНО предназначался для выполнения определенного коммуникативного и социального задания. В церковной проповеди, обращенной к простому народу, этот язык должен был заменить собой традиционный литературный язык синтетического строя, на всех уровнях языковой иерархии существенно отличавшийся от живого болгарского языка аналитического строя. Создателями КЯНО были образованные книжники (по всей вероятности, представители духовенства). Они в равной мере владели как живым разговорным языком данной местности, так и традиционным литературным языком, которому они обучались в килийных училищах при монастырях и элементы которого, безусловно, входили в бытовавшую в их среде профессиональную речь.

Исходя из задачи демократизации языка письменности, создатели КЯНО ориентировались на систему выразительных средств и узус народного языка. В свою очередь, особенности содержания переводимых текстов, стремление к сохранению некоторых черт веками складывавшегося стиля конфессиональной литературы и даже, отчасти, внешнего облика книжных текстов (народный язык своей письменной разновидностью не располагал) обусловливали ориентацию на традиционный литературный язык и принятую в нем систему письма. Иными словами, в процессе сложения КЯНО столкнулись «те два авторитета, которые одни могут иметь решающее значение в вопросах языка, — это, во-первых, авторитет самого народа с его безыскусственным слово-

---

[17] На следующем этапе развития в списки этого сборника (ср. уже названные выше списки) проник ряд произведений в переводе первой половины XVII в. с книжнославянского на язык, очень близкий КЯНО, отличающийся от него, однако, рядом диалектных языковых особенностей, обилием турцизмов, еще большей близостью с живой народной речью. В данной работе рассматривается только материал из состава первого болгарского сборника начала XVII в. (ст. 2—17, 33—38 по нумерации Тихонравовской рукописи; см. о них: Е. И. Демина, Тихонравовский дамаскин. . ., ч. I, стр. 73—74, 81—175).

употреблением, во-вторых, авторитет писателей—представителей духовной и умственной жизни народа»[18].

На характере вновь создаваемого книжного языка, безусловно, сказалась не только его социальная адресованность, но и само популяризаторское назначение письменности дамаскинов, стремление к общедоступной манере изложения, характерное еще для греческого оригинала Дамаскина Студита[19]. Вместе с тем, этот язык оставался языком церковной проповеди, что также наложило на него свой отпечаток.

Как известно, наречие, положенное в основу литературного славянского языка, исторически принадлежит той же «диасистеме в ранге языка»[20], к которой относится взятый за основу КЯНО идиом XVII в., а именно — болгарскому языку[21]. С другой стороны, справедливо утверждение, что литературный язык «никогда не представляет только прошедшее состояние данного местного диалекта», что в нем априорно можно предположить «наличие искусственных образований, заимствований, а также смешения самых различных по происхождению элементов»[22]. Таким образом, языковая ситуация формирования КЯНО характеризуется наличием весьма своеобразного гомогенного билингвизма, взаимодействия одного из идиомов народного болгарского языка XVII в. и традиционного литературного языка, диалектную основу которого составляет территориально иной идиом исторически той же диасистемы, отразивший более ранний и существенно отличный этап ее развития (этап синтетического грамматического строя). Взаимодействовавшие идиомы обладали разной функциональной, социальной и территориальной сферой действия и выступали в разных субстанциональных формах (письменной и устной).

Что представлял собой народный идиом, взятый за основу нового типа книжного языка? Какую иерархическую ступень в диасистеме он занимал? Этот вопрос является чрезвычайно сложным. Совокупность различительных диалектных особенностей, реконструируемых для новоболгарского первооригинала путем сравни-

---

[18] А. А. Шахматов. Несколько замечаний по поводу записки И. Х. Пахмана. — Сб. ОРЯС, 1901, LXVII, № 1, стр. 337.

[19] Д. Петканова-Тотева. Дамаскините в българската литература. София, 1965, стр. 20—40.

[20] Понятие диасистемы заимствуется из работ Д. Брозовича, который использует этот термин для обозначения различных иерархических ступеней на пути от понятия территориального говора, в лингвистическом отношении являющегося системой, к понятиям диалект, язык, языковая семья. См. подробнее: Д. Брозович. Славянские стандартные языки и сравнительный метод. — ВЯ, 1967, № 1, стр. 3—6.

[21] Ср., например, замечание: «старославянский язык не есть язык древнеболгарский (в смысле родоначальника современных болгарских наречий), а одно из наречий этого языка, уже в древности обладавшего поразительным диалектическим расчленением» (В. Н. Щепкин. Болонская псалтырь. СПб., 1906, стр. IV).

[22] Тезисы Пражского лингвистического кружка. «Пражский лингвистический кружок». М., 1967, стр. 26, 32.

тельного лингвотекстологического анализа списков разных редакций с привлечением параллельного книжнославянского текста, такова, что она не может быть идентифицирована с диалектной системой какого-либо конкретного балканского говора (судя по описанию их современного состояния [23]), хотя и обнаруживает связь именно с восточноболгарской балканской группой говоров. Ср., например, переход [ě] в]'а] и в [е] в зависимости от ударения и характера следующего слога по известному для восточноболгарских говоров правилу; [ǫ́] > [ѣ́], [ѣ́] > [ѣ́]; *ръ*, *лъ* между согласными независимо от числа слогов в слове и числа последующих согласных; членную морфему *-ът* в мужском роде, *-та* в женском роде; окончание существительных женского рода в именительном падеже единственного числа *-а*, в косвенных падежах *-ъ*: *жена́*, *жена́та*, *вода́*, *вода́та*, но *женъ*, *женъта*, *водъ*, *водъта*; окончание *-е* во множественном числе у многосложных существительных мужского рода и причастий на *-л*; наличие родительно-винительной формы на *-а* (гломеративного падежа) и формы дательного падежа у существительных мужского рода со значением лица; систему личных и указательных местоимений: *азь*, *тои*, *тїа*, *то*, *тоизи*, *тази (тъзи)*, *тогози*, *томȣзи*, *такъвзи*, *тогази*, *толкози*; отрицательную форму повелительного наклонения типа *недѣй писа*; частицу *ще* в формах будущего времени; особенности акцентуации в формах аориста и повелительного наклонения: *пра́вихь*, *напра́вихь*, *прави́*, *правѣ́те* и др. Картина осложняется тем, что в болгарский текст из книжнославянского оригинала болгаро-сербской редакции (происхождение которого исследователи связывают с западной Болгарией), нередко под влиянием традиционных написаний словоформ, проник ряд западноболгаризмов [24]. Они, впрочем, легко выделяются в самостоятельный слой при сравнительном анализе славянского и болгарского текстов.

Возможна различная интерпретация отмеченного явления. Во-первых, можно предположить, что в XVII в. существовал говор с данным (ныне изменившимся) набором диалектных признаков. Возможно, хотя и представляется маловероятным, допущение, что создатели КЯНО сознательно совмещали в письменном тексте черты различных балканских говоров (т. е. использовали различные вариативные звенья диасистемы в ранге балканских говоров восточного наречия). Наконец, можно допустить, что за основу был взят народно-разговорный язык населения городов и примыкавших к ним монастырей района Средней Старой Планины и Средней Горы, объединявший особенности ряда балканских говоров.

---

[23] Ст. Стойков. Българска диалектология. София, 1968, стр. 72—79.

[24] Л. Милетич. Коприщенски дамаскин. Новобългарски паметник от XVII век. «Български старини», кн. II. София, 1908, стр. XIX—XX; П. Орешков. Разликите между два български дамаскина. «Сборник в чест на проф. Л. Милетич». София, 1912, стр. 322—323; Б. Велчева. Към установяването на взаимоотношенията и диалектната основа на новобългарските дамаскини. «Български език», 1961, кн. 5—6, стр. 413.

Этот район, пользовавшийся определенными привилегиями турецких властей, как известно, уже в конце XVI—XVII вв. был весьма развитым в экономическом отношении; здесь процветали ремесла и торговля, что делает данное допущение достаточно вероятным.

В задачи данной работы не входит попытка решения этой большой самостоятельной проблемы. Для нас здесь важно, что присущие взятому за основу книжного языка идиому выразительные средства образуют определенную систему (с наличием отдельных вариативных звеньев), тождественно реализующуюся на протяжении болгарского текста статей старшего сборника. Отсюда можно заключить, что этот идиом обладал определенной нормой (если под таковой понимать «норму языкового сознания коллектива, который пользуется данным идиомом» [25]). Таким образом, нашу характеристику языковой ситуации формирования нового типа книжного языка можно дополнить указанием на то, что в процессе его создания столкнулись две нормы, на всех уровнях языковой иерархии весьма существенно различавшиеся между собой, но сосуществовавшие (не всегда в одинаково дифференцированном виде) в сознании книжников: письменная норма традиционного литературного языка болгаро-сербской (ресавской) редакции и устная норма одного из идиомов болгарского языка XVII в.

Важно помнить, что, по-видимому, речь идет о первом в послекирилловскую эпоху в Болгарии опыте создания книжного языка на народной основе. У предпринявших этот опыт книжников, по всей вероятности, не было образцов, на которые они могли бы ориентироваться. Во всяком случае, подобные тексты неизвестны науке. Поэтому формирование КЯНО может быть представлено как ряд последовательно принимавшихся в процессе перевода (в итоге выбора между традиционными книжными и народными выразительными средствами) решений. Именно в ходе переводческой деятельности отбирались и закреплялись как образец для последующей работы особенности системы письма, грамматического строя и словаря, которые заимствовались из книжнославянского оригинала или черпались непосредственно из народной речи [26]. Таким образом, процесс создания КЯНО условно может быть сведен к следующей модели:

---

[25] Б. Брозович. Указ. соч., стр. 5. Как известно, мысль о наличии нормы у идиомов народного языка высказывалась еще представителями Пражского лингвистического кружка. Ср.: «Народный язык определенного географического или классового целого (местные и социальные диалекты) также имеет свою собственную норму (разрядка автора. — *Е. Д.*), то есть комплекс грамматических и лексических регулярно употребляемых средств (структурных и неструктурных)»; «узус определяет норму народного языка, закономерный комплекс его языковых средств» — Б. Гавранек. Задачи литературного языка и его культура (русск. перевод статьи, опубликованной в 1932 г.). «Пражский лингвистический кружок», стр. 339—340.

[26] Поскольку для большинства произведений из состава старшего болгарского сборника известен взятый за основу перевода книжнославянский текст, мы можем при необходимости как бы заглянуть в творческую лаборато-

порождение письменных высказываний при ориентации одновременно на систему выразительных средств и узус книжного и народного языков, накопление в процессе отбора однотипных решений;

принятие данных письменных высказываний за образец и закрепление их особенностей на уровне письменного языка как системы [27];

порождение новых письменных высказываний при ориентации на уже принятые особенности реализации письменного языка как системы.

Наличие последнего этапа и позволяет говорить о норме КЯНО [28]. Вывод о существовании этого этапа может быть сделан, если в болгарском тексте удастся обнаружить «*тождественные* и потому *нормативные* для всех высказываний моменты — фонетические, грамматические, лексические», которые «обеспечивают единство данного языка и его понимания всеми членами данного коллектива» [29].

Оценивая норму КЯНО, следует иметь в виду историческую изменчивость самого представления о литературно-языковой норме, о допустимых границах ее варьирования. Напомним в этой связи следующее высказывание Л. В. Щербы: «ощущение нормы, как и сама норма, может быть и слабее и сильнее в зависимости от разных условий, между прочим, от наличия нескольких сосуществующих норм, недостаточно дифференцированных для их носителей, от присутствия или отсутствия термина для сравнения, т. е. нормы, считаемой за чужую, от которой следует отталкиваться, и наконец, от практической важности нормы или ее элементов для данной социальной группы»[30].

рию болгарских книжников, оценить принципы их переводческой техники, характер принимавшихся в том или ином случае решений и степень последовательности в ориентации на эти решения. При этом учитываются явления, общие для двух старших, независимых одна от другой новоболгарских редакций, восходящие к их общему первооригиналу. В свою очередь, эти наблюдения могут быть основой при решении проблемы нормы КЯНО.

[27] О разграничении понятий «письменный язык» и «письменные высказывания» см.: Й. Вахек. К проблеме письменного языка. «Пражский лингвистический кружок», стр. 524—534.

[28] Было бы, безусловно, странным анахронизмом утверждать, что мысль о принципах создания новой нормы, самая идея нормализации существовали в сознании создателей КЯНО в том сформулированном виде, какой мы придаем ей, анализируя результат их деятельности. Хотя речь идет об образованных, знакомых с существованием книжной нормы, обладавших хорошим филологическим чутьем книжниках, более вероятным представляется, что необходимость нормы, нормализации, осознавалась ими во многом интуитивно.

[29] В. В. Волошинов. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода науки о языке. Л., 1929, стр. 64. Курсив автора.

[30] Л. В. Щерба. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании (1931). Цит. по публикации в кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М., 1965, стр. 372.

Заметим еще раз, что в данной работе нас интересует вопрос о норме, действовавшей в КЯНО, о том, что признавалось правильным и последовательно использовалось самими создателями КЯНО. Эту норму можно рассматривать как имплицитный проект нормы книжного языка на народной основе вообще [31]. Вопрос о том, насколько устойчивой во времени оказалась созданная норма, как широка была функциональная и территориальная сфера ее действия, каким изменениям она подвергалась, какое влияние оказала на процесс постепенного формирования особенностей современного болгарского литературного языка, здесь не рассматривается. Предлагаемая характеристика нормы КЯНО имеет целью выявление ее наиболее существенных общих особенностей (а к таковым относится прежде всего соотношение книжных и народно-разговорных элементов на разных уровнях языковой иерархии) и их иллюстрацию отдельными примерами.

При сличении книжнославянского и болгарского текстов сразу же бросается в глаза, что структура КЯНО в целом задана общим решением на уровне системы письма следовать книжной норме, на уровне грамматики и словаря — узусу живой народной речи. Ср. в этом отношении отрывок из Мучения Дмитрия Солунского, цитируемый по Костенечскому (л. 262) и Тихонравовскому (л. 65 об.) дамаскинам [32]:

Ѝзы́де оу҆́бо не́сторь и҆зьтьмни́цѥ	И҆тогази и҆злѣ́зе ст҃ыи не́сторь и҆з'-
и҆прїи́де намѣ́стѣ и҆́деже бо́рѣхꙋ-	тьмни́цъта. и҆пойдѐ на҆ꙋнова̀ мѣ́-
се чл҃ци. и҆възва̀ посрѣ́д҃. ѿлїеа̀	сто гдѐтосѐ бо́рѣхꙋ чл҃ци. и҆ви́к-
прїи́ди̇ дапобо́римсе	на насрѣ́д҃. ѿлїѡ ѐла̀ дасе-
ѿ́ба. ца́р'же сѣ́д҃ше на-	бо́риме два̀ма. и҆царь сѣ́д҃ше на-
висо́цѣ мѣ́стѣ, зрѐ лю́де^х^	высо́ко мѣ́сто и҆гле́даше как'вы̀
подвиза́ющи^х^се.	лю́дїе и҆злѣ́зꙋвать дасе бо́рѧть
да҆ѧ҆ковидѣ̀ не́стора ю҆́на сꙋ́ща	и҆катѡ̀ видѣ̀ несторь мла́дь тврь-
възрасто^и^, си́цева ꙗ҆ко,	дѣ, ко́л'ко даре҃ѡ́ть и҆ма́ше, до,
к҃, лѣ́тѡ^м^. повелѣ̀	к҃. го́динь и҆хꙋ́бавь. и҆повелѣ̀ да-
прїи́ти прѣ́д҃ни^м^, гл҃ѥ ѐмꙋ	до́и́де прѣ́д҃ни́ѥго. и҆ре҃ѡ́мꙋ ца́рь

[31] Ср. замечание: «Самая идея нормализации — уже взгляд в будущее» (В. Г. Костомаров. О ретроспективности учения о культуре речи. — ИАН, ОЛЯ, 1966, т. XXV, вып. 2, стр. 86).

[32] В этих отрывках сохранены все особенности системы письма книжнославянского и болгарского текстов. Далее в примерах для упрощения набора снимаются надстрочные знаки (кроме надстрочных букв, титлов и паерков); текст делится на слова. Все болгарские примеры даются по Тихонравовскому дамаскину XVII в. (издание его текста см. в кн.: Е. И. Демина. Тихонравовский дамаскин. . ., ч. II). Цифра после примера указывает на лист Тихонравовской рукописи. Материал разночтений оставляется за рамками работы. Книжнославянские параллели даются по Костенечской (№ 503 собрания Центрального Историко-археологического музея при св. Синоде в Софии) и Ханджарской (№ 24.4.32. собрания И. И. Срезневского библиотеки Академии наук СССР в Ленинграде) рукописям дамаскинов.

ю҆ноше почтѡ неоу҆боа́се
съмрѣти нѣ҃ прїидѐ бо́ритисе
сълїеа҃. неви́ѫшилѝ
коли́цѣ҃ по́бѣди. незри́шилѝ
коли́ко кра́вь пролїа̀. ты̀же
ка́ко неоу҆боа́се нѣ҃ хо́щеши
съплѥ́стисе сънимѫ.нежа́лишилѝ
кра́соти твоѐ и҆ю́ности своѐ.
нѣ҃ е҆́да ѿоу҆бо́жьства сво-
е҆го лю́биши свою̀ съмрѣ́ть.
ненаймаи́се сълїеѡѧ
данеоу҆мреши.

мла́домомъ̀чѐ защѡ́се небои́шь
ѿсъмрѣ́ть. а҆́мѝ дойдѐ дасѐбо́-
ришь със̾ли̑еа, неви́диш̾лѝ ка-
к̾вы̀ си́л̾ны мѡм̾цѝ, навы̀, и҆кол̾-
ко ѹ҆́бѝ и҆пролїа́и̑мь крьв̾та̀.
а҆ты̀се небои́шь а҆́мѝїщешь да-
себо́ришь със̾нѥ́го.нѐлитїе
ми́ло затво́ата мла́дость,
и҆хѹ́бость. и҆лѝсѝ сырома̑х,
тагоди́шь дасѐсам̾сѝ затрїѐшь.
а҆́мѝтѐ затова̀ пови́ка̑х недѣ́йсе
наѐма със̾ли̑еа́ дасебо́ришь, да-
нѐзагы́нешь.

Явная зависимость системы письма КЯНО[33] от системы письма книжнославянского оригинала болгаро-сербской (ресавской по происхождению) редакции проявилась, в частности в том, что в КЯНО был полностью заимствован избыточный для фонологической системы живого языка набор букв и их графических вариантов, надстрочных и строчных знаков и лигатур. Это сразу же потребовало введения искусственных, не основанных на особенностях живого произношения правил правописания. Воспроизведен принцип двухъярусного (в строке и над строкой) расположения необходимой для правильного понимания и прочтения текста информации, а также разбиение текста на слова и тактовые группы по ритмико-интонационному принципу. Перенята система сокращенного написания слов, а также сложные правила употребления системы надстрочных знаков, заимствованных ресавской редакцией из греческой правописной системы: знаков придыхания, оксии (акута), варии (грависа), двойной варии (кендемы), периспомены (каморы), апострофа, сочетаний знака придыхания с акутом и грависом. Системой этих знаков были охвачены как традиционные книжные, так и введенные в болгарский текст народные словоформы (ср., например, выше: а҆́мѝ дойдѐ дасѐбо́ришь *вм.* нѣ҃ прїидѐ бо́ритисе). Значит, заимствована была именно система правил использования этих знаков, а не конкретные написания отдельных словоформ.

Можно назвать ряд правил правописания, которые последовательно, фактически без исключений соблюдались в КЯНО, распространяясь как на книжные, так и на народные словоформы. Например, в качестве графического знака конца слова, оканчивающегося на любой согласный, последовательно употребляется буква ь (ср. выше: несторь, царь, борѧть, хѹ́бавь и др.), которая так же последовательно опускается при надстрочном написании

[33] См.: Ст. Аргиров. Люблянският български ръкопис от XVII век. «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина», кн. XVI и XVII. София, 1900, стр. 248—252; Л. Милетич. Указ. соч., стр. XXI—XXVIII; Е. И. Демина. Тихонравовский дамаскин. . ., II, стр. 25—33.

конечного согласного (насрѣ^{х}, сырома^{х}, повика^{х}), а если словоформа входит в состав тактовой группы — заменяется паерком (из'тьмницъта, със'нюго). Это правило, отраженное в книжнославянском оригинале, зафиксировано еще в кодификации Константина Костенечского[34]. По-видимому, оно было известно болгарским переводчикам и как одно из явлений книжной нормы, которой их обучали в килийных училищах. Это замечание относится и к другим особенностям ресавской редакции, отраженным в КЯНО.

В сочетаниях с плавными между согласными, буквы ь и ъ последовательно пишутся после плавных (как в книжных, так и в народных лексемах), например: тврьдѣ, съмрьть, крьв'та 65 об., срьна 13 об., стльповете 14 об., слъзи 19, млъчи, пльна 10 об., плъть 16 об., скрьбь 18, дрьво 21 об., бльгар'скы^{м} 21 об., мльва 23, мльнїа 46 об., срьдито 113 об., крьпа 121 об., грьдость 285 об., жльтици 52. Следует иметь в виду, что подобные написания могли поддерживаться живым произношением в одном из балканских говоров (ср. современный пирдопский говор)[35].

Согласно традиционному правилу последовательно проведено разграничение написаний через *ї* ~ *и* (перед гласной пишется *ї*: навїешь, людїе, защомїе, прїема, лїѡ, магїа).

В большинстве случаев в КЯНО в соответствии с традицией правильно используются написания с разграничением букв ѣ, ѥ, є широкое, є обычное, ꙗ, ѧ; о, о широкое, о очное, ѡ (омега); ѕ и ꙁ; ꙋ и оу, ѳ и т; ѯ, ѱ. В кодификации К. Костенечского эти написания задавались списком. Приведем некоторые отмеченные в «Словесах» написания (стр. 211—221), которые нашли отражение в болгарском тексте: земл̾а, ѕвѣзда, ѕвѣрїе, ѕидь, ѕьмїи, ѱы, ѱало^{м}, ꙋдоуѯ, алеѯандрь, маѯїмїань, конѥ, о нѥмь, млѥнїе, соломѡнь, вѡды, мѡѷси, рѡдь, нарѡдь, нѡѕѣ, ѥѳѡдрь, мѷро, из'мѷр'но, сѷмеѡнь, сѷр'ска.

Последовательно и правильно употребляются принятые в книжнославянской письменной традиции написания корней и основ слов группы nomina sacra и примыкающих к ним слов: -аггл-, -архггл-, ап҃л-, бж҃твн-, -блг-, блж-, блг^{х}г-, бл҃в-, бц-, вл^{х}к-, въскр҃-, гл-, дв-, дх-, -єп҃кп-, єс҃тв-, ієр҃лим-, іс-, -кр҃т-, л҃ург-, мт-, -мл-, млтв-, мт҃т-, м҃ц-, м҃нп-, нб҃н-, ннꙗ-, нш-, ѡц-, пр҃рк-, прп^{х}обн-, слнц-, сн-, ср^{х}ц-, ст-, стг-, сщ-, спс-, хр҃тїан-, хс-, цр-, црк҃в-, члк-, ч҃т- и др.

Правилами системы письма КЯНО предусматривалось и наличие некоторых вариантов написаний, происхождение которых свя-

---

[34] См. краткую редакцию «Словес» («Сказания о буквах») в издании: Б. Ангелов. Из старата българска, руска и сръбска литература, кн. II. София, 1967, стр. 215. Мы ссылаемся именно на эту редакцию, так как она получила широкое распространение в южнославянских землях. Один из списков этой редакции найден в сборнике XVI в. из Ловеча (там же, стр. 203).

[35] Ст. Стойков. Българска диалектология, стр. 77.

зано, с одной стороны, с влиянием книжной нормы, с другой, с отражением на письме живого звучания словоформ. Так, например, из ресавской редакции книжнославянского было заимствовано искусственное правило написания ȣ (ю) на месте этимологического ǫ, например: мȣ́жїе 13 об., бȣ́де 17, скȣ́пость 18, мȣ́ка 23, пȣ́ть 44 об., мȣ́дрость 79, рȣ́цѣ 109 об., сȣ́дїете 115, зȣ́бы 282, текȣ́ть 11, ископа́ють 57 об., вди́гнȣ 25 об., бѣ́хȣ 76, за́ рȣ́кȣ 78 об., със' во́дȣ 78 об. О том, что речь идет именно о заимствовании правила, а не о написаниях под прямым влиянием оригинала, можно судить по примерам типа: и въложивь ихь *въ ѡбрȣсѣ* Хандж., 285 об. — и веза гы ȣ *крьпȣ* 134, сѫ посла *вѩе* мнѩго Хандж, 257 — и той пȣсти мнѩго *войскȣ* 73. Наряду с этим широко отражено обозначение бывшего носового в ударной позиции через ѫ, в безударной — через ъ и (изредка) *а*: пѣть 77 об., дѣбь 77, разкѣса 50, кѣща 49 об., мѣка 235, осѣди 284, сѣдѩве 178, ȣмѫ́дри 272 об., ръцѣте 45; нѣкаде 287, вънесѣть 13, станъ 19, плє́сна 50, въ рȣкѣта 47 об. По-видимому, оба обозначения бывшего носового ǫ были восприняты как норма создателями КЯНО[36].

Таким образом, система письма КЯНО характеризуется наличием ряда правил, нередко искусственных, которым писцы следуют почти без отклонений. Этим правилам подчиняются написания вводимых в язык письменности народных элементов. Избегается, хотя и не до конца последовательно, отражение на письме редукции безударных гласных, ассимиляции по глухости—звонкости. Налицо явление нормализации, опирающейся на одну из правописных традиций. Воспринятой норме в той или иной мере подчинен целый уровень системы письменного языка.

На уровнях грамматического строя и словаря создатели КЯНО, напротив, исходили из системы выразительных средств народного языка и закономерностей их употребления. Так, при сравнении приведенного выше отрывка книжнославянского текста и его болгарского перевода можно отметить следующие принятые переводчиком решения (которые последовательно проведены и в рамках КЯНО в целом):

выбор аналитических средств выражения синтаксических отношений имени вм. падежных форм: на ѡнова мѣсто *вм.* на мѣстѣ, видѣ несторь младь *вм.* видѣ нестора юна, прѣ^д^ нѣго *вм.* прѣ^д^ ни^м^, съмрьть *вм.* съмрьти, гледаше людїе *вм.* зре люде^х^, как'вы мѩм'ци навы *вм.* колицѣ^х^ побѣди, със' нѣго *вм.* съ ни^м^, със' лїеа *вм.* съ лїеѡ^м^;

выбор *да* конструкций вм. инфинитива: повелѣ да доиде *вм.* съ повелѣ прїити, да се боришь *вм.* борити се, ищешь да се боришь *вм.* хощеши съплюсти се;

---

[36] По мнению К. Бабова, выбор написаний через ȣ ~ ъ связан с конкретными лексемами. См.: К. Бабов. Езикът на дамаскините и въпросът за черковнославянското и руското влияние върху българския книжовен език. «Славистични изследвания». София, 1968, стр. 169—171.

выбор членных форм в случаях, когда этого требует контекст, вм. нечленных форм оригинала: из' тьмницъта *вм.* изь тьмнице, крьв'та *вм.* кръвь, за твоата младость *вм.* юности свое;

выбор новых словоформ вм. аналогичных старых: боишь, боришь, видиш', годишь *ср.* любиши; недѣй се не наєма *вм.* не наимай се, да не загынешь *вм.* да не оумреши;

выбор глагольных оборотов вм. причастных конструкций: и гледаше как'вы людїе излѣзꙋвать да се борѧть *вм.* зре люде^х подвизающи^х се, видѣ несторь младь тврьдѣ *вм.* видѣ нестора юна сꙋща, възрасто^м, ре^ч мꙋ *вм.* глѥ емꙋ;

выбор присущих узусу народной речи лексико-фразеологических средств вм. соответствующих книжных: излѣзе *вм.* изыде, пойде *вм.* прїиде, гдето *вм.* идеже, викна *вм.* възва, двама *вм.* ѡба, като *вм.* ꙗко, младь *вм.* юн[ь], младо мом'че *вм.* юноше, доиде *вм.* прїиде, навы *вм.* побѣди, не видиш' ли *вм.* не зриши ли, кол'ко *вм.* колико, хꙋбость *вм.* красот[а], младость *вм.* юност[ь], да не загынешь *вм.* да не оумреши, єла да се бориме *вм.* прїиди да поборимь се, нели тї е мило *вм.* не жалиши ли, кол'ко да ре^ч ше имаше до, к, годинь *вм.* сицева ꙗко, к лѣтѡ^м.

В рамках данной работы мы, естественно, не можем охарактеризовать всю совокупность принимавшихся создателями КЯНО решений[37] и степень последовательности в ориентации на каждое из них. Отметим лишь, что в КЯНО последовательно отражены все те основные морфологические и синтаксические особенности, которые обычно называются при характеристике современного болгарского языка (в том числе литературного): постпозитивная членная морфема; аналитическое выражение отношений между словами в предложении; замена инфинитива и супина *да* конструкциями; аналитическое выражение степеней сравнения с помощью частиц *по-* и *най-*, которые могут прибавляться и к глаголам, ср.: ѿ слнцето *по-свети* 21 об., заради това го и бѣ *най-почете* 155 об.; аналитическое выражение будущего времени независимо от вида глагола с помощью одной из двух равно допустимых моделей: вспомогательный глагол *ща*, *щешь*, *щемь* + *да* + настоящее время спрягаемого глагола, ср. формы типа: *щешь да видишь* 45 об. *ще да се мꙋчи* 45, или те же формы вспомогательного глагола + +сокращенный инфинитив, ср. формы типа: азъ *щъ пꙋсти* 44, *ожизѣ ще* твои синь 45; употребление пересказывательных, конклюзивных форм и форм адмиратива[38]; отсутствие действительных причастий настоящего времени и действительных причастий прошедшего времени на *-ъ*, *-зъ*; множественное количественное типа два *мꙋжа* красны 110, двата *болгарина* 105 об.; замена относительного

---

[37] Библиографию работ о языке дамаскинов см. в указ. исследовании Тихонравовского дамаскина, I, стр. 27—29.

[38] Е. Дьомина. Към историята на модалните категории на българския глагол. «Български език», 1970, кн. 5, стр. 405—419.

местоимения *иже*, *ꙗже*, *ѥже* союзным словом *който*[39]; употребление союза *замь да* в сложных предложениях с придаточной частью финального значения, набор словообразовательных морфем[40] и др. Не случайно некоторые лингвисты видят историческое значение языка дамаскинов в том, что он «по существу решил те задачи структурного характера, которые много позже должен был решать возникающий национальный литературный язык»[41].

То, что принятые создателями КЯНО наиболее общие решения распространялись на целые уровни языковой иерархии (уровень системы письма, с одной стороны, уровень грамматического строя и словаря, с другой), вело к сосуществованию в КЯНО особенностей двух норм при их дистрибуции по уровням письменного языка. Это обеспечивало единство системы внутри каждого уровня. Видимо, именно благодаря этому исходному принципу создателям КЯНО удалось достигнуть весьма высокой последовательности в употреблении избранных средств. Последнее дает основание рассматривать симбиоз двух норм в КЯНО как новую норму.

Следует отметить, что в частных случаях в рамках языкового уровня имело место явление синтеза двух норм. Это проявилось, во-первых, в пополнении узуса народной речи недостающими выразительными средствами, во-вторых, во взаимодействии и взаимопроникновении особенностей двух норм и создании в этой сфере новой, ранее не существовавшей нормы. Особое место занимают случаи, когда выбор между книжными и народными выразительными средствами[42] определялся коммуникативным заданием конкретного высказывания, необходимостью достичь определенного стилистического эффекта.

Пополнение узуса народной речи книжными элементами имело место главным образом на лексическом уровне. Это прежде всего объяснялось отсутствием в лексическом фонде народной речи многих необходимых для передачи содержания переводимого текста выразительных средств. В частности, было необходимо ввести в КЯНО набор слов для обозначения реалий и понятий, связанных с христианским учением, религиозной моралью и церковным обрядом, а также ряд имен собственных (антропонимов, топонимов и этнонимов), идущих из канонических книг, апокрифиче-

---

[39] Е. И. Демина. Из исторического болгарского синтаксиса. Сложные предложения с союзным словом *който* в языке дамаскинов XVII в. «Историческая грамматика и этимология славянских языков» (рукопись).

[40] T. Szymański. Słowotwórstwo rzeczownika w bułgarskich tekstach XVII—XVIII wieku. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968.

[41] Л. Тодоров. По някои въпроси на българския литературен език от XIX век. «Български език и литература», 1965, кн. 4, стр. 22.

[42] Система выразительных средств книжнославянского и народно-разговорного языка, положенного в основу КЯНО, имеет много общих звеньев, что естественно, если учесть ближайшее генетическое родство этих идиомов, характер которого мы описали выше. Поэтому говоря о «книжных» и «народных» выразительных средствах, мы имеем в виду разграничение элементов, несвойственных узусу народной речи, от элементов этого узуса (в том числе и тех, которые были присущи и книжнославянскому).

ской и житийной литературы. Как правило, эти слова (нередко в составе типичных устоявшихся словосочетаний) заимствовались непосредственно из книжнославянского оригинала. Ср. например: и да҆ емꙋ сщенные рамонось его же глѥмь омофорїо Хандж, 289, — и даде мꙋ сщеннꙋ рамонось, дето го зовемь омофрь 141 об.; на поклоненїе ч҆тнаго и животворещаго кр҆та Хандж., 98 — на поклонѥнїе ч҆тнаго и животворещаго кр҆та 157; Царь же маѯимїань, прѣемь скꙋѳы и савромати въ области римскаго цр҆тва Хандж., 251 — Царь маѯимїань прѣе и плѣни скꙋты и савроматы, на ѡбласть рим'ско цар'ство 63; заоутра же въставь кандило въжегатель. въспалити кан'дила въ цркви Кост., 226 — и наоутрѣ станъ кан'дило въжѥгатель, да запали кан'дилата ꙋ црквꙋ 101 об.

Значительная часть книжных слов (славянизмов) проникла в болгарский текст в составе цитат из канонических текстов, молитв и под., которые оставлялись непереведенными. Однако эти случаи имеют характер четко отграниченных от болгарского текста вкраплений и вряд ли должны учитываться при характеристике лексической нормы собственно КЯНО.

Сличение славянского оригинала и его болгарского перевода показывает, что далеко не во всех случаях отсутствия соответствующего народно-разговорного речевого средства создатели КЯНО прибегают к употреблению книжных слов. Как правило, в болгарский текст вводятся наиболее освоенные широкими массами, внедрившиеся в народное сознание за века христианского вероисповедания славянизмы. Например, следующие широко используемые в КЯНО книжнославянские по происхождению слова (nomina agentis с суф. *-тель*, отглагольные существительные с суф.-*ние*): гонитель, хранитель, избавитель, мꙋчителѥте, писател[ь], прѣдатель, приатель, родителѥ, със'здатель, ꙋчитель, благодаренїе, благословенїе, богоꙗвленїе, видѣнїе, въведенїе, въздвиженїе, въздрьжанїе, въскрьсенїе, желанїе, знаменїе, искꙋшенїе, исцѣленїе, крьщенїе, метанїе, писанїе, погребенїе, покаꙗнїе, поученїе, причещенїе, спасенїе, ученїе и др. находим в словаре Н. Герова[43]. Значительная часть представленных в КЯНО книжных слов известна и современному болгарскому литературному языку.

Славянизмы чаще встречаются в собственно книжных контекстах богословского рассуждения, религиозного поучения, в заглавиях к произведениям, где благодаря их использованию достигается известная возвышенность изложения, нарочитая усложненность, приличествующая веками складывавшемуся стилю конфессиональной литературы. Именно в этих контекстах обычно встречаются и книжные слова, неизвестные народным современ-

---

[43] Ср. T. Szymański. Указ. соч., стр. 15; К. Бабов. Указ. соч., стр. 178—182.

ным говорам (их не находим у Герова), которые непосредственно перенесены в болгарский текст из его славянского оригинала. Ср., например: и постави его *строителꙗ* царствїю своемꙋ. и прьва въвластель ѡнѣхь Кост., 220 — и затова го постави да е прьвы и начел'нь и *строитель* на^х сич'ките что бѣхꙋ господаре под нѥговото цар'ство 92 об.; глѥт' се ѡць и *прѣ^х^ложитель*, си рѣчь издатель Кост., 6 — зове се ѡць и *прѣ^х^ложитель* си рѣ^ф^ из'даде го ѡ нѥго си 239; *съмотренїе* бѣше гꙋ нашемꙋ *ıѵ^ф^* хꙋ родити се Кост., 6 об. — имаше бь нѣкое *съмотренїе*, и нѣкои мисль да се роди 239 об.; и съкрꙋшенїе велико сътворꙋ люде^х^ его Кост., 219 об. — и *съкрꙋшенїе* велико щъ да стора на нѥговыте людїе 91 об.; не оужасаите се. нъ *оупованїе* тькмо на ба възлагаите Кост. 287 об. — ами чюваите да се не ꙋбоите. тьк'мо имаите *оупованїе* на ба 136.

Нетрудно заметить, что и в приведенных примерах часть книжных слов передается описательными средствами или подвергается дополнительному истолкованию. Прием описательной передачи книжных лексем, которым не было равнозначного народно-разговорного соответствия, широко применялся создателями КЯНО. Это позволяло избежать наводнения болгарского текста книжными элементами, особенно если они обусловливали несвойственное народному синтаксису построение предложения. Так, например, отглагольные существительные на *-нїе* широко заменяются соответствующими глагольными конструкциями: играюще бѣхꙋ петь *игранїи*. Прьво дромонь, рек'ше *теченїе*. єже прѣтещи единь дрꙋгаго. втора ал'ма, си речь, *прѣскаканїе*. Третїе, дисконь, єже є^ф^*врьженїе* камень. Кост., 99 об. — и *играꙗха* тамо петь игри. єдна игра *да се надбрьзꙋвать* и зове се на тѣхны езыкь дромонь. второ ал'ма сирѣчь *да се надскачать*. Третїа, дискось, сирѣ^ф^ *да фрьлꙗть* камикь 251 об.; *въз^х^рьжанїе* ѡ въсакого злаа то є^ф^ сп^ф^енїе дши Кост., 232 — *кои се въз^х^рьжꙋва* ѡ сич'ко, тоизи има сп^ф^енїе 9 об.

Решение сохранить книжное слово в составе того или иного контекста или обратиться к почерпнутым из узуса народной речи средствам передачи его содержания во многом, безусловно, определялось коммуникативно-стилистической установкой высказывания. Ср. соответствие слову *срѣтенїе* в заголовке: слово на *сретенїе* Кост., 95 об. — слово на *срѣтенїе* 248 и в обычном повествовательном контексте: изиде самь *въ срѣтенїе* емꙋ Хандж., 338 — излѣзе сам'си *насреща* 35 об.; ты же поне единомилїе не изиде *въ срѣтенїе* мене Хандж., 251 — а ты не излѣзе на единь погледь мѣсто *да ме посрѣщнешь* 63 об.

Славянизмы, тождественные синонимичным народно-разговорным словам, в болгарском тексте встречаются относительно редко. Как правило, это хорошо известные болгарскому языку старинные слова (они или производные от данной основы отражены

в словаре Герова и в современном литературном языке), вытесненные, однако, из узуса народной речи новыми лексемами. Параллельно употребляются такие, например, слова: ѡць — баща, отечество — бащнина, мтрь — майка, двца — мома, обрꙋчница — годеница, воинь — войникь, великь — голѣмь, красень — хꙋбавь, подобень — приличень и под. [44]. Как показывает сравнение, в болгарский текст эти архаизмы проникают обычно из славянского оригинала. Поскольку наряду с ними употребляются и соответствующие новоболгарские слова, возникает вопрос, чем определялся выбор между этими синонимичными средствами? Каких-либо устойчивых норм такого выбора, очевидно, не существовало. Наблюдается, однако, зависимость решения от стилистического задания высказывания. Ср., например, сохранение словосочетания *гладь великь* в зачине рассказа из жития Николая Мирликийского, его замену словосочетанием *гладь голѣ*ᵐ в диалоге из того же рассказа: Гладь великь бѣше въ едно врѣме на сич'ка мирилїкїа *вм. гладь великь* бы҃ иногда въ въсеи мирилїкїе; ре҃ мꙋ стыи николае, послꙋши мене дрꙋже. и ѡвези ю въ мирїиликїю... защо е тамо *глад' голѣ*ᵐ и скꙋпо жито *вм.* гла емꙋ стыи послꙋшаи мене дрꙋже и ѡвези ю въ мириликїю...понѥже тамо є҃ *гладь великь* и скьпость (Хандж., 289, Тихонр., 142). Ср. аналогичное распределение решений в зачине рассказа об одном из чудес архангелов Михаила и Гавриила и в последующем повествовании: Ами и въ алеѯандрїи бѣше нѣкоа *двца* некр҃тена сыраче и ѿ *бащь и* ѿ *маика*...и въ единь днь... видѣ члка... и повика го ѡнази *мома* 104 об. — 105 *вм.* Нъ и въ алеѯандрїю бѣше нѣкаа двца некрщена...сира҃ѿ *оца и матере.* въ един' же ѿ днеи...видѣ члка...възвав'ши же его *двца* она Кост., 22. В этом же примере замена словосочетания *сира҃ ѿ оца и матере* на *сыраче и ѿ бащь и ѿ маика* позволяет избегнуть неуместной здесь книжности высказывания. Любопытны случаи, когда один из синонимов истолковывается с помощью другого, например: сѣ рождеи се ѿ оца без' мтре на нбси. сѣ и дн҃ъ прїеть *без' оца* родити се ѿ стые марїе двы Кост., 6 об. — Той се роди на нбето ѿ оца ами без' маикь тоизи и днеска прїе да-се роди на земля-ѿ стаѧ марїѧ двца *без' оца си рѣ҃ без' б'ща*-239. Употребление слова *оца* здесь, видимо, обусловлено ориентацией на устоявшийся книжный образец, его дублирование с помощью народного синонима — общим коммуникативным заданием высказывания (разъяснение данного евангельского сюжета).

---

[44] K. Herejówna. Leksyka Damaskinu kopriwszteńskiego. «Nadbitka ze sprawozdań z posiedzeń komisiji naukowych oddziału PAN w Krakowie. Styczeń-czerwiec», 1968, стр. 140—142.

Входили ли заимствованные из книжнославянского слова в лексическую норму КЯНО? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Безусловно, вызванное прямым воздействием оригинала употребление редко встречающихся, мало освоенных славянизмов оставалось окказиональной особенностью конкретного письменного высказывания и не переходило на уровень письменного языка как системы. Однако в массе своей заимствованные из книжнославянского слова, особенно те, которым не было прямого соответствия в народной речи, входили в лексическую систему КЯНО, выполняя в ней только им присущие функции, становились принадлежностью нового узуса и новой нормы. Это явление легче проследить на употреблении лексической единицы, принятой в часто встречающихся ситуациях контекста, например, на употреблении заимствованного из книжнославянского служебного слова *сирѣчь* (это слово отмечено в словаре Н. Герова). Как показывает сравнение, союз *сирѣчь* в болгарском тексте употребляется и в соответствии с синонимичными в языке оригинала пояснительными союзами *сирѣчь* и *рекъше*, например: прѣдложитель, *си рѣчь* издатель Кост. 6 — прѣдложитель *си ре*ч из'даде го ѿ нѥго си 239; въса покориль еси по҃ нѡзѣ его. *рек'ше* въса творенїа твоа по҃ложиль еси по҃ роукꙋ члкꙋ Кост., 182 об. — и сич'ко мꙋ си покориль по҃ нѡѕѣте нѥгоовы. си рѣ҃ сич'кото что си сториль члко люб'че ги, та го си оставиль да е по҃ рꙋка члкꙋ 283 об. и самостоятельно, в отрывках текста, дополнительных к славянскому (равным образом и к греческому[45]) тексту, например: като е бь самовластень. *си рѣ҃* що ще а той ще стори. Така е и члкь самовластень, що ще а той чини 282 — в кн. сл.: ꙗко же є҃ бь самовласт'нь. таковы҃м образомь и члкь є҃ самовластнь Кост., 182 (в греч.: Ἔνα μὲν ὅτι ὡσαν ὁ Θεὸς εἶναι αὐτεξούσιος, τοιουτρόπως εἶναικαὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτεξούσιος). Это позволяет думать, что данное служебное слово вошло в систему выразительных средств КЯНО и его лексическую норму.

Вопрос о лексическом составе и лексической норме КЯНО нуждается в специальной глубокой разработке. Отправным пунктом такого исследования, на наш взгляд, должно стать сличение с книжнославянским оригиналом, проливающее свет на причины выбора того или иного слова и позволяющее более объективно оценить его место в системе КЯНО.

Как известно, в болгарском тексте наряду с аналитическими средствами выражения синтаксических отношений имени употребляются и падежные формы. Имеем ли мы здесь дело с нарушением норм народной речи или такое употребление отражало состояние падежной системы в самих взятых за основу болгарского

---

[45] См.: Е. Дограмаджиева. Синтактична служба на старобългарските *сирѣчь* и *рекъше* и техният по-късен развой. «Славистичен сборник». София, 1968, стр. 120.

текста народных говорах? Можно ли говорить о сознательном совмещении создателями КЯНО элементов книжной и народной нормы при дополнительном распределении сфер употребления? Как это сказалось на морфологической системе и морфологической норме КЯНО? Ответ на эти вопросы, видимо, должен основываться на дифференцированном подходе к конкретному материалу употребления той или иной падежной формы. Убедительным представляется предположение Л. Милетича, который считал, что некоторые падежные формы (так называемая родительно-винительная форма мужского рода единственного числа, форма дательного падежа мужского рода единственного числа, особенно в притяжательной функции, форма винительного и отчасти дательного падежей женского рода единственного числа, а также отдельные случаи употребления других падежных форм[46]) являлись живой особенностью болгарского народного языка XVII в. Тот факт, что, как показывает сравнение, на их месте в книжнославянском оригинале обычно находим те же падежи (и даже те же словоформы), не может, на наш взгляд, явиться основанием рассматривать эти случаи как результат книжного влияния, поскольку включенные в болгарский текст словоформы не противоречили узусу народной речи: Ср., например: и паднъ се жребїе *ѡом8 близьн'ц8* 49 *вм.* и паде жрѣбе *ѡом8 близьн'ц8* Кост., 255; и продадоха го. . .*єдном8 болгарин8 т8р'чин8* 67 об. *вм.* и продаше его *єдином8 вел'моуж8 агарѣнин8* Хандж., 255; повелѣ *оном8зи єп҃кп8 вм.* повелѣ *ем8* (*там же*); трѣска въпаде вь око *смок8* 14 об. *вм.* трѣска въпаде въ око *змїеви* Кост., 235 об. Кроме того, падежные формы книжнославянского оригинала и его болгарского перевода далеко не всегда совпадают. Ср., например: и побѣгоха дол8 на дъно *кладен'ц8* 12 *вм.* въ 8гль *стоуден'ца* въбѣгоше Кост. 234. В случаях вольного перевода падежным формам болгарского текста иногда вообще нет соответствия в оригинале и погледа кам'то *рогачьтого*, и видѣ межд8 рогѡвете м8 кр҃ть свѣти като сл҃нцето 28 об. *вм.* и зрить и се кр҃ть свѣтль [посрѣ] обоивь роговь єлена Кост., 242.

Названные выше падежные формы известны и современным балканским говорам[47]. Соответствуя узусу народной речи в балканских говорах, отразившему переходное состояние падежной системы, эти формы явились естественной составной частью морфологической нормы КЯНО.

Особое место занимают случаи употребления падежных форм в болгарском тексте в составе устоявшихся книжных словосоче-

---

[46] Примеры см. в указ. соч. Л. Милетича, стр. XXVIII—IX; Ст. Аргирова, стр. 270—283. Ср. также: Ив. Дуриданов. Към проблемата за развоя на българския език от синтетизъм към аналитизъм. «Годишник на Софиския университет». LI, 3, 1956, стр. 147, 152—153, 234.

[47] Ст. Стойков. Българска диалектология, стр. 148—149.

таний (штампов): въ вѣкы вѣкѡ^ж 223, причести се ст҃ыхь таинь 174 об., дхѡ^м ст҃ыи^ж, иди си. . .съ миромь бж҃їемь 174 об.; и положиха ѧ въ цр҃ква ст҃ы^х ап҃ль 58 об.; и мл҃твами ст҃го сѵ҃меѡна оживе срьна 13 об. Эти штампы, издавна являвшиеся неотъемлемыми атрибутами произведений конфессиональной литературы, по-видимому, сознательно в готовом виде вводились в болгарский текст с целью его стилизации под традиционную письменность. Отчасти их сохранение при переводе объяснялось, видимо, и особым пиэтетом перед понятиями, которые ими обозначались, а также тем, что входящие в их состав слова были чужды повседневной народной речи. В составе этих штампов (а также в цитатах из священного писания, молитв и т. п.) в болгарский текст входили падежные формы, утраченные в народных говорах. Прием использования книжных штампов с ограниченной сферой действия (реминисценции «священных формул») может рассматриваться как особенность стилистической нормы КЯНО. Однако сами по себе падежные формы из состава этих внутренне замкнутых штампов, на наш взгляд, не могут быть причислены к системе выразительных средств КЯНО и его морфологической норме.

В болгарском тексте употребляются формы 3 лица множественного числа аориста с окончанием *-ше*, обычным для ресавской редакции книжнославянского оригинала, и с окончанием *-ха*, характерным для народного болгарского языка. Словоформы с окончанием *-ше* соответствуют, как правило, аналогичным словоформам оригинала или являются переосмыслением употребленных в нем причастных конструкций. Ср., например: И хытрьцыте като *чюше* тьзи *дѹма* ѿ *цара*, *излѣзоше* из' іер҃лимь, и *поидоше* гдето станъ ѕвѣздата 237 об. *вм.* влъсвы же ꙗко *ѹслышав'ше* слово цара *изыдоше* из' іер҃лимь и шьѣ'ше дон'деже ста ѕвѣзда Кост., 5. Соотносительная фреквентность словоформ этих двух типов неодинакова в болгарском переводе различных произведений. По-видимому, в данном случае можно говорить о вариантах, допустимых в границах морфологической нормы КЯНО.

Как сознательная попытка подражания традиционным образцам письменной речи рассматривается некоторыми исследователями широко представленный в болгарском тексте инверсный порядок слов в атрибутивной синтагме, что является отклонением от особенностей новоболгарского народного синтаксиса[48]. Сравнение показывает, что в большинстве случаев модели с постпозицией (как и модели с препозицией) прилагательного в болгарском тексте соответствуют аналогической модели книжнославянского оригинала; например: *царѹ мнѡголѣтныи* азь х҃ѹ моемѹ поклонь чинꙗ 38 об. — *царѹ мнѡголѣтныи* азь х҃ѹ моемѹ жрътвѹ

---

[48] В. Попова. Словоредът на атрибутивната синтагма в езика на дама скините. — «Известия на Института за български език», кн. XVI. София. 1968, стр. 425—430.

приносе Хандж., 339; ами ѡставать *свои вѣрны члци* да слогѹвать на ѡньзи цр҃ка трапеза 60 об. — нъ поставлѧеть *свои*ˣ *вѣр'ны*ˣ *члцѣхь* и послѹжить трапези онои Кост., 258 об. Однако само решение следовать в этих случаях модели славянского оригинала (мы знаем, что в принципе переводчики подвергли коренным преобразованиям синтаксис книжного текста) свидетельствует, по всей вероятности, о намерении придать болгарскому тексту характерную стилистическую окраску. Употребление атрибутивных синтагм с инверсным порядком слов можно рассматривать как элемент стилистический нормы КЯНО.

Особенно показательными являются случаи взаимодействия книжной и народной норм и создания в этой сфере новой, ранее не существовавшей нормы. Рассмотрим это явление на примере формирования нормы, определявшей сферу функционирования модальных форм индикатива в контексте авторского повествования о событиях далекого прошлого. Как можно судить на основании анализа контекстов прямой речи и диалога, непосредственно отразивших живую народную речь, в балканских говорах, положенных в основу КЯНО, была представлена довольно развитая система модальных форм индикатива, выбор между которыми указывал на оценку говорящим степени очевидности высказывания. Как маркированные по признаку неличной, несвидетельской осведомленности говорящего о действии плана прошлого выступали формы типа *писал*, *бил писал*, *щял да пише* (пересказывательные формы — ПФ), противопоставленные формам аориста, имперфекта, плюсквамперфекта, будущего в прошедшем (непересказывательным формам—НПФ). Учитывая наличие корреляции ПФ ~ НПФ, определявшей несвидетельскую ~ свидетельскую позицию говорящего по отношению к действию, можно было бы ожидать в соответствии с нормой народной речи употребления ПФ в контексте авторского повествования о событиях далекого прошлого, например, о событиях религиозной истории (ср. употребление ПФ в нарративном контексте народных сказок). Однако, как показывает анализ таких контекстов, в КЯНО действуют иные закономерности употребления времен плана прошлого. А именно, в контекстах богословского истолкования отдельных событий христианской религиозной истории, нравоучения со ссылкой на библейские примеры в болгарском тексте (как и в книжнославянском) последовательно употребляются только НПФ времен плана прошлого.

В контексте авторского повествования о последовательно развивавшихся событиях плана прошлого наряду с НПФ как основными формами повествования, свойственными и языку оригинала, выступают и ПФ. Они употребляются при сообщении об эпизодах, предшествовавших основному повествованию, побочных по отношению к основной сюжетной линии, выделяющихся в рамках общего повествования в самостоятельный рассказ (нередко

дается ссылка на источник опосредствованной информации о событиях этого рассказа), т. е. эпизодах, выпадающих из основного повествования. Благодаря использованию ПФ события таких эпизодов предстают как известные с чужих слов, например: И имаше оу ѡнѹзи баню, дивь бѣсь. и вьтрѣ живѣше, ѿ мнѡго годины. и на третїа година ѹдавѣше или мом'ка, или дѣвицѹ оти когато *се съѕидала* ѡнази банꙗ и тогази *биле оузидале* мом'ка и момь, да се не развалꙗ. и затова се бѣше онази сатана тамо ѹѳемелила, и на третїа година ѹзимаше по єдного 41 об. — 42. Этот своеобразный стилистический прием позволял придать рассказу в целом определенную достоверность [49]. Ни книжной, ни народной норме подобное разграничение сфер употребления времен плана прошлого неизвестно. Налицо создание новой нормы, явившейся результатом взаимодействия книжной и народной норм. Удивляет последовательность, с какой творцы болгарского текста придерживались этой установленной ими нормы. В тексте статей первого болгарского сборника не встретилось ни одного немотивированного данным правилом случая употребления ПФ в авторском повествовании.

Естественно, что сложнейшая проблема нормы, охватывающая всю совокупность выразительных средств языка и принятых особенностей их реализации в различных ситуациях контекста и при различном коммуникативно-стилистическом задании высказывания, а также целый комплекс лингвосоциологических проблем, не может быть в сколько-нибудь полном объеме поднята в небольшом сообщении. Высказанные нами соображения во многом гипотетичны и нуждаются в дальнейшей аргументации. Цель работы достигнута, если нам удалось обосновать правомерность постановки вопроса о норме по отношению к языку старших новоболгарских дамаскинов и тем самым наметить задачи и возможный путь дальнейших исследований.

---

[49] Подробнее см. в работе: Е. Дьомина. «Към историята на модалните категории на българския глагол», где приведен конкретный материал.

В. Я. ДЕРЯГИН

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЯЗЫКА ПО ДАННЫМ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

В последние годы памятники деловой письменности привлекают все большее внимание исследователей в качестве источников для изучения истории словарного состава славянских языков.

В СССР наибольшее распространение получили исследования по выявлению диалектных слов как в деловых документах, созданных в различных областях восточнославянской территории в XV—XVIII вв., так и в памятниках более ранних, например, в летописях. В таких работах описывается лексика отдельных говоров на определенном этапе исторического развития или проводится также сопоставление исторических данных с показаниями современных говоров [1].

---

[1] Укажем лишь для примера: Н. С. Бондарчук. К вопросу о лексическом составе территориального диалекта в древнерусском языке. «Уч. зап. Калининского пединститута», т. 30, 1963, стр. 85—107; Е. Н. Борисова. Из истории некоторых слов бытовой лексики (на материале рязанских памятников XVI—XVII вв.). «Уч. зап. Балашовского пединститута», т. I, 1956, стр. 104—164; А. І. Генсьорський. Галицько-Волинський літопис. Київ, 1961; И. А. Елизаровский. Лексика беломорских актов XVI—XVII вв. Архангельск, 1958; А. Н. Качалкин. Бытовая лексика говоров Дона XVII века. «Уч. зап. ЛГПИ», т. 248, 1963, стр. 287—296; В. И. Максимов. Местная лексика в Псковской первой летописи. «Уч. зап. ЛГПИ», т. 173, 1958, стр. 169—211; О. С. Мжельская. Местная лексика в псковской деловой письменности XIV—XV вв. «Уч. зап. ЛГУ», № 198, Серия филологических наук, вып. 24, 1956, стр. 163—199; А. А. Москаленко. Лексико-семантические диалектизмы в памятниках украинской деловой письменности XIV—XVI вв. «Проблемы истории и диалектологии славянских языков». Сб. статей к 70-летию члена-корреспондента АН СССР В. И. Борковского. М., 1970, стр. 189—196; О. Г. Порохова. Лексика сибирских летописей XVII века. Л., 1969; Н. К. Соколова. К истории воронежской диалектной лексики (по материалам воронежских грамот XVII века). «Славянский сборник», 2. Воронеж, 1958, стр. 175—183; Л. В. Судавичене. Из истории некоторых слов в связи с вопросом о хронологии Литовского Статута в московском переводе-редакции XVII в. «Уч. зап. высших учебных заведений Литовской ССР». Языкознание, 11. Вильнюс, 1965, стр. 29—46; Ф. Е. Ткач. Народна основа лексики ділових документів канцелярії Богдана Хмельницького. «Українська мова в школі», 1957, № 1, стр. 7—13; М. Л. Худаш. Лексика українських ділових документів кінця XVI—початку XVII ст. Київ, 1961; І. В. Шадурскі, З гісторыі земляробчай лексікі ў беларускай мове. «Весці АН БССР. Серыя грамад. наук», 1965, № 2, стр. 123—130.

В ближайшее время, по-видимому, возникнут условия для составления историко-диалектологических атласов в основном по материалам местной деловой письменности и проведения исследований по истории восточнославянских языков на основании данных таких атласов. Лексика сразу должна занимать в них большее место, чем ей отводится пока в атласах и исследованиях современных говоров. Необходимо также и расширение базы исследования за счет более полного привлечения материалов славянских говоров на различных этапах их развития. Это поможет выявить общие и своеобразные черты в истории словарного состава славянских языков.

Отдельные слова и лексико-семантические группы неравномерно развиваются в разных говорах, поэтому существует множество старых и более поздних лексических и лексико-семантических изоглосс в пределах распространения восточнославянских языков. Говоры отдельных территорий в разное время контактировали с другими славянскими и неславянскими языками. Между тем, изучение локальных заимствований по данным местной деловой письменности развито еще совершенно недостаточно. Своеобразной была судьба славянских говоров на территориях, колонизованных в разное время, а также на территориях, где наблюдались в разное время смешения и смещения населения. Конкретно-исторические исследования истории словарного состава предполагают строгий учет временных и географических характеристик всего исследуемого материала.

Широкие перспективы открываются при сопоставлении данных из документов, локализованных вплоть до отдельного центра письменности: на историко-диалектологических картах, которые будут создаваться в будущем, найдут подтверждение современные словарные изоглоссы. Интерес в географическом отношении могут представить лексические материалы, почерпнутые из памятников, созданных в близких по территории центрах письменности. Так, обнаружены отличия в лексике деловых документов XVI—XVII вв., созданных на Ваге и в устье Северной Двины, в Каргополе и в устье р. Онеги, и эти отличия подтверждают наши представления об основных диалектных границах в современных говорах на этой территории; в ряде случаев, сопоставляя современные и исторические данные, мы обнаруживаем и движение лексических изоглосс [2].

Для истории восточно- и западнославянских языков большой интерес представит сравнительное исследование лексики и фразеологии западнорусских, украинских, белорусских, польских па-

---

[2] В. Я. Дерягин. Из истории лексических изоглосс в говорах Архангельской области. «Этимология. 1966». М., 1968, стр. 167—188; В. Я. Дерягин, Л. П. Комягина. Из истории диалектных границ в северной России. — ВЯ, 1968, № 6, стр. 109—119; Л. П. Комягина. Лексический атлас Архангельской области. «Русская речь», 1971, № 3, стр. 86—95.

мятников деловой письменности и документов, относящихся к Великому княжеству Литовскому. О перспективах таких исследований свидетельствуют работы по юридической терминологии [3]. Детальное описание других тематических групп лексики указанных памятников могло бы прояснить многое в поздних балто-славянских и межславянских языковых отношениях.

Особенное значение теперь приобретают выявление, публикация и исследование памятников, относящихся к областям, из которых в научном обиходе находится пока мало исторических сведений. До последнего времени так обстояло дело едва ли не со всей южновеликорусской территорией. Только работы С. И. Коткова и ряда других исследователей восполняют этот громадный пробел. Следует отметить также, что не вполне справедливо распространенное мнение о том, что северновеликорусских памятников опубликовано и исследовано достаточное количество. Весьма неравномерно представлены публикации памятников из разных районов Севера: из Каргополя, с Ваги, из Заонежья и Вологды памятников опубликовано гораздо меньше, чем с низовьев Северной Двины. Да и лексика опубликованных памятников исследована еще недостаточно (например, лексика двинских грамот XVI—XVIII вв. по таким солидным публикациям, как «Сборник грамот Коллегии Экономии», тт. I—II. Пг.—Л., 1922—1929).

Между тем, для исторической диалектологии и общей истории языка историко-географическое направление исследования словарного состава имеет большое значение. Так, в работах С. И. Коткова наглядно показана несостоятельность известной в научной литературе трактовки противопоставлений *изба — хата*, *волк — бирюк*, *конь — лошадь*, *сарафан — панева*, *лонской — прошлогодний* и др., историческая необоснованность отнесения слов *пожня*, *овин*, *векша*, *бросать* и некоторых других в генетическом отношении непременно к Северу. Основным источником исследования служили при этом памятники местной деловой письменности [4]. Те же источники заставили по-новому взглянуть и на известное

---

[3] А. А. Вержбовский. Древнебелорусская юридическая лексика литовского происхождения. «Вопросы литовского языкознания», т. 3. Вильнюс, 1960, стр. 269—275; М. М. Закарьян. Древнерусская юридическая лексика в языке Литовского Статута 1588 года. «Уч. зап. высших учебных заведений Литовской ССР». Языкознание, 4. Вильнюс, 1962, стр. 171—195; Ул. М. Лазоўскі. Юрыдычная тэрміналогія ў беларускіх пісьмовых помніках XV—XVII ст.—«Пытанні мовазнаўства і методыкі выкладання моў». Мінск, 1965, стр. 123—131; А. Обрембска-Яблоньска. Термин *przechwałka* у А. Мицкевича. «Проблемы истории и диалектологии славянских языков». М., 1970, стр. 196—200; Г. В. Попова. Некаторыя юрыдычныя тэрміны дзелавых помнікаў беларускай пісьменнасці. «Даслед. па беларускай і рускай мовах». Мінск, 1958, стр. 47—60; В. П. Сташайтене. О полонизмах в Литовской метрике. «Уч. зап. высших учебных заведений Литовской ССР». Языкознание, 7. Вильнюс, 1963, стр. 33—43.

[4] С. И. Котков. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII веков. М., 1970.

противопоставление *орать — пахать*: своеобразная специализация значений этих глаголов в различных славянских языках и в основных наречиях русского языка оказалась значительно сложнее бинарного противопоставления. В данном случае историко-географическое исследование помогло прояснить и этимологию слова *пахать* [5]. Этимологические выводы из историко-географического исследования лексики — явление теперь не такое уж редкое. По материалам памятников местной деловой письменности выяснена в настоящее время история уже значительного количества слов, относящихся к различным тематическим группам лексики. Нуждается в проверке и уточнении распространенное представление о большей подвижности лексики в сравнении со звуковым составом и грамматическим строем говоров. Большой интерес может представить сопоставление различных тематических групп лексики: сельскохозяйственной и географической (ландшафтной) терминологии, строительной терминологии и названий предметов домашнего обихода, нетерминологической лексики и т. п.

Широкое вовлечение в научный оборот памятников местной деловой письменности и изучение истории словарного состава по материалам этих памятников предполагают разработку методики исследования. Подлежит изучению употребление слов и фразеологизмов на фоне широких языковых контекстов и с возможно более полным учетом внеязыковых условий создания текстов. Речь идет о том, чтобы в историко-лексикологических исследованиях перейти от простой каталогизации слов к изучению бытования их в живой речи и применения их в письменной традиции.

Важны учет и описание жанров, видов документов, частных и общих традиций деловой письменности в историческом их развитии. Основатель исторической диалектологии русского языка академик А. А. Шахматов дал нам образец описания видов местных частноправовых актов XV в.[6], наметив в рассмотрении самой формы документов пути к выделению тех элементов разговорной речи в языке памятников, о собирании и изучении которых заботился, например, позднее Б. А. Ларин [7].

При сопоставлении жанров и видов памятников выясняется характер и степень их лингвистической содержательности [8]: целые пласты лексики оказываются прикрепленными к отдельным

---

[5] В. Я. Дерягин. К истории слова «пахать» в русском языке. «Этимологические исследования по русскому языку», вып. VI. М., 1968, стр. 46—51; Н. С. Коткова. Очерки по истории лексики русского полеводства. АКД. М., 1971, стр. 14—18.

[6] А. А. Шахматов. Исследование о двинских грамотах XV в. СПб., 1903.

[7] Б. А. Ларин. Разговорный язык Московской Руси. «Начальный этап формирования русского национального языка». Л., 1961, стр. 22—34.

[8] Термин С. И. Коткова. См.: С. И. Котков. О предмете лингвистического источниковедения. «Источниковедение и история русского языка». М., 1964, стр. 8.

видам деловых документов, ряд особенностей в употреблении слов и фразеологизмов обусловлен жанром самого памятника. Недоразумением можно считать утверждение о малой «лексической информативности» большинства жанров и видов деловых документов, одностороннее внимание к одному какому-нибудь жанру: «Среди деловых документов, составленных на периферии московскими людьми с участием местных жителей, лексически наиболее информативны писцовые книги. . . Что касается памятников собственно местного происхождения, то не приходится возлагать большие надежды на любой из них» [9]. К таким выводам можно прийти только при установке на выискивание слов, «экзотических для современного языка», слов, которые «могут показаться загадочными» [10]. Однако все это задачи частные в исторической лексикологии и в истории языка вообще.

Анализ документов актовой письменности по клаузулам (содержательным частям текста) помогает отделить в той или иной степени формализованные конструкции от предложений, возникших в конкретном речевом акте. Важно отметить особенности словоупотребления в каждой из этих двух частей текста — в формализованной и неформализованной. Даже самый лексический состав их может быть показательным. Есть основания полагать, что терминология, чуждая живому словоупотреблению создателей текста (архаизмы, термины столичного приказного языка и т. п.), употребляется только в первой части, часто заменяясь местной терминологией во второй части.

Однако не следует думать, что разного рода формулы, применяемые в деловой письменности, ничего не дают для изучения живой речи. Лексическое наполнение формул часто имеет прямое отношение к живому словоупотреблению. Так, по известной формуле «куда плуг (или соха), коса и топор ходили», определяющей границы земельных владений в купчих, меновных и данных грамотах, удалось наметить зоны преимущественного распространения названий *плуг* или *соха* в XV—XVI вв. в черте центральных областей Русского государства; и эти данные в общем согласуются с картиной распространения соответствующих орудий, установленной этнографами для середины XIX века [11].

Расширение лингвистической содержательности памятников в XVI—XVII вв. обусловлено, в частности, и развитием традиций деловой письменности, постепенным усложнением делопроизводства, появлением новых видов документов. В частноправовой актовой письменности XVI и особенно XVII в. утверждается, например, такой интересный для современного исследователя

---

[9] А. Н. Качалкин. Памятники местной деловой письменности XVII в. как источник исторической лексикологии. — ВЯ, 1972, № 1, стр. 111.
[10] Там же, стр. 112.
[11] Н. С. Коткова. Историко-лингвистические свидетельства древней владельческой формулы. «Русский язык. Источники для его изучения». М., 1971, стр. 189—209.

обычай, как составление двух документов при оформлении одной сделки (купчей и отводной, двух порядных, затем порядной и покладного письма и т. п.). Так как при этом один и тот же акт описывался дважды, возникали условия для варьирования речевых средств, для употребления синонимов. Исследование таких документов может быть интересным как в диалектологическом отношении, так и в отношении истории литературного языка (или истории «деловой речи. . . как одного из важных и активных стилей народно-литературного типа языка»[12]). К сожалению, эта традиция делового письма, как и многие другие, остается до сих пор неизученной.

Можно полагать, что «раздвоение» документа произошло не только в актовой, но и в деловой письменности вообще. Перенесенные русскими писателями XVII в. в литературу традиции деловой письменности сыграли определенную роль в развитии стилей литературной речи XVII в. Так, челобитные с разного рода приложениями дают богатый материал и для наблюдений над живым словоупотреблением их авторов, и для изучения стиля деловой письменности[13]. В связи с изучением влияния на стиль Аввакума традиций массовой деловой письменности А. С. Демин указал на литературное использование Аввакумом стилистических возможностей многопланового изложения в челобитных с приложениями: «Аввакум показывает деяния одного и того же преступника с четырех дополняющих друг друга точек зрения: жертвы, защитника, канцеляриста и свидетеля». И далее: «Литературная история традиции приложений началась лишь с конца XVII в. Все, что было до этого, в том числе и то, что сделал Аввакум, относится к литературной предыстории традиции, как ни парадоксально, более яркой, чем история ее последующего литературного использования»[14].

Большой интерес для изучения истории словарного состава русского языка представляют всесторонние исследования материалов русской частной переписки: «Эволюция частной переписки как жанра была обусловлена, с одной стороны, эволюцией русской культуры в целом, в частности языковой, и, с другой стороны, — постепенным изменением внешних условий ее бытования»[15]. История жанра связана здесь с широким культурно-историческим

---

[12] В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958, стр. 95.

[13] В. Я. Дерягин. Пинежская челобитная 1676 г. «Источниковедение и история русского языка». М., 1964, стр. 211—215.

[14] А. С. Демин. Челобитные Аввакума и одна из неисследованных традиций деловой письменности XVII в. «Труды отдела древнерусской литературы», т. XXV, М.—Л., 1970, стр. 220—231.

[15] Н. П. Панкратова. Из истории частной переписки на Руси. «Изучение русского языка и источниковедение». М., 1969, стр. 127. См. также: С. И. Котков, Н. П. Панкратова. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII—начала XVIII века. М., 1964; С. И. Котков. Русская частная переписка XVII—XVIII вв. как лингвистический источник. — ВЯ, 1963, № 6, стр. 107—116.

фоном, а описание формуляра частных писем, рассмотрение их как исторического источника и т. д. — все это осознается современными исследователями необходимым введением в изучение их языка.

В связи с исследованием жанровых и языковых различий в деловой письменности выявлена ее неоднородность. И определение «деловой» язык оказывается более емким, чем «приказный». И насколько некоторые жанры деловой письменности сближаются с книжно-литературными, настолько язык, вырабатывающийся в них, органически входит в русский литературный язык XVII в. С. И. Котков пишет: «Язык эпистолярной письменности, в известной степени деловой, не является, однако, приказным, тождественным языку делопроизводства и государственного управления, языку актовой письменности. Да и в таких безусловно «деловых» произведениях русской письменности, как Статейные списки и Вести-Куранты, мы не можем с уверенностью усмотреть просто язык приказов, хотя появление этих произведений и обусловлено деятельностью последних. И в Статейных списках, и в Вестях-Курантах вполне отчетливо проступает определенная литературность и, кроме того, заметные элементы публицистического стиля, которые в общем не характерны для массовой актовой письменности. По нашему мнению, определение «приказный» условно можно ассоциировать только с языком стандартных актовых текстов» [16].

Язык деловой письменности, ее стилистические традиции, история ее жанров и видов рассматриваются на фоне общей истории становления и развития национального языка. И в то же время имеются в виду возможности существования местных традиций деловой письменности и отражения в местных памятниках диалектных особенностей в лексике и фразеологии. В. В. Виноградов писал: «Для эпохи, предшествовавшей образованию национального языка (особенно для истории русского языка XI—XVII вв.), существенную роль играет проблема развития и взаимодействия диалектно-областных вариантов письменно-деловой речи. Изучение таких вариантов на широком фоне истории народных русских говоров поможет определить диалектно-областные вклады в развитие русского литературного языка и открыть исторические закономерности взаимоотношений и взаимодействий литературного языка с народными диалектами. Характер и виды исторических связей и отношений литературного языка и письменно-деловой речи изменяются соответственно социально-историческим условиям и закономерностям их развития» [17].

Лингвистическая содержательность текста, кроме обусловленности ее жанровыми особенностями документа, зависит еще и от принадлежности тому или иному центру письменности. Своеобра-

[16] С. И. Котков. О памятниках народно-разговорного языка.— ВЯ, 1972, № 1, стр. 45.
[17] В. В. Виноградов. Основные проблемы. . ., стр. 80.

зие местной письменно-деловой традиции, ее влияние на язык памятников обнаруживается при историческом рассмотрении текстов, созданных в старых центрах деловой письменности.

В двинских грамотах рубеж XV и XVI вв. (после присоединения Двинской земли к Московскому государству) характеризуется значительными изменениями в формальной части документов. Так, начальная формула купчей «се купи N. у NN.» меняется на «се яз NN. продал есми N.» (отсюда в источниковедении термин «продажная»), изменяется количество, внутренний состав, порядок следования отдельных клаузул в той же купчей и т. д. Происходит также стабилизация «орфографического режима»: почти исчезает цоканье и некоторые другие резкие диалектные приметы письма. Сложнее дело обстоит в лексике.

Примером длительного сохранения старой новгородской терминологии в языке местных деловых документов может служить метрологический эпизод из начальной истории Архангельска. В исторической литературе известны документы московского происхождения (1583—1584 гг.) об изъятии у Михайло-Архангельского монастыря полтретьи обежки пашенной земли для постройки города [18]. С. Ф. Огородников, исходя из предположения, что у монастыря изымалась «худая» земля, подсчитал: пространство, занимаемое городом, составляло $33^1/_4$ десятины [19]. Довольно естественно, что подсчеты С. Ф. Огородников делал по московскому сошному письму. Однако в Государственном архиве Архангельской области хранится местный документ: оброчная, выданная двинским воеводой Василием Андреевичем Звенигородским Михайло-Архангельскому монастырю на земли в разных местах по Двине, отведенные монастырю «в о*рха*|нгилско*и* же ѕемли мѣсто что ȣ ни*х* вѕкл гсдрь | царь і великии кня*з* арха*н*глскои ѕемли го*р*неи | по*д* городъ и по*д* посады и скотиным выпуска*м* | полтре*т*и обе*ш*ки малы*х* ѡпрочи скотино*г* вы|пȣску» (ф. 57, оп. 2, т. 1, № 49, 1586 г.). Кроме обычного в двинских документах определения «горняя» земля, соответствующего понятию «добрая» в московских документах [20], находим здесь еще и термин «обешка малая», указывающий на применение новгородского сошного письма [21]; и тогда площадь, занятая городом и посадами (без пастбищ), оказывается равной $12^1/_2$ десятины. Следует учитывать, что отводная грамота

---

[18] Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедициею императорской Академии наук, т. I. СПб., 1836, стр. 380.

[19] С. Ф. Огородников. Очерки истории города Архангельска в торгово-промышленном отношении. СПб., 1890, стр. 49.

[20] В XVI в. монастырь, вокруг которого был построен Архангельский город (первое название — Новый Холмогорский город), располагался на Пурнаволоке, небольшом участке «материка», сравнительно высокого берега (теперь здесь центр Архангельска), так что предположение С. Ф. Огородникова о «худой» земле не подтверждается топографией местности.

[21] Л. В. Черепнин. Русская метрология. М., 1944; Н. В. Устюгов. Очерк древнерусской метрологии. «Исторические записки», т. 19. М., 1946.

написана от лица наместника московского государя, но, как видим, это не помешало употреблению в тексте старого новгородского термина. Вопрос о московском влиянии на язык местной деловой письменности нуждается еще в детальном рассмотрении.

Изучение языка всей совокупности текстов, созданных в том или ином центре письменности, складывается в какой-то мере из рассмотрения языковых особенностей и письменных навыков конкретных создателей деловых документов. Д. С. Лихачев пишет: «Надо вообразить себе за текстом и его изменениями человека, который этот текст создал, вносил в него вольные или невольные изменения. Текстология имеет дело прежде всего с человеком, стоящим за текстом. При этом чем конкретнее окажется этот человек, чем больше у него будет индивидуальных особенностей, отложившихся в тексте, тем достовернее выводы текстолога» [22].

В лингвистическом источниковедении особенное значение придается биографическим сведениям о писцах и заказчиках. В частности, публикации текстов предлагается снабжать специальными биографическими комментариями: «Биографический комментарий к лингвистическому изданию предполагает недвусмысленное доказательство исконности жительства того или иного лица в данном месте. Здесь желательны сведения по истории рода, служебной деятельности, социальном положении, о степени грамотности, образованности, однако с теми коррективами и акцентами, которые существенны в первую очередь для исследователя-лингвиста» [23]. Составление полных указателей русских писцов XV—XVII вв., конечно, должно быть первоочередной задачей исследователей местных традиций деловой письменности. Указатели эти будут обширными. Так, сохранились документы, подписанные более чем сотней писцов XVII в. в сравнительно небольшом центре письменности — в Важском Богословском монастыре и в Шенкурске. В таком центре, как Холмогоры, писцов было в несколько раз больше. Отдельным писцам принадлежит по нескольку десятков документов, хранящихся в разных фондах, а порою и в разных древнехранилищах.

Наблюдения показывают, что в некоторых центрах письменности возможна была специализация писцов на составлении документов того или иного жанра, а в связи с этим вырабатывались устойчивые индивидуальные шаблоны со специфическими способами употребления терминов, применения юридических формул и т. д. Изучение творчества отдельных писцов с учетом особенностей местной письменно-деловой традиции и жанровых ограничений, отражающихся на языке документа, приближает нас к прочтению деловых текстов как записей конкретных речевых актов.

---

[22] Д. С. Лихачев. Текстология. М.—Л., 1962, стр. 53.

[23] А. С. Орешников. Биографический комментарий к лингвистическому изданию. «Проблемы истории и диалектологии славянских языков». М., 1971, стр. 201.

Значительные трудности встают перед исследователем при попытках анализировать словоупотребление заказчика делового документа. Здесь для успешной работы необходимы совершенно особые условия, прежде всего просто надо иметь большое количество текстов, созданных в одном центре письменности, принадлежащих сравнительно ограниченному кругу людей. О самой возможности такого анализа свидетельствует сравнение текстов, написанных одним писцом для разных заказчиков и одним или несколькими писцами для одного и того же лица. О спорадическом вмешательстве заказчика в процесс составления делового документа можно судить, например, по случаям прямой диктовки, которые обнаруживаются в непроизвольной смене лица в актовых текстах, в нарушении общей синтаксической структуры документа, в повторах, в изменениях состава и порядка следования отдельных клаузул и т. п. Однако важно не только учесть и рассмотреть эти частные, хотя и весьма показательные случаи, но и установить определенные закономерности отражения в текстах речи заказчиков. Вопросы эти еще ждут своего решения, но уже теперь можно предположить, что от заказчика исходит обычно основное обозначение объекта (объектов) купли — продажи, завещания, арендного договора в таких частноправовых актах, как купчие, духовные, порядные.

Специально в историко-лексикологических целях необходимо выяснение условий, в которых создавались тексты. Большой интерес может представить идентификация предметов, описываемых в разных документах. Так, в одном из фондов Государственного архива Архангельской области имеется девять купчих, написанных тремя писцами в 1599—1642 гг. на одно и то же домовладение на Глинском посаде в Холмогорах и список с судного дела (1644 г.), касающийся того же домовладения. Во всех этих документах дано детальное описание построек, и сравнение текстов позволяет применить прием определения значения слов по их предметной отнесенности, установить различия в значении таких слов, как *двор*, *изба*, *горница*, *комнатка*, *подызбица*, *подклет*, *дворище*, *огородец* и др. Как и в случаях с двумя документами, составленными при описании одного и того же акта, здесь варьируют речевые средства, употребляются синонимы.

Из сравнения всех случаев употребления слов *деревня*, *починок*, *подворье*, *двор* в 40 порядных (договорах на аренду земли), написанных восемью писцами Важского монастыря в период с 1618 по 1682 г. для монастырских крестьян, а также и в других документах, принадлежащих тем же писцам, удалось выяснить, какое значение имели эти слова в местном говоре XVII в. и каковы причины, вызывающие употребление слова в тексте в ином, не свойственном местному говору значении. В исследовании учитывались степень и характер участия писца и заказчика в составлении документа, жанровые особенности и условия создания текстов, немалую роль сыграла идентификация объектов некоторых аренд-

ных договоров. Один и тот же объект — участок земли вместе с жилыми постройками (однодворное поселение с земельным участком) — одни заказчики последовательно называют *деревней*, другие — *починком*, но последнее употребляется реже, может быть заменено словом *деревня* (но не наоборот). Слово *починок* представляет собой в XVII в. в местном говоре тип слова переходный от имени нарицательного к собственному, и данные говоров XIX—XX вв. свидетельствуют о завершении этого перехода.

Из всей совокупности словоупотреблений выделяются словоупотребления индивидуальные и окказиональные. Так, в одной из 24 порядных, написанных одним писцом, употреблено выражение *пашенное подворьице*, которое несовместимо со значением слова *подворье* (*подворьице*) в местном говоре XVII в. — 'дом, совокупность построек крестьянского двора, сведенных под одну крышу' [24]. Этот единственный случай столь необычного употребления слова *подворьице* объясняется тем, что заказчик называл *подворьицем* объект арендного договора (это требование заказчика последовательно отражено в тексте), а писец употребил это название с определением в соответствии с общим шаблоном документа, по аналогии с привычным для него выражением *пашенный починок* (оно встречается у писца в 10 других порядных). По многочисленным примерам можно судить о том, что слово *двор* в живом важском говоре XVII в. имело значение 'помещение для скота, нижний этаж хозяйственной части севернорусского дома-двора', однако иногда в текстах это слово употребляется в значениях 'крестьянское хозяйство', 'единица обложения' — обычно в формализованных частях документа, в терминологических сочетаниях типа *тяглый крестьянский двор* или под влиянием применения его в документах, присланных из Москвы, например, в отписях о сборе податей, оброка «по государеву цареву указу и грамоте» [25].

От изучения деловых текстов как конкретных речевых актов зависит решение целого ряда историко-лексикологических проблем. Анализ типичных и индивидуальных словоупотреблений в широком языковом и внеязыковом контексте позволяет преодолевать расплывчатость и неопределенность толкования значений слов, устанавливать синонимические и иные отношения единиц в лексико-семантических группах. В целом создаются условия, близкие к тем, в которых работает языковед, изучающий живую звучащую речь.

---

[24] Значение выяснено по многочисленным случаям употребления слова в местных памятниках XVII в. То же значение слово имеет в современных важских говорах.

[25] Подробнее см.: В. Я. Дерягин. К вопросу об индивидуальном и традиционном в деловой письменности (на материале важских порядных XVII в.). «Русский язык. Источники для его изучения». М., 1971, стр. 151—188; Его же. Об употреблении диалектных слов в памятниках местной деловой письменности (слова *деревня*, *починок*, *подворье*, *двор* в важских актах XVII века). «Диалектная лексика. 1969». Л., 1971, стр. 243—256.

В. В. ИВАНОВ и В. Н. ТОПОРОВ

ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕННЫХ ГРУПП ЛЕКСИКИ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ

Семантически ограниченные группы слов различаются тем, какие условия необходимы для того, чтобы этимологическое их толкование считалось достаточным и удовлетворительным. Для многих групп слов основная часть этимологического исследования может считаться выполненной, если для этимологизируемого слова одного языка найдены соответствующие слова в других родственных языках. Для других групп слов существенную помощь в их этимологизации оказывает или знание конкретного денотата, или выявление правил семантического производства названий (обычное называние определенных предметов по каким-либо признакам) — тем более, что оказывается возможным установление закономерности этимологических метафор внутри некоторых замкнутых областей (например, называние членов одного семантического поля по названиям членов другого поля, ср. названия грибов и названия соответствующих деревьев или животных или цветовых признаков и т. п., использование названий частей человеческого тела не только по отношению к прямым их денотатам, но и по отношению к посуде и вообще утвари, а также и к окружающей природной среде — водным бассейнам, элементам горного ландшафта и т. д.). Для той же группы лексики, которая преимущественно рассматривается в настоящей работе, а именно для мифологических терминов, включая прежде всего имена богов, задача оказывается гораздо более сложной. Для установления этимологии этих слов явно недостаточно указать сходные формы в других традициях ввиду семантических трудностей отождествления. Что же касается денотата, здесь обнаруживаются такие же трудности, как и по отношению к другим собственным именам. Обычно не удается найти и единого для всей группы принципа называния. Трудности усугубляются еще и тем, что большая часть анализируемых слов известна не в составе обычных текстов, где из окружения часто можно много извлечь, а или в разрозненном состоянии (в списках имен богов), или в качестве элементов чуждой системы в составе других текстов. Из этого вытекает особая важность задачи реконструкции текста или же установления связей внутри специфических текстов (вскрытие упорядоченности или иерархических отношений внутри списка имен и т. п.).

Реконструкция мифологического текста, в который могли войти в качестве обычного составного элемента этимологизируемые имена, в основном доводится до смысловых уровней, хотя для отдельных атрибутов и эпизодов восстанавливается и их словесное воплощение.

Типология мифологических текстов в тех традициях, где такие тексты широко засвидетельствованы, позволяет считать существенным не только семантические и грамматические, но и звуковые связи, которыми до сих пор либо вовсе пренебрегали, либо считали их случайными. Поэтому здесь важным оказывается установление связей не только между производными от одного корня, но и между словами разных корней со сходным звуковым составом. В связи с такой группой слов можно считать потенциально вероятным использование внутри одного текста набора близко звучащих основ, принадлежащих к сакральной лексике.

Одна из особенностей мифологических текстов, прежде всего для ранних традиций, заключается в подвижности границ между собственным именем (в частности, мифологического персонажа) и апеллятивами. Сами эти тексты строятся на основе этимологизации некоторых ключевых имен. Для решения поставленной задачи на славянском материале представляет интерес обнаружение такого принципа в ряде древних индоевропейских традиций, достаточно далеких друг от друга для того, чтобы удостоверить их общеиндоевропейское происхождение. Здесь прежде всего надо указать на средневековый ирландский bérla etarscartha 'разъединенный язык', обозначавший для ирландских глоссаторов способ рассечения и растягивания слов, который, согласно К. Уоткинсу, был связан как с этимологизацией, обычной у этих глоссаторов (ros 'дерево': roi.oiss 'долина оленей' и т. п.), так и с поэтическими приемами преображения слов, восходящими к достаточно ранней эпохе (ср. прием рассечения слова, деформации его частей и вставки пустых в смысловом отношении элементов в практике текстов, составляемых до настоящего времени северно-индийскими генеалогистами и связываемых с архаичной культовой практикой, а также в восточнославянской традиции в шифрованной речи девушек, достигающих брачного возраста, а в вырожденной форме — в детском языке).

Обозначавший один из таких приемов архаический ирландский термин díchned (буквально 'обезглавливание', др.-ирл. cenn 'голова') в средневековом ирландском трактате по грамматике и поэтике «Auraicept na n-Éces» (1962 и сл.) выступает в качестве одного из 12 способов защиты поэзии от anocht 'ошибка', 'неправильная форма'. Последний термин, как показал К. Уоткинс [1], вслед за Турнейзеном, восходит к общеиндоевропейскому, что

[1] C. Watkins. Language of gods and language of men: remarks on some Indo-European metalinguistic traditions. — «Myth and law among the Indo-Europeans. Studies in Indo-European comparative mythology», ed. by J. Puhvel, Berkeley—Los Angeles—London, 1970, стр. 13.

удостоверяется точным соответствием др.-инд.: anukta-<*n̥(n)-ukto- 'несказанное', 'неговоримое'. Это древнеиндийско-кельтское соответствие, как и другие многочисленные сходства в сакральной лексике, объединяющие две данные традиции, может быть отнесено к древним ритуальным индоевропейским терминам, к числу которых принадлежат и другие такие сходные по структуре сложения с привативным первым членом, как слав. u-bogъ, ne-bogъ 'лишенный доли (божественного дара)', 'убогий', 'нищий'; последнее славянское слово семантически и по этимологии первого элемента (но не по его огласовке) соответствует хет. a-šiu̯-ant- 'нищий' (от *u̯-d(e)iu̯- 'лишенный бога'), греч. ἄ-θε-ος 'оставленный богами' (встречается один раз в языке трагиков: «Царь Эдип» Софокла, строка 661 [2]).

В указанных недавно открытых фактах ирландской традиции можно видеть отражение той индоевропейской картины, которая была на основании других традиций восстановлена Соссюром. Речь идет о предположении, согласно которому «поэт отдавался звуковому анализу слов, становившемуся его обычным занятием: эта наука о произносимой форме (forme vocale) слов была причиной (с самых древних индоевропейских времен) превосходства, особых качеств индийских kavis» [3]. Самый термин, применимый к певцам-слагателям ведийских гимнов, должен пониматься как обозначение соответствующей практики, по истокам своим ритуальной, ср. значение 'жрец' (в том числе автор текста) у лидийского слова kave-, родственного др.-инд. kavi-, а также греч. κοίης 'жрец мистерий'. Этот индоевропейский термин связывается со славянскими обозначениями выковывания — ковки какого-нибудь предмета (в частности, магического) и обозначения искусства, в том числе колдовского — согласно общеиндоевропейской закономерности обозначения произведения искусства, в частности, словесного, как части или вида ремесла [4]). Это значение отражено, в частности, в ст.-сл. КЪЗНЬ 'τέχνη', ср. также ц.-сл. КЪЗНЬ, КОЗНЬ в значении 'искусство', 'ars', производное КЪЗНЬНИК, КОЗНЬНИКЪ 'художник', в таком контексте, как Всякъ козньникъ всякая козни не имать обрѣстися к тому в тебѣ (греч. πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης), Апок. XVIII, 22 (список XIV в.), где речь идет именно об искусстве (игра на гуслях и т. п.). Греч. τέχνη 'искусство', 'ремесло', которое в подобных текстах выступает в качестве эквивалента переводящего его ц.-сл. къзнь, в свою очередь образовано по той же индоевропейской семантической закономерности: термин равно применим и к изде-

---

[2] E. Laroche. Les noms anatoliens du «dieu» et leur dérivés. — «Journal of Cuneiform Studies», vol. 21 (1967). New Haven, 1969, стр. 174.

[3] J. Starobinski. Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. Paris, 1971, стр. 36.

[4] См. большое число соответствующих данных, собранных в монографии R. Schmidt. Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1967.

лиям ремесла, и к произведениям словесного и иного искусства. Греч. τέχνη, связанное с др.-инд. taks- и глаголами со значениями ремесленного производства (слав. *tesati), удостоверяет семантическую бесспорность связи ст.-сл. кꙋзнь и *kovati; ср. также, с одной стороны, русск. *кузлó* 'кузнечная работа', 'ковка', 'кузнечный горн', с другой, западнославянские термины для обозначения 'колдовства', 'чар' : чеш. kouzlo, kouzlomoc 'колдовская сила', kouzliti 'колдовать', 'ворожить', 'очаровывать', ср. okouzliti 'зачаровать' (в частности, словом), словацк. kúzlo 'чародейное средство', 'чары', kúzlit' 'поддаваться иллюзии', в.-луж. kuzło 'колдовство', 'колдовская загадка', 'талисман', kuzładło 'колдовская формула', 'заклятие', kuzłać 'колдовать', kuzłar 'колдун', 'главная из колдуний', н.-луж. kuzłaŕ 'чародей, волшебник', kuzłaŕstwo 'чародейство, волшебство', kuzłowaś 'колдовать', kuzłowańe 'колдование' и т. д. С этими последними значениями можно связать и то, что в христианских славянских текстах у слов этого гнезда нередко появляется отрицательная оценка: ст.-сл. КОВЪ 'дурное намерение', 'обман', ср. ц.-сл. кокъ 'злой умысел', 'злое ухищрение' (*Не добро... кова ковати.* Паремейник XVI в., с характерной для архаичного поэтического языка этимологической фигурой, ср. рус. *кователь козней*, у Даля, 4 изд., II, стр. 321), ц.-сл. коватн зълма 'злоумышлять', не куй на своего друга зъла. Пандект Антиоха, список XI в., ковахоу бѣды. Минея 1097 г., 148. В свете многочисленных влияний и схождений иранской сакральной терминологии и славянской стоит отметить, что в авестийском kavi- (имен. п. kavā) также может быть негативным обозначением, поскольку относится к царям, враждебным Заратуштре, ср. также ср.-перс. ky, согд. k(')w, k(')wy.

Наряду с негативным значением известен ряд примеров с положительным значением, что приобретает ценность в связи с древнеиндийскими и лидийскими отражениями того же корня, ср. сочетание типа *блага къзнь* 'πανουργία', Пандекты Никона. Оба значения — и отрицательное, и положительное — представлены в основе kovarьnъ, ср. наряду с общеизвестными негативными значениями также *коварьный* 'πανοῦργος', 'мудрый, благоразумный', ср. безжмьнъ въ смѣсѣ кꙋзноситъ гласъ, моужъ же коварьнъ ѣдъва тихо оскладитьсѧ. Пандект Антиоха, сп. XI в., 207 и т. д. На основе сопоставления разных производных в старославянском, церковнославянском и древнерусском, а также западнославянских имен существительных типа чеш. kovář 'кузнец', в.-луж. kowar обоснованно восстанавливается псл. *kovarь [5]. В свете приведенного материала для этого слова следует предположить как значение 'ремесленника—кузнеца', так и значение, связанное со всем кругом употреблений слав. *kovati. Поэтому его можно было бы

[5] О. Н. Трубачев. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966, стр. 334—336 (с несколько иной семантической реконструкцией для всей группы в целом).

сравнить с др.-инд. kavārí с вероятным значением 'по отношению к чужому (arí) занимающий негативную позицию'[6], предполагающим словосложение kav- и ări. Если это сопоставление верно, то в этом слове в славянском отразился важнейший индоевропейский термин, обозначавший соотношение между 'своим' и 'чужим'; следовательно, *kov-arь-nъ первоначально могло бы значить 'строящий ковы против чужого, на своего'. Разумеется, предлагаемое объяснение не исключает позднейшего влияния ставшей в дальнейшем продуктивной словообразовательной модели с суффиксом *-arь.

В пользу предложенной этимологии говорит наличие того же элемента, восходящего к индо-иранскому ari-, в качестве второго члена сложения, следующего за словом со значением 'кузнец', в имени осетинского божества кузнечного дела Kurd-Alægon (ср. также варианты Kurd-Alæwgon, Kurd-Alæ-Wærgon), где сочетание Kurd-Alæ возводится к комбинации *kur-ta(r)-+arya-[7]. Таким образом, оказывается, что в сравниваемых древнеиндийском, осетинском и славянском словах в первой части выступает название кузнеца или соответствующего занятия (в частности, ритуального), а во второй — индоевропейское обозначение взаимности при обмене.

Объединение в одном корне *kov- и в одних и тех же производных типа *kov-arь значений, связанных с колдовством, и значения кузнечного ремесла (также, по-видимому, первоначально обозначавшего особенно важный вид специализированной деятельности, выполнявшей и магическую функцию) согласуется с реконструированным Потебней славянским мифом о боге-кузнеце (или двух богах-кузнецах). Этот бог (укр. *Божий коваль*) выковал людям первый плуг и укротил змея, заставив его вспахать этим плугом землю, чем объясняется возникновение *Змиева вала*. Как предположил Потебня, первыми кузнецами — в силу звуковой ассоциации — позднее стали считать Козьму и Дамьяна (Демьяна). Однако, принимая во внимание другие славянские легенды о кузнецах — противниках змея, где в этой роли выступают Борис и Глеб, и иные индоевропейские параллели (древнегреческие к а б и р ы), — удается восстановить более древний вариант мифа о д в у х божественных кузнецах. В обрядовом плане та же сла-

[6] P. Thieme. Der Fremdling im Ṛgveda. Leipzig, 1938, стр. 159.

[7] В. Н. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. 1. М., 1958, стр. 610; ср. Его же. Осетинский язык и фольклор, 1. М., 1949, стр. 593 и след. Ср. об этимологии kurd уже у Шрадера: О. Шрадер. Сравнительное языковедение и первобытная история. СПб., 1886, стр. 244, ср. о цыганском kérav búti 'ковать' там же, стр. 233; относительно рассматриваемого ниже выражения «ковать стихи» см. там же, стр. 243. В этой книге О. Шрадер посвятил роли кузнеца в индоевропейских мифах и обрядах целую главу, богатую и другими данными. Из позднейшей литературы по сравнительной мифологии о боге-кузнеце особенно много писал Ж. Дюмезиль, см., в частности, об индо-иранских и кельтских фактах и их типологическом сопоставлении с северно-американскими индейскими: G. Dumézil. Horace et les Curiaces. Paris, 1942, стр. 132.

вянская традиция проявляется в величании кузнеца: *Идет кузнец из кузницы, слава!* (из подблюдных песен; ср. и сходные мотивы в сербских песнях) и в свадебных песнях, где к кузнецу (Козьме-Демьяну) обращаются с просьбой сковать венец, перстень, булавку для свадьбы и самое свадьбу:

Ты, Святой ли ты, Козьма-Демьян,
Да Козьма ли ты Демьянович!
Да ты скуй ли ка нам свадебку.

Ср. ниже сходный параллелизм в выковывании ритуального предмета (железного языка) и в выковывании речи или стиха.

Реконструкция, основанная на славянском материале, подтверждается типологическими параллелями и свидетельствами текстов разных традиций, ср. в особенности одно из древнейших ирландских стихотворений «Faeth Fiada» (V в. н. э.), где проклятия против язычества включают рунический стих, в котором рядом названы 'кузнецы и друиды': fri brichtu ban agus gobann agus druad 'против чар женщин и кузнецов и друидов', причем др.-ирл. gobann 'кузнец' (из *gobenn) сопоставимо с именем бога-кузнеца Goibniu, валл. Govannon. Помимо северно-американских индейских мифологических параллелей к этому кельтскому богу, уже замеченных Дюмезилем, можно указать на ритуальную роль кузнеца (и особой касты кузнецов) как в некоторых других индоевропейских традициях (индийская), так и в иных (хауса и многие другие африканские, абхазская и другие кавказские, где, как в осетинском, выступает особый бог — кузнец, имеющий ритуальные функции по отношению к героям [8]).

С той же ритуальной ролью кузнеца и индийских kavi-, занятых обработкой слов, можно сопоставить образ выковывания речи, который на семантическом уровне представлен в германской поэзии (выковывание ритуальной песни, ср. др.-исл. ljoðasmiþr, др.-в.-нем. leodslahe) и в некоторых других европейских традициях (ср. у Данте miglior fabbro del parlar materno. Purg. XXVI, 117 — в применении к поэту), а во фразеологическом воплощении с участием слов рассматриваемого корня выступает

[8] И. А. Аджинджал. Кузнечное ремесло и культ кузни и железа у абхазов. «Из этнографии Абхазии». Сухуми, 1969, стр. 232—274; к важному для типологического сопоставления с древнеирландскими данными выводу об абхазских кузнецах как «жрецах-представителях особой касты» (там же, стр. 248) ср. аналогичные заключения о хауса и индийской традиции: A. M. Hocart. Kings and councillors. Cairo, 1936, стр. 111—114. Реконструкция изложенного выше славянского мифа о боге-кузнеце дана впервые в полузабытой статье: А. А. Потебня. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. II. Рождественские обряды. «Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 1865», кн. 2, апрель—июнь. М., 1865, стр. 8—15. Ср. о роли кузнеца, выковывающего голос или язык, в сказке: А. А. Потебня. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. II. Баба-Яга. Там же, кн. 3, июль—сентябрь. М., 1865, стр. 121 и 133; ср. Séan de Búrga. *Gobban saer*, the crafty artificer,—«Beitrage zur Indogermanistik und Keltologie». Innsbruck, 1967, стр. 145—146.

в славянском, ср. такие речения, как укр. *кувáти рéчі недóбрії*; 'злословить', например, у Шевченко: *А тим часом вороженьки чинять свою волю*: *кують речі недобрії*; схр. кòвати речи 'образовывать новые слова', слов. kovati nove besede. С этими фразеологическими сочетаниями можно сравнить образ выковывания языка (голоса) в славянских и других индоевропейских (в частности, германских) сказочных традициях, что сопоставимо, с одной стороны, с использованием магических языков, изготавливаемых из железа, в хеттских ритуалах, с другой стороны, с западноафриканскими преданиями о выковывании языка как одном из первых деяний богатворца. В мифе о славянском боге-кузнеце важен мотив языка, которым змей пролизывает железные двери кузницы, где укрывается спасающийся от змея герой, защищаемый кузнецами: кузнецы хватают язык змея раскаленными клещами, что можно сравнить с ритуалами, отражаемыми у славян в позднейшей судебной практике, а у хеттов в магических заклятиях от «дурного языка» (idaluš lalaš); ср. кузнеца *Каве* в «Шах-наме», борющегося с Зохаком (=авест. Ажи-Дахака 'Змей Огненный').

Та же связь двух планов — более конкретного действия (часто обрядового) и его функции (обычно культовой) — может быть прослежена при сопоставлении родственной основы др.-рус. *кудесъ* 'чары', 'колдовство' при кельто-италийской основе на -d-: лат. cūdō 'бью', 'стучу', ирл. cuad 'бить', 'бороться', сопоставляемой со слав. kovati; ср. также лит. káuti 'бить', 'убивать', 'разить', 'ковать', káutis 'браниться', kovà 'борьба', 'состязание'.

Общеславянское производное (от того же корня *kov-) *kyjь, сохраняющее в некоторых диалектах значение 'посох', 'жезл', 'деревянный молот' (ср. также возможный архаизм ст.-польск. kij 'колода для преступников'), может быть объяснено посредством сравнения с верхнелужицким kuzłoprut 'волшебный жезл', 'Zauberstab', и с родственными балтийскими словами: лит. kūjis 'большой молот', прус. cugis 'молот'. Семантическое объяснение связи названия 'палки', 'жезла' в связи с терминологией поэтического искусства в применении к рецитации метрических текстов с осознанной звуковой структурой (ср. выше о kavi-) было предложено по отношению к германскому термину — рун. staba 'руническая палочка', 'руна', гот. stafs 'буква', др.-исл. stafr 'палка', 'посох', др.-англ. stæf 'посох', 'жезл'; этот термин обозначал одновременно 'палку-посох', 'букву', 'аллитерирующий звук в стихе'. В упомянутых записях Соссюра предположено, что этот термин относился, в частности, к подсчету четного или нечетного числа повторяющихся фонем в стихе, построенном по принципу древних индоевропейских анаграмм [9]. Эти идеи Соссюра можно было бы развить, учитывая древнегерманскую поэтическую теорию, изложенную в главе «Язык поэзии» в «Младшей Эдде». Различение

[9] J. Starobinski. Указ. соч., стр. 38—40.

в этом древнегерманском тексте размера и языка, внутри которого в поэзии выделяются три вида названий — свое имя, замена имени (fornǫfn) и кеннинг — можно сравнить с аналогичными свидетельствами других индоевропейских традиций, ср., например, определение поэзии как 'формы и смысла слова, соединенных вместе' (śabdārthau sahitau kāvyam) у Бхамахи («Kāvyālaṃkāra»), здесь, видимо, следовавшего более древним принципам поэтики. Отмеченные в литературе последних лет сходства между германскими кеннингами и древнеирландским поэтическим языком в ряде случаев находят параллели и в других традициях (не только древнеиндийской, но и славянской, ср., например, кеннинг *солнце как колесо* при аналогичных ритуальных символах в славянских традициях) и могут быть возведены к общеиндоевропейскому. В германском стихе, как и в ведийских гимнах, Соссюр находил «свидетельство очень древнего грамматико-поэтического анализа, совершенно естественного там, где призводился фонетико-поэтический анализ... Благодаря тому, что поэт стремился, в соответствии с религиозным или поэтическим законом, подражать звукам имени, после того, как ему пришлось различать слоги этого имени, он, хотя бы и непроизвольно, был вынужден различать разные его формы. Меня не удивило бы, если бы оказалось, что грамматическая наука Индии, в обоих ее основных разделах — звуковом и морфологическом, являлась продолжением индоевропейских традиций, касавшихся тех приемов, которым надо было следовать в поэзии» [10].

В свете этих гипотез Соссюра и приведенной ирландской традиции, возможно, прояснится и первоначальное значение древнеиндийских принципов этимологизирования, которыми, в отличие от собственно грамматических индийских теорий, пренебрегала европейская наука, оказавшаяся не в состоянии осмыслить эти принципы. Кажущаяся немотивированность сопоставлений, содержащихся в изолированном виде в собраниях типа nirúkta-, получает свое объяснение в условиях специального организованного ритуального текста.

Следует отметить, что само слово nir-úk-ta 'высказывание', 'выразительное называние', 'обозначение с помощью слов', 'объяснение', 'этимология' (от корня vak-/vac- 'говорить', родственного греч. гомер. Ϝέπος 'выражение', 'слово', 'слова', 'повесть', то есть обозначение слов и словесного искусства) представляет собой сложение, где вторым элементом является причастие на *-to-, точно того же типа, как указанное выше an-uk-ta- 'не выражаемое словами', тождественное ирл. an-och-t 'ошибка' (в словесном высказывании). Эти термины как бы определяют одно из архаичных представлений индоевропейского понимания соот-

---

[10] J. Starobinski. Указ. соч., стр. 37—38.

ношения поэтического слова и им обозначаемого: с одной стороны, обозначение того, что не выражается словами, с другой, — обозначение высказывания и его разделения на составные элементы, способствующего полноте выражения.

Продолжение той же традиции можно найти и в других древнеиндийских текстах. Существенно то, что сходные принципы в славянском фольклоре отражены в таких текстах, как, например, русские загадки, содержащие ряд архаических образов, сходных с древнеиндийскими. Название самого жанра в славянском родственно др.-инд. vi-gadá- 'род поединка', 'состязания' (который может быть и словесным), ср. параллелизм vigadá- и vívac-[11] (от упомянутого корня vac-). Ведийский пример употребления vigadá- представляет интерес в том отношении, что он находится в контексте, где речь идет о поединке — состязании с врагом, отчасти аналогичном приведенному выше kav-āri: ugráya te sáho bálaṃ dadāmi pratītyā śátrūn vigadéṣu vṛśca 'я даю тебе, могучему, превосходство и силу; сразись с врагами и раздолби в состязании' (RV. X, 116, 5); ср. возможное понимание kavya- как 'поединка, состязания kavi-' (ср. лит. kovà 'состязание'). Сами славянские загадки, в частности русские, особенно когда они даются в упорядоченной совокупности, с одной стороны, раскрывают круг тем, соответствующих темам древнеиндийской и скальдической сакральной поэзии (творение мира, мировое дерево и т. д.), с другой стороны, содержат игру на звуковом уровне типа анаграмм, шифруя в составе фонем загадки звуковую оболочку ответа.

Изложенные принципы построения архаичных специальных (мифологических, ритуальных, поэтических) текстов в древних индоевропейских традициях, в частности, славянской, можно пояснить некоторыми примерами, относящимися к роли в этих текстах мифологических имен собственных и связанных с ними апеллятивов. Рассмотренное в предшествующей работе соотношение славянского названия грома и собственного имени бога[12] и соответствующих местных названий подкрепляется реконструкцией всего мифа об этом боге и отражающих его отдельных текстов. В них значения, выражаемые разными производными от одного и того же корня, могут быть переданы и синтагматически разными сочетаниями слов и целыми фрагментами текста. Одним из важнейших элементов реконструированного мифа о боге грозы является гора — местопребывание бога[13]. В третьей Новгородской

---

[11] F. B. J. Kuiper. The Ancient Aryan Verbal Contest. — «Indo-Iranian Journal», vol. IV, № 4, 1960, стр. 264; ср. на стр. 257 о сходном *vi-yāk- от *yek- 'торжественно объявлять', ср. др.-рус. *начати*, *накъливый* и другие родственные славянские термины, которые могли первоначально относиться к определенным видам плачей.

[12] В. В. Иванов, В. Н. Топоров. К семиотическому анализу мифа и ритуала (на белорусском материале). — «Sign. Language. Culture». The Hague — Paris, 1970, стр. 324—325 и след.

[13] См. V. Ivanov, V. Toporov. Le mythe indo-européen du dieu de l'orage poursuivant le serpent; reconstruction du schéma. — «Echanges et

летописи приведено название *Перынь*, относившееся к возвышенности, где стоял идол бога, ср. колебания *на Перынѣ*, *на Перуни*, подтверждающее сохранение живой семантической связи между топонимом и именем бога. Та же связь присутствовала и в других названиях возвышенностей, обозначенных по этому имени типа 'Перунова гора', 'Перунова возвышенность', взгорье Perunac и т. п. в южнославянской и западнославянской традициях, а также и в балтийских (лит. Perkūnkalnis 'холм Перкунаса' и т. п.). Эти балтийские и славянские представления, связывающие бога грозы и гору, оказывается возможным возвести к общеиндоевропейскому ввиду этимологической связи имени бога с названием горы, ср. ст.-сл. прѣгыни, соответствующее гот. faírguni 'гора', и родственным словам других древнеевропейских языков, а также восточно-индоевропейским типа др.-инд. parvata- 'гора', этимологию которого можно доказать благодаря совпадению контекстов употребления этого слова в ведийском пересказе мифа о боге грозы с данными других традиций, в частности, славянской. В хеттском языке наряду с peruna- 'скала' представлено Pirṵa- (Perṵa-), выступающее и в качестве нарицательного, и в качестве собственного имени бога. Некоторые атрибуты этого бога (конь) позволяют соотнести его с богом грозы, участвующим в ряде сходных эпизодов в реконструируемом мифе. Это сходство мотивов, связанных с богом грозы и с Pirṵa-, подкрепляется и этимологической связью peruna- и Pirṵa-/Perṵa- из *perṵo-. В свете этих данных особый интерес представляет недавно выявленное наименование ритуального места в хеттских текстах: É^NA^ ḫegur ^d^Pirua' 'дом вершины (с детерминативом 'камень') божества Пирвы' [14]. В этом наименовании храма, по-видимому, отражается более древнее представление о поклонении богу Пирве на возвышенности. В связи с этим можно заново рассмотреть этимологию ḫegur 'вершина', 'пик', сопоставляемого с др.-инд. agra- 'вершина', 'пик', 'начало', авест. aγrō 'первый', aγrəm 'начало', лтш. agrs 'рано'. Судя по хеттско-древнеиндийскому соответствию, топографическое значение слова в первоисточнике было изначальным; дальнейшее развитие значения объясняется позднейшим пониманием вершины, верха в более абстрактном плане — как пространственном, так и временно́м. На основании этого семантического вывода может быть предложено этимологическое сближение хет. ḫegur и других приведенных слов с индоевропейскими названиями горы — возвышенности, а также леса. Для хеттского слова можно предположить исходную форму *Hegur-/*Heg^w^r- (где лабиовелярный мог еще быть двуфонемным сочетанием, и, следовательно, мог выделяться суффикс -ur). В таком случае, согласно принципам строения древних именных основ,

---

communications. Mélanges offerts à C. Lévi-Strauss». Paris — The Hague, 1970, стр. 1182 и след.

[14] H. G. Güterbock. The Hittite conquest of Cyprus reconsidered. — «Journal of Near Eastern Studies», vol. 26, 1967, N 2, стр. 81, примеч. 14.

при присоединении суффикса (-ā-, -ə-) к основе *Heg^{w}r- гласный корня (-e-) редуцировался, а сочетание ларингального с g^{w} упрощалось либо путем изменения лабиовелярного g^{w} > g, либо путем метатезы ларингального (др.-инд. giri-, где -i- из ларингального). Наличие лабиовелярного свидетельствуется др.-греч. βορέᾱς как обозначением северного ветра, что хорошо согласуется со всем реконструируемым семантическим полем. Таким образом, к праформе *Heg^{w}r- удается возвести не только уже приведенные слова и близкие к ним (как алб. gur), но и через праформу *Hg$^{(w)}$e/or- > > *gor- целый ряд других слов, ср. слав. gora, хот.-сакс. gara, а также шугн. žīr, руш. žēr и т. п. со значением «камень», совпадающим с древнебалканскими данными. Надежность этой этимологии увеличивается благодаря отражению значения «камень» в хеттском детерминативе NA$_4$ при слове ḫegur- в приведенной формуле. Вес этого аргумента тем более значителен, что камень как атрибут бога грозы выступает и в различных ритуалах (ср. поклонение камню, лат. lapis, который в Риме был архаичным воплощением Юпитера, ст.-лит. Akmo в латинской передаче как камень — ипостась бога, в связи с Перкунасом), в том числе и в восточнославянских (особенно часто в Белоруссии) упоминаниях камней бога грозы и в соответствующих мифах, в частности, о каменном небе. Восточнославянский термин *гора* обозначает в ряде русских диалектов 'северный и северо-западный ветер'; в значении ветра, дующего с суши на море, употребляется то же слово, а также производные *горняк*, *горыч*, ср. формально сходное *Горыныч*. Первое из приведенных значений ('северный ветер') в точности соответствует значению др.-греч. βορέᾱς 'Борей, Северный ветер' (предполагается из 'ветер'), этимологически связанного с русск. *гора* и иногда сопоставляемого с иллирийскими именами типа Bora как древнебалканское название 'горы' (в частности, в Македонии).

В свете обнаруживаемой как в синтагматической структуре мифа, так и в словах отдельных индоевропейских языков, родственных слав. *perunъ, связи значений 'гора' — 'дубрава' — 'дуб' [15], могут представить интерес некоторые названия дуба и змеи у дуба в славянских заговорах, продолжавших традицию сакральных текстов с особой звуковой структурой. В тех из них, где отражен тот же миф о боге грозы, поражающем змей, встречается имя дуба *Прокурон*, внешне сходное с такими именами, связанными с именем бога грозы и названием дуба, как Κέρκυρα, Κόρκυρα (иллирийское имя позднейшего Корфу). При допущении такой связи здесь можно было бы видеть или гетероклитическое чередование типа *perkur- : *perkūn-, или же отражение звукового остова имени бога грозы в других словах сакрального текста в соответствии с анаграмматическим принципом.

---

[15] P. Friedrich. Proto-Indo-European trees. Chicago, 1970, стр. 136—137.

Последнее объяснение вероятно по отношению к имени змеи *Шкуропеи-* (=*Прасковеи*) в тех же заговорах [16], где при возможности народно-этимологической связи с *шкура* — названием змеиной кожи и руна в звуковой оболочке слова отражается и начальное р- й последующее -kur (ср. *per-kur-).

Анаграмматическая структура прослеживается не в единичных случаях, как только что приведенные, а является ведущим принципом организации текста, насколько его удается восстановить на основании сличения разных индоевропейских традиций, ср. такие фрагменты, как

*g^{w}henti ṇg^{w}him Perunt	'поражает змея на скале'
*ognim g'eg'en-e dwō ak'men	'порождает огонь с помощью двух огней'
*pergon-i̯o-s ognis	'огонь Громовержца' [17].

Характерно, что в ведийских гимнах, посвященных громовержцу Индре, его имя постоянно сопрягается с другими словами сходной звуковой структуры, в частности, с формами глагола indh- 'зажигать'.

Имя бога грозы в тексте мифа либо шифруется с помощью анаграммы, либо повторяется при некоторых атрибутах, уже упомянутых выше (гора, дуб), и особенно часто в названиях оружия, посредством которого он поражает своего врага. В славянских диалектах представлено несколько разных форм этого названия, начиная с самого слова *perunъ, отражения которого в ряде славянских языков используются преимущественно как обозначения орудия бога грома. Особенно показательны данные тех языков, где в название орудия Перуна входит термин *kamen- в сочетании с обозначением бога. Так, в польских говорах сохранились многочисленные названия орудий Перуна, прилагаемые теперь к белемнитам, ср. kamień (или kamyszek, kamyczek) piorunowy, pioruński, piorunów, od pioruna. В мифе, как уже отмечалось, камень встречается в разных эпизодах: камнем бог грозы поражает врага, за камнем прячется противник бога или же бог, поражая противника, обращает его в камень; наконец, самое небо представляется каменным. Последнее подтверждается тем, что 'небо' и 'камень' могут обозначаться одним словом, как в ряде древних языков, или же 'небо' обозначается словом, которое употреблялось ранее для камня; авест. asman, согд. sm'n, 'sm'n, язгулямск. asmén, также и в ряде других новоиранских языков, ср. этимологию названий 'неба' в германских языках и т. д. Поскольку известна словенская сказка о каменном небе, это же представление можно предположить и в славянской мифологии, что говорит в пользу такой этимологии названия белорусских ве-

[16] См. тексты в статье: В. В. Иванов и В. Н. Топоров. К семиотическому анализу мифа и ритуала, стр. 332.

[17] Там же, стр. 339—346. Там же см. о позднейших отражениях в отдельных традициях, в частности славянских.

ликанов-осилков, связывавшихся с камнями (в том числе с теми же каменными молотами и стрелами, что и Перун), которая предполагает родство этого названия и ст.-сл. ОСЛА 'точильный камень' (в конечном счете та же индоевропейская основа, что и приведенные иранские слова). Для славянской (в частности, белорусской) и ведийской мифологии общим является и представление о двух камнях-жерновах, с помощью которых бог-громовержец добывает молнию. Эти фрагменты мифа позволяют объяснить и этимологию названия молнии, ср. блр. *молодня*, *молоння* при прус. mealde, валл. mellt, связанное, с одной стороны, с др.-исл. myǫllnir 'палица громовержца Тора', хетт. mal-att 'название орудия, оружия', maldanis (о сыне скалы — Perunaš), с другой стороны, с производными от корня *mel(ə)- 'молоть', лит. milinys 'мелен', 'ручка жернова', русск. *мелен*, схр. чак. *мла́н*, польск. mlon.

В других цитированных выше работах было установлено, что с помощью этого оружия Перун поражает своего противника, имя которого восстанавливается как *Veles-. О том, что именно Велес выступает в виде противника Перуна, свидетельствует их противопоставленность по ряду признаков, связь Велеса со скотом при том, что противник громовержца прячется под скот (или похищает скот, а громовержец в результате победы освобождает скот). О том же противопоставлении говорят некоторые славянские тексты и данные индоевропейской сравнительной мифологии. Исходя из противопоставленности бога-громовержца демону Вала, обладающему скотом, можно было бы предложить сравнение древнеиндийского имени этого демона, в «Ведах» осмысляемого в связи с корнем vr̥- (ср. другое наименование противника громовержца Вритры — Vr̥-tra-), и славянского Волоса — Велеса, который в древнерусском упоминается в качестве «скотьего бога», в клятвах противопоставляемого Перуну.

С функцией Волоса-Велеса как скотьего бога связаны славянские ритуалы, в которых выступает ш е р с т ь, в о л о с ы.

Возможная связь Волоса как названия мифологического существа с названием волос — шерсти подтверждается восточнославянскими диалектными обозначениями типа *вблосень*, *волосе́нь* 'нечистый дух, черт, связанный с запретом прясть' (тамбовск.), *волоса́тик* 'водяной и леший' (упоминается в формулах проклятий, где употребляется и форма Волос: *Волос тя выточи*, *вблос те седь*, *Волосень те избей*, *Волосатик бы тя взял*, *Вблости тебя возьми*, *Волосни́ бы тебя били*); из этих сопоставлений выясняется роль Волоса, Волосатика, Волосня как мифологического существа (ср. аналогичное псковск. *сбей тебя Перун* и т. п.). Для установления связи с домашними животными особенно важно название *Волосатка*, обозначавшее духа женского пола, овинного домового, стерегущего овины, где были домашние животные. Нечто среднее между этими обозначениями мифологических существ и названиями болезни, нарыва, образованными от *волос*, можно видеть в таких случаях, как *вблос* — название животного, забирающегося под кожу

людям или животным, причиняющее болезнь. Лечение от болезни *волос* (когда прикладывали коровий помет) и болезни *волосец* (по названию особого червя — волосца, иначе змеевика) могла осуществить только знахарка. В качестве параллели можно привести шаманские ритуалы (в частности, у сибирских народов), во время которых червей могла извлекать шаманка; в русских заговорах от червей встречается мотив превращения в червей детей громовержца; вместе с тем следует отметить параллелизм червей и змей (как противников змееборца — громовержца) в реконструируемом мифе.

С тем же кругом шаманских представлений можно связать и диалектные северновеликорусские термины: вологодск. *волхáт*, *волхúт*, ж. р. *волхáтка*, *волхúтка*, 'ворожея' (с суффиксом, тождественным суффиксу в курск. *волохáтый* 'косматый', 'мохнатый', 'кудлатый', 'всклокоченный' с инославянскими параллелями).

С севернорусским культом, отправлявшимся жрецом, который был связан с Волосом, можно соотнести и некоторые топонимические названия типа *Волосово*. С одной стороны, в тех же местах удается найти следы легенд о Волосе-Велесе, чей культ некогда отправлялся в них, с другой стороны, обнаруживаются и археологические данные о местах святилищ. В частности, это относится к деревне Волосово и Волосово-Даниловскому могильнику. Согласно сохранившемуся до последних лет устному преданию, в этом месте на вершине холма стоял деревянный идол Волоса. Собственное имя Волос как название людей было широко распространено на русском Севере.

К числу архаизмов, сохраненных особенно в Приволжской области, принадлежат термины, где основа *волос-велес* используется для обозначения власти, ее носителя и соответствующей социально-территориальной единицы: рязанск. *велес* 'повелитель', 'распорядитель', 'указчик', *волос* 'власть', *волóсить* 'властвовать', 'управлять', ср. также русск. *волость* (особенно показательны приведенные выше проклятия, где *волость* выступает в тех же контекстах, что и *волос*), *володыка* (*владыка*), ст.-слав. велии как наименование полноценных равноправных членов древнеславянского коллектива, слов. last 'собственность', чеш. vlastnictví 'собственность' и vlastník 'собственник', схр. *властѐла* 'знать', 'аристократия', 'крупное земельное владение', 'феодалы'; ср. лит. valstiẽtis 'крестьянин' (при valsčius 'волость'). Практически значение приведенных рязанских форм совпадает с тохарским wäl (косв. lānt) 'правитель', 'властитель'; ср. также тохарское название Индры, т. е. бога грома, возводимое к пратохарскому *'царь-бог', тох. A wlāñkät, тох. B ylaiñikte. Если в славянском и балтийском значения 'мифологическое существо', 'божество' и 'волость' (единица социально-территориального членения) представлены в разных словах этого корня, то в финско-волжских заимствованиях (отличающихся, как и в других случаях, большой архаичностью и сохраняющих те черты, которые потеряны в источнике

заимствования) эти значения совмещены в одном слове: мокша мордовск. V'él'en' pas, эрьзя мордовск. V'el'en ḱiŕd'i pas (имя божества — охранителя деревенской общины), v'el'eń k'iŕ-d'i azəŕava 'владычица над деревней' (ср. также V'el'-at'ä 'старший над селом', v'el'-ava 'старшая над селом'). К этому божеству обращаются с просьбой дать больше зерна, скота и детей, защитить от огня и злого человека (обращение заканчивается призывом 'ешь и пей', аналогичным известным обращением к Перуну и другим индоевропейским, в частности, хеттским богам). Во время пивного праздника женщин этому божеству приносятся жертвы, ср. также более позднюю осеннюю жертвенную церемонию saltankerem'ät, совершаемую в октябре возле священного дуба. Это мордовское заимствование представляет тем больший интерес, что в мордовском же есть и другое заимствованное имя божества Puŕgiń̆e-pas 'бог грозы' при лит. perkūnija 'гроза', Perkūnas 'бог грозы' [18].

Одно из значений (социально-территориальное), представленных в приведенных словах, отражено и в мордовском v'el'e 'Плеяды; рой; деревня' [19]. Соответствующее название Плеяд засвидетельствовано в русском: др.-рус. *волосыни*, *волосожары*, *весожары*, тульск., жиздр., донск. *висожары*, *стожары*, **волостожары*, др.-рус. *Власожелищи* и т. д., схр. *влашићи* 'Плеяды', ср. также хорватское поверье о Плеядах как семи вилах, некогда водивших хоровод на земле. Это название связывают и с культом Волоса, на севере Руси и в Поволжье соединившимися с культом медведя: сияние Плеяд предвещает удачу в охоте на медведя. Связь Плеяд с культом медведя и отсюда — с Большой Медведицей — находит подтверждение как в многочисленных типологических данных из Евразии и Америки (где названия обоих созвездий часто взаимозаменимы) [20], так и косвенным образом в данных старейшего русского текста, упоминающего оба эти созвездия вместе, причем первое из них названо *Волосыни* (Афанасий Никитин) [21].

---

[18] Ср. также финск. perkule, perkele. См.: U. Harva. Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952, стр. 157 и след., 295 и след.

[19] На Веле живет *Нишке пас*, ср. также *Сисэм-дэшт* '7 звезд'; см. Г. Н. Потанин. Очерки Северо-западной Монголии, вып. IV. СПб., 1883, стр. 730. Это мордовское название Плеяд отлично от таких финско-угорских, как ливское и венгерское (с внутренней формой 'сито', как в чувашском); см.: L. Mandoki. Asiatische Sternnahmen. — «Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker». Budapest, 1963, стр. 519 и след.

[20] Ср. William B. Gibbon. Asiatic Parallels in North American Star Lore: Ursa Major. — «Journal of American Folklore», vol. 77, 1964, стр. 236—250 и след.; C. Levi-Strauss. L'homme nu. Paris, 1971, стр. 185, 489.

[21] В тексте Афанасия Никитина Большая Медведица названа «повозкой» (*кола*, мн. ч. от *коло*), ср. подобное наименование во фригийском и тохарском (образованное от того же корня) и в балтийском названии Большой Медведицы (от другого корня) при типологических параллелях в древнеближневосточных языках, у бороро и в других архаических традициях. В том же тексте Афанасия Никитина Полярная Звезда, упомянутая вместе

В этой связи следует обратить особое внимание на авестийское название Плеяд Pərūne, которое, так же как и родственное кафирское имя божества войны, было сопоставлено со славянским именем Перуна Р. О. Якобсоном [22]. Суффикс в этом названии Плеяд исторически точно соответствует суффиксу *-ыня* в восточнославянском *Волос-ыня*, а корни этих двух синонимических названий обозначали в индоевропейском два члена реконструируемой мифологической оппозиции.

Древнечешск. veles (ср. Ký jest črt, aneb ký veles. Tkadleček), как и русск. костромск. *ёлс* 'леший, черт, нечистый', составляют параллель к развитию той же основы в литовском, так же переосмысляемой как 'черт' в духе христианской демонологии. В более ранних балтийских источниках сохранено родственное лит. velnias 'черт' название божества, относившегося к царству мертвых: Wels, Vielona и др. В свете данных, позволяющих связать образ поминовения усопших (лтш. Veļu laiks, лит. velinės), имя бога или демона от того же корня и ритуальное использование кости, следует обратить внимание на совпадение лтш. veļa kauli (название косточки в стопе, связанное с определенными повериями), лит. navì-kaulis 'новья косточка' при лтш. nāve 'смерть', русск. *навья косточка*, ст.-чеш. kost návná, совр. чеш. návní kost и др. Из отождествления лтш. veļa kauli и славянских терминов, как и из сходного отождествления лтш. Veļu laiks и русск. *навий день*, следует равенство первых частей этих обозначений, т. е. названия балтийского демона или бога, соотносимого со смертью, и слав. *navь. Эта связь значений по отношению к скотьему богу Велесу может быть признана весьма древней ввиду общеиндоевропейского представления о загробном мире как пастбище, где один из богов пасет души мертвых (ср. др.-греч. Ἠλύσιον πεδίον, Ἠλύσιος λειμών, хет. ḫellu- 'луг').

Корень *ḫel- в применении к умершим и смерти встречается в целой серии древнегерманских терминов, в частности, др.-исл. valhǫll 'жилище воинов, павших на поле боя' (ср. в мифе о Вале помещения, где заперт украденный им скот), valkyrja 'Валькирия, дева, выбирающая героя среди мертвых на поле боя и препровождающая его к Одину', в тохарском и в анатолийских, где лув. ulant-(i)- 'мертвый' совпадает с тохарской основой walunt- от walu- 'мертвый' при тохарском wlalune 'смерть' с суффиксом, генетически совпадающим с суффиксом в *Пер-ынь*; пр̥ṭr̥-ъини, *Волос-ыня*.

с Большой Медведицей и Плеядами, названа Лосем, чему также обнаруживаются параллели (в древнеисландском и северных евразийских языках, в частности в саамском). В более поздний период (начало XVII в.) *волосыни* 'Плеяды' засвидетельствованы в псковском говоре; см. Tönnies Fenne's Low German Manual of spoken Russian, vol. II, ed. by L. L. Hammerich and R. Jakobson. Copenhagen, 1970, стр. 19 (32 : 1 — vollosini 'de Souenstern').

[22] Р. Якобсон. Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии. «Труды УП МКАЭН», т. V. М., 1970, стр. 612.

Параллелизм в словообразовании в производных от рассмотренных корней можно отметить и в блр. *велеты*, *волоты* — названия богатырей — осилков, с огласовкой, сходной с *Велес/Волос* (ср. укр. *велетень* 'великан', *велет*, *велетенський*, *волот*, *волоть*; Волот встречается в качестве обозначения князя — былинного Владимира — в «Голубиной книге» и в легенде о Волоте Волотовиче XV в.; ср. также сходный суффикс *u̯ol-tu- в валл. gwelt, корн. gwels 'трава', др.-исл. vallr 'луг', сопоставляемыми с другими индоевропейскими производными от *u̯el-, обозначавшими 'пастбище, луг', в том числе и пастбище потустороннего мира, откуда обозначение Елисейских полей в древнегреческом, и хет. u̯ellu- и т. п.) при том же суффиксе в *mol-tъ, связываемом с названием 'молнии' и оружием Тора.

Значения типа др.-исл. valkyrja, где внутри древнегерманского мифа обнаруживается связь с Одином (культ которого давно интерпретировался как шаманистский), позволяют наметить путь семантического развития слов этого корня, который мог привести к значению др.-ирл. fili 'поэт' (семантическое соответствие др.-инд. kavi), сопоставляемому с именем Велеса Р. О. Якобсоном, в частности, в связи с упоминанием Бояна как Велесова внука в «Слове о полку Игореве» [23], что согласуется и с упоминанием волхва-жреца Волоса в архаизирующем «Сказании» о построении церкви в Ярославле, где говорится, что волхв после сожжения жертвы вещал от имени Волоса; в Ирландии еще в IX в. н. э. сохранились сведения о том, что file в языческое время занимался гаданием, прорицая при совершении обрядов и принося жертвы духам. В свете приведенных (и других аналогичных) данных, подтверждающих индоевропейское происхождение многих черт древнеирландской поэзии, вероятность этой этимологии file увеличивается.

Исследование мифологической лексики при всех отмеченных выше трудностях сулит также и значительные преимущества при условии, если известен или может быть реконструирован основной текст соответствующего мифа, который собственно и объясняет значение каждого из рассматриваемых слов и позволяет установить цепь семантических переходов между ними. При этом удается установить семантические связи между словами, которые в других текстах не сопрягаются друг с другом. В этом и состоит значение исследования синтагматических последовательностей для этимологии, где к тексту обычно обращаются лишь для выяснения смысла слова, а не для определения его роли в организации целого, которое само по себе может вносить дополнительные смыслы в значение каждого слова.

---

[23] R. Jakobson. The Slavic god Veles and his Indo-European cognates. — «Studi linguistici in onore di Vittore Pisani», 1969, стр. 579—600.

В. В. КОЛЕСОВ

ПРАСЛАВЯНСКАЯ ФОНЕМА [Ǫ] В РАННИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ СЛАВЯНСКИХ ВОКАЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В давних спорах относительно фонетической характеристики старославянского ѫ историческая фонология принимает сторону тех, кто за графическим знаком видел самостоятельную фонему. Однако фонологическая характеристика носовых гласных сама по себе достаточно сложна [1], тем более сложна она применительно к мертвым языкам; результат здесь иногда зависит от точки зрения, принимаемой исследователем.

С парадигматической точки зрения, /ę/ и /ǫ/ — самостоятельные фонемы, поскольку от всех прочих фонем системы они отличаются дифференциальным признаком (ДП) — ринезмом (с древнеславянской эпохи или, как полагают некоторые ученые, в отдельных славянских языках после утраты редуцированных [2]). С синтагматической точки зрения, наоборот, /ę/ и /ǫ/ — аллофоны сочетаний /en/, /on/ и потому не являются самостоятельными фонемами. Этот последний вывод, сделанный Н. С. Трубецким [3], поддерживают многие ученые [4], несмотря на то, что он давно оспаривается с точки зрения фонетической [5] и собственно фонологической [6]. К уже высказанным в литературе доказательствам фонематичности /ę/, /ǫ/ в позднем праславянском можно добавить следующие соображения.

---

[1] См.: А. С. Либерман. О способах образования новых фонем. — ВЯ, 1970, 3, стр. 17.

[2] H. Birnbaum. Reinterpretacje fonologiczne nosówek słowiańskich. — «American Contributions to the 5. Intern. Congress of Slavists». I. The Hague, 1963.

[3] N. S. Trubetzkoy. Altkirchenslavische Grammatik. Wien, 1954.

[4] См.: А. В. Исаченко. Рец. на книгу С. Б. Бернштейна «Очерк сравнительной грамматики славянских языков».— «Филологические науки», 1962, 3, стр. 152—153; G. Y. Shevelov. A Prehistory of Slavic. N. Y., 1965; Zd. Stieber. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Fonołogia. Warszawa, 1969.

[5] См.: T. Lehr-Spławiński. Studia i szkice wybrane. Warszawa, 1955, I, 168 etc.; W. Kuraszkiewicz. Z historji polskich samogłosek nosowych. — Prace filologiczne, XII. Warszawa, 1927.

[6] См.: F. V. Mareš. Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce obdobi slovanské jazykové jednoty. — Slavia, XXV, 1956; С. М. Толстая. К типологической интерпретации польского ринезма. «Лингвистические исследования по общей и славянской типологии». М., 1966 (здесь и другая литература вопроса).

Одним наличием дополнительного распределения невозможно обосновать позиционный характер двух единиц, в данном случае /ǫ/ и /on/. Ср. английск. /r/ — /ə/, которые находятся в дополнительном распределении, но тем не менее являются самостоятельными фонемами. Аналогичные случаи можно найти в различных языках. К праславянским носовым ближе всего польские носовые, которые также являются самостоятельными фонемами, хотя и вступают в дополнительное распределение с /on/, /en/. Чтобы доказать нефонематичность праславянских носовых, следует, например, объяснить, почему в целом фонематичное письмо славянских первоучителей включало в себя буквы для самостоятельного выражения аллофонов (т. е. буквы ѧ, ѫ, ѭ для передачи ę, ǫ, ǫ̇), почему во всех славянских языках носовые гласные впоследствии изменились различным образом и притом не так, как дифтонгические сочетания типа on, en, вариантами которых в праславянском как будто являлись ǫ и ę. Трудно допустить самостоятельное, разнонаправленное и раздельное изменение двух аллофонов прежде, чем они стали самостоятельными фонемами.

В исследованиях славистов хорошо показана функциональная важность слога в праславянском языке; иногда говорят даже о фонологическом противопоставлении на уровне слога [7]. Таким образом, по крайней мере и как раз в синтагматической системе e^n было важнее, чем *en*, поскольку входило в пределы одного слога: синтагматическое членение выделяло na—$\check{c}e^n$—ti и na—čь—no^n, а не *na—čьn—o^n. Если уж и говорить о функциональной близости e^n=ę и en=en, в таких условиях именно *ę* находится в сильной позиции, тогда как en, действительно, есть сочетание фонем в гетеросиллабичном сочетании. Только общность морфемы, т. е. собственно функция объединяет e^n и en, но и в этом отношении e^n оказывается в сильной позиции в отличие от en: e^n одновременно и тавтосиллабично, и тавтоморфемно, а en только тавтоморфемно. До того момента в развитии праславянского языка, пока морфологическая граница еще не могла рассекать слог с выделением вокалического элемента флексии (ž'ena/*i*, а не *ž'en/ai или *ž'en'/ě), трудно говорить об абсолютной автономности морфемы и ее независимости от слоговой структуры слова. В подобных условиях несовпадение фонемных и морфонемных единиц ожидается теоретически. По-видимому, и сам Н. С. Трубецкой не считал свою точку зрения на ǫ, ę как варианты сочетаний on, en окончательной, поскольку нам известны установленные им общие правила выделения фонем. Среди них важно четвертое: два звука, находящиеся в дополнительном распределении, «нельзя тем не менее считать вариантами одной фонемы, если они в данном языке могут следовать друг за другом как члены звукосочетания, притом в таком положении, в каком может встречаться один из этих звуков без

---

[7] См.: В. К. Журавлев. Развитие группового сингармонизма в праславянском языке. Опыт диахронической фонологии. Минск, 1963.

сопровождения другого»[8]. Ср. в праславянском zv-on'-o^n — zv-on-i-ti—zov-o^n=звонѫ — звонити — зовѫ. Г. Бирнбаум указывает также на старославянские сочетания типа kamęnъ, pomęnǫti, которые при интерпретации Трубецкого (ę=eN) дают порядок следования *eNn, что трудно допустимо по разным основаниям[9]. Таким образом, дистрибутивное ограничение фонем не определяет характера дополнительного распределения в данном языке. Синтагматически фонемы могут оказаться в дополнительном распределении относительно друг друга, но из этого не следует автоматическое исключение их из числа различаемых единиц языка.

Самостоятельный интерес представляет вопрос: почему три носовых гласных соответствуют по меньшей мере восьми исходным типам сочетания «гласный+носовой сонорный» и почему сочетания верхних гласных с носовым сонорным не вступают в дополнительное распределение с носовыми гласными? Вариантами каких из этих сочетаний носовые гласные являлись? Всех — в зависимости от «происхождения»? Но тогда перед нами — результат фонематической нейтрализации, которая как раз и указывает на фонематичность /ę ǫ ǫ̇/. Сам Н. С. Трубецкой, ссылаясь на графические обозначения глаголицы, справедливо говорил о «сонантическом коэффициенте» *N* в составе /ę/ и /ǫ/: ę=eN, ǫ=oN — в отличие от сочетаний on и en. Это обстоятельство также оказывается важным в фонологической трактовке носовых. В самом деле, на месте исходных сочетаний с разными носовыми сонантами восстанавливается только общий признак «носовости» *N*, т. е., например, ăm и ăn, em и en одинаково дают ăN и ĕN: зѫбъ ⩽ zămb- и пѫтъ ⩽ păntъ-, зѧтъ ⩽ zĕnt- и ѧти ⩽ ĕmt-. Никакого совпадения в общей сумме ДП N не дает ни по отношению к n, ни по отношению к m, важно лишь то общее их свойство, которое и «делает» фонемы /ę/, /ǫ/ в их отличии от /e/, /o/ — N в oN, eN всего лишь линейным образом выраженный дифференциальный признак носовых гласных.

Наличие ДП ринезма в описываемой системе позволяет трактовать носовые гласные как самостоятельные фонемные единицы.

Что же касается /ǫ̇/, т. е. третьей носовой гласной, ее фонематический статус в праславянском подвергается сомнению более последовательно[10]. Обычно ее происхождение рассматривается в общем контексте исследования о «третьем носовом» в праславянском языке и не выходит за узкие пределы чисто фонетических реконструкций[11]. Речь идет о разнонаправленном изменении

---

[8] Н. С. Трубецкой. Основы фонологии. М., 1960, стр. 57.

[9] H. Birnbaum. Указ. соч., стр. 31.

[10] G. Y. Shevelov. On Endings with Nasal Consonants after Palatal and Palatalized Consonants. — Die Welt der Slaven, X, 1965, Hf. 3—4.

[11] См.: Н. Н. Дурново. Спорные вопросы общеславянской фонетики. 2. Гласные из en, em перед носовыми в общеславянском.—Slavia, VI, 1927, seš. 2—3; Д. В. Бубрих. Из праславянской фонетики.—Изв. ОРЯС,

сочетаний ăn, ĕn в положении перед различными типами конечных согласных: перед носовым, перед сонантом, перед взрывным, перед группой согласных. Исходные фонетические отношения, характерные для этих сочетаний в далеком прошлом, затерты позднейшими морфологическими выравниваниями — поскольку вся проблематика «третьего носового» оказалась связанной преимущественно с положением конца слова (морфологически: суффикс или флексия). По-видимому, все замечания, приводимые в обширной литературе вопроса относительно подобных сочетаний, отчасти справедливы, но исходную точку изменения установить трудно.

Судя по праславянским примерам, отличием между ę и ǫ́ было не только синтагматическое положение после разных согласных (после твердого в первом случае и после палатального во втором), но и характер исходного сочетания: *(j)ăn > ę, *jăn(t)s > ǫ́; ǫ́ ожидается в следующих случаях[12]:

1) вин. ед. имен и местоимений *jā-, *ijā-основ: землѫ сѫ;

2) тв. ед. всех основ женского рода, *jā-основ мужского рода и местоимений: тоѫ женоѫ;

3) 1 л. ед. числа настоящего времени от глаголов III и IV классов: знаѭ, хвалѭ;

4) 3 л. множ. числа настоящего времени от глаголов III класса: знаѭтъ, но хвалѧтъ;

5) все косвенные формы действит. причастий настоящего времени от глаголов III класса: знаѭщь, но не знаѧ;

6) наречия ѭдоу и ѭдѣ и производные.

Сюда же относились впоследствии подвергшиеся по диалектам разнонаправленной морфологической аналогии формы род. ед. и им. множ. *jā-основ (землѧ — землѣ) и вин. множ. *jā- и *jă-основ (землѧ — землѣ и конѧ — конѣ), а также презенсного причастия в форме им. ед. мужского рода (от глаголов III класса: знаѧ, но знаѭщь, см. выше). Положение исходного сочетания ăn перед сложной группой согласных в исходе слова всеми исследователями отмечается как особое, приведшее к древнейшим славянским расхождениям. С этой позицией связывают также некоторые просодические изменения раннего праславянского языка. Уяснение фонетических стадий изменения не входит в нашу задачу, последующие морфологические выравнивания — также[13]. Ограничимся общим выводом, что в позднем праславянском возможно

XXIV (1919), 1; C. L. Ebeling. Questions of Relative Chronology in Common Slavic and Russian Phonology. — Dutch Contributions to the 5. Intern. Congress of Slavists. Mouton, 1963, p. 36, 39; L. Newman. On Reconstructing a third *jat'* in the Northern Dialects of Common Slavic. — Slavia, XL, 1971, seš. 3.

[12] В. Ф. Марош. Происхождение славянского носового ǫ́ (jǫ). — ВСЯ, 7, М., 1963.

[13] О них см.: В. В. Колесов. Изменение фонемы /ě/ в древнерусском языке. — Slavia, XXXV (1966), 2. Такая аналогия происходила не только по линии палатального окончания основы (землѧ — землѣ), но и по

было употребление ǫ̇: а) после гласных (формы 2, 3, 4, 5), б) реже после палатальных согласных (формы 1, 2), в) совсем редко в начале слов (корни в 6). Собственно, с позиционной точки зрения *а*=*в*, но группа *в* является наиболее важной в определении фонемного статуса ǫ̇, поэтому ее следует выделить особо.

Даже те ученые, которые признают ǫ̇ за самостоятельную «звуковую единицу» в праславянском, в установлении ее фонемного статуса проявляют известное колебание: «суть дела не меняется от того, что ǫ — ǫ̇ являются, вероятно, только вариантами одной и той же фонемы» [14]. Вряд ли это справедливо. Многие данные свидетельствуют в пользу того, что ǫ̇ выступала в качестве самостоятельной фонемы, хотя и функционально слабой (маргинальная фонема позднего праславянского языка).

Во-первых, ни глаголица, ни кириллица графически не выделяли разные типы ę; при этом более древним знаком выражения носового гласного переднего ряда был ѩ. Напротив, уже в самых древних текстах различаются ѭ и ѫ; в глаголице для обозначения «носового *ü*» также употреблялся особый знак ⰹ. На основании этого наблюдения Ф. Ф. Фортунатова давно был сделан вывод о различении «звуков» ę — ǫ — ǫ̇ (*ü*) в праславянском языке [15]. Если первоначальное славянское письмо действительно было фонологичным (а сомневаться в этом нет оснований), каждый графический знак в нем обозначал самостоятельную фонему. Из этого следовало, что буква ѭ обозначала не йотацию носового, а самостоятельную носовую фонему /ǫ̇/ [16].

Это подтверждается характером древнейших нейтрализаций /ę/ — /ǫ̇/ и качеством йота.

Во-вторых, следовательно, /ę/ и /ǫ̇/ самостоятельные фонемы потому, что их противопоставление друг другу нейтрализуется в положении после непарных по мягкости—твердости палатальных («исконно мягких») согласных; ср. в Остромировом ев. 1056—1057 гг. ал'чѧ 239б вместо алчѭ и даѩ 239в вместо даѭ (в обоих случаях форма причастия вместо ожидаемой формы 1 л. ед. числа настоящего времени). Из характера нейтрализации следует, что маркированным членом в оппозиции /ę/ — /ǫ̇/ был второй и что

линии тембра конечного гласного: ѧды в древнерусских текстах отражено и как ѧдѧ, и как ѧдѫ наряду с обычным для русских источников написанием ѧда; см.: Н. Н. Дурново. Русские рукописи. . . — ЈФ, IV, 1924, стр. 93.

[14] В. Ф. Марош. Происхождение. . ., стр. 8. Ср. колебания у Г. Ланта: H. G. Lunt. Old Church Slavonic Grammar, 's-Gravenhage, 1959, стр. 20, 25, 26.

[15] Подробное обоснование этого тезиса см.: В. Н. Щепкин. Болонская псалтырь. СПб., 1906, стр. 135—136; Его же. Рассуждение о языке Саввиной книги.—Сб. ОРЯС, LXVII. СПб., 1901, стр. 91—92.

[16] См.: Н. Н. Дурново. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов.—Byzantinoslavica I. Praha, 1929; Его же. Славянское правописание X—XII вв.—Slavia, XII (1933), 1—2, стр. 56 (вижѭ = /viž'ǫ̇/).

различение этих фонем, а также их сходство, было связано с особенностями предшествующего согласного. Только после парных по мягкости-твердости согласных /ǫ̇/ противопоставлен двум другим носовым гласным.

В-третьих, как уже сказано, имеет значение качество йота. Он не был самостоятельной фонемой в языке, для которого составлен славянский алфавит [17], он не имеет особого знака для своего выражения [18]. Некоторые колебания, проявляемые, например, Г. Лантом, представляются странными: йот в одних случаях признается фонетической протезой, а в других — самостоятельной фонемой [19]. Невозможно представить себе использование одной и той же фонетической единицы и как «представителя самостоятельной фонемы» (=в сильной позиции), и как аллофона какой-то другой фонемы. Анализ, например, древнерусских фактов показывает, что в протетической функции йота нет никакого противоречия с его аллофонным статусом. В древнерусском протетический гласный отсутствует перед о, u, ǫ; перед ŭ, у в качестве протезы используется v [20], перед остальными — нелабиализованными — гласными всегда употребляется протеза j. Что такое положение вторично, достаточно хорошо доказывают сопоставления типа лат. juvenis, лит. jáunas, лтш. jaûns = ст.-сл. юнъ, но др.-русск. оунъ; наоборот, лат. aurora, лит. aušrà = ст.-сл. ютро, но др.-русск. оутро. Независимо от характера исходного сочетания в начале слова для древнерусской синтагматической системы характерно отсутствие протезы перед лабиализованным гласным.

Таким образом, в древнерусском языке нулевой протезе перед лабиализованным гласным соответствует йотовая протеза перед нелабиализованным гласным. Это доказывает важность ДП по бемольности, который синтагматически выражен иначе, чем ДП по диезности (в узком смысле применительно к праславянскому — по ряду). Но поскольку в данном случае йот противопоставлен нулю — он и сам является фонологическим нулем; йот здесь — линейный признак диезности [21], следовательно, ǫ̇ — диезный гласный (переднего ряда) и по этому признаку он ближе к ę, чем к ǫ. Все последующие колебания в изображении на письме /ǫ̇/ связаны как раз с его двойственностью: только /ǫ̇/ из всех диезных одно-

---

[17] Н. Н. Дурново. Славянское правописание. . . , стр. 56.

[18] С этой точкой зрения Ф. Ф. Фортунатова теперь согласны многие, ср.: N. S. Trubetzkoy. Altkirchenslavische Grammatik; H. G. Lunt. Old Church Slavonic Grammar; H. Birnbaum. Lautwandel und Phonologisierung. — ZfSlPh, XXXII, 1965, Hf. 2, etc. Возражения М. Пешикана не кажутся убедительными (см.: М. Пешикан. О означаваньу *ј* у првобитној словенској азбуци. — ЈФ, XXIV).

[19] H. G. Lunt. Old Church Slavonic Grammar, стр. 25.

[20] Это результат разложения праславянской лабиальности на синтагматическом уровне после перехода этого ДП к гласным: u°dra > vydra, ср. русск. диалектное *ôбла (ŭôбла)* > *вобла*.

[21] Г. Бирнбаум считает йот просодическим признаком, см.: H. Birnbaum. Reinterpretacje. . ., 39—40.

временно был бемольным гласным. Он маркирован по обоим признакам, разграничивавшим передние и непередние гласные после включения в систему фонемы /u/ (буквенное обозначение ѹ). В южнославянских языках того же периода колебания в обозначении ja-/a- и начальная группа ju- свидетельствуют о другом составе ДП в парадигматической системе гласных, быть может, о доминации признака диезности над признаком бемольности. Вероятно также сохранение исконного распределения (т. е. jaûns — юноша, но наряду с этим aušrà — оутро) или связь с изменением /ǫ̇/ (начальные *u-* и *jǫ-* совпадают в jǫ̇ (= в рукописях ѭ); ср. написания типа ѭтроба, занесенные и в русские тексты, например, в рукописи Пандект Антиоха XI в.).

Если все сказанное верно, тогда справедливо и предположение, что в противопоставлениях типа ѭже 'ее же' — жже 'цепь' — иже 'который' — оуже и т. д. (-ǫ̇ž'e — ǫž'e — iž'e — už'e) ѭ обозначает фонему /ǫ̇/, как ji (jь) обозначает фонему /i/ и т. д. Ср. еще ѭдѣ 'всюду' — ждѣ 'удочке' и возможные другие квазиомонимы того же рода. Некоторые примеры показывают, что ǫ̇ возник раньше появления протетического йота [22], однако после дефонологизации йота и широкого развития протезы случаи типа ѭже включились в общее распределение, и /ǫ̇/ стал самостоятельной фонемой (поскольку абсолютно начальная позиция для гласного в это время является сильной позицией, позицией независимости от предшествующего согласного). Те же замечания можно распространить и на случаи позиционного употребления ѭ после гласных (см. выше).

Четвертым доказательством фонемного статуса /ǫ̇/ могут служить примеры фонетической субституции в заимствованной лексике. Субституция всегда фонематична, и если древний писец считает нужным использовать особый знак для передачи, казалось бы, экзотического в его языке «звука», — значит, он осознает фонематическое отличие этого «звука» от известных фонем своей системы.

В славянских рукописях греч. υ передается буквами ꙋ—ю—и, изредка (с XII в. у восточных славян) также и оу, ȣ, ѧ, є. В древнерусских памятниках XI в. греч. υ передается только через ꙋ (ю) и и именно в этот период для тех же памятников характерно употребление ꙋ на месте ѭ (см. подробнее ниже). Следовательно, древнерусский книжник воспринимал оба ДП фонемы, связанные с характеристиками диезности и бемольности (передний ряд и лабиализация); совпадение же ѭ и υ в знаке ꙋ доказывает, что и /ǫ̇/ — лабиализованный гласный переднего ряда типа j°.

Учитывая происхождение и дистрибуцию интересующих нас гласных в древнерусском языке до утраты ринезма, можно пред-

---

[22] В. Ф. Марош. Происхождение. . ., стр. 9.

ставить синтагматическую систему ряда фонем этого периода (см. табл. 1).

Таблица 1

№	Позиция	Фонема					
		ǫ	ǫ̇	u	(ü)	a	ę
1	В абсолютном начале слова	+	—	+	—	(+)	—
2	В начале слова после йота	—	+	—	—	+	+
3	После л̂, н̂, р̂, ĉ, ẑ	—	+	—	+	+	—
4	После л, н, р, с, з	+	—	+	—	+	+
5	После ш̂, ж̂, ч̂, ц̂, ж͡д, ф̂	—	+	—	+	+	+
6	После г, к, х	+	—	+	—	+	—

Первые две позиции совместно дают позицию различения; следовательно, ǫ, ǫ̇, a, ę, u — самостоятельные фонемы, а ü — вариант фонемы u.

Фонемный статус /ǫ̇/ связан не с монофтонгизацией дифтонгов и дифтонгических сочетаний (это причина фонемизации /ę/ и /ǫ/, возникшая примерно в VII в. н. э.), а с делабиализацией гласных и с появлением протетического йота (примерно VIII—IX вв.). Только полтора-два столетия /ǫ̇/ входил в парадигматический ряд фонем в языке восточных славян — пока ДП ряда и ДП лабиализации были одинаково важны в системе. Однако результаты этого факта оказались весьма значительными. К рассмотрению их мы теперь и переходим, выставляя пятое доказательство фонематического статуса /ǫ̇/ в позднем праславянском языке: расхождения в реализации /ǫ̇/ по средневековым славянским памятникам и по диалектам современных славянских языков всегда связаны с общим направлением фонологического развития, и из двух взаимно противоречащих ДП фонемы /ǫ̇/ предпочтение отдается лишь какому-то одному — либо диезности, либо бемольности. Только самостоятельная фонема способна развивать диалектные и исторические вариации; аллофон никогда не дает изоглосс. И если тем не менее различные изменения /ǫ̇/ действительно отражаются в известных источниках — мы должны реконструировать фонему, а не позиционный вариант фонемы.

Русские рукописи XI—XIII вв. хронологически четко выделяют разные типы написаний с юсами и их заменами. Самые ранние памятники либо вовсе не дают примеров смешения юсов с оу, ꙗ (Новгородские листки), либо отражают позиционное перераспределение носовых и неносовых гласных (Путятина минея). Последний случай особенно интересен, ибо здесь наряду с русским сме-

шением ѫ/оу и ѧ/ꙗ обнаруживается четкое различение разных позиций у ѭ: он заменяется на ю после гласной (главою) и на у после согласной буквы (ѥмлу землу). В первой половине рукописи (до л. 68) ѭ пишется 377 раз, заменяясь на ю 96 раз, на у — 8 раз. Особенно интересны последние примеры, которые приводим из всей рукописи: вин. ед. зару 39, 43, землу 55, 64б, 75б, 77б, 90б, 94б, 109б, 116б, 120, 126, 127б (также землѭ 49 и несколько раз в начале рукописи традиционное написание землю 5б, 26, 38б), поустыну 53, оутранующе 94 (ср. оутраниѭѧ 94б), къ гораумоу цр҃ствиѭ 125б, приемлу 59, приемлуште 60, -и 70, -емъ 76б, ѥмлуштн 87б и др., всу 50б, 77б, 90б, 122 (также всю 89 и в'сѭ 93б), но в положении после р обычно боурю 10б, 91, 91б и др. или исконное написание боурѭ 2 (хотя в конце рукописи также боуру 124б); исключениями от этого распределения являются написания лудамъ 55б и дат. ед. к'назу 31б. На различие между ю и у указывают написания типа замен ꙗ на ѥ (и землѥ неорана 110) или ѣ на ѧ (ѿ земля 133б с обычным изменением ринезма) только после палатальных согласных, а также замена у на ѭ после и (ср. ѥдиноупостасноуѭ 98, но три ѭпостасноу 97). Знаку у после палатальных соответствуют ѥ и ꙗ, ср. соотношение написаний типа поѥмлуштн 70 — приѥмлѥмъ 93 — приемля 94б или землу — землѥ — земля. Сопоставляя все эти факты, мы должны сделать вывод, что в самом написании у содержится указание на палатальность предшествующего согласного, но в написании с этим согласным писцу важно отметить также особое качество самого гласного, его отличие от ю — (*ü*). ю иногда смешивается с ѭ, тогда как у употреблено только после исконно мягких согласных на месте *ǫ*. Следовательно, если смешение ѭ — ю действительно указывает на утрату ринезма, у (знак для обозначения *ǫ* после палатальных) обозначает такую осознаваемую фонетическую единицу, которая утратила ринезм, но сохранила тем не менее свою функциональную самостоятельность. Ближайшая параллель этому — изменение фонемы *ę* в *ä*. Последовательный параллелизм в обозначениях *ę* и *ǫ* доказывает функциональную близость *ä* и *ü* после утраты ринезма. Сравнивая возможные замены в формах вин. ед. и вин. мн. типа землѭ > землу (не землю) и землѧ > земля (не земль), обнаруживаем одинаковую зависимость конечных гласных от палатальности предшествующего согласного, но более переднее образование этих гласных по отношению к *а* и *и*.

В рукописях с середины XI в. независимо от степени смешения юсовых начертаний и некоторых индивидуальных различий письма наблюдается следующая картина.

В Изборнике 1076 г., где процесс вытеснения юсов отражен наиболее последовательно, ѫ после твердых согласных постоянно

заменяется на оу, тогда как после палатальных более обычно написание с ѫ (при возможном ю); ср., с одной стороны, бѣдоу 14, правьдоу 32, славоу 34, а с другой, — алкотоу и жаждѫ 49, доушѫ 185б, нашѫ 10, лъжѫ 31б, также моужѫ 19, корабльѫ 25, оцѫ 45 и оцю 45; аналогичные примеры в корнях слов: клѫчарь 16 (ключитъ 17), заклѫчении 109б, лѫбити 106б, лѫбъ/ве 28б (любъвьно 30, 45б и др.), лѫдьмъ 226б, и т. д. Примеры типа славоу своѫ 45б показывают, что во всех приведенных случаях ѫ является не знаком носового гласного после твердого или отвердевшего согласного, а своеобразной заменой знака у в рукописях, где написания типа славѫ уже не встречаются, где ѫ утратил свое прежнее значение. Написания творѫ, мьнѫ и др. наряду с блѫди (// блюстель), клѫчь и т. д. в таких рукописях — это обобщенное изображение слога l'ǫ и слога l'ü как лѫ (=лу) — запись, одновременно указывающая на палатальность согласного и на диезность гласного как на общую характеристику обоих компонентов слога. В рукописи XIII Слов Григория Богослова при отсутствии у очень часты смешения ю с ѫ, ср. обратные написания типа лѫбитъ 134б, лѫтоіе 5б, блѫдеть 292 и др. и наряду с этим заклѫчивъше 278б, неклѫчимьствовахомъ 314 или мьнѫ 113б — мьню 113б — мьнѫ 118б — мьнѫ 117б со смешением слогов в целом: лю — лѫ — лѫ или нѫ — ню — нѫ.

В связи с устранением юсовых знаков, в русских рукописях XI в. появляются написания типа твороу или бьсоу одновременно и параллельно с творѫ и бьсѫ (Остромирово ев., Изборник 1073 г.) и наряду с аналогичными примерами для изображения ѧ — а, ср. в Изборнике 1073 г. къза 'взял', осмидесятъ, са и кназа, всакаꙗ; в Изборнике 1076 г. им. ед. колѧ, боурѧ вместо колꙗ, боурꙗ; в Остромировом ев. боура и боуроу, и т. д. В рукописях конца XI и начала XII в. уже нет никакого однообразия в передаче слога l'u, писцы (очень непоследовательно) пользуются всеми возможными графическими средствами его обозначения; например, в новгородских минеях конца XI в. бьсу и бьсѫ; землѫ, кръмлѫ и тврьдынѫ, землу, поустыну, надежу, также зароу, землоу; морѫ, огнѫ, пастырѫ — кънѧзу — мороу, огноу; сътворѫ, поошгрѫ, люблѫ — приемлу, твору — колѣблоущемъсѧ; впрочем, в корнях слов более последовательно в графическом отношении пишется только лутыхъ, лубъви, съблудающи и т. п. наряду с традиционными написаниями типа любъвь и под.

На этом этапе юсовых преобразований останавливает внимание односторонняя замена на «твердый вариант», что вызывает впечатление «отвердения» соответствующих согласных [23].

[23] Такой вывод и сделал Ф. Ф. Фортунатов на основании примеров Остромирова ев., см. Ф. Ф. Фортунатов. Состав Остромирова евангелия. «Сборник статей в честь В. И. Ламанского», II. СПб., 1908.

На самом деле речь должна идти не о фонетическом отвердении согласных [24], а о попытке старыми графическими средствами передать произошедшие на синтагматическом уровне фонемные изменения. Они связаны со вторичным смягчением согласных. «Твердым» в этих написаниях оказывается палатальный, его мягкость менее существенна, чем качество последующего гласного (его отношение к группе носовых) в его противопоставлении к *u*.

Так появляется написание лѫ вместо лѭ, сменившее написания типа лу и указывающее на прежнее отличие *l'ü* от *lu*.

В памятниках конца XII в. и XIII в. характер графических смешений коренным образом меняется. Рассмотрим типичный случай орфографической неустойчивости. Никаких следов юсовых букв в это время уже нет (даже в отношении ѧ — шире употребляется написание с ꙗ). В евангелии конца XII — начала XIII в. из Погодинского собрания ГПБ № 13 (с отражением цоканья, *жг* на месте *жд* и других севернорусских особенностей) широко представлено взаимное смешение у и ю, т. е. соответственно ǫ и 'u; оба знака выступают как одинаково возможные графические варианты, ср. на месте 'u: межу собою 12 — межю собою 12, мору 29, оучителу 76 — оучителю 62, луко 100б — люко 100б, съблудетьсѧ 29б — съблюди 52, луди 99 — людие 43 и мн. др.; на месте ǫ: твору — 52 — творю 16б, глу 33б — глю 33, изгону 36б — изгоню 36б, молу 84б — молю 82, алчуть 29 — алчють 29, землу 90б — землю 89б, коуплу 96б — коуплю 96б, притъчу 93 — притъчю 94б, къ ну 10 — за ну 88 — къ ню 11, на ню 41, всу 30, 31 — всю 59б и др. Число примеров значительно: статистический подсчет на лл. 25—100 (одна треть рукописи) дает следующие результаты (см. табл. 2).

Таблица 2

Буква	После согласной									
	ж	ш	щ	ц	ч	з	с	л	н	р
у = 257	13	14	42	26	28	2	8	100	13	11
ю = 128	7	10	2	3	11	—	5	68	16	6

Таким образом, после исконно мягких согласных наблюдается взаимное смешение знаков, прежде обозначавших ǫ и ü, а это значит, что в рукописи отражается фонематическое совпадение двух единиц. Если верно, что односторонняя замена, например ѣ на є, указывает на нейтрализацию в противопоставлении двух фонем, а их безразличное взаимное смешение свидетельствует

[24] Ту же точку зрения см. J. Lépissier. Du durcissement des consonnes on vieux slave. — RÉS, XLVII, 1968.

о «совпадении» ѣ и є, то и в нашем случае мы должны учесть хронологические границы преобразования: односторонняя замена ю на ꙋ (ѫ) в рукописях до середины XII в. указывает на «близость» обозначаемых буквами ю и ꙋ фонетических единиц, а с конца XII в. — на их совпадение в одной фонемной единице. Поскольку однонаправленная замена распространяется на маркированный член противопоставления (ѣ > є, а не наоборот), следовательно, и в замене ю на ꙋ первая единица была маркированной по какому-то важному признаку, и на конечном этапе их изменения ю и ꙋ должны совпасть в ꙋ. Такое совпадение и отражается в нашем памятнике (отношение ꙋ : ю=2 : 1), хотя в дальнейшем оно и не получило развития в русской графической традиции (обобщился более удобный в условиях силлабарного письма знак ю); только в XII и XIII вв. широко распространены рукописи с употреблением знака ꙋ в данной функции [25].

На всех трех этапах постепенного развития графических обозначений для ǫ, ü отмечается последовательный параллелизм с изменениями ę > ä и предшествующих им согласных: до середины XI в. мягкость согласных передается йотацией следующего гласного (къ ꙗємь), затем до конца XI в. — различными надстрочными знаками — каморой (къ ꙗ҃ємь) или точкой (къ ꙗ҃ємь), а с конца XI в. — черточкой у согласного (къ ꙗємь). Таким образом, до середины XI в. писцы заинтересованы в передаче особенностей вокалического элемента слога (йотация и особое выделение ꙋ), параллельно с попытками передать общее свойство слога (диезный или бемольный); с середины XI в. писцы заинтересованы в ключевом начертании, однозначно передающем общее свойство слога (надстрочный знак для согласного и вышедший из употребления знак гласного — ꙋ, ѫ); параллельно с попытками передать доминирующее значение консонанта (знаком ҃) возникает безразличное смешение букв ю и ꙋ. Вокалическая структура слога сменяется недолгим периодом силлабемного строения слога и, наконец, завершается консонантной структурой. Хронологическое и территориальное совпадение графических средств выражения двух компонентов слога интересно потому, что позволяет на всех этапах различать соотношение между гласным и согласным в пределах слога, а это соотношение всегда объясняется характером фонологических изменений (по времени, может быть, и не связанных с их отражением на письме, а происходивших несколько раньше).

Все изложенные выше факты позволяют следующим образом объяснить постепенное изменение носовых гласных в древнерусском языке.

---

[25] Некоторые из них в данном отношении описаны, см.: А. И. Соболевский. Как произносилась в Древней Руси ꙋ (ижица) после согласных? «Русский филологический вестник», 1883 г. К этой группе рукописей следует отнести также Минею нач. XII в. (ЦГАДА, Типогр. 125), Минею XII в. (ГПБ Соф. 206), Служебник XII в. (ГПБ Соф. 1136) и др.

Перед утратой ринезма происходит хорошо известное смещение артикуляции носовых к маргинальным элементам системы, т. е. ǫ > ц, ę > ą̈. Это не фонологическое изменение, поскольку все ДП фонем остаются неизменными. Что же касается /ǫ̇/ — это была фонема с признаками бемольности, ринезма и вместе с тем диезности; сдвиг зоны ее образования связан со всем набором признаков, но направление изменения определялось наиболее важным фонологическим признаком, тем, который всю систему вокализма строил в коррелятивный ряд. Таким был признак диезности, следовательно, во всех своих ранних изменениях /ǫ̇/ должен был сохранять свой признак диезности (=переднего ряда). Вместе с тем должно сохраниться полезное противопоставление /ǫ̇/ всем прочим фонемам системы, поскольку только с утратой известного ДП (его устранения из системы) может исчезать и какая-то фонема, для которой этот признак был важным. В данном же случае подобная ситуация еще не сложилась, происходит только фонетическое варьирование по избыточным признакам. Таким образом, /ǫ̇/ сохраняет также ДП лабиальности и ринезма, но, подобно другим носовым, смещается в сторону маргинальных фонем: /ǫ̇/=°i̧. Таково последовательное преобразование носовых гласных перед утратой ринезма, которое можно предполагать на основе последующих их изменений. В результате изменялась подсистема долгих гласных; теперь соотношение долгих гласных выглядит следующим образом:

i °i̧ y
(°ü) → °u °ц
ě ą̈
(ä) → a

Оставляем в стороне вопрос о фонетических стадиях утраты ринезма, поскольку любые предположения в этом отношении гадательны. Например, более ранняя утрата ринезма у верхних °i̧ и °ц по сравнению с ą̈ вполне вероятна, поскольку напряженные гласные обычно не маркируются ринезмом (исконные сочетания типа *int, как известно, в славянском изменились не в *ęt, а в it). Все остальные предположения относительно этого этапа изменения также строятся на основе типологических сопоставлений.

С фонологической точки зрения утрата ДП по ринезму влечет за собою исчезновение из системы по крайней мере одной фонемы — той, которая от ближайшей ей отличалась только этим признаком. Сущность дефонологизации состоит в утрате определенного ДП и связанной с ним «слабой» фонемы: если в результате изменения ДП ни одна фонема не утрачивается, имеем дело не с дефонологизацией, а с перефонологизацией, т. е. не с утратой ДП, а с заменой одного ДП на другой.

Искупительной жертвой утраты ринезма стала фонема /°ц/ (=ѫ), поскольку она выступала в привативной оппозиции именно по признаку ринезма: /ц/ > /u/ дает /u/. В то же время остальные

носовые гласные в оппозициях к другим гласным отличались более чем одним различительным признаком:

/°ị/ — /i/ по двум ДП (бемольность и ринезм);

/°ị/ — /u/ по двум ДП (диезность и ринезм);

/ą/ — /a/ по двум ДП (диезность и ринезм).

/ą/ — /ě/ по двум ДП (компактность и ринезм) [26].

В результате и после утраты ринезма /°ị/ и /ą/ сохраняются в системе фонем, но уже с другим набором ДП (без ринезма).

После утраты ринезма все дальнейшие преобразования системы связаны со вторичным смягчением полумягких согласных. Прежде всего, происходит совпадение ('ü) с /u/, /·ä/ с ('ä). Формируется силлабема с характерной для нее общностью некоторых ДП для согласного и гласного элемента слога. Теперь, например, слоги /р'е/ и /ро/ отличаются друг от друга следующим образом:

р'е — диезный и небемольный С+диезный и небемольный V

ро — недиезный и бемольный С+недиезный и бемольный V.

После вторичного смягчения согласных в системе гласных самым слабым звеном становится фрагмент

'i — 'i° — u°,

средний член которого противопоставлен левой фонеме признаком бемольности, а правой — признаком диезности. В синтагматической системе такая двойственность в характеристиках фонемы /'i°/ оказывается нежелательной: силлабема требует либо признака диезности, либо признака бемольности. В такой ситуации и, учитывая общую систему графических обозначений в древнерусских текстах, мы вправе ожидать графического смешения двух типов силлабем: ѹ/ꙋ — если из двух признаков фонемы /'i°/ писец ориентируется на бемольность; ю/ꙋ — если из двух признаков той же фонемы писец ориентируется на диезность. Первое возможно после вторичного смягчения согласных, второе — после утраты редуцированных. Приведенные выше примеры второй и третьей группы полностью совпадают с этим теоретическим предположением, основанным на общей системе фонем и ее развитии. Таким фактам следует придавать важное значение, потому что на основании древнерусских орфографических отклонений можно уяснить себе только синтагматические изменения фонем. Парадигматические преобразования вокалической системы на этом материале непосредственно не воссоздаются, и только косвенным образом их можно истолковать как возникшую в системе необходимость обобщить один из двух дублирующих ДП — диезности или бемольности. В большинстве восточнославянских диалектов универсальным (коррелятивным) ДП становится признак бемольности, и по этому признаку происходит обобщение в верхнем звене

[26] О преобразованиях /ě/ в тех диалектных праславянских системах, где /ę/ > /ä/, см.: В. К. Журавлев. Из истории вокализма в праславянском языке позднего периода. — ВЯ, 1963, 2; В. В. Колесов. Указ. соч. (здесь же указаны некоторые морфологические «издержки» изменения /ě/ в /ê/).

системы: 'i — 'i° — u° дает изменение 'i° > u° с общим противопоставлением к 'i.

После утраты редуцированных признак диезности становится свободным признаком консонантного элемента слога: ко[н'ь] > ко/н'/. В результате признак диезности (=ряда) окончательно становится нерелевантным для гласных, и из двух возможных ДП силлабемы за гласным закрепляется признак бемольности (=лабиализации). Поскольку и йот в новой системе может выступать независимо от следующего гласного (ср. sědъjь > sědoj), в любых остальных сочетаниях он должен осознаваться как самостоятельная фонема; следовательно, и в сочетаниях типа J°i (транскрипционная запись местоимения ꙗ женского рода в форме вин. ед.: ю) йот уже не протеза, а фонема /j/. Разложение синтагматических силлабем привело «двусмысленную» фонему /'i°/ к кардинальному изменению. Теперь ни в одной позиции она не противопоставлена ни фонеме /'i/, ни фонеме /°u/. Теоретически мы ожидали бы совпадения /'i°/ либо с /'i/, либо с /°u/, но именно в древнерусском языке первый вариант невозможен. Так как после разложения силлабемы гласные приняли признак бемольности, а признак диезности не является для них не только коррелирующим, но даже и просто различительным, в подсистеме

'i — 'i° — y — °u

фонема /'i°/ совпадает по ведущему признаку вокализма с /°u/: от /'i/ она отличалась признаком бемольности, а по отношению к /°u/ после фонологизации йота вошла в дополнительное распределение. В таком же дополнительном распределении (по отсутствию признака бемольности) находятся относительно друг друга /'i/ и /y/, /ä/ и /a/; подобно паре /'i°/ — /°u/, они совпадают в одной фонеме.

Возвращаясь к непосредственной нашей теме, подчеркнем важнейший результат проделанного фонологического исследования: все изменения функционально слабой фонемы /ǫ/ на всех этапах связаны с общим преобразованием парадигматической системы вокализма и с синтагматическими изменениями в древнерусском языке. Только в период между утратой ринезма (середина X—начало XI в.[27]) и утратой редуцированных (вторая половина XII—XIII в.) в пару к /ä/ в систему гласных фонем включается фонема /'i°/, которую в транскрипции удобнее всего было бы обозначить кирилловским знаком ижицы (ѵ); только в период между вторичным смягчением согласных и утратой редуцированных возможно смешение групп типа ѧоѵ — ѧѵ. Таким образом, результаты фонологического анализа совпадают с данными письменных памятников, хотя последние и отражают только последний этап изменения.

[27] Длительность периода не указывает здесь на продолжительность фонемного изменения: это хронологическая граница соответствующего изменения для всех восточнославянских говоров или, по крайней мере, для большинства из них.

Уже приведенных данных вполне достаточно для дополнительного подтверждения фонематичности /ǫ/ в праславянском языке: все изменения, в перспективе которых рассматривались преобразования /ǫ/, являлись фонемными, появление или утрата какого-либо ДП одинаково отражается на /ę/ и на /ǫ/, а относительно фонемного статуса /ä/ (из /ę/) в период до утраты редуцированных в настоящее время не возникает никаких сомнений. В таком случае и все преобразования /ǫ/ — это изменения самостоятельной, равноправной с /ä/ фонемы, а не аллофона какой-то фонемы. Аллофонное изменение вообще никак не отражается на письме, в том числе и в древнем письме.

Итак, в древнерусском языке /'i°/ — как самостоятельная фонема (ꙋ) после утраты ринезма и до вторичного смягчения согласных [28]; как сочетание с предыдущим палатальным согласным (ѩ — ю и ѹ — ꙋ)—только в эпоху силлабем после вторичного смягчения согласных и до утраты редуцированных; как аллофон фонемы /u°/—после утраты редуцированных, когда никакие смешения твердых согласных с мягкими недопустимы.

Этот вывод дополнительно может быть доказан рассмотрением инославянских преобразований /ǫ/. Если в праславянском эта единица действительно имела ранг фонемы, в каждой конкретной системе она будет изменяться в соответствии с закономерностями этого языка.

Памятники среднеболгарского периода следует разграничивать на восточноболгарские и македонские.

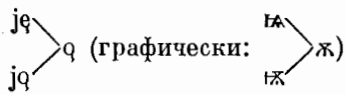
В Слепченском апостоле XII в., в Паремейнике Григоровича XII—XIII вв., в грамотах болгарских царей XIII—XIV вв. и в других болгарских памятниках среднеболгарской эпохи обнаруживается юсовая мена в зависимости от соседних согласных. После ш, ж, жд, шт замена ѧ на ѫ, после н, р, л, с, ч, ц, з, ј — замена ѫ на ѧ: 1 лицо ед. ч. наст. времени творѧ, хранѧ, молѧ, 3 лицо множ. ч. настоящего времени глаголѧтъ, творѧтъ (но: слышѫтъ), причастия глѧцоу приемѧще, вин. ед. имен женского рода зарѧ, болѧ, късѧ, аорист одѣшѫ сѧ, корни слов типа жѫжда, шѫтаниѩ, чѫдо и мн. др. Параллельно этому в аналогичных условиях в тех же памятниках находим ятевую мену; например, в Паремейнике Григоровича: въ мѧпотѫ, свѧтъ, крѧпостъ, къ мнѣ и др. — но: ѣко, им. ед. земѣ, от морѣ, въсѣкъ, оубоѣсѧ и др. Следовательно, после смягченного ě > а, а после палатального, наоборот, а > ě.

---

[28] Некоторое сближение /'ü/ с /'u/ (графически: ꙋ с ю), возможно, параллельно сближению /'ä/ с /'a/ (графически: ѧ с ꙗ; /ę/ > /ä/ и /a/ после мягкого согласного): после исконно мягких, не имевших парных твердых, противопоставление между ними нейтрализовалось, ср. чѧша—чаша, жѧжа—жаль, также чюдо—жюкъ с возможными написаниями чѫдо, жѫкъ (см.: В. В. Иванов. Историческая фонология русского языка. М., 1968, стр. 117). В этом — причина ранних орфографических обобщений типа чѧ, жѧ, чю, жю. Однако нейтрализация противопоставления не есть еще утрата противопоставления на парадигматическом уровне.

Ранние македонские памятники, например Добромирово ев. XII в. и Добрейшево ев. XIII в., от восточноболгарских отличаются двумя важными особенностями. В них наблюдается односторонняя замена ѧ на ѫ и ꙗ на ѣ; кроме того, при отсутствии знака ꙗ возможно употребление йотированного юса ѭ.

ѧ вместо ѫ возможно только в окончаниях глагольных (и причастных) форм в положении после йота, изредка и после ж, ш (они же рѣшѫ, да послоужѫтъ емоу, знаѭ=знаꙗ). В именных окончаниях такие замены невозможны вообще, зато в глагольных они распространяются и на ѧ после любых согласных (ср. после смягченных ходѫтъ, ѣкѫтъ и т. д.). Это результат морфологического выравнивания[29] на основе фонетического изменения ję > ǫ, параллельного изменениям ь > ъ, е > о после палатальных (написания типа царъ, ацо и т. п.). Что же касается ѭ (=jǫ), то в македонских памятниках наблюдается довольно частое (в XIII в., см. Добрейшево ев.) и более редкое (в XII в., см. Добромирово ев.) написание типа всѫ, волѫ, створѫ, на землѫ. В Добромировом ев. ѭ особенно распространено после йота и л': помолѭ 18б, гл҃ѭцоу 19б и др., землѭ 46, оуподоблѭ 56, молѭ ти 65б, погоубитъ ѭ 64б и др. Именно в этой позиции, в положении после л' и йота, возможна перегласовка *ję* > *jǫ* (ср. в этой рукописи молѭщеса 8, 12 параллельно с молѧщеса 8). Таким образом, в этой группе памятников отражается изменение



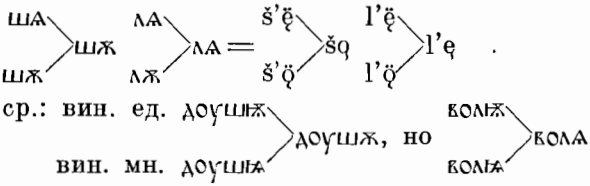
в связи с изменением палатальности согласных: все колебания связаны с согласными, которые и в современном македонском языке являются мягкими. Из этого можно сделать вывод, что в XII — начале XIII в. происходит нейтрализация противопоставления ę — ǫ́ в ǫ.

В начавшемся юсовом изменении важно позиционное совпадение и ę, и ǫ́ одинаково в ǫ, т. е. в «третьем гласном», потому что только ǫ возможен в положении после твердого согласного. Следовательно, до начала данного изменения ǫ́ противопоставлено к ǫ так же, как и ę. Параллельно этому, в Добромировом ев. XII в. (и в любой другой македонской рукописи этого периода, например, в Охридском ев., где подобное изменение возможно лишь после л, р, н, ч) после «исконно мягких» согласных ѧ > ѣ, ср.: всѣ, твоѣ, землѣ (=всꙗ, твоꙗ, землꙗ) и т. д. Только перед /ě/, но не перед /a/ возможен теперь палатальный согласный в говорах, отраженных этими рукописями.

На втором этапе появляются примеры обратной замены ѫ на ѧ, но никогда одновременно с этим нет замен ѣ на ѧ. В Охридском

[29] См.: Б. Цонев. Добрейшево евангелие. — Български старини, I. София, 1906, 67.

ап. конца XII в., в Болонской пс. 1230—1241 гг. после парных мягких л', н', р', с' вместо ѫ пишется уже ѧ. Так возникло соотношение:



Разница между доушѫ и волѧ заключается в различии качества согласного: среднеязычный (=палатальный) в волѧ и несреднеязычный (=непалатальный) в доушѫ. Губные в сочетании с *л'* также изменяют тембр гласного ǫ̇ на ę, а утрата эпентетического *л'* в памятниках македонского происхождения заставляет предполагать здесь фонетически скорее йот, нежели палатальный *л'*. Таким образом, рассматриваемое изменение ограничено позицией после йота, т. е. представляет собою йотовый умляут в эпоху, когда происходит формирование корреляции согласных по мягкости-твердости. Другими словами, дело здесь не в качестве предшествующего согласного, а в наличии или отсутствии предшествующего йота, следовательно, в противопоставлении «двух ѫ»: всем совпадениям с ę подвергается не ǫ, а именно ǫ̇.

По той же причине столь пестро представлены в среднеболгарских памятниках смешения ę — ǫ̇ в положении после йота. В йотовом умляуте признак йота — различительный признак корреляции, а не «звук j». Как и во всех славянских языках, в македонском изменения ǫ̇ связаны с двумя преобразованиями системы: с образованием корреляции согласных по мягкости-твердости и со следствием этого — с изменением гласных по диезности и по компактности. Отличие македонских памятников от восточноболгарских в среднеболгарский период состоит в следующем (см. табл. 3).

Таблица 3

Памятники	Условия замены ѧ на ѫ	Условия замены ѫ на ѧ
Македонские	После ш, ж, шт, жд/ц, ч, j, дз,	После л', р', н', с'
Болгарские	После ш, ж, шт, жд (ц)	После л, р, н, с/ч, ц, дз, j

В македонских нейтрализация ǫ̇ — ę происходит только после парных по мягкости-твердости согласных, в восточноболгарских — после всех исконно мягких согласных, сохранивших свою мягкость (отсюда колебания в памятниках относительно позиции после *ч* и *ц* в зависимости от говоров, в которых они отвердели или нет).

Это полностью соответствует историческим изменениям македонских говоров, которые не развивали последовательно корреляции по мягкости-твердости, совпав в этом отношении с сербохорватскими говорами. В восточноболгарских же говорах такая корреляция развилась, постепенно включая в себя все новые и новые согласные, что и вызвало совпадение гласных, прежде различавшихся только признаком диезности [30]. Отсутствие общей корреляции по мягкости-твердости у согласных обусловило в македонских говорах сохранение оппозиций вокализма по диезности (ряду). Таким образом, после палатальных и происходит совпадение ǫ̇ и ę, а не ǫ̇ и ǫ, как в русском языке: утрата противопоставления по компактности, а не по диезности[31]. Более раннее изменение ǫ̇ > ǫ еще не было связано с изменениями слога, Добромирово ев. отражает лишь нейтрализацию в противопоставлениях ǫ̇ и ǫ, а и ě; Болонская пс. указывает на новый этап, на дефонологизацию ǫ̇ (> ę) и нейтрализацию ǫ—ę, потому что в сильной позиции противопоставление этих фонем еще актуально (другое дело, каким образом оно выражается фонетически). Оно сохраняется и в последующие эпохи, связанные уже с утратой ринезма: ǫ — ę как ă^{n} — ä^{n}, затем как ъ̨ — ǫ̇ или как ă — ä или как u — e, и т. д. В восточноболгарских говорах, напротив, ǫ и ę совпали в ъ — но с разным качеством предшествующего согласного: ǫ > ъ, ę > 'ъ. Все это уже связано с дефонологизацией носовых гласных и завершением среднеболгарского периода, когда становится возможным взаимное безразличное смешение букв ѧ — ѫ и других гласных, существует большое разнообразие графических вариантов для выражения всех этих гласных[32], и т. д. Никакой положительной информации о возможном развитии ǫ̇ в этот (третий) период они, разумеется, уже не могут дать.

Таким образом, сопоставление изменений ǫ̇ в восточноболгарских и в македонских рукописях среднеболгарского периода подтверждает вывод о фонемном статусе /ǫ̇/ в праславянском: нейтрализации может подвергаться только фонема, а не частный ее аллофон; совпадению с разными фонемами исходной системы в зависимости от направления фонемных изменений (в восточноболгарском иначе, чем в македонском) также подлежит самостоятель-

---

[30] Из новейшей литературы см.: В. М. Чэкман. Гісторыя проціпастаўленняў па цвёрдасці — мяккасці ў беларускай мове. Мінск, 1970. О сложности болгарской литературной системы в этом отношении см. материал, приведенный в статье: Ст. Стойков. Палаталните съгласни в българския книжовен език. «Изв. на института за български език», I. София, 1952.

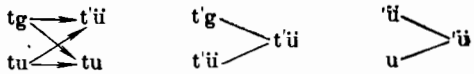
[31] См.: Б. Конески. Историја на македонскиот јазик. Скопје, 1965, 23, 40, 47. В связи с этим стоит и неясное из-за редкости засвидетельствованных примеров изменение ü > i (*закличи* вм. *заключи*, *либезно* вм. *любезно*, и т. д.), см.: П. А. Лавров. Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка. М., 1893, 70.

[32] Примеры см.: Г. А. Ильинский. Софийский октоих XIII в. Изв. ОРЯС, X, 4, 1905; Его же. Копитарова триодь XIII в. — РФВ, 1906; и др. работы.

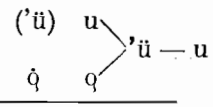
ная фонема, а не отдельный ее аллофон; только в фонемном, а не в аллофонном преобразовании существенна следующая последовательность изменения — сначала нейтрализация в синтагматическом контексте, затем утрата одного ДП, а не всех ДП, различающих данные две фонемы, сразу (например, только по диезности или только по компактности [33]); наконец, только самостоятельная фонема может получить особый знак для своего графического выражения (ср. ѭ при отсутствии ѭ в Добромировом ев., ю только для передачи ü, но не ǫ̇ в восточноболгарском Слепченском апостоле XII в., и т. д).

Древние сербские источники по написанию слогов лѫ — лѭ и т. д. четко делятся на две группы.

В первом почерке Мирославова ев. (кон. XII в.) и в четвертом почерке Вуканова ев. (сер. XIII в.) очень часто ю пишется на месте оу и ѫ независимо от предшествующего согласного, ср.: сютъ, мюжа, бюдєтъ и т. п. Наряду с этим в текстах нет примеров отвердения согласных, нет написаний типа волоу на месте волѫ. Следовательно,



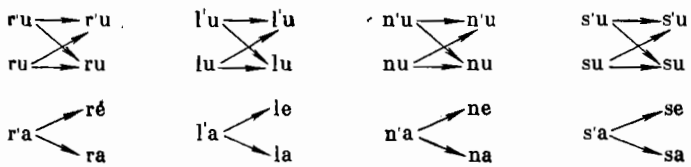
Отражается изменение ǫ̇ > 'ü, но ǫ > u, тогда как обозначение мягкости или твердости согласного не имеет никакого значения. Что смешения букв оу и ю основаны на изменениях ѫ, хорошо показывают колебания вроде домѫ — домю на л. 8, емѫ — емю (емлю) на л. 7, оучителѫ — (оучителю) на л. 5, сиѫ — (сию) на л. 5б и мн. др. В основе перехода тоу в тю лежит изменение tǫ > tu и тот факт, что t'ǫ̇ совпал не с tu, а с t'ü. По этой причине любое обозначение твердого согласного перед непередним гласным читается одинаково как «твердый слог», а именно это и приводит к колебаниям типа боудоутъ — бюдютъ. Вместе с тем обратное невозможно, потому что написание лоуди — люди указывало бы на изменение гласного, а именно противопоставление гласных ü — u в системе является релевантным. Это противопоставление допускает нейтрализацию, но не дефонологизацию, т. е. синтагматическое, но никак не парадигматическое изменение 'ü (из ǫ̇ и совпавшего с ним 'ü). В этой системе нет противопоставления согласных по диезности, но релевантно противопоставление гласных по ряду (=по диезности); это и сохраняет старую оппозицию ǫ̇ — ǫ в виде ü — u, т. е.:



[33] Отличие от восточнославянского заключается в том, что утрата ДП по ринезму не затронула ǫ̇: к моменту этого изменения ǫ̇ уже совпал с ǫ.

Признак диезности у гласных важнее признака бемольности, поэтому происходит перегруппировка дисперсионного поля фонемы /u/: одни ее аллофоны совпадают с ǫ̇ (> 'ü), другие — с ǫ (> u). Только наличие оппозиции ǫ̇ — о в предшествующий период могло бы привести и на самом деле приводит к такому изменению. Оно останется неясным, если исключить /ǫ̇/ из праславянской системы вокализма.

Во втором почерке Мирославова ев., в остальных почерках Вуканова ев., в других рукописях XIII в. (Сверлижские отрывки 1279 г., ев. из собрания Гильфердинга № 1 ГПБ, в некоторых грамотах XIII в. и т. д.) отражается другой принцип совмещения прежде разнородных слогов. В положении перед /a/ и /u/ парные по мягкости-твердости согласные /r, l, n, s/ обозначались безразлично с последующим оу или с ю: колю — колоу, на ноу — на ню, твороу — творю, плюноу — плюню, мороу — морю, любодѣице — лоубодѣице, слоухъ — слюхъ и т. д.; безразлично с последующим а или с ѣ: род. ед. мора — морѣ, им. ед. кола — колѣ, чрѣва матерна — матернѣ и т. д. Таким образом:



Только перед гласными, в прошлом противопоставленными к ǫ̇ и ę, возможно смешение палатальных и непалатальных /r l n s/. При этом не обнаруживается взаимной мены букв в словах типа рѧдъ — радъ, потому что произошло изменение ę > е: редъ — радъ. Вместе с тем слог r'ä передается безразлично как rё или ra. Следовательно, ä остался аллофоном фонемы /a/, не совпав с *ä < ę (такого изменения не было в сербском языке) и не противопоставляясь к *а* по признаку ряда. Слог r'ü также передается безразлично как рю или роу, но именно с оу и параллельно передаче слога ru тоже как рю или роу. Отличие в реализации слогов r'u и r'a заключается именно в том, что если ę и не совпадал с *а*, не приведя к безразличному смешению слогов r'ä/ra, относительно *u* ничего подобного нет. Только допустив противопоставление ǫ̇ — о (и u) в исходной системе, можно объяснить, почему после изменений носовых гласных стало возможным смешение роу — рю, и не роу — ри параллельно со смешением ра — рѣ. ǫ̇ или изменился в ǫ (> u) или дело здесь в характере согласного — нас в данном случае не интересует. Важно, что изменение ǫ̇ обусловило еще одно территориальное расхождение в развивающейся праславянской системе.

Все расхождения между рассмотренными группами памятников можно свести в таблице 4.

По этой таблице удобно установить орфографические расхождения между славянскими рукописями XI—XIII вв. До сих пор нет общепринятого толкования написаний типа бюдютѣ, с одной стороны, и типа землоу/землѫ, — с другой. Первые написания считают особенностью сербских рукописей[34] (хотя в боснийских текстах этого и нет), которая связана с воздействием со стороны русских текстов[35] или появилась независимо от них в связи с общим изменением ѫ > оу[36]. Приведенные в таблице сопоставления уточняют это несколько общее положение. Исследователь сербского Вуканова ев. справедливо замечает, имея в виду смещения букв. оу/ѫ и ю/ѭ: «оригинал, который параллельно употреблял ѫ и ѭ как дублеты для u и ju, мог быть только русским (а не среднемакедонским и не среднеболгарским)»[37]. Действительно (и это показал еще Н. Н. Дурново[38]), только у восточных славян к XII в. совпали ǫ и ǫ̇.

Что же касается написаний типа земла, землоу (землѫ) при отсутствии обратной замены лоу на лю — их считают болгарскими[39], характерными также для боснийских рукописей[40]. Однако и при квалификации таких написаний следует учитывать орфографическую систему памятника в целом, поскольку аналогичное явление свойственно всем территориям, на которых развивалась и сохранялась корреляция согласных по мягкости-твердости.

Наиболее трудный случай представляют рукописи, переписанные с инославянских оригиналов (русская с македонской, сербская с русской и т. д.). Самой древней русской рукописью такого рода является рукопись Пандект Антиоха XI в. Здесь очень четко различается мена ѫ на ю и мена ю на ѭ, ср., с одной стороны, къ рюцѣ 76, рюцѣ, люждеѫ 79, различаетьсѧ 105б, блюдьѧ 143, блюдницу 164б, заблюдьшаѩ 279 б, люкавъныи 61, глюбины 64, люкаво 71 (все из ѫ, но никогда ю на месте оу), а с другой — къзлѫбихъ

---

[34] См.: С. М. Кульбакин. Палеографска и језичка испитивања о Мирослављевом јеванђељу. Београд, 1921, 21.

[35] См.: А. Белић. Учешће св. Саве и његове школе у стварању нове редакције српских ћирилских споменика. — Светосавски зборник, кн. I. Расправе. Београд, 1936, 236.

[36] Н. Н. Дурново. Рец. на указ. соч. С. М. Кульбакина. — Slavia, V, 1927, 3, 565.

[37] O. Nedeljković. Vukanovo jevanđelje i problem punog aprakosa. Slovo, 18—19, Zagreb, 1969, 82.

[38] См.: Н. Н. Дурново. Русские рукописи. . . — ЈФ, IV, 87—88.

[39] Б. Цонев. Добрейшево четвероевангелие, среднобългарски паметник от XIII век. София, 1906, 74—75; Ст. Младенов. История на българският език. София, 1935, 70.

[40] М. Н. Сперанский. Мостарское (Манойлово) евангелие. «Русский филологический вестник», LIV, 1906, 12.

Таблица 4

№	Территория	Время	Орфография	Фонологическая интерпретация по отношению к ǫ
1	Русь	до середины XI в.	оѭ > ою, лѭ > лу	ʼǫ как маргинальная фонема система гласных
2	Русь	с середины XI в.	лѫдн, глаголѫ (лоудн глаголоу) с ѫ = у ‖ вола, боура; односторонняя замена ѭ на ѫ (и ю на ѫ)	нейтрализация ü, ʼу > у, допускаемая характером силлабемы
3	Русь	с конца XI до XIII в.	смешение у/ю после исконно мягких согласных	совпадение ü и i° после исконно мягких, с конца XII в. полное совпадение в u
4	Македония	XII в.—начало XIII в.	односторонняя замена лѭ на лѫ с параллельным изменением ѧ > ѫ, а > ѣ	после исконно мягких нейтрализация ʼǫ, ę > ǫ с указанием на сохранение всех трех носовых
5	Македония	XIII в.	шѧ > шѫ и лѭ > лѧ с параллельным изменением а > ѣ	после палатальных ʼǫ > ę (йотовый умляут) с возможной нейтрализацией противопоставления ǫ — ę
6	Восточная Болгария	XII—XIII вв.	смешение ѫ/ѧ и а/ѣ с «отвердением» типа лоу/лю	развитие корреляции по мягкости—твердости и связанное с этим совпадение всех носовых гласных в одном
7	Сербия	XII—середина XIII в.	односторонняя замена оу на ю независимо от качества согласного	ǫ > ц, но ʼǫ > ц̈, в основе чего лежит нейтрализация ʼǫ, ü > ü; оппозиция ü — u
8	Сербия	XIII в.	взаимное смешение оу/ю, но только после палатальных, параллельно этому рѣ и ра на месте ра	совпадение u и ü после палатальных согласных с возможной оппозицией u — ü.

189б, кажчимо 167, съблждетъ 38б, огнж 24б и др. (но не на месте ѭ, ср. вин. ед. волоу = волѭ 247). Следовательно, рукопись отражает состояние с заменой ж на ю, но ѭ = оу.

На многих других примерах выявляется хронологическая линия возможных типов графического обозначения интересующих нас слогов в русских рукописях, переписанных с южнославянских оригиналов. Это не механическое копирование, а вполне осознанное стремление ввести в свою собственную традицию встреченные в оригинале отличия от русской орфографии. Сначала у на месте ѭ, затем смешение у с оу (поскольку поздние писцы могли рассматривать встреченное в оригинале у как недописанное оу). Ю смешивается с ѭ только во второй половине XI в. и в начале XII в., а затем снова обнаруживается различие между исходными слогами l'ǫ, l'ü, но тем не менее под влиянием южнославянской письменности постепенно обозначается тенденция к замене ю — ж. С точки зрения русской исторической фонетики это легко объясняется совпадением ǫ > u, когда 'ü = u, но отличается от 'i° < ǫ.

Некоторых замечаний требуют данные западнославянских языков.

Древнейшие памятники, написанные на западнославянской территории, сохраняют ѭ, хотя на его месте уже и возможно написание с оу, а ѧ и ѩ не отличаются друг от друга даже после согласных (Пражские глаголические листки XI в.).

Расхождения между современными западнославянскими языками и их говорами показательны в том смысле, что указывают на длительное сохранение обоих ДП, связанных с противопоставлением по ряду: ДП диезности и ДП бемольности. По-видимому, в этой диалектной зоне упрощение системы никогда не происходило за счет утраты одного из данных признаков. Это и явилось причиной последующей утраты наметившейся после утраты редуцированных корреляций согласных по мягкости-твердости — целого ряда депалатализаций согласных и изменения тембра гласных фонем. Уже в Пражских листках отражено изменение 'a > ě, а параллельное ему изменение 'u > i в чешском началось лишь во второй половине XIV в. (после мягких согласных в связи с утратой корреляции согласных по диезности). Удачна интерпретация, предложенная М. Комареком: ä > ě в связи с возникновением мягкостной корреляции согласных; передние гласные после твердых согласных стали более задними, а задние гласные после мягких согласных — более передними. Поскольку 'a и a отличались лишь признаком ряда, по-прежнему важным в системе, происходит сдвиг 'a в зону ě. С XIV в., в связи с утратой мягкостной корреляции согласных, сильно выдвинутые вперед передние 'u, 'o совпадают с i, ě [41]. Аналогичным образом, в словацких говорах 'a > 'ä. По разным причинам и в разное время доминирует то

[41] M. Komárek. Historická mluvnice česká. I. Hláskosloví. Praha, 1969, 65.

признак диезности, то признак бемольности. Это определяло амплитуду возможных колебаний, но никогда не приводило к дефонологизации какого-либо из данных признаков.

К моменту чешского изменения 'u > i в фонеме 'u совпали уже 'ü и ǫ̇, ср. *všudy > všidy, *juh > jíh, *l'ud > lid, *vóňu > vóňi, *moňu > moři. К концу XIII в. на прежнее включение в систему /ǫ̇/ указывает только общее противопоставление 'ü — u, которое сменяется противопоставлением 'i — u. В Моравии же 'ü > u, что А. Лампрехт объясняет более задним образованием 'u по сравнению с чешским 'u [42]. Однако это — чисто фонетическое объяснение, не учитывающее совокупности системных отношений. Ведь одновременно с этим в моравских говорах не было и перегласовки 'a > ě и вообще взаимодействия гласного и согласного в пределах слога. Дело в том, что в одних говорах чешского языка (запад) в связи с утратой мягкостной корреляции согласных доминирующим стал признак диезности (маркировка по гласному переднего ряда), отсюда изменение 'u > i с окончательным разрывом между 'u и u. В других (восточных) говорах доминирующим стал признак бемольности (маркировка по лабиализованному гласному), отсюда изменение 'u > u с окончательным разрывом между 'i и u. Важно, что этим изменениям предшествует система с фонемной самостоятельностью 'ü. Самый разрыв во времени между изменениями 'a > ě и 'u > i стал возможен по той причине, что в нижнем звене системы было только парное противопоставление 'ä — a, тогда как в верхнем — троичное 'i — 'i° — u. В последнем случае противопоставление не по одному (как в случае 'ä — a), а по двум ДП, и в чешском происходило не одно изменение диезности на бемольность (как, например, в русском в связи с отработкой корреляции согласных по мягкости-твердости), а два последовательных изменения. Сначала бемольность доминировала над диезностью, а с XIV в. — диезность над бемольностью; поэтому сначала 'ä > ě (а не 'ä > a, как в русском языке) и 'ü > y (='i°), т. е., опять-таки в отличие от русского, вокалические ряды сошлись чисто фонетически, но не фонологически. Последовательность изменения в верхнем ярусе такова:

1. 'i — 'i° — ('u) — u
2. 'i — 'i° ← ('u) — u
3. 'i — 'i° ——— u
4. 'i ← ('i°) ——— u
5. 'i ——— u

Аналогичное положение в словацком, где наряду с 'i° > i в качестве самостоятельной фонемы выступает и ä. Для историка словацкого языка несомненно, что в праславянском ü — самостоя-

[42] A. Lamprecht. Vývoj fonologického systému českého jazyka. Brno, 1966, 44.

тельная фонема, хотя в принципе он не разграничивает ü < 'ü и ü < ǫ̇, поскольку имеет в виду период после утраты ринезма [48]. Своеобразие ранних западнославянских систем связано, по-видимому, с тем, что утрата редуцированных здесь предшествовала утрате ринезма. Также в некоторых болгарских и македонских говорах, с той же последовательностью фонемных преобразований (сначала сверхкратких, затем носовых гласных) обнаруживаются примеры с изменением 'u > 'i после исконно мягких согласных.

В лехитских языках исходные отношения обнаружить гораздо труднее, например, в польском потому, что за последние столетия гласный и согласный в составе слога изменялись разнонаправленно, независимо друг от друга, тогда как сам принцип ринезма, включение в систему носовых гласных сохраняется.

Однако для наших целей достаточно и того важного вывода, который вытекает из доступного для изучения западнославянского материала: всем изменениям, связанным с обобщением определенного ДП на гласном или согласном элементе слога, предшествовала общая современным славянским языкам система, в которой /ǫ̇/ выступал в качестве самостоятельной фонемной единицы.

Сам факт последовательного и осознанного отталкивания от особенностей собственного произношения характерен в систематических попытках наиболее адекватным образом передать на письме «звуковые» различия языка. На всей территории распространения кириллического письма наблюдается собственная, «национальная» тенденция, всегда определяемая общей суммой фонологических преобразований данного языка. И всегда в таких попытках обнаруживается определенная традиция выделения звуковой единицы, восходящей к праславянскому сочетанию jǫ̇. Учитывая общий характер средневековой славянской письменности с ее ориентацией на фонемные различия, а также территориальное своеобразие в передаче /ǫ̇/, всегда определяемое местными изменениями праславянской фонологической системы, мы и можем говорить вполне определенно о важности письменных источников в реконструкции того этапа развития праславянского вокализма, относительно которого данные современных говоров не всегда могут быть полезными.

---

[48] J. Stanislaw. Dejiny slovenského jazyka, I. Bratislava, 1958, стр. 454; E. Pauliny. Fonologický vývin slovenčiny. Bratislava, 1963, стр. 91.

Т. П. ЛОМТЕВ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СТРУКТУРЫ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

С семиотической точки зрения предложение есть цепочка знаковых единиц, представленных словами разных классов, в некотором огрублении — словами определенных частей речи. Знаковые единицы, входящие в состав предложения, организованы по законам данного языка, и организующим центром являются свойства глагола — полнозначного или неполнозначного — как определенного класса слов.

В означаемые предложения входит некоторое познавательное содержание, в том числе модальные компоненты в смысле атлетической и деонтической модальности, а также экспрессивные и эмоциональные компоненты. Ниже мы будем рассматривать только познавательные компоненты означаемого предложения.

Компонентами означаемого предложения являются:

а) События, ситуации или просто явления объективной действительности, которые являются денотами предложения.

б) Информация о событиях, ситуациях или явлениях объективной действительности, которая представляет собою интеллектуальное отражение денотата предложения.

Информация о денотате предложения имеет структуру. Ее образуют логическая валентность, субъектно-предикатный каркас и система с отношениями.

1. Логическая валентность выделяется при экстрагировании свойств истинности или ложности из содержания информации о денотате. Информация о денотате предложения является осмысленной, если она обладает свойством истинности или ложности, и неосмысленной, если она не обладает указанными свойствами. При выделении логической валентности информации как интеллектуального отражения денотата мы абстрагируемся от конкретности содержания информации и от ее состава. На этом уровне абстрагирования выделяемый из информации экстракт лишен структурности и не имеет членения.

Символически каждое предложение представляется в форме отдельной буквы латинского алфавита A, B, C и др. Выражение A∨B (A или B) истинно, если истинно A и ложно B или ложно A и истинно B.

2. Субъектно-предикатный каркас выделяется при экстрагировании предикативной связи из состава информации. При выделении субъектно-предикатного каркаса информации мы абстрагируемся от конкретности ее содержания и удерживаем только исходный предмет, называемый обычно субъектом, и его предикативное свойство. На этом уровне абстрагирования выделяемый из информации экстракт имеет субъектно-предикатное строение.

Субъектно-предикатный каркас предложения представляется в форме схемы, которая включает знак субъекта и знак его предикативного свойства. Предложение *Сократ мудр* имеет схему a (N_n) — P (V_0An), где *a* — субъект, a (Nn) его имя в имен. падеже, P — предикат, a (V_0An) — его словесное выражение, состоящее из нулевого глагола (V_0) и имени прилагательного в имен. падеже (An). Предложение *Сократ муж Ксантипы* имеет схему a (Nn) — P (V Nn Ng), где *a* — субъект, a (Nn) — его имя в имен. падеже, P — предикат, a (V_0Nn Ng) — его словесное выражение, состоящее из нулевого глагола (V_0), имени в имен. падеже и имени в род. падеже (Nn Ng). Предложение *Судьи вручили Сократу цикуту* имеет схему a (Nn) — P (V Na Nd), где *a* — субъект, a (Nn) — его имя в имен. падеже, P — предикат, a (V Na Nd) — его словесное выражение, состоящее из полнозначного глагола (V), имени в вин. падеже (Na) и имени в дат. падеже (Nd).

3. Система с отношениями выделяется при экстрагировании всех предметов или актантов и их отношений в составе информации о денотате. На этом уровне абстрагирования выделяемый из информации экстракт представляет собою систему предметов (актантов), связанных некоторым отношением; эта система и является предикатом. При выделении предиката как системы с отношениями мы абстрагируемся от конкретности содержания информации о денотате предложения, но удерживаем все предметы (актанты) и их соотношения. Предикат по отношению к информации представляет ее структуру, а по отношению к денотату предложения — его интеллектуальную модель. Предикат, или система с отношениями, — это функция, аргументами которой являются предметы (актанты), связанные отношениями, а значением — осмысленность или неосмысленность, т. е. свойство информации быть истинной или ложной.

Структура предложения отображает структуру предиката как системы с отношениями. Событие *выплавления* как денотат предложения отображается в форме двухместного предиката ***X выплавляет Y,*** событие *нахождения в состоянии выплавления* отображается в форме одноместного предиката ***Y выплавляется.*** Предложение обозначает объективное событие, а структура предложения отображает структуру предиката как интеллектуальной модели соответствующего события. Предложение *Завод выплавляет чугун* обозначает событие *выплавления* и отображает двухместный предикат ***X выплавляет Y.*** Предложение *Завод строится*

обозначает событие *нахождения в состоянии стройки* и отображает предикат ***X строится.***

Система с отношениями представляется в форме модели предложения, которая включает знаки всех предметов (актантов) и знак их отношения.

Предложение *Сократ муж Ксантипы* имеет модель a_0 (Nn) P (V_0 Nn) b_1 (Ng), где a_0 — предмет, занимающий исходную позицию в отношении, а (Nn) — его имя в имен. падеже, P — отношение предмета a_0 к предмету b_1, а (V_0 Nn) — его словесное выражение, состоящее из нулевого глагола и имени в имен. падеже, b_1 — предмет, занимающий последующую позицию в отношении, а (Ng) — его имя в род. падеже.

Предложение *Судьи вручили цикуту Сократу* имеет модель a_0 (Nn) P (V) b_1 (Na) C_2 (Nd), где a_0 — предмет в исходной позиции, а (Nn) — его имя в имен. падеже, P — предикатное отношение между предметами a_0, b_1 и c_2, а (V) — его словесное выражение — глагол, b_1 — предмет в первой последующей позиции, а (Na) — его имя в вин. падеже, c_2 — предмет во второй последующей позиции, а (Nd) — его имя в дательном падеже.

Предложение как выражение субъектно-предикатного каркаса содержит два конституента.

Предложение как выражение системы с отношениями содержит неодинаковое количество конституентов.

В каждом предложении как выражении системы с отношениями столько конституентов, сколько в его предикате предметов (актантов), плюс еще один конституент, который выражает отношения между ними. Предложение, выражающее одноместный предикат, содержит два конституента: имя предмета и имя его предикатного свойства, ср.: *Сталь крепка.* Предложение, выражающее двухместный предикат, содержит три конституента: два имени двух предметов и имя отношения между ними, ср.: *Сталь крепче железа.* Предложение, выражающее трехместный предикат, содержит четыре конституента: три имени трех предметов и имя отношения между исходным и первым последующим предметами. Элементарной синтаксической единицей в составе предложения является его конституент как словесное обозначение предмета (актанта), его предикативного свойства или отношения между предметами.

Представление структуры предложения как отражения системы с отношениями допускает выделение в составе предложения только таких сегментов, которые выражают предметы (актанты), а также их отношения. Никакие другие сегменты предложения на уровне его конституентов недопустимы. Конституенты предложения могут быть простые и сложные, которые мы называем дескрипциями. Непосредственно составляющими предложения являются его конституенты; непосредственно составляющими конституента предложения, если он представляет собою дескрипцию, являются словесные формы; непосредственно составляющими

предложения *Маленький мальчик с трудом читает букварь* являются выражения *маленький мальчик* — словесные формы *маленький* и *мальчик*, дескрипции *с трудом читает* — предложное сочетание *с трудом* и глагол *читает*. Словесные формы как части дескрипции не являются и не могут быть конституентами предложения. Членение предложения на два концентра — субъектный и предикатный, — каждый из которых подлежит дальнейшим членениям, не характеризует структуру предложения как выражения системы с отношениями.

Представление структуры предложения на основе представления предиката как n-местной функции богаче представления структуры предложения на основе его субъектно-предикатного членения, принятого большинством современных лингвистов.

Одно объективное событие может отображаться в двух разных предикативах, которые представляют собою его разные интеллектуальные модели. Одно событие может моделироваться в форме одноместного и двухместного предикатов: ***X ржавеет*** (одноместный предикат) и ***X покрылся ржавчиной*** (двухместный предикат). Эти два предиката, моделирующие одно событие, выражаются двумя разными предложениями: *Железо ржавеет* и *Железо покрылось ржавчиной*. Одно объективное событие может отображаться в форме двухместного и трехместного предикатов: ***X лачит*** **Y** и ***X покрывает Y лаком.*** Эти два предиката, отображающие одно событие, выражаются двумя разными предложениями: *Палехские мастера лачат шкатулки* и *Палехские мастера покрывают шкатулки лаком.*

Один предикат, моделирующий одно событие, может принимать различные формы в зависимости от направления отношения между местами: ***X выплавляет Y-а*** и ***Y выплавляется X-ом.*** Одно отношение, взятое в прямом и обратном направлении, выражается двумя разными предложениями: *Завод выплавляет чугун* и *Чугун выплавляется заводом*. Прямые и обратные отношения имеют место только в бинарных отношениях; если предикат содержит больше двух мест, то он допускает столько форм, сколько можно построить бинарных отношений из данного количества мест. Трехместный предикат допускает 6 возможных построений: 1. *Командование полка придало роте артиллерию*. 2. *Командование полка вооружило роту артиллерией*. 3. *Рота получила от командования полка артиллерию*. 4. *Артиллерия придана роте командованием полка*. 5. *Рота вооружена артиллерией* (*командованием полка*). 6. *Артиллерия получена ротой от командования полка*. Все эти 6 предложений моделируют одно объективное событие и эквивалентны относительно истинностного значения. Но 6 предложений, выражающих 6 преобразований одного предиката, обладают разными семантическими свойствами.

Два предложения, выражающие двухместное отношение с прямым и обратным направлением, всегда имеют один денотат: *Грохот машин сменяет тишину* и *Тишина сменяется грохотом машин.*

Два предложения, выражающие трехместное отношение, обозначают один денотат в том случае, если одно из них выражает прямое отношение между исходным и первым последующими предметами, второе конверсию этого отношения, например: *Компрессор вдувает кислород в доменную печь* и *Кислород вдувается в доменную печь компрессором*. В научно-технической литературе тождество денотата предложения сохраняется и при конвертировании отношения между двумя последующими местами, например: *Этот прибор получает пар из воды* и *Этот прибор превращает воду в пар*. *Этот аппарат образует железобетонные блоки из прутьев* и *Этот аппарат связывает прутья в железобетонные блоки*. В обычном бытовом языке конвертирование отношения между двумя последующими местами приводит к образованию предложений, обозначающих два денотата (два события). Предложение *Сын сообщил родителям новость* обозначает событие передачи информации. Предложение *Сын обрадовал родителей новостью* обозначает два денотата: один состоит в том, что сын обрадовал родителей, а другой в том, что он сообщил новость, т. е. передал информацию. В предложении *Сын обрадовал родителей новостью* конвертировано отношение между двумя последующими местами, которые заняты предметами *новость* и *родители* (*новость — родителям — родителей — новостью*). Последнее предложение неявно обозначает тот денотат, который явным образом обозначен первым предложением, в явном виде оно обозначает другой денотат, то, что сын обрадовал родителей.

Предложение, полученное в результате конвертирования отношений между двумя последующими местами, обозначает два денотата, если введение в его состав отрицания может не отрицать денотата первого исходного предложения. Предложение *Сын не обрадовал родителей новостью* может не отрицать денотата передачи информации, выраженного первым предложением [1]. Если введение отрицания в состав конвертированного предложения приводит к отрицанию денотата исходного предложения, то оно обозначает один денотат, например: *Эта машина производит мелкую стружку из бревен* и *Эта машина измельчает бревна в мелкую стружку* отрицает денотат исходного предложения, ср.: *Эта машина не измельчает бревна в мелкую стружку*. В данном случае исходное и конвертированное предложения обозначают один денотат — преобразование одного предмета в другой.

Два предложения, обозначающие один и тот же денотат, но предикат которых имеет разное количество мест, выражают разную информацию об одном денотате.

Предложения *Она нагрубила ему* и *Она наговорила ему грубостей* обозначают один денотат. Первое предложение выражает двухместный предикат, второе — трехместный предикат.

---

[1] Это предложение имеет два значения: 'сын не сообщил родителям новость и тем самым не обрадовал их' и 'сын сообщил родителям новость, но не обрадовал их этой новостью'.

Тем самым и информация, выражаемая этими двумя предложениями, имеет разный характер об одном и том же денотате, т. е. об одной и той же ситуации.

Из двух предложений, обозначающих один денотат, но различающихся по числу мест в предикате, бóльшими выразительными и информационными возможностями относительно денотата обладает то, которое в составе предиката имеет больше мест.

Предложение, выражающее двухместный предикат, допускает бóльший диапазон глагольных слов, чем предложение, обозначающее тот же денотат, но имеющее одноместный предикат. Последнее или не имеет возможностей замены одного глагола другим, или они весьма ограничены.

Предложение *Железо заржавело* выражает одноместный предикат, и оно не допускает замены глагола *заржавело* каким-либо другим глаголом, например, глаголом *замшело*, так как это означало бы, что железо покрылось мхом, а не ржавчиной. Предложение *Железо покрылось ржавчиной* выражает двухместный предикат. Глаголы предложений, выражающих двухместные отношения, допускают многообразные синонимические замены без нарушения основного содержания семантической системы [2], т. е. без нарушения истинности высказывания: *Железо покрылось, обросло. . . ржавчиной.*

Предложения, выражающие трехместные предикаты, в информационном отношении богаче, чем предложения, выражающие двухместные предикаты и обозначающие тот же денотат.

Предложение *Он читал ей наставления* обладает бóльшими информационными возможностями, чем предложение *Он поучал ее.* Первое допускает многочисленные синонимические замены глагола, выражающего отношение, и имени, выражающего предмет во второй последующей позиции. *Он читал, излагал . . . ей наставления, прописные истины* . . . и т. п.

Второе более ограничено с точки зрения возможности синонимических замен.

Два предложения, обозначающие один денотат, предикаты которых отличаются прямым и обратным отношением между предикатными предметами, выражают разную информацию об одном денотате.

Предложения *Рабочие предлагают рационализаторские предложения* и *Рационализаторские предложения предлагаются рабочими* обозначают один денотат, т. е. одно событие, но выражают разную информацию о нем: в первом случае говорится о предикативном свойстве рабочих, а во втором — о предикативных свойствах рационализаторских предложений.

---

[2] Здесь мы обсуждаем только вопросы синонимических замен средств, выражающих отношения между предметами (актантами), а не средств, выражающих сами предметы.

Два предложения, обозначающие один денотат, обладают бо́льшим информационным объемом, чем одно из них.

Возможность конвертирования отношения между предметом и предикатом делает информацию о денотате более богатой, а различительные средства предложения более выразительными.

Предложения *Колхоз выдал колхозникам аванс* и *Аванс выдан колхозом колхозникам*; *Колхоз обеспечил колхозников авансом* и *Колхозники обеспечены (колхозом) авансом*; *Колхозники получили аванс от колхоза* и *Аванс получен колхозниками от колхоза* обозначают одно событие (один денотат), но вместе взятые они выражают более богатую информацию, чем любое из них отдельно взятое; причем, каждое из этих предложений имеет свою семантическую специфику. В первом предложении говорится о колхозе (*Колхоз выдал аванс*), во втором об авансе (*Аванс выдан колхозом*), в первом предложении говорится о том, что *Колхоз выдал колхозникам аванс*, а во втором — о том, что *Колхоз обеспечил колхозников авансом* и т. п.

Пути развития структуры простого предложения.

Теперь мы можем сформулировать основное направление в развитии структуры простого предложения.

Если основное назначение языка состоит в том, чтобы с помощью средств предложения сообщить более богатую информацию о денотатах предложения, т. е. о событиях действительности, то развитие, обогащение и совершенствование выразительных средств предложения является необходимостью самого прогресса языка.

Рассмотрим некоторые из направлений в развитии структуры простого предложения.

1. Совершенствование унаследованной и существующей структуры предложения. Названный процесс осуществляется в форме развития бо́льшей упорядоченности средств простого предложения. Вопрос об этом пути развития структуры предложения мы не будем подробно обсуждать.

Укажем только на некоторые хорошо известные явления: а) Развитие творительного предикативного на месте второго именительного, ср. *Стал игумен* → *Стал игуменом*, или второго винительного, ср. *Постави его митрополита* → *Постави его митрополитом*; б) распространение форм глагола в соответствии с причастиями несовершенного вида в позиции сказуемого, ср. *И есть церковьта стояща в Корсуне граде*, Лавр. л., 104 → *И стоит та церковь в Корсуне граде; И бѣ обладая Олег поляны*, Лавр. л., 24 → *И обладал Олег полянами* и др., в) распространение предложных конструкций в соответствии с падежом без предлога, ср.: *Иде Ярослав Новгороду*, Лавр. л., 147 → *Пошел Ярослав в Новгород; Бежа Ростислав Тмутороканию*, Лавр. л., 159 → *Бежал Ростислав в Тмуторокань*; г) распространение падежных форм имен существительных в соответствии с именами прилагательными при именах существительных, ср.: *Кнутово биение* → *Биение кнутом, Платяное*

мытье → *Мытье платьев*, *Суконный вершок* → *Вершок сукна*, *Поход Игорев* → *Поход Игоря* и мн. др.[3]

2. Преобразование структуры предложения путем увеличения числа мест в составе предиката. Выше было показано, что из двух предложений, обозначающих один денотат, в семантическом отношении богаче то, которое выражает предикат с бо́льшим числом мест. В древнерусском языке широко были представлены предложения, выражающие одноместные предикаты, в соответствии с которыми в современном русском языке употребляются предложения, выражающие двухместные предикаты.

Предложение *Александр добр возрастом . . . обусевваа*[4] выражает одноместный предикат. В современном русском языке этому предложению соответствует предложение, выражающее двухместный предикат, ср.: *Александр оброс бородой и усами*. Эта семантическая система в современном русском языке может иметь конвертированное строение, ср.: *Борода и усы обросли нижнюю часть лица* (*Пьера*). Л. Толстой, Война и мир.

Предложение *Он же по обычаю молитвова* выражает одноместный предикат, отражающий некоторую объективную ситуацию. В современном русском языке употребляются предложения *Он читал*, *произносил*, *творил молитвы*, *Он читал*, *произносил*, *творил молитву*, которые выражают двухместный предикат, отражающий то же самое объективное событие.

В этих предложениях возможна и конверсия направления в отношении между местами системы, ср. *Молитвы им читались по утрам*[5].

В древнерусском языке засвидетельствованы предложения, выражавшие одноместные предикаты, типа . . . *свиряють* . . ., ср.: *Пастыри свиряють*, Златоструй, Срезн. III, стр. 274, т. е. *Пастыри играют на свирели*, или . . . *сопять* . . ., ср.: . . . *и вои* . .. *с вечера сопяху* . . . Срезн. III, стр. 463, т. е. *вои с вечера играли на сапохах*, *трубах*. В современном русском языке такая манера построения предложений отсутствует: т. е. не приняты выражения типа **мандалинить* в смысле 'играть на мандолине', или **роялить* — 'играть на рояле'.

В соответствии с предложениями, выражающими ранее одноместные предикаты, в современном русском языке ту же ситуацию обозначают предложения, выражающие двухместные предикаты: *Пастух играет на свирели*, *Воины играют на трубах (сапохах)*.

В некоторых славянских языках встречаются предложения, выражающие одномерный предикат, типа *хлеб окорел* (т. е. покрылся коркой).

---

[3] Т. П. Ломтев. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956.

[4] Фактический материал, который приводится в настоящей работе, имеет иллюстративный, а не систематический характер.

[5] В древнерусских текстах засвидетельствовано выражение *творити молитву*, которое представляло собою устойчивое (фразеологическое) сочетание, не допускавшее преобразований.

Такие предложения сохраняются в современном белорусском языке, ср.: *Снег, снег . . . нагой наступіў, не правальваецца, закарэў* ('покрылся твердой корой') *после адлег*, М. Калачынск, 54 дарогі, 1963 г., стр. 250; *Наскачыв мароз — закорэла гразь* ('покрылась твердой корой'), Капылович, Скрозь жывуць людзі, 1968 г., стр. 16; *Рукі ад працы закарэли*, Гарэцкі, Віленскія камунары, 1965 г., стр. 20.

В чешском языке сохраняется глагол kořati в значении 'твердеть на поверхности как кора' (kůra) и okořati в значении 'покрываться корой'. То же самое наблюдаем в сербском *окорео* 'покрывшийся корой', *корав* 'имеющий толстую кору', *окорети се* 'покрываться корой', ср.: *хлеб се већ кори* 'Хлеб уже покрылся сверху корой'.

В современном русском литературном языке возможно только предложение, выражающее трехместный предикат, ср.: *Хлеб покрылся коркой.*

Как видим, преобразование предиката из одноместного в двухместный обогащает семантические информационные возможности предикатов и изобразительные средства словесной организации предложения.

В древнерусском языке были представлены предложения, выражающие двухместные предикаты, в соответствии с которыми в современном русском языке употребляются предложения, выражающие трехместные предикаты.

В древнерусском языке возможно было предложение *Он окори дерево* (т. е. снял кору с дерева). Это предложение выражает двухместный предикат и сохраняется в современном профессиональном языке плотников.

В литературном языке употребляется предложение, обозначающее тот же денотат, но выражающее трехместный предикат, ср.: *Он очистил дерево от коры.* Однако в белорусском литературном языке продолжают сохраняться предложения, выражающие двухместный предикат, ср.: *На кучы ялового бярвення, я кое неэта акарыў и паклаў на сонцы, каб сохла, гулялі дзеці.* Чыграннаў. Птушкі ляцяць на волю, 1965, стр. 48; *Не паспявал нават акарыць бярвяно*, Чыгрынаў. *Самы шчаслівы чаловек*, 1967 г., стр. 9; *Гаспадар не меў сілы ці часу яго* (строительное дерево) *акарыць хоць пачаць будовлю, яко пошло на глум пад даждждом*, К. Чорныи. Роман і повесці, 1951 г., стр. 597.

В древнерусском языке предложение *Они оженили его*, ср. *Тое же зимы новгородци оженили Мстислава . . . и поя за нь Петровну . . .* Пов. вр. л., 6663 г. выражает двухместный предикат. Объективное событие, которое отражено в этом двухместном предикате, в современном русском языке было бы смоделировано в форме трехместного предиката и выражено предложением типа *Родители женили сына на Петровне.*

Предложение *Они ожелизиша его* выражает двухместный предикат. В современном русском языке для обозначения того же

объективного события было бы использовано предложение, выражающее трехместный предикат, ср. *Они заковали его в железо.* В Лаврентьевской летописи отмечено предложение *И* (жители) *жряху им, нарицающе боги* (т. е. Перуна, Хорса, Стрибога). Предложение *И жряху им* выражает двухместный предикат. В современном русском языке то же событие было бы выражено предложением, представляющим трехместный предикат: *И* (жители) *приносили им жертву.*

Преобразование структуры простого предложения путем увеличения числа мест в составе предиката представляет один из способов преодоления противоречия между потребностями семантического обогащения информации о денотате предложения и недостаточности числа мест в составе предиката.

3. Преобразование места в составе предиката в особый предикат и тем самым преобразование конституента одного простого предложения в особое предложение.

Выше было отмечено, что развитие структуры предложения осуществляется не только за счет выделения в предикате новых мест, но и за счет выделения второго предиката, который выражается вторым предложением.

В истории русского языка засвидетельствованы случаи развития на месте одного простого предложения одного сложного предложения. Сложное предложение может возникать путем преобразования места в предикате в особый предикат. Выражение *Довольни будьмъ о уставьныхъ одеждахъ* представляет одно простое предложение, выражающее двухместное отношение. В современном русском языке в соответствии с указанным простым предложением возможно только сложное предложение: *Мы довольны тем, что имеем уставную одежду.* В данном случае в соответствии с одним местом, представленном предложным сочетанием *о уставьныхъ одеждахъ*, оформился особый предикат, представленный особым предложением *имеем уставную одежду.*

В старославянском языке засвидетельствованы предложения с дательным падежом имени, например: *убиению ножь наостри*, Супр., 389.

В современном русском языке в соответствии с дательным падежом имени может употребляться инфинитивный оборот, ср. *заостри нож, чтобы убивать.*

В древнечешском языке употреблялся оборот *о*+вин. падеж имени: Museli lide o prokormu a o vodevu pracovati 'люди должны были из-за корма и одежды работать' (J. Gebauer, Historika mluvnice jazyka českeho, т. IV, Прага, 1929 г., стр. 766). Это предложение древнечешского языка имеет двухместную структуру.

В русском языке двухместной структуре предложения соответствует предложение, которое содержит инфинитивный оборот, равнозначный предложению, ср. *Люди вынуждены были работать, чтобы иметь корм и одежду.*

В древнерусском языке были предложения, в которых одно из мест предиката выражалось предложной конструкцией *к*+дат. падеж отглагольного имени, например: *А подписал на святия имя, и удобно творя к прельщению слышавшим*, Курбский, Письма, стр. 390.

В современном русском языке в соответствии с конструкцией *к*+дат. падеж отглагольного имени, выражающей место в предикате, чаще употребляется инфинитивный оборот, выражающий предикат: *делал так, чтобы прельщать слышавших.*

То же явление мы наблюдаем в чешском языке.

В старочешском языке засвидетельствованы предложения, содержащие конструкцию предлог *к*+дат. падеж: (Христос) ne k choti ale k sluzbe by me prijal, Цит. раб., стр. 443.

В русском языке древнечешскому обороту *к*+дат. пад. имени соответствует инфинитивный оборот, равнозначный предложению, ср.: (Христос) *принял бы меня не в супруги, а для того, чтобы служить ему*; (Душа) spadna ku padeni, a ne spesna ke vstani Цит. раб., стр. 443; *Душа легка, чтобы упасть, но не торопліва, чтобы встать* (Богач). Je ne mohl mieti k sve zadnosti krope vody (Богач); *Не мог иметь капли воды, так как был жаден.*

В современном чешском языке продолжает сохраняться традиция употребления предложной конструкции *к*+дат. падеж, ср.: clovek je stvoren k praci, в соответствии с которой русский язык допускает только инфинитивный оборот, ср.: *Человек создан, чтобы работать.*

Ср. еще чеш. miti oci k videni, a usi k sluseni и русск. *иметь глаза, чтобы видеть, а уши, чтобы слышать.*

В некоторых случаях в древнерусских памятниках употребляется творит. падеж, на месте которого возможно только придаточное предложение *Слышю же се, яко сестру имата дѣвою.* Лавр. л., 107 — *Слышу, что (Вы двое) имеете сестру, которая является девою.*

В истории русского языка засвидетельствованы случаи преобразования действия, выраженного инфинитивом при глаголах мышления, в отдельный предикат и соответственно с этим преобразование инфинитивного конституента простого предложения в придаточное предложение. В результате этого процесса простое предложение преобразуется в сложное. Ср.: *Сдѣ бо мнять жилище иметь* (Лавр. л., 50) — 'Они думают, что имеют жилище'.

В древнечешском языке употребление инфинитива отмечено при глаголах восприятия, ср. vidim ptak litati, slysim ptaka spivati; ср. vidim mnohe k soudu prichazeti; Slysel jsem nektere z nich chlubiti se (Gebauer, dil IV, стр. 580).

Обороты подобного рода сохраняются и в современном чешском языке, ср. Otec me videl kourit; Videl jsem prichazet (буквально: 'Отец меня видел курить'; 'Он видел его проходить').

В современном русском языке предложения рассматриваемого вида не сохранились. На месте инфинитива употребляется при-

даточное предложение: *вижу, что птица летит; слышу, что птица поет; слышал, что некоторые из них хвастаются* и др.

Предикативное свойство предмета, выраженное причастием, также могло преобразовываться в особый предикат, в соответствии с этим причастный конституент простого предложения заменялся придаточным предложением. Ср.: *Егда же си услышал старець, сотвори ужегьшся*, т. е. 'старец сделал вид, что он получил ожог'. *Приде видя* (Остр. ев.), т. е. 'пришел и увидел'. *Хотѣша и* (Изяслава) *Кияне пѣшци убити, мняща ратного* (Ип. л., 64 (303), — т. е. 'думая, что он неприятель'. *Пришедшие взяша и, мертва мняще* (Лав. л. 83), — т. е. 'думая, что он мертв'. *Быть жалостно зрѣти на нь, видячи его больна суща* (Ип. л., 214), — т. е. 'видя, что он болен'. *Тогда Игорь възре на свѣтлое солнце и видѣ от него тьмою вся своя воя покрыти* (Сл. о Полку Иг.), — т. е. 'увидел, что тьма покрыла все его войско'.

В особый предикат могло преобразовываться предикатное свойство предмета, выраженное именем прилагательным. В таком случае имя прилагательное как элемент простого предложения заменялось придаточным предложением, ср.: *Мняше о себе мудр* (А. Курбский) — 'Думал о себе, что он мудр'.

Эти примеры доказывают наличие тенденции к преобразованию конституента в составе простого предложения в особое предложение, в результате которого простое предложение преобразуется в сложное.

Такой путь образования сложного предложения представляет собою один из способов преодоления противоречия между необходимостью выразить семантическое богатство мысли, моделирующей соответствующую ситуацию, и неспособностью выразить то же богатство составом мест одного предиката, выражаемого одним предложением.

4. Развитие конвертируемости отношений между местами предиката. Как указано было выше, конвертирование отношений между местами предиката обогащает семантические возможности предложений. Естественно ожидать, что в истории языка должна действовать тенденция к возрастанию конвертируемости между местами предиката.

Отношение между исходной позицией и первой последующей были способны к конвертированию уже в древнерусском языке, о чем свидетельствует наличие действительных и страдательных моделей предложения, например: *Николи же Литва от Рязани учима бѣ* (Сказание о Мам. побоище). Ср. *Рязань николи не учила Литву*; *Семеон . . . побѣжен бысть Хорваты*, Лавр. л., 10 об., ср. *Хорваты победили Семеона. Ты поставлены есть от Бога на казнь злым*, Лавр. л., 124, ср. *Бог поставил тебя на казнь злым.*

Однако не все виды отношений, связывающие исходную позицию предмета с последующей позицией другого предмета, конвертируются и в современном языке. Отношения, связывающие перемещающийся в пространстве предмет и место, куда переме-

щается предмет, конвертируются в редких случаях, например, *Поезд № 1 пришел на станцию Москва* и *Станция Москва приняла поезд № 1. Самолет № 359 прибыл в аэропорт* и *Аэропорт принял самолет № 359*. В данном случае практика общения требует наличия предложений, выражающих отношение с прямым и обратным направлением. Но предложение *Птичка влетела в комнату* имеет только одно направление отношения. Предложение **Комната приняла птичку* не употребительно, так как в конвертировании указанного отношения нет практической необходимости.

В древнерусском языке отношения траекторного характера вообще не конвертировались.

В современном русском языке широко представлены пары предложений с невозвратными и возвратными глаголами, выражающие прямые и обратные отношения и относящиеся к одной ситуации, например: *Ветер колышет листья — Листья колышатся от ветра, Игрок № 1 сменяет игрока № 2 — Игрок № 2 сменяется игроком № 1, Фонетика увлекает студента — Студент увлекается фонетикой, Эта книга восхищает Вас — Вы восхищаетесь этой книгой* и мн. др.

В древнерусском языке соотношения предложений не были распространены. В древнерусском языке были представлены соотношения объектных и безобъектных предложений, которые содержали глаголы без *-ся* и глаголы с *-ся* типа *Он остановил что-либо, Он остановился* (т. е. *сам*), Ср. *Отвращаю от Вас гнѣв мои*, Нов. вр. л. 657 г. и *Отвращашатяся житейскых радости*, Сб. 1076; *Отвързем от себя всяку зълобу*, Сб. 1076 г. и *Друзи же мои и ближнии мои и там отвръгошася мене*, Слово Дан. Зам.; *Отдѣлили Вольчка от себе*, 1393 г. и *От них отдьлили ся*, 1217 г.

Размеры конвертируемости отношений между исходной позицией и первой последующей были в древнерусском языке значительно ниже размеров соответствующих явлений в современном русском языке.

Что касается конвертирования отношения между двумя последующими местами в предикате, то при массовом повторении соответствующей ситуации оно имело место уже в древнерусском языке; таковы *дарить кому что* и *одарить кого чем*, ср.: *Посадники псковские* и *весь Псков чтиша и дариша его* (великого князя) и *даша ему 100 рублев*, Пск. 1 л., 6968 г.; *Ту князь Ярослав одари князи . . . дары многими*, Сузд. л., 6724 г.

Для других ситуаций в древнерусском языке засвидетельствованы предложения, выражающие предикаты с одним направлением отношения между последующими местами.

В современном русском языке широко представлены соотношения предложений типа *Мать накупила детям подарки — Мать обрадовала детей подарками, Сын сообщил родителям плохие новости — Сын огорчил родителей плохими новостями* и др.

В древнерусском языке такие соотношения предложений отсутствовали. Глаголы *огорчить* и *обрадовать* имели прямые зна-

чения: *огорчить* 'сделать что-либо горьким', *обрадовать* 'сделать так, чтобы кто-то испытывал чувство радости'.

Глагол *огорьчити* употреблялся и в значении 'обидеть'. Но предложение в данном случае выражало двухместный предикат, ср.: *Огорчиша мя* 'обидели меня'. Это предложение не находилось в соотношении с предложениями, выражавшими передачу получателю вещей или информации.

В современном русском языке имеется конверсия отношения двух последующих позиций, выражаемых предложениями: *Колхозники посеяли рожь на этом участке* и *Колхозники засеяли этот участок рожью.*

В древнерусском языке были два глагола *засѣяти* и *посѣяти*, но они выражали ту же ситуацию с одним направлением отношений двух последующих позиций для предметов, ср.: *Посѣкли у нас лѣс . . . да рожью засѣяли* (Сузд. сп. 1504 г.).

Модель этого предложения соответствует модели предложения современного языка: *Они засеяли участок рожью.* Но конвертированного предложения не засвидетельствовано. Есть предложение *Ржей по селам не засѣяли многи*, но оно выражает двухместный предикат и соответствует предложению современного языка: *Многие по селам не засеяли ржи.* Это предложение не представляет собою конверсии первого предложения, так как оно выражает двухместный предикат, а первое — трехместный.

В современном русском языке соотносятся предложения: *Учитель преподавал детям грамоту* и *Учитель учил детей грамоте.*

Эти соотношения предложений выражают соотношения двух разных направлений (прямого и обратного) между двумя последующими местами предиката.

В древнерусском языке был глагол *учити*, тем самым было возможно предложение типа *Учитель учил детей грамоте*, ср.: *Гондустанцы тѣхъ имають да учатъ ихъ всякому рукодѣлию*, Афан. Никит. Но глагол типа *преподавать кому что* не засвидетельствован. Тем самым отсутствовало соотношение между двумя предложениями, которые выражали бы прямое и обратное отношение между последующими местами предиката.

Выше было отмечено, что в соответствии с предложением профессионального языка *Он окорил дерево* в литературном языке употребляется предложение *Он очистил дерево от коры.* Это предложение выражает трехместный предикат. Конвертирование отношения между последующими местами приводит к образованию предложения *Он снял кору с дерева.* В этих двух предикатах могут быть конвертированы направления в отношениях между исходной позицией и первой последующей позицией.

Предложение *Он очистил дерево от коры* получает вид *Дерево очищено им от коры*, а предложение *Он снял кору с дерева — Кора снята им с дерева.*

Все эти четыре предложения, развившиеся в современном языке в соответствии с одним предложением древнерусского языка, выражают разные предикаты, которые отражают одно объективное событие; все эти предложения сопряжены тождеством отношений между местами в соответствующих предикатах и различием в направлениях указанных отношений. Все сопряженные предикаты и тем самым сопряженные предложения дают более богатую семантическую информацию об одном объективном событии, чем это имело место в древнерусском языке, в котором было представлено одно предложение с глаголом *окорить*, выражавшее двухместный предикат.

Эти примеры доказывают наличие в истории языка тенденции к расширению конвертируемости отношений между местами предиката и тем самым к расширению диапазона предложений, выражающих один денотат, и обогащению их различительных возможностей.

Таким образом, основные пути развития структуры простого предложения заключаются в следующем:

1. В совершенствовании унаследованной и существующей структуры, представленной разнообразными процессами.

2. В увеличении количества мест в составе предиката и, следовательно, в увеличении различительных и выразительных возможностей предложения. Предложения с меньшим числом мест в предикате специализируются в профессиональных языках, они получили терминологическое назначение.

3. В замене места в предикате отдельным предикатом; это приводит к развертыванию простого предложения в сложное и тем самым к обогащению смысловых и различительных возможностей предложения.

4. В развитии конвертируемости отношений между местами предиката. Это приводит к обогащению сопряженных предложений, обозначающих один денотат, но представляющих более разностороннюю информацию о нем.

А. С. ЛЬВОВ

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВЛИЯНИЯ В ЛЕКСИКЕ ПАМЯТНИКОВ СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ (тюркизмы)

Установление источника заимствованных слов важно для любого языка. Это проливает свет на роль иноязычного элемента в становлении языка письменности той или иной этнической группы. На язык старославянской письменности огромное влияние оказал греческий язык по той причине, что с этого языка стали переводить церковные книги Константин и Мефодий со своими учениками.

Значительное количество греческих слов вошло в язык памятников старославянской письменности потому, надо полагать, что переводчики не нашли соответствующих эквивалентов в том славянском наречии, на которое делались переводы [1]. Количество грецизмов в памятниках старославянской письменности велико. В сравнении с грецизмами количество же романских и германских слов в них незначительно.

Определенный интерес представляют тюркизмы в лексике памятников старославянской письменности потому, что на территории бытования того южнославянского диалекта, на который переводились впервые греческие церковные книги, во главе государства или княжества около 200 лет находились тюрки-булгары, лишь к концу IX в. полностью ославянившиеся. Последним царем или князем, носившим булгарское имя, был Борис (852—889 гг.) [2].

Были попытки установить наличие булгаризмов в лексике памятников старославянской письменности. С. Младенов находил их в количестве 11: блъгаринъ, бисеръ, болгаринъ, бѣлѣгъ, бѣлчоугъ,

---

[1] Об этом писалось много. См. М. Р. Фасмер. Греческие заимствования в старославянском языке. «Изв. ОРЯС», т. XII, кн. 2, 1906, стр. 197—289; V. Jagić. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913, стр. 299—320; R. Večerka. Vliv řečtiny na staroslověnštinu. «Listy filologické»; ročn. 94, s. 2, 1971, стр. 129—151, и др. В последней работе учтена почти вся предыдущая литература.

[2] В. Н. Златарски. История на първото българско царство, ч. 1. Изд. 2. София, 1938, стр. 319—328 и след.; И. Г. Добродомов. Из булгарского вклада в славянскую антропонимию (к этимологии имени Борисъ). «Антропонимика». М., 1970, стр. 229—236.

боубрѣгъ, капиштє, коумиръ, пашеногъ, санъ, чрътогъ. Кроме этого, автор с оговоркой сюда же относил еще тоıга, чипагъ[3].

Отметим, что добрая половина из приведенных С. Младеновым слов не зафиксирована в памятниках старославянской письменности.

В настоящее время к тюркизмам в лексике так называемых классических памятников старославянской письменности относят: бисьръ, болѣринъ, болѣрьскъ, быıа, ваıание, извваıати, капь, капиштє, капиштьнъ, капиштьница, ковъчегъ, ковъчежьць, коумирь, кумирьскъ, кънигы, кънигъчии, оимъ, оимьскъ, оимьство, очьштє или очрьштє, печать, печатьлѣти, запечатьлѣти, самъчии, санъ, сановитъ, сокачии, соує, въсоує, насоує, соуєта, соуєтьнъ, тикъръ, тьма (μυριάς), хоржгы, чрътогъ, шаръ, шаръчии, шарописатель и другие. Возможно сюда же: крачь, дохъторъ, конобъ, кръчагъ, кръчажьнъ, кръчьмıавати, кръкъıга, чаша и некоторые другие.

Все эти тюркизмы являлись хорошо освоенными словами, поскольку они дали ряд производных путем присоединения славянских словообразовательных формантов, ср.: болѣр-, болѣр-инъ, болѣр-ьскъ; ваı-, ваı-ание, из-ваı-ати; соує, въ-соує, на-соує, соуиєта, соуи-єт-ьнъ и т. д.

Однако тюркская природа приведенных слов требует обоснования. Далее и остановимся на этом вопросе.

Бисьръ. Это слово употреблено во всех классических памятниках старославянской письменности, кроме Син. пс. и тр.[4], для передачи греч. μαργαρίτης: обрѣтъ единъ многоцѣнень бисьръ шедъ продастъ вьсе имѣние елико имѣаше и коупи и (Мф. XIII, 46 Мар.), греч. εὑρὼν ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην...; видѣхъ единоу (дѣвицѫ. — *А.Л.*) ... оукрашеноу велами монистъı златъıми и бисеромъ (вар. бисерми) — ЖК, III); видѣхъ своє ѥстъство акъı бисъръ блъшташтъ са (Супр. 167, 19—20). греч. ὥσπερ ὁ μαργαρίτης ἀστράπτουσαν и др.[5]

В вопросе об этнической принадлежности рассматриваемого слова все этимологисты придерживаются объяснения его происхождения, высказанного П. Мелиоранским, что бисьръ восходит к араб. busra или busr 'поддельный жемчуг, стеклярус' (Glasperle). «В любом турецком (=тюркском. — *А. Л.*) языке это слово легко могло начать произноситься с мягкими (нёбными) *бӱсрä* и отсюда уже «бисеръ»[6]. Не приводя никаких доказательств, С. Младенов

---

[3] St. Mladenov. Vestiges de la langue des Protobulgares turaniens en bulgare moderne. — «Revue des études slaves», t. I. Paris, 1921, стр. 38—53.
[4] Список сокращений см. в конце доклада.
[5] Slovník jaz. stsl. I, стр. 90.
[6] П. Мелиоранский. Заимствованные восточные слова в русской письменности домонгольского периода. «Изв. ОРЯС», т. X, кн. 4, 1905, стр. 117; Berneker I, стр. 58; Brückner, стр. 27; Machek[2],

утверждает: «ст.-бълг. бисеръ, бисьръ через първоболг. (тюрк.) араб. büsre»[7]; в БЕР категорически: «Една от малкото останки от езика на първобългарите; тюрк. büsrä от араб. busr»[8]. Если предположение П. Мелиоранского, что бисьръ восходит к араб. busra, точнее, видимо, *busr, которое в тюркском ввиду отсутствия сочетания sr должно звучать как *büsьr (bü- по сингармонизму из bu- под влиянием последующего sьr) верно, то, как видно, ü делабиализовался в ь, в связи с этим слово стало звучать как *bьsьr с ударением на первом слоге. Лишь в таком случае *bь́sьr в старославянском могло дать бисьръ.

Из тюркских языков в чувашском, потомке булгарского, весьма распространена делабиализация ü > ь, ср. чув. *кĕпер*, тат. *кӱпер* 'мост'; чув. *кĕр*, кирг. *кӱз* 'осень', чув. *çĕр*, др.-тюрк. jüz 'сто' и т. п. Процесс делабиализации ü > ь в чувашском является массовым и, по всем данным, начался очень рано[9]. Помимо этого, чувашскому верховому, или вирьялскому наречию, считающемуся архаическим, характерно перенесение ударения с конечного редуцированного на предыдущие слоги[10]. Указанные звуковые особенности могут объяснить появление ст.-сл. бисьръ из булг. *bь́sьr, причем этот же процесс повторяется и в слове тикъръ 'зеркало', ἔσοπτρον из булг. *tь́kьr. Наличие же булгарского слова *tьkьr подтверждается венг. tükör, tiker из древнечувашского[11] (а также и в современном чувашском) *тĕкĕр* — все в значении 'зеркало', ср. ст.-сл. къ тикърѣ видитъ къто свои ѡбразъ[12]. Чув. *тĕкĕр* восходит к др.-тюрк. tekirmi, tegirmi 'круглый'[13]. Показательно, что ни в одном тюркском языке, кроме чувашского, не зафиксировано tьkьr, tьgьr в значении 'зеркало'.

Итак, ст.-сл. бисьръ должно восходить к булг. *bьsьr. Это слово зафиксировано в таком тексте: Йĕтĕн йепле *пĕсĕрке*, кĕпи йепле йăлтăрка[14]. В слове *пĕсĕрке* часть *-ке* является, несомненно, уменьшительно-ласкательным аффиксом; *пĕсĕрке* образовано от *пĕсĕр* так же, как *хĕреске* от *хĕрес* 'крест', *чăмăрка* от *чăмăр* и т. п.[15] Приведенный текст можно перевести на русский язык

стр. 54; Преображенский I, стр. 26; Skok I, стр. 156 и сл.; Sławski I, стр. 34; Фасмер I, стр. 168, и др.

[7] Младенов, стр. 30.

[8] БЕР, стр. 49.

[9] В. Г. Егоров. Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении, ч. I. Чебоксары, 1954, стр. 184 и сл.

[10] Там же, стр. 221 и сл.

[11] Z. Gombocz. Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsinki, 1912, стр. 134.

[12] Болонски псалтир. София, 1968, стр. 127. Другие примеры см. Срезневский III, стб. 958 и 1072. В Супр., видимо, опиской читается тикъ вм. тикъръ (см. 317, 30).

[13] Егоров, стр. 244; ДТС, стр. 548 и 550.

[14] Ашмарин X, стр. 239.

[15] И. П. Павлов. Современный чувашский литературный язык. Морфология. Чебоксары, 1965, стр. 63 и сл. (на чув. яз.).

так: 'каков лён бисерком (точнее: бисерообразен), такова и рубашка с блестками', т. е. лен, содержащий *пёсёр*, дает блестки и на рубашке (холсте). Думаем, что *пёсёр* и есть то слово, которое в старославянском зазвучало как бисѣръ. Что касается начального *б* вместо *п*, то известно, что с древних пор булгарское начальное *п* передается в других языках как *б*[16]. Явление это до сих пор как следует не объяснено, но, видимо, ненапряженность согласного воспринимается как звонкость.

Таким образом, приведенные данные склоняют к тому, что если слово бисѣръ в старославянском тюркизм, то оно, несомненно, булгаризм.

Быльꙗ в переводе греч. πατρίκιος лат. patricius зафиксировано всего три раза в Супр., ср. Слышавъ же комисъ гласъ звѣрии. оубоꙗ сѧ. и хотѣаше бѣжати. и глаголѧ мѫченикъ не боисѧ быльꙗ се бо оуже измѧрѫтъ (229, 28—30 — 230, 1)[17]. В греческом то же слово фиксируется как βοελᾶς, βοηλᾶς, которые по значению и звучанию совпадают с др.-тюрк. bojla, bujla 'титул знатного'[18]. Переход др.-тюрк. *о* и *и* в *у* (ы) весьма характерно в чувашском, ср. др.-тюрк. ojqu, ujqu, чув. *ыйхӑ* 'сон'; др.-тюрк. ogul, чув. *ывӑл* 'дитя, сын'; *вӑй* 'игра' — *выля* 'играй' и т. п. Это же звуковое явление отражено в ст.-сл. быльꙗ из др.-тюрк. bojla. Говоря иначе, и быльꙗ объясняется на тюрко-булгарской основе. В славянском ст.-болг. быльꙗ, надо полагать, являлось обычным словом, что подтверждается открытой в 1952 г. надписью на могиле: сѧде лежитъ мостичь чрьгоубыльꙗ (запись сделана где-то во второй пол. X в.)[19].

Болѣринъ, болѣрьскъ находим в Супр., а также в ряде памятников церковнославянской письменности[20]. Этими словами переведены οἱ μεγιστᾶνες, οἱ τὰ πρῶτα φέροντες, σύγκλητος, συγκλητικός, ср.: болѣре сраци́ньсти рѣша къ цѣсароу (Супр. 66, 5—6); οἱ τὰ πρῶτα φέροντες; и сотворѫ та ѥдного отъ болѣръ своихъ (ib. 61, 3—4), τῶν μεγιστάνων; отъ болѣръска рода сѫшта (ib. 202, 14—15), συγκλητικοῦ αἵματος и др.[21]

Еще И. Срезневский заметил, что «выговор этого слова с *л* есть южнославянский», а «выговор... с ꙗ, а не с *лꙗ*, можно

---

[16] Н. И. Ашмарин. Болгары и чуваши. Казань, 1902, стр. 125 и сл., Z. Gombosz. Указ. соч., стр. 164; А. С. Львов. О Н. И. Ашмарине и некоторых проблемах генетической связи болгар и чувашей. «Н. И. Ашмарин — основоположник чувашского языкознания». Чебоксары, 1971, стр. 208 и сл.

[17] Другие примеры: Slovník jaz. stsl. I, стр. 152.

[18] ДТС, стр. 110.

[19] Надписът на чьргубиля Мостич. София, 1955, а также: М. Янакаев, С. Стоянов. Старобългарски език. Текстове и речник. София, 1956. Снимок VI; V. Beševliev. Die protobulgarischen Inschriften. Berlin, 1963, Tafel LXXIX.

[20] Slovník jaz. stsl. I, стр. 136.

[21] Там же.

считать преимущественно русским»[22]. Действительно, на Руси это слово было известно преимущественно в форме *богар-инъ*, *богар-е*, восходящей к тюркскому слову bajar. Наличие последнего зафиксировано в языке желтых уйгуров (живших изолированно от других тюркских народностей в Китае не менее 1000 лет) в виде *пайар* 'богатый'[23]. Слово это состоит из основы paj-/baj- 'богатый' и аффикса -är < *er 'муж, мужчина'. Как отмечает С. Е. Малов, -är в тюркских языках «часто применялось и в древности, судя по памятникам письменности, и в современных тюркских языках — в титулах и в личных именах»[24].

Было ли в тюрко-булгарском слово *пайар* — неизвестно. По крайней мере, в чувашском фиксируется только *пуйан*, *пойан* из *pajan 'богатый'. Как отметили, в слове *пайар* аффикс -är восходит к -er в значении 'муж, мужчина'. После слога paj- по сингармонии аффикс er стал произноситься как -är, а в славянском после j звук ä перешел в *а*[25]. Суффикс сингулятива -инъ — славянский.

Как же получилась форма болѣринъ из богаринъ? Выше было отмечено, что в славянском староболгарском было употреблено слово быльга. По всей видимости, слово богаринъ в нем появилось позже (возможно, из древнерусского языка), подпало под воздействие слова быльга и контаминировалось с последним[26]. Менее вероятно распространенное мнение, что в славянском староболгарском слово богаринъ изменилось в болѣринъ, подпав под воздействие прилагательного болии[27]. По допущению И. Г. Добродомова, слово *богар-* появилось в древнерусском из хазарского языка[28]. Ввиду отсутствия памятников письменности хазарского языка это предположение проверке не поддается. Слово могло быть и булгарским, поскольку основа paj-/baj- общетюркская.

Бои-: и нѣстъ иного бога развѣ мене и славы моюа иномоу не дамъ ни благоизволени моихъ баганиимъ (Супр. 263, 2—4), τοῖς γλυπτοῖς 'изваянным, выдолбленным'; сии бо бози... не видатъ... камение сѫште чловѣкы избагани (ib. 177, 1—7), ὑπὸ γὰρ ἀνθρώπων γλυφέντες 'людьми выдолбленные'[29].

---

[22] Срезневский I, стб. 150 и 160.
[23] С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 1957, стр. 86.
[24] С. Е. Малов. Тюркизмы в языке «Слова о полку Игореве». Изв. ОЛЯ АН СССР, т. V, вып. 2, 1946, стр. 138.
[25] А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 47; С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, стр. 173 и сл.
[26] M. Mollova. Quelques lexemes turks septentrionaux en Bulgar. «Балканско езикознание», XI, 2. София, 1967, стр. 83 и сл.
[27] Bernekeer I, стр. 72; Фасмер I, стр. 203 и сл.; БЕР, стр. 66, и др.
[28] И. Г. Добродомов. История лексики тюркского происхождения в древнерусском языке (на материале «Повести временных лет»). Автореферат канд. дисс. М., 1966, стр. 9.
[29] Другие примеры Slovník jaz. stsl. I, стр. 724 и сл.

Основа кăи- в словах каꙗние, изкаꙗти имеет значение 'долбить'; и она, как тюркизм, зафиксирована в венг. vaj 'выкапывать, выдалбливать, высекать'[30]. Этот vaj восходит к др.-тюрк. oj- 'долбить, делать углубление'[31]. В чувашском др.-тюрк. oj- звучит как *ыйă*, *ăйă* 'долото', а глагол *вăйăть*, возможно, 'выталкивать, вырывать', а также 'тащить через силу', ср.: Кукша алăка вăйса кăларать[32], — 'Кукша двери с силою вырывает', хотя В. Г. Егоров этимологизирует это слово иначе[33].

Как известно, др.-тюрк. *ō* в чувашском перешел либо в *ы*, *ă*, либо в *вы*, *вă*-[34]. Наличие протетического *в* в основе ст.-слав. vaj- < oj- указывает, что слова с этой основой вошли в старославянский из тюрко-булгарского языка.

Капь, капиште, капиштьнъ, капиштьница: сътворивъ бо сь чловѣка по капи нашей и по образоу (Супр. 308, 18—19), κατ' εἴκονα ἡμετέραν καθ' ὁμοίωσιν; и вашъдъ въ градъ вазискаше мѣстъ... иждеже стоꙗше капиште аполоново (ib. 220, 19—22)[35], τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνος. Слово капь употреблено в значении 'подобие' (Аполлона), 'статуя'. В этом значении оно точно соответствует чув. *кап* 'подобно', а также 'внешний вид, фигура', ср. Тата вĕсен кĕлеткийĕн *капĕ* вăй-хăвачĕ кама хăратмĕ?[36]. 'Еще бы, их внешний вид (фигура), сила — кого не испугает?' Однако ныне чув. *кап* больше произносится *пак*, *пек* (по метатезе), напр., *ун кап* > *ун пек* 'как он', 'похожий на него'; *çын кап* > *çын пек* 'подобно человеку', но наречие постоянно *капла* < *кап* + *ла* 'таким образом, так'.

Капиште по суф. -иште должно обозначать 'место, где находятся (поставлены) (идолы, статуи)'[37]. Однако, в Супр. капиште употреблено в значении, 'идол статуя', ср. вышеприведенный пример, а также: капишта поганъскаꙗ сьребро и злато оуста имѫтъ и не глаголѫтъ (Супр. 104, 1—2), τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν[38]. Прилагательные также образованы от основы капишт-: цръкъвиште капиштьное разори сь (Супр. 180, 22—23), а от основы прилагательного образовано существительное в значении 'храм, место, где находятся капи' — капиштьница (см. Супр. 428,3) греч. ναός.

Примеры показывают, что слово капиште, обозначающее 'место, где находятся идолы, или капи', воспринято и как название самой

---

[30] K. H. Menges. Altaische Kulturwörter im Slavischen. «Ural-Altaische Jahrbücher», Bd. XXXIII, H. 1—2. Wiesbaden, 1961, стр. 114 и сл.
[31] ДТС, стр. 365.
[32] Ашмарин V, стр. 291.
[33] Егоров, стр. 48.
[34] Z. Gombocz. Указ. соч., стр. 146.
[35] Другие примеры Slovník jaz. stsl. II, стр. 14 и сл.
[36] Ашмарин VI, стр. 71.
[37] А. Лескин. Грамматика древнеболгарского (древнецерковнославянского) языка. Казань, 1915, стр. 123 и сл.; A. Vaillant. Manuel du vieux slave, t. I. Sec. éd. Paris, 1964, стр. 210.
[38] Другие примеры Slovník jaz. stsl. II, стр. 14.

статуи. Этот факт является свидетельством того, что капь не было обычным славянским словом.

Ковьчегъ, ковьчежьць. В евангелиях первая форма употреблена Мф. XXIV, 38 и Л. XVII, 27 для передачи греч. εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν — вънидѣ ноѥ въ ковчег (Ас., л. 49; Зогр., Мар., Сав., Остр. — ковьчегъ); И. XII, 6 в Ас. и Зогр. греч. τὸ γλωσσόκομον ἔχων передано: ковьчежьць імъ; а также И. XIII, 29 в Зогр. греч. τὸ γλωσσόκομον εἶχεν . . . Ἰούδας передано: ковьчежьць імѣаше іюда; в других: Мар., Сав.—скриницѫ, Остр. — рачицѫ.

В Син. тр. греч. τῆς κιβωτοῦ передано ковьчегомъ (л. 16 а, 2). В Супр. словом ковьчегъ переведено греч. κιβωτός, λάρναξ, θήκη: великоумоу ковчегоу божии црькві зиждитель (460, 16—17), κιβωτός; и погребъше... положиша ѥго въ ковъчезѣ (52, 2—5), ἐν λάρνακι; не мати ковьчегомъ • да не кладеши ѥже въ немъ (243, 1—2), τὴν θήκην.

Таким образом, по данным греческих текстов, в старославянском словами ковьчегъ, ковьчежьць передавали понятия 'полый ящик', 'ларь'.

При этом слово имеет необычное для славянских языков сочетание звуков -егъ в конце слова, которое сильно напоминает тюркский аффикс -aγ, -äg-, -ig, -ïγ, -uγ, -üg, употребляющийся для образования имен существительных[39]. Оставшаяся часть ковьч- совпадает с тюрк. каγик-, kavyk- в значении 'пузырь, полый предмет'[40], возможно, и 'дупло' ср. чаг. kävät 'пустая середина, дупло'[41]. Однако в тюркских языках слово *käviqiγ или *kägüküg и т. п. в значении 'полый ящик, полая вещь' не зафиксировано[42].

Таким образом возможно, что рассматриваемое слово является тюркизмом, однако, из-за отсутствия в тюркских языках бесспорного соответствия к нему, проблема эта требует дальнейших разысканий.

Коумиръ, -ръ, коумирослоужение, коумирьница, коумирьскъ зафиксированы в Супр. вместо идолъ, идольскъ и т. д. в более ранних памятниках старославянской письменности. Из других памятников лишь в Син. тр. и то всего один раз употреблено прилагательное коумирьскъ: ѩсти коумирьсцѣи (60б, 4)[43].

В специальной работе «К этимологии ст.-сл. коумиръ, -ръ εἴδωλον»[44], рассмотрев существующие несостоятельные сближения слова с семит. *kumrā, сир. kumrā, арм. k'urm, фин. kumartaa, мы показали, что слово восходит к алано-осет. gumeri, goymeri 'великан, дубина, идол', переданное славянам несомненно только

[39] ДТС, стр. 651.
[40] Räsänen, стр. 220.
[41] Егоров, стр. 288.
[42] Miklosich, стр. 136; Berneker I, стр. 594 и след.; Младенов, стр. 244; Z. Gombocz. Указ. соч., стр. 98; Фасмер II, стр. 272, и др.
[43] Slovník jaz. stsl. II, стр. 82 и след.
[44] «Этимология. 1965». М., 1967, стр. 189—193.

булгарами в виде *kümeri, о чем свидетельствует и чув. *кӳмеркке* 'туловище, объем; целиком, оптом' (*-кке* здесь уменьшительный аффикс), в котором алано-осетинское начальное *g* перешло в *к*, а *u* в *ü* по сингармонии.

На наш взгляд, причисление ст.-сл. коумиръ, -ръ к тюркизмам вполне обоснованно.

Кънігъі — кънигъчиї. Эти слова, особенно первое, как показано нами[45], употреблены во всех так называемых классических памятниках старославянской письменности для перевода греч. τὸ γράμμα, τὰ γράμματα, ἡ γραφή, ἡ ἐπιστολή, ἡ βίβλος, τὸ βιβλίον, т. е. кънігъі было полисемантическим словом, причем единственным для передачи указанных греческих понятий. Лишь позже кънігъі в отдельных значениях заменялись другими словами: боукъі — боукъви, писмѧ — писмена, писаніе. Многозначность слова кънігъі > *книга*, knjiga частично дошла и до нас в южнославянских языках[46].

Другой особенностью слова кънігъі, как об этом свидетельствуют написания его в Зогр. и Супр., а также сербохорватский и словенский языки, является наличие мягкого н̂, восходящего к -nj.

Третьей особенностью рассматриваемых слов является наличие тюркского аффикса -či в форме кънігъчиї, передающий греч. γραμματεύς. Поскольку это слово фиксируется преимущественно в апракосах и апракосных чтениях в тетра, притом в разных местах, то имелись основания признавать, что в первоначальных переводах было употреблено слово кънігъчиї, которое, видимо из-за непонятности, было заменено искусственно образованным кънижаникъ[47].

Кънігъчиї свидетельствует о том, что первоначальной формой слова было кънігъ < *kan'iγь, потому что в тюркских языках аффикс имени деятеля -či присоединяется к имени без всяких видоизменений состава слова, ср. kemi 'лодка, судно' — kemičï 'лодочник, моряк', qïrma 'точеный' — qïrmacï 'столяр', balïq 'рыба' — balïqčï 'рыбак'; таким же образом: *kьn'iγь — *kьn'iγьčï.

Э. Бернекер считал, что слово кънігъі на Балканский полуостров принесли тюрки, заимствовав его из арм. knik' 'печать'[48] (такого же мнения придерживался и автор этих строк). Однако арм. knik' (чит. kənik) не обеспечивает в славянском мягкого n', а также в семантике расходится с соответствующим старославянским словом.

Специально занимаясь этимологией ст.-сл. кънігъі — кънігъчиї, мы пришли к выводу, что на Балканский полуостров указанные слова принесли тюрко-булгары, которые заимствовали их не позднее II—III вв. н. э. из китайского языка; кит. küyœn, küen 'свиток', тюрко-булгары приспособили к собственному произно-

---

[45] А. С. Львов. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1968, стр. 153—168; Slovník jaz. stsl. II, стр. 91—93.
[46] А. С. Львов. Указ. соч., стр. 162.
[47] Там же, стр. 163—168.
[48] Berneker I, стр. 664.

шению. Это же китайское слово заимствовали и уйгуры в виде kujn, kuin, которое зафиксировано в словосочетании kujn bitig 'свиток' (книжный)[49]. Чувашский язык знает и второе китайское слово bitig в виде *пĕтӳ* 'амулет (в виде написаний), который вешают на грудь детей'[50].

Кит. küyœn, küen в чувашском существует в виде *кӳнчĕк* [k'ün'čьk] 'название орнамента на женской рубашке' (на платье)[51]. *конь*, *конĕ* [kon', kon'ə] 'пространство, занятое на ткани узором'; *конĕллĕ* [kon'əl'ə] 'название особого способа тканья сукна'[52]. В слове *кӳнчĕк* — *чĕк* уменьшительно-ласкательный аффикс. В основах k'ün' -kon' -n' из jn так же, как и современное *калля* [kal'a из kajla < kajəla 'назад, обратно'; *вылля* [vyl'a из vəjla < vəjəla] и т. п.

Как свидетельствуют заимствованные из древнечувашского венг. könyv [kön'v] 'книга', морд. kon'ov 'бумага'[53] в чувашском (в булгарском тоже) существовало существительное в форме *künig или *k'ünüg, образованное присоединением именного аффикса -ig или -üg к основе kün-', наличие которой бесспорно. Поскольку любой др.-тюрк. g в древнечувашском перешел в v, то вполне понятно венг. könyv и морд. kon'ov так же, как в чув. *тăван* из др.-тюрк. dogan 'родственник'; *шăвар* из sugar 'напой'; *ывăл* из ogul 'сын, дитя' и т. п.

Форма же *kьn'iγь образована присоединением уменьшительно-ласкательного аффикса -qi, произносящегося в чувашском между гласными как -γь к kьn'i- (последняя форма отражена в видоизмененном вирьяльском слове kon'ə наряду с kon' (см. выше) kьn'iγь. Последняя, как видели, зафиксирована в кзнігз (-чиї). Форма кзнігз оказалась в группе слов женского рода: типа брадзі, боукзі, жрынзі, χоржгзі и т. п.[54], что свидетельствует о том, что в славянском кзнігз с самого начала употреблялось как pluralia tantum для обозначения знаков письма.

В чувашском до сих пор слово *кĕнеке* [kən'ege] — видоизменившаяся форма от *kən'iγь под воздействием русск. *книга* — полисемантично. Например: *кĕнеке* вулать — 'читает книгу'; тутар *кĕнеки* уйрăмĕсемпе çыру çӳретсе палашас[55] — 'с особенностями татарской книги (т. е. азбуки) переписываясь познакомимся'; *кĕнекесем* çине çыра — çыра хăварнă[56] — 'в книгах (т. е. на том,

---

[49] ДТС, стр. 322.
[50] Ашмарин X, стр. 251.
[51] Ашмарин VII, стр. 75.
[52] Ашмарин VI, стр. 299.
[53] M. Räsänen. Nochmals über ung. *könyv* 'Buch' und mord. *kon'ov* 'Papier'. «Finnisch-ugrisches Forschungen». Bd. XXIV, Hf. 1. Helsinki, 1938, стр. 76 и след.
[54] P. Diels. Altkirchenslavische Grammatik, I Tiel. Heidelberg, 1932, стр. 179 и сл.
[55] Ашмарин XII, стр. 114.
[56] Там же, стр. 111.

на чем пишут) оставлены записи' и т. п., которые невозможно объяснить, кроме первого примера, влиянием русск. *книга*.

Показательно, что осетин. kīnyg, kinugæ (по мнению В. И. Абаева из kənig, kənigæ) полисемантичны, поскольку известны в значениях 'книга, письмо, расписка, рисунок'[57]. Этимологию указанных слов В. И. Абаев бесспорно установить не мог. Если осетинские формы произошли в результате метатезы, то в таком случае имеются основания сближать их с др.-чув., или булг. *kьn'ig и *kьn'iγь[58].

Оимъ, оимьскъ, оимьстко из старших памятников старославянской письменности зафиксированы только в Супр., а также в памятниках церковно-славянской письменности[59]. Приведем несколько примеров из Супр.: Самого гā... оими... съвлѣкоша и раздѣлиша ризы (90, 30—91, I), οἱ στρατιῶται, ср.: воини... раздѣлиша себѣ ризы мои (И. XIX, 23—24 Мар., Зогр.), στρατιῶται ... διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτᾶς; колико отъ нашихъ оимъ на рати падоша (91, 10—11), εἷς τῶν στρατιωτῶν; трѫтъ оимъскыи (83, 1), φαλάγξ στρατιωτικός; бьси въ оимъстко въчьтени бъиша и за браньскѫѭ хытростъ и за мѫжьстко ... велиѧ чьсти имѣахѫ отъ цѣсаря (84, 29—30 — 85, 1—2), οἱ στρατιωτικοὶ κατάλογοι.

Попытки установить индоевропейские генетические связи слова оимъ, в частности, с корнем им- < *jьm- следует признать неудачными, потому что при этом невозможно объяснить приставку о- перед гласным вместо ожидаемого об-[60]. Помимо этого, и семантика *ō-im-, точнее обьм-, обем- (см. Мк. IX, 26), передающие греч. ἐναγκαλισάμενος, противоречит значению греч. ὁ στρατιώτης.

Более вероятна генетическая связь оим- с др.-тюрк. ojma 'азартный' (?) или 'смелый'[61] и чув. *вăй* (из *oj или *uj) 'сила, мощь', ср.: Ӳссе çитĕнет ар ывăлĕ, патша патне кайать, *вăй* хурать[62], — 'Выросши сын мужа идет к царю приложить силу свою'. Как известно, понятие 'сила, мощь, власть' и 'войско' во многих языках идентичны, ср. (Симеонъ) приде къ црюграду *въ силѣ* велицѣ (Лавр. лет., л. 10).

В Син. пс. читается: Ї падѫ посрѣдѣ стана їхъ. Окрьстъ очьшта їхъ (LXXVII, 28), в Болон., Погод. и др. списках — ѡчрьшта, коушгъ, греч. ... κύκλῳ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν. По мнению С. Северья-

---

[57] В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I. М.—Л., 1958, стр. 596. Однако по мнению И. Г. Добродомова, kīnyg из *kьjn — долгота ī в результате выпадения ь. — См. «Русская речь», 1971, № 5, стр. 86.

[58] Подробнее об этом см. А. С. Львов. Этимология ст.-сл. кънигы — кънигъчнї. «Балканско езикознание», XV, 2. 1971, стр. 21—31.

[59] Срезневский II, стб. 638 и след.

[60] Фасмер III, стр. 126 и след.

[61] ДТС, стр. 365.

[62] Ашмарин V, стр. 288.

нова, в Син. пс. слово очьшта употреблено по описке вместо очрьшта[63]. Однако, что значит тогда *o-črьt-ja < *o-črьt-jo? Очьшта генетически связывается с др.-тюрк. čit 'шалаш из камыша и терновника'[64]. Видимо, от того же корня и чув. *читан*, *чатан*, *çатан* 'плетень', 'плетенка для езды', 'корзина' (плетеная)[65].

Очьшта < *o-čьt-ja или *o-čьt-jo образовано по типу одежда < *o-ded-ja; окоуса < *o-kus-a; обида < *o-bid-a и т. п. Написание очрьшта — это вероятнее всего контаминация с чрьтогъ, ср. Ї та ѣко женіхъ исходѧ отъ чрътога своего (Син. пс. XVIII, 6), ... ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ; оуготовати... женихоу чрътогъ (Супр. 244, 11—12) и другие.

Чрьтогъ восходит к тюрк. *kärtäg или *kärtäγ 'комната', 'комната для новобрачных' или 'комната невесты'. Оно зафиксировано в Codex Cumanicus в виде kärtäk, в турецком и азербайджанском gärdäk — все из перс. gardak[66].

Печать, печатьлѣти, запечатьлѣти зафиксированы почти во всех памятниках старославянской письменности в переводе греч. σφραγίς, σφραγίζω: се и печать и камъі и стража. и не могоша іего оудръжати (Супр. 444, 13—15), σφραγίς; (азъ) оубо камъ есмъ печатъ (Ен. ап. 4а, 2), ἡ γὰρ σφραγίς; въложивъ ва три десати крьчагъ ... печатьлѣ оловомъ (Супр. 45, 9—11), σφράγισεν; они же шедъше оутврьдіша гробъ запечѣтьлѣвъше камень съ коустодиеѭ (Мф. XXVII, 66 Ас.), σφραγίσαντες τὸν λίθον...

Существующее объяснение этимологии слова печать от пек-, пекѫ[67], а также образования глагола печатьлѣти от несуществующей формы прилагательного *pečatьlъ не соответствует действительности. Дело в том, что наличие именного суффикса -ětь неизвестно. Кроме того, печати как знак, удостоверяющий личность, носили при себе, к документам же их не припечатывали, а привешивали. Что же касается основы глагола печатьлѣ- или печѣтьлѣ-, то она несомненно отличается от глаголов типа свѣтьлъ — свѣтьлѣти, мъдьлъ — мъдьлѣти, прахлъ — прахлѣти, так как приведенные глаголы обозначают 'становиться светлым, медленным, истлевшим', а печѣтьлѣти этого значения не имеет, оно означает 'запаять, наглухо заделать'. В этом значении печѣтьлѣти совпадает с чув. *пичетле*, *пичетлет* 'запечатай, запечатывает, опечатай, опечатает'; 'заделать наглухо', например: Нӳхрепре *пичетленё*

---

[63] С. Северьянов. Синайская псалтырь — глаголический памятник XI в. Пг., 1922, стр. 101. Примечания.
[64] ДТС, стр. 146.
[65] Ашмарин XV, стр. 216; XII, стр. 69.
[66] Räsänen, стр. 257.
[67] Miklosich, стр. 234; A. Meillet. Études, стр. 288 и 419; Преображенский II, стр. 53; Brückner, стр. 407; Младенов, стр. 421; Machek[2], стр. 441; Фасмер III, стр. 255.

пичёки пур[68], — 'В погребе есть наглухо закупоренная бочка' (с пивом). Вăл ыттисем хушшинче *пичетли*, чи чапли пулнă[69], — 'Он среди других был с печатью, самый почетный'. Ср.: Ношаху сли *печати* злати. а гостье сребрени (Лавр. лет., л. 12). Как известно, печати носили только власть имущие, а не простые люди, и этот обычай идет с Востока[70]. В приведенном чувашском примере это и отражено.

Словом, по имеющимся данным, которые нами более подробно рассмотрены в специальной работе[71], печать — печѣтьлѣти в памятниках старославянской письменности тюрко-булгаризмы. В указанной работе мы допускали, что слово печать булгары заимствовали у грузин, у которых имеется bečedi 'печать, знак, след, отпечаток' и др., но наличие слова päčät в хакасском, алтайском, päcät у чулымских татар, pičät в казанско-татарском, miǯät в шорском, piǯet в чувашском, видимо, требует дальнейших разысканий и уточнений источника этого слова, так как трудно согласиться с М. Рясяненом, чтобы все они были из русского языка[72].

Самъчии всего один раз зафиксировано в Супр. в переводе греч. ὁ μειζότερος: касилина ... диꙗконися сѫшти приде къ иероусалимъ имѫшти съ собоѭ братоучада самъчиꙗ санъ прѣдръжашта (297, 28—30); ср. еще: Право самочиꙗ мѣсто оу богатаго приметъ[73], лат. familiaritatus (locus).

О слове самъчии писал Н. И. Ашмарин: «Это болгарское слово я произвожу от др.-чув. **сам* 'число, счет', сохранившегося в мадьярском szám, имеющем то же значение. В нынешнем чувашском языке это слово произносится и употребляется также в некоторых сложных выражениях, каковы: *сума-су* (сума-зу) 'в счет класть, почитать, уважать', *сум* кăлар (сум гы̆лар) 'высчитывать, сосчитывать'. В тюркских наречиях слово 'число' произносится *сан*: перевод конечного *н* в *м* в словах самъчи, самъчиꙗ, szám, *сум* представляет характерную особенность чувашского языка»[74].

К сказанному почти нечего добавить, поскольку очевидно, что самъчии даже и по аффиксу -či — тюркское слово, а сам- вместо сан-свидетельствует о принадлежности его к тюрко-булгарскому языку.

---

68 Ашмарин IX, стр. 247. Кстати, глагол кръчмлывати, зафиксированный в Супр. (см. 188. 4) в передаче греч. καπηλεύειν, образован от кръчьма по той же тюркской модели, что и печатьлѣти от печать.

69 Там же.

70 Machek², стр. 441.

71 А. С. Львов. Ст.-слав. печать — печатьлѣти. «Этимологические исследования по русскому языку», вып. II. М., 1962, стр. 93—103.

72 Räsanen, стр. 382.

73 Беседы папы Григория римского Двоеслова. По рукописи списка XIII в., хранящейся в Ленинградской публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина под индексом «Собрание Погодина № 70», л. 36 об.

74 Н. И. Ашмарин. Болгары и чуваши, стр. 58.

Санъ, сановитъ: [Нектарии] дръжашгоу тъгда епар'шъскъіи санъ приведенъ же бъіста людами на епископъство (Супр. 202, 15—17), ср. еще приведенный выше пример: самъчиа санъ прѣдръжашта, а также: любо сановитъ любо смръдъ. то ни того пошгадитъ сѫдъ (Супр. 101, 23—24).

Большинство исследователей считает, что основа san- в приведенных старославянских словах — тюркского происхождения[75], поскольку в др.-тюрк. san означало не только 'число, количество, счет', но и 'почет, уважение'[76], откуда легко образуются значения 'должность, звание, чин'. По этой причине рассматриваемые слова следует признать тюркизмами в памятниках старославянской письменности.

Сокачии, в переводе ὁ μάγειρος зафиксировано три раза в Супр.: не стъідиши ли са жъра камению прѣдъ народомъ прѣдъ толикомъ множъствомъ народа. иже ничесоже приемыѭтъ сокачиа чистѣиша васъ сѫтъ. иже сѫтъ раби чловѣчьстии. ꙗко въ дворѣхъ закалаѭтъ чистѣ на сънѣдение чловѣкомъ. а не бѣсомъ въі же коумиромъ безъчоувъствъномъ жържште прѣдъ народомъ не срамьꙗюте са (115, 29—30 — 116, 1—8). Здесь сокачиа — 'мясники, закалывающие животных и зверей'; възнегда манастъірьскаꙗ штоуждекръмъница зъдааше са. потом же постави и (Иоанна. — *А. Л.*) блаженъіи сава. сокачиѭ варити и слоужити братии васеи (ib. 284, 4—8), здесь сокачиѭ — 'поваром'; и акъі агнаца благо овача зъломъ сокачиꙗмъ отъдано закалаютъ са (ib. 437, 2—4), тут сокачиꙗмъ 'мясникам'.

Таким образом, греч. ὁ μάγειρος как в значении 'мясник', так и в значении 'повар' передано словом сокачии в старославянском.

Кроме слова сокачии, в памятниках церковнославянской письменности употребляется еще сокалъкъ или сокалъ в качестве перевода греч. μαγειρεῖον 'кухня', ср.: вниде сокалекъ рекше в поварню и ѡбрѣте брата[77].

Оба слова сокачии и сокалъкъ содержат тюркские аффиксы, первое аффикс -či, обозначающий имя деятеля, а второе аффикс -lïk, -lïq, -lük, обозначающий 'место', например: čečäklïk 'цветник' от čečäk 'цветок'; aγilïq 'казнохранилище' от aγï 'драгоценность'; tavarluq 'склад' от tavar 'имущество, товар' и т. п.[78]

Попытки сближения сокачии со сл. *сок* — sucus неудовлетворительны, потому что от сокъ могло бы образоваться сокъчии, чего нет, но отнюдь не сокачии. Кроме того, от сл. сокъ совершенно невероятно образование сокалъкъ 'кухня'.

---

[75] Miklosich, стр. 288; Фасмер III, стр. 555; Sadnik-Aizetmüller, стр. 297 и сл., и т. д.
[76] ДТС, стр. 484; Räsänen, стр. 400.
[77] Сборник Иоанна Златоуста и других поучения, XIV в. ГБЛ, ф. 304 (Тр.-Серг.), № 9, л. 170 об. — Материал СДР.
[78] ДТС, стр. 657.

Здесь налицо тюркская основа soqa от soq- 'закалывать, колоть', (скотину)[79], а от более первичного soq- 'бить, ударять; измельчать, крошить'[80], а soqa 'вид кушанья', так же как uv- 'размельчать, крошить', uva 'вид кушанья'[81]. В тюркских известно soqtu, soqut, soqta 'вид кушанья' — *колбаса — казы, колбаса из полбяной крупы* и др.[82] Отметим, что образование существительных путем присоединения аффикса *-а* от глагольных основ, редкое уже в древнетюркском, в чувашском и поныне продуктивно, например: *ака* 'сеянье', 'пора сева' от *ак* — 'сей'; *çыра* 'отметка' от *çыр* 'чертить', писать', *турта* 'оглобля' от *турт* 'тяни' и т. п.[83]

В целом, едва ли возможно сомневаться в том, что сокачии и сокалъкъ являются тюркизмами. Что касается формы сокалъ, она могла появиться на славянской почве из сокалъкъ, понятого как содержащий суффикс -ъкъ, поэтому едва ли имеются основания искать в тюркских языках именные аффиксы -l и -uk, как это пытается делать К. Г. Менгес[84].

Соуе, соуѣа, соуета, соуетьнъ, съсоуе, насоуе употребительны почти во всех памятниках старославянской письменности для перевода греч. μάτην, εἰς μάτην, διὰ κενῆς, ἐπὶ ματαίῳ, ματαιότητας, ср.: оустъними чьтѫтъ мѧ. а срьдьце іхъ далече отъстоитъ отъ мене соуе же чьтѫтъ мѧ (Мф. XV, 8—9 Зогр.), ... μάτην δὲ σέβονταί με, лат. sine causa colunt me: соуе глаше: срдце его собьра безаконеньє себе (Син. пс. XL, 7), μάτην ἐλάλει...; лат. uana locutum est. В данных сочетаниях слов соуе же чьтѫтъ... и соуе глаше... в приведенных контекстах слово соуе можно понять только как 'ложно'; съсоуе поносишѧ дши моеи (Син. пс. XXXIV, 7), μάτην ὠνείδισαν, лат. uane exprobrauerunt...: се чвкъ іже не положі ба помощъніка себѣ; нъ оупъвда на множьство богатьства своего: и възможе соуетоѭ своеѭ (Син. пс. LI, 9), ἐδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ, лат. praenaluit in uanitate sua, — и в последних примерах съсоуе и соуетоѭ можно понять также как 'ложно, несправедливо'.

Словом, нет сомнения в том, что основное значение соуе было 'ложно', отсюда и понятны соуевѣрие 'ненастоящая, ложная вера', соуеслоние — 'ложное учение' и т. п.

Существующие сближения соуе с др.-инд. çūnam 'пустота', çūnyas 'пустой', др.-иран. a-sūna 'без недостатка', лат. cavus

---

[79] С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров, стр. 103.
[80] ДТС, стр. 508.
[81] ДТС, стр. 619.
[82] С. Е. Малов. Указ. соч., стр. 103; ДТС, стр. 509; Ашмарин, XI. стр. 166.
[83] И. П. Павлов. Указ. соч., стр. 63.
[84] K. H. Menges. Указ. соч., стр. 107—114.

'пустой, полый, выдолбленный' и т. д.[85] вызывают затруднения как в объяснении закономерности звуковых соответствий, так и основного значения соуе 'ложный, ненастоящий, несправедливый' из 'пустой, выдолбленный'. Чтобы принять данные сближения, необходимо доказать, что в др.-инд. çūnvas «n» детерминатив, и что в корне рядом с «ū» было «u». Следовало бы показать также, что лат. kau- чередовалось с k'eu-: кроме того, существуют еще и трудности объяснения семантических расхождений.

Как бы ни казалось парадоксальным, но ст.-сл. соуе в звучании и семантике идентично с чув. *суе*, *суя* 'ложь, ложный, мнимый', в котором имеются производные: *суеçё* 'лжец', *суестер* 'обманывай', — все от *суй* — 'лгать', буквально — 'ври' и т. п.[86]

Чув. *суе*, *суя* одинаково употребительны как в низовых — у́кающих, так и в верховых, или варьялских — о́кающих говорах. Эти данные позволяют констатировать, что чув. *суе*, *суя* явилось не из *сая* в результате перехода *а* > *у*, характерного фонетического явления чувашского языка. *Сая* 'попусту, напрасно, зря' имеет соответствие во всех тюркских языках и представляется наследием общетюркского заимствования арабского (через персидский) zaj[87]. *Суе*, *суя*, по этим данным, существовало независимо от *сая* (последнее в указанном значении не произносится как *суя*).

Не исключено, что чув. *суе*, *суя* в основе suj- восходит к кит. *цзуи* 'грех, порок, вина', которое на тюркской почве зафиксировано в виде suj и tsuj[88]. Семантическое развитие 'грех' > 'ошибка, вина, прегрешение, проступок' > 'ненастоящее, ложное' вполне вероятно, а конечное *-е* и *-а* могут быть тюркскими аффиксами имени, восходящими к древним причастным образованиям, ныне же, кроме чувашского, такие образования в тюркских языках непродуктивны[89].

Словом, имеются основания отнести ст.-сл. соуе к тюрко-булгаризмам[90] еще и потому, что на тюркской почве ясна словообразовательная модель, а на славянской почве эта модель не ясна: она не относится ни к известным образованиям существительных на -аје, типа: бѣлѧе, гроздѧе, рождѧе и ни к прилагательным сравнительной степени типа: ниже, кѣше и прочее.

Хоржгъі зафиксировано всего один раз в Супр.: хоржгви дарьствоуѧ любимъіимъ тобоѫ (179, 12—13), причем к слову не обнаружено греческого соответствия. В памятниках церковно-славян-

---

[85] Преображенский II, стр. 414 и след.; Фасмер III, стр. 797. Здесь ссылки на всю существующую литературу, касающуюся этимологии соуе.
[86] Ашмарин XI, стр. 160 и след.
[87] Егоров, стр. 180.
[88] ДТС, стр. 513 и 583.
[89] И. П. Павлов. Указ. соч., стр. 63.
[90] Подробнее см. А. С. Львов. Ст.-сл. соуе. «Этимология. 1969». М., 1972, стр. 220—227.

ской письменности интересующим словом переведено греч. σκῆπτρον, например: **И** хоржгъвь имать ꙗко чл҃вь сѫди странѣ (Посл. Иеремии, 12, по сп. Упыря Лихого)[91], καὶ σκῆπτρον ἔχει ὡς ἄνθρωπος κριτῆς χώρας[92].

Это слово выводят из монг. orongγa 'знамя'[93]. Однако вызывало и вызывает затруднение начальное χ в славянском слове. Л. Лигети, посвятивший этимологии хоржгъı специальное исследование[94], пришел к выводу, что в монгольском языке это слово заимствовано из уйгурского. По мнению автора, слово содержит в себе корень or- 'класть'. В этом случае начальный звук χ можно объяснить как присоединившийся на тюрко-булгарской основе, поскольку в отличие от других в чувашском др.-тюрк. or-, ur- 'класть, ставить' звучит как *хур-*, *хор-*[95], а *хурăн* означает 'класться, быть положенным'[96]. Вполне допустимо образование сущ. *choronγun или *chorəngun от глагола choron или chorən, так же как gačγïn 'беглец' от gač- 'убегать', tutqun 'пленник' от tut- 'ловить' и т. п.[97] Тогда *choronγun и дает хоржгъı, потому что ударенный слог -ún в тюркских произносится с удлиненным ū.

Вероятность приведенной этимологии подкрепляется и тем, что хоржгъı, т. е. знамена, ставились на вражеской территории как знак победы, ср. аще Роуская *хороуговь* станеть на заб(о)ролѣхъ то комоу чсть оучиниши (Ипат. лет., л. 256 об.—257).

Шаръ, шаръчии, шаописатель в переводе греч. χρῶμα и ζωγράφος зафиксированы в Супр.: шаръчиѧ на ѥднои дѣстѣ и образъı чрътаѭтъ и истинѫ пишѫтъ шаромъ (418, 1—2); шаописателе начрьтаѭт' ... на дъскъı... (ib. 83, 9—11).

Несомненно, что рассматриваемые слова восходят к др.-тюрк. sïr 'краска', sïrči 'художник, рисующий красками'[98]. Переход др.-тюрк. s > š в булгарском было обычным, ср. др.-тюрк. sub, чув. *шыв.* 'вода', соответственно: sïrt — *шăрт* 'щетина', süpürgü — *шăпăр* 'метла', sugar — *шăвар* 'напой' и т. п. Таким же образом звук *а* может быть на месте двух других древнетюркских звуков, ср.: sekiz — *саккăр* 'восемь', kečä — *каç* 'поздний вечер', er — *ар* 'муж', 'мужчина' и т. д.[99]

---

[91] Срезневский III, стб. 1388 и след.
[92] Septauginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, vol. II. Ed. 8. Stuttgart, 1968, стр. 767.
[93] Berneker I, стр. 398; Brückner, стр. 182 и след.; Vasmer III, стр. 266; Machek[2], стр. 278; Skok I, стр. 680.
[94] L. Ligeti. L'étymologie mongole du slave *chorogy* drapeau. «Études Slaves et Roumaines», vol. II, fasc. 1. Budapest, 1949, стр. 46—56.
[95] Ашмарин XVI, стр. 180—185.
[96] Там же, стр. 185 и след.
[97] ДТС, стр. 653.
[98] ДТС, стр. 505.
[99] И. Г. Добродомов. Из булгарского вклада в славянских языках. «Этимология. 1968». М., 1971, стр. 189—196.

Из сказанного следует, что шаръ, шаръчии — тюрко-булгаризмы.

Поскольку наше изложение несколько затянулось, оставляем нерассмотренными слова, тюрко-булгарская природа которых не совсем ясна, поэтому они требуют более широких обоснований.

Приведенный материал несомненно свидетельствует, что булгары оставили в славянских говорах Балканского полуострова заметные суперстратные следы, которые в виде определенной лексики оказались и в словарном составе самых первых переводов греческих церковных книг на славянский язык. При этом примечательно, что тюркизмы памятников старославянской письменности так же, как и тюркизмы в венгерском языке, объясняются на основании данных древнечувашского, или булгарского языка.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Ас. — Evangeliář Assemanův, díl II. Vydal J. Kurz. Praha, 1955.

Ашмарин — Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. I—XVII. Казань—Чебоксары, 1928—1950.

БЕР — Български етимологичен речник, св. I—VII. София, 1962—1969.

Berneker I — E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1908—1913.

Brückner — A. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.

Vasmer — M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—III. Heidelberg, 1953—1958.

ДТС — Древнетюркский словарь. Л., 1969.

Егоров — В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.

ЖК — Житие Константина по изданию: П. А. Лавров. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930.

Зогр. — Зографское евангелие. Изд. В. Ягича. Berolini, 1879.

Machek[2] — V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. Druhé opravené a doplnené vydání. Praha, 1968.

Мар. — Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями. Изд. И. В. Ягича. Спб., 1883.

A. Meillet. Études — A. Meillet. Études sur l'étymologie et la vocabulaire du vieux slave, sec. partie. 2e Édition. Paris, 1961.

Miklosich — F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.

Младенов — С. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.

Преображенский — А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, т. I—II. М., 1910—1914.

Räsänen — M. Räsänen. Versuch eines etymologischen Wörterbuch der Türksprachen. Helsinki, 1969.

Сав. — Саввина книга. Изд. В. Щепкина. СПб., 1903.

Син. пс. — Psalterium sinaiticum. Éd. M. Altbauer. Skopje, 1971; Синайская псалтырь — глаголический памятник XI в. Изд. С. Северьянова. Пг., 1922.

Син. тр. — Euchologium sinaiticum. По изданиям: J. Frček. Patrologia orientalis, t. XXIV, fasc. 5; t. XXV, 3. Paris, 1933 и 1939; R. Nahtigal. I—II del. Lubljana, 1941, 1942.

Skok — P. Skok. Etymologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, kn. I. Zagreb, 1971.

Sławski — F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I. Kraków, 1952—1956, t. II, там же, 1958—1965; t. III, там же, 1966—1969; t. IV, там же, 1970.

Slovník jaz. stsl. — Slovník jazyka staroslověnského, t. I. Praha, 1966; t. II, там же, 1967.

Sadnik-Aizetmüller. L. Sadnik und R. Aizetmüller. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.

Срезневский — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т. I—III. Спб., 1893—1903.

Супр. — Супрасльская рукопись. Изд. С. Северьянова. Спб., 1904.

Фасмер — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. I—III. М., 1964—1971.

Г. П. НЕЩИМЕНКО

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ ЛЕКСИКИ В ЧЕШСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ [1]

Словообразование экспрессивной лексики привлекает внимание исследователя прежде всего потому, что здесь, пожалуй, как ни в одной другой сфере словопроизводства, проявляется творческое экспериментирование, стимулируемое потребностью в новых, броских, насыщенных экспрессией лексемах, выразительно контрастирующих в семантико-стилистическом и структурном отношении с нейтральной, т. е. неэкспрессивной лексикой.

По сравнению с чисто номинативной экспрессивная лексика занимает в языке до некоторой степени периферийное положение — указанное обстоятельство несколько снижает строгость нормативных запретов, вместе с тем оно создает предпосылки для применения своеобразной словообразовательной техники, необычных словопроизводственных приемов, нередко существенно отличающихся от общепринятых норм и традиций словообразования. И действительно, правила словопроизводства экспрессивной лексики допускают применение, наряду со стандартными (префиксация, суффиксация и пр.), специфических процедур — некоторые из них восходят своими корнями к глубокому прошлому, другие являются приобретением более поздних эпох. Так или иначе, все они представляют собой интересный, во многом малоизученный фрагмент славянского словообразования [2].

Ниже мы рассмотрим специфические приемы, используемые при словообразовании уменьшительно-эмоциональных существительных (в дальнейшем для кратности — деминутивы) и прилагательных (также наречий) со значением интенсификации признака в чешском языке. Кроме того, привлекаются факты из словообразования однокоренных стилистических синонимов типа ředitel — říd'a и пр., функционирующих в различных стилистических пластах чешского языка.

---

[1] Считаю своим приятным долгом выразить искреннюю благодарность коллегам из Института чешского языка ЧСАН за замечания и дополнения к настоящей работе.

[2] Ценные сведения об экспрессивной лексике в чешском языке содержит монография: J. Z i m a. Expresivita slova v současné češtine. Praha, 1961.

Избранная для наблюдения лексика функционально однородна: ее образование сопровождается появлением модифицирующей, уточняющей информации, не затрагивающей существа вещественного значения производящей основы.

При словопроизводстве стилистических синонимов мы имеем дело со стилистической модификацией — транспонированием производящего слова из нейтрального стиля в разговорную речь, просторечье или даже жаргон. Как показали наблюдения, норма современного литературного языка толерантна к подобным стилистическим синонимам: выборочно они включаются в словари литературного чешского языка, широко используются в языке произведений художественной литературы (особенно в речи персонажей), расширяя палитру выразительных средств художественной речи.

Словообразование деминутивов и прилагательных со значением интенсификации сопровождается преимущественно семантической модификацией производящей лексемы. Сущность привносимой информации сводится к квантитативно-квалитативной характеристике обозначаемого основой объекта или же присущего объекту признака.

Основой для выделения категорий деминутивов и прилагательных интенсификации служат регулярные корреляции типа: (1) dům — domek, pole — políčko; (2) malý — maličký, tenký — tenoučký, базирующиеся на отношении (1) невыраженность — выраженность деминутивного значения; (2) невыраженность — выраженность значения интенсификации признака. Квантитативная (размерностная) оценка объекта зачастую переплетается с его квалитативной характеристикой как позитивного, так и негативного свойства, поэтому дериваты становятся носителями экспрессивной нагрузки.

Обе рассматриваемые категории являются в сущности субкатегориями, манифестирующими сквозную модификационно-оценочную — квантитативно-квалитативную — ономасиологическую категорию, по-разному преломляющуюся в словообразовании различных частей речи — существительных, прилагательных, наречий, отчасти местоимений и глаголов и имеющую единую систему средств ее формального воплощения.

Рассмотрим порознь специфические словопроизводственные операции, характерные, с одной стороны, для деминутивов и прилагательных интенсификации, с другой стороны, для однокоренных стилистических синонимов. Подобное расчленение материала обусловлено самой его спецификой. Так, словообразовательные процедуры первого типа более регулярны, они в большей степени соответствуют духу существующих закономерностей чешского именного словообразования; процедуры второго типа менее регулярны — как правило, они сопряжены с преднамеренным, нарочитым изменением структуры производящего слова, граничащим подчас с ее сознательной деформацией.

В работе используются данные словарей [3], языка произведений художественной литературы и публицистики, результаты наблюдений (в доступных нам рамках) над речью носителей языка.

1. КОМПЛЕКС СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЪЕДИНЯЕМЫХ ПОНЯТИЕМ «ВТОРИЧНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ»

Вторичные процедуры отмечаются при словопроизводстве деминутивов и прилагательных (наречий) со значением интенсификации признака. Их сущность заключается в присоединении дополнительных формантов со значением деминутивности или же интенсификации к производящей основе, в структуре которой морфема подобного функционального назначения уже имеется. Наложение однородных словообразовательных значений, сопутствующее указанным процедурам, обуславливает нагнетание значения интенсификации признака (или же деминутивности), а также усиление экспрессивной выразительности слова.

Если направленность словопроизводственного процесса схематически представить в виде линейного ряда, то для подавляющего большинства деминутивов (около 84% производящих основ) и прилагательных со значением интенсификации признака (около 89%) [4] характерна деривационная цепочка вида О > Д, где О — исходная точка словообразовательного процесса — представлена нейтральной лексемой, не фиксирующей эксплицитно размерность предмета или степень проявления признака, а Д — соответствующая деривационная фаза [5], представленная дериватом со значением деминутивности или же интенсификации признака.

Для значительно более узкого круга лексем допустимо дальнейшее развертывание деривационной цепочки по горизонтали $О > Д_1 > Д_2 > Д_n$. Численность звеньев цепочки теоретически не регламентируется, однако на практике мы обычно имеем

---

3 Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1937—1957, d. I—IX (PS), Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1958—1971, d. I—IV (SSJČ); J. Jungmann. Slovník česko-německý. Praha, 1835—1839, d. I—V (J); Fr. Kott. Česko-německý slovník, zvláště grammaticko-frazeologický. Praha, 1878—1893, d. I—VII (K).
G. Palkowitsch. Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch, Prag, 1820—1821, d. I—II (Pal); P. Váša, Fr. Trávníček. Slovník jazyka českého, V Praze, 1946 (VT).

4 Цифровые данные получены на основе статистических сведений публикации Tvoření slov v češtině. 2. Odvozování podstatných jmen. Praha, 1967 (с соответствующим разделом третьего тома мы знакомились в рукописи).

5 Деривационная фаза есть некая функциональная ячейка, ассоциирующаяся с определенным категориальным словообразовательным значением. См. подробнее: Г. П. Нещименко. Деминутивные деривационные цепочки и их преобразование в чешском литературном языке. — ВЯ, 1970, № 6.

дело с дериватами типа $Д_2$, существенно реже $Д_3$. Как видно из схемы, репрезентанты последовательно расположенных звеньев цепочки находятся в отношении словообразовательной зависимости от репрезентантов предшествующих фаз. Так, в функции производящей основы для дериватов фазы $Д_1$ выступают нейтральные существительное, прилагательное, наречие, лишенные эксплицитно выраженного значения оценки, для дериватов фазы $Д_2$ — соответственно репрезентанты фазы $Д_1$ и т. д.

Приведем примеры многофазных цепочек: malý > malounký > malouninký > malouninininký[6]; dlouhý > dlouhatý > dlouhatánský > dlouhatanánský; trochu > trošinku > trošilinku > trošililinku; dům > domek > domeček; ruka > ručka > ručička; klobouk < klobounek > kloboulínek; kus > kousek > kousínek > kousinínek, kousilínek. Ср. также контексты: Co tomu řekne *svět*, vlastně ten *světek* — *světeček* vymezený třemi body, Čap.-Ch. (PS); elektrický proud prochází *dráty*, *drátky* i *drátečky*, Vl. 8/70; Byla velmi překvapena, když se jí narodil kluk. Tedy říkám *kluk*, ale spíš *klouček*; po pravdě řečeno *kloučíček*. Nebyl totiž o nic větší než normální palec. Spíš menší. Jako paleček, Vl. 22/68; Nevezmete-li jim tu *malou*, *malilinkou*, méně než *malinkou* špetku rozumu, Sládek. Shakespeare. Trojl., 1911-A.

Характеризуя специфику многофазных цепочек по сравнению с однофазными, необходимо акцентировать следующие моменты:

1. Развертывание однофазных цепочек в многофазные является фактом внутрикатегориального словопроизводства: трансформация первичных дериватов во вторичные не меняет словообразовательной принадлежности производящих лексем, она влечет за собой лишь уточнение эксплицитно уже выраженного словообразовательного значения оценки — сущность указанного уточнения заключается в констатации степени проявления модификационного признака. Таким образом, основное словообразовательное значение оценки у вторичных и первичных дериватов в принципе является тождественным. Исходя из этого соображения, возможно, более оправданно было бы квалифицировать звенья

---

[6] Отдельные фазы линейного ряда могут быть представлены не одним, а некоторым множеством репрезентантов, соотносимых с одной и той же производящей основой, ср.:

$$\text{malý} > \left.\begin{array}{l}\text{maličký}\\ \text{malinký}\\ \\ \text{maloučký}\\ \text{malounký}\\ \text{malitký}\end{array}\right\} D_1 > \left.\begin{array}{l}\text{maličkatý}\\ \text{maliličký}\\ \text{maličičký}\\ \text{malininký}\\ \text{malilinký}\\ \text{maloloučký}\\ \text{malolounký}\\ \text{malilitký}\end{array}\right\} D_2$$

Подобные усложненные деривационные цепочки правомерно определить как цепочки многоярусные.

цепочки $Д_2$ и последующие как подфазы единой деривационной фазы, тем более, что, как показывает материал, многофазные цепочки имеют тенденцию деформироваться в цепочки однофазные.

2. В отличие от однофазных цепочек в основе многофазных рядов находятся более сложные коррелятивные отношения, базирующиеся на следующих оппозициях: а) оппозиция невыраженность — выраженность признака оценки: О > Д, где Д есть комплексное обозначение первичных и вторичных дериватов, т. е. $Д_1$ и $Д_2$; б) оппозиция: невыраженность — выраженность степени интенсивности проявления признака оценки: $Д_1 > Д_2 > \ldots Д_n$.

3. Развертывание однофазных цепочек в многофазные допустимо лишь для некоторой части деривационных цепочек. Особенно отчетливо это проявляется у прилагательных с суффиксами интенсификации признака. Так, в сферу словопроизводства первичных дериватов здесь вовлечено 260 производящих основ, из них только 30 функционируют в качестве исходной базы многофазных деривационных цепочек (т. е. примерно 11%). В целом нами было зафиксировано немногим более 80 вторичных дериватов, образованных от 56 первичных дериватов, соотносимых в свою очередь с 30 исходными прилагательными.

Словообразование вторичных деминутивов осуществляется в более широких масштабах: около 16% всех деривационных цепочек составляют цепочки двухфазные.

Проведенное исследование не позволило установить строгие структурно-семантические ограничения, регулирующие словообразование вторичных деминутивов, а также вторичных префиксальных дериватов со значением интенсификации признака. Значительно рельефнее диапазон вторичной деривации у суффиксальных прилагательных — это прежде всего обозначения физических качеств предмета, воспринимаемых органами чувств человека: пространственная характеристика (главным образом, малость предмета), отчасти также характеристика цветовых и вкусовых качеств. Среди производящих основ преобладают прилагательные, фиксирующие позитивную характеристику предмета, например, malý, mladý, milý, sladký, drobný, hladký и пр.

4. При идентификации вторичных дериватов в тексте следует учитывать следующие их специфические особенности:

А. Усложненная морфематическая структура вторичных дериватов.

Факт возрастающей сложности морфематического строения репрезентантов последовательно расположенных фаз линейной цепочки наглядно подтверждает изучение остаточного — после вычитания корня — компонента структуры (флексия во внимание не принимается). Ср.: domek и domeček — остаточный компонент первичного деривата имеет структуру либо VC (реализация -ek-), либо C (реализация -k- для абсолютного большинства словоформ,

-c- для м. мн.); у вторичного деривата — соответственно либо VC_1VC (реализация -eček-), либо VC_1C (реализация -ečk- для подавляющего большинства словоформ, -ečc- для м. мн.). Аналогично: slabounký ($Д_1$), slaboulinký ($Д_2$) и т. д.

Б. Словообразовательная зависимость структуры вторичных дериватов от первичных.

Данный пункт нуждается в комментариях. Если словообразовательная структура вторичных адъективов может быть однозначно мотивирована первичными дериватами, то структура вторичных деминутивов допускает вариантность ее интерпретации. Специфика структурно-семантических ассоциаций позволяет одновременно соотносить последние как с первичными деминутивами — непосредственными предшественниками по словопроизводственному ряду, так и с нейтральными производящими существительными, являющимися исходными звеньями словообразовательной цепочки [7]. В случае первой мотивировки деминутив domeček квалифицируется как вторичный дериват, образованный путем усложнения структуры первичного деминутива domek; во втором случае факт фазности деминутивной цепочки игнорируется: существительное domeček квалифицируется как деминутив, образованный посредством присоединения к производящей основе dům сложного форманта -eček-. Правомерность последней мотивировки подтверждается наличием лексического пласта деминутивов со сложными суффиксами (без предшествующих первичных дериватов); ср. chléb — chlebíček, auto — autíčko и пр. Не имея возможности в рамках данной работы провести детальное сопоставление обеих мотивировок, заметим лишь, что мы отдаем предпочтение мотивировке, учитывающей ступенчатость, фазность процесса словопроизводства уменьшительно-эмоциональных существительных, т. е. мотивировке, опирающейся на реально существующий лексический пласт первичных деминутивов. Носители языка, как правило, отчетливо осознают наличие тесной структурно-семантической связи между хронологически сосуществующими в живом языковом обращении однокоренными первичными и вторичными дериватами — справедливость сказанного подтверждает и контекстное словоупотребление данных лексем, отраженное многочисленными примерами; ср. pane, co to je atom? Jehan: to je malá část hmoty. Georges: Tak řeknu *kousek*. Jehan: To je menší. *Kousínek*, ždíbeček. *Kousek* to je molekula, $V+W_1$; Ještě *chvilku*, jenom *chvílinku malinkou*, Mršt. Poh. m.; taková *malá*, *maloulinká muška*, *mušinka*, Holeček. Naši, 1898-A; to byla věcička *malinká*, *malilinka*, pro cizího pozorovatele téměř nezjistitelná, Benešová. Úder, 1929-A; pronesl slova tak *slabounce*, *slaboulince* jako kdyby vánek letěl a keřem zeševelil, Holeček. Naši, 1898-A.

---

[7] Для потенциально возможных дериватов типа $Д_3$ и пр. набор словообразовательных мотивировок еще более расширяется.

В. Семантическая цельность вторичных дериватов.

Указанное качество проявляется, с одной стороны, в максимальной выразительности (в рамках данного словообразовательного гнезда) оценочного значения; с другой стороны, в отсутствии у вторичных дериватов (в большинстве случаев) побочных неоценочных значений. Первичные деминутивы, напротив, нередко используются в качестве средства нейтральной номинации; в их семантике зачастую развиваются побочные, недеминутивные значения, свидетельствующие о нивелизации значения оценки (сказанное не распространяется на прилагательные со значением интенсификации признака). Следует также отметить, что вторичные дериваты несут бóльшую экспрессивную нагрузку, нежели дериваты первичные.

Г. Низкая частотность вторичных дериватов.

Примечательно, что частотный словарь чешского языка (FS), фиксируя 326 случаев употребления первичных прилагательных со значением интенсификации, не отмечает ни одного случая употребления вторичных производных. Сходные тенденции характерны и для деминутивов; ср.: dcera 282 — dcerka 32 — dceruška 12; kostel 157 — kostelík 12 — kostelíček 5; kout 175 — koutek 57 — kouteček 6; oko 1766 — očko 32 — očičko 9; zrno 47 — zrnko 28 — zrné(í)čko 8. В целом частотность вторичных деминутивов выше частотности вторичных прилагательных со значением интенсификации.

Д. Стилистическая маркированность вторичных дериватов.

Вторичные дериваты, в особенности прилагательные и наречия, употребляются преимущественно в разговорно-непринужденной, а также детской речи [8], придавая им специфический эмоциональный колорит. Попытка ввести указанные образования в язык текстов научных трактатов, отмечавшаяся в эпоху Возрождения, не увенчалась успехом.

Семантическая броскость, выразительная стилистическая маркированность, сниженная частотность употребления — совокупность всех этих факторов служит своеобразным заградительным барьером, изолирующим вторичные дериваты от остальных лексических пластов и препятствующим их семантической нивелировке. Напротив, первая фаза цепочки, манифестируемая первичными деминутивами, нередко оказывается наиболее уязвимым звеном словопроизводственного ряда. Состав репрезентантов данной фазы в истории языка весьма изменчив — в ходе языковой эволюции наблюдается отчетливо выраженная тенденция редукции первичного звена деминутивной цепочки, обуславливающая превращение двухфазной цепочки в однофазную.

---

[8] Ср., например, насыщенность деминутивами текста детской считалочки: Stojí, stojí domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, v té mističce vodička, v té vodičce rybička.

Механизм словопроизводственных операций при вторичной деривации

В чешском языке вторичная деривация связана с применением своеобразных словообразовательных операций нанизывания и вкладывания морфем, разграничиваемых в зависимости от позиции модифицирующего форманта в структуре слова.

А. Операция нанизывания словообразовательных морфем.

Под операцией нанизывания мы понимаем такую словообразовательную процедуру, при которой синонимичные словопроизводственные форманты присоединяются один за другим, т. е., образно говоря, нанизываются. Образующиеся в результате данной процедуры дериваты характеризуются четкостью морфематических швов: присоединение нанизываемых формантов обычно не сопровождается фонематической модификацией последних. Сказанное выше позволяет нам видеть в процедуре нанизывания одно из проявлений тенденции агглютинации в словообразовании.

Способ последовательного подсоединения, склеивания морфем известен и за пределами словообразования исследуемой лексики, однако обычно нанизывание очередного словообразовательного форманта сопряжено с изменением категориального словообразовательного значения (ср., например, трансформацию существительных м. р. со значением лица в существительные ж. р. со значением лица: *учитель+-ница* > *учительница* и т. д.). В нашем материале присоединение нанизываемого форманта не нарушает целостности основного словообразовательного значения, речь идет лишь о вторичной модификации, уточняющей степень проявления признака.

Изучение языковых фактов позволяет установить следующие схемы присоединения нанизываемого аффикса: а) П+(П+О) [9]; б) П'+(П+О); в) (О+С)+С+Ф; г) (О+С)+С'+Ф.

Из приведенных схем следует:

1. Для процедуры нанизывания характерно соблюдение правил препозиции и постпозиции в постановке нанизываемого форманта: добавочный модифицирующий формант ставится либо до, либо после производящей основы, т. е. первичного деривата.

2. По отношению к словообразовательному форманту первичного деривата нанизываемый аффикс имеет либо идентичное (схемы а, в), либо отличное (схемы б, г) строение. В первом случае наблюдается явление редупликации, т. е. полного дублирования способа словопроизводства первичного деривата. Во втором случае в качестве нанизываемой морфемы используется иной аффикс, выборочно извлеченный из репертуара формантов первичных дериватов. Следует подчеркнуть, что аффиксы первичных

---

[9] В приводимых схемах в круглые скобки взята структура соответствующего первичного деривата. Условные обозначения: П — префикс, С — суффикс, О — производящая основа, Ф — флексия.

дериватов, находясь в словесном контексте вторичных дериватов, имеют иное функциональное назначение — являются средством вторичной оценочной модификации.

В связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев нанизываемые форманты полностью совпадают с префиксальными и суффиксальными морфемами, используемыми при словопроизводстве первичных дериватов, мы не считаем целесообразным давать правила их идентификации в структуре слова. Особо будет оговорен лишь случай редупликации ядерных компонентов суффиксальных морфем.

Прием редупликации принадлежит к древнейшим словообразовательным операциям, широко используемым при словопроизводстве экспрессивной лексики и, в частности, вторичных дериватов. Наиболее часто редуплицируются знаменательные единицы — слова и их корни [10]. Собранный нами материал богато иллюстрирует случаи редупликации служебных морфем, прежде всего префиксов — схема П + (П + О): pře-pře-daleký, pře-pře-hrozný, pře-pře-jemný, pra-pra-starý, pra-pra-ctihodný, pra-pra-dávný, pra-pra-lehký, pra-pra-obyčejný, pra-pra-ožralý, pra-pra-hloupý, pra-pra-sladký. Зафиксированы также и факты многократной редупликации префиксов — схема П + П + (П + О); ср.: Má milá hovoří přepřepřejemným hlasem, Mahen. Měsíc, 1920-A; je zjevem u nás přepřepřevzácným, Herites. Ps. p. čáru, 1886-A. Дериваты данной структуры несут выразительную экспрессивную нагрузку; в разговорной речи они практически не употребляются, очевидно, в силу громоздкости своего строения [11].

Особый интерес представляют случаи редупликации суффиксальных морфем прилагательных со значением интенсификации признака.

Прежде, чем перейти к анализу примеров, мы считаем необходимым сделать следующее пояснение.

С нашей точки зрения, многофонемные суффиксы интенсификации типа -ičk-, -ink-, -ouč-, -ounk- и пр. целесообразно рассматривать не как монолитные единства, а как единство, включающее, с одной стороны, относительно автономный двухфонемный компонент VC, называемый нами ядерной морфемой (-ič-, -in-, -ouč-, -oun- и т. д. — в двух последних случаях V представлен дифтонгом); с другой стороны, остаточный компонент, в частности, -k-, определяемый нами как структуральная морфема. Обособление ядерных и структуральных морфем осуществляется на базе ассоциативного морфемного анализа [12].

---

[10] Ср., например, krásná, krásná chaloupka; pravda pravdoucí; bída bídoucí; krutokrutý; čiročirý; čistočistý; pouhopouhý; černočerný; pannopanna; krkouni krkatí; špinavec špinavá; в комбинации с суффиксацией, префиксацией: pouhopouhoučký, tichotichoučký, přesvatosvatý Čel. Dod.

[11] Ср. следующий случай многократного нанизывания: jsem z těch překrásných orangutanů ten nejnejnejpřekrásnější, R. pr., 25/IX-67.

[12] См. подробнее: Г. П. Нещименко. История именного словообразования в чешском литературном языке конца XVIII—XX вв. М., 1968.

Основанием для разграничения внешне монолитных фонемных комплексов служит их внутренняя функциональная неоднородность: так, ядерные морфемы являются носителями основного словообразовательного значения данной категории — значения степени качества (особенно отчетливо смыслоразличительная функция ядерных морфем обнаруживается при сопоставлении однокоренных словообразовательных дублетов типа maličký, malinký, maloučký, malounký); структуральные морфемы завершают оформление основы — в сочетании с парадигматическими окончаниями они сигнализируют принадлежность данных лексем к классу прилагательных.

Примечательной особенностью ядерной морфемы является и стабильность ее структуры при парадигматическом изменении слова. Аналогичная закономерность наблюдается и у сложных многофонемных аффиксов деминутивов. Здесь также наиболее стабилен двухфонемный компонент, непосредственно примыкающий к производящей основе и проходящий как стержень в неизмененном виде через все падежные словоформы. Приведем в качестве примера суффикс -ičk-(VC_1C), реализованный у деминутивов мужского рода в виде -íček-/-ičk-, в ж. р. — -ičk(a), в ср. р. — -íčk(o). Алломорф -íček-, традиционно выбираемый в качестве исходного для парадигмы мужского рода, фиксируется лишь в именительном единственного и отчасти в винительном единственного — для неодушевленных существительных, в остальных случаях фиксируется алломорф -ičk-, где -ek-, второй компонент суффикса, представлен в безвокальном виде e/ø. При склонении лексем данной структуры компонент VC_1 неизменен во всех словоформах, остаточный компонент имеет вид: V_1C(-ek-) — 3 словоформы, C(-k-) — 31 словоформа, C_2(-c-) — 5 словоформ (учитываются существительные всех трех родов).

Ниже проиллюстрируем случаи редупликации суффиксальных морфем[13]:

А. cel-ičký > celič-ič-ký PS^x expr.; každ-ičký > každič-ič-ký PS expr.; mal-ičký > malič-ič-ký PS^x expr.; nov-ičký > novič-ič-ký PS^x expr., $SSJČ^x$ expr.; pln-ičký > plnič-ič-ký (1809); sam-ičký > samič-ič-ký J; samotn-ičký > samotnič-ič-ký J, K; ten-ičký > teničič-ký J, K; drobn-ičký > drobnič-ič-ký J, K; hlad-ičký > hladič-ičký J; hol-ičký > holič-ič-ký J, K; krat-ičký > kratič-ič-ký J; malič-ič-ký > mal-ič-ič-ič-ký J (случай многократной редупликации).

Б. mal-inký > malin-in-ký PS expr., SSJČ expr.; cel-inký > celin-in-ký эксц. (1818).

В. mal-inký > mali-li-nký PS expr., SSJČ expr.; cel-inký > celi-li-nký эксц. (1862); mal-ičký > mali-li-čký PS expr., SSJČ expr.; mal-itký > mali-li-tký PS^x expr., $SSJČ^x$ expr.; mal-ink-atý > mali-

[13] Ссылки на словарные и другие источники даны в том случае, если соответствующие образования имеют ограниченную сферу употребления либо являются архаичными.

li-nkatý PS expr., SSJČ expr.; mali-li-nký > mali-li-li-nký J (многократная редупликация).

В случаях А и Б наблюдается в принципе сходное словообразовательное явление: образование вторичных дериватов осуществляется посредством дублирования двухфонемного компонента VC (-ič-, -in-), входящего в состав трехфонемного форманта со значением интенсификации признака -ičk-, -ink-.

В примерах типа В редуплицируется двухфонемный комплекс, представляющий собой контаминацию «осколочных» компонентов двух словообразовательных морфем: конечного согласного основы l и начального гласного суффикса интенсификации i — случаи редупликации дифтонга ou (суффиксы -oučk-, -ounk-) в имеющемся у нас материале практически не зафиксированы. Следует отметить, что возникновение указанной фонемной комбинации не является случайным симбиозом пограничных морфов, напротив, оно закономерно обусловлено стойкими контактами морфемы mal- с суффиксами интенсификации и, в частности, с формантами с начальным i. Примечательно, что прилагательное malý является своеобразным центром, фокусирующим деривацию в кругу прилагательных со значением интенсификации — от данного прилагательного образовано не менее 40 производных указанной семантики (в числе примеров типа В также преобладают образования с корнем mal-). Характерно, что по данным FS дериваты maličký и malinký характеризуются наиболее высокой фреквенцией в кругу прилагательных со значением интенсификации признака. Сказанное выше помогает понять, почему согласный l в соответствующем вокальном обрамлении не только становился объектом редупликации, но и превращался в сознании носителей языка во вполне правомочный, спаянный, словообразовательный формант, функционирующий в качестве вставной морфемы (см. ниже) при словопроизводстве вторичных дериватов усложненной структуры.

Редупликация как специфический словопроизводственный прием применяется и при словообразовании наречий; ср.: maličičko, rovničičko, hnedlininko, malininko, malilinko, malilička и др.[14]

Ниже будут проанализированы вторичные дериваты, включающие модифицирующие форманты различного фонематического строения — см. схемы П′+(П+О) и (О+С)+С′+Ф.

Префиксальная схема реализуется в структуре следующих прилагательных со значением интенсификации: pře-roz-milý, pře-rozto-milý, pře-vele-slovutný, pře-vele-důstojný, pře-vele-lepý, pře-vele-slavný, pře-vele-vážený и пр. Численность зафиксированных образований невелика, практически все они ныне архаичны.

---

[14] Словообразовательная структура большинства наречий может быть также истолкована как следствие конверсии соответствующих прилагательных (исключение составляют образования типа hnedlininko, адъективные корреляты которых отсутствуют).

Примечательно, что в функции нанизываемой морфемы у прилагательных используется исключительно префикс pře-, вносящий завершающий штрих в семантику лексики данной структуры: значение интенсификации признака доводится до максимального предела (ср. в контексте: říkával, že je roztomilá, náramně roztomilá, přeroztomilá, Paleček, 1876-A)[15].

Процедура нанизывания синонимичных префиксов со значением оценки отмечена и у наречий: prapranic, prapranikam, převeleslavně, přeroztomile и др. (в первых двух случаях представлена редупликация префиксальной морфемы).

Более широкую сферу употребления имеют вторичные дериваты, образованные посредством разнооформленных суффиксальных морфем. Ср.: dlouh-atý > dlouhat-ánský PS fam., SSJČ; drobou-li-nký > droboulink-atý PS SSJČ[x]; mal-ičký > maličk-atý PS, SSJČ; mal-inký > malink-atý PS, SSJČ и др. См. контексты: malinkaté vrtáky, kolibry a měřidla, z nichž mnohé lze vidět jen pod mikroskopem, Práce, 1961-A; přistoupíte-li blízko, hodně blízko, objevíte droboulinkatý nápis český, Čech. Humoresky, 1887-A; dlouhatánské psaní, čtyři stránky, N. Fr. Tři.

Исследование материала показало, что в функции нанизываемой морфемы наиболее часто выступает суффикс -at-, малопродуктивный формант первичных дериватов; рекомендуемые словарями эпохи Возрождения вторичные дериваты, образованные посредством нанизывания суффиксов -ičk-, -ink-, -oučk-, -ounk- (lehounčinký J, malinčičký Pal), в современном языке не употребляются.

Следует отметить, что у прилагательных со значением интенсификации признака процедура нанизывания представлена в классическом виде, поскольку стыки нанизываемых морфем не затемнены чередованиями.

При словопроизводстве вторичных деминутивов процедура нанизывания сводится, главным образом, к повторной суффиксации, осуществляющейся по схеме (О + С) + С + Ф либо (О + С) + + С′ + Ф. Подобная словообразовательная интерпретация приемлема для подавляющего большинства существительных м. р., некоторой части дериватов ж. р. — в структуре вторичных деминутивов ср. р. нанизывание морфем представлено в меньшей степени. Заметим, что операция нанизывания у деминутивных существительных, как правило, сопровождается чередованием на стыке «склеиваемых» морфем.

Рассмотрим реализации схем нанизывания морфем у деминутивных существительных.

Схема суффиксальной редупликации (О + С) + С + Ф реализуется при образовании вторичных деминутивов м. р. типа domeček,

---

[15] Своеобразные случаи нанизывания разнооформленных формантов зафиксированы у существительных: mladé dívky v superminisukních R. pr. 26/V-68 (super- + mini-); udělila mu i nový titul arcipranemehla, Rittersberg, Kronika, 1855-A (arci- + pra-).

kouteček и т. д., словообразовательная структура которых может быть интерпретирована как результат комбинации аффиксов -ek- + -ek- (с обязательным чередованием k/č на стыке морфем). Ср. цепочки: kout > kout-ek > kouteč-ek; strom > strom-ek > stromeč-ek; stůl > stol-ek > stoleč-ek; prapor > prapor-ek > praporeč-ek; dům > dom-ek > domeč-ek; ostrov > ostrův-ek > ostrůveč-ek; hmyz > hmyz-ek > hmyzeč-ek и многие другие.

Схема (О + С) + С' + Ф представлена у вторичных деминутивов, образовавшихся в результате комбинации синонимичных аффиксов различного фонематического строения. Так, для существительных м. р. это комбинация суффиксов -ík- + -ek- (с обязательным чередованием k/č на стыке морфем): hadr > hadř-ík > hadříč-ek; hoch > hoš-ík > hošíč-ek; vítr > větř-ík > větříč-ek; kostel > kostel-ík > kostelíč-ek; koš > koš-ík > košíč-ek; bratr > bratř-ík > bratříč-ek; kufr > kufř-ík > kufříč-ek; pokoj > pokoj-ík > pokojíč-ek.

Редкая комбинация малопродуктивного суффикса -ec- и форманта -ek- (с чередованием c/č на стыке морфем) отмечена у вторичных дериватов, включенных в следующие деминутивные цепочки: prapor > prapor-ec > praporeč-ek; prst > prst-ec > prsteč-ek; krb > krb-ec > krbeč-ek и некоторые другие (количество примеров ничтожно). Дериваты с -ec современные словари, как правило, дают с ограничительными пометами — так, например, SSJČ помечает praporec как книжное, устарелое; пометой малой употребительности сопровождает PS существительное prstec.

Известны и другие случаи нанизывания морфем; ср., например, -ek- + -ínek-, -our- + -ek- и т. д.: kus > kousek > kouštínek (с чередованием sek/šøt), Němec > Němčour > Nemčourek и пр.

Нанизывание разнооформленных суффиксальных морфем используется и при образовании вторичных деминутивов ж. р. — мы имеем в виду, в частности, комбинацию морфем -k- + -ičk- (с обязательным чередованием согласных на стыке морфем: k/č, žk/žt', sk/st'): jáma > jam-ka > jamč-ička; srna > srn-ka > srnč-ička; žíla > žil-ka > žilč-ička; kniha > kníž-ka > knížt-ička; stuha > stuž-ka > stužt-ička; mísa > mis-ka > mist-ička и др. (дериваты подобной структуры рекомендовались и словарем Й. Юнгмана; ср., например, chaloupčička < chaloupka и т. д.).

Интерпретация через процедуру нанизывания была допустима ранее и для других деминутивов ж. р.; ср.: hvězdička, rybička, travička, kaplička, košilička и др., поскольку по данным словарей в истории чешского языка приведенным существительным соответствовали первичные деминутивы на -ice. Приведем примеры цепочек (комбинация морфем -ic- + -k- так же, как и в предыдущих случаях, сопровождается чередованием c/č): ryba > ryb-ice PS*, SSJČ† > rybič-ka PS, SSJČ; tráva > tráv-ice PS* > travička PS, SSJČ; kaple > kapl-ice PS†, SSJČ† > kaplička PS, SSJČ. Впоследствии данный словообразовательный тип полностью утратил продуктивность, поэтому для современного языка истолкование

структуры образований типа rybička и т. д. как результата процедуры нанизывания является неприемлемым.

Как мы могли видеть, операция нанизывания нередко привлекалась для структурного преобразования первичных деминутивов, образованных с помощью морфем либо полностью непродуктивных (-ec-, -ic-), либо со снижающейся продуктивностью (суффикс -ík-).

Б. Операция вкладывания морфем.

Операция вкладывания морфем представляет собой специфическую словопроизводственную процедуру, сущность которой заключается в использовании особой категории словообразовательных формантов, называемых нами вставными. Поскольку понятие «вставной морфемы» в известной нам литературе детально не разрабатывалось, считаем целесообразным определить правила ее идентификации в структуре слова. При идентификации вставных морфем в морфематической структуре слова необходимо учитывать следующие их дифференциальные признаки:

1. Вставные морфемы вычленяются в структуре вторичных дериватов в результате структурно-семантического противопоставления последних соответствующим первичным дериватам; ср. niz-oučký > nizouč-ič-ký, ten-oučce > tenouč-ič-ce, nož-ka > nož-ič-ka.

2. Вставные морфемы представляют собой автономные словообразовательные форманты, принадлежащие к разряду модифицирующих оценочных аффиксов; их функциональное назначение заключается во вторичной модификации — фиксации степени проявления признака.

3. Вставные морфемы имеют стабильную двухфонемную структуру VC (преимущественно), реже CV; при парадигматическом изменении слова они не альтернируются (примечательно, что в ряде случаев вставные морфемы могут служить объектом добавочной редупликации).

4. В отличие от суффиксов и префиксов вставные морфемы не окаймляют производящую основу, а вклиниваются внутрь ее структуры (отсюда и их название «вставные»).

5. Вставные морфемы не имеют строго закрепленной позиции в составе производящей основы; они могут встречаться как на месте морфематического шва, являясь своего рода естественным разграничителем соседних морфем, так и внутри морфемы (в частности, корня, суффикса).

Использование вставной морфемы для словопроизводства некоторой части экспрессивной лексики позволяет нам говорить о проявлении тенденции инкорпорации в славянском словообразовании [16].

---

[16] Упоминание о подобном способе словообразования мы находим в книге В. Махека (V. Machek. Studie o tvoření výrazů expresivních, V Praze 1930), где в числе морфологических средств экспрессивной лексики он называет «вкладывание целых слогов внутрь слова» (стр. 15). Понятием вставной морфемы пользуются и некоторые современные исследователи

Процедура вкладывания морфем нами наблюдалась на материале прилагательных, наречий со значением интенсификации признака, а также деминутивных существительных. Более очевидным ее применение является у прилагательных и наречий, более спорным — у деминутивов. Опорной базой данной процедуры служат первичные дериваты суффиксального типа.

Набор вставных морфем, установленный для вторичных адъективов, включает форманты -ič-, -in-, -an-, -li- (у наречий используются -ič-, -in-, -li-), большинство из которых (за исключением -li-) имеет соответствующий структурный аналог среди ядерных морфем прилагательных со значением интенсификации.

С нашей точки зрения, стимулом для появления вставных морфем как особой разновидности словообразовательного форманта послужила операция нанизывания, в частности, редупликация морфем, нарушившая монолитность единого многофонемного суффиксального комплекса и выделившая из его состава ядерную морфему как активный словообразовательный компонент.

При образовании вторичных прилагательных и наречий вставные морфемы могут занимать следующие позиции: между ядерной морфемой и структуральной; внутри ядерной морфемы — в этом случае вставная морфема расщепляет ядерную, вклиниваясь между гласным и согласным; между корнем и ядерной морфемой. При этом было установлено наличие вполне определенной зависимости между видом вставной морфемы и занимаемым ею местом. Так, форманты -ič-, -in- встречаются в идентичной позиции: вклиниваются в шов между ядерной и структуральной морфемами:

(-ič-) drobouč-ič-ký J; nizouč-ič-ký J; tenouč-ič-ký J; uzouč-ič-ký K; novouč-ič-ký J; lehouč-ič-ký J, K. Аналогичного характера диалектные образования milučičký PS, samučičký PS* dial., malučičký PS dial., VT*.

(-in-): běloun-in-ký PS, SSJČ řidč.; droboun-in-ký PS, SSJČ; hezoun-in-ký PS, SSJČ*; lehoun-in-ký PS, SSJČ*; maloun-in-ký PS, SSJČ*; slaboun-in-ký SSJČ řidč.; uzoun-in-ký PS*; mlad'oun-in-ký PS; tenoun-in-ký PS. Ср. вариантные образования běloninký PS, SSJČ*; maloninký PS, SSJČ*; slaboninký PS, SSJČ řidč. Далее: drobouč-in-ký J, K; samič-in-ký J; malič-in-ký Pal.

Формант -li- встречается в иной структурной ситуации: он рассекает ядерную морфему, отделяя друг от друга гласный и согласный компоненты. Ср.: drobou-li-čký K; malou-li-čký (1801); malou-li-nký PS, SSJČ*; bled'ou-li-nký PS, SSJČ; hezou-li-nký PS; drobou-li-nký PS, SSJČ; slad'ou-li-nký PS*, SSJČ řidč.; měkou-li-nký (современная разговорная речь); tenou-li-nký PS, SSJČ řidč.; uzou-li-nký PS, SSJČ řidč.; krat'ou-li-nký PS*, SSJČ; lehou-li-nký PS*, SSJČ*; slabou-li-nký PS, SSJČ. Большинству приводимых образо-

---

адъективного словообразования в славянских языках. Мы имеем в виду, в частности, чехословацких лингвистов Зд. Главсу и М. Гайекову.

ваний соответствуют варианты malulinký PS, SSJČ*; drobulinký PS; krat'ulinký PS*. В единичном случае морфема -li- вставляется перед конечным согласным основы: ma-li-lounký SSJČ.

Мы не считаем предложенную выше словообразовательную интерпретацию строго обязательной для всех возможных случаев: весьма вероятно, что многообразие языкового материала подскажет иные решения. Тем не менее, как нам представляется, вычленение формантов -ouč-, -oun-, -oul- и т. д. (по типу VC) в структуре приводимых выше дериватов вряд ли правомерно — подобная интерпретация затруднила бы словообразовательный анализ большой группы дериватов, например, bělouninký, drobouninký, hezouninký и т. д., поскольку соответствующие основы типа bělinký, drobinký, hezinký и пр. в современном языке не представлены. Выделение вставных морфем -ouč-, -oun-, -oul-, -ěn-, -áč- допустимо лишь в единичных случаях: maliňoučký VT, maliňounký PS*, maliněnký PS*, plniňáčký PS* fam.

Наконец, для форманта -an- характерна позиция между производящей основой и ядерной морфемой. Ср. širok-an-ánský PS, SSJČ; velik-an-ánský PS fam., SSJČ; ukrut-an-ánský SSJČ; vysok-an-ánský PS, SSJČ; dlouh-an-ánský SSJČ. В данном случае вставная морфема имеет практически тождественную структуру с ядерной морфемой, отличаясь от нее лишь количественной характеристикой гласного. В связи с этим указанные дериваты могут одновременно рассматриваться как результат редупликации ядерной морфемы.

Примечательно, что наиболее индифферентным к фонематической структуре производящего слова является формант -li-, фиксируемый у дериватов, не имеющих в своей структуре согласного l; в остальных случаях консонантные компоненты вставных и ядерных морфем совпадают.

Небезынтересны факты комбинирования процедур вкладывания и нанизывания морфем: mal-ounký > malou-li-nký > maloulin-in-ký VT, maloun-in-in-ký PS, SSJČ*; hezu-li-li-nký PS dial.; velik-an-an-ánský PS fam., dlouh-an-an-ánský PS fam.; hrozit-an-an-ánský VT. Явление редупликации вставной морфемы красноречиво свидетельствует о правомерности вычленения вставной морфемы как обособившегося компонента структуры слова. Использование вставных морфем отмечается и при словопроизводстве вторичных наречий; ср.: drobounince, lehounince, malouninko, hrzoulinko, droboulince и др.

Проведенное статистическое обследование позволило установить, что в чешском литературном языке образование вторичных прилагательных посредством редуплицируемых или же вкладываемых морфем -li-, -in-, -ič- осуществляется от 47 первичных дериватов, последние в свою очередь образованы от 25 производящих основ. Вторичные дериваты с -an- образуются от 10 первичных дериватов, восходящих к 6 производящим основам. У наре-

чий зафиксированы 22 деривата (производные с -an- здесь не представлены), образованные от 15 производящих основ.

Как видим, словопроизводственная база вторичных прилагательных со значением интенсификации является крайне узкой. Вторичные дериваты с морфемами -li-, -in-, -ič- представлены в деривационных цепочках с исходными базами в виде прилагательных: malý (21 вторичный дериват), drobný (10 дериватов), jediný, krátký (по 6 дериватов), bledý, slabý, tenký (по 4 деривата), lehký, celý, plný, samý (по 3 деривата), hladký, mladý, milý, nový, úzký (по 2 деривата), bílý, holý, každý, křehký, měkký, nízký, samotný, sladký (по 1 деривату). Таким образом, вторичные дериваты группируются в виде относительно разветвленных пучков вокруг ограниченного числа исходных производящих основ. См. табл. 1 [17].

Таблица 1

Морфема	Количество вторичных дериватов	Количество производящих основ — первичных дериватов	Количество исходных деривационных баз
-ič-	22	22	17
-in-	20 (16)	16	13
-li-	32 (26)	26	16
-an-	11 (10)	10	6

Как видно из таблицы, в чешском языке зафиксировано наибольшее количество дериватов с морфемой -li-. Примечательно, что вторичные дериваты различной структуры, т. е. с различными (из числа указанных) морфемами могут образовываться иногда от одной и той же производящей основы — в целом на одну производящую основу приходится приблизительно 1,3 деривата. Так, 12 основ (uzounký, mlad'ounký, tenounký, slabounký, lehounký, bělounký, hezounký, drobounký, malounký, malinký, celinký) допускают использование морфем -li-, -in-, две основы (maličký, maloučký) сочетаются с -li-, -ič- и т. д.

Наибольшую фреквенцию в современном чешском языке имеют дериваты с -li-, затем с -in- и -an-. В числе вторичных дериватов-наречий наиболее многочисленными являются образования с -li-, дериваты с -ič- практически все архаичны.

Операция вкладывания морфем у деминутивов имеет свою специфику, проявляющуюся как в величине набора морфем, так и в позиции этих морфем в структуре слова.

Исследование материала показало, что инвентарь вставных морфем у деминутивов несколько обширнее, чем у прилагатель-

[17] Учтены дериваты как современного периода, так и эпохи Возрождения. Цифры в скобках получены после вычета фонетико-стилистических вариантов типа malulinký, maloninký, drobulinký, běloninký.

ных и наречий, однако в целом вид вставного форманта у деминутивных существительных различной родовой принадлежности весьма единообразен (отличия касаются в основном квантитативной характеристики гласных).

Вставные морфемы вторичных деминутивов занимают в структуре слова стабильную позицию: они вклиниваются в морфематический шов, разграничивающий производящую основу и аффикс первичного деривата. Рассмотрим ниже некоторые конкретные случаи использования вставных морфем у деминутивных существительных:

Мужской род: vrch > vrš-ek > vrš-íč-ek; bažant > bažant-ek > bažant-íč-ek; syn > syn-ek > syn-áč-ek; polštář > polštář-ek > polštář-íč-ek [18]; prst > prst-ek > prst-íč-ek, prst-ín-ek; kus > kous-ek > kous-ín-ek [19]; list > líst-ek > list-én-ek; strýc > strýč-ek > strýč-án-ek; strejc > strejč-ek > strejč-íč-ek, strejč-ín-ek.

Женский род: ryba > ryb-ka > ryb-ič-ka; noha > nož-ka > nož-ič-ka; chvíle > chvil-ka > chvil-ič-ka, chvil-án-ka, chvil-in-ka; bublina > bublin-ka > bublin-eč-ka; díra > dír-ka > dír-eč-ka; dřímota > dřímot-ka > dřímot-in-ka, dřímot-ěn-ka; dcera > dcer-ka > dcer-uš-ka, dcer-un-ka.

Следует учитывать, что словообразовательная интерпретация одной и той же лексемы в истории чешского языка может меняться в зависимости от эволюции структурно-семантических ассоциаций, связывающих данное слово с окружающей его лексикой. Иллюстрацией сказанного, в частности, служит вторичный деминутив rybička, структура которого первоначально могла интерпретироваться как результат нанизывания (при соотнесении с первичным дериватом rybice), в настоящее время единственно приемлемой является мотивировка через rybka, т. е. через вкладывание морфемы.

Средний род: oko > oč-ko > oč-íč-ko, oč-ín-ko; čelo > číl-ko > čel-íč-ko; poleno > polín-ko > polín-eč-ko; hnízdo > hnízd-ko > hnízd-eč-ko; kladivo > kladív-ko > kladív-en-ko; ucho > uš-ko > uš-in-ko.

Как видим, вторичные дериваты отличаются от первичных наличием промежуточной двухфонемной прокладки, предшествующей аффиксу первичного деривата.

В единичном случае фиксируется использование вставной морфемы -lí-: kloboulínek PS* (klobouk > klobounek > kloboulínek), вклинивающейся внутрь ядерной морфемы — с известной оговоркой выделение вставного форманта -lí- допустимо и для деминутива kousilínek PS*).

---

[18] Словообразовательная структура некоторых лексем допускает двойственную интерпретацию: так, например, вторичный дериват polštáříček одновременно может анализироваться как результат использования либо вставных, либо нанизываемых морфем: в первом случае производящая основа — polštářek, во втором — polštářík.

[19] Интересен случай редупликации вставной морфемы; ср.: kous-in-ínek (редуплицируемый формант представлен в кратком варианте).

Деминутивные деривационные цепочки, как правило, замыкаются образованием вторичных производных фазы $Д_2$, лишь в некоторых случаях отмечается дальнейшее линейное развертывание ряда.

Вторичные деминутивы третьей и четвертой степени обычно образуются посредством редупликации компонентов структуры дериватов фазы $Д_2$; ср.: chvíle > chvil-inka[20] > chvil-in-in-ka, chvi-li-li-nka; chvíle > chvil-ička > chvi-li-li-čka и некоторые другие, функционирующие в современной разговорной речи. Здесь же отмечен и дериват kousinínek, включающий редуплицированную вставную морфему -in-, воспроизводимую в кратком варианте. Аналогично интерпретируется деминутив broučinínek, отмеченный в следующем контексте: A broučci už neměli stání. Brouček a Broučínek, Broučinínek, Broučíček, Broučci, 121; tu mu přiběhl Broučínek naproti: «Tatínku, tatínku, máme malinkého Broučinínka», Ibid., 113 (см. цепочку: brouk > brouček > brouč-ín-ek, brouč-íč-ek > brouč-in-ínek).

Любопытные примеры редупликации ядерной морфемы содержит словарь Й. Юнгмана; ср.: větříčíček (vítr > větřík > větříček > větříčíček); prášíčíček (prách > prášek > prášíček > prášíčíček). Оба приводимые деривата, несомненно, относятся к области лингвистического экспериментирования — их появление инспирировано родственными процессами адъективного и адвербиального словообразования, где прием редупликации более продуктивен. Ср. также: pahrbečíček J (pahrb > pahrbek > pahrbeček > pahrbečíč-ek), иллюстрирующий использование вставной морфемы -íč-.

По свидетельству носителей языка, употребление вторичных дериватов усложненной структуры отмечается преимущественно в детской речи, а также в речи взрослых, адресованной детям [21]. Примечательно, что Я. Гебауер указывает следующий случай многократной редупликации: domečečeček [22]. Однако обычно для нагнетания значения деминутивности используются синтаксические средства, в частности, комбинация деминутивов типа $Д_1$ или $Д_2$ и прилагательного (последнее нередко содержит в своей структуре аффиксы со значением интенсификации признака).

Ниже мы приводим сводную таблицу, отражающую набор вставных морфем, зафиксированных у прилагательных, наречий со значением интенсификации признака, а также деминутивных существительных.

---

[20] Ср. редупликацию в имени собственном: I Cílko, Cílinko, Cililinko, Št. Alína — последовательно расположенные в контексте деминутивы фиксируют нагнетание эмоциональной напряженности.

[21] Экспрессивную насыщенность речи, обращенной к детям, отчетливо передает следующий контекст: «Nu, nu, miláčku, pročpak bychom plakaly? Napapané jsme, spinčinkat budeme. Zdeňka Bezděková. Lásky nedočkavé», Praha, 1970. Пример включает и вторичный дериват-глагол, образованный дублированием форманта: spát > spinkat > spink/č + -ink- + -at-.

[22] J. Gebauer. Historická mluvnice, d. I. Praha, 1896.

Таблица 2

Прилагательные со значением интенсификации признака	Наречия со значением интенсификации признака	Деминутивные существительные		
		м. р.	ж. р.	ср. р.
-ič-	-ič-	-íč-	-íč-	-ič-
-in-	-in-	-eč-	-eč-	-eč-
-an-	—	-áč-	—	—
-li-	-li-	-ín-	-ín-	-in-
-áč- [23]	—	-án-		
		-én-	-en-	-ěn-
		-lí-	—	-ul-
				-uš-

Не все указанные в таблице форманты в равной степени употребительны. Так, у деминутивов наиболее репрезентативными (по количеству образований) являются вставные морфемы с согласным č (главным образом, -ič-, -eč-); у наречий — с l (-li-); у прилагательных — морфемы -ič-, -li- (однако наиболее высокие частотные показатели имеют дериваты с морфемами -li-, -in-).

Изучение данных таблицы позволяет сделать вывод о значительном сходстве инвентаря вставных морфем, привлекаемых для словопроизводства прилагательных, наречий и существительных, что в свою очередь дает нам возможность говорить о наличии единой системы средств словообразования вторичных дериватов в рамках исследуемой лексики.

2. КОМПЛЕКС СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР, НАПРАВЛЕННЫХ НА НАРОЧИТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДЯЩЕГО СЛОВА

Как отмечалось выше, посредством упомянутых процедур нейтральные в стилистическом отношении лексемы транспонируются в иной стилистический пласт — в разговорную речь или жаргон.

Словопроизводство однокоренных стилистических синонимов нередко сопровождается применением своеобразной словообразовательной техники. По своему характеру привлекаемые способы структурных преобразований весьма разнообразны [24], при-

[23] В чешских диалектах у прилагательных со значением интенсификации отмечены вставные морфемы типа -eč-, -en- (malun-eč-ký, bilun-eč-ký, biluš-en-ký, bilun-ěn-ký).

[24] За рамками настоящей работы мы оставляем рассмотрение явления, суть которого заключается в универбизации, т. е. в преобразовании комплексных наименований, например, словосочетаний в дериваты суффиксального

чем некоторые из них значительно отличаются от бытующих в чешском литературном языке традиций и норм словообразования. В качестве некоей общей черты, объединяющей рассматриваемые нами словопроизводственные трансформации, можно назвать преднамеренно «вольное» обращение со структурой слова, граничащее подчас с ее сознательной деформацией. Образующиеся в этом случае дериваты несут выразительный экспрессивный заряд.

К числу наиболее характерных словообразовательных приемов указанного типа прежде всего относится комплекс словопроизводственных трансформаций, связанных с усечением производящей основы. Данная процедура используется либо как самостоятельная словообразовательная операция, либо в комбинации с другими приемами, например, меной суффикса.

Первый случай иллюстрируют следующие примеры: а) medvěd — méd'a, režisér — réža (иногда с дифтонгизацией rejža, однако обычно дифтонгизация не наступает), ředitel — říd'a, večeře — véča, frajer — frája, katecheta — kát'a, katastrofa — kát'a, svačina — sváča, tragédie — trága, profesor — prófa, dvojka — dvója, vyznamenání — výzo, vzrušení — vzrůšo, učitel (učitelka) — úča [25], mučednice — múča; б) bezvadně — bezva, senzačně — senza, úžasně — úža. Ср. также: at' tě ani nena (nenapadne).

Как видим, в обоих типах примеров наблюдается произвольное рассечение структуры производящей основы, не сообразующееся с местом морфематического шва. В отличие от дериватов типа б, морфологически аморфных, дериваты типа а морфологически оформлены: они распределены по соответствующим словоизменительным классам (склоняются по твердой разновидности); в качестве дополнительного словообразовательного форманта у них выступает и последовательно проведенное продление корневого гласного.

Второй случай иллюстрируют следующие примеры: а) četník — četňas, dělník — dělňas, parník — paras, džentlmen — džentlas, fašista — fašoun, chytrák — chytrouš, pacient — pacouš, plovárna — plovka, umývárna — umývárka, chromec — chromák, chromajzl, sólista — sólák, tranzistor — tranzist'ák, školník — školda, herečka — herenda, zpěvačka — zpěvanda (шутливое kominda 'herečka hrající komické role'). В приведенных примерах производящая основа рассекается по морфематическому шву, отделяющему корень от аффикса; нейтральный книжный суффикс заменяется стилистическим синонимом; б) policista — polda, chata — chajda, služka —

типа. Данный способ словообразования очень продуктивен в разговорной речи; многие дериваты получили право гражданства и в кодифицированном языке. Ср. примеры: celovečerák — celovečerní film, děcák — dětský domov, dramat'ák — dramatický kroužek, krat'as — krátký film, klad'ák — kladný hrdina, kožák — kožený kabát, kulturák — kulturní dům, pedák — pedagogická vysoká škola, spacák — spací pytel, závodka — závodní jídelna.

[25] К нему дериват učka.

slunda, legitimace — legitka, kamarád — kámoš, agronom — agroš, flegmatik — flegmoš, chuligán — chuloš, chuligouš, ateliér — at'as, flaška — fla(n)děra, profesionál — profík. Данные примеры демонстрируют произвольное усечение основы, не совпадающее с естественными границами морфем.

Особо следует оговорить случаи, когда усечение структуры слова комбинируется с изменением способа словообразования данной лексемы — так, в приводимых ниже примерах словосложение заменяется суффиксацией; ср.: gramorádio — gramec, dějepis — děják, kilometr — kilák, magnetofon — magnet'ák, tělocvik — tělák, zeměpis — zemák, mikrofon — mikrouš.

Ярким примером произвольной структурной модификации являются случаи искажения структуры слова, его намеренной деформации[26]: biograf — bind'as, cvičeni — cvigro, sestra — ségra, štěstí — štígro, člověk — člov(b)rda, čeština — čénina, gymnasium — gympl, zeměpis — zempl, kytara — kajtra, matematika — matika, školník — školda, školábr, slaboch — slabingr.

Трансформация структуры производящих лексем, характерная для данного способа словопроизводства, не является регулярной и не соответствует существующим в чешском языке нормам морфонологических чередований.

■

Проведенное исследование позволило выявить некоторые специфические процедуры, характерные для словообразования экспрессивной лексики в чешском языке. Анализ материала показал, что образование броских, насыщенных экспрессией лексем сопряжено с применением необычных словопроизводственных приемов, допускающих относительно «вольное» обращение со структурой производящего слова. Важно подчеркнуть, что указанные приемы применяются не спорадически, они зафиксированы относительно большим количеством примеров и, следовательно, в известной мере являются регулярными, пусть и локально ограниченными словообразовательными операциями. Сказанное выше дает нам основание квалифицировать рассмотренные в работе словопроизводственные процедуры как своеобразные тенденции чешского словообразования. Применение небанальных структурных трансформаций позволяет экономно, без привлечения дополнительных лексических средств, лишь средствами словообразования фиксировать эмоциональное восприятие человеком окружающего его мира.

---

[26] Прием произвольной модификации структуры производящей лексемы нередко используется в языке произведений художественной литературы; ср. Je tak maloudrnynký, jako bambule sněhu, Klicpera. Dvojčata, 1825-A; malinkrlinkynkou opičku dostal (т. е. слегка опьянел.— *Г. Н.*), J. N. Štěpánek. Div. X, 1824-A; To se ví, maloudrlinkou, za korunku, Herrmann. O živých, 1928-A.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

FS	— J. Jelínek, J. V. Bečka, M. Těšitelová. Frekvence slovních druhů a tvarů v českém jazyce, Praha, 1961.
V + W	— J. Voskovec, J. Werich. Hry osvobozeného divadla, Praha, 1954.
Vl.	— Vlasta (časopis).
R. pr.	— Rudé právo.
Štěp.	— J. N. Štěpánek. Octář, Alína, Praha, 1839.
Mršt. Poh. m.	— V. Mrštík. Pohádka máje, Praha, 1913.
A.	— Лексикографический архив Института чешского языка ЧСАН.

А. И. ТОЛКАЧЕВ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАИМСТВОВАННЫХ ГРЕКО-ХРИСТИАНСКИХ ИМЕНАХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Прежде чем излагать тему доклада, считаем необходимым сделать следующие предварительные замечания. 1) В качестве основы для доклада послужили материалы, собранные в древнерусских (славяно-русских) календарных текстах (месяцесловы, минеи) и в оригинальных памятниках древнерусского языка XI—XV вв. (грамоты, записи и приписки писцов, летописи); греческий материал извлечен из календарных текстов (рукописи Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, издания Ватиканских рукописей в «Византийском временнике», т. XVII. М., 1960). 2) Ввиду ограниченных рамок доклада имеющийся в нашем распоряжении материал из памятников приводится в скромных размерах; по той же причине мы не указываем литературу предмета. 3) В докладе будет дано фонетическое, а не историко-фонологическое описание фактов, поскольку описание исходного греческого материала мы можем дать в фонетическом плане.

■

Греко-христианские личные имена, проникшие в древнерусский язык, дают обширный материал для суждения о судьбе русских заимствований из греческого языка вообще. Вместе с тем они лишний раз подтверждают и иллюстрируют действие основных законов древнерусского языка, известных нам в результате изучения других данных.

Разумеется, влияние фонетической (и грамматической) системы древнерусского языка сказывается на всех без исключения греческих (и не только греческих) заимствованиях, но в именах оно проявляется более ярко и наглядно. Это связано с особенностями проникновения последних в древнерусский язык. Известно, что выбор имени новорожденному в Древней Руси и позже (в крестьянской среде — до нач. XX в.) определялся не вкусами родителей ребенка, а датой его рождения: давалось имя того святого, который поминался церковью в день рождения или день крещения ребенка. В результате этого основная масса греко-христианских имен представленных в их официальном списке — месяце-

слове, вошла, в отличие от многих других грецизмов, в древнерусский народный язык. Последнее подтверждается тем, что характерные для народной речи уменьшительные имена, известные нам по памятникам XII—XV вв., представлены от нейтральных форм большинства греко-христианских имен. Таким образом, проникновение значительной части греческих личных имен в народную речь определило их более тесную связь с русским языком, что позволяет более наглядно представить пути влияния древнерусского языка на фонетику греческих заимствований.

Греческие личные имена проникли в древнерусский через посредство старославянского языка. Их судьбу на почве старославянского, а затем древнерусского языка определяли два момента: 1) исходный пункт истории, связанный с процессом образования первоначальной звуковой формы имен при переходе их из греческого языка в славянский, и 2) дальнейшая эволюция их на почве славянских языков. Предлагаемый доклад посвящен обзору второго этапа в развитии греческих имен. Относительно их исходной звуковой формы мы ограничимся лишь общими замечаниями.

Греческая официальная антропонимика перешла в старославянский язык в основном через письменность в результате «перевода» имен в составе греческих месяцесловов и других календарных текстов средствами старославянского письма. Меньшую роль в ее распространении играли другие, некалендарные тексты со вкрапленными в них христианскими именами.

Литературно-письменный путь усвоения данного круга заимствованной лексики предполагает, что в этом процессе играли роль как письменное изображение данного слова в греческих текстах и передача их средствами славянской графики, так и реальное его звучание в греческом, а затем в старославянском языке. Взаимоотношения между этими элементами были различны и могут быть сведены к следующим основным случаям:

1. Греческие письменные знаки имеют в качестве параллелей в старославянском письме соотносительные знаки, а греческим звукам соответствуют в славянском языке те же звуки, то есть звуковые элементы со сходными основными фонетическими показателями, хотя и с некоторыми отличиями в оттенках, например: греч. β — слав. *в*, греч. υ — слав. v; греч. α — слав. *а*; сюда же, видимо, относится греч. υ (=ü) — слав. у (=ü).

2. Знаки греческого и славянского письма не соотносятся, а их звуковые эквиваленты совпадают: греч. ει — слав. н (I), греч. *i* — слав. i.

3. Знаки греческого и славянского письма соотносительны, а их звуковые эквиваленты различаются: греч. δ — слав. д, греч. δ — слав. d, напр. греч. Δημήτριος — слав. Димитрии (Д=d). Сюда же относится греч. ϑ (=θ) — слав. т (=t) в известных южнославянских текстах; у восточных славян выступает ѳ, позднее ф (=в обоих случаях f).

4. Знаки греческого и славянского письма соотносительны, но греческий звуковой эквивалент не имеет в славянском языке вообще никакой параллели: греч. ф (=f) — слав. ф (=ø).

Приведенные наиболее общие случаи охватывают целый ряд трудных примеров соотношения знаков греческого и славянского письма и их эквивалентов, например вопрос о твердых и мягких, долгих и кратких согласных, k, g, x перед гласными переднего ряда в греческом языке и их соответствиях в старославянском, вопрос о соотношении греческих αι—ε и славянских ѣ—е и их звуковых эквивалентов и др. Некоторые из этих вопросов будут рассмотрены ниже.

Итак, на почве старославянского, а затем древнерусского языка греческие имена получили определенное звуковое оформление, которое характеризовалось тем, что 1) большинство звуков греческого языка передавалось определенными звуками старославянского, — соотносительными (обычный случай) и несоотносительными, например: греч. δ(δ) — слав. d (д); 2) некоторые звуки греческого языка усваивались особо: это f, которое у восточных славян выступает в соответствии с греческим f, θ (граф. φ, ϑ), и смягченные k′, g′, x′ в соответствии с греческими k, j, x (граф. κ, γ, χ) перед гласными переднего ряда; сюда не относится звук ü, поскольку он был известен в звуковом составе древнерусского языка старшего периода, о нем см. ниже; 3) разумеется, звуки старославянского и древнерусского языков, не имевшие параллелей в греческом языке, в процессе субституции звуков, за редкими исключениями, не участвовали.

Получив на почве древнерусского языка (через посредство старославянского) исходную форму, греческие имена стали изменяться, приспособляясь к звуковой (и грамматической) структуре славянского слова и подчиняясь всем фонетическим законам, действовавшим в древнерусском языке в то время. Фонетические изменения в заимствованных греческих именах были многочисленны и разнообразны, но при внимательном изучении их выявляется, что значительное число их связано со структурой древнерусского слова. Основная причина этого — в несовпадении фонетической структуры греческого имени со структурой древнерусского слова.

Признаками слова древнерусского языка, определявшими фонетическую эволюцию греческих заимствований, были следующие: 1) структура слога, 2) типы сочетаний звуков внутри слога и на стыке слогов, 3) взаимоотношения между слогами в слове, 4) некоторые фонетические явления и связанные с ними звуковые комплексы, характерные для слова в целом. Были, правда, и другие изменения, например, изменения, не зависимые от структуры слова и связанные со звуковым составом языка, именно с усвоением, а по говорам — с заменой своим звуком, чуждого русскому языку звука f. Наконец, следует отметить, что в известных случаях в заимствованных именах отражаются фонетические процессы, имевшие место в самом греческом языке.

I. СТРУКТУРА СЛОГА

Из всех указанных факторов фонетических изменений греческих имен на почве древнерусского языка самым важным является структура слога и взаимоотношение слогов. Структура слога, как известно, играла ведущую роль в праславянском языке, основные изменения которого связаны именно с этой речевой единицей; это значение она сохранила и позже.

В древнерусском языке старшего периода, до падения редуцированных гласных, для структуры слога были характерны следующие унаследованные из праславянского языка правила (признаки): 1) восходящая звучность; 2) открытость слогов (данное правило было частным проявлением первого и заключалось в том, что слог оканчивался самым звучным, слогообразующим элементом — гласным, а в некоторых славянских языках также слоговым согласным); 3) определенный порядок расположения всех звуков согласно общей схеме: фрикативный — взрывной — сонорный согласный — гласный, например: стра-хъ, бра-тъ и т. п. Это правило было, в сущности, вариантом, другой формулировкой первого. Исключениями из этого правила были:

1. Сочетания с согласным v, перед которым могли быть и фрикативные и взрывные (аффрикаты) согласные, то есть элементы разной по сравнению с v звучности, большей, меньшей и равной: двьри, твои, квасъ, гвоздь, цвѣтъ, звонъ, свои, свобода и т. п. Некоторые группы с понижающейся звучностью (взрывной+v, аффриката+v) объясняются тем, что исторически они восходят к сочетаниям согласных с повышающейся звучностью: цв— < *kv, зв— < *gv—; звонъ < *ghvonos или *svonos.

2. Слоги с плавным r, l (вълна, вьрхъ). В отношении этих звуков неясно — относятся ли они к предыдущему или к последующему слогу. Учитывая данные современного русского языка, мы можем допускать для древнерусского слогораздел после плавного (въл-на, вьр-хъ), но, предполагая универсальность закона открытых слогов в древнерусском языке, предпочитаем ставить слогораздел перед плавным (въ-лна, вь-рхъ). Однако, поскольку в последнем случае получались часто консонантные группы с понижающейся звучностью, то мы вынуждены будем вслед за В. Н. Сидоровым допускать, что плавные *р*, *л* в древнерусском языке в данных сочетаниях были слоговые и образовывали самостоятельный слог (vъ-l̥-na, vь-r̥-хъ и т. п.).

Указанные особенности в строении слога древнерусского языка определили судьбу слогов в заимствованных греческих именах. Если их структура не отличалась от структуры слогов древнерусского языка, то никаких изменений данного характера в них не происходило. Таковы слоги с одним согласным и последующим гласным или же с двумя и тремя согласными, расположенными по принципу восходящей звучности: а) Агафонъ (Огафонъ), Арефа (Орефа), Димитрии (Дьмитрии), Дорофеи, Елена (Олена),

Захарии, Ирина (Орина), Макарии, Марина, Никита, Романъ, Софонии; б) Гри-гории, Пе-тръ, Пла-тонъ, Про-копии, Про-хоръ, Со-фро-нии, Сте-фанъ (Сте-панъ), Тро-фимъ, Фе-вро-ния, Христо-форъ и др.; в) Стра-тоникъ.

В слоге, хоть и открытом, но с понижающейся звучностью в консонантной группе, обычно развивался вторичный звук ъ или ь, в результате чего сам слог распадался на два открытых с восходящей звучностью: Ма-кси-мъ > Ма-къ-си-мъ. Вторичный гласный обозначался на письме буквами ъ, ь, а в некоторых памятниках диакритическими знаками. Так, в Остромировом евангелии над знаком согласного, после которого развивался вторичный звук, ставится дужка. Правда, некоторые исследователи Остромирова евангелия этому знаку не придают фонетического значения, рассматривая постановку его как графический прием. Однако, учитывая регулярность написаний этого знака в Остромировом евангелии и параллелизм в постановке дужки в нем и ъ, ь в других памятниках, мы предполагаем, что он обозначал гласный звук.

Развитие вторичного ъ (ь) наблюдается в следующих случаях:

а) после глухих согласных (если последующий слог был с пониженной или равной звучностью) Ма-кси-мъ : макъсима М 99, XI—XII вв., 12; Ма-тфѣ-и : матьфѣа М 125, XI—XII вв., 13 об.; Се-пте-мии : сепьтемиѧ М 125, XI—XII вв., 112 об.; Феости-ри-ктъ : феостирикъте М 103, XI—XII вв., 52 и др.,

б) особенно много подобных примеров после сонорных: А/мба/-коумъ : Амъбакоумъ М 103, XI—XII вв., 17; Алекса/ндръ/ : альѯанъдръ М 110, XI—XII вв., 35, А/ндро/никъ : анъдроника М 89, 1096 г., 40а, Мамо/нтъ/ : мамонъта М 84, 1095 г., 11а, Е/лпи/дифоръ : ельпидифора М 91, 1097, 4а; в данном случае, кроме того, может быть рефлекс l; Ва/рла/амъ; варъламе М 91, 1097г, 99 и многие другие.

Группы с сонорным согласным можно толковать различно (см. выше). Но куда бы мы ни относили сонорный согласный, к предшествующему или последующему слогу, в конечном счете после него развивался вторичный гласный, и, таким образом, образовывался открытый слог.

Утрата слабых ъ, ь привела к известной перестройке в структуре слога древнерусского языка. Было нарушено в слоге основное — закон о восходящей звучности и связанная с ним общая схема следования звуков. Внутри слога стала возможной пониженная или неизменная (в группе согласных) звучность. Понижение звучности наблюдается во всех новых конечных слогах, где в абсолютном конце слова стал выступать согласный любого образования: фрикативный (*мох*), взрывной (*сват*; *сат* — вариант фонемы *д*, графические *сад*), аффриката (*пе-вец*), сонорный (*то-вар*). Утрата слабых ъ, ь в середине слова привела к образованию (обычно в новых начальных слогах или не в начальных после приставок) групп согласных; теперь они могли выступать в раз-

ных, часто не известных русскому языку старшего периода комбинациях с восходящей, понижающейся или неизменной звучностью: а) во-зде-лать, зда-ние, за-тме-ние; б) по-л'стит', мгла, за-пси-веть, л'ви-ныи; в) ткат', кто, мно-го, вы-рват' и т. п.

Что же касается открытости слога, то она была утрачена в новых конечных слогах, но в значительной мере сохранилась в других слогах, где во многих случаях представлен старый слогораздел после гласного: во-зде-лать (а не воз-де-лать), ло-дка (а не лод-ка), за-тво-рить (а не зат-во-рить) и т. п. Из этого общего правила о слогоразделе в срединных слогах имеются исключения. Например, плавные *р*, *л*, как показывают современные данные, обычно примыкают к предшествующему гласному, закрывая слог: вол-на, вер-ный и т. п. (подробности см. в работах Р. И. Аванесова по фонетике современного русского языка).

Изменения в структуре слога в древнерусском языке имели последствия и в фонетике греческих заимствований. Во всех именах, в которых образовались вторичные ъ, ь, последние утратились и, таким образом, были восстановлены старые сочетания с различным соотношением звучностей согласных: Ма-къ-си-мъ > Ма-ксим, Алексанъдръ > Александр, Варъламъ > Вар-лам и т. п.

Происходили изменения также в новых конечных группах согласных: 1) конечный взрывной после невзрывного мог отпадать: Харалампии // Харлампъ > Харлампи > Харлам; Ю-стъ > Юст > Юс (ср. фамилию Юсов); 2) конечный сонорный становился слоговым: Пе-тръ > П'отр и т. п.

II. СОЧЕТАНИЕ ЗВУКОВ

Судьба звуковых сочетаний в греческих заимствованиях русского языка, то есть возможность или невозможность сохранения тех или иных соседних звуков и порядка следования их в слове определялась в значительной мере структурными особенностями слога (восходящая звучность, открытость), а также наличием или отсутствием тех или иных сочетаний звуков в самом древнерусском языке. Для удобства обозрения все звуковые сочетания мы разделяем на следующие группы: 1) группы гласных, 2) группы согласных, 3) группы гласный+согласный, 4) группы согласный+гласный.

1. Группы гласных

Сюда относятся: а) тавтосиллабические сочетания слоговых гласных с последующим неслоговым, то есть дифтонгические сочетания, или, по общепринятой терминологии, дифтонги (оставляем в стороне вопрос о фонологической интерпретации диф-

тонгов и их неслоговой части); б) гетеросиллабические группы слоговых гласных.

Нисходящие дифтонги с u̯ в греческом и древнерусском (еще на стадии праславянского) утратились: в греческом au > av, af, eu > ev, ef, в древнерусском получились монофтонги. Поэтому сам по себе вопрос о соотношении дифтонгов в греческом и древнерусском языках отпадает. Но он возникает в связи с тем, что греческие αυ, ευ, вопреки их реальному произношению, передаются на письме через ау//аоу//ав, еу//еоу//ев, а в самом русском языке, кроме лабиа-дентального v, было известно по говорам билабиальное w. Произношение этих сочетаний (в греческом av//af, ev//ef — нисходящая звучность) подчинялось законам слога в древнерусском языке: а) до падения ъ, ь в говорах с в=v развивался редуцированный ъ: Евгении > Евъгении, а в говорах с w в соответствии с греческим av//af, ev//ef стали произноситься au̯, eu̯, так что написания ау//(аоу), еу//(еоу) в древнерусских текстах были не только фактом чистой транслитерации соответствующих греческих написаний; б) после падения ъ, ь: в говорах с v эти сочетания стали произноситься согласно законам русской фонетики как av//af, ev//ef, а в говорах с w — как aw (au̯), ew (eu̯), например в именах Еугении, Еутухии.

Нисходящие дифтонги с i̯ в греческом не сохранились: ei > i, ai > e, oi > ü (> i). В древнерусском они отсутствовали, но впоследствии фонетически получились в определенных категориях слов в связи с падением редуцированных: pĭ-i̯ь > pei̯, pĭ-i̯u > p'i̯u (граф. пии > пеи, пию > пью), zno-i̯ь > zno i̯ // zno-i̯a (зной // зноя), zna-i̯ь > znai̯ // zna-i̯u (знай // знаю). Соответствующие греческие имена следовали структуре слога древнерусского языка: сначала получались сочетания гласных с интервокальным i̯, а затем дифтонги или группа с утраченным ĭ: Василии (-ĭ-i̯ь) > Василей // Васил'i̯a, Андрѣи (-ě-i̯ь) > Андрѣй // Андрѣ-я, Сисои (-o-i̯ь) > Сисой // Сисо-я и т. п.

Сочетания гетеросиллабических гласных внутри слова были чужды древнерусскому языку. Это определило судьбу сочетаний двух и трех гласных в заимствованных греческих именах. Изменения их были различны в зависимости от положения их в слове, а также от звукового состава самих сочетаний, то есть входили ли в них тождественные или нетождественные звуки. Некоторые из изменений в рассматриваемых сочетаниях отражаются в самом греческом языке, так что возникает вопрос, на почве какого языка они произошли. Относящийся сюда материал разнообразен. К именам, имеющим тождественные звуки, относятся: Ааронъ (некалендарное имя), Авраамъ — Авраамии, Исаакъ — Исаакии, Варлаамъ, Гавриилъ, Даниилъ. В самих греческих текстах материал неоднороден и варьируется в зависимости от носителя имени (библейское лицо или христианский святой), а следовательно в зависимости от характера текста (евангельский, библейский или календарный). В славяно-русском и затем в древнерусском

языке обычно побеждали формы со стяженным звуком (*аа* > *а*, *ии* > *и*), но возникали они различным путем: 1) или в результате передачи стяженных форм в самом греческом языке, например, Аврамии (в греческих календарных текстах тоже одно *-а-*), в противоположность книжному Авраамъ (имя библейского лица, в греческих некалендарных — евангельских текстах тоже *-аа-*); 2) или в результате стяжения двух гласных на славянской (древнерусской) почве: Гаврилъ (в греческих календарных текстах обычно -іі-).

Сочетания нетождественных гласных пережили различные изменения в зависимости от их положения в срединных или начальных слогах, а также в зависимости от места ударения в слове. Безударные сочетания *ео*, *ио* изменились в *е* (>'о): Ѳеодосии > Федосии, Диомидъ > Демидъ и др.; сюда же, вероятно, относится и Георгии > Гергии : Герьгиа М 110, XI—XII вв., 22 об. и др.

В сочетаниях -еб- (с ударяемым о) обычно развивалось интервокальное v: Леонтии > Левонтии, Гедеонъ > Гедевонъ (А I 39), Григории (=Гриγории) > Гриории > Гривории СР 22; сюда же относятся имена с начальными о-: Иона > Ивона А III 223, Иоиль > *Иойло > Ивойло А I 214 и др. Образование v в приведенных именах было связано с ударяемым, особого качества звуком *о*, который произносился в определенных случаях в русских, а вслед за ними в заимствованных словах и обозначался особым способом в поздних акцентуированных памятниках русской письменности. Кроме приведенных примеров регулярных изменений *-ео-*, *-ио-*, имеется ряд частных случаев.

Особой была судьба сочетаний гласных с последующим і: Михаилъ, Самоуилъ, Моисеи и др., вместо которых в связи с определенными акцентологическими условиями образовались дифтонги: Михаилъ > Михайло, Измаилъ > Измайло, Самоуилъ > Самойло, Иоиль > *Иойло > Ивойло. Иначе изменялось Моисеи.

В русский язык проникли имена с сочетаниями іа, іu, іе, іо: Иаковъ, Лоукианъ, Мари(ꙗ)а, Иоулита, Иеремиꙗ, Иосіфъ и др. Изменения этих сочетаний были разнообразны (некоторые случаи восходят к греческим оригиналам). Общим для всех изменений было устранение зияния — соседства двух гетеросиллабических гласных. Это достигалось различным путями в зависимости от положения сочетаний и акцентологических условий в слове. Что касается положения, то важно различать два: 1) начало и 2) середина и конец слова. Проще объясняются изменения в середине и конце слова, где развивался интервокальный j, в сочетании с которым получались типичные славянские группы с j (i̯), а непривычное зияние устранялось. Раньше всего возник интервокальный j в конечных группах: Мари-а > Мари-j-а (хотя в литературном греческом языке, как показывают данные современного языка, были известны варианты без j): Мариа > Мариꙗ. Позже

j распространился в срединных слогах: Лоукианъ > Лоукиꙗнъ и т. п. Впоследствии в связи с падением редуцированных гласных возникли фонетически закономерные формы с утратой *и* (ĭ редуцированного): Марика > Марыꙗ, Лоукианъ > ... > Лукыꙗнъ и т. п. Наконец, второе южнославянское влияние в русской письменности имело следствием восстановление звука і (теперь уже полного образования): Марыꙗ > Марика, Лукыꙗнъ (Лутыꙗнъ) > Лукианъ. О группах -ии (-ĭ-i̯ь) в именах типа Василии говорилось выше. Таким образом, изменения интересующих нас групп с і в греческих именах ничем не отличались от аналогичных изменений в самом русском языке.

Иной была судьба сочетаний і с последующим гласным в начале слова (Иаковъ, Иеремиꙗ, Иосифъ, Иоулитта и т. п.). Эти сочетания доставляют трудности для объяснения, потому что в древнерусских старших памятниках встречаются написания, отражающие и не отражающие j: Иаковъ // Иꙗковъ // Ꙗковъ, Иеремиꙗ // Иєремиꙗ // Єремиꙗ и т. п., так что не всегда ясно, когда в них представлена транслитерация греческих написаний, когда отражение греческого произношения, а когда возникновение j на славянской почве. Не вдаваясь в подробное рассмотрение этих вопросов, отметим только, что все эти сочетания утратились, заменившись или отдельными гласными (Оульяна, Осип) или сочетанием j — с последующим гласным, но с устранением начального і (Иаковъ > Ꙗковъ); разные конечные результаты, очевидно, получились в связи с законами начала слова (см. ниже).

Не сохранилось в живом языке начальное сочетание трех гласных иоа- в именах Иоакимъ, Иоаннъ, Иоанникии, Иоасафъ. Из нескольких вариантов этих имен (например, Иоакимъ > Иакимъ, Иокимъ, Акимъ и т. п.), восходящих отчасти к греческим оригиналам, получили распространение варианты с одним начальным гласным: Акимъ, Иванъ, Оникей, Асафъ (Осафъ).

В группах с предшествующим лабиализованным гласным (u, o) развивалось интервокальное -v-: Оуаръ > совр. Увар, Иоаннъ > совр. Иван; последнее имя представлено в русских памятниках во множестве вариантов, свидетельствующих о сложной истории исходной формы.

Подводя итоги обзору гетеросиллабических сочетаний гласных, мы отметим, что все они были чужды древнерусскому языку и тем или иным способом были в конце концов утрачены, в результате чего имена и входившие в их состав слоги приобрели типичную для русского языка фонетическую структуру.

2. Группы согласных

Группы согласных в заимствованных именах, находясь в составе одного или на грани двух слогов и подчиняясь правилам структуры слога, развивали в известных случаях вторичные звуки ъ, ь (см. выше). Кроме того, эти группы подвергались

действию ассимиляции, диссимиляции, упрощения звуков, в результате чего возникали (часто, хоть и не всегда) слоги или с восходящей или с одинаковой звучностью согласных, или же сочетания одного согласного с гласным, то есть слоги тоже с восходящей звучностью: Евфимии > Ефимъ, Евстафии > Е-ста-фии > О-стафии (> О-стап), Сам-псо-нъ > Сам-сон, Амбросии > Омброс > Омрос XV в., А II 290, л. 25, Закхии > Захии > Захей XV в., сп. XVI в. А I 574, и др.

Утрата конечных ъ, ь имела следствием упрощение вновь возникших консонантных групп: а) с понижающейся звучностью; выпадал обычно взрывной элемент: кх > х, кс > с, мп > м: Вакхъ > Вакх > Вах, Филиксъ > Филикс > Филис, Харалампии > Харламп > Харлам; б) с одинаковой звучностью (два взрывных): кт > т (утрачивался конечный взрывной): Феофилактъ > Фефилакт > Фефилат (> Филат). Кроме того, отмечено упрощение группы согласных с возрастающей звучностью: ст > с : Ю-стъ > Ю-ст > Юс, хотя конечное сочетание *-ст* в русском языке встречается: мост, хвост и т. п. Правда, конечное -ст сохраняется здесь по причинам морфологическим, хотя упрощение ст(с'т') в русских говорах известно: (жизнь) > жыс'т' > жыс' и т. п.

Ассимиляция и упрощение групп согласных отмечается и в греческом языке, например vf > f, и некоторые примеры этого явления в старших славяно-русских текстах, возможно, восходят к греческим оригиналам. Однако, если учесть тот факт, что в древнерусской письменности старшего периода были распространены чисто транслитерационные формы (Евфимии и т. п.) и что они, а не греческое произношение определяли исходную звуковую форму данных имен, то, следовательно, дальнейшие изменения этой формы происходили на почве русского языка, и, таким образом, f вм. vf получилось на русской, а не на греческой почве.

Кроме этих спорных случаев, в русских памятниках отражаются изменения, имевшие место, несомненно, в греческом языке. Таково изменение sm > zm Еразмъ, Измаилъ. В русском языке не было ассимиляции sm > zm, звук (фонема) s, z в положении перед m были в независимой (сильной) позиции (ср. смотреть, змея и т. п.), и поэтому сочетание zm вм. sm — в приведенных именах получилось на почве греческого языка.

3. Сочетания согласных с гласными

В древнерусском языке ко времени усвоения им греческих имен произошло смягчение полумягких согласных, и, таким образом, все согласные разбились на две группы: 1) твердые (< исконно твердые): они находились перед непередними гласными; 2) мягкие: а) исконно мягкие; находились перед гласными переднего и непереднего ряда: полѥ, полꙗ; б) исконно полумягкие: находи-

лись перед гласными переднего ряда: н'ес'ет'ь < н·ес·ет·ь. Твердые и мягкие согласные могли составлять или не составлять соотносительные по твердости—мягкости пары. В этом отношении они разбивались на несколько групп: 1) парные: а) исконно парные l—l′, r—r′, n—n′, s—s′, z—z′, б) вторично парные t—t′, d—d′, p—p′, b—b′, m—m′, v—v′ и др., а также l—l′, r—r′, n—n′, s—s′, z—z′, 2) непарные только твердые k, g, x, 3) непарные только мягкие: c′, č′, š′, ž′, ș̄′, ẓ̄′, j.

Участие указанных групп согласных в передаче греческих звуков в заимствованиях было различным. Смягченные непарные не участвовали вообще; согласные к, g, x играли особую роль — см. ниже; основную роль в указанном процессе играли парные твердые — смягченные согласные, которые определили судьбу греческих согласных в сочетании с последующими звуками.

В самом греческом языке согласные были твердыми в положении перед гласным и заднего и переднего ряда. Исключение составляли *к'*, *j*, *x'* (граф. *κ*, *γ*, *χ*), а также сонорные в положении перед i̯, возникавшим на месте i перед гласным. На почве древнерусского языка греческие согласные под влиянием парных твердых—мягких согласных расщеплялись: 1) они оставались твердыми в положении перед непередними гласными (и согласными) и 2) становились смягченными перед гласными переднего ряда. Особое место занимает согласный l, который перед непередними и передними гласными в русских грецизмах произносится соответственно твердо или мягко (обычный случай), а перед согласными передается в славяно-русских текстах двояко (л, л'): Елпидифоръ // Ельпидифоръ; это колебание в передаче славянами греческого l, видимо, свидетельствует о среднеевропейском произношении этого звука в греческом языке.

Среди сочетаний согласных с последующим гласным особое место занимают сочетания к', g', x' с гласными переднего ряда. Оставляем в стороне трудный вопрос о передаче греческих к, γ, x перед передними гласными в старославянском глаголическом, а затем кириллическом письме; мы исходим из того факта, что в старославянском, а затем древнерусском литературном письменном языке было усвоено произношение к', g', x' (причем g' в соответствии с греческим j) перед гласными переднего ряда: k'i, k'e, k'ü, g'i, g'e, g'ü, x'i, x'e, x'ü. Судьба этих сочетаний в народной речи была неодинакова. Смягченные согласные к', g', x', а также сочетания их с i, e (к'i, к'е и т. п.) греческих имен в древнерусском языке с известного времени стали обычными, поскольку в нем в связи с переходом ку, gy, xy > к'i, g'i, x'i, а также в связи с утратой чередований k//c', g//z', x//s' в ряде именных и глагольных форм (например, руцѣ > рукѣ, пьци > пеки) возникли аналогичные смягченные согласные и сочетания их с e, i. Дальнейшие изменения их в греческих именах были связаны с фонетическими процессами, действовавшими в русском языке (в его диалектах), например, в связи с изменениями к' > t' (к'ислыи > т'ислый):

Ака/к/ии > Ока/т/ии и т. п. Сочетания к'е, g'е изменились в ко, go или ка, ga в связи с процессом ассимиляции слогов: Герасимъ > Горасим > Гарасим и т. п. (см. ниже).

Гораздо сложнее была история сочетаний к'ü, g'ü, х'ü. Эти сочетания, существовавшие в древнерусском языке старшего периода, и их более поздние варианты k'u, g'u, x'u, были чужды народному языку, хотя в нем смягченные к', g', х' в других, уже обычных сочетаниях (к'i, к'е и т. п.) существовали. Поэтому сочетания к'u, g'u, x'u в древнерусском языке подверглись изменениям. Первоначально возникли сочетания твердых согласных с последующим u : k'u > ku: Кюриллъ (граф. Курилъ) > Курил (граф. Коурилъ). По аналогии с данными, подобное же изменение происходило в сочетаниях, существовавших в древнерусском языке смягченных (< исконно смягченных и полумягких) согласных с последующим u: r'u > ru, l'u > lu, t'u > tu и т. д.: Алюпии > Олупии, Трюфонъ > Труфон, Анюсия > Онусья, Евфросюния > Офросуния, Тюхонъ > Тухон, Вавюла > Вавула, Мюронъ > Мурон, Спюридонъ > Спуридон, а также Фюрсъ > Фурс и др.

Новые формы не вытеснили, однако, старые. Впоследствии, в календарных текстах — со второй половины XIV или с XV в. (в связи с проникновением в русскую письменность новых переводов миней), появляются формы с i (Тихонъ, Кириллъ и т. п.), обязанные своим происхождением влиянию греческих оригиналов, в которых в связи с пережитым греческим языком изменением ü > i господствовали формы с i. В результате указанных процессов в русском языке получились три параллельных варианта рассматриваемых имен: Кюрилъ — Курилъ — Кирилъ, Тюхонъ — Тухонъ — Тихонъ. Члены этих триад имели различную судьбу: формы с 'u (ю) утратились, варианты с u (оу, у) сохранились в народной речи, а варианты с i (и) получили распространение в литературном языке.

Таким образом, чуждые русскому языку сочетания k'u, g'u, x'u сначала под его влиянием фонетически изменились (получилось ku, gu, xu), а затем заменились сочетаниями ki, gi, xi, заимствованными из греческих оригиналов; последние сохранились в русском языке XIV—XV вв. и позже, поскольку в нем к этому времени подобные сочетания существовали.

4. Сочетания гласный+согласный

В древнерусском языке старшего периода сочетания гласный + согласный в связи с законом восходящей звучности и открытости слога отсутствовали. Исключение составляли сочетания редуцированных с плавными, то есть группы tъrt, tьrt, tъlt: тър-гъ, вьр-хъ, вълна и т. п. (см. выше). Эти сочетания оказали влияние на группы гласный полного образования+плавный в заимст-

вованных греческих именах. В некоторых из них исконные сочетания гласных с плавными, получившиеся в результате субституции греческих звуков, заменились сочетаниями *ъ*, *ь* с последующим плавным: *ъ—р* и т. п. Иногда вместо них и соответствующих им написаний встречается написание ръ, рь и т. п., которое возникло в результате искусственной славянизации заимствованного слова в древнерусском списке рукописи или, возможно, в ее старославянском оригинале. Таковы, например, написания Връѳоломеѧ М 125, XI—XII вв., 80 об. и др. Връѳоломѣ/емь М 103, XI—XII вв., 7 и др. Написания *ръ* в М 103, М 125 были обычным орфографическим приемом вместо *ър*, и поэтому форма В/ръ/ѳоломѣи произносилась в древнерусском как В/ър/ѳоломѣи.

Влияние группы tъrt отражается в имени Меркоурии; в старших текстах мы находим написания Мьркоуриа М 91, 1097, 146 об. и др. наряду с Меркоурии. Еще больше материала связано с именем Порфурии (у='u). Уже в старший период наряду с Порфурии возникает вариант Перфурии (у='u), а затем параллельно им — два варианта Пръфурии, Пьрфурии или славянизированная форма Пръфурии (Прьфурии — не встретилось); кроме того, в новых сочетаниях развивался вторичный редуцированный (явление так называемого второго полногласия): Пьрьфоурии М 91, 1097, 54 и т. п. После падения редуцированных произошло фонетическое изменение *ър* > *ор*, *ьр* > *ер* (возврат к старой форме): Порфирий, Перфурии, Перхурей и т. п.

Влияние сочетаний плавных с последующим *ъ*, *ь* (*ръ*, *рь* и т. п.) отражается в имени Христина, вариантом которого было Хрьстина, а затем Крьстина (ассоциация с основой крьст-ъ, крьст-ити): примеры с IX в.; аналогичный факт представлен в примере: Хрьстефоровоу ГА XIII—XIV, 191а. На месте -рь- впоследствии возникает -ре-: Хрестину СТ XIV—XV, 110а и др.

В греческих именах сказалось влияние также славянских полногласных и неполногласных сочетаний. Укажем ряд фактов. Имена, в звуковой форме которых были представлены сочетания, совпадавшие со славянскими полногласными и неполногласными сочетаниями, не изменялись: Дорофей, Соломонъ, Соломонида. Особая судьба — у имени Варф/оло/мѣи, образовавшем ряд вариантов. Имя Власии (> //Власъ) сохранило сочетание -ла-, но стало в сознании говорящих ассоциироваться с исконно русским именем Волосъ, в результате чего возникла дублетная пара генетически совершенно разнородных слов. Установление морфологической связи повело к семантическому сближению их, а затем к смешению в их употреблении.

В ряде случаев под влиянием неполногласных и полногласных сочетаний происходили замены исконных сочетаний в греческих именах на славянские, а именно: 1) замена -ара- > -оро-: Парамонъ > Пороманъ ЛН 145 (1268), Варахии > Ворохеи (XVII в.), Параскева > Поросковья (XVII в.); в двух последних

примерах, возможно, смешение букв о—а связано с аканьем; 2) замена -ере > -ре-: Терентии > Трентии: съ Треньтиемь М 110, XI—XII вв., 36 об.

Наконец, в греческих именах отражается смешение групп torot//trat и tьrt: 1) Тернти М 89, 1096, 116 об., терньтию М 110, XI—XII вв., 33 и др.; 2) Тарахъ ЕО 230 г, М 89, 1096, 40 об. > Тарха Ч XIV, 159об. (ДДГ, стр. 401)>Торх XV сп. XVI в., А I 588.

III. СЛОГОВАЯ ИЗОТОНАЛЬНОСТЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЛОГАМИ СЛОВА (ассимиляция слогов)

Для древнерусского языка старшего периода была характерна тенденция к сближению тембра гласных и согласных, входящих в состав слога, или, по другому определению, «тенденция к однородности звуков с точки зрения их более передней или более задней артикуляции» (П. С. Кузнецов). Это явление названо слоговым сингармонизмом. Но, поскольку это сближение с акустической точки зрения имеет в основе тон звука, то его можно назвать иначе — изотональностью слога. Изотональность обычно возникает в пределах слога. В отдельных случаях она была результатом сближения основного тона гетеросиллабических звуков, но и в этом случае в результате получилась слоговая изотональность. Характерна в этом отношении третья палатализация к, х, х: *о-tь-къ > *о-t(ь-к)ъ > о-ть-ць.

Возникнув еще в праславянском языке, слоговая изотональность впоследствии, в частности в древнерусском языке, значительно осложнилась в результате действия ряда фонетических процессов: 1) изменения 'ü > 'u, ä > 'a, 2) смягчения полумягких согласных, 3) падения редуцированных и образования новых типов слогов, 4) перехода 'е > 'о внутри слова и др. В одних случаях тональность слога усиливалась (n·e-su > n'e-su, в других — уменьшалась (po-l'ü > pol'u).

Изотональность может характеризовать не только звуки слога, но и несколько слогов слова. В зависимости от последнего признака, все слова древнерусского языка можно разбить на несколько групп: 1) изотональные с высокой тональностью всех слогов: д'ѣ-л'и-т'и < д·ѣ-л·и-т·и; 2) изотональные с низкой тональностью слогов: ро-бо-та, дво-ръ; 3) неизотональные со слогами разных тональностей: д'Ѣ-ла-т'и < д·Ѣ-ла-т·и; 4) неизотональные, имеющие в своем составе слоги с относительно слабо выраженной тональностью: по-/р'а/-до-къ.

После падения ъ, ь старые тональности слога, нарушенные уже после смягчения полумягких согласных, еще более осложнились: в новых закрытых слогах могли быть звуки разных тональностей: во-л'ь-но > вол'-но, м'и-лъ > м'ил, за-б'и-лъ > за-б'ил и т. п.

В древнерусском языке проявляется тенденция к установлению однотипной тональности слогов в слове, то есть к ассимиляции слогов. Обычно она выражена внутри основы: (топьрво) > то-перь > те-перь, ро-бе-нокъ > р'е-б'е-нок(ъ) > р'е-б'о-нок. Ассимиляция слогов отмечена и в современном русском языке, где происходит или выравнивание всех слогов слова или перегруппировка их в отношении тональности: а) велосипед > велесипед, телевизор > телевизер, б) ло-тере-я > лота-рея и т. п. Такие примеры, как те-ле-ви-зор > те-ле-ви-зер, показывают, что в этом процессе ассимиляции слогов играл роль не столько слог в целом, сколько его начальная часть — сочетание согласного с гласным.

Аналогичная тенденция к изотональности слогов слова ярко выражена в заимствованных греческих именах. Она была, видимо, результатом ассимиляции не отдельных звуков, гласных или согласных, а слогов в целом, или, точнее, их начальных сочетаний согласных с гласными. Это подтверждается тем, что в ряде случаев, как например: Н'ес-то-ръ (или Нестор) > Н'ес-т'ер, трудно сказать определенно, представлена ли здесь ассимиляция гласных *е-о* > *е-е*, а уподобление согласных по мягкости *н'-т* > *н'-т'* было вторичным результатом или, наоборот, исходным моментом процесса была ассимиляция согласных, а изменение гласных было ее следствием. Примеры типа Пота-пии > Пата-пии с уподоблением только гласных о-а > а-а представляют собой лишь частный случай общей схемы, когда один элемент всего процесса (ассимиляция согласных по твердости) был уже готовым исходным данным.

По своему направлению ассимиляция слогов могла быть регрессивной и прогрессивной и иметь в качестве результата изотональность слогов с высоким или низким тоном. Кроме того, она могла быть полной или неполной, то есть приводить (или не приводить) в области гласных к их отождествлению, а в области согласных — к уподоблению их по твердости и мягкости. Материал по греческим именам мы приводим в нижеследующем своде примеров:

1. Ассимиляция слогов с высокой тональностью слогам с низкой тональностью (общий результат — низкая тональность)

а) Ассимиляция полная.

са-с'і > са-са: Патри-кеи > Патра-кеи

са-с'е > са-са : Фале-лѣи > Фала-лѣи, Арте-монъ > Арта-мон или: Ар-темон(ъ) > Ар-тамон; более реально первое — ассимиляция безударных слогов.

с'і-со > со-со : Они-сифор(ъ) > Они-софор

со-с'і > со-со : Доси-ѳеи > Досо-ѳеи.

с'е-со > со-со : (Феодоръ) > Фе-дор(ъ) > Фо-дор (> Хо-дор);

сюда же: Федотъ > Фодот (> Ходот > Ходут); (Феофанъ) > Фе-фан(ъ) > Фо-фан; Геро-нтии > Горон-тии, Мефо-дии > Мофо-дии. В этих примерах не все ясно, например: Федотъ > Фодот (=Ф'одот?).

с'е-са > са-са : Сева-стьянъ > Сава-стьян; Фера-понтъ > Фара-фонтии

б) Ассимиляция неполная:

са-с'е > са-со : Па-раске-ва > Па-раско-вья

са-с'i > са-су : Дави-дъ > Давыд, Марти-нъ > Мартын, Марти-рии > Манты-рий.

с'i-со > су-со : Сисои (=Си-со-ịь) > Сысой

с'е-са > со-са (> со-са — полная ассимиляция): Гера-симъ > Гора-сим > Гара-сим, Генна-дии > Гона-дии > Ганадии, Мела-ния > Мола-нья > Мала-нья.

2. Ассимиляция слогов с низкой тональностью слогам с высокой тональностью (общий результат — высокая тональность слогов)

а) Ассимиляция полная.

с'i-со > с'i-с'i: Иро-дионъ > Ири-дионъ; или: И-роди-онъ > И-риди-онъ.

с'i-со > с'е-с'е : Капи-толи-на > Капи-тели-на > Ка-петелина.

с'е-со > с'е-с'е : Несто-ръ > Несте-ръ, Мефо-дии > Нефед (> Неф'од); Ксено-фонтъ > Ксене-фонт, Ка-пето-лина > Ка-пете-лина.

с'е-са > с'е-с'е : Фера-понтъ > Фере-понт

со-с'е > с'е-с'е : Доме-тии > Демен-тии, домес-тикъ > демес-тик.

б) Ассимиляция неполная

с'i-со > с'i-се : Христо-форъ > Христе-фор

со-с'i > с'е-с'i : Фоти-ния > Фети-ния, (Соси-патръ) > Соси-петръ > Сеси-петр

са-с'i > с'е-с'i : Дами-анъ > Дам'јанъ > Дем'јан

са-с'е > с'е-с'i: Вале-рианъ > Вели-риян

со-с'е > с'i-с'е: И-нокен-тии > Никен-тии

3. Случаи, когда тональность не изменяется и происходит уподобление только гласных

а) При исходной высокой тональности (мягкости согласных)

с'е-с'i > с'е-с'е : (Фоти-ния) > Фети-нья > Фете-нья; Дени сии > Дене-сии, (Феофи-ла) > Фефи-ла > Фефе-ла (> Феф'о-ла).

с'е-с'i > с'i-с'i : Севи-рианъ > Сиви-риан, Кеки-лия > Кикилия (известна в греческих текстах); А-кепси-ма > А-кипси-ма, Сели-ванъ > Сили-ван.

б) При исходной низкой тональности (твердых согласных)
со-са > са-са : Пота-пии > Пата-пии
со-си > со-со : Ону-фрии > Оно-фрии, (Онусия = Онюсия) > Ону-сия > Оно-сья.

Аналогичные примеры уподобления слогов известны и в среднегреческом языке. В связи с этим возникает вопрос, является ли изотональность слогов в заимствованных греко-христианских именах отражением фактов греческого языка или же она свидетельствует о самостоятельном, параллельном процессе на почве древнерусского языка? Нам представляется верным второе предположение, которое подтверждается примерами изотональности слогов в самом древнерусском и современном русском языке (см. выше), а также фактами следующего порядка. В самом греческом языке это явление было характерно для народной речи. Между тем в древнерусский литературно-письменный язык старшего периода проникали через письменность канонические формы, представленные в греческих официальных календарных текстах (синаксариях, минеях и т. п.). Эти имена затем в русском языке зажили своей самостоятельной, не зависимой от греческих оригиналов жизнью, приведшей в известное время к ассимиляции слогов слова; лишь отдельные случаи рассматриваемой ассимиляции слогов являются отражением греческого оригинала.

IV. ЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРУКТУРОЙ СЛОВА В ЦЕЛОМ

Некоторые звуковые изменения в заимствованных именах были связаны с фонетической структурой слова в целом, иначе говоря, с влиянием звуковых комплексов, характеризующих не отдельный слог, а все слово. В отношении праславянского языка в качестве особых рассматриваются явления начала и конца слова. В более поздний период — в древнерусском языке в конце слова наблюдаются своеобразные явления: отпадение взрывных согласных, приобретение плавными слогового характера (Пе-тръ > Петр̥) и др.; о некоторых из этих явлений говорилось выше. Интересно с фонетической точки зрения начало слова. В начальных звуковых комплексах, представляющих собой частный случай слоговой структуры, отражаются характерные ее черты — восходящая звучность, открытость; но она проявляется различно в зависимости от конкретных звуковых сочетаний. Слова могут начинаться: 1) с гласного, 2) с группы гласных, 3) с согласного (+гласный), 4) с группы согласных (+гласный). Из этих групп нами уже рассмотрены 2-я и отчасти 4-я. Сочетания согласного (кроме j) с гласным (3-я группа) особых изменений не пережили, поскольку их компоненты расположены в порядке восходящей их звучности.

Своеобразна судьба отдельных гласных (1-я группа) и сочетаний j+гласный (группа 3-я) в начале слова. Как известно, в древнерусском языке были ограничения в употреблении гласных в на-

чале слова, где могли выступать лишь определенные гласные или определенные сочетания j с гласным. С этим связана судьба начальных звуков в греческих заимствованиях. Приведем характерные факты.

1) Начальное о- в языке восточных славян было обычным звуком (одинъ, осень, онъ и т. д.). В связи с этим начальное о- в греческих заимствованных именах сохранялось: Онисифоръ, Онисимъ, Орестъ, Оноуфрии. Встречающиеся формы с начальным е- (Еноуфрии) и а- (Анисимъ) носили вторичный характер и связаны с чередованиями о-//е-, о-//а- в русских — старославянских вариантах имен.

2) В языке восточных славян не сохранилось начальное а-, перед ним развивался *j*: ср. др.-рус. ѩзъ — ст.-сл. азъ и т. п. Поэтому в проникавших в древнерусский греческих именах начальное а- подлежало замене другими звуками. Но поскольку протетический *j* — в древнерусском языке уже не развивался вообще, то это сказалось в греческих именах: в них вместо а выступало не сочетание ja-, а звук о-. Шахматов это объяснял влиянием русских слов с начальным о-. Но можно объяснять этот факт иначе. В древнерусском языке действовала закономерность: безударное *а* в греческих заимствованиях передавалось звуком *о* как в срединных, так и в начальных слогах. Правда, в середине слова это проявляется не совсем последовательно: в многих именах безударное *а* сохраняется (Варвара, Максимъ, Екатерина и др.). Между тем начальное безударное а- последовательно, почти без исключений, передается через о-: Олександръ, Ортемъ, Окакии и др., так что само явление до некоторой степени приобретает специфический характер «явления начала слова». Исключения редки: Адамъ; ударяемое а- закономерно сохранялось: Анна.

3) Начальное *je-* в древнерусском языке, если не считать глагольных форм (ѥсмь, ѥси и др.) и некоторых существительных, стоящих на периферии языка (ельха и т. п.), отсутствовало. Поэтому в греческих именах *е-* заменялось на *о-*. Причиной замены, очевидно, было то, что в славяно-русских текстах, при условии сохранения книжного характера их старославянского оригинала в целом, уже с XI в. отражаются замены *je-(e)* > *о-*: ѥсень > осень, едва > одва и т. п. Однако характер замены в старославянских и греческих заимствованиях был различен. В старославянских словах была, в сущности, замена не je- > о-, а целого слова с начальным je- параллельным дублетом с о-, имевшимся в лексическом запасе древнерусского языка. По аналогии с этой заменой слов, в которых выделялись (путем отбрасывания общей части) *je-* и *о-*, происходила замена *е-* > *о-* в греческих именах, не имевших лексических дублетов в древнерусском языке. Таким образом, замена е- > о- в греческих заимствованиях была фактом не действовавшего фонетического закона, как полагают некоторые исследователи, а аналогии, — воздействия характерного для определенного круга слов звукового сочетания.

4) Для древнерусского языка было характерно начальное u- : оугъ, оуноша, оутро. Поэтому в заимствованных греческих именах: 1) начальное u- сохранялось: Оуаръ (> Увар); 2) имена с начальным iu- утратили i- : Иоустинъ > Оустинъ, Иоустиния > Оустиния, Иоулианъ > Оульянъ, Иоулитта > Оулита. Исключения редки: Иоуда > Июда > Юда (ср. фамилию Юдин); то же в нарицательных именах: иоунь > июнь, иоуль > июль. Возможно, здесь сказывается различие в месте ударения в исходных сочетаниях: iú или iu (безударное). Возможно, утрата i была не специфической особенностью iu-//u-, а проявлением общей тенденции к устранению начального i.

5) Начальное i в греческих заимствованиях не отличалось устойчивостью и во многих случаях утрачивалось: 1) в положении перед гласным (при этом предварительно мог развиваться интервокальный j (i)): Иеремиꙗ > Иѥремиꙗ > Ѥремиꙗ, Иоуда > Июда > Юда; ср. также Иакинфъ > Окинф (Онкиф) — здесь j не развивается; 2) перед согласными: Исидоръ > Сидоръ, Иларионъ > Ларионъ, Иродионъ > Родионъ, Инокентии > Никентии; ср. Игнатъ > Гнат в украинском языке (ср. там же играти > грати). В ряде случаев начальное i сохраняется: Ирина (ср. Ѥрина), Иринархъ, Исакъ.

Подводя итоги, можем указать три основных фактора фонетических изменений в именах, проникших из греческого языка в древнерусский:

1. Расхождения в составе звуков и звуковых сочетаний в данных языках; с этим связана, например, история f, k'u, g'u, x'u.

2. Влияние структурных особенностей слова в древнерусском языке и его основного компонента — слога: 1) возрастающая звучность элементов в пределах слога; 2) ограничение соседства однотипных звучностей, или, иначе говоря, однотипных по образованию звуков: в пределах слога — однотипных по образованию согласных (например, два взрывных), в пределах всего слова (на грани слогов) — двух слоговых гласных. Утрата ъ, ь способствовала перестройке слога, что отразилось и в греческих именах.

3. Специфическую тенденцию заимствованных слов к изотональности слогов или, другими словами, к ассимиляции слогов, что определялось не внутренними фонетическими законами языка (ассимиляция слогов в древнерусском языке была выражена слабо) и не структурой слова (слога), а тенденцией к созданию единого в отношении тональностей типа слогов внутри слова, то есть к упрощению заимствованного и потому непонятного слова, или, иначе говоря, к своеобразной экономии языковых средств выражения.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

А I, II, III — Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV—начала XVI в., т. I, II, III. М., 1952, 1958, 1964.

ГА XIII—XIV — Хроника Георгия Амартола, славяно-русский перевод XI в. по списку XIII—XIV вв., ГБЛ, ф. 178, № 100. Изд.: В. М. Истрин. Книги временьныя и образныя Георгия мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. I. Пг., 1920.

ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. Подготовил к печати Л. В. Черепнин. Под ред. С. В. Бахрушина. М.—Л., 1950.

ЕО — Остромирово евангелие, 1056—1057 г., ГПБ, Fп 1, 5. Изд.: А. Х. Востоков. Остромирово евангелие 1056—1057 г. СПб., 1843.

ЛЛ — Летопись Лаврентьевская, 1377 г. Изд.: Полное собрание русских летописей, т. I, вып. 1, 2. Л., 1926, 1927.

ЛН — Летопись Новгородская (первая) по синодальному списку XIII—XIV вв. Изд.: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Под ред. и с предисл. А. Н. Насонова. М.—Л., 1950.

М 84, 89, 91 — Новгородские минеи 1095, 1096, 1097 гг., ЦГАДА, ф. 381, № 84, 89, 91. Изд.: И. В. Ягич. Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям. СПб., 1886.

М 99, 103, 110, 125 — Минеи XI—XII вв. ЦГАДА, ф. 381, № 99, 103, 110, 125.

СР — Синодик румянцевский XIV—XV вв., ГБЛ, ф. 256 (Рум.), № 382.

СТ — Синодик типографский XIV—XV вв., ЦГАДА, ф. 381, № 141.

Ч XIV — Часослов, XIV в., ЦГАДА, ф. 381, № 45.

Н. И. ТОЛСТОЙ

О РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАСЛАВЯНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Вопрос о реконструкции значения слова письменно не зафиксированного языка (праязыка) неоднократно привлекал внимание исследователей-компаративистов, которые, излагая по этому поводу разные, более или менее скептические, точки зрения, как правило, сходились в одном, в признании его сложности и малоразработанности. Действительно, если методы формальной реконструкции (реконструкции лексемы) выработаны и обоснованы с достаточной полнотой (в пределах славистики и индоевропеистики во всяком случае), то способы установления первичного значения (празначения) по сути дела до сих пор опираются на интуицию исследователя, которую не следует недооценивать, но все же нельзя принять в качестве научного метода. Такая ситуация может быть объяснена рядом причин, в частности и той, что при установлении звуковых корреспонденций («звуковых законов») и реконструкции звуков (звуковой системы) праязыка лингвист сталкивается не со значением (семантикой) звуков, а лишь с определенным и довольно малочисленным набором звуковых соответствий и их возможных протофонем, в то время как каждое слово, особенно со стороны его семантики (смысла) в большей или меньшей степени индивидуально (даже при том, что оно входит в определенную систему — поле слов) и, как правило, соотнесено, а тем самым и зависимо от определенного круга предметов и представлений «внешнего» мира, наконец, и тем, что количество слов в каждом языке (в том числе в праязыке) очень значительно.

К этим довольно общим и в то же время неустранимым при сравнительных исследованиях, направленных на доисторическое состояние, положениям следует добавить еще известное положение о том, что сама реконструкция не может быть абсолютной (окончательной), и почти во всех случаях исследователь вынужден говорить о степени реконструкции (или степени реконструируемости материала), о том или ином приближении к предполагаемому праязыку, которое оказывается различным в зависимости от сторон (уровней) языка и аспектов его рассмотрения.

Именно поэтому наиболее строгие и последовательные компаративисты, к каковым принадлежит и знаменитый Антуан Мейе, заявляли, что «сравнительная грамматика индоевропейских язы-

ков находится в том положении, в каком была бы сравнительная грамматика романских языков, если бы не был известен латинский язык: единственная реальность, с которой она имеет дело, это соответствия между засвидетельствованными языками. Соответствия предполагают общую основу, но об этой общей основе можно составить себе представление только путем гипотез, которые проверить нельзя, поэтому только одни соответствия и составляют объект науки. Путем сравнения невозможно восстановить исчезнувший язык: сравнение романских языков не может дать точного и полного представления о народной латыни IV в. хр. э. и нет основания предполагать, что сравнение индоевропейских языков даст бо́льшие результаты. Индоевропейский язык восстановить нельзя»[1]. Конкретизируя изложенное утверждение, А. Мейе далее писал, что «следует рассматривать только одно: соответствия между различными индоевропейскими языками, отражающие древние общие формы (разрядка наша. — *Н. Т.*); совокупность этих соответствий составляет то, что называется индоевропейским языком»[2]. Таково было отношение А. Мейе не только к плану выражения индоевропейского праязыка (к «общим формам»), но и к плану содержания. «Смысловое соответствие, — писал он, — должно быть таким же точным, как и звуковое (соответственно существующим в каждом случае закономерностям). Это не значит, что мы требуем бо́льших совпадений в семантике, чем в фонетике; надо лишь, чтобы смысловые расхождения объяснялись конкретными обстоятельствами, а не общей и неопределенной возможностью сопоставления»[3]. Но и в плане содержания А. Мейе говорит лишь о соответствиях, а не о реконструируемой семантике, ибо «при сопоставлении слов различных языков приходится рассматривать, что в них есть общего, и потому устранять смысловые оттенки, развившиеся в каждом отдельном языке: после этого остается одна абстракция, которая дает средство для оправдания сопоставления, но не для установления первоначального значения слова»[4].

Итак, А. Мейе признает для плана выражения слова возможность реконструкции формы, хотя и не считает ее обязательно формой конкретного праязыка, а для плана содержания слова возможность выявления лишь некоторого очень инвариантизированного и потому достаточно абстрактного «значения». А. Мейе

---

[1] А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938, стр. 73—74.

[2] А. Мейе. Введение. . ., стр. 81. (Всю эту цитату А. Мейе дает разрядкой). Г. Бонфанте и В. Пизани, а вслед за ними и Г. А. Климов обратили внимание на то, что А. Мейе впоследствии несколько изменил свою крайне скептическую в отношении возможности реальной реконструкции точку зрения.

[3] А. Мейе. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954, стр. 37.

[4] А. Мейе. Введение . . ., стр. 385.

настаивает на утверждении, согласно которому «положительными фактами являются лишь только соответствия, а «восстановления» сводятся лишь к знакам, с помощью которых сокращенно выражаются соответствия» [5].

Таким образом, формальная сторона «знака» (по А. Мейе) выражается конкретными звуками и формами, что приближает ее к формам реально существующих языков [6], смысловая же — в обобщенно-отвлеченной форме, что делает ее менее похожей на структуру единиц плана содержания реальных языков.

И хотя тот же А. Мейе утверждал, что сближения «делаются не по сходству, но на основе системы соответствий» [7], все же наиболее надежными и по форме и по содержанию (семантике) считаются те «восстановления», или соответствия, члены которых в общем совпадают. В индоевропеистике лучшими случаями воспринимаются такие, в которых из общего числа (около 10-ти) два или три примера обнаруживают несовпадение, ограничивающееся, однако, одним или двумя (реже несколькими) дифференциальными признаками (см. примеры в сноске 6). Это утверждение относится прежде всего к плану содержания. Представление о том, что индоевр. *mātér- означает 'родительница, мать', основано на том, что санскр. mātár (или māthár) 'мать', авестийск. mātar- 'мать', ст.-сл. мати (род. п. матере) 'мать', др.-греч. μήτηρ, дорич. μάτηρ 'мать', латинск. māter 'мать', осск. maatreís 'материнский', умбрск. matrer 'то же', др.-ирл. māthir 'мать', др. верхн.-нем. muoter 'мать', др.-ислан. mōðir 'мать', арм. mair 'мать', тохарск. А mācar 'мать', тохарск. Б mācer 'мать', др.-прусск. mūti, mothe 'мать', лтш. mâte 'мать', лит. mótė 'жена', 'мать', албанск. motrë 'сестра'.

Иным моментом, повышающим надежность реконструкции, оказывается достаточная распространенность слова в языках одной семьи: чем шире оно представлено, тем надежнее его восстанавливаемая форма и значение [8].

Все изложенные выше положения выдвинуты давно, хорошо известны и во многом уже тривиальны. Важно, однако, что они до сих пор не опровергнуты и в основе своей справедливы. Что касается реконструкции значимой стороны — семантики, то она в последнее время все более привлекает внимание исследователей, останавливающихся на ряде дополнительных проблем. Так, Э. Бенвенист указывает на важность выработки процедуры различения

---

[5] А. Мейе. Введение . . ., стр. 74 (Всю эту цитату А. Мейе дает разрядкой).

[6] Тот же А. Мейе для соответствий хет. р, тохарск. р, санскр. р, авест. р, ст.-сл. п, лит. р, арм. h (w)[2], греч. π, лат. р, ирл. ', готск. f (b)[5] предлагает и.-е. *р, или для греч. η[1], лат. ē, кельтск. ī (ē)[2], лит. ė, ст.-сл. ѣ, арм. ī, индоиранск. ā — и.-е. *ē (А. Мейе. Введение. . ., стр. 111, 127).

[7] А. Мейе. Введение . . ., стр. 76.

[8] А. Мейе полагает даже, что «если нет особых причин, мы должны считать сомнительным всякое сближение слов, не идущее дальше двух диалектов» (т. е. двух диалектных индоевропейских групп, например, греческий и санскрит) (А. Мейе. Введение. . ., стр. 383).

омонимов подлинных от омонимов ложных. Эта процедура сводится к детальному рассмотрению всех случаев употребления каждого «омонима» в разных контекстах и поиска такого употребления (контекста), в котором обнаруживается семантическая связь каждого из членов «омонимической» пары. Если связь обнаружена, омонимию можно считать ложной (например, франц. voler 'летать' и voler 'воровать'), если же — нет, омонимия оказывается подлинной (например, англ. story 'рассказ' и story 'этаж'). Лишь после такого синхронно-текстового анализа на современном уровне можно переходить к разысканиям этимологическим, которые в подобных случаях (т. е. в случаях общности лексем) не всегда надежны [9].

Что касается проблем фразеологии, то, по нашему мнению, этимология слов, составляющих фразеологизм, мало или почти ничего не дает для установления его прототипа или для отнесения к эпохе праязыка. И наоборот, существует ряд слов, которые этимологически необъяснимы без обращения к фразеологизмам, на базе которых эти слова возникли (примеры см. ниже).

Обращаясь к праславянской фразеологии, можно предположить на основании знакомства с нынешними славянскими диалектами, фольклором и древними текстами наличие в праславянский период тех же типов фразеологизмов, что и в современных языках: фразеологических единств и фразеологических сочетаний (les unités phraséologiques и les séries phraséologiques, по Ш. Балли). Что касается последних, то у нас мало надежных критериев для того, чтобы утверждать, что многие из современных или исторически зафиксированных сочетаний, во-первых, бытовали в праславянскую эпоху, во-вторых, даже если такое бытование нам представится возможным, что они не были свободными (les grouppements libres). Поэтому опыты реконструкции следует, на наш взгляд, начинать с первой группы [10].

Если пользоваться представлениями и терминологией, согласно которым слово есть единство лексемы и семемы, то фразеологическое единство (или фразеологическое сращение, по В. В. Виноградову) есть сумма двух семем, образующая третью семему,

---

[9] E. Benveniste. Problèmes sémantiques de la reconstruction. «Word», vol. 10, Nr. 2—3. New York, 1954.

[10] В. В. Виноградов, как известно, в отличие от Ш. Балли фразеологические единства делил еще на «фразеологические сращения» и «фразеологические единства». В обоих случаях «значение целого никогда не равняется сумме значений элементов» (В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. «А. А. Шахматов. 1864—1920». М.—Л., 1947, стр. 343), но в первом — значение фразеологизма никак не соотносится со значением его компонентов, взятых вне фразеологизма, а во втором — такое соотношение хотя бы с одним из компонентов наблюдается в той или иной мере. Для праславянской эпохи обычно трудно проводить четкую грань между двумя видами фразеологических единств. Наконец, и исторически многие фразеологические сращения возникали из фразеологических единств (т. е. немотивированные происходили от частично мотивированных).

не равную первым двум. Так, 'перемывать' + 'косточки' = 'сплетничать, судачить о ком-л.' — русск. *перемывать косточки*, 'собака' + 'зарыть' = 'секрет, причина, суть дела' — русск. *собака зарыта* (из немецк.), 'бить' + 'проволока' = 'выпрашивать с лестью, клянчить, подъезжать' — сербск. *бити жйцу* (из цыганск.) и т. п.

Во всех этих случаях можно, вероятно, говорить о наличии двух форм и одного значения фразеологизма. Каждый такой фразеологизм обладает:

1. лексической (лексемной) формой — сочетанием лексем;
2. смысловой (семантической, семемной) «формой» — сочетанием семем [11];
3. значением (семантикой).

Наличие второй, так называемой смысловой, формы фразеологизма делает его легко заимствуемым из одного языка в другой, легко входящим в другую языковую среду, так как первая — лексическая форма сменяется легко и почти обязательно в результате калькирования, которое делает по внешнему (лексемному) облику фразеологизм заимствованный неотличимым от фразеологизма исконного. Существенно, что при передаче фразеологизма одного языка средствами другого языка исходный фразеологизм переводится полексемно, как если бы он был свободным словосочетанием. Степень фразеологичности соответствующего сочетания в заимствующем языке (языке—реципиенте) зависит от семантических (и синтаксических) связей его компонентов с другими словами и от их «узуса» (наличия переносных значений, устойчивых сочетаний и т. д.). Как правило, эта «степень» повышается, так как число связей уменьшается.

Таким образом, ясно, что проблема реконструкции фразеологизма, как и проблема реконструкции слова или грамматической формы, есть проблема определения времени и места его возникновения (его хронологии и локализации), а также степени его реконструируемости. Реконструкция может быть доведена до смысловой «формы» и до формы лексической («лексемной») [12]. Она может быть поддержана фактами нелингвистическими — фактами древней материальной и духовной культуры (мифологии, народной поэзии, обрядности и т. п.) и может быть лишена такой поддержки. В последнем случае исследователь будет пользоваться соотношениями и показаниями исключительно лингвистического плана.

И в том и в другом случае, однако, перед исследователем будет возникать опасность, способная обесценить его усилия — о п а с-

---

[11] Такая смысловая «форма» может быть затемнена лишь в тех случаях, когда в составе фразеологизма оказывается слово, вне его не употребляемое. Смысловую «форму» не следует смешивать с так называемой «внутренней формой» фразеологизма, т. е. с его мотивированностью.

[12] Под реконструкцией мы понимаем не только и не столько установление формы, способной служить знаком, сокращенно выражающим соответствия между определенными современными славянскими диалектными фразеологизмами (по А. Мейе), сколько форму (и значение), приближенно или достаточно точно выражающую конкретный праславянский фразеологизм.

ность неучета калькирования. Сложность выявления момента калькирования для древнего и более позднего периода очень значительна, и ее никак нельзя игнорировать и нужно постоянно иметь в виду, подчиняясь определенной процедуре исследования.

Прежде всего, и это не требует особого объяснения, необходимо отдать полное предпочтение материалу диалектному перед материалом литературным (современным и древним, зафиксированным памятниками), хотя очевидно, что и в диалекты, особенно в последнее время, активно проникают фразеологизмы литературного происхождения [13].

Сравнение условий реконструкции отдельного слова и фразеологизма показывает, что эти условия неравноценны. Более того, в некоторых случаях они прямо противоположны, что представляется на первый взгляд несколько парадоксальным:

I. Если для достоверности реконструкции праславянского корня или слова существенно, чтобы а) оно было зафиксировано в возможно большем количестве славянских языков, а также б) в языках индоевропейских (речь не идет о заимствованиях более или менее очевидных), то для достоверной реконструкции фразеологизма важно (или желательно), чтобы а) он был представлен не во всех славянских языках (или диалектах) подряд (лучше всего, если он известен рассеянно в отдельных архаических славянских зонах) и б) отсутствовал в индоевропейских языках или был представлен в отдельных индоевропейских языках, преимущественно не западноевропейских [14]. Ибо сплошное распространение фразеологизма во всех славянских и западноевропейских языках свидетельствует a priori скорее о калькировании и определенных достаточно активных и поздних культурных взаимоотношениях, чем об общности и древности происхождения фразеологизма.

II. Если для достоверности реконструкции праславянского слова существен факт минимального изменения облика лексемы (внешнего облика слова) в разных славянских языках и желательно ограниченное воздействие иррегулярных фонетических, аналогических, словообразовательных и т. п. процессов и явлений, при максимальном соответствии регулярным фонетическим корреспонденциям (фонетическим законам), то для убедительной ре-

[13] См. послевоенные белорусские сборники диалектной фразеологии Ф. М. Янковского, Г. Ф. Юрченко, Е. С. Метельской и Е. М. Комаровского и др. Литературный фразеологизм в славянских языках может быть в свою очередь исконнославянского изустного (диалектного) происхождения и происхождения иноземного — западноевропейского, византийского или латинско-книжного, наконец, восточного и т. п.

[14] Можно допустить его наличие в западноевропейских языках, преимущественно древних, с условием сохранения несколько иной «смысловой» формы или иной лексической формы в виде сложного слова, отдельного простого слова и т. п. Балтийский языковой материал в силу его особой культурной роли, в течение последних столетий в основном пассивной, к материалу западноевропейских языков не приравнивается.

конструкции фразеологизма и для отнесения его к праславянскому периоду единство или значительная близость его облика (лексемной формы) в разных славянских языках может служить скорее показателем его относительной новизны или калькирования, также относительно недавнего. Отметим при этом, что калькирование может быть из неславянского языка (языков) в славянский, а затем и из славянского в славянский.

Примером одного или близкого облика слова, легко реконструируемого для праславянского и индоевропейского, может быть все то же слово мати и ряд других слов славянского основного словарного фонда. Это же слово хорошо иллюстрирует и I «парадоксальный» момент и последующий III.

III. Если для достоверности семантической реконструкции слова существенно, чтобы в славянских (и индоевропейских) языках слово было зафиксировано в одинаковом и близком значении, что дает возможность избежать грубой приблизительности (инвариантизации) смысла, то во фразеологизме абсолютная незыблемость семантики и отсутствие семантических инноваций говорит скорее в пользу его новизны, недавнего возникновения, опять-таки, возможно, путем заимствования и калькирования, чем в пользу его древности и праславянской принадлежности.

Ни один из изложенных «парадоксальных» моментов не следует возводить в ранг закона или строгой закономерности, но все три момента следует учитывать, особенно при нынешней очень слабой разработанности вопроса о древнейшем общем фонде славянской фразеологии. После выявления некоего ядра праславянской фразеологии и определения входящих в него структурных типов будет возможно снятие отдельных предварительных, предупредительных ограничений.

Примеров того, как неучет изложенных выше трех моментов и игнорирование возможности акта калькирования приводит к довольно грубым ошибкам, достаточно. Совсем недавно Х. Василев отнес фразеологизм с сочетанием *птичье молоко* (русск. *нет только птичьего молока*, болг. *само от птиче мляко няма*) к праславянскому фонду (и эпохе) на том основании, что он известен в современном болгарском, сербскохорватском, русском, польском и чешском языках и зафиксирован в полабском [15] Однако К. Костов, со свойственной ему эрудицией, блестяще показал путь древнегреческого идиома ὀρνίθων γάλα, связанного, как полагал еще Я. Вакернагель, со сказочными сюжетами, в византийскую, латинскую (lac gallinaceum 'куриное молоко') письменность и язык, а оттуда уже в новогреческий, немецкий, венгерский («птичье молоко» и «петушиное молоко»), албанский («ласточкино молоко») и упомянутые славянские [16]. Судьба иди-

[15] Хр. Василев. Към славянската фразеология: *от птиче мляко*. — «Български език», т. XX, кн. 4. София, 1970, стр. 347—348.

[16] К. Костов. Наследен ли е от праславянско време днешният славянски пословичен израз *от птиче мляко*? — «Български език», т. XXI, кн. 2—3. София, 1971, стр. 255—259.

ома ὀρνίθων γάλα неудивительна, ибо ничто не переносится и не передается с такой удивительной быстротой и не сохраняется потом со столь исключительной устойчивостью, как слова, справедливо именуемые «крылатыми».

Изложенные выше общие рассуждения нуждаются, естественно, в конкретной иллюстрации. Лимит места позволяет пока привести и разобрать только один фразеологизм, относящийся, на наш взгляд, к праславянской эпохе.

В Западном Полесье несколько лет тому назад был нами записан фразеологизм *на чо́рныj паз'у́р* или *на чорныj н'бγот'* 'ничтожно мало'. Это соответствует другим фиксациям на белорусской территории: *ні на сіні ногцік* 'нисколько, ни самой малости' (Мядельск. р-н, Минск. обл. сообщ. А. С. Аксамитов), *бяды тэй на сіні ногцік* 'не беда, беда небольшая' (там же, сообщ. Л. Соловей), *не было ничбго й ні на сіні пазногаць*; *засталіся безь ничбгянька — як стаяць* 'не было ничего, ни самой малости; остались без ничего — как есть' (г. Воложин, Минск. обл. сообщ. Ф. М. Янковский), *кап, скажи, хоць што! — дык німа й на сіні ногаць!* 'Если б, скажи пожалуйста, хоть что-нибудь! — так ничего же!' (г. Столбцы, Минск. обл. сообщ. Ф. М. Янковский), *німа ў іх там і на сіні пазногаць*; *ничаго добрага, ничаго патрэбнага* 'нет у них там ничего (ни самой малости. — *Н. Т.*), ничего хорошего, ничего нужного' (завод Раёвка, Вилейск. р-н, Минск. обл. сообщ. Ф. М. Янковский), *якоя там с таго́ кабанчыка сала! — на сіні кіпець* — 'какое там от этого поросенка сало — ничтожное (очень малое)' (пос. Паричи, Гомельск. обл. сообщ. Ф. М. Янковский; *кіпець* 'ноготь'), *ні на пазногаць* 'нисколько' (Докшиц. р-н, Витебск. обл. сообщ. А. С. Аксамитов; *пазногаць* 'верхняя часть ногтя'), *ні на сіні пазнбгаць* 'нисколько, ни самой малости' (Глусск. р-н, Минск. обл. Янк. БППФ, 491), *за пад нʸбгця хацéла б дастáч* (б. Волковыск. уезд LBRL IV, 204). Последний пример М. Федоровский толкует как 'интересуется', возникшее, видимо, из первоначального 'хотела бы добраться до самой малости, до мельчайших подробностей' (ср. ниже близкие польские и болгарские примеры). В белорусском литературном языке принята форма *ні на нбгаць* 'нисколько, ничуть' (БРС).

Украинский материал пока известен из зоны Карпат, Прикарпатья и Закарпатья. Он картографирован, и это придает ему особую ценность. На карте № 202 «Карпатского диалектологического атласа» находим *як за нігтьом чорне* и т. п. сплошь в Бойковско-Закарпатском регионе, на Гуцульщине, в Северной Буковине и спорадически на Надднестрянщине и в Покутье. В Южной Буковине и в западной части Северной Буковины известно — *як за нігтьом сине*. Вариант с лексемой *сине* имеет достаточно четкий ареал (КДА/кн. I/, стр. 247, 248). Известны и единичные варианты типа *йак за ні́хт'ом болбта* (с. Волоща, Надднестрянщина), *йек за ні́хтем грэз'у́кі* (с. Красноїлля, Гуцульщина), или «свернутый» тип *йак за ні́хот'* (с. Яблунька, Сев.-зап. Гуцуль-

щина), *хоч' за ні́хот'* (с. Шепіт и с. Плоска, Вост. Гуцульщина), чаще же всего, однако, *ку́лко за ну́хт'ом чо́рного* (с. Нересниця, Зап. Гуцульщина) и т. п. (КДА /кн. I/, стр. 247—248). Все эти фразеологизмы означают 'ничтожно мало', 'очень мало'. Иногда может быть и значение 'нисколько': йа ни ви́нен *і чо́рного за н'іхтем* 'я абсолютно не виновен' (Раховск. р-н, Юго-зап. Гуцульщина, сообщ. Н. А. Грицак).

На великорусской территории этот фразеологизм отмечен на Псковщине и русском Севере. В Псковской зоне: *ни на синь ноготок*, вероятно, также 'очень мало', 'ничтожно мало', 'ничуть', хотя фиксатор передает как 'ни на черную полоску за ногтем' (В. Н. Елина, СНТРС, 75). Правильное толкование *на си́ний нёготь* находим у Л. А. Ивашко — 'очень мало, чуть-чуть': ани́ вайны́ (фронту) ни памага́ли *на си́ний нёгать* (д. Агарышево. Красногородск. р-н, Юго-зап. Псковщина. ВТИЯ, 256). Севернорусский пример зафиксирован Л. А. Ивашко в печорских говорах: *весно́й ношу́, ле́том мецю́ (мечу), зимо́й вожу́сь: леготы́ не видала до сего го́ду си́ний ноготок* (с. Трусово, на р. Цыльме).

Достаточно полно и разнообразно представлен разбираемый фразеологизм в польском, кашубском, чешском и словацком языках.

Благодаря усилиям научного коллектива под руководством акад. Ю. Крыжановского, польский материал собран и расклассифицирован весьма тщательно [17]: tyle, co czarnego za paznokciem 'ничего, ничтожно мало', то же — czarne za paznokciem; tyle, co czarno za paznokciem; ani tyle, co brudu za paznokciem; ani tyle, co czarnego za pazurem; za tyle co czarnego za paznokciem; ani tego spod pazura nie dóm; ani tyla, co za paznokciem; ani tyle, co za paznokciem; ni mosz gańby ani tela, co za pazurym; ani za pazur, в близком значении 'нисколько, ничего': nic mu nie dał, ani na koniec paznokcia, или nawet na paznokieć; na paznogieć od woli jego nie odstąpil; z miejsca się nie odmykał i na jeden paznokieć; ani na paznokieć (NKPP II, 838). Фразеологический словарь С. Скорупки приводит только два примера: *ani na paznokieć* 'ничего, абсолютно ничего' и *mieć czego za paznokieć* 'иметь очень мало, не иметь почти совсем — ' — z robotą wszędzie jednako, kto chce, ta ma jej za paznokieć, a kto chce — po uszy (Skor. SFJP I, 655—656). Наряду с этим следует отметить еще один польский фразеологизм, генетическую родственность которого с приведенным выше мы пока не определяем: zaleźć komu za pazury; już mi wlazł za pazury; za pazury zalazł; włazili za pazurki; zalazł mi za pazury; lyżć komu za pazury 'назойливо докучать, мучительно досаждать' (NKPP II, 839). Ср., однако, блр. *за пад нʸбгця хацéла б дастáч* и болг. *разпитвам го и за калта под ноктите му*.

[17] Опускаем ссылки на первоисточник и дату записи фразеологизма, т. к. все это читатель может найти в образцово подготовленном и изданном сборнике NKPP.

В кашубском языке Б. Сыхтой отмечены оба варианта фразеологизма с субстантивированным *čårno* и без него: *ańi za nokc* 'ничего'; v tim ńi ma prâvdë ańi za nokc; ańi tëlë co čårno za nokcą 'ничего'; ode ḿe ńe dostońeš ańi tëlë co čårno za nokcą (Sych. SGK III, 215).

В сводной коллекции чешских народных идиом, собранных Я. Заоралком, и в Академическом чешском словаре нет ни одного примера на основной вариант фразеологизма с формой **čьrno:* je teho ledva za nehet 'очень мало'; ani za nehet 'нисколько'; nemít co by za nehet vlezlo (или padlo) 'иметь чего-л. очень мало или не иметь вообще ничего'; ani na nehet se neuchylovat 'быть неуступчивым, упрямым' ('ни на малость не уступать'. — *Н. Т.*); byt věrny za nehet 'быть верным кому-л. в очень малой степени, быть неверным'; na nehet odměrovat 'точно отмеривать что-л.' ('отмеривать до малости'. — *Н. Т.*) (Zaor. LR, 242). Настольный академический словарь приводит примеры только с формой *za nehet* 'ничтожно мало', 'нисколько' — vzal jsem já vam nekdy, co by za nehet vlezlo? (PSJČ). В последнем случае мы сталкиваемся с примером возникновения нового сложного фразеологизма ani co by se za nehet vešlo (или vlezlo, padlo) — 'как кот наплакал, ни капли, с гулькин нос, с воробьиный нос' (ČRS под словом *nehet*; см. выше Zaor. LR, 242). В данном случае *co by vešlo* замещает то, что в других (соседних) диалектных зонах обозначается словами **čьrno*, **siṅe*, **bolto*, **brudъ*, **kalъ*, **grězъ*, т. е. 'черное', 'грязь' и т. п.

Известный нам словацкий материал демонстрирует положение, очень близкое к чешскому, сохраняя при этом и вариант со словом blato и отражая также новое семантическое развитие всего фразеологизма, близкое в одном случае к южнославянскому (болгарскому): ani (ako) za nechtom; ani pod nechtom; ani čo by sa za necht vošlo; ani čo by sa za necht spratalo 'ничего, почти ничего, очень мало'; (tol'ko) ako za necht blata 'очень мало, почти ничего' (SSJ под словом necht); dal bi mu i to blato spoza nechtov ('я бы отдал ему все до самой малости, и самую малость'. — *Н. Т.*), соответствующее другому крылатому слову dal bi mu i to co nema — дословно 'дал бы ему и то, чего нет' (Zát. SPPÚ, 88; ср. ниже болг. *давам и калта под ноктите си*). Крайне любопытны две словацкие поговорки, возникшие на основе рассматриваемого фразеологизма: každý ma čierne za nechtom и každý ma za nechtami blato (Zát. SPPÚ, 228). В этом случае часто количественная оценка «черного» или «грязи» под ногтем ('малое') заменяется оценкой экспрессивно-качественной «черное» и «грязь» ('плохое') — 'у каждого есть немного черного (грязи) под ногтем' (дословный перевод мой. — *Н. Т.*), т. е., вероятно, 'у каждого есть немного темного (недостатков, грехов)'.

Не менее интересные примеры демонстрируют нам южнославянские языки.

В болгарском языке известно употребление слов *черно* и *кал* 'грязь' в составе идиома, но *черното под ноктите* и *калта под ноктите* в общем не употребляется отдельно в значении 'ничтожно мало' вне зависимости от глаголов *давам* 'давать', *разпитвам* 'расспрашивать', *познавам* 'знать' (связанное следственно с *разпитвам*): *дадох си калта под ноктите* 'дал все, что имел' (РСБКЕ под словом *нокът*; — 'дал и самую малость'. — *Н. Т.*); *давам и калта под ноктите си за него* 'отдам для него все, что имею' (Гъл. БНФР, 399, 581; ср. словацк. dal bi mu i to blato spoza nechtov); *познавам му и черното под ноктите* 'вижу его насквозь' (сообщ. А. К. Кошелев), *познавам и калта под ноктите му* 'то же' (Гъл. БНФР, 399; — 'знаю о нем и самую малость'. — *Н. Т.*), или в расширенной форме *познавам му и майчиното мляко, и зъбите, и черното под ноктите* (Гъл. БНФР, 817); *разпитвам го и за калта под ноктите му* 'расспрашиваю его обо всех подробностях' (Гъл. БНФР, 399; — 'расспрашиваю и о самом малом. — *Н. Т.*). Наконец, с безличным глаголом *свиди ми се, свиди му се* и т. п. 'мне жаль, ему жаль (расстаться с чем-л.)' образуется фразеологизм *свиди ми се дори черното под ноктите* 'мне стало жаль даже самой малости' (Гъл. БНФР, 399; о скупости. — *Н. Т.*), или в расширенной форме *свиди му се калта (черното) под ноктите ми, свиди му се че дишам* дословно 'ему стало жаль и грязи (черного) под моими ногтями, ему стало жаль, что я дышу' (Гъл. БНФР, 882; о скупце. — *Н. Т.*). Ср. ниже великорусск. тверск. *ногтёвый* 'скупой' и другие идиомы.

В сербскохорватском языке интересующий нас идиом представлен в различных видах — в развернутом, вероятно близком к первоначальному, и в свернутом: в форме существительного *нȍкат*, или наречия *цр̏но* (в диалектах). В Белграде и в других городах, где принят литературный сербскохорватский язык, говорят *ни колико црно испод нокта* 'ничтожно мало', но в разговорной речи возможно и употребление одного только слова *нȍкат*, что может означать также 'ничтожно мало'. Это слово имеет эквивалент и в кинетической речи, в которой приведенное значение выражается следующим жестом: обычно ногтем большого пальца, обращенного к собеседнику тыльной стороной, задевают за верхний передний зуб. Кинетический знак может сопровождаться звуковым аккордом вроде *ц ц ц ц. . .* (или *ц!*), а может и не сопровождаться [18]. В связи с этим возникает вопрос — нет ли связи между белорусск. *ні на зуббк* 'нисколько, ничтожно мало' (Кареличск. р-н, Гродненск. обл., сообщ. А. С. Аксамитов) и приведенным сербским кинетическим знаком [19]?

[18] Мы не считаем этот кинетический знак специфически славянским или славянского происхождения. Возможно, что у сербов произошла контаминация словесного знака *нȍкат* и кинетического, вероятно заимствованного извне (с Востока?). Описанный кинематический знак с тем же значением, по нашим сведениям, известен на Северном Кавказе.

[19] Интересно выяснить, не относится ли сюда и русск. *знать назубок* (т. е. 'до самой малости, подробности'. — *Н. Т.*).

Любопытны случаи свертывания фразеологизма до форм za nokat, ni nokta и т. п. Загребский академический словарь со ссылкой на М. Држича (XVI в.) приводит пример: nije svijesti u meni ostalo za nokat и поясняет 'нисколько' ('сознания /совести/ у меня нисколько не осталось'. — *Н. Т.*). С указанием, что «так говорится в Риеке» (Сев. Далмация), дается пример ne imam ni nokta kruha 'нет у меня ни крошки хлеба' (RHSJ под словом nȍkat). Но особенно ценны примеры из черногорских диалектов, где *цр̂но* означает 'ничтожно мало'. Подобное свертывание с сохранением первого компонента из идиома **црно испод нокта* уникально в славянском мире: *цр̂но ѝма тра̏ве у̏ Пољу* — дословно 'очень мало травы в Поле' (где *Поље* топоним), *цр̂но ра̑дӣ сва̏ки посӣ* 'плохо (из 'очень мало.' — *Н. Т.*) работает на любой работе' (Вук. АГПД, 416), или *чесма црно реве* 'вода в источнике еле-еле (очень мало) течет'. Последний пример записан русским этнографом П. Ровинским с пометой «если вода в ней (в *чесме.* — *Н. Т.*) едва течет, слабо» (Ров. Черн. II, ч. I, 546).

Из македонского языка нам известен пока только один пример *едно нокте* 'очень мало' (PMJ), который на фоне изложенного материала можно воспринять как свернутый фразеологизм. Однако не исключена возможность и прямого переноса значения слова *нокте* 'ноготок'. Ср. русск. *мужичок с ноготок*. Ср. также *на волосок* 'в малой степени' и т. п.

Наконец, развернутому сербскохорватскому фразеологизму вполне соответствует словенск. kolikor je za nohtom črnega 'ничтожно мало' (Pav. FSPJ, 294). Что же касается структурно аналогичного румынского (nici) cît (e) negru sub unghie 'ничтожно мало' (DLRLC III, 188), то, судя по всему, этот фразеологизм — калька из славянского [20].

Приведенный выше материал свидетельствует, что фразеологизм *na čьrnъ (čьrnъjь) nogъtь (или *jako jestъ za nogъtemь čьrno и т. п.) известен в восточной, западной и южной группе славянских языков. Приблизительно в таком виде, надо полагать, он был свойствен праславянскому языку. Достаточно древним должен быть признан и формальный вариант с *sinь вместо *čьrnъ с тем же значением 'черный' (об этом см. ниже), дающий в современном славянском мире карпатско- (точнее буковинско-) восточнобелорусско-псковскую изоглоссу, имеющую далее непосредственное продолжение на великорусском Севере (на р. Цыльме). Другие формальные варианты с *bolto, или *brudъ, *grězь, *kalъ (все со значением 'грязь') распространены в украинско-словацко-болгарской зоне. Притом *bolto зафиксировано лишь в украинском (карпатск.) и словацком, *grězь только в украинском, *brudъ

[20] Считаю своим долгом отметить, что в статье «Об изучении полесской лексики» (сб. «Лексика Полесья». М., 1968, стр. 16) я рассматривал исследованный фразеологизм как полесско-карпатско-южнославянское соответствие. Это не точно, хотя и была сделана оговорка об условности этого понятия (там же).

только в польском, а *kalъ только в болгарском. Естественно, что изоглосса с *siń — более устойчивая, более древняя и потому более показательная, чем изоглосса с *bolto и т. п., которая, вероятно, не очень давнего происхождения. Свернутый фразеологизм *na nogъtь, *sъ nogъtь, *za nogъtemь, *ni na nogъtь и т. п. (или соответственно польск. pazur и т. п.) известен в болгарских, украинских, польских, кашубских, чешских (в чешских он абсолютно преобладает), словацких и сербскохорватских говорах. В сербскохорватском этот процесс продвинулся дальше всего и привел к появлению существительного *нȍкат* 'очень мало' и наречия *цр̑но* 'то же'. Свернутый вариант не зафиксирован лишь в болгарском и словенском. Что же касается великорусских диалектов, то следует признать наличие в них свернутых вариантов — прилагат. *ногтёвый* 'скупой' и др.[21] Однако последний вопрос связан с семантикой всего фразеологизма, которая в общеславянском масштабе достаточно устойчива — 'ничтожно мало', 'очень мало' (отсюда 'почти ничего', с отрицанием 'ничего' и т. п.). Тем не менее известны и другие семантические модели, возникающие под влиянием семантики глаголов, входящих в состав фразеологизма, как-то 'отдать всё' (из 'всё до малости'), 'измерить точно' (из 'до малой величины'), 'видеть насквозь' (из 'всё до малости'), 'расспрашивать подробно' (из 'всё до малости'), 'скупиться' (из 'жалеть всё до малости'), наконец, словацк. každý ma čierne (или blato) za nechtom, где в двучленном сочетании *čьrno za nogъtemь слово *čьrno переосмысляется как 'нечто отрицательное, тёмное, аморальное'.

Тема скупости отражена не только в болгарском, но и в белорусском и великорусском. Ср. минск. (червенск.) — *у яго с-падногця гразі ня достаняш* (с. Новосёлки, Пуховицк. р-н. Шат. КСЧ, 178), владимирск. — *занимать из-под ноготка*, 'тратить или давать с большой неохотой, со скупостью' (ср. обратное болгарск. *давам и калта под ноктите си*) — *кажду копеечку из-под ноготка!* (Юрьевск. уезд, Черн. ДСМ), тверск. — осташковск. *ногтёвый* 'скупой' (Доп. Оп.) (ср. болгарск. *свиди му се черното под ноктите ми*).

Рассмотренный фразеологизм представляется нам достаточно типичным примером, способным иллюстрировать ряд выводов, которые вкратце сводятся к следующему.

Для того, чтобы тот или иной славянский фразеологизм можно было отнести к праславянскому периоду, желательно, чтобы

---

[21] Во всех этих случаях на основе отдельных слов можно со значительной долей вероятности восстанавливать фразеологизм. Такое восстановление оказывается бесспорным, когда фразеологизм закартографирован (см. КДА, карта № 202). Известны и обратные случаи восстановления слова на основе фразеологизма, как это хорошо показал на карпато-украинском материале И. А. Дзендзелевский. См. его статью «Фразеология как материал для реконструкции (палеонтологии) утраченных лексем и их ареалов» в сб. «Русское и славянское языкознание» (М., 1972).

его форма, значение, функция и распространение отвечали излагаемым условиям (или части из них).

I. Существенно, чтобы фразеологизм функционировал в диалектах, а не в литературных языках. В случае наличия в литературных языках важно выяснить его диалектное или книжное происхождение. Для рассмотренного фразеологизма несомненна его диалектная принадлежность в восточнославянских языках, в сербском, болгарском и кашубском. Есть также указания на его народный источник в чешском и польском.

II. Существенна география фразеологизма и его вариантов. Желательно их наличие не во всех славянских языках и диалектных зонах, а лишь в отдельных крупных и мелких районах и в первую очередь в архаических. Представленность не в одной только группе славянских языков (восточной, западной, южной) важна и показательна, хотя, естественно, могли быть и локальные праславянские фразеологизмы, отразившиеся только в одной группе славянских языков. Однако задача выявления последних пока не ставится, как преждевременная.

III. Существенно отсутствие фразеологизма в европейских индоевропейских языках (кроме балтийских), т. е. языках, имевших значительное книжно-культурное влияние [22], в качестве гарантии, что возможность калькирования минимальна. Желательно обнаружение фразеологизма в восточных индоевропейских языках, в первую очередь языках индо-иранских. При этом и здесь следует производить проверку, чтобы выяснить, не является ли фразеологизм результатом воздействия интернациональной восточной культуры (арабские, тюркские и др. источники). Украинский и русский язык (белорусский в меньшей мере), равно как и болгарский, македонский и сербский (словенский в значительно меньшей мере) испытывали мощное влияние восточной идиоматики, особенно со стороны тюркских языков. Контрольную функцию в известной мере могут выполнять при этом западнославянские языки, испытывающие меньшее или минимальное восточное влияние.

IV. Существенно наличие определенного числа формальных и смысловых (семантических) вариантов фразеологизма. Правильным, вероятно, будет утверждение, что характер и число вариантов, в первую очередь формальных, оцененных в лингвогеографическом плане, может быть довольно ярким критерием определения в о з р а с т а фразеологизма. Особенно показательны и важны примеры свертывания фразеологизма типа сербского *нȍкат*, *цр̑но* (диал.) и др. Если выявить довольно архаические случаи свертывания фразеологизма (т. е. установить этимологию ряда исконно-славянских слов, как происходящих из фразеологизма),

---

[22] Исключение составляют древние, например, латинские «свернутые» фразеологизмы (т. е. уже не фразеологизмы, а отдельные слова, сложные слова и т. п.), относящиеся к исконному индоевропейскому наследству.

то вероятность отнесения фразеологизма к праславянской эпохе значительно повысится. Один подобный, на наш взгляд, случай мы рассмотрим ниже, сейчас же отметим важность установления географии вариантов, в первую очередь формальных вариантов, различных типов. По-видимому, еще к праславянской поре восходят варианты со словами *čьrno и *sine.

V. Существенна и необходима опора на экстралингвистическую ситуацию (древнеславянскую, праславянскую) во всех случаях, когда она может быть восстановима археологическим, сравнительно-этнографическим, сравнительно-мифологическим, сравнительно-фольклористическим и т. п. путем.

Анализ интересующего нас фразеологизма с сочетанием *čьrno podъ nogъtemь был бы неполон, если бы не были рассмотрены еще некоторые моменты. Первый из них это слово *sinь (sinьjь) в значении 'черный'. Такая семантика слова *sinь в современном славянском мире фиксируется в восточнославянских и сербскохорватских диалектах, но белорусам, украинцам, хорватам и сербам она известна лишь в определенных устойчивых сочетаниях и дериватах. Что же касается великороссов, то только жители русского Севера (Пинежье и соседние районы) знают *си́н'ой* 'черный' в «свободном» употреблении. Ср. пинежск. си́н'ой 'черный', 'грязный': по́л-то си́нёй такой; по пре́жнему си́нёй, дак грязно́й-то (А. Гора. Пинежск. р-н); у меня́ ремко́в-то э́тих есь, — стира́ю, стира́ю не могу́ отстира́ть, всё э́ко си́нё (Веркола, Пинежск. р-н); *пол засинел* (Веркола, Пинежск. р-н. СНГРС, 75). На употребительность в русском языке слова *синий* в значении 'черный' обратил внимание еще А. А. Потебня в своих «Этимологических заметках» [23]. Он привел пример из «Сборника песен Самарского края» (собрания В. Варенцова, СПб., 1862): *а к утру то тело как котел посинело* и сопоставил его с наблюдениями Ф. Миклошича — ц.-сл. синѧцѧ 'негр' и 'черт' (от синѧ 'черный' (Mikl. LPSGL, 840) [24]. Это же значение слова *синь*, *синий* содержалось в широко распространенном русском фразеологизме *ни синь пороха*, *ни пороха ни синяго* 'нисколько', 'ни самой малости', где *порох* первоначально выступал также в архаическом значении

[23] А. А. Потебня. Этимологические заметки. — РФВ, V, вып. 1. Варшава, 1881, стр. 1551.

[24] Ф. Миклошич почерпнул в свою очередь из «Словаря церковнославянского языка» А. Х. Востокова (СПб., 1852), где дано «синин ꙗко сажа быкающе Дек. 30 сеіопы синн. Здесь *синий* должно значить *черный* и от того диавол мог быть назван *синьць*» (стр. 171). Собственно почти весь материал Ф. Миклошича, где *синь* означает 'черный', почерпнут из церковнославянского языка русской редакции, хотя приводится и сербский пример *sinj* 'niger'. Последнее свидетельство подтверждается фактами, изложенными в XV томе загребского «Словаря хорватского или сербского языка» (RHSJ, XV, 1956). Среди прочих примеров любопытен пример из средней Далмации — sinja mast дословно «синяя мазь» — 'черный деготь, которым мажутся лодки, баркасы и т. п.' (RHSJ XV, 42). Ср. также в словаре И. И. Срезневского русск. церковнославянский синьць 'черный (о диаволе)' и 'эфиоп' (Срез. МСДРЯ, III, 358).

'пыль, грязь'. Таким образом, *ни синь пороха* означало при своем возникновении 'ни черной пылинки, ни грязи'. Этот фразеологизм известен не только по текстам русской классической литературы (ср. [В комнате] не осталось уже ни одной моей вещи, положительно, что называется ни синя пороха. Лесков. ФСРЯ, 345; там же примеры из сочинений Тургенева, Писемского, Л. Толстого, Короленко), но и по многочисленным диалектологическим записям, которые помогают уточнить его географию: пакосу нет ни си́нь-пороху (с. Гнилуша, Московск. у. Черн. ДСМ), ни синь пораху не была ва рту, 'ничего во рту не было, ничего не ел', ни синь-порыху не видно (Мещовск. у. Калужск. губ. Кос. МСМУ), от жены ни синь-пороха помочки тебе не будет (там же, Черн. СМГ), *син-порох* 'ничтожная часть чего-л.' (д. Дубровичи. Рязанск у. и губ. Гор. СДРУ), *ни синя пороху* 'ничего, совсем ничего нет, ни единыя порошиночки'. «Это говорится в ответ о чём-н. просителю» (рязанск. и других местностей; Мак. ОРПС), синя пороха не едал (Судогодск. у. Владимирск. губ. Бер. ВСУ), *пóрох* 'безделка' (точнее 'малость', 'малая часть чего-л.' — *Н. Т.*), всё украли, синя-пороха не оставили (Псковск., Тверск., Осташковск. Карп. КОПС, Доп. Оп.), *синь-порох* 'ничтожная часть чего-л.', *ни синь-пороха* 'ничего' (Ярославск. Якуш. МСЯГ), синь-порох поднять 'всё переворошить' — синь-порох подняли, нигде нет. . . (зауральск. Тим. МОСЗ), наконец, случай свертывания фразеологизма до несклоняемого существительного *синь* — ни кусочка не досталось рыбки, вот даже ни синь, ни крошечки (саратовск. Наум. СНЯВС).

Аналогичные формы зафиксированы в Белоруссии: *ні пóраху ні́ сіняга* 'ничего' (д. Клётное, Глусск. р-н, Могилевск. обл. Янк. ДС I, 216), *ни́ пораха* 'нимало' — ни пороха не видзиць; ни пороха не боюся, *ни порошинки* 'совершенно ничего' — ни порошинки не боицца никого (вероятно, тоже могилевск. Нос. СБН, 340) [25]. В последнем примере снова наблюдается результат свертывания фразеологизма, на сей раз на основе второго компонента. Общность значения (семантики) фразеологизмов и формальная общность их первых компонентов (*ни на синь ноготок* и *ни пороху ни синего*, либо *ни синь пороха*) позволяет рассматривать эти идиомы как варианты одного и того же фразеологизма. Ко всему прочему, надо полагать, они и генетически родственны друг другу.

Для того, чтобы убедиться, что это так, следует, на наш взгляд, применить процедуру, предложенную Э. Бенвенистом в отношении «омонимов» voler 'летать' и voler 'воровать'. Наличие даже одного контекста, где устанавливается прямая смысловая связь, заставляет известного французского лингвиста признать «омонимию»

---

[25] Отметим при этом, что И. И. Носович дает четыре значения слова *пóрох*: кроме обычного 'порох', еще 'прах, пыль', затем 'земля' — потуль буду помниць, покуль порохом вочи не засыплюць (поговорка) и, наконец, 'самое малейшее количество' — ни пороха не осталось мне (Нос. СБН, 475).

voler 'летать' и voler 'воровать' с синхронной и этимологической точки зрения ложной [26].

Для решения поставленных нами задач важна не столько этимология составляющих фразеологизм лексем (слов), сколько «этимология» особого рода — на уровне смысла, т. е. существенна не столько общность формальной структуры, сколько общность исходной смысловой (семантической) формы, общность исходного сочетания семем. Вот почему совершенно иная этимология на уровне смысла будет, например, у польских фразеологизмов mieć żalobę za paznokciami 'иметь грязные ногти' (соответств. русск. носить траур по китайскому императору) и tyle, co czarnego za paznokciem (NKPP II, 838).

Следует признать, что проблема различения вариантов одного и того же фразеологизма от фразеологизма иного связана с целым рядом трудностей, возникающих и в синхронном, и в диахроническом плане, и требует особого рассмотрения.

Вторым моментом, дополняющим наши наблюдения над фразеологизмом с сочетанием *čьrno podъ nogъtemь, оказываются слова, возникщие на основе этого фразеологизма. О ряде слов, появившихся в результате свертывания фразеологизма, таких, как **nogъtь (нȍкат)*, **čьrno (цр̑но)*, **sinь (синь)* 'ничтожно мало', **nogъtevъjь (ногтёвый)* 'скупой', речь шла выше. Их наличие и их ареалы (география слова) чрезвычайно важны для определения характера и хронологии самого фразеологизма. Но сами по себе эти слова не дают нам оснований для их отнесения к праславянскому периоду. Очень возможно и весьма вероятно, что они позднего происхождения. На раннее (праславянское) происхождение подобных «свернутых» слов могут указывать другие факторы — изменение семантики слова, его самостоятельная «жизнь» вне фразеологизма, его география — представленность в нескольких славянских языках (как лучший случай — в языках, не соприкасающихся друг с другом).

Таким древним, вероятно праславянским словом, на наш взгляд, является великорусск. диал. *нбготь*, означающее разные болезни лошадей или крупного скота. Это слово распространено на русском Севере, и одним из основных, вероятно древнейших, его значений является — 'род падучей болезни, колики у крупного скота, лошадей'. Ср. *нбкоть* 1. 'род падучей болезни у рогатого скота': животное внезапно падает, заворачивает голову, бьет судорожно ногами и вскоре издыхает; 2. 'болезнь лошадей': затвердение века с слезливостью глаз; 3. зложелательное ругательство *нокоть-те дери* повсеместно (архангельск. Подв. СОАН); *нбготь* 'скотская скоротечная болезнь' (вытегодск., каргопольск., петрозаводск.), *нёгтем захватило* (повенецк.), синоним — *захребетница* 'болезнь скота: нарывная опухоль, идущая вдоль хребта

[26] E. Benveniste. Problèmes sémantiques. . ., стр. 252.

коровы или лошади от хвоста к голове' (олонецк. Кул. СООН); *нбгти снимать* 'снимать у лошадей с глаз бельмо', *нбготь* 'разные конские болезни' (вологодск. Дил. СОВН, Иван. МСВНГ), *нбготь* 'колики у лошади' (череповецк. Гер. СУЧГ), *нбготь* 1. 'лошадиная болезнь, затвердение века, от чего бывает слезотечение' (Ярославск. Бал. НГПУ, Якуш. МСЯГ), 2. 'чемер, колики у лошади' (ярославск. Якуш. МСЯГ), синоним *чемер* 'колики у лошадей' (ярославск. Якуш. МСЯГ); *ногтём здуло* «если животное распухло и пропало» (вятск. Дьяк. ССНУ); *нбготь* 'болезнь у лошадей, колики' — ехали всё ладно, вдруг лошадь легла да стала валяться, видно ноготь взял (пермск. Лук. СПСПГ), *нбготь* 'болезнь лошади: затвердение века, отчего бывает слезотечение' — жеребенка ноготь давит (томск. Опыт); *ноготь* 'конская болезнь, чемер' (томск. ЮЗТГ); *нбготь* (*нбкоть*) 'болезнь лошадей, судороги, колики' — нокоть — это тоже болесть така́, лошадь когда больна, кататся, никак не стоит (томск. ССО), *ногтем вертеть* — «так говорят крестьяне, когда у скотины случится природный припадок» (Бурн. ОТС). А. К. Матвеев со свойственной ему тщательностью и наблюдательностью отметил на Пинеге, что «старикам было известно 12 ногтей»: *нбкот* 'болезнь лошади, судороги у лошади' — «говорили, что от него помогает иногда, если зажечь бересту у хвоста лошади» (д. Кеврола Пинежск. р-н, Архангельск. обл. Матв. СГК). Отсюда понятно, что *ногтем* могли называться различные конские болезни, но, видимо, первой среди прочих была смертельная болезнь, сопровождаемая коликами. Характерно, что в современных севернорусских диалектах синонимом к *ноготь* выступает *чемер* (*ч'ёмор*), означающий также и 'нечистую силу, лешего' [27]. Нетрудно догадаться, что слово *нбготь* вместо *чемер* и подобного возникло на основе табуирования слова. Табуирующим или «подставным» (по терминологии Д. К. Зеленина) было слово, означающее первоначально 'самую малость', 'ничтожно малое, пустяк', 'почти ничего'. Употребление подставного слова именно с такой первоначальной семантикой вполне понятно. Ср., например, ласкательные названия лихорадки *мату́ха*, *ма́тушка*, *сестри́ца*, *добру́ха*, *подру́га*, *кума́*, *ку́мушка*, *пету́ха* (т. е. 'няня'), *гостья* и т. п. О древности (судя по всему, праславянской) рассматриваемого подставного слова свидетельствует соответствующее северновеликорусскому чешское диал. *nehet* 'скотская болезнь, проявляющаяся на слизистой оболочке языка' — má li nehet která kráva, at' se jí blínové semeno dává (PSJČ), словацк. *nohet* 'то же' (Mach. ESJČ$_2$, 394). Приведенный пример достаточно ярко свидетельствует о том, какую роль может играть фразеология при установлении ряда славянских этимологий.

---

[27] Аналогичное положение наблюдается и в болгарских родопских говорах, где *чёмêр* 'злой колдовской дух' (БД II, 299). Отметим, что *чемер* 'болезнь живота' известно и южнорусским диалектам. Материал по этому слову столь обилен, что нет возможности привести его в настоящем докладе, и его изложение и трактовку мы откладываем до более удобного случая

Третьим моментом, проистекающим из наших наблюдений над фразеологизмом с сочетанием *čьrno podъ nogъtemь, можно считать возможность пересмотра некоторых установившихся представлений по истории (этимологии) отдельных слов. Так, русское слово *подноготная* в идиоме *узнать подноготную* едва ли нужно связывать, как предполагал М. И. Михельсон и др., со словом *подлинный* и считать, что речь шла первоначально «о пытке под длинниками — батожьями, прутом и о сдирании ногтей» (Мих. ОРФ II, 57). Это предположение о происхождении идиома *узнать подноготную* утвердилось с легкой руки С. Максимова (Мак. $КС_3$, 95), хотя каких-либо специальных аргументов в пользу того, что этот идиом связан со старинной допросной техникой, — нет. Болгарское же *познавам му и черното под ноктите* и др. (см. выше) свидетельствует, что русское *узнать подноготную* [28] можно отнести к группе фразеологизмов, развившихся на основе сочетания *čьrno podъ nogъtemь. Впрочем, в данном случае с нашей стороны выдвигается лишь еще одна гипотеза о происхождении конкретного идиома *узнать подноготную*, так как все же возможна и своеобразная смысловая контаминация, т. е. наслоение «пыточных представлений» на старый фразеологизм, не связанный с заплечными делами.

Менее гипотетичными оказываются восстановления и история фразеологизмов, возникавших на основе внелингвистических фактов, предметов или представлений, связанных с древнейшей славянской материальной и духовной культурой (религией, обрядностью и т. п.). В этих случаях процедура реконструкции значительно облегчается, а ее достоверность повышается. К числу таких, зародившихся на основе мифологических воззрений, идиомов относится, например, на наш взгляд, идиом **pijanъ jakъ zemja* (**pijanъ jakъ mati syra zemja*) полесск. белорусск. *пјáн јак зымн'á*, сербск. *пијан ко земља*, *пијан ко мајка*, болгарск. (макед.?) *пиян като земя* 'мертвецки пьян, пьян в доску', рассмотренный нами в другом месте [29].

P. S. В докладе не рассматривались примеры типа *с ноготь* (величиной с ноготь), *с ноготок*, например русск. *мужичок с ноготок*, как конструкции иного происхождения и иного порядка. Малая величина ногтя в сопоставлении со всем человеческим телом ведет в сознании многих людей к тому, что сравнение *с ноготок* и т. п. оказывается почти универсальным и распространено

---

[28] Женский род *подноготная* вместо ожидаемого с точки зрения носителя современного русского литературного языка *подноготное* мог возникнуть в связи с общей тенденцией во многих великорусских диалектах к утере среднего рода. См. С. С. Высоцкий. Утрата среднего рода в говорах к западу от Москвы. «Доклады и сообщения Ин-та русского языка», вып. 1. М., 1948.

[29] Н. И. Толстой. Rutheno-serbica. «Беларускае і славянскае мовазнаўства». Мінск, 1972.

во многих языках — индоевропейских (например, в армянском), тюркских и др. Чешские примеры типа ledva za nehet и т. п. являются, видимо, свернутыми вариантами к nemít co by za nehet vlezlo и т. п. Наиболее убедительными примерами свертывания оказываются те, которые встречаются иногда среди несвернутых фразеологизмов, как, например, украинские примеры из Карпатской зоны, где весь материал закартографирован.

Из материала тюркских языков нам известен пример, напоминающий рассмотренные славянские: казахск. *менің қара тырнағыма турмайсың* — 'моего черного ногтя не стоишь' (сообщ. А. Нурпеисов). К нему ближе всего уйгурск. *сынык тырнағынада турмайды* 'не стоит и сломанного ногтя', или *тырнағынада турайды* 'не стоит и ногтя' (сообщ. Э. Н. Наджип). В киргизском выделяется иногда 'белая полоска у корня ногтя' — *тырмактын агы*, при этом *тырмактын агындай да* в отрицательном обороте означает 'ни чуточки, ни крошки' (К. К. Юдахин. Киргизско-русский словарь. М., 1965, стр. 794).

Имеющиеся в моем распоряжении другие факты тюркских языков (они собраны при любезном содействии З. Б. Мухамедовой, Г. Ф. Благовой, М. М. Копыленко и Т. М. Судник) склоняют меня к выводу, что приведенный выше казахский фразеологизм возник независимо от славянского, притом в результате иного семантического развития. Следует также учитывать и семантику слова *кара* (*гара*), которое может означать не только 'черный', но и 'большой' и т. п. Недостаток места лишает меня возможности привести все тюркские примеры и интерпретировать их. Среди них особый интерес представляет чувашск. *чёрне хури вырăнне те ан хур* 'ни во что не ставить' (сообщ. Г. Корнилов). Этот вопрос, как и многие другие, остается до следующего раза.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Бал. НГПУ — А. В. Балов. Народный говор Пошехонского уезда Ярославской губернии. «Живая старина», вып. IV, СПб., 1893.

БД II — Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. II, София, 1965.

Бер. ВСУ — Г. Бережков. Взгляд на Судогодский уезд. «Владимирские губернские ведомости», 1851, № 50.

БРС — Беларуска-рускі слоўнік. М., 1962.

Бурн. ОТС — В. Бурнашев. Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного, тт. I—II, СПб., 1843—1844.

ВТИЯ — Л. А. Ивашко. Заметки по диалектной фразеологии. «Вопросы теории и истории языка», Л., 1969.

Вук. АГПД — J. Л. Вуковић. Акценат говора Пиве и Дробњака. Српски дијалектолошки зборник, X. Београд, 1940.

Гер. СУЧГ — М. К. Герасимов. Словарь уездного череповецкого говора. — ОРЯС, т. LXXXVII, № 3, СПб., 1903.

Гор. СДРУ — В. А. Городцов. Слова из говора крестьян села Дубровичи Рязанского уезда. 1902. Рукопись Ученого архива Всесоюзного географического общества в Ленинграде.

Гъл БНФР — Ж. Николова-Гълъбова, К. Гълъбов. Българско-немски фразеологичен речник. София, 1968.

Дил. СОВН — П. А. Дилакторский. Словарь областного вологодского наречия в его бытовом и этнографическом применении. Вологда, 1902. — Рукопись, хранящаяся в словарной картотеке Ин-та русского языка АН СССР в Ленинграде. (Далее — Рукопись. Карт. ИРЯЛ.)

Доп. Оп. — Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858.

Дьяк. ССНУ. — О. А. Дьяконова. Село Соколово, Нолинского уезда, 1896. Рукопись Архива АН СССР в Ленинграде.

Зел. ТСВЕ — Д. К. Зеленин. Табу слов народов восточной Европы и северной Азии. — «Сборник Музея антропологии и этнографии», т. IX. Л., 1930.

Иван. МСВНГ — Н. А. Иваницкий. Материалы для словаря вологодского народного говора (1883—1889). — Рукопись Карт. ИРЯЛ.

Карп. КОПС — И. И. Карпов. Краткий очерк простонародных слов, преимущественно Новоржевского, Опочецкого, Островского, Пороховского и Псковского уездов Псковской губернии и Осташковского Тверской. 1955. Рукопись рукописного отдела Библиотеки АН СССР.

КДА — С. Б. Бернштейн, В. М. Иллич-Свитыч, Г. П. Клепикова, Т. В. Попова, В. В. Усачева. Карпатский диалектологический атлас (т. I. Предисловие. Комментарии и т. п., т. II, карты). М., (1967).

Кос. МСМУ — А. И. Косогоров. Материалы для словаря Мещовского уезда Калужской губернии и другие диалектные материалы, б. г. Рукопись. Карт. ИРЯЛ.

Кул. СООН — Г. Куликовский. Словарь областного Олонецкого наречья в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.

Лук. СПСПГ — А. Луканин. Сборник простонародных слов, употребляемых в Пермском, Кунгурском, Осинском, Оханском, Соликамском и Чердынском уездах Пермской губернии. 1856. Рукопись. Карт ИРЯЛ.

Мак. К. С. — С. Максимов. Крылатые слова, изд. 2-е. М., 1899; изд. 3-е. М., 1955.

Мак. ОРПС — М. Макаров. Опыт русского простонародного словотолковника. (М., 1848).

Матв. СГК — А. К. Матвеев. Словарь говора д. Кевролы, Пинежского р-на Архангельской области. Карт. ИРЯЛ.

Мих. ОРФ — М. И. Михельсон. Русская мысль и речь. Свое и чужое. — Опыт русской фразеологии, т. I—II (СПб.) б. г.

Наум. СНЯВС — Д. В. Наумов. Слова народного языка села Верхозима. Петровского уезда Саратовской губернии. Рукопись ИРЯЛ.

Нос. СБН — И. И. Носович. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.

Опыт — Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.

Подв. СОДН — А. Подвысоцкий. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.

Пот. ЮЗТГ — Г. Н. Потанин. Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отношении. «Этнографический сборник Имп. Русского географического общества», вып. VI, СПб., 1864.

Ров. Черн. II, ч. 1 — П. Ровинский. Черногория в ее прошлом и настоящем, том II, ч. 1. СПб., 1905.

СНГРС — В. Н. Елина. Лексическая группа «названия людей» в архангельских и псковских говорах (по материалам экспедиций ЛГУ). «Слово в народных говорах русского Севера». Л., 1962.

Срезн. МСДРЯ — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т. 1—3. СПб., 1893—1912.

ССО — Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби, т. 1—3. Томск, 1964—1967.

Тим. МОСЗ — З. П. Тимофеев. Материалы для областного словаря Зауралья. Шадринск, 1962. Рукопись. Карт. ИРЯЛ.

ФСРЯ — Фразеологический словарь русского языка под ред. А. И. Молоткова. М., 1967.

Черн. ДСМ — В. И. Чернышев. Диалектные словарные материалы к разным местностям. 1910. Рукопись. Карт. ИРЯЛ.

Черн. СМГ — В. И. Чернышев. Из боровского просторечья (словарь). Слова мещовского говора. 1898. Рукопись ИРЯЛ.

Шат. КСЧ — М. В. Шатэрнік. Краёвы слоўнік Чэрвеншчины. Менск, 1929.

Якуш. МСЯГ — Е. Якушкин. Материалы для словаря народного языка в Ярославской губернии. Ярославль, 1896.

Янк. БППФ — Ф. Янкоўскі. Беларускія прыказкі, примаўкі, фразеалагізмы. Мінск, 1962.

Янк. ДС I — Ф. Янкоўскі. Диялектны слоўнік I. Мінск, 1959.

ČRS — Česko-ruský slovník. Praha, 1958.

DLRLC — Dicționarul limbii romîne literare contemporane. Vol. III. M.—R. București, 1957.

Fed. LBRL IV — M. Fedorowski. Lud białoruski na Rusi Litewskiej, tom. IV. Warszawa, 1935.

Mach. ESJČ$_2$ — V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968.

Mikl. LPSGL — Fr. Miklosich. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae. 1862—1865.

NKPP II — Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Redaktor naczelny Julian Krzyżanowski. Warszawa, tom I—1969, tom II—1970.

Pav. FSPJ — J. Pavlica. Frazeološki slovar v petih jezikih. Ljubljana, 1960.

PSJČ — Příruční slovník jazyka českého. Díl I—VIII. Praha, 1935—1957.

RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje JAZU. Zagreb, 1880—1970.

Zaor. LR — J. Zaorálek. Lidová rčení. Praha, 1963.

Zát. SPPÚ — A. P. Záturecký. Slovenské prislovia porekadlá a úslovia. Bratislava, 1965.

О. Н. ТРУБАЧЕВ

ЛЕКСИКОГРАФИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ

Лексикография и этимология — связанные друг с другом области лингвистической теории и практики. Можно говорить об их сопоставимости. Обе дисциплины исследуют слово, обе — очень трудные дисциплины. Трудность лексикографии воспета в стихах. Я не знаю стихов на тему о трудности этимологии (если не считать давно примелькавшегося рефрена о том, что индоевропейская этимология зашла в тупик. . .), но кажется, что она еще труднее, чем лексикография, ибо к трудности этимологии надо прибавить ее специфичность. Этимология пользуется трудами лексикографии; чем больше словарей и чем лучше словари, тем надежнее база для этимологии. Но и лексикография не может обойтись без этимологии. Не следует думать, что место этимологии — только в этимологических словарях, хотя, разумеется, только там она развертывается во всеоружии, во всей своей сложности. Если придерживаться справедливого, на мой взгляд, мнения, что «синхронический словарь — понятие в высшей степени относительное»[1] (потому что в самом единовременном словоупотреблении, тексте необходимо будут переплетаться архаизмы и новообразования[2]), то было бы неразумно игнорировать или даже хоть сколько-нибудь преуменьшать ту вытекающую отсюда истину, что все словари — исторические в той или иной мере, что абсолютно только понятие исторического словаря. Словарь современного русского литературного языка не будет в данном случае изъятием из общего правила. Конечно, это крайний пример, и его желательно принимать cum grano salis, на страницах словарей современных языков этимология формально отсутствует, если не считать скупых и не очень регулярных помет о происхождении при заимствовании, особенно — при новых иностранных словах. Но как неотделимы от лексической, лексикографической, словарной характеристики слова категории истории, развития и происхождения, хотя бы

---

[1] L. Zgusta in cooperation with V. Černý, Z. Heřmanová-Novotná [et al.]. Manual of lexicography. Published with a support granted. . . by UNESCO. Praha, 1971, стр. 203.

[2] Там же.

в самой общей форме, так неотделим от теории и практики лексикографии этимологический критерий. Верно, конечно, что современное словоупотребление, как правило, не сохраняет отчетливую память об этимологических связях старого слова, что его значения могут разойтись вплоть до отрицания первоначального единства; впрочем, современное употребление слова может и подтверждать его этимологию. Было бы наивно думать, что лексикографическая трактовка слова в словаре современного языка нормально совершается в отрыве от этих сведений. Этимологические сведения, пусть в разном объеме, поверхностные и приблизительные, всегда влияли на словарное дело, и это видно на трактовке омонимов. Сомнительно, чтобы пара омонимов *горн* I 'вид печи' и *горн* II 'труба (духовой инструмент)' в современном языке трактовались раздельно без поддержки их действительно разной этимологии. Это, так сказать, простейший пример, тут двух мнений быть не может. Есть и более сложные, не очевидные даже для специалистов, допускающие разные толкования (различия которых, в свою очередь, могут оказаться мнимыми). Существенно, что эти примеры, как сложные, так и простые, показывают, как этимологические знания, этимологический критерий моделируют трактовку лексикографом омонимов.

Классический своей общеизвестностью случай — русск. *икра* I (напр. *и. рыбья* и т. п.) и *икра* II (*и. ноги*), толкуемые без колебания как омонимы, что действительно верно для современного языка. Но этимология имеет серьезные (в том числе и типологические) основания считать оба слова тождественными по происхождению, причем *икра* (*ноги*) — не более как переносное употребление слова *икра* в первом (и первичном для него) значении. Перенос слова в данном случае не более фундаментален, чем в любом другом примере семантического сдвига, и мы, строго говоря, не погрешили бы против истины, если бы трактовали это слово как единое с двумя основными значениями: *икра* 1) 'икра рыбы и т. п.', 2) 'икра ноги'. Поэтому не прав Л. Згуста, который пишет в своей новой книге «Руководство по лексикографии» (глава I. «Лексическое значение»; раздел «Омонимия»), что омонимичность упомянутых нами русск. *икра* I и *икра* II в современном русском речевом сознании подтверждается историей и этимологией, показывающей различное происхождение этих слов, сблизившихся позднее [3]. Автор ссылается при этом на Дюровича,

---

[3] L. Zgusta. Указ. соч., стр. 76. — Пособие Л. Згусты — интересная и нужная книга, к сожалению, освещающая неравномерно проблемы лексикографии и типы словарей, что, впрочем, отвечало замыслу автора, специально выделившего проблематику словарей современных языков. Вопросы исторической, этимологической и семасиологической лексикографии изложены слишком бегло, здесь мало материалов, примеры случайны, многое существенное даже не названо. В отстальных разделах немало

но нужно было бы, по-видимому, справляться у исследователей, более осведомленных в русской и славянской этимологии [4].

Пример этимологической оправданности иной трактовки слов *икра* I и *икра* II симптоматичен. Этимолог, работающий со словарями современных языков и диалектов, постоянно сталкивается с примерами омонимической трактовки разных значений одного слова и, наоборот, — трактовки этимологически разных слов как разных значений якобы единого многозначного слова. В решениях того и иного рода сказывается, помимо оценки речевой ситуации, несомненно также и этимологическая эрудированность лексикографа. Крайний случай омонимической трактовки наблюдается, как известно, тогда, когда каждое более или менее самостоятельное значение слова объявляется омонимом. Это нередко практикуется эмпирически лексикографами современных языков и диалектов; сюда примыкают те из этимологов, которые склонны каждое самостоятельное значение слова возводить к особому этимону, что до известной степени характерно для чехословацкой этимологической школы. Так, чеш. česati, русск. *чесать* (и другие славянские) 'чесать, разравнивать, приводить в порядок волосы, шерсть или волокна с помощью гребня' и чеш. česati, русск. *чесать* (просторечное) 'торопливо, поспешно идти, уходить, убегать, удирать', которые, в наших глазах, едины не только этимологически, но и в плане современной синхронной лексикографии, покойный В. Махек считал абсолютными омонимами с разной этимологией [5]. Слово *верста* толкуется в новых и старых словарях русского языка как одно слово: *верста́* 'ряд, порядок, линия, прямая черта, расположение в струнку, гусем; ровня, дружка, пара, чета, противень чему; что под стать, под лад, масть, под меру; година, пора, степень, возраст; что измерено, разбито на равные части; что служит мерилом, прави́лом, указывает, как ровнять или мерять; путевая мера в 500 сажен' [6], диал. *верста́* 1. 'ряд, порядок; прямая черта; расположение в линию, гуськом', 'крайний ряд булыжной мостовой, по которому кладут и ровняют остальные камни', 'ровня, пара кому-либо', 'пора, возраст', *верста́* 2. 'мелкий камень, щебень; дресва' [7],

---

длиннот, излишне увеличивших объем книги. По своему материалу работа очень пестра, приводятся примеры из языков Африки, Азии, Западной Европы и из чешского языка, крайне редко — из других славянских. При чтении книги следует остерегаться множества опечаток, нередко затрудняющих понимание смысла (very вм. vary, of вм. if, that вм. than и т. д.).

[4] См. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. II. М., 1966—1967, стр. 125—126.

[5] V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. 2. vyd. Praha, 1968, стр. 100.

[6] В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-ое изд. Т. I, стр. 181.

[7] Словарь русских народных говоров. Гл. ред. Ф. П. Филин. Вып. 4. Л., 1969, стр. 148.

др.-русск. *вьрста* 'возраст', 'зрелый возраст', 'сверстник, товарищ', 'чета, пара', 'мера пространства' [8].

Я считаю, что совершенно правы были В. И. Даль, коллектив составителей под руководством Ф. П. Филина и И. И. Срезневский, рассматривавшие это слово как единое. Такая трактовка подтверждается этимологией данного русского и славянского слова от *vьrt-ta, суффиксального производного от глагола *vьrtěti 'вертеть, вращать', причем исходной семантической базой как значения 'возраст', так и значения 'мера пространства' и других смежных явилась идея оборота, цикла. Иные этимологические воззрения по поводу русск. *верста* и родственных чеш. vrstva 'слой', польск. warstwa то же, находим у ученицы В. Махека — Е. Гавловой. Она полагает, что в этих славянских обозначениях слоя, ряда, возраста, меры длины слились два разных праславянских слова: *vьrsta I 'возраст', которое родственно др.-инд. vr̥ddhi- 'рост', и *vьrst(v)a II 'оборот' от *vert- 'поворачивать' [9]. Думаю, что наиболее вероятна старая этимология, а новая более сложна и труднее поддается семасиологическому обоснованию и проверке, однако допускаю, что, если бы новая этимология и идея раздельных истоков слова *верста* была высказана давно и приобрела бы должную популярность, это не замедлило бы сказаться на структуре соответствующих словарных статей. На описанных примерах я хотел показать, что этимологическая эрудированность лексикографов так или иначе моделирует их лексикографическую трактовку слов, в том числе слов современных языков и диалектов. С этой целью я вернусь еще раз к слову *верста*, в частности к вопросу, почему, на мой взгляд, в «Словаре русских народных говоров» стоит, кроме *верста* 1, еще и поданное как омоним *верста* 2 'мелкий камень, щебень; дресва' (см. выше). Сделано это исключительно по этимологическим мотивам, хотя об этом читателю и не сообщается, и сделано, как я думаю, правильно, потому что *верста* 2 в этом значении не что иное как вариант по отношению к слову *гверста́* 'крупный песок', *греста́* то же, *дверста́*, *дверства́*, *дресва́*, *жерства́*, *жерста́* 'щебень' — все это варианты особого слова со своей старой этимологией. Но составители «Словаря русских народных говоров» могли по каким-то причинам и не учесть этих ценных этимологических сведений, и не исключено, что мы получили бы единую статью *верста*, где значение 'мелкий камень, щебень' могло занять место, скажем, рядом со значением 'крайний ряд булыжной мостовой, по которому кладут и ровняют остальные камни'. Этого не произошло, к счастью, сказали бы мы, потому что, если такой чисто синхронной трактовкой удовлетворилось бы среднее речевое сознание,

[8] И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. I. М., 1958 (=СПб., 1893), ст. 462—463.
[9] См. V. Machek. Указ. словарь, стр. 700—701 (в первом издании словаря 1957 г. изложена традиционная этимология).

этот поверхностный подход, тем не менее, знаменовал бы собой определенные потери в нашем знании относительно употребления современного слова, которое, несмотря на естественную деэтимологизацию, так или иначе хранит отпечаток своего происхождения, что может неожиданно подтверждаться контекстом, географическим ареалом или какими-то другими косвенными моментами, которых мы можем не знать в настоящее время во всей их совокупности.

Речь идет о границах слова в практике современной лексикографии, где, как видим, этимологический критерий помогает получить непревратную картину. В исторических словарях роль названного критерия в силу необходимости возрастает, как и место и роль этимологических помет. Ввиду очевидности этого явления я позволю себе не останавливаться на нем, за примерами можно отослать к известному словарю И. И. Срезневского. Высказывалось мнение о решающем значении этимологического метода для определения значений темных слов старых текстов [10], хотя, думается, не умаляя важность этого метода, его стоит применять в комплексе с изучением доступного контекста, потому что этимология, как известно, вскрывая связи и обнаруживая исходный семантический признак, получает как бы схему, но не гарантирует полной реконструкции живого конкретного лексического значения и употребления.

Основная масса лексики языка, как известно, складывается до появления письменности, т. е. в период, который иногда не очень удачно называют доисторическим. Для русского языка и для других славянских языков это время носит название праславянской эпохи. Ее изучение необходимо с самых разных точек зрения. Давно назрела потребность в систематическом лексикографическом исследовании праславянского периода. Поскольку в научной литературе обсуждаются вопросы реконструкции словарного состава праславянского периода и предпринимаются опыты практической реконструкции этого словарного состава (Т. Лер-Сплавинский и его ученики в Польше, Ф. Копечный с коллективом в Чехословакии, коллектив составителей Этимологического словаря славянских языков у нас в Москве), не будет преувеличением говорить о праславянской лексикографии.

Расположенный в традиционном алфавитном порядке отобранный праславянский словарный состав будет итогом весьма специфической работы, включающей различные аспекты. В настоящем докладе нет возможности говорить обо всех них. Мы оставим совершенно сознательно в стороне такой важный и трудный аспект как праславянская древность слова в плане словообразования. Вопрос, которого мы намерены коснуться сейчас, относится к не-

[10] В. В. Виноградов. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры. — ВЯ, 1968, № 1, стр. 3 и след.

которым моментам сравнительно-исторической фонетики и их хронологии, это вопрос, наиболее традиционный для этимологии, наиболее разработанный, как принято считать, и подчас заслуживающий самого серьезного пересмотра, как мы стараемся показать на своем материале. Историко-фонетический аспект этимологии имеет прямое отношение к праславянской лексикографии. Для того чтобы получить вероятный праславянский вид слова (или слов) живых славянских языков, надо проделать соответствующую фонетическую реконструкцию. Результаты ее могут быть очень наглядны, например, если иметь в виду начало слова, поскольку сплошь и рядом как гласный, так и согласный начала одного и того же слова совсем не тот в праславянскую эпоху, сравнительно с состоянием в период отдельного развития каждого из славянских языков. Затрагивая в дальнейшем и другие позиции в слове, мы говорим все-таки в первую очередь о позиции в начале слова, так как эта позиция имеет первостепенное значение для алфавитной лексикографии. Несколько очевидных примеров пояснят суть расхождений между словарным расположением лексических материалов отдельных славянских языков и их лексикографическим аспектом на праславянском уровне. При реконструкции праславянского состояния, естественно, отпадут слова с начальным f- (поздние, неславянские заимствования в своей массе, кроме случаев f- < *xv-*), на праславянском уровне мы не получим слов с начальным h- (кроме заимствований, где это h- иноязычного происхождения, как и все слово в целом, остальные слова на h- почти целиком перейдут в другой лексикографический разряд — в число слов с начальным g-), местные, вторичные консонантные протезы типа h-, w-, как, например, в серболужицких языках, отпадут, уступив место в начале слова чистому гласному (напр. *o-*), и т. д. и т. п. Иными словами, нам придется иметь дело с переходами (в ретроспективном понимании этого явления) целых лексикографических разрядов слов в другие лексикографические разряды. Все это знаменует коренную перестройку, происшедшую за период времени, отделяющий живые славянские языки от языка праславян.

Лексикографическая картина праславянского словарного состава глубоко отлична от засвидетельствованного исторического состояния, и это объясняет научный интерес и актуальность проблемы праславянской лексикографии. Можно надеяться, что систематическая работа в этой области прояснит еще немало вопросов, небезразличных как для лексикографии, так и для этимологии. Праславянский словарь насчитывает следующие алфавитные рубрики, категории или «буквы» [11]: a, b, c,

[11] Под «буквой» мы подразумеваем для дописьменного праславянского периода условную лексикографическую фиксацию звука, как правило в позиции начала слова.

č, d, e, ě, ę, g, x, i, j, k, l, m, n, o, ǫ, p, r, s, š, šč, t, u, v, z, ž. Звуки *ъ*, *у*, *ь* в этом алфавитном перечне не фигурируют, потому что они не могли начинать праславянское слово, закономерно развивая перед собой согласную протезу: v-ъ-, v-y-, j-ь-, не говоря о вторичных преобразованиях.

Как уже говорилось, сравнительно-историческая фонетика — наиболее продвинутая вперед отрасль сравнительно-исторической грамматики славянских языков. Правда, это не мешает специалистам до последнего времени вести принципиальные споры, например, о взаимоотношениях гласных типа *a* и *o* в праславянском. Праславянский консонантизм как будто не вызывает сейчас таких жарких дебатов, в вопросах о характере и эволюции праславянских согласных нет такого глубокого расхождения мнений, хотя исследователи в полной мере учитывают сложный состав праславянского консонантизма, где древние, унаследованные элементы существуют рядом с новыми звуками. Происхождение ряда новых согласных носит характер регулярной собственной фонетической эволюции, как объясняются, например, слав. s и z из и.-е. *k̂ и *ĝ, характер позиционного изменения, как, например, č, š, ž из k, x, g перед гласными переднего ряда. Считается, что история этих новых согласных не обнаруживает особой проблематичности. Несколько иначе обстоит дело с праславянскими согласными *x* и *c*. Коротко говоря, причина проблематичности происхождения, в частности, слав. *x* заключается в вероятной разнородности его источников, в экспрессивной природе употребления многих случаев *x*. Не случайно дискуссия о славянском *x*, в частности — о *x*- начальном, до сих пор не сходит со страниц славистической литературы. Это большая проблема, которая упоминается нами лишь как бы к слову, в силу некоторого сходства с другим вопросом, обсуждаемым здесь подробнее, — проблемой славянского *c*. Мы предпочитаем ограничиться словами на с- начальное, во-первых, потому, что *c* в иной позиции (внутри слова, в конце слова, между гласными) в науке принято обычно объяснять особо, во-вторых, потому, что примеры на *c*- начальное относительно немногочисленны, легко обозримы и вместе с тем представляют самостоятельную «букву», т. е. целую лексикографическую категорию. Эти достоинства обозримости, удобства и наглядности повышаются тем уже упоминавшимся обстоятельством, что согласный *c* — «новый» славянский звук, а исследование инноваций позволяет глубже проникнуть в механизм развития языка.

Праславянская «буква» *c*- в составе нового этимологического словаря славянских языков насчитывает около восьмидесяти слов, считая с производными. Вот полный перечень: *capati, capiti, capnǫti, саръ 'козел', cě, cědidlo, cědišče, cěditi, cěditъko, cědjь, cědъ, cědъka, cěglъjь, cělěti, cělica, cělikъ, cělina, cělistvъjь, cělitelь, cěliti, cělizna, cělostь, cělovati, cělъjь, cělъkъ, cěly/-ъve, cělyšь, cělьba, cělьbьnъjь, cělьcь, cěna, cěniti I, cěniti II 'ска-

лить (зубы)', cěnъ, cěpati, cěpeněti, cěpenъjь, cěpidlo, cěpidlьno, cěpiti, cěpъ, cěpъkъ, cěrь, cěrьcь, cěriti I 'лечить', cěriti II 'скалить', cěsta, cěstidlo, cěstiti, cětati sę, cětja, cěto-(-gněvъ, -l'ubъ), cěva, cěvěti, cěvina, cěvъ, cěvъka, cěvь, cěvьca, cěvьje, cěvьnica, cěvьnikъ, cěvьnъjь, cęta, ci, cibr-(cibrъ, cibriti), ciglavъ, ciglivъ, cima, cipa, cipatъjь, cirъjь, civati, civriti, cvikati, cvikь/cvika, cvьknǫti, cvьkъtъ, cьpati, cьrky/-ъve.

В этимологических словарях славянских языков Ф. Миклошича и Э. Бернекера состав слов на *c-* начальное несколько другой, рядом с древними лексемами стоят поздние местные заимствования вроде польск. całun, cera, cło, cofać, cwał, cyrulik, чеш. cibule, схр. cìpela и т. д. (положения не меняет то, что Миклошич подчас дает такие слова в архаизирующей транскрипции). Нас интересует только потенциально праславянская лексика, поэтому из заимствований включены лишь претендующие на древность, относительно широко распространенные *cаръ, *cьrky или предположительно архаичные (*cima). Обращает на себя внимание ограниченность сочетаний *c-*, факт, справедливо связываемый с условиями происхождения *c-*. Последовательность звуков *ca* выступает, кроме заимствования *cаръ, только в ономатопеях *capati, *capiti, *capnǫti, последовательность cę — в заимствованном *cęta, последовательность *cь* — в заимствованном *cьrky, а также в *cьpati, объясняемом особо (см. ниже). За исключением этих нескольких примеров, все остальные (кроме двух-трех на cvi- / cvь-) имеют начало cĕ- (большая часть) или ci-. Между слав. ě и i возможна регулярная апофоническая связь, продолжающая более древние отношения oi̯ : ei̯, из которых, кстати, косвенно вытекает дифтонгическая сущность соответствующего ě. Вариантное i может объясняться из ě в подходящих интонационных и позиционных условиях, как это отмечается в конце слов (флексия). В одном из наших примеров в силу его краткости эти условия практически совпадают, ср. др.-русск. *ци* 'разве', 'ли, или', блр. *ці* 'ли', при ст.-сл. цѣ 'также, и, хотя'. Столь же очевидно родство *ciglavъ / *ciglivъ (болг. диал. *ци́глав* 'высокий, но слабый и тонкий, жидкий', 'неплодородный (о почве)', *ци́глеф* 'нежный, тонкий') и *cĕglъjь (ц.-сл. *цѣглъ* 'единственный'). В остальном праславянская лексика с начальным *c-* — это, как уже сказано выше, почти исключительно слова на cĕ-. Если принять во внимание малочисленность «буквы» c-, то кажется естественной мысль о том, что подобная общность начала слова cĕ- у столь внушительного числа лексем может объясняться общностью этимологического происхождения. Мы вправе установить здесь по крайней мере несколько случаев этимологической общности, пользуясь известными этимологиями, показания которых, однако же, до сих пор не были надлежащим образом обобщены. Так, *cĕditi 'процеживать, пропускать сквозь цедилку, сквозь редкую ткань', *cĕniti II (чеп. ceniti zuby 'скалить зубы'), *cĕnъ 'зев (в ткацкой основе)', *cĕpiti 'раскалывать, расщеплять', *cĕpъ

'цеп, палка', *cěriti II (болг., схр., чеш., слвц.) 'ухмыляться, скалить зубы' восходят к одному корню *cě-, от которого они произведены с суффиксами -d-, -n-, -p-, -r-, и продолжают и.-е. *skoi̯-/*skai̯- 'разделять, расщеплять', о чем говорит начало слова у родственных лит. skíedžiu, skíesti 'разбавлять', лит. skiemuõ 'зев', греч. σκοίψ· ψώρα (Гесихий), лат. scīpio 'палка, жезл'. Далее, *cěpati (словен. cépati 'умирать, околевать, дохнуть', чеш. z-cípati 'подыхать'), родственное лит. kaĩpti 'хворать, чахнуть', и *cěvěti (чеш. civěti 'тупо смотреть, таращиться', 'мешкать', слвц. civiet' 'тупо смотреть', 'торчать, пропадать', 'чахнуть', диал. 'зиять', польск. диал. cewieć 'тяжело и долго болеть, чахнуть, сохнуть', 'дохнуть'), родственное лит. káivinti 'мучить, изматывать', оказываются родственными друг другу и продолжают корень *koi̯- в соединении с суффиксами -p-, -v-. Праслав. *cěglъjь, *ciglavъ/*ciglivъ (см. выше), *cělъjь, *cěliti (и т. д.), *cěriti I (болг. *церя́* 'лечить') восходят, видимо, к и.-е. *ka - 'один' в соединении с суффиксальными -gl-, -l-, -r-, ср. лат. cae-lebs 'холостой, одинокий'. Наконец, *сьpati (чеш. cpáti 'набивать, напихивать', 'совать'), где начальное *c-* Копечный и Махек объяснили из st-, ср. лат. stipare в близких значениях.

Рассмотренными выше кратко случаями не исчерпываются все древние слова на *c-* (ср. *cěsta, *cěstiti < *skoi̯-, *cętati sę < *skoi̯t-/*koi̯t-), но здесь уже представлены все основные древние источники начального *c-* в славянском: *k-, *sk-, *st-. Палатализация k перед ě носила, наверное, характер субституционной замены k' > t^s' > c; sk' > st^s' > sts > c (диссимиляция двух s). Наглядная возможность такой замены (правда, непалатальной) наблюдается, например, в русск. *ласка: ластиться*, *пускать: пустить*, где *-ск > ст-* в позиции перед гласным переднего ряда [12]. Эндзелин, обративший внимание на чередование sk : st, поставил вопрос и о чередовании st- : ts-, дав несколько примеров из разных языков вроде др.-инд. tsárati 'крадется': гот. stilan 'красть', лит. sérgėti (ts- > s-): русск. *стеречь* и др. [13] Примечательно, что поводом для этого послужили Эндзелину примеры переходов или чередований ks- > sk- и ps- > sp-. Интересно, далее, что изменение sk- > ks- в некотором смысле характерно для славянского, где оно в итоге дало *x* как в начале слова, так и в иных позициях, ср. отношения лит. skujà : слав. *xvoja, лит. skaudùs : слав. *xudъ, лтш. skaĩbs : слав. *xorbrъ; ст.-слав. дѣлаше (имп.) : арм. gorce-aç (аор.) 'он делал', причем слав. -še < *-xe < *-kse : арм. -ç < *kse, ср. греч. φεύγε-σκ-εν, итеративный претерит [14]. Не берясь

---

[12] И. Эндзелин. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911, стр. 54—55, сноска 3 (в этих примерах показательно проведение замены *k* > *m* именно перед передним гласным, однако Эндзелин никак не выделил это обстоятельство).

[13] И. Эндзелин. Указ. соч., стр. 43, сноска 2.

[14] H. Karstien. Das slav. Imperf. und der arm-açe-Aor. Ein Beitrag zum slav. — arm. Verwandtschaftsverhältnis. — «Festschrift für Max Vas-

за однозначное решение вопроса о мотивах эволюции sk- > ks-, sp- > ps-, st- > ts- (может быть, здесь нашла отражение тенденция повышения звучности слога?), мы считаем примеры названных изменений весьма достоверными. Наличие, в свою очередь, многих примеров сохранения sk- (слав.* skorъ и т. д.), sp- (слав. *spěti, *sporъ(jь) 'обильный, богатый'), st- (слав. *starъ) придает, конечно, общей картине сложность, но не зачеркивает и примеров описанной выше эволюции, которая, возможно, привела к законченному результату в изолированных корнях (см. выше), а в богатых лексических семействах сводилась на нет влиянием словопроизводных связей.

Как видим, сходство условий образования двух «новых» согласных *x* и *c* в славянском весьма велико и поучительно: x < ks/sk и c < st/sk. Пример на «чистый» переход st- > слав. c- у нас, правда, только один (*сьpati < *stĭpā-, выше), но в общем балансе крайне немногочисленного лексикографического разряда на c- начальное один старый и вероятный пример весит немало. Общее их число будет, наверное, увеличено, если указать на слвц. kocka 'кость (игральная)' < *kostka, польск. pestka 'косточка (плода)', наряду с первоначальным pecka. Сходство употребления *x*- и *c*- также значительно, ср. экспрессивное *xapati / *capati, но эти случаи «элементарного родства» мы оставим в стороне. Типологически сходное армянское ç получается путем, очень напоминающим образование названных славянских согласных: ç < ks < sk (см. выше).

Изложенные выше соображения понадобились нам, чтобы показать, какую сложную работу по фонетической реконструкции и этимологии необходимо проделать при отборе словника в пределах такого лексикографического разряда как праславянская «буква» *c*-. Все это хорошо иллюстрирует связь праславянской лексикографии с праславянской этимологией (то же самое, наверное, справедливо будет утверждать о любой другой подобной праязыковой, или сравнительной лексикографии). Но изложенное выше преследует также другие цели. Мы остановились на словах с начальным *c*- еще и потому, что появление этого «нового» согласного звука знаменует определенную тенденцию в славянской фонетической эволюции, определенные результаты, к которым пришла эта эволюция. Ведь появление аффрикаты c- (ts-) — это один из нескольких, по крайней мере типологически возможных итогов палатализации k перед ě в славянском. Появившись перед ě в общеславянских масштабах, аффриката c- продолжает затем осуществляться позд-

---

mer zum 70. Geburtstag am 28. Februar 1956» (=«Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin», Bd. 9). Wiesbaden, 1956, стр. 211 и след. — Автор упоминает переход sp- > ps- в слав. *selzena (стр. 226).

нее в несколько иных условиях, ср. переход kvě- > cvě- в южнославянских и восточнославянских языках (впрочем, в последних этот процесс проходил недостаточно последовательно и полно, как свидетельствуют диалекты). Нет надобности останавливаться здесь на локальном, зап.-слав. с- < псл. tj-.

С падением редуцированных появились новые случаи -с-, вызванные слиянием t-s, ср. др.-русск. цьтѣ, при ст.-сл. тѧстѧ, ст.-сл. богатѧство, при польск. bogactwo [15]. В истории славянской палатализации задненёбных согласный с- — относительно поздний результат (после появления č, ž, š в итоге смягчения k, g, x перед передними гласными и после монофтонгизации дифтонга oi̯ > ě) и, надо полагать, наиболее полный, законченный, если иметь в виду близость артикуляции согласного и гласного, более полный, чем это было достигнуто при I палатализации, когда k дало č вследствие выделения между согласным и гласным особой промежуточной иотовой артикуляции. Эту разницу в итогах I и II палатализаций кажется целесообразным понимать так, как изложено здесь, потому что в противном случае одни лишь утверждения, что č «не могло» появиться перед ě (из oi̯), голословны и ничего не доказывают (в конце концов oi̯ после монофтонгизации дало не какой-то мистический $ě_2$, а все тот же ě, т. е. ē, перед которым как раз м о г л о теоретически появиться č, ср. аналогичные . . .kētei̯ > . . .čati в исходах глаголов после I палатализации, а также сказанное выше о нескольких типологически возможных итогах палатализации kě- из koi̯-, но дело в том, что к моменту монофтонгизации наступила та особая близость артикуляции согласного и гласного, которая в эпоху I палатализации отсутствовала и которая сейчас закономерно дала с, а не č). Мы не можем принять выдвигаемую некоторыми идею наибольшей древности прогрессивной палатализации именно потому, что это была *с*- палатализация [15a].

Факт появления с- — результат тенденции, которая, вероятно, существовала в языке до этого и притом — в течение длительного времени. При универсальной способности языка к воспроизводству одной и той же модели в разные периоды и, естественно, с различным результатом, можно a priori предположить, что праславянская «буква» с- — не первый случай осуществления аффрикаты ts в истории праславянского. Вопрос этот, как постараемся показать ниже, имеет ключевое значение, потому что решение его ведет к еще более глубокой реконструкции в плане праславянской лексикографии и проясняет многое в славянской этимологии. Поскольку в тех же словах и абсолютно в той же позиции, что и историческое с-, не могло быть аффрикаты ts- по понятным при-

---

[15] R. N a h t i g a l. Slovanski jeziki. 2 izd. Ljubljana, 1952, стр. 116.

[15a] Подробно о разных славянских палатализациях см.: R. C h a n n o n. On the place of the progressive palatalization of velars in the relative chronology of Slavic (= «Janua linguarum» ed. C. H. van Schooneveld). The Hague — Paris, 1972, стр. 47.

чинам (в описанной выше лексике в раннепраславянскую эпоху преобладало начало слова k+oi̯, sk+oi̯), раннепраславянское ts- (или *c-) надлежит искать совсем в другой лексике, если это вообще возможно. Эта задача представляется нам выполнимой, а то, что мы получим при этом своего рода раннепраславянскую «букву» c- совсем другого состава, чем исторически известный словник на *c-* начальное, представляет, как нам кажется, высокий научный интерес. Достаточно сказать, что, если бы славяне получили письменность в ту отдаленную эпоху, мы имели бы в своем распоряжении фиксацию категории слов с алфавитным началом ts- (*c-), совершенно особой по инвентарю.

При решении сформулированного выше вопроса мы исходим из проницательного высказывания А. Мейе: «В славянском языке доисторической эпохи, как и во всех восточных индоевропейских диалектах, средненёбные согласные перешли в аффрикаты типа *c, *dz; затем старые *c, *dz изменились в слав. s, z исторической эпохи» [16]. Остается лишь пожалеть, что это положение, под каждым словом которого можно, не колеблясь, подписаться сейчас, автор не подкрепил конкретными фактами, почему впоследствии оно было оставлено практически всеми (в том числе ближайшим последователем Мейе — А. Вайяном) в пользу различных других теорий, которые, казалось бы, подробнее разработаны и основаны на материале, но которые, тем не менее, нуждаются в критическом пересмотре.

Начнем с гипотезы. Так, мы считаем, что в раннепраславянскую эпоху и.-е. k̂ палатальное отражалось как аффриката *c (ts). Возьмем примеры, где k̂ палатальное этимологически обнаруживается в начальной позиции, наиболее самостоятельной фонетически, а также удобной и наглядной для нас в лексикографическом плане. Речь идет о следующих словах (в традиционной праславянской транскрипции): *selmę, sętь, sernъ, sěmьja, sěno, sěverъ, sirъ, sivъ, sloniti, slovo, sluti/slovǫ, sluxъ, slušati/slyšati, solma, solna, sorka, sormъ, sova, sovati, stroporъ, suditi [17], sudla, sujь, světъ/svit-, sъto, sь, sьjati, sьrdьce, sьrna (список не претендует на полноту). Раннепраславянское состояние этой группы слов до развития тенденции открытых слогов, до монофтонгизации дифтонгов и некоторых других явлений, характеризующих собственно праславянский период, мы представляем себе как состояние с характерным наличием упомянутого рефлекса *c (ts). Отсюда вид и состав раннепраславянского словарного разряда на *c- начальное: *celmen, centĭ, cernŭ, coi̯mĭjā, coi̯no, coi̯verŭ, cei̯rŭ, cei̯vŭ, clonītei̯, clovos, cloutei̯, cloux̯ŭ, cloux̯jātei̯/clūx̯jātei̯, colmā, colnā, corkā, cormŭ,

[16] А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 22.

[17] Псл. *suditi восстанавливается на основе чеш. cíditi 'чистить (до блеска)' < *ot-suditi; родственно др.-инд. śodháyati 'чистит' (см. V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. 2 vyd. Praha, 1968, стр. 85).

covā, covātei̯, cropŭ, cou̯dītei̯, cou̯dlā, cou̯jĭ, cvoi̯tŭ/cvei̯t-, cŭto, cĭ, cĭjātei̯, cĭrdĭko, cĭrnā.

Несколько слов об отношениях раннепраславянского *c и праславянского *c*. Сравнение позиций того и другого звука в слове показывает их различия: пóзднее *c* обусловлено позицией сĕ- и по природе своей палатально, раннепраславянское *c- практически независимо от позиции (ср. выше сочетания ce-, cĭ-, co-, cl-, cv-). Артикуляция *c-* имела возможность закрепиться, очевидно, только в условиях, описанных нами выше (мягкость, сближение согласного и гласного), реконструируемое раннепраславянское *c не отличалось, по-видимому, той прочностью и слитностью, как историческое *c*, т. е. было скорее группой ts, утратившей затем смычный элемент, поэтому мы говорим о раннепраславянском *c- как о диахроническом этапе в эволюции и.-е. *k̂ > *c > s в славянском. Совпадение примеров на *c- и *c-* единично, ср. ранне-псл. *cvoi̯tŭ (> псл. *světъ) и позднедиалектное *cvětъ (< псл. *květъ), где отражаются индоевропейские дублеты на k̂-/k-.

Высказанная выше гипотеза о регулярном отражении и.-е. k̂ палатального в виде аффрикаты *c (ts) в раннепраславянскую эпоху нуждается в проверке и доказательствах. Поскольку наше предположение распространяется на все случаи отражения и.-е. k̂, в которых в историческую эпоху представлено s, кажется оправданным включение в число доказательств примеров поведения славянского рефлекса и.-е. k̂ также в позиции внутри слова. Эти позиции бывают весьма разнообразными; нас интересуют те из них, где поведение рефлекса и.-е. k̂ особенно показательно по каким-то причинам. Такова позиция после ĭ, ŭ, r. Согласно известному правилу Педерсена, и.-е. s в славянском после i, ь, u, ъ, y, r, k давало x. Этого не наблюдалось, если слав. s оказывалось продолжением и.-е. k̂: такое s в славянском сохранилось без изменения[18]. Ср. различия между сходными внешне слав. *vьxъ

---

[18] Попытка обосновать случаи перехода x < s < k̂ в слав. rĕx-(rĕšiti), ст.-сл. храна cibus, вьсь omnis (см. W. Vondrák. Vergleichende slavische Grammatik, Bd. I. Göttingen 1906, стр. 260—261, 350) успеха не имела, см. Г. А. Ильинский. Праславянская грамматика. Нежин, 1916, стр. 225, где говорится об ошибочности соответствующих этимологий. Если связи двух первых слов несколько проблематичны, то слав. vьsь 'весь, omnis' получило затем правдоподобную этимологию с и.-е. s, ср. лит. vìsas 'весь' и родственное лит. vaĩsti 'плодиться', см. специально J. J. Mikkola. Urslavische Grammatik II. Teil. Konsonantismus. Heidelberg, 1942, стр. 178. Что касается -x- в укр. *прохáти*, русск. *прохáть*, то это аффектированный, экспрессивный аффикс, и этот пример также нельзя использовать как свидетельство перехода и.-е. k̂ > s > x в слав. prositi из и.-е. *prek̂-. См. V. Machek. Zur Erklärung der sog. Baudouinschen Palatalisierung im Slavischen und Baltischen. — «Mélanges linguistiques offerts à Emil Petrovici par ses amis étrangers à l'occasion de son soixantième anniversaire» (= «Cercetări de lingvistică», III, 1958), стр. 328.

(< *u̯ĭs-) 'весь' и *vьsь (< u̯ĭk̂-) 'селение', *porxъ (< *pors-) и *porsę (< *pork̂-), *pixati (< *peis-) и *pisati (< *peik̂-), *tixъ (< *teis-) и *tisъ (< *tik̂s-), *pьxati (< pĭs-) и *pьsъ 'собака' (< pĭk̂-), *ryx- (ryxlъ < *rūs-) и *rysь 'рысь' (< *rūk̂s-/lūk̂s-), *tysętja / / tysǫtja (< *tūsk̂m̥t-). Спрашивается, почему слав. s из и.-е. k̂ в этой позиции не перешло в x? Самым естественным, на первый взгляд, кажется ответ, что это было какое-то «другое» s. На том, видимо, основании, что речь идет о рефлексации палатального согласного, высказывалось мнение, что этот особый ṣ из k̂ был мягким в праславянском языке. «У нас есть косвенные доказательства, что [ṣ] из [k̂] и исконный [s] различались еще в тот период, когда [s] после гласных [i], [ī], [u], [ū] сонантов [i̯], [u̯], [r], [r̥], согласного [k] перед гласными изменился в [x]. Дело в том, что этот процесс пережил только исконный [s]... Надо думать, что [ṣ] и [ʐ] из [k̂] и [ĝ] были согласными мягкими. Позже они эту мягкость утратили и совпали с исконными [s], [z]»[19]. Значит, мы должны принять, что существенным отличием этого особого s, препятствовавшим его переходу в x, была его мягкость (ṣ). Но находилась ли эта постулируемая мягкость s в таком непримиримом противоречии с переходом s > x? Предоставим слово исследователю, специально занимавшемуся эволюцией и.-е. s после i, u, r, k в балтийском (s > š) и славянском (s > š > x): «После взрывного согласного k, после r, произносимого кончиком языка, и после узких гласных i и u артикуляция согласного s скорее всего была более верхней и сам звук, вероятнее всего, произносился тише и не так отчетливо. В акустическом отношении этот вариант согласного мог быть промежуточным звуком между s и š современного литовского языка, т. е. он мог быть ś... Во время этого изменения балтийские, славянские и индо-иранские диалекты сохраняли определенные контакты: во всех трех языковых группах и.-е. s изменился в одной и той же позиции, а результат этого изменения был, в свою очередь, одним и тем же».[20]. Очевидно, что ни мягкостью s, развившегося из k̂, ни каким-то особым характером этого s (ṣ) нельзя объяснить исключения этого s из правила перехода в *x* в описанной выше позиции[21].]

---

[19] С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, стр. 154. Ср. там же, стр. 162, с аналогичной цитатой из Богородицкого («Краткий очерк. . .», стр. 47) о различии рефлексов древних k̂ и s в славянском ввиду исключений из перехода s > x.

[20] Š. Karaliūnas. Kai kurie baltų ir slavų kalbų seniausiųjų santykių klausimai. — «Baltų ir slavų kalbų ryšiai» (= «Lietuvių kalbotyros klausimai» X). Vilnius, 1968, стр. 86.

[21] Ср. критику Эндзелином («Славяно-балтийские этюды», стр. 53—54) учения Фортунатова о двух видах s в индоевропейском праязыке, а также приводимые там же слова Бернекера: «Если мы будем стремиться возвести к различиям языка-основы все расхождения в фонетическом и формальном развитии отдельных языков, сколько-нибудь неясные для нас из них самих (а к этому склоняется московская школа), то язык-основа превратится

Это исключение объясняется просто и естественно, если предположить в означенной позиции в момент перехода s > x наличие аффрикаты ts. На такую мысль наводят, например, давно известные аналогии вроде слав. *rusъ, русск. *русый*, наряду со слав. *rudъ, укр. *рудий* и др., из *roud-s-, далее — слав. *vysokъ, русск. *высокий* < *ūp-s-. Общепринято мнение, что s не перешло в x в слове *русый* потому, что между u и s был зубной согласный, который впоследствии выпал, и никому не приходит в голову объяснять все это особым характером данного s. Точно так же единственную возможность понять устойчивость s в примерах* vьsь II, *porsę, *pisati,* tisъ, *pьsъ, *rysь, *tysętja / *tysǫtja мы видим в реконструкции смычной аффрикаты *c(ts) : *vĭcĭ, *porcen, *peicātei, *tĭcŭ, *pĭcŭ, *rūcĭ, *tūcentjā / *tūcontjā.

Основанное на изложенных фактах предположение раннепраславянской стадии аффрикаты ts для рефлекса и.-е. k̂ как будто позволяет продвинуться в этом важном вопросе славянского и индоевропейского сравнительного языкознания. Существующие иные концепции на этот счет представляются нам фиктивными и недоказуемыми. Косвенным свидетельством этой недоказуемости может служить признание А. Вайяна в том, что долгая история и.-е. k̂ в славянском совершенно неизвестна; выдвигаемые им «приблизительно» этапы *k̂ > *č > балто-славянское š > славянское s [22] повисают в воздухе. Реконструируя шипящий типа литовского š как балто-славянскую стадию в эволюции слав. s < и.-е. k̂, Вайян просто переносит в славянскую сравнительную грамматику факты литовского, балтийского языкового развития. Объяснить приводившиеся выше славянские примеры таким образом трудно, исключение из правила перехода s > x после i, u, r, k останется непонятным, кроме того, у нас нет желания принимать на веру мнение Вайяна о «двух различных шипящих» в славянском [23], которое имеет под собой не больше оснований, чем гипотеза о двух разных s (см. выше). Концепция Вайяна — красноречивый пример отрицательного, сковывающего влияния схемы балто-славянского единства на изучение славянского языкового материала.

Гипотеза о слав. s < *c < и.-е. k̂, подтверждаемая внутренними славянскими данными (выше), находит серьезные типологические подтверждения в кафирских (дардских) языках Афганистана, давно получивших широкую оглаєку благодаря аналогичному рефлексу. Так, и.-е. *dek̂m̥ 'десять' дало др.-инд. dáśa, авест. dasa, которому отвечает в одном из кафирских языков

в конце концов в большой чулан, куда сваливают с легкой душой все то, с чем не могут справиться, а также в неизменное искушение передать факты, ждущие нашего решения, в инстанцию, на которой решения от нас уже не требуется».

[22] A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétique. Lyon—Paris, 1950, стр. 25.

[23] A. Vaillant. Указ. соч., стр. 38.

форма duč с рефлексом č (ts) < и.-е. k̂ [24]. Рядом с этой архаичной сатемной формой мы теперь поставили бы раннепраславянское *decentĭ, а рядом с теми архаичными сатемными диалектами, в которых «оказывается возможным реконструировать смычные палатальные как продолжение индоевропейских палатальных» [25], мы поместили бы на полных правах славянский, допускающий не менее достоверную реконструкцию. Поэтому нельзя назвать иначе как преждевременным утверждение: «Ничего подобного мы не наблюдаем при сатемной палатализации в балтийских и славянских языках, где нет никаких признаков предшествующей аффрикатизации» [26].

Таким образом, в эволюции слав. s из и.-е. k̂ выделяется стадия промежуточной артикуляции [27], но это не шипящий [28], а смычная аффриката *c (ts). Кроме внутренней реконструкции (*vь(t)sь, *por(t)sę и т. д.) и типологических оснований, выдвинутое здесь положение о раннепраславянской аффрикате ts из и.-е. k̂ поддается косвенной проверке на материале древних заимствований.

Общим местом в сравнительных грамматиках славянских языков является констатация упрощения группы согласных ts > s, в пользу чего как будто свидетельствуют примеры ст.-сл. остжпити < *ot-s..., аористы съ-блюсъ < *bljud-sъ, вѣсъ < *ved-sъ [29]. Невольно возникает впечатление, что ts было практически невозможной группой и что упрощение ts > s носило характер чуть ли не моментального акта. Так объясняется, например, ст.-слав. въсждъ 'причастие' (Киевские листки), читаемое как *вьсоудъ, которое толкуют как заимствование из древневерхненемецкого wizzōd, причем аффриката z (-ts) слова-источника была передана с помощью слав. s [30]. Но слав. s в этой позиции должно было перейти в x, и если этого не случилось, причина, по нашему мнению, заключалась в том, что здесь первоначально наличествовало славянское *c (ts), адекватное аффрикате немецкого слова. Правда, этот пример годится только как аналогия, так как здесь нет отражения и.-е. k̂. Следы раннепраславянского *c (-ts), восходящего к и.-е. k̂, могут быть, кажется, косвенно установлены по формам нескольких древних славянских заимствований в балтийских языках.

---

[24] Z. Rysiewicz. Zagadnienie palatalnych w językach dardyjskich. — Z. R-cz. Studia językoznawcze. Wrocław, 1956, стр. 228.

[25] Вяч. В. Иванов. Проблема языков centum и satəm. — ВЯ, 1958, № 4, стр. 13.

[26] В. В. Мартынов. Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968, стр. 89—90.

[27] Иначе ср. С. Б. Бернштейн. Указ. соч., стр. 154: «Для праславянского у нас нет оснований предполагать в данном случае промежуточной артикуляции».

[28] О стадии š для слав. s < k̂ см. еще, напр., J. Kuryłowicz. L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956, стр. 375.

[29] A. Vaillant. Указ. соч., стр. 80.

[30] Там же.

Следует иметь в виду, что звук с (-ts) совершенно чужд, например, литовскому языку, где он встречается, помимо ономатопей, исключительно в заимствованиях (наряду с субституцией слав. с=лит. č, которая, однако, не носит древнего характера). Сходное положение было, по-видимому, в древнем балтийском. Заимствуя лексику с аффрикатой *с (ts) в составе, древние балтийские диалекты должны были также прибегать к субституции. Мы рассмотрим три вероятных лексических заимствования из славянского в балтийский, которые не получили, как нам кажется, должного освещения. Речь идет о литовских словах stìrna 'косуля', tûkstantis 'тысяча' и древнепрусском слове parstian 'поросенок'. Если опустить пока одну существенную деталь, к которой мы еще вернемся ниже, то родственные связи этих слов не вызывают сомнения. Лит. stìrna вместе с лтш. stiřna и ст.-лтш. sirna то же бесспорно связано со слав. *sьrna, русск. *сéрна*[31]; лит. tûkstantis, как и однозначные лтш. tũkstuôt(i)s и др.-прусск. tūsimtons, связано со слав. *tysętja / *tysǫtja[32]; др.-прусск. parstian — с лит. paŕšas и слав. *porsę[33]. Как видим, все это слова, в конечном счете связанные с праформами на и.-е. *k̂ палатальное: *k̂r̥n- 'рог; рогатое животное', *tūs-k̂m̥t- 'тысяча', собственно — 'большая, полная сотня', *pork̂- 'поросенок, детеныш свиньи'[34]. Этимологическая ясность случаев и отражение и.-е. k̂ создают довольно надежную опору для предпринимаемых ниже этимологических уточнений. Необходимость в этих последних вызвана тем обстоятельством, что рассматриваемые слова существенно отличаются от регулярной рефлексации и.-е. k̂ в виде балт. š (= лит. š; др.-прусск., лтш. s). Отличие лит. stìrna, tûkstantis, др.-прусск. parstian в этой конкретной детали об общебалтийской эволюции и.-е k̂ интересует нас вместе с тем своей регулярностью или закономерностью: всякий раз на месте ожидаемого правильного рефлекса стоит звукосочетание st. Общность этой черты требует общего объяснения для всех примеров и не может быть удовлетворительно истолкована частными обстоятельствами в каждом отдельном примере. А между тем до сих пор эти примеры-исключения толкуются как раз изолированно друг от друга. Я не говорю уже о том, что некоторые слависты и индоевропеисты по непонятным для нас причинам находят возможным приводить отношение слав. *sьrna и лит. stìrna без каких бы то ни было комментариев как пример регулярной

---

[31] E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. II. Heidelberg—Göttingen [б. г.], стр. 909; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. III. М., 1971, стр. 609.

[32] E. Fraenkel. Указ. словарь, стр. 1135—1136; M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. III. Heidelberg, 1958, стр. 161—162.

[33] R. Trautmann. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923, стр. 207.

[34] J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern und München, 1959, стр. 574 и след.; 841, 1083.

родственной связи![35] Ясно, что в случае исконного родства со слав. *sьrna литовская форма должна была бы иметь вид *širna[36], ср. точное исконнородственное соответствие славянскому слову в лтш. sirna[37]. Попытки объяснить различие между слав. *sьrna и лит. stìrna чередованием ts-:st-[38] или st-:s-[39] одинаково неубедительны, потому что не могут объяснить главного вопроса — отношения к этимону *k̑r̥n- с и.-е. k̑ палатальным. Между прочим, была высказана мысль и о заимствовании из славянского[40], но если брать за источник заимствования классическую праславянскую форму *sьrna, то и тогда ожидалось бы лит. *sirna, а что касается элемента -t-, то его вставка остается непонятной, она никак не подтверждается и славянским материалом ввиду отсутствия слав. *stьrna. Совсем неубедительны предположения о каких-то вторичных контаминациях литовской формы[41]. Противоречия устраняются, если лит. stìrna, лтш. stīrna считать заимствованием из раннепраславянского *cīrnā, с субституцией чуждого ts- > st- в балтийском, ср. интересную аналогию отражения иноязычного ts- в крымскоготском stap 'коза': алб. tsap, рум. ţap и другие близкие названия козла в карпатско-балканском ареале.

Равным образом только нетребовательностью к формальной стороне звукового соответствия можно объяснить тот факт, что в научную литературу и этимологические словари прочно вошло на правах бесспорного сближение лит. tūkstantis, лтш. tūkstuôts и ст.-сл. тысѧща, тысѫща, русск. *тысяча* и далее — герм. *þūshundi 'тысяча'[42]. Авторы, как правило, не видят различия в существенной детали между балтийским и славянским словами и не стремятся его объяснить. Тем не менее, существенное различие налицо. Балтийской формой числительного '1000', родственной слав. *tysętja / *tysǫtja, строго говоря, может быть признано только др.-прусск. tūsimtons вин. п. мн. ч. Траутман правильно реконструирует праформу *tūšimtiā-[43], но он вместе со всеми неоправ-

[35] Вяч. В. Иванов. Проблема языков centum и satəm. — ВЯ, 1958, № 4, стр. 21.
[36] E. Fraenkel. Указ. словарь II, стр. 909 (прим. редактора); дальнейшее развитие *širna > *štirna > лит. stirna, предполагаемое там, на редкость искусственно.
[37] И. Эндзелин. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911, стр. 195.
[38] И. Эндзелин. Указ. соч., стр. 43, сноска 2.
[39] J. Otrębski. Indogermanische Forschungen. Wilno, 1939; цит. по рец.: V. Machek. «Listy filologické», LXVIII, 1941, стр. 65—66.
[40] Литературу см.: И. Эндзелин. Указ. соч., стр. 5; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. III. М., 1971, стр. 609.
[41] E. Fraenkel. Там же (с литературой).
[42] M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. III. Heidelberg, 1958, стр. 161—162 (с литературой); E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch II, стр. 1135—1136; J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch I, стр. 1083; S. Karaliūnas. Kai kurie baltų ir slavų kalbų seniausiųjų santykių klausimai. — «Baltų ir slavų kalbų ryšiai» (= «Lietuvių kalbotyros klausimai» X). Vilnius, 1968, стр. 92.
[43] R. Trautmann. Baltisch-slavisches Wörterbuch, стр. 332.

данно относит туда отклоняющиеся литовскую и латышскую формы. Между прочим, только прабалтийское *tūšimt- могло дать фин. tuhansi, tuhat 'тысяча' (фин. h < прафин. *š < балт. š); встречающееся объяснение финского слова из лит. tukštantis[44] неточно. В лит. tūkstantis, лтш. tūkstuôts -k- скорее всего вставное (ср. ст.-лтш. tuustosche, XVI в.)[45], а не суффиксальное[46]. Прабалтийское диалектное *tūstantis было заимствовано из раннепраславянского *tūcentjā / *tūcontjā, с передачей ts через st. Числительное 'тысяча' легко заимствуется из одного языка в другой, ср. венг. ezer — из иранского, болг. *хиляда* — из греческого и уже упоминавшееся фин. tuhansi — из балтийского.

Так же, как в словах stirna и tūkstantis, может объясняться характерная фонетическая деталь в др.-прусск. parstian ср. р. 'поросенок' (в рукописи Эльбингского словарика под № 686 записано как prastian[47], которое до сих пор приводят почти без оговорок в качестве исконнородственной формы в одном ряду с лит. paršas 'поросенок', слав. *porsę, русск. *поросёнок* и т. д.[48] Только Траутман, сознавая несоответствие между др.-прусск. st и правильными рефлексами и.-е. k̂ (лит. š, слав. s), прибег к условной реконструкции parstian < *parsistian[49], где *pars- соответствовало бы точно рефлексам других языков, но это ухищрение едва ли потребуется, если взглянуть на древнепрусскую форму в одном ряду с рассмотренными выше. Форма parstian могла быть заимствована из раннепраславянского *porcen с субституцией ts > st. В таком случае близкое по значению др.-прусск. werstian 'теленок', вместо закономерного *wersian (ср. лит. veršis 'вол, теленок', лтш. vèrsis 'вол'), возникло под влиянием формы parstian, а не из *versistian, как, в свою очередь, предполагает Траутман[50].

Таким образом, группу согласных st в разобранных балтийских примерах мы объясняем как отражение раннепраславянского ts, смычного рефлекса индоевропейского k̂ палатального. Иное отражение было невозможно, поскольку даже в наиболее богатом консонантно балтийском языке — литовском до сих пор употребление c и č позиционно обусловлено или сосредоточено в заимствованной лексике. Это st служит косвенным доказательством существования стадии смычного в славянской рефлекса-

---

[44] Так см. H. Jacobsohn. Arier und Ugrofinnen. Göttingen, 1922, стр. 166.

[45] И. Эндзелин. О вставочных k и g в балтийских языках. СПб., 1913, стр. 14.

[46] Так см. E. Frenkelis. Baltų kalbos. Vertė S. Karaliūnas. Vilnius, 1969, стр. 55—56.

[47] Цит. по изданию: Prūsų kalbos paminklai. Parengė V. Mažiulis. Vilniūs, 1966, стр. 73.

[48] E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg—Göttingen, 1962, стр. 542; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. III, стр. 332.

[49] R. Trautmann. Указ. словарь, стр. 207.

[50] Там же, стр. 353.

ции индоевропейского палатального k̂. Изучение древних заимствований оказывало и прежде большую помощь в исследовании эволюции индоевропейских палатальных в сатемных языках; достаточно вспомнить такой яркий пример, как фин. kah-deksan 'восемь' и yh-deksän 'девять', где второй компонент сближают с др.-инд. daśa и т. д. 'десять', а в сочетании ks видят отражение стадии сильной аффрикаты для и.-е. k̂ [51].

■

1. Индоевропейское k̂ палатальное прошло в раннепраславянскую эпоху стадию смычной аффрикаты *c (=ts), прежде чем изменилось в s.

2. В связи с этим положением намечаются уточнения относительной хронологии процесса. Стадия смычной аффрикаты ts существовала во время изменения s > x после i, u, r, k в славянском (т. е. изменение s > x проходило при вполне определившемся сатемном облике славянского, следовательно, переход s > x нет надобности чрезмерно архаизировать).

3. Определению абсолютной хронологии раннепраславянской стадии смычной аффрикаты ts из и.-е. k̂ может помочь наблюдение, что «переход sj > š распространяется также на s из k̂ ...: pīšǫ 'пишу' из pīs-jǫ» [52]. Это значит, что ко времени I палатализации, с которой надо датировать появление шипящих в славянском, смычная аффриката ts (из и.-е. k̂) утратила смычный элемент и дала s, иначе мы имели бы *pits-jǫ > *pičǫ. Следовательно, стадию смычной аффрикаты ts (из и.-е. k̂) в раннепраславянском надо датировать до I палатализации, т. е. временем около начала нашей эры.

---

[51] H. Jacobsohn. Arier und Ugrofinnen. Göttingen, 1922, стр. 171—172.
[52] J. J. Mikkola. Urslavische Grammatik. II. Teil. Konsonantismus. Heidelberg, 1942, стр. 170—171.

Б. А. УСПЕНСКИЙ

ДРЕВНЕРУССКИЕ КОНДАКАРИ КАК ФОНЕТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Памяти
Петра Саввича Кузнецова

1. Хорошо известно, что принципиальную трудность при реконструкции произношения по письменному источнику составляет проблема разграничения между собственно фонетическими и орфографическими явлениями [1]. При этом как система записи, так и произношение в принципе могут иметь особый «книжный» характер, не отражая непосредственно явлений живой речи: как орфография не сводится к простой транскрипции записываемых текстов, так и фонетика может отражать не живой говор писца, а специальные нормы книжного произношения.

Значение кондакарей (т. е. певческих текстов, записанных в особой, до сих пор не расшифрованной «кондакарной» музыкальной нотации [2]) для русской исторической фонетики и определяется в первую очередь тем, что в них в большой степени следует ожидать отражения реального произношения, а не орфографии. Это обусловлено уже прямой необходимостью внутреннего диктанта, поскольку, записывая тексты для пения особым

[1] Иллюстрируя необходимость такого разграничения, Дурново (1933, стр. 73) остроумно замечал, что «было бы грубой ошибкой из правильного различения безударных *а* и *о* в нынешнем русском правописании делать вывод об окающем произношении русской интеллигенции».

[2] Известно всего пять таких рукописей, причем все они не моложе XIII в.: 1) Типографский Устав (устав с кондакарем) XI —XII в. (Гос. Третьяковская галерея, К-5349; см. описание у Дурново, 1924—1927, стр. 82, 104—105; Мансветова, 1885, стр. 380—391; Металлова, 1912, стр. 165—187); 2) Благовещенский кондакарь, XI (?)—XII в. (ГПБ, Q *п* I, 32); 3) Лаврский (или Троицкий) кондакарь, кон. XII (?) — нач. XIII в. (ГБЛ, ф. 304, I, № 23; см. описание у Тихомирова, III, под № 18); 4) Успенский кондакарь 1207 г. (ГИМ, Усп. 9, Син. 1099; см. издание Бугге, 1960, описание у Бугге, 1960, Щепкиной и др., 1965); 5) Синодальный кондакарь, нач. XIII в. (ГИМ, Син. 777, см. описание у Горского и Невоструева, 1917, под № 522). Сравнение названных кондакарей по их составу и краткое описание содержания каждого кондакаря можно найти у Бугге (1960, стр. XIII—XVIII).

В кондакаре Общества истории и древностей, кон. XII в. (ГБЛ, собр. ОИДР, № 107, ср. отрывок из этой рукописи в ГПБ, Погод. 43), вообще говоря, не нотном, кондакарное знамя встречаем только на двух страницах (л. 15—15б); см. здесь также отдельные строки с кондакарной нотацией (см. их перечень у Тихомирова, II). Отдельные строки с кондакарными нотами встречаются также и в целом ряде певческих текстов крюкового письма (см., в частности, указания Металлова, 1912, стр. 202, 203, 209, 216, 230—231).

растяжным письмом (с повторением обозначения тянущегося гласного в соответствии с длительностью его звучания в певческом исполнении), писец, можно думать, должен был их себе напевать (что способствовало, естественно, отражению произношения), тогда как, переписывая тексты для чтения, он имел относительно больше возможностей отвлекаться от условий их произнесения. С другой стороны, в силу тех же обстоятельств, в певческих текстах в относительно большей степени должно было отражаться, видимо, книжное (литургическое) произношение.

Далее, уже сам прием растяжения гласных, характерный для текстов, записанных в кондакарной нотации, в принципе должен был способствовать отражению именно реального произношения, а не орфографии; ср. передачу произносительных, а не орфографических норм, в аналогичных условиях в русской художественной прозе (при воспроизведении эмфатической речи героев): *па-а-ад-лец*!, *ма-а-алчать*!, *на-и-бла-га-а-ар-р-роднейший*, *блага-а-дарен* (Достоевский), *а-ас-тавьте*!, *Пра-а-пало искусство*! (Чехов) — с характерным отражением аканья, *молоде-ожь* (журн. «Новый мир») и т. п. Ср. особенно следующий пример из Андрея Белого (Собр. соч., IV, стр. 258): «Голос пел: *Ва крааа-ю чужом далёё-ооааам вспа-ми-на-ю я ти-бя*». Итак, растяжное письмо может освобождать от собственно орфографических условностей, обнажая реальное звучание произносимого текста.

Необходимо заметить, что растяжное письмо нотных кондакарей, помимо повторения букв, соответствующих тянущемуся гласному, характеризуется еще многочисленными и разнообразными вставками (χ, в, ц, δ, γ, ʌ, ı, ıv и т. п.), которые подразделяются в основном на вставные попевки глоссолалического характера [3] и на так называемые мартирии, т. е. ключевые знаки, указывающие временную перемену лада [4] (см.: Смоленский, 1913, стр. 1133, Ме-

[3] Ср. в этой связи так называемые «аненайки» и «хабувы», сохраняющиеся в знаменном пении еще в XVII в., а у старообрядцев — и по сей день.

[4] Знаки последнего рода могут помещаться иногда не в строке, а над строкой, т. е. непосредственно среди невм. Любопытно, что кондакари отличаются друг от друга по употреблению мартириев. Так, по наблюдению Смоленского (1913, стр. 1133), в Типографском Уставе «мартирии всюду выскоблены или вымыты и остались только там, где их проглядел такой исправитель»; в Благовещенском кондакаре мартирий ʌ опускается, а иногда вводится в нижнюю строку кондакарной нотации (т. е. переводится в разряд надстрочных знаков); в Лаврском, Успенском и Синодальном кондакарях они, напротив, хорошо представлены в самом певческом тексте.

Следует отметить еще, что форма подобных вставок может противопоставляться по палеографическим признакам начертанию соответствующих букв. Так, например, в большой части Лаврского кондакаря мартирий ʌ, в отличие от обычной буквы ʌ, имеет небольшой хвостик справа (иначе говоря, правая часть знака, соответствующего букве ʌ, продолжается за строку с некоторым закруглением); иногда это начертание превращается в своеобразный завиток, совсем мало уже напоминающий данную букву (так, например, на л. 33—33б). Однако в других случаях тот же писец может писать соответствующий мартирий непосредственно в виде буквы ʌ (см., например, л. 3б).

Между тем, другие мартирии могут последовательно противопоста-

таллов, 1912, стр. 235, Бугге, 1960, стр. IX, XXII—XXIII); эти вставки обычно находят прямое соответствие в греческих певческих текстах (см., например, Хёг, 1956, стр. 28, Флорос, 1967, стр. 18, Бугге, 1960, стр. IX, примеч. 8). В связи с дальнейшим рассмотрением важно иметь в виду, что соответствующие вставки, как правило, не нарушают общих закономерностей повторения букв при протяжении звука. Цитируя в дальнейшем примеры из кондакарей, мы приводим их именно в том виде, как они стоят в тексте: иначе говоря, из осторожности мы не опускаем вставных букв, осложняющих певческие формы, даже и тогда, когда можно полагать, что соответствующие вставки не произносились. Между тем, в случае необходимости рядом в квадратных скобках приводится та же форма в упрощенном виде — с устранением специальных приемов растяжного письма.

Уже одно наблюдение над тем, какие буквы могут повторяться в кондакарях без изменения при протяжении звука, а какие нет, дает известное основание исследователям для суждения о качестве соответствующих звуков (см. отдельные наблюдения А. И. Соболевского, А. И. Томсона, П. С. Кузнецова). Однако сама дилемма: произношение или орфография? — остается и здесь. Так, то обстоя-

---

вляться буквам по всему тексту того или иного памятника. При этом в других кондакарях (например, в Типографском Уставе) подобные отличия могут не обнаруживаться, и в этом случае вставки не отличаются по форме от соответствующих букв. Строго говоря, мы вправе считать, что та или иная вставка обозначается в тексте буквой — а не каким-то иным знаком — только в последнем случае; во всех остальных случаях мы можем говорить о буквах только условно, но сопоставляя тексты разных кондакарей, мы можем в ряде случаев отождествить специфически выделенные вставки с теми или иными буквами (равным образом условной является в этих случаях и передача соответствующих знаков близкими по начертанию буквами).

Наибольшую трудность при идентифицировании представляет совокупность знаков, напоминающих по форме иногда ижицу (ѵ), иногда — букву ц; иногда же соответствующий мартирий превращается в знак, вообще не напоминающий какую-либо букву (см., например, Лаврский кондакарь, л. 76—76б, или Синодальный, л. 4б), и только последовательное палеографическое сопоставление позволяет отождествить такого рода знаки с другими мартириями. Неясно даже, имеем ли мы дело здесь с одним мартирием или же с несколькими разными. Мы будем условно передавать такого рода вставку — там, где она достаточно отчетливо противопоставляется буквам, — при помощи греческой гаммы: γ. Практически речь идет при этом о примерах из Успенского и Лаврского кондакарей. Между тем, в примерах из Типографского Устава мартирии вообще передаем буквами, поскольку они, как правило, не обнаруживают явных отличий от букв в этом памятнике; характерным примером неразличения буквы и соответствующего мартирия в Типографском Уставе может служить, между прочим, гаплографическая форма вѣнннннннннннхннннмннн (т. е. — за вычетом повторяющихся гласных и вставных попевок — вѣньмь), л. 75, обусловленная тем, что исправитель текста механически принял букву ц в слове вѣньцьмь за мартирий — и соскоблил ее. Также и в Синодальном кондакаре соответствующий мартирий часто совпадает с буквой ц; что же касается Благовещенского кондакаря, то мартирии вообще для него нехарактерны.

тельство, что ꙑ при растяжении часто переходит в и (например, гꙑиии и т. п.) — отнюдь не доказывает еще, вопреки мнению Томсона (1905, стр. 47; 1927, стр. 346)[5], что ꙑ произносилось как дифтонг[6]. То же явление может быть объяснено и орфографически, если принять, что буква ꙑ воспринималась как диграф и, соответственно, при протяжении гласного повторялась последняя часть не дифтонга, а диграфа (с орфографическим отождествлением і и и, причем повторяющееся і вообще не встречается в кондакарях)[7]. Ср. вполне очевидный случай такого рода в Лаврском кондакаре: непобѣдиииимоуууюю (л. 6)[8], ороуууужиииие (л. 52), ср. лежаацюоуумоуоуоу (л. 96), т. е. при протяжении гласного может повторяться последний элемент диграфа оу (ou).

С другой стороны, по всей видимости, более показательны в фонетическом отношении встречающиеся иногда в кондакарях случаи перехода ѣ в е при протяжении звука, типа грѣеехоооооокъ

---

5 Томсон, кстати, не прав, когда утверждает, что ы в о о б щ е не повторяется в кондакарях при растяжении, всегда переходя в этом случае в и (см. Томсон, 1927, стр. 346; автор приводит как исключительный случай форму дѣѣмоонькскыыхъ, без указания источника, и объясняет данный пример тем, что кы было уже близко по звучанию к ки). Повторение ы при протяжении звука достаточно часто наблюдается, например, в Благовещенском кондакаре (л. 5, 6, 6б и др.), встречаясь также в Успенском (л. 150), Синодальном (л. 41б).

6 Точно так же не обязательно соглашаться и с Кульбакиным (1915, стр. 19, примеч. 2), который видит в подобных написаниях отражение повышения или понижения тона в протянутом ы.

7 В подкрепление этой точки зрения можно было бы сослаться на возможность написания ы как ын, ыі, ої (где о выступает как графический эквивалент ъ) в старославянских и древнерусских текстах. Ср. характерный перенос со строки на строку в надписи царя Самуила 993 г.: съ-нна.

Написание ы как ын изредка можно встретить и в кондакарях, см. в Синодальном кондакаре форму съзынааѥтьь (л. 55б); в соответствующем месте, например, Успенского кондакаря читаем съзынааѥтьь (л. 60б). Менее показательна форма нынинжааа в кондакаре Общества истории и древностей (л. 15), т. к. здесь имеет место, по-видимому, пропуск слога (ср. соответствующее место в Типографском Уставе: нынинынжааа, л. 28б).

8 Любопытно сопоставить то же слово в Успенском кондакаре, переданное иным техническим приемом: непобѣдиинмоуѹѹю (л. 6—6б). Замечательно при этом, что не только оу, но и буква ю в Лаврском кондакаре довольно регулярно переходит при протяжении звука во второй элемент диаграфа оу (ou): вынюоооощее (л. 5), твоюоо (л. 7), оотъсѣкааюооооооща (л. 29б). Чтобы понять подобные случаи, следует иметь в виду, что буква ю в кондакарях, как правило, не повторяется при протяжении, но переходит в ѹ, образуя последовательность юѹѹѹ . . . (исключительный случай в этом отношении представляет только что приведенный пример из Успенского кондакаря: непобѣдиинмоуѹѹю, с двумя ю — но знаменательно, что над вторым ю в этом случае не поставлено нотного знака!); поскольку, между тем, в рассматриваемом памятнике растяжение ѹ передается как ооооо . . ., в результате объединения данных двух правил растяжение ю передается как юоооо. . .

в Лаврском кондакаре (л. 5)[9]. Некоторые случаи такого перехода будут объяснены ниже (см. § 3.5).

2. Особый интерес представляют кондакари для истории редуцированных, причем различение орфографических и произносительных явлений сохраняет свою актуальность и в этом отношении. Уже самый факт повторения еров в условиях растяжного письма, т. е. последовательностей вида ъъъ. . . или ьььь.., как это наблюдается во всех кондакарях, с достаточной определенностью показывает, что соответствующие звуки реально произносились, причем могли тянуться сколь угодно долго[10]. Последнее обстоятельство может рассматриваться, в свою очередь, как свидетельство отражения здесь именно книжного произношения еров[11]. Если в ряде случаев в нотном тексте можно констатировать пропуск ъ или ь, то существенно отметить, что в этих случаях певческое знамя (знак музыкальной нотации) обычно стоит над буквой согласного[12]; следовательно, еры реально звучали и в этом случае, тогда как пропуск их представляет собой, по-видимому, чисто орфографическое явление (см. ниже, §§ 3.2, 3.3, 3.7). (Исключительные случаи, которые могли бы свидетельствовать о действительном пропуске соответствующих звуков, не будут нас интересовать в этой работе.)

С другой стороны, примеры с прояснением еров в кондакарях в целом ряде случаев не указывают на падение редуцированных, а объясняются именно за счет искусственного книжного произношения, см., например, формы типа божєствьнаꙗ в Успенском кондакаре (л. 7—7б, 16б, 62б, 70б, 71б, 75, 95б, 82б, 100, 110, 112, 136б, ср., между тем, здесь же божьствьнаꙗ, л. 9б, 17б—18, 63, 64, 70, 84б, 87б, 111, 122б, 156, 157, 161б) или в Лаврском

---

[9] Этот пример цитирует Соболевский (1907, стр. 40) — с неправильным указанием страницы (л. 4 вместо л. 5).

[10] В этом отношении, между прочим, любопытны случаи добавления еров, в соответствии с протяжением звука, при последующей справе текста. См., например, наччаааалтъъкъыыыыыы [начатъкъ] в Типографском Уставе, л. 91б, где второе ъ в последовательности ъъ добавлено позднее — теми же чернилами, что проставлена кондакарная нотация (при написании кондакаря обыкновенно один писец писал текст, а другой, более опытный, проставлял ноты и одновременно производил справную работу: ср. наблюдения Тихомирова, III, стр. 140, над Лаврским кондакарем).

[11] Следует поэтому оговориться, что термин «редуцированный» употребляется в настоящей работе чисто условно — в соответствии с устоявшейся традицией, но без какой-либо претензии на фонетическую характеристику соответствующих знаков. В книжном произношении на месте графических ъ и ь могли звучать вовсе не редуцированные гласные.

[12] Имеем в виду при этом такие нотные знаки, которые соответствуют в кондакарной нотации отдельному слогу, а не их совокупности (см. Смоленский, 1913, стр. 1042, Бугге, 1960, стр. XX—XXI).

Аналогичное явление, т. е. простановка ноты над буквой согласного при графическом опущении ъ или ь, указывающая на реальное произнесение редуцированного, отмечается и в певческих текстах крюковой нотации XII в. См., примеры у Шахматова (1882, стр. 42), Тихомирова (II стр. 127—128), Кошмидера (1958, стр. 130).

кондакаре (л. 8 и др., ср. Тихомиров, III, стр. 140), в Синодальном кондакаре (л. 9б, 36б, 58, 59, 63. 64 и др.).

Иногда прием растяжного письма обнаруживает своеобразную контаминацию формы с редуцированным и соответствующей формы с его прояснением, в результате которой либо ъ, ь при растяжении переходит в о, е, либо, напротив, — о, е переходит в повторяющееся ъ, ь. Эта контаминированная форма в певческом тексте может представлять собой своего рода компромисс между книжным и живым произношением, между произношением и орфографией, и т. п. (при этом неповторяющаяся буква в обычном случае имеет, можно думать, относительно условный характер, тогда как повторяющаяся отражает реальное произношение). См., например, форму кроъъъъъъъвььуьь в Синодальном кондакаре (л. 109), где в певческом тексте имеет место контаминация форм кровь и кръвь. Противоположный переход — ъ в о — представлен в форме соущьствъоомьхьхь Успенского кондакаря (л. 43), где имеет место контаминация форм соущьствъмь и соущьствомь (этот пример будет специально рассмотрен ниже, см. § 3. 8)[13].

Примечательно, наконец, что в Типографском Уставе еры при растяжении могут менять свое качество, переходя один в другой, например: воольъьуьььуьцную[14] [вольную — с последовательностью ьъь при протяжении редуцированного], л. 76, крьхьхъььцаюуьуьуьуьцаса [крьцающаса — с последовательностью ъьь], л. 50—50б, непосрамьдьіьъуьььььуьдьнагаа [непосрамьнагаа — с последовательностью ьъ], л. 93б. Ср. аналогичное изменение при вставке попевок или мартириев (χ, ц, ȣ и т. п.), которые, как правило, не нарушают закономерностей повторения букв (см.

---

[13] Менее ясный случай такого же рода представлен и в форме въръплъщеена (причастие Gen. sg. masc.) того же Успенского кондакаря (л. 52), где имеет место, по-видимому, контаминация форм въплъщьна и въплъщена. Форма въплъщьна представляет собой, вероятно, результат обратной (гиперкорректной) орфографической замены е на ь, возможной в условиях действующего фонетического процесса прояснения редуцированных; это явление могло быть поддержано и ассоциацией причастной формы с прилагательными на -ьн-. Между тем, при протяжении гласного звука это условное ь обнаруживает свой нефонетический характер и закономерно переходит в е.

Аналогичным образом объясняется и форма страдалььцьхехеумъръ [страдальцьемъ — форма Dat. pl.] того же памятника (л. 106б), где переход ь в е при растяжении осложнен вставной попевкой: здесь следует видеть контаминацию форм страдальцьмъ и страдальцемъ (ср. в этой связи вариантные формы ангелоооооомъ и ангелъмъ на одной и той же странице Благовещенского кондакаря, л. 17б).

Само собой разумеется, что контаминированные формы в кондакарях не ограничиваются случаями, связанными с рефлексацией редуцированных. Характерным примером морфологической контаминации может служить хотя бы следующая форма Лаврского кондакаря: вьсмакоуȣоооомоȣȣȣ (л. 11), которая представляет собой результат объединения форм вьсмкомоу и вьсмкоумоу.

[14] Причем ь между ъ и ȣ написано новым почерком по подтертому месту.

выше, § 1): ѧнгеелѣѹѣѣцѧѧѧстихихиииии [ѧнгелѣстии — с последовательностью ѣѧѧ, осложненной вставкой ѹ: ѣѹѧѧ], л. 50, богоооословѧѧѧѧѧцѣѣѣхѣѣ [богословѧца — с последовательностью ѧѧѧѣ, осложненной вставкой х: ѧѧѧхѣѣ], л. 31—31б, ꙗѧѧѧростѣхѣхѣѣ [ꙗростѧ — с последовательностью ѧѣѣ, осложненной вставными х: ѧхѣхѣѣ], л. 30б[15]. Единичный случай чередования еров в условиях растяжного письма встретился нам и в Синодальном кондакаре: ѣѣскрѧѧсѣѣхѧхѧѧѹѧѧ [ѣѣскрѧсѣ — с последовательностью ѣѧ], л. 105[16].

3. Замечательной особенностью Типографского Устава, отличающей его от всех других кондакарей, является то, что тексты песнопений сначала даются здесь без нот, а затем повторяются уже с простановкой кондакарного знамени. Иначе говоря, одни и те же тексты даются здесь как обыкновенным письмом (без растяжения гласных и вставных попевок), так и специальным растяжным письмом (ср. еще единичный случай такого рода в кондакаре Общества истории и древностей, л. 14б—15б). Можно сказать, что перед нами своего рода билингва[17], где тексты для чтения[18] даны параллельно текстам для пения. При этом оказывается, что тексты в обеих частях (нотной и ненотной) не вполне совпадают, т. е. можно обнаружить некоторые формальные различия, преимущественно фонетического характера, не обусловленные кондакарной нотацией (т. е. не сводимые к растяжению гласных и вставке попевок или мартириев). Правомерно считать, что эти различия в большинстве случаев отражают различия между произносительными и орфографическими нормами.

В самом деле, в качестве рабочей гипотезы, призванной объяснить данное явление (ни к чему, впрочем, специально не обязывающей), можно предположить, вслед за Металловым (1912, стр. 166), что писец «имел в оригинале только обычный текст песнопений, без певческих знаков, и потом уже писал этот текст вторично растяжным письмом, приноравливая его к певческим знакам, которые он. . . тут же и выставлял в списке». Речь может

---

15 Достойно внимания, что в соответствующей форме Успенского кондакаря мы имеем: ꙗѧѧростѣхеѣь (л. 10б), где после вставки х, вопреки ожиданию, не повторяется предшествующая ей буква ѣ, и появляется е, которое в конце концов переходит в ь (образуя таким образом странную последовательность еь). Точно так же и в Лаврском кондакаре имеем: ꙗѧѧростѣхеѣе (л. 9). Между тем, в Благовещенском кондакаре нормальная форма: ꙗѧѧростѣхѣхѣь (л. 8). (В Синодальном кондакаре данный текст отсутствует.)

16 Данная форма осложнена не только вставными х, но и идущими подряд вставками е и ѣ.

17 Условно понимая при этом под билингвой вообще такое явление, когда один и тот же текст отражается в памятнике в двух разных системах.

18 Говоря о текстах для чтения, мы имеем в виду, конечно, не публичное чтение в церкви, а чтение келейное (про себя). Иначе можно было бы сказать, что одни тексты предназначены прежде всего для глаза, тогда как другие, параллельные, — непосредственно для артикуляции (т. е. для органов речи).

идти при этом непосредственно о писце (писцах) рассматриваемой рукописи, или же, в более сложной ситуации, о писце ее славянского оригинала, но принципиально это не меняет дела.

Если согласиться с этим предположением, то надо ожидать, что тексты, написанные обыкновенным (нерастяжным) письмом, в большей степени отражают правописание оригинала, а те же тексты, написанные растяжным письмом, в относительно большей степени отражают произношение. В ряде случаев эти различия в нотном тексте, по сравнению с текстом ненотным, можно объяснить именно внутренним диктантом писца, знавшего наизусть песнопения, которые он писал растяжным письмом.

Исходя из сказанного, мы будем далее условно рассматривать нотную форму Типографского Устава как результат видоизменения соответствующей формы ненотного текста, обусловленного иными условиями написания. В приводимых ниже соответствиях слева каждый раз дается форма ненотного (обычного) текста, а справа — соответствующая ей форма нотного текста. Нотная и ненотная формы отделены знаком перехода: >. При этом для удобства сопоставления после реальных форм нотного текста, данных растяжным письмом (т. е. именно в том виде, в каком они показаны в тексте), мы приводим в скобках те же формы обыкновенным письмом, т. е. с устранением растяжения гласных и разнообразных вставок.

3.1. Отметим прежде всего довольно регулярное изменение и в ь в нотном тексте Типографского Устава в определенной позиции:

людие > людьюе [людье], л. 26—26б;
поношениꙗ > поноошеенььꙗхахаа [поношенькꙗ], л. 26—26б;
пособие > посооообьььье [пособье], л. 27—27б;
ороужие > ѡрꙋжьььье [ѡрꙋжье], л. 27—27б;
бжию > божьюꙋ [божью], л. 37—37б;
божиꙗ > боожьььꙗаааахахаа [божьꙗ], л. 37б—38;
божиꙗ > боожьꙗꙋаа [божьꙗ], л. 78—78б;
здравие > зхзхзздраааввхьььеие [здравье], л. 35б;
вопиющихъ > вопьющиииихъ [вопьющихъ], л. 73б—74;
пришествие > пришььььхьествьььье [пришествье], л. 78—78б;
обатиꙗ > обатьььꙗаа [обатьꙗ], л. 79б;
распатие > распааатьхьхьььие [распатье], л. 86б—87;
хрестиꙗномъ > хрььььестьꙗноомъзззззззззхзззъ [хрестьꙗномъ], л. 93—93б;
дыхание > дыхааньььеее [дыханье], л. 99б—100;
дыхание > дыихааньььее [дыханье], л. 102б[19].

Замечательно, что то же явление прослеживается и в кондакаре Общества истории и древностей, ср. здесь: кражиꙗ > краажьььꙗаа [кражьꙗ], л. 14б—15б.

[19] Ср. еще аналогичную нотную форму того же слова на л. 108 (между тем, соответствующая ненотная форма в данном случае отсутствует).

Особенно любопытно, что в двух случаях в Типографском Уставе наблюдается попытка исправления ѧ на и в подобных формах, см.: вражиꙗ > вражьꙗ, л. 28б—29, где буква и после ѧ вставлена тем же почерком и чернилами, но вне полей — т. е., по-видимому, добавлена писцом уже после написания всей формы; божиꙗ > божьꙗ (л. 42—42б), где, по-видимому, буква ѧ переделана в и. Эти случаи можно объяснить как попытку внесения орфографических навыков в нотный текст, иначе говоря, как попытку орфографического упорядочения нотных форм; важно отметить, что в обоих случаях гласный, обозначаемый буквой ѧ, не тянется, и таким образом соответствующая замена не слишком явно отражалась на произношении.

Надо полагать, что приведенные выше нотные формы отражают реальное произношение. Переход и в ѧ при этом, может быть, свидетельствует не столько о редукции звука [i], как это обыкновенно описывается, сколько об определенном изменении качества гласного звука: знаменательно в этом отношении протяжение гласного, обозначаемого буквой ѧ, в приведенных примерах. В свою очередь, нельзя исключать возможность того, что формы с ерем отражают в нашем памятнике искусственное книжное произношение — хотя графически они и совпадают с обусловленными падением редуцированных формами более поздних текстов, которые отражают уже живое русское произношение. Если принять, что формы на ѧє, ѧꙗ, ѧю в древнейших русских текстах объясняются влиянием старославянских оригиналов (см. Шахматов, 1915, стр. 215—216), то можно предположить, что такое влияние могло отразиться не только на графике (см. такие написания, например, в Изборнике 1073 г.), но и на произношении (а в определенных случаях — в частности, возможно, в Типографском Уставе — только на книжном произношении, но не на книжном правописании). При этом, если в древнеболгарских текстах буква ѧ в написаниях такого рода, по-видимому, уже не обозначала звука, а оказывалась простым слогоотделителем (см. Шахматов, 1915, стр. 214, ср. также Щепкин, 1906, стр. 111), то в русском книжном произношении, ориентированном на графику, буква ѧ в этих написаниях должна была произноситься именно как тот гласный звук, который вообще соответствовал данной букве; поскольку же гласный, обозначаемый буквой ѧ, вообще мог тянуться при исполнении кондакарей (см. выше, §[5]2), то, в частности, он мог тянуться и в рассматриваемых формах. Иначе говоря, согласно такому объяснению, ерь в приведенных формах в книжном произношении звучал не как «редуцированный ĭ» (напряженный глухой, по терминологии Шахматова — см. Шахматов, 1915, стр. 215, где предполагается, что ѧє, ѧꙗ, ѧю до падения редуцированных читались русскими именно с редуцированным ĭ на месте ѧ), а как обычный ерь (ненапряженный глухой); между тем, в живом произношении здесь мог звучать в описываемую эпоху «редуцированный

ĭ»[20]. В дальнейшем после падения редуцированных оба произношения совпали, и написания подобного рода были поддержаны живым русским произношением соответствующих форм, обусловленным именно утратой редуцированных звуков.

3.2. Форма с обозначением редуцированного в нотном тексте в ряде случаев противостоит форме без буквы редуцированного в соответствующем ненотном тексте Типографского Устава:

всь > вьсь [вьсь], л. 38б—39;

всѧ > вьхьхьльсѧ [вьсѧ], лл. 90б—91;

вселенеи > вьсеееелентеееееіееееи [вьселенѣи], л. 38б;

вселеную > вьсеееленоуоуоуюуу [вьселеноую], л. 53б;

кнѧза > кънѧзѧ [кънѧзѧ], л. 27—27б;

кнѧза > кънѧѧзѧѧ [кънѧзѧ], л. 55б—56;

кто > кто [кто], л. 31;

никто > нииииикъто [никто], л. 89—89б;

многомлстиве > мъноогомиуиихиуилоуостиве [мъногомилостиве], л. 38б—39;

многомилостиве > мъноогомиуиихиуилоуостиве [мъногомилостиве], л. 91б.

Знаменательно, что то же явление прослеживается — хотя и не в столь явном виде, как в Типографском Уставе — и в других кондакарях. Так, в Лаврском кондакаре имеется текст (см. л. 110—114), относительно небольшой по объему, написанный без нот, т. е. обыкновенным, а не растяжным письмом (но, в отличие от Типографского Устава, этот текст не имеет соответствия в нотной части рукописи, т. е. не образует параллельного к ней текста); при этом, как установила О. А. Князевская (1970), один и тот же писец писал как ненотный текст, так и определенную часть нотного текста рукописи. Таким образом мы получаем возможность сравнить, как пишет данный писец одни и те же формы (корни) в нотном и ненотном (обыкновенном) тексте. Показательно, что если в нотном тексте, по наблюдению О. А. Князевской, корни *вьс-*, *мъног-* всегда пишутся с обозначением редуцированного, то в обыкновенном тексте тот же писец пишет соответствующие формы с пропуском еров.

Со своей стороны, мы можем сослаться на Синодальный кондакарь, где представлен тот же самый текст (лишь с небольшими

---

[20] Приведенный материал не подтверждает предположения Шахматова, что в книжном произношении буква ь в соответствующих формах служила только графическим обозначением мягкости. (Ср. Шахматов, 1915, стр. 198: «Встречающиеся в древних русских памятниках написания ьꙗ, ью, ьѥ и т. д. восходят к церковнославянским оригиналам; живое русское произношение соответствовало в то время звукам ĭꙗ, ĭu, ĭe и т. д. В приведенных написаниях русские писцы едва ли придавали букве ь значение і полукраткого, скорее они присваивали ей... значение мягкого знака. Вследствие этого написание братьꙗ читалось в церковном произношении brat'ja уже в то время, когда ъ и ь полукраткие еще не исчезли из живого языка».)

разночтениями), также в ненотном изложении (см. л. 101—104) [21], и наблюдается совершенно аналогичное явление. См. здесь всѝ (bis), всѣмъ, всѣх, вселенꙋю, мно^г^, кнѧзе^и^ (последняя форма отсутствует в Лаврском кондакаре) — при том, что в нотном тексте данного памятника соответствующие корни всегда, насколько мы знаем, пишутся с обозначением редуцированного.

Полагаем, что отсутствие буквы редуцированного в непевческом тексте следует отнести — по крайней мере в ряде случаев — прежде всего насчет орфографии, которая могла совпадать иногда и с живым произношением, противопоставленным произношению книжному; с другой стороны, наличие над ерами нотных знаков в певческом тексте, как и их протяжение, свидетельствует о том, что редуцированные сохранялись в соответствующих случаях в книжном произношении.

Показательно, что именно указанные корни достаточно часто встречаются в написании без буквы редуцированного (вс- [22], кнѧз-, мног-, кто) как в старославянских текстах (см. данные хотя бы у Ван-Вейка, 1957, стр. 148—151) [23], так и в старейших памятниках восточнославянской редакции. Достаточно сослаться, например, на оба Изборника (1073 и 1076 гг.), на Пандекты Антиоха XI в., Куприяновские листки XI в. (кроме вообще отсутствующего здесь корня *кънѧз-*), Архангельское евангелие 1092 г., на Минеи 1095—1097 гг., на июльскую Минею XI—XII в., Путятину минею XI в., Софийскую минею XII в., Ефремовскую кормчую XII в., Златоструй XII в., Студийский Устав XII в., на Успенский сборник XII—XIII в., Выголексинский сборник XII—XIII в., а также на Синодальный список Новгородской летописи XIII в. или на целый ряд других древнерусских памятников, где встречается или даже преобладает именно безъеровое написание данных корней [24].

---

[21] Соответствующие стихи Лаврского и Синодального кондакарей, по-видимому, предназначались в данном случае не для пения, а для возглашения чтецом (ср. Горский и Невоструев, 1917, стр. 388). Однако в Успенском кондакаре некоторые из этих стихов положены на ноты (см. л. 153б—155).

[22] В отношении слова вселенаꙗ ~ вьселенаꙗ (ст.-сл. въселенаꙗ) считаем, что оно ассоциировалось в древнерусском с корнем *въс-* (ср. Обнорский, 1912, стр. 37, 1924, стр. 176; Карягина, 1960, стр. 25) и, соответственно, подчинялось принципам написания последнего: отсюда обычное в древнерусских памятниках написание вьселенаꙗ (если *въс-* пишется с буквой редуцированного; ср. также встречающееся иногда веселенаꙗ, с прояснением еря, см. такие формы в Успенском кондакаре, л. 46б, 54б), либо вселенаꙗ (если буква редуцированного в *въс-* опускается).

[23] Пропуск буквы редуцированного именно в этих корнях характерен и для южнославянских памятников XII—XIII вв., см., например, Мирославово евангелие (Селищев, 1951, стр. 284—285), Болонскую псалтырь (Щепкин, 1906, стр. 118, 132), Боянское евангелие (Кульбакин, 1899, стр. 831—833; корень *въс-*, однако, в этом памятнике, как правило, пишется с ерем).

[24] См., например, подсчеты случаев относительного употребления одних и тех же корней в написании с буквой редуцированного и без нее или исчерпывающий перечень примеров, на основании которого легко произвести такие подсчеты, для Пандектов Антиоха XI в. — у Копко, 1915, стр. 178—182, 190, 196—197; для XIII слов Григория Богослова XI в. — у Фялёва,

В некоторых памятниках, достаточно древних, определенные из этих корней встречаются и с к л ю ч и т е л ь н о в написании без буквы редуцированного [например, вс- и мног- в июльской Минее XI—XII в. (см. Карягина, 1960), кнѧз- — в ноябрьской Минее 1097 г. (см. Обнорский, 1924) или в Христинопольском апостоле XII в. (см. Гринкова, 1924, стр. 300)], что скорее всего говорит как раз за выдержанность орфографии. Отметим, что в абсолютном большинстве цитированных памятников, так же как и в большом количестве других, встречается и написание всь с пропуском буквы ь на месте редуцированного в сильной позиции [25], представляющее собой, по нашему мнению, чисто графиче-

---

1927, стр. 117—118, примеч., и Фалёва, 1928, стр. 248 (относительно корней: *вьс-*, *мъног-*, *къто*); для Изборника 1073 г. — у Еленски, 1960, стр. 639—646; для Чудовской псалтыри XI в. — у Обнорского, 1912а, стр. 343 (относительно корней: *къто*, *мъног-*, *кънѧз-*); для ноябрьской Минеи 1097 г. — у Обнорского, 1924; для сентябрьской Минеи 1095 г. — у Корнеевой-Петрулан, 1917; для июльской Минеи XI—XII в. — у Карягиной, 1960, стр. 15—17; для Ефремовской кормчей XII в. — у Обнорского, 1912, стр. 23—25; для Добрилова евангелия 1164 г. — у Малковой, 1966; для Златоструя XII в. (по изданной Малининым части) — у Фалёва, 1927, стр. 118, примеч. (относительно корней *мъног-*, *къто*, *вьс-*); для Студийского Устава XII в. — у Менгеса, 1935, стр. 26—28; для Жития Феодосия из Успенского сборника — у Шахматова, 1915, стр. 210, Фалёва, 1927, стр. 115—117; для Жития Бориса и Глеба из того же сборника — у Маркова, 1964, стр. 35—37; для Выголексинского сборника — у Судник, 1963, стр. 181—182; для Синодального списка летописи — у Фалёва, 1927, стр. 115 (о корне *кънѧз-*); см. также указатели к изданиям Изборника 1076 г. (М., 1965) и Успенского сборника (М., 1971). Для древнесербского Мирославова евангелия см. аналогичный подсчет (в отношении корней *вьс-* и *къто*) у Селищева, 1951, стр. 285. См. также сводку текстов, где встречается написание указанных корней без обозначения редуцированного, у Карягиной, 1960, стр. 14, 15, 17, Гринковой, 1924, стр. 299—300.

[25] См. эту форму в Изборнике 1073 г. (Селищев, 1951, стр. 284), в Пандектах Антиоха XI в. (Копко, 1915, стр. 181—182), в сентябрьской Минее 1095 г. (Корнеева-Петрулан, 1917, стр. 25), в октябрьской Минее 1096 г. (Комарович, 1926, стр. 34), в ноябрьской Минее 1097 г. (Обнорский, 1924, стр. 175), в июльской Минее XI—XII в. (Карягина, 1960, стр. 16—17), в Юрьевском евангелии около 1120 г. (Шахматов, 1915, стр. 256), в Ефремовской кормчей XII в. (Обнорский, 1912, стр. 23), в Христинопольском апостоле XII в. (Обнорский, 1924, стр. 175, примеч. 2), в Студийском Уставе XII в. (Менгес, 1935, стр. 26), в Выголексинском сборнике XII—XIII в. (Судник, 1963, стр. 181, 198), в Житии Саввы Освященного XIII в. (Виноградов, 1968, стр. 156), в новгородских грамотах (Шахматов, 1885—1895, стр. 146), в Паремейнике 1271 г. (Каринский, 1928, стр. 236), в Синодальном списке 1-й Новгородской летописи (Шахматов, там же, примеч. 1, Ляпунов, 1900, стр. 74), в Галичском евангелии 1357 г. (Жуковская, 1960, стр. 95), в новгородских берестяных грамотах (Арциховский и Борковский, 1958, стр. 99—100), в псковских памятниках XIV—XV вв. (Каринский, 1909, стр. 166—169, Каринский, 1916, стр. 243) и в ряде других текстов (см. перечень у Шахматова, 1885—1895, стр. 146, примеч. 1, Ляпунова, 1900, стр. 74, ср. также Карягина, 1960, стр. 17, Жуковская, 1960, стр. 96). Об этой форме в старославянских памятниках см. специально у Щепкина (1901, стр. 127—129), Ягича (1876—1877, I, стр. 31).

ское явление, заимствованное, по-видимому, именно из старославянских текстов [26].

Можно прибавить еще ссылку на целый ряд случаев сокращенного написания, не имеющего, однако, специального знака титла. В ряде случаев при этом прослеживается, опять-таки, связь с аналогичными явлениями старославянских памятников. См., например, форму днь в Изборнике 1073 г. или в Выголексинском сборнике (Судник, 1963, стр. 198), в которой естественно видеть отражение старославянской орфографии (см. Селищев, 1951, стр. 284, Щепкин, 1901, стр. 179, 206); или отмеченное Соколовой (1930, стр. 104) сокращение ткмо в Архангельском евангелии, которое в точности соответствует аналогичной форме старославянских и древнейших южнославянских текстов [см. ткмо в Мариинском евангелии (о графической обусловленности этой формы см. Щепкин, 1901, стр. 140) или в Болонской псалтыри (см. Щепкин, 1906, стр. 113, 124, 126)] [27].

Как любезно сообщил нам Н. Б. Тихомиров, в обследованном им Полоцком евангелии кон. XII (?)—нач. XIII в. (ГПБ, Погод. 12, и отрывок в ГБЛ, ф. 310, № 962; см. описание у Тихомирова, III, стр. 102), где встречается, между прочим, и форма вcь (например, на л. 52б, 55, 68б, 70, 80, 90б, 92б), можно встретить сокращенное написание (без титла!) амн (л. 53б, 54, 58, 59 bis, 60, 60б, 62 и др.), а также такие сокращения, как шдъ (л. 90б, 147, 150, 151, ср. пришдъ, л. 145), рче (л. 50б, 53б, 55б и др.), конць (л. 103, 144б), слѣпць (л. 135б), телць (л. 147б, 148), жребць (л. 148, но жрѣбьць, л. 148б). См. также примеры сокращенных форм, приведенные у Шахматова (1915, стр. 209), Карягиной (1962, стр. 14); не говорим уже о довольно частых сокращениях в заголовках (см., в частности, примеры из Успенского кондакаря, выписанные у Бутге, 1960, стр. X—XI). Нет необходимости всякий раз объяснять подобные случаи ошибочным пропуском титла [28].

Итак, мы присоединяемся к мнению тех исследователей, которые рассматривают написание указанных корней без обозначения редуцированного (вс-, мног-, кто, князь-) в старших русских рукописях как орфографическое явление, т. е. видят в соответствующих формах графическое наследие старославянских текстов [29]. Характерно, что подобные написания встречаем, между прочим, в тех древнейших памятниках русского письма, которые особенно близки по своему правописанию к старославянским (южнославянским), —

---

[26] См. Селищев, 1951, стр. 284, Обнорский, 1912, стр. 23—24, 30, Карягина, 1960, стр. 17, Жуковская, 1960, стр. 95. Ср., однако, противоположное мнение, например, у Ляпунова, 1900, стр. 93, Шахматова, 1903, стр. 198—199, Обнорского, 1924, стр. 175, Борковского (см.: Арциховский и Борковский, 1958, стр. 99—100), которые рассматривают данную форму как явление живого языка.

В отношении различной трактовки данной формы см. также библиографические указания у Виноградова, 1968, стр. 156 (примеч. 124).

[27] Как предполагает Корнеева-Петрулан (1940, стр. 169), сокращенные написания в русских рукописях в ряде случаев восходят к соответствующим южнославянским написаниям с выносной буквой.

[28] Как это предполагает, например, Жуковская (1960, стр. 96) для написания вcь, Судник (1963, стр. 198) — для написания днь.

[29] См., например, Фортунатов, 1908, стр. 1452 (специально о вс-), Обнорский, 1912, стр. 23. Иначе — Фалёв, 1927, стр. 120, который видит в написаниях мног-, князь- свидетельство падения редуцированных.

таким, например, как Куприяновские (Новгородские) листки [30] или Пандекты Антиоха [31].

С другой стороны, подобные написания в принципе иногда могли совпадать с живым произношением и даже, может быть, поддерживаться им (то, что в книжном произношении соответствующих форм звучал редуцированный, показывают именно данные нотных текстов). В этой связи, конечно, обращает на себя внимание прежде всего корень кнѧз-, который достаточно рано встречается в написании без обозначения редуцированного в собственно русских текстах. См., например, кнѧз в надписи 1068 г. на Тьмутараканском камне, кнѧзь в граффито XI в. киевского Софийского собора (см. Высоцкий, 1966, табл. VII_2—VIII_2) — но в других случаях мы имеем здесь в граффити XI—XII вв. написание этого корня с ером: кънѧзъ (табл. V—VI), кънѧжилъ (табл. XI—XII), кънѧгыни (табл. XXX). Знаменательно, однако, что все эти примеры относятся к южнорусской территории, где падение редуцированных, как известно, началось раньше. Что же касается известной Мстиславовой грамоты около 1130 г. с ее «выдержанным церковнославянским правописанием» (см. Дурново, 1969, стр. 97), лексическими и синтаксическими церковнославянизмами (см. Исаченко, 1970) [32], наконец, характерным началом по образцу болгарских грамот с болгарским же личным местоимением 1 Sg (ѥ ѧзъ, ср. далее русские формы местоимения ꙗзъ и ꙗ) (ср. Дурново, 1969, стр. 95), то написание здесь без буквы редуцированного кнѧзь, кнѧжение, кнѧжении, кто (bis), кѥѥволодъ, кѥѥволодоу, надо объяснять, думается, именно орфографией [33]. Характерно, что еры опускаются здесь именно в рассматриваемых корнях. Тем самым мы не можем согласиться с широко распространенным мнением, согласно которому в Мсти-

---

[30] Если считать их вообще русским памятником, а не старославянским памятником южнославянского письма, как полагал, например, Фортунатов. См.: Кульбакин, 1924.

[31] В которых крайне мало русизмов и, напротив, весьма хорошо сохраняются черты южнославянского написания. См.: Кошко, 1915, Дурново, 1925—1926, стр. 263, примеч. 5.

[32] Ср. вывод Исаченко (1970, стр. 103), заключающий его статью о грецизмах в Мстиславовой грамоте: «Man wird also gut daran tun, die allzu idyllische Vorstellung von der «reinen Volkssprache» der russischen Urkunden einer kritischer Revizion unterziehen».

[33] Естественно предположить, что писал грамоту кто-то из грамотных монахов Юрьева монастыря, и в этом смысле орфография грамоты не должна отличаться от орфографии оригинальных русских сочинений, — таких, например, как Житие Бориса и Глеба, Житие Феодосия или Летопись; орфография названных текстов действительно совпадает в ряде отношений (ср. стр. 324). См. Фалёв (1927, стр. 116, примеч.) о том, что случаи пропуска еров в Мстиславовой грамоте должны объясняться так же, как соответствующие явления, например, Жития Феодосия; поскольку, между тем, Шахматов (1915, стр. 210—211) считает возможным объяснить такие пропуски в Житии Феодосия «церковным влиянием», то этим же влиянием можно объяснить и пропуски в Мстиславовой грамоте.

славовой грамоте принято видеть начальный этап утраты редуцированных (см., например, Кузнецов, 1965, стр. 101, ср. Шахматов, 1915, стр. 211)[34].

Сказанное может быть отнесено и к оригинальным восточнославянским сочинениям, таким, как Жития Феодосия, Бориса и Глеба из Успенского сборника XII—XIII в., орфография которых в интересующем нас отношении совпадает с той, которая имеет место в переводных памятниках церковнославянского языка русской редакции: см. здесь частые написания вс-, кто, мног-, кнѧз- без обозначения редуцированных[35].

Итак, написание кнѧз- в Типографском Уставе, как и другие отмеченные случаи опущения здесь еров, мы относим прежде всего к орфографии (тем более, что такое правописание данного корня выдержано в ненотной части рукописи[36]) — не отрицая возможности спорадического совпадения орфографии и с живым произношением. Что и в живом (а не только в книжном) произношении этого корня примерно в то же время и, может быть, даже в том же ареале мог звучать редуцированный — свидетельствует новгородская берестяная грамота № 109 (XI в.), где встречаем кѫнѧжъ, кѫнѧгыни (см. воспроизведение у Арциховского и Борковского, 1958, стр. 39); ср. также формы кѫнѧзь, кѫнѧзоу в записи писца Остромирова евангелия.

Если принять, что рассмотренные формы без обозначения редуцированного объясняются графически, а не фонетически, и что их написание могло быть противопоставлено произношению (живому или книжному) соответствующих форм с редуцированным звуком — как об этом и свидетельствует материал Типографского Устава, — то выдержанное написание этих форм с паерком, которое характерно для некоторых памятников XI в. [см., например, Путятину минею (Марков, 1964, стр. 24 сл.) или Житие Кондрата (Марков, 1964, стр. 88)] можно рассматривать как компромиссное решение между старославянской орфографией и русским (книжным?) произношением[37].

---

[34] Предположение, что церковное произношение могло отражаться даже в граффити (т. е. в том материале, который считается обычно наиболее доказательным для суждения о собственно русских языковых процессах), см. у Щепкина, 1902, стр. 42.

[35] При этом различное отражение редуцированных у разных писцов, произношение которых, надо думать, совпадало, как раз свидетельствует о том, что дело идет именно о графических различиях: так, например, в первом почерке Жития Феодосия написание кто чаще, чем къто (соотношение этих форм — 12 : 5), вс- чаще чем въс-, тогда как во втором почерке имеем исключительно къто, въс- (см. Фалёв, 1927, стр. 116—117).

[36] См. Дурново, 1924—1927, стр. 104—105, который считает даже, что написание этого слова с ером совсем не встречается в нашей рукописи, причем из приводимых им примеров видно, что он рассматривал вообще по преимуществу ненотную часть текста.

[37] Ср. аналогичное объяснение орфограммы чл҃овѣк- ~ чл҃овѣч-, например, в Изборнике 1073 г., Остромировом евангелии, Архангельском евангелии, когда постановка надстрочного значка над ч объясняется как результат стремления сохранить южнославянскую форму, сочетая ее с русским произношением. См. Фортунатов, 1908, стр. 1445 (примеч. 1); Марков, 1964, стр. 90 (примеч. 1). Ср. в этой связи в Благовещенском кондакаре нередкое написание данного корня в виде человѣк- ~ человѣч- с нотой над буквой ч (л. 42, 49, 64, 79, 124, 124б), которое чередуется с аналогичным написанием,

Проникновением соответствующих орфографических навыков в нотный текст могут объясняться и случаи пропуска еров с оставлением ноты над буквой согласного, о которых говорилось выше (см. § 2). Так, например, в Благовещенском кондакаре можно встретить рассмотренные выше корни в виде орфограмм вс-, кто, кнѧз- — без буквы редуцированного, но с нотным знаком над буквой соответствующего согласного, свидетельствующим о том, что редуцированный все-таки произносился[38]. См. здесь: всѧ с нотой над буквой в (л. 13), ктооо (л. 9), нииикт̃ооо (л. 39, 70б), нииикт̃ооо (л. 25б) с нотой над буквой к, наконец, кнѧѧзѧѧѧ (л. 33б) с нотой над буквой к. При этом, если корни *въс-* и *мъног-* в преобладающем большинстве случаев пишутся в Благовещенском кондакаре с ерами, то в корнях *къто* и *кънѧз-* во всех известных нам случаях глухой может быть обозначен лишь нотным знаком, что говорит, на наш взгляд, именно об орфографической последовательности. Ср. также в Успенском кондакаре что с нотой над ч (л. 127б)[39], но чьтоо (л. 156)[40].

Все эти случаи объясняем орфографией, т. е. стремлением сохранить, когда это возможно, старославянское правописание и в нотном тексте[41]; это оказывается возможным именно тогда, когда глухой не тянется, т. е. соответствующая буква не должна повторяться. С другой стороны, единичные случаи пропуска еров в указанных корнях без постановки нотного знака над буквой согласного считаем возможным рассматривать как ошибки. Такие случаи ограничиваются в Благовещенском кондакаре следующими примерами: всѧкоооѧѧѧ, л. 7б [ср., однако, написание вьс- с обозначением редуцированного во всех прочих случаях (их более 70), кроме описанного случая, когда этот корень пишется без еря, но с нотным знаком над в], кнѧзѧѧ, л. 4 (ср., однако, в другом случае нотный знак над буквой к, л. 33б), мноожьствоо, л. 36б (ср., однако, написание мъног- с обозначением

не имеющим нотного знака над буквой согласного (л. 55б, 56, 57, 58б, 60б, 62б, 81); можно полагать, следовательно, что реально соответствующие формы произносились по-русски, а не по-южнославянски (в единичных случаях русское произношение непосредственно отражается на написании: ср. написание рассматриваемого корня в виде человѣк- ~ человѣч- на л. 76, 80б, 92).

38 Знаки музыкальной нотации, которые стоят при этом над буквами согласных, принадлежат к тем знакам, которые относятся в кондакарной нотации к одному слогу, а не к совокупности слогов. См. Бугге, 1960, стр. XX—XXII, где приводятся примеры употребления соответствующих знаков.

39 Форма что без буквы ь, но с нотным знаком над ч показана и в Типографском Уставе (л. 83б).

40 В Благовещенском кондакаре это местоимение регулярно пишется с ерем (см. л. 59б, 91, 93б) — при том, что в местоимении *къто*, как мы видели, ер так же регулярно опускается.

41 Знаменательно, что аналогичное написание именно корня *въс-* отмечается и в древнейших нотных текстах крюковой (а не кондакарной) нотации. Так, Шахматов (1882) отмечал в стихираре XII в. Син. № 279, л. 20, написание всѣмъ вместо вьсѣмъ с крюковой нотой над буквой в. Это опять-таки подчеркивает орфографический характер опущения еря в данном корне.

редуцированного во всех прочих случаях: л. 20б, 30б, 127б)[42]. В Успенском кондакаре нам не встретилось ни одного примера, когда буква редуцированного в рассмотренных корнях была бы пропущена.

3.3. Аналогичная картина противопоставления орфографии и произношения представлена в Типографском Уставе и в случае сочетания редуцированного с плавным: и здесь также старославянское правописание в ненотном тексте может противопоставляться собственно русскому произношению в соответствующих формах нотного текста. Ср.:

несъ҂трьпимаго > нехехеелесъ҂тьрпиимаааааааго [несъ҂тьрпимаго], л. 44—44б;

отъвр҃ести > отъвьѹььрстиии [отъвьрсти], л. 79б[43].

Особый интерес представляет следующий пример:

дьрьжавоу > дьььржахахаавѹ [дьржавѹ], л. 35.

Если в только что приведенном примере форма дьрьжав- в ненотном тексте соответствует форме дьржав- в нотном тексте, то в другом случае мы имеем в Типографском Уставе в точности обратное соответствие:

дьржавѣ < дьрььжаааавѣ [дьрьжавѣ], л. 55б—56.

При этом необходимо иметь в виду, что эти разнонаправленные соответствия принадлежат р а з н ы м п и с ц а м данного памятника. Как бы ни трактовать форму дьрьжав-, представляется

---

[42] Между тем, в соответствующих местах текста Успенского кондакаря имеем еровые формы: вьсмаааалкоіомаааа (л. 9б), мъноооожьство (л. 78), къпазмаа (л. 6).

Ср. аналогичную картину в отношении основы *вѣрьн-*. Ср. в Благовещенском кондакаре написание соответствующих форм с ерем после р (л. 4, 21, 43б, 53б, 55, 69), написание без еря, но с постановкой ноты над р (л. 40б), наконец, в двух случаях написание без еря и без обозначения нотного знака (л. 21, 49). Следует отметить, что ерь обыкновенно пишется в этих формах в том случае, когда он повторяется при растяжении (см. л. 4, 21, 53б, 55); можно предположить, следовательно, что в том случае, когда растяжение не имело места, ерь мог не писаться в данной основе, причем предполагалась постановка музыкальной нотации над буквой согласного, что, однако, могло спорадически нарушаться.

Точно так же и в Успенском кондакаре данная основа встречается однажды (л. 42) в написании без еря и без нотного знака — ср., однако, написание ее с ерем в той же рукописи во всех остальных случаях (в частности, на л. 19, 57б, 60, 64б, 83, 90б, 94, 102б, 104, 104б, 115, 126, 138, 151б, 166б и др.). Полагаем, что здесь, так же как и в Благовещенском кондакаре, имеет место пропуск нотного знака.

Любопытно, что подобное написание именно данной основы наблюдается и в древнейших крюковых текстах; так, Тихомиров (II, стр. 127—128) отметил в стихираре ГБЛ, ф. 87, № 47/М. 1729, л. 3, аналогичное написание слова вѣрнии — с опущением еря и нотным знаком над р. Можно думать, следовательно, что и в данном случае речь идет именно о стремлении сохранить орфографию применительно к написанию данной основы.

[43] В последнем примере рассматриваемое фонетическое явление осложняется морфологической заменой (в связи с унификацией глагольной основы).

в высшей степени знаменательным уже одно то обстоятельство, что обе противопоставляемые формы (дѣрьжав- и дѣржав-) сосуществуют у разных писцов Типографского Устава, каждый раз выступая при этом в оппозиции нотного и ненотного текста. Противопоставленность данных форм может быть связана как с противопоставлением орфографии и произношения, так и с противопоставлением книжного и живого произношения.

Можно думать, в частности, что написание дѣрьжавоу в первом соответствии (т. е. у первого писца) представляет собой явление чисто орфографическое, будучи противопоставлено собственно русскому произношению сочетания редуцированного с плавным в виде ьр (дѣржавꙋ); иначе говоря, в написании такого рода можно видеть — вслед за Ягичем (1876, стр. 365), Фортунатовым (1908, стр. 1421), Шахматовым (1915, стр. 182, § 314), Поржезинским (1920, стр. 96), Дурново (1924, стр. 103), Еленски (1960, стр. 674—675), Сидоровым (1966, стр. 36) и рядом других исследователей — «комбинацию русского произношения со старославянским письмом» (что, естественно, не исключает возможности использования в более поздний период подобных написаний для обозначения второго полногласия). Между тем, во втором соответствии (у второго писца) форму дѣрьжавѣ, представленную в нотном тексте и противопоставленную собственно русской форме ненотного текста (дѣржавѣ), можно рассматривать, в свою очередь, как проявление специфического книжного (орфографического) произношения, обусловленного именно влиянием написания (ср. Фортунатов, 1908, стр. 1421, Кузнецов, 1965, стр. 58—59)[44].

Написания типа -ьрь-, -ълъ- и т. п. могут наблюдаться и в других кондакарях, а также в певческих книгах XI—XII вв. крюковой, а не кондакарной нотации; при этом наличие нотных знаков над каждой буквой ъ или ь в сочетаниях такого рода свидетельствует о том, что данные формы действительно произносились в соответствии с написанием — во всяком случае они могли так произноситься в церковном пении, где с большей вероятностью можно ожидать, вообще говоря, отражения специального книжного произношения (см. Шахматов, 1903, стр. 37, Кузнецов, 1965, стр. 58—59; ср. также материал, приведенный у Васильева, 1909, стр. 307, примеч. 1, Гринковой, 1950, стр. 219—222). См., например, цѣѣрьѣѣкъыхихии [цѣрькъ] в Благовещенском кондакаре, л. 22[45], бъльхъвъииихииꙋии [бъльхъвъ] в Лаврском кондакаре, л. 96[46],

---

[44] Предположение о связи подобных написаний в древнейших русских памятниках с искусственным церковным произношением было высказано еще Шахматовым (1903, стр. 36; 1915, стр. 182). Шахматов, однако, предполагал не графическую, а фонетическую обусловленность данной произносительной манеры, видя в ней попытку подражать болгарскому произношению со стороны древнерусских книжников.

[45] Эту форму цитирует Кузнецов, 1965, стр. 58 (с неточным указанием источника).

[46] Эту форму цитирует (не вполне точно) Князевская, 1972, стр. 127. То обстоятельство, что буква ъ после л приходится на конец строки, едва ли

ѕтъѣлъпъ [ѕтѣлъпъ] в Синодальном кондакаре, л. 1[47]. Между тем, в Лаврском кондакаре (л. 2б) или Успенском кондакаре (л. 53, ср. также менее ясно на л. 2) последнее слово пишется без буквенного обозначения редуцированного после плавного (т. е. как ѕтѣлпъ — с теми или иными растяжениями гласных), но с красноречивой простановкой специальной ноты над л, предполагающей произнесение соответствующего гласного звука; точно так же в Лаврском кондакаре (л. 110) и в Синодальном кондакаре (л. 100б) можно встретить форму кълхъиихи [кълхъ] с нотой над буквой л, соответствующую, видимо, по произношению, цитированной форме того же самого слова с последовательностью -ълъ-. Примеры последнего рода, вообще говоря, совсем не единичны в кондакарях: см., например, в Синодальном кондакаре скърбиии (л. 20б), сѧѧрдѧцеее (л. 72б)[48], вѧѧѧртѧѧѧпъ (л. 51), вѧртѧѧѧѹѧѧпѣѣѹѣѹѣхѣхѣѣ (л. 100), съмѧѧѧѧрти (л. 64б), бесъмѧѧртѧѧне (л. 82б), беесъмѧѧртиии (л. 87), в Успенском дѧѧѧржѧѧѧки (л. 73б), въздѧржѧѧѧниѧ (л. 61), в Лаврском мѧѧртвъиихъъъ (л. 90б) — каждый раз с нотным знаком над р. При истолковании подобных форм необходимо иметь в виду, что певческий текст и нотные знаки над ним обыкновенно писали разные писцы; тем самым, в такого рода формах можно видеть не только конфликт между написанием и произношением (как часто полагают), но и отражение разных произносительных норм, которые могут быть связаны с разными традициями церковного произношения.

Другое возможное объяснение подобных форм связано с трактовкой написания дѧрьжѧк- в Типографском Уставе и других форм того же порядка как явления второго полногласия. В этом случае, однако, было бы существенно труднее объяснить отмеченную выше противопоставленность форм нотного и ненотного текста, наблюдаемую у разных писцов Типографского Устава[49].

3.4. В ряде случаев показания соответствующих форм нотного и ненотного текста в Типографском Уставе отличаются в отношении качества редуцированного, причем нотные формы свидетельствуют, опять-таки, о реальном произношении. Ср.: къ тѧмѣ > кь ьѣтѧмѣ [кь тѧмѣ], л. 49б—50б, с характерной ассимиляцией

имеет значение в данном случае. Гораздо более существенно, что эта буква имеет над собой нотный знак.

[47] Этот пример отметил Шахматов (1903, стр. 38).

[48] Обе эти формы отмечены Шахматовым (1903, стр. 38), последняя — с неверным обозначением страницы (ошибочно указан л. 20б вместо л. 72б).

[49] Подобные написания часто трактуются как специфическое явление русских текстов. Следует, однако, иметь в виду, что они возможны и в текстах южнославянских. Ср. форму дьльжае (сравнительная степень от прилагательного дьльгъ) в Македонском кириллическом листке, см. изд. Ильинского, 1906, причем в комментарии к тексту Ильинский цитирует и форму дълъзѣ в южнославянском Евангелии Григоровича XII в. См.: Ильинский, 1906, стр. 7, 19—20.

ъ > ь в соответствии с ь следующего слога[50]. Мена ъ > ь, обусловленная слоговой ассимиляцией, известна и в других близких по времени написания памятниках древнерусской письменности (так же, как и в памятниках старославянских, ср. Ягич, 1876—1877, Петровская, 1916), — например, в Остромировом евангелии (Козловский, 1885—1895, стр. 45), Архангельском евангелии, Добриловом евангелии (Соколова, 1962, стр. 47, примеч. 75), Евгениевской псалтыри (Гринкова, 1924, стр. 303) и др. (ср., в частности, Ляпунов, 1900, стр. 236).

Ср. также переход ь в ъ в нотном тексте после шипящего:

соущьствьмь > сꙋщьствьъъъмьхьхь [сꙋщьствьмь], л. 44—44б;

просвѣщьша > просвѣщьшьаагохохо [просвѣщьшаго], л. 49б—50б.

Как известно, отвердение шипящих относят к значительно более позднему времени, датируя его обыкновенно XIV в. (см. Кузнецов, 1965, стр. 68). С другой стороны, можно указать на ряд памятников XI—XII вв., в которых достаточно часто употребляется ъ вместо ь после шипящих. Таковы, например, Остромирово евангелие (Козловский, 1885—1895, стр. 38—40), Путятина минея, где «после шипящих, как правило, пишется ер» (Марков, 1964, стр. 17), Изборник 1073 г., Лествица XII в. и др.[51] Поскольку, между тем, соответствующее явление отмечается и в ряде старославянских памятников (так в Супрасльской рукописи, Мариинском евангелии, Саввиной книге), то исследователи обычно объясняют подобные случаи в ранних рукописях русского происхождения отражением южнославянского оригинала или вообще влиянием старославянской орфографии (см. Соболевский, 1902, стр. 128, Каринский, 1930, стр. 264). Но знаменательно, что в Типографском Уставе признаки отвердения шипящих показаны именно в нотном тексте, где надо ожидать вообще отражения реального произношения, и отсутствуют, напротив, в соответствующих формах ненотного текста, где следовало бы ожидать преимущественного отражения орфографии. Правомерно полагать, таким образом, что рассматриваемое явление отражает искусственное книжное произношение, которое может быть обусловлено, в свою очередь, влиянием графики старославянских или южнославянских оригиналов.

3.5. В некоторых случаях сочетанию ѣ (восходящему к общеславянскому *er* между согласными) в ненотной форме отвечает сочетание ре в соответствующей форме нотного текста. Ср. отра-

---

[50] Ср., однако, въ тьмѣ (с теми или иными растяжениями гласных) в Лаврском кондакаре, л. 113, 114б, в Синодальном, л. 3, 103—103б, 104б, в Успенском, л. 158, в Благовещенском, л. 10б, 13.

[51] Ср. еще новгородскую берестяную грамоту № 109 (XI в.), в которой некоторые исследователи (Матвеенко, 1956, стр. 87—88) видят замену ь на ъ после шипящих (ср. в этой связи здесь же указание на отвердение шипящих в форме хочоу), хотя эти примеры можно объяснить и тем, что ер в данном тексте выступает в качестве общего обозначения для обоих редуцированных (см. Кузнецов, 1965, стр. 68).

жение приставки *прѣ-* в нотном и ненотном тексте Типографского Устава:

прѣчистаꙗ > прееччиииилсстааааꙗ [пречистаꙗ], л. 26—26б;

прѣхвальне > преѹеееехвааааальне [прехвальне], л. 74б—75.

Ср. аналогичное соответствие в Успенском кондакаре, где в заголовке кондака стоит прѣображение (л. 107), но в самом кондаке, на той же странице, встречаем прееообраазииѹиисѧ — иначе говоря, опять-таки, написанию прѣ- в ненотном тексте соответствует пре- в нотном тексте. Итак, старославянскому написанию (прѣ-) соответствует в приведенных примерах собственно русское произношение (пре-).

Однако в других случаях в Типографском Уставе мы имеем, как будто, обратное соотношение. Ср.:

преподобне > прѣепоодоооообьььне [прѣподобне], л. 37—37б;

преже > прѣеежее [прѣже], л. 46б.

Но эти случаи не противоречат только что данному объяснению, если обратить внимание на то, что ѣ в приведенных примерах не повторяется, а переходит при растяжении в е. Следует отметить, что переход ѣ в е при протяжении звука, вообще говоря, совсем не характерен для Типографского Устава: обычно в этом случае имеем повторение ѣ, ср., например: съвѣѣѣѣѣдыиихихии (л. 70—70б), свѣѣѣѣтъ (л. 49), рѣѣѣѣѣка (л. 80б—81) и т. п. Это общее правило нарушается, однако, именно в случае префикса прѣ- ~ прѣд-, где изменение ѣ в е при растяжении происходит относительно нередко (о единичных не относящихся сюда случаях мы скажем ниже). Ср., помимо уже приведенных примеров:

прѣобразисѧ > прѣеееообраазииѹиисѧ, л. 75б—76;

прѣмоудрости > прѣееемоуѹдрооосости, л. 81б;

прѣхвальнаꙗ > прѣееехвааальььнаꙗ, л. 28б—29;

прѣславьныи > прѣеесллаавьнъзъ, л. 82б;

непрѣстаи > непрѣеесстааааиииихии, л. 24б—25;

непрѣстаньно > нееееелпрѣеесстааѹаньно, л. 92б;

прѣдътеча > прѣедътеечаа, л. 78.

Если принять, в соответствии с вышеизложенным, что префикс прѣ- ~ прѣд- произносился как пре- ~ пред-, то можно объяснить ѣ в написании прѣеее... как орфографическое, тогда как буква е соответствует здесь реальному произношению. Иначе говоря, начав писать префикс прѣ- (прѣд-) в соответствии с некоторым орфографическим навыком, писец нотного текста должен был обнаружить, что такое написание не соответствует звучанию — это становится явным именно при написании растяжным письмом [52].

---

[52] Ср., с другой стороны, форму прѣложилаіааааа [прѣложила] в Типографском Уставе, л. 30б (в соответствующих формах Успенского (л. 10б) и Бла-

Тем самым он не повторяет ѣ при протяжении звука, а изменяет это орфографическое ѣ в фонетическое є[53]. При этом в некоторых случаях, как мы видели, фонетическое написание прє- ~ прєд- проникает и в ненотный текст.

Совершенно так же, т. е. как результат контаминации старославянского написания и русского произношения, объясняется и переход ѣ в є при растяжении в следующих нотных формах Типографского Устава:

на дрѣкѣ > на дрѣєєєєєкѣѣѣ, л. 86б—87.

Ср. еще дрѣєкьнєєєєє, л. 82 (соответствующая ненотная форма отсутствует ввиду утраты текста).

невѣдимо > невѣєдимо, л. 35.

Ср. аналогичное написание близкой формы в Успенском кондакаре: нєєєєхєхєєлбрѣєєлжено [невѣжено], л. 62б; переход ѣ в є при растяжении звука здесь тем более показателен, что случаи такого перехода представляют собой исключительное явление в данном памятнике, т. е. ѣ, как правило, просто повторяется при протяжении. Ср., с другой стороны, в той же рукописи: неєвреєєєєєєлдимъ [невредимъ], л. 20.

В менее явном виде тот же случай представлен в следующем соответствии Типографского Устава, где переход ѣ в є замаскирован вставными попевками:

бѣмене > бѣхєхємене, л. 78—78б.

говещенского (л. 8) кондакарей стоит прє-). Наличие прѣ- в нотном тексте Типографского Устава в данном случае может объясняться именно тем, что гласный приставки не тянется. Можно предположить, следовательно, что реально и в этом случае произносилось прє-, а написание прѣ- является орфографическим (ср. ниже).

53 Ср. приведенные выше (стр. 315) примеры совершенно аналогичного написания в современной прозе при растяжном письме, передающем протяжение звука в прямой речи, типа *молоде-ожь* и т. п. Здесь также орфографическое *е* переходит в *о*, отражающее реальное произношение.

Случаи повторения буквы ѣ (при протяжении звука) в соответствующем префиксе встречаются в Типографском Уставе крайне редко (см. такие формы на л. 77 и 89б). Предположительно они могут быть объяснены как результат спорадического проникновения орфографической нормы в певческий текст (такая возможность, разумеется, всегда остается: ср. возможность форм типа *молоде-ежь*, а не *молоде-ожь* в аналогичных условиях в современных текстах; очевидно вообще, что случаи отклонения от орфографии гораздо более показательны для фонетических выводов, нежели случаи ее соблюдения).

В других кондакарях мы встречаем обычно формы прє-, прєд- и т. п.; так, например, Успенский кондакарь вообще не знает, кажется, нарушений этого правила, если исключить из рассмотрения формы заголовков. Написания прѣ-, прѣд- и т. п. (наряду с прє-, прєд-) сколько-нибудь часто наблюдаются только в Благовещенском кондакаре, но и здесь обыкновенно в том случае, когда соответствующий гласный не тянется (так на л. 7б, 8б, 10, 11б, 22, 35б, 45, 123, 124, 126б), что, как говорилось, мало показательно; ср., однако, соответствующее написание с растяжением гласного на л. 18, 57, 87 (bis).

С другой стороны, не противоречит вышесказанному и следующее соответствие нотной и ненотной форм Типографского Устава; ср҃едѣ > ср҃ѣдѣхѣхѣѣ [ср҃ѣдѣ], л. 44—44б[54]. В самом деле, в данном случае не имеет места растяжение гласного в нотной форме: тем самым наличие в нотном тексте ѣ, а не є, можно объяснить за счет орфографии — предполагая, что если бы звук тянулся, писец передал бы это протяжение, скорее всего, как *ср҃ѣєє... или *ср҃єєє... Между тем, в соответствующей форме ненотного текста в данном случае отразилось произношение (а не орфография).

Единичные примеры замены є через ѣ в нотном тексте Типографского Устава в другой позиции (т. е. не относящиеся к передаче сочетания ѕѣ > ѕє из *er* между согласными) сомнительны и обычно могут быть объяснены морфологически:

иоане > иноаѹаааанѣхѣхѣєє [иоанѣ] (зват.), л. 37—37б[55];

вселенен > вьсеєєєєленѣѹєєєєєєєєєєєн [вьселенѣи], л. 38б[56].

Характерно, однако, что ѣ и в этих случаях переходит после попевки (вставных χ, ѹ) в є при растяжении. Ср., с другой стороны, форму товеѣ, л. 79б, где с вероятностью можно видеть результат морфологической контаминации форм дат. и род. падежа, возможной вообще как в Типографском Уставе (см. здесь тебѣ и тебе в значении дат. падежа на одной и той же странице, л. 98), так и в других кондакарях[57].

3.6. В некоторых случаях соответствующие формы нотного и ненотного текста Типографского Устава расходятся в своих показаниях относительно палатализации согласного. Имеем в виду следующие примеры:

а) боѕоуцаагосѧ > боѹоооооѕюѹѹцагоосѧа [боѕюцагосѧ], л. 73б—74.

Форму боѹоооооѕѹѹцагоосѧа [боѕѹцагосѧ], соответствующую ненотной форме Типографского Устава, встречаем и в Благовещенском кондакаре, л. 54б (между тем как в других кондакарях можно

---

54 Ср. колебание написания в этой форме в Благовещенском кондакаре: средѣ (л. 124, или с растяжением гласных: л. 24б) и ср҃ѣдѣ (л. 109б, или растяжным письмом: л. 27, 28); или в Успенском кондакаре: средѣхѣхѣѣ (л. 43б), ср҃ѣдѣѣ (л. 34б), ср҃ѣдѣѹѣѣѣѣѣ (л. 42б).

55 Ср. в этой связи колебание Иване ~ Иванѣ в форме им. падежа в новгородских грамотах (см.: Бэклунд, 1958, стр. 94).

56 Если соответствующая форма Успенского кондакаря отвечает нотной форме Типографского Устава, т. е. вьселенѣи (см. л. 26б—27), то в Благовещенском кондакаре имеем форму, отвечающую ненотной форме, т. е. вьселенен (см. л. 20).

57 Непонятен переход ѣ в є при протяжении звука (осложненный вставкой мартириев) в форме ѕаазмѣѣцецеєєєцеєєєи в Типографском Уставе (л. 90б). Кажется чрезвычайно знаменательным, однако, что такой же в точности переход наблюдается и в соответствующей форме других кондакарей — Лаврского (ѕаазмѣѣγєєєєγєєєи, л. 75) и Синодального (ѕаазмѣѣцеєєєєцеєєєи, л. 91б—92). Вместе с тем, в Благовещенском и Успенском кондакарях буква ѣ в соответствующей форме повторяется непосредственно, не переходя в є: ѕаазмѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣи в Благовещенском, л. 71б, ѕаазмѣѣγѣѣѣѣѣγѣѣѣи в Успенском, л. 142б.

встретить форму, соответствующую нотной форме Типографского Устава — см. Успенский кондакарь, л. 104б, Лаврский, л. 46б, Синодальный, л. 21б). Ср. еще аналогичную форму в Ефремовской кормчей: вороуцисѧ, причем Обнорский (1912, стр. 232), приводя этот пример, замечает, что подобные написания «не говорят ни об отвердении, ни о смягчении плавных. Последние сохраняют в Кормчей исконную мягкость и твердость». Правомерно видеть в данной форме отражение старославянского написания, ср. формы воржштесѧ или воржштисѧ в Супрасльской рукописи (л. 35, 37б) или в°ржщиихъсѧ в Болонской псалтыри (л. 71), причем Щепкин (1906, стр. 170, 137) считает возможным предполагать в последней форме «спорадические отголоски графики» более ранних рукописей (ссылаясь на соответствующие явления и в македонском Добромировом евангелии XII в.). Судя по Благовещенскому кондакарю, это написание могло отражаться на книжном произношении[58]; между тем, нотная форма Типографского Устава отражает, видимо, в данном случае живое произношение.

б) на пользю > нда поольꙋꙋꙋꙋꙋꙋзꙋꙋꙋ [на пользꙋ], л. 25б—26. В других кондакарях встречаем форму, соответствующую нотной форме Типографского Устава (см. Благовещенский, л. 2б, Успенский, л. 3б, Лаврский, л. 4; в Синодальном кондакаре данный текст отсутствует). Между тем, форма ненотного текста является более архаичной[59]. Если соглашаться с мнением тех исследователей, которые относят отвердение согласного в рассматриваемом слове насчет церковнославянского влияния (см.: Шахматов, 1957, стр. 78, Дурново, 1924, стр. 124, Дурново, 1925, стр. 487), то следует полагать, что противопоставленность нотной и ненотной формы отражает в данном случае разницу между книжным и живым произношением.

3.7. Из единичных примеров, указывающих на отражение в нотном тексте Типографского Устава реального произношения, между прочим, любопытны следующие:

а) Отражение полногласия[60]:

на жребате > на жеребдддатиииихииихииꙋи [на жеребати], л. 84б. Ср., однако, неполногласную форму в соответствующем месте Лаврского кондакаря: на жребдддатииихииихииꙋи [на жребати],

---

[58] Если только не усматривать в цитированной форме Благовещенского кондакаря спорадического проникновения орфографии в нотный текст; ср. в этой связи возможность написания в данном кондакаре прѣ-, прѣд- и т. п. (см. об этом на стр. 335 настоящей работы, примеч. 53).

[59] Данная форма не единична в древнерусских текстах (см. перечисление случаев у Соболевского, 1891, стр. 44, и Шахматова, 1957, стр. 78).

[60] Ср. примеры полногласия в Типографском Уставе, выписанные у Дурново (1924—1927, стр. 82, ср. также Дурново, 1924, стр. 106): паволочѣ, сторона, стороноу, сторонѣ, переходить, пороздьноую (в собственно уставной части рукописи, т. е. на л. 1—24), середокрьстиѥ, на жеребдддатии, на жеребии, иререва, также человѣколюбьче (в кондакарной части рукописи).

(л. 62б), причем над ж не стоит нотный знак, который стоял бы в том случае, если бы все же имелось в виду произношение полногласной формы. Между тем, в соответствующей форме Благовещенского кондакаря — на жрѣбаааатиииихиииуи (л. 61), Успенского (л. 130б) или Синодального (л. 78) — на жребаааатиииуихиииихиииуи[61] над буквой ж имеется нота: следовательно, здесь данная форма читалась с полногласием.

б) Стяжение гласных в членной форме прилагательного:

стъимь > свѧтъимь, л. 26—26б;

бороуцааагосѧ > боуооооорюуцагоосѧ, л. 73б—74[62].

В то же время случаи обратного соотношения типа, например, неписанъимъ > неписанъииимъ (л. 44—44б) — непоказательны, т. е. не говорят об отсутствии стяжения членной формы прилагательного в нотном тексте: в самом деле, нотная форма такого рода в принципе может представлять собой именно стяженную форму прилагательного, где просто имеет место переход ы в и (в виде последовательности ыии...) при протяжении звука, как это наблюдается в кондакарях (см. об этом выше, § 1). Стяженные формы прилагательного вообще встречаются в кондакарях чаще, чем можно было бы предположить[63]; см. например, в Типографском Уставе мрачьнъыыхъ, л. 12б, в Благовещенском кондакаре неиздречеенъныыыхъ, л. 12б, лѣѣниииикъыыыыыыыыхъ, л. 19б, мьаартвъыыхъъъъхъъуъ [мьртвыхъ], л. 79б, в Синодальном кондакаре лѣѣѣникъыыыыыхъ, л. 41б, — во всех этих формах буква ы в окончании прилагательного повторяется при протяжении, не переходя в и. Эти примеры тем более показательны, что в случае растяжения гласных мы бы ожидали, вообще говоря, сохранения полной формы (ср. сохранение полных форм прилагательного в былинах в зависимости от ритма). Ср. также в Успенском кондакаре: блаагыхъ, л. 93, свѣтьлыхъъъъ, л. 44; в Синодальном кондакаре: блаагыхъ, л. 15б, муууууууудрымь, л. 35б; в Лаврском кондакаре: моуууууудрымь, л. 14б; и т. п.

в) Упрощение группы согласных:

сльце > сзїъъъъзнаце [сзнаце], л. 42б—43[64] (упрощение лн > н), В других кондакарях подобное упрощение не встречается, т. е. здесь имеем — с различными растяжениями — форму сълнаце (см.

---

[61] Формы Успенского и Синодального кондакарей идентичны.

[62] Соответствие -роу- > -рю- в этом примере было объяснено выше (§ 3.6).

[63] Ср. наблюдение Соколовой (1962, стр. 163) относительно жанровой обусловленности стяженных и нестяженных форм прилагательных в Остромировом евангелии: если в собственно евангельском тексте стяженные формы редки, то в календаре они встречаются достаточно часто.

[64] После буквы с в нотной форме стоит не буква ъ (еры), а буква ъ (ер) со вставной попевкой і. Отсутствие еря в ненотной форме обусловлено, конечно, сокращенным написанием под титлом.

например, Лаврский, л. 15, 111, Благовещенский, л. 27, 47, Успенский, л. 37б, 42б, 88б, Синодальный, л. 9б, 36, 46б).

анна > аа҃ıvааааанаа [ана], л. 26—26б (упрощение нн > н). Точно так же и в Успенском кондакаре мы встречаем в заголовке ананы (л. 38), но в относящемся к этому заголовку песнопении — аааанииииино [анино], л. 38б[65]. В точности такое же соответствие имеет место и в Синодальном кондакаре (см. л. 47б). Ср. аналогичную форму ана ръина в подписи королевы Анны Ярославны 1063 г., причем здесь, конечно, употреблена не книжная форма, а именно форма, передающая реальное произношение, Форма ана встречается, наряду с анана, в Минее 1097 г.: см. здесь аны, л. 113, анана, л. 115 (Ягич, 1886, стр. 407 и 412). Любопытно, что написание анана в крюковых книгах может не иметь нотного знака над а, что показывает, что а здесь графическое, а сочетание нн, возможно, читалось как одно н. См. в стихираре XII в. Син. № 279: анане (л. 96), анана (л. 10б), без обозначения ноты над а, а рядом ано (но, однако, а҃нна, л. 28б, с нотным знаком над буквой согласного) (цит. по Шахматову, 1882). В соответствии со всем сказанным надо полагать, что русскому произношению этого имени (в том числе, возможно, и произношению книжному) не была свойственна геминация согласного.

3.8. Если только что приведенные примеры свидетельствуют об отражении в нотном тексте вообще реального произношения (а не орфографии), то некоторые формы указывают на отражение здесь именно произношения книжного. См. в этой связи следующее соответствие нотной и ненотной форм в Типографском Уставе: кѣнацѣмь > кѣѣнацеемьььььь [кѣнацемь], л. 30—30б[66]. Как известно, формы Abl. sg. на -омъ, -емъ, встречающиеся в русских текстах XI—XIII вв.., наряду с формами на -ъмъ, -амъ, объясняются как старославянизмы. Между тем, только что приведенное соответствие из Типографского Устава может рассматриваться как свидетельство того, что старославянская форма могла отражаться не только (а в известных случаях, может быть, даже и не столько) на орфографии, но и на книжном произношении. С другой стороны, следует иметь в виду вывод Дурново (1933, стр. 64), что написание -ъмъ, -амъ, уже в XI в. становится орфографической нормой[67], что в принципе может объяснить наличие соответствующей формы в ненотном тексте. Не менее пока-

---

[65] См. еще форму ана с различными растяжениями гласных в Успенском кондакаре, л. 4, или в Лаврском, л. 4б. В другом месте Успенского кондакаря встречается, правда, форма аааннъ [аннъ], л. 29, но в соответствии со сказанным мы вправе приписать удвоение н орфографии, а не фонетике.

[66] Ср. такую же форму (кѣньцемь) с теми или иными растяжениями и модификациями в Успенском кондакаре, л. 10 (иначе, однако, на л. 106б, 121б), в Лаврском, л. 8б, в Благовещенском, л. 7б.

[67] Любопытно в этой связи, что в Выголексинском сборнике XII—XIII в. окончание -омь в формах Abl. sg. может с достаточной регулярностью исправляться в тексте на -ъмь, т. е. формы на -омь считались, видимо, орфографически неправильными. См. Судник, 1963, стр. 196.

зательно в этом отношении и свидетельство Успенского кондакаря, где орфографическое -ъ- при протяжении звука может переходить в данной флексии в -о-, отражающее реальное произношение, ср.: соуцьствъоомьхьхь [соуцьствъомь], л. 43. Нет никакого сомнения, что именно ъ имеет в данном случае орфографическое значение, поскольку над ним не проставлена музыкальная нотация; между тем, тянущееся о соответствует, видимо, книжному произношению. Таким образом, здесь имеет место контаминация орфографической и произносительной нормы, можно сказать, своеобразный компромисс между орфографией и произношением: соуцьствъомь = соуцьствъмь × соуцьствомь.

4. Итак, Типографский Устав может рассматриваться как своего рода билингва с преимущественным отражением в одной ее части произносительных норм или живого произношения, а в другой, параллельной, части — норм орфографических или правописания протографа. Показательно, что все примеры разночтений нотной и ненотной форм, которые допускают вообще фонетическую интерпретацию, кажется, могут быть объяснены именно таким образом: не встретилось ни одного случая, который противоречил бы данному объяснению [68].

Но следует подчеркнуть, что те же различия между формами нотного и ненотного текста, какие обнаруживает Типографский Устав, в какой-то мере прослеживаются и в других кондакарях. Так, в одном месте кондакаря Общества истории и древностей (очень небольшом по объему) мы имеем то же явление, что и в Типографском Уставе, т. е. одни и те же песнопения даются здесь и обыкновенным и растяжным письмом — и мы встречаем здесь именно такое соответствие: кражиѧ > краѧжьыѧѧ (л. 14б—15б), какое представлено целым рядом примеров в Типографском Уставе (см. об этом выше, § 3.1.) [69]. В Лаврском кондакаре, где нет параллелизма нотной и ненотной части, но имеются куски ненотного текста, написанные тем же писцом, которому принадлежит определенная часть нотного текста, — один и тот же писец, как отметила О. А. Князевская, пишет корни *вьс-* и *мъног-*, опуская еры в ненотном тексте, но с ерами — в тексте нотном; аналогичное различие нотного и ненотного текста наблюдается и в Синодальном кондакаре (при написании корней *вьс-*, *мъног-*, *кънѧз-*) (см. выше, § 3.2). При этом существенно иметь в виду, что названные памятники были написаны, по-видимому, в разных местах: так, если Лаврский кондакарь принадлежит к ростовским рукописям (см. Тихомиров, III), то кондакарь Общества истории и древностей написан был, вероятно, в западных землях (Тихомиров, II),

---

[68] Следует отвлечься при этом от возможности проникновения орфографических навыков в певческий текст в тех случаях, когда в нотной форме не представлено растяжения гласного.

[69] Следует оговориться, однако, что нотный и ненотный тексты написаны в данном случае разными почерками.

а Типографский Устав — где-то на севере, возможно на новгородской территории [70]. Тем более показательны их общие черты: по-видимому, они свидетельствуют об определенной общности именно нормы (орфоэпической или орфографической).

Типографский Устав, в силу наличия в нем параллельных текстов (нотного и ненотного), представляет собой явление уникальное. Но аналогичным образом могут рассматриваться во всех кондакарях заголовки в их отношении к нотному тексту: сопоставление формы одних и тех же слов в заголовке и в нотном тексте позволяет в ряде случаев установить, что́ относится к графике, а что́ — к фонетике. Так, в Успенском кондакаре в заголовках на месте греч. υ часто встречаем оу, см., например, флора и лаоура (л. 109). Но в относящемся к этому заголовку нотном тексте мы имеем: флорааа иии лааааавра [Флора и Лавра], л. 110, и таким образом можем заключить, что это оу имеет чисто графическое значение, будучи реально произносимо в виде согласного, а не гласного. Ср. также в том же Успенском кондакаре: в заголовке еоустаѳиꙗ, л. 7б, но в нотном тексте еевстауааааѳиииие, л. 8; или соответствующее место в Синодальном кондакаре: в заголовке еустафиꙗ, л. 29, а в тексте ѥевьстацааааѳиииие, л. 29б; то же, наконец, и в Лаврском кондакаре: еустафьꙗ в заголовке, л. 7, но еевъстауааааѳиииие — в нотном тексте, л. 7б. Ср., напротив, в Благовещенском кондакаре: павла, л. 16, в заголовке, но паауууле, л. 16б, в соответствующем нотном тексте (ср. еще в другом кондаке этой же рукописи форму паулоокъ, л. 42б, с нотным знаком над ижицей). Аналогично и в Лаврском кондакаре имеем павла, л. 102б, в заголовке, но в тексте — паоулеее, л. 103б, паааха аоулеееехеѹе, л. 103. При этом в приведенных формах каждый раз обозначена нота над оу (в Лаврском кондакаре) или у (в Благовещенском кондакаре). Можно полагать в данном случае, что орфографическая норма (противопоставленная орфоэпической) отразилась в заголовке в виде постановки буквы к вместо оу(у) — точно так же, как в предыдущих случаях, она выразилась, напротив, в постановке оу(у) вместо к [71]. Ср. еще аналогичные примеры в Успенском кондакаре, отчасти уже цитированные выше: кюра (имя собственное, гр. Κῦρος), л. 90, в заголовке, но в относящемся к этому заголовку нотном тексте — к88888ръ [к8ръ], л. 91; аньнъ, л. 38, в заголовке,

---

[70] Ср. мнение Смоленского (1913, стр. 1133), что все пять нотных кондакарей были написаны в разных местах. (Ср., однако, замечание о сходстве почерков Синодального и Успенского кондакарей в работе: Щепкина и др., 1965, стр. 162, примеч. 67.)

[71] Отсюда едва ли возможно на основании колебаний типа леоугинъ ~ левгинъ или написаний типа наоугинъ (вместо навгинъ, т. е. «Навин») — вообще, на основании отражения греческого ипсилона в виде оу в соответствующей славянской форме — заключать о билабиальном образовании звука, обозначаемого буквой в, как это делают, например, Жуковская (1957, стр. 73) или Ягич (1889, стр. 84).

но в соответствующем нотном тексте — ллллниииино [лнино], л. 38б, (ср. такое же противопоставление и в Синодальном кондакаре, л. 47б); прѣображениѥ, л. 107, в заголовке, но в нотном тексте — преѳѳообраллзиноуиисл (там же).

Правда, примеры такого рода могут быть менее доказательны, чем материал Типографского Устава, поскольку заголовки могли писаться другим писцом, тогда как в Типографском Уставе сопоставляемые формы нотного и ненотного текста принадлежат одному писцу. Отметим, однако, что приведенное только что противопоставление пвлл (в заголовке) — пдоуле (в нотном тексте) в Лаврском кондакаре, во всяком случае принадлежит одному и тому же писцу (о распределении работы писцов в Лаврском кондакаре см. Тихомиров, III, стр. 140).

Само собой разумеется, что предложенная выше конкретная интерпретация тех или иных случаев расхождения нотного и ненотного текстов должна рассматриваться как гипотетическая и, вероятно, в ряде случаев может быть оспорена — тем более, что материал исследования по необходимости ограничен. Но сам материал такого рода свидетельствует о том, что кондакари могут рассматриваться как ценнейший источник при исследовании как древнерусского произношения, отличающегося от орфографии, так и — в ряде случаев — древнерусской орфографии, противопоставленной произношению [72].

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Арциховский и Борковский, 1958 — А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.). М., 1958.

Благовещенский кондакарь XI (?)—XII в. — рукопись ГПБ (Q *n* I 32).

Бугге, 1960 — Contacarium palaeoslavicum Mosquense. Edendum curavit A. Bugge. Copenhagen, 1960 («Monumenta musicae Byzantinae», VI).

Бэклунд, 1959 — A. Bæcklund. Personal names in Medieval Velikij Novgorod, I. Common names. Stockholm, 1959 («Acta Universitatis Stockholmiensis. Études de philologie slave», 9).

Ван-Вейк, 1957 — Н. Ван-Вейк. История старославянского языка. Пер. с нем. М., 1957.

Васильев, 1909 — Л. Васильев. Одно соображение в защиту написаний *ьрь*, *ьръ*, *ъръ*, *ълъ* древнерусских памятников как действительных отражений второго полногласия. — ЖМНП, 1909, № 8.

Виноградов, 1968 — В. В. Виноградов. Орфография и язык Жития Саввы Освященного по рукописи XIII в. «Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология». М., 1968.

Высоцкий, 1966 — С. А. Высоцкий. Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв., вып. I. Киев, 1966.

Горский и Невоструев, 1917 — А. В. Горский и К. И. Невоструев. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отдел III, часть 2. «Чтения ОИДР», 1917, кн. 4.

---

[72] Автор считает своим долгом выразить искреннюю признательность О. А. Князевской и Н. Б. Тихомирову, советами и консультациями которых он пользовался.

Гринкова, 1924 — Н. П. Гринкова. Евгениевская Псалтырь как памятник русской письменности XI века. — ИОРЯС, т. XXIX, 1924 (выход в свет — 1925 г.).
Гринкова, 1950 — Н. П. Гринкова. О случаях второго полногласия в северо-западных диалектах. «Труды Института русского языка [АН СССР]», т. II. М.—Л., 1950.
Дурново, 1924 — Н. Дурново. Очерк истории русского языка. М. 1924.
Дурново, 1924—1927 — Н. Дурново. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка. «Јужнословенски филолог», IV. Београд, 1924 (стр. 72—94); там же, V. Београд, 1925—1926 (стр. 93—117); там же, VI. Београд, 1926—1927 (стр. 11—64).
Дурново, 1925 — Н. Дурново. Рецензия на книгу K. H. Meyer'a «Historische Grammatik der russischen Sprache». ZfslPh, I, 1925, 3—4.
Дурново, 1925—1926 — Н. Дурново. Общее и славянское языковедение в России с 1914 по 1925 год. «Јужнословенски филолог», V. Београд, 1925—1926.
Дурново, 1933 — Н. Дурново. Славянское правописание XI—XII вв. «Slavia», ročn. XII, 1933, seš. 1—2.
Дурново, 1969 — Н. Дурново. Введение в историю русского языка [Изд. 2]. М., 1969.
Еленски, 1960 — Й. Еленски. Редуцированные гласные в Святославовом изборнике 1073 г. «Годишник на Софийския университет». Филологически факултет, т. LIV, 1. София, 1960.
Жуковская, 1957 — Л. П. Жуковская. К истории языка Северо-Восточной Руси в середине XIV в. (Фонетика галичского говора по материалам Галичского евангелия 1357 г.). «Труды Института языкознания [АН СССР]», т. VIII. М., 1957.
Жуковская, 1960 — Л. П. Жуковская. К вопросу о конечной стадии истории редуцированных в русском языке (по материалам Галичского евангелия 1357 года). «Материалы и исследования по истории русского языка», М., 1960.
Изборник 1076 г. — Изборник 1076 года. Издание подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965.
Ильинский, 1906 — Г. А. Ильинский. Македонский Листок. Отрывок неизвестного памятника Кирилловской письменности XI—XII в. СПб., 1906 («Памятники старославянского языка», т. I, вып. 5).
Исаченко, 1970 — A. V. Isačenko. Die Gräzismen des Großfürsten. ZfslPh, Bd. XXXV, 1970, Heft. 1.
Каринский, 1909 — Н. Каринский. Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909.
Каринский, 1916 — Н. М. Каринский. Исследования языка Псковского Шестоднева 1374 г. ЖМНП, 1916, № 2.
Каринский, 1928 — Н. Каринский. Паремейник 1271 года как источник для истории Псковского письма и языка. «Статьи по славянской филологии и русской словесности. Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского». Л., 1928 (Сб. ОРЯС, т. CI, № 3).
Каринский, 1930 — Н. М. Каринский. Византийское стихотворение Алфавитарь в русском списке XI в. Изв. РЯС, т. III, 1930, кн. 1.
Карягина, 1960 — Л. Н. Карягина. Редуцированные гласные в языке июльской Служебной Минеи конца XI—начала XII века. «Материалы и исследования по истории русского языка». М., 1960.
Карягина, 1962 — Л. Н. Карягина. Палеографическое описание служебной Минеи конца XI—начала XII в. «Историческая грамматика и лексикология русского языка». М., 1962.
Князевская, 1970 — О. А. Князевская. К исторической фонетике ростово-суздальских рукописей (на материале ростовских рукописей XIII в.). Доклад на «Кузнецовских чтениях» 1970 г. (не опубликован).
Князевская, 1972 — О. А. Князевская. Об одной графической особенности ростовских рукописей начала XIII века. «Русское и славянское языкознание. К 70-летию ... Р. И. Аванесова». М., 1972.

Козловский, 1885—1895 — М. Козловский. Исследование о языке Остромирова евангелия. «Исследования по русскому языку», т. I. СПб., 1885—1895.
Комарович, 1925 — В. Л. Комарович. Язык служебной октябрьской Минеи 1096 года. ИОРЯС, т. XXX, 1925 (выход в свет — 1926 г.).
Кондакарь Общества истории и древностей конца XII в. — рукопись ГБЛ (собр. ОИДР, № 107); отрывок этой рукописи хранится в ГПБ (Погод. 43).
Копко, 1915 — П. М. Копко. Исследование о языке Пандектов Антиоха XI в. ИОРЯС, т. XX, 1915, кн. 3 (стр. 139—216), кн. 4 (стр. 1—92).
Корнеева-Петрулан, 1917 — М. Корнеева-Петрулан [М. Карнеева]. Язык Служебной Минеи 1095 г. Редакция Н. Н. Дурново [1917 г. — отд. оттиск из РФВ, т. 75, № 1—2, т. 76, № 1, т. 78, № 3—4].
Корнеева-Петрулан, 1940 — М. Корнеева-Петрулан. К социальным диалектам Белоруссии XVI в. «Ученые записки Белорусского Государственного университета», серия филологическая, вып. I. Минск, 1940.
Кошмидер, 1958 — E. Koschmieder. Schwund und Vokalisation der Halbvokale im Ostslavischen. «Die Welt der Slaven», Jg. III, 1958, Heft 2.
Кузнецов, 1965 — П. С. Кузнецов. Фонетика — в кн.: В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. Изд. 2-е. М., 1965.
Кульбакин, 1899 — С. М. Кульбакин. Материалы для характеристики среднеболгарского языка. ИОРЯС, т. IV, 1899, кн. 3.
Кульбакин, 1915 — С. М. Кульбакин. Грамматика церковнославянского языка по древнейшим памятникам. СПб., 1915 («Энциклопедия славянской филологии», вып. 10).
Кульбакин, 1924 — С. М. Кульбакин. Рецензия на работу Ф. В. Каминского «Отрывки евангельских чтений XI в., именуемые Куприяновскими (Новгородскими)». — «Јужнословенски филолог», IV. Београд, 1924.
Лаврский (или Троицкий) кондакарь конца XII (?)—начала XIII в. — рукопись ГБЛ (ф. 304, I, № 23).
Ляпунов, 1900 — Б. М. Ляпунов. Исследование о языке Синодального списка 1-й Новгородской летописи, вып. 1. СПб., 1900 («Исследования по русскому языку», т. II, вып. 2).
Малкова, 1966 — О. В. Малкова. К истории редуцированных гласных ъ и ь в южных говорах древнерусского языка (по материалам рукописи 1164 г.). «Известия АН СССР», Отделение литературы и языка, т. 25, 1966, вып. 3.
Мансветов, 1885 — И. Д. Мансветов. Церковный устав (типик), его образование и судьба в греческой и русской церкви. М., 1885.
Марков, 1964 — В. М. Марков. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.
Матвеенко, 1956 — В. А. Матвеенко. Заметки о языке новгородских берестяных грамот. «Вопросы языкознания», 1956, № 4.
Менгес, 1935 — K. Menges. Die Sprache der altrussischen Uebersetzung des Studion-Typikon. Handschrift der Moskauer Synodalbibliothek Nr. 330 (380). Gräfenhainichen, 1935.
Металлов, 1912 — В. М. Металлов. Богослужебное пение русской церкви в период домонгольский, по историческим, археологическим и палеографическим данным, ч. I и II. М., 1912 («Записки императорского Московского Археологического института им. императора Николая II», т. XXVI).
Обнорский, 1912 — С. П. Обнорский. О языке Ефремовской кормчей XII века. СПб., 1912 («Исследования по русскому языку», т. III, вып. 1).
Обнорский, 1912а — С. П. Обнорский. К истории глухих в Чудовской псалтыри XI в. РФВ, т. LXVIII (вып. 2), 1912, № 4.
Обнорский, 1924 — С. П. Обнорский. Исследование о языке Минеи за ноябрь 1097 года. ИОРЯС, т. XXIX, 1924 (выход в свет 1925 г.).

Паликарова, 1953 — R. Palicarova-Verdeil. La Musique Byzantine chez les Bulgares et les Russes du IX-e au XIV-e siècle. Copenhagen, 1953 («Monumenta musicae Byzantinae». Subsidia, 3).
Петровская, 1916 — Ю. В. Петровская. К вопросу о мене глухих в старославянских памятниках. Мена глухих в Синайской Псалтыри. ИОРЯС, т. XXI, 1916, кн. 1.
Поржезинский, 1920 — В. Поржезинский. Краткое пособие к лекциям по исторической грамматике русского языка. Введение и фонетика. Изд. 3-е. М., 1920.
Селищев, 1951 — А. М. Селищев. Старославянский язык, ч. I. М., 1951.
Сидоров, 1966 — В. Н. Сидоров. Из истории звуков русского языка. М., 1966.
Синодальный кондакарь начала XIII в. — рукопись ГИМ (Син. 777).
Смоленский, 1913 — С. В. Смоленский. Несколько новых данных о так называемом кондакарном знамени. «Русская музыкальная газета», 1913, №№ 44, 45, 46, 49.
Соболевский, 1891 — А. И. Соболевский. Древний церковнославянский язык. Фонетика. М., 1891.
Соболевский, 1902 — А. И. Соболевский. К истории древнейшей церковнославянской письменности. «Сборник статей, посвященных учениками и почитателями академику и заслуженному ординарному профессору Филиппу Федоровичу Фортунатову по случаю тридцатилетия его ученой и преподавательской деятельности в императорском Московском университете». Варшава, 1902.
Соболевский, 1907 — А. И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. Изд. 4-е. М., 1907.
Соколова, 1930 — М. А. Соколова. К истории русского языка в XI веке. Изв. РЯС, т. III, кн. 1, 1930.
Соколова, 1962 — М. А. Соколова. Очерки по исторической грамматике русского языка. Л., 1962.
Судник, 1963 — Т. М. Судник. Палеографический и фонетический анализ Выголексинского сборника XII—XIII вв. «Ученые записки Института славяноведения [АН СССР]», т. XXVII. М., 1963.
Типографский Устав XI—XII в. — рукопись Гос. Третьяковской галереи (К-5349); ранее хранилась в Библиотеке Московской Синодальной Типографии (№ 142; старые шифры — № 285 и № 1206).
Тихомиров, 1962—1968 — Н. Б. Тихомиров. Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI—XII веков, хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Часть I (XI век) — «Записки отдела рукописей [ГБЛ]», вып. 25. М., 1962. Часть II (XII век) — там же, вып. 27. М., 1965. Часть III, дополнительная (XII и кон. XII—нач. XIII вв.) — там же, вып. 30. М., 1968.
Томсон, 1905 — А. И. Томсон. Фонетические этюды, III (Дифтонг ы в русском и старославянском языках). — РФВ, 1905, № 2.
Томсон, 1927 — A. Thomson. Beiträge zur Geschichte des Diphthongs ы in den slavischen Sprachen. ZfslPh, Bd. IV, 1927, Heft 3/4.
Успенский кондакарь 1207 г. — рукопись ГИМ (Усп. 9, Син. 1099).
Успенский сборник XII—XIII вв. — Успенский сборник XII—XIII вв. Издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.
Фалёв, 1927 — И. Фалёв. О редуцированных гласных в древнерусском языке. «Язык и литература», II, 1. Л., 1927.
Фалёв, 1928 — И. Фалёв. Заметки о «13 словах Григория Назианзина», рукописи XI века. «Статьи по славянской филологии и русской словесности. Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского». Л., 1928 (Сб. ОРЯС, т. CI, № 3).
Флорос, 1965—1967 — C. Floros. Die Entzifferung der Kondakarien-Notation. «Musik des Ostens», 3, 1965 (стр. 7—71), 4, 1967 (стр. 12—44).
Фортунатов, 1908 — Ф. Фортунатов. Состав Остромирова евангелия. «Сборник статей, посвященных почитателями академику и заслуженному

профессору В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности», ч. II. СПб., 1908.
Хёг, 1956 — Contacarium Ashburnhamense. Edendum curavit C. Hoeg. Copenhagen, 1956 («Monumenta musicae Byzantinae», IV).
Шахматов, 1882 — А. А. Шахматов. Письмо к И. В. Ягичу нач. 1882 г. Цит. по изд.: «А. А. Шахматов. Сборник статей и материалов». М.—Л., 1947 («Труды Комиссии по истории АН СССР», вып. 3), стр. 41—44 и факсимиле.
Шахматов, 1885—1895 — А. А. Шахматов. Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV века. «Исследования по русскому языку», т. I. СПб., 1885—1895.
Шахматов, 1903 — А. А. Шахматов. К истории звуков русского языка. О полногласии и некоторых других явлениях. СПб., 1903.
Шахматов, 1915 — А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915 («Энциклопедия славянской филологии», вып. 11_1).
Шахматов, 1957 — А. А. Шахматов. Историческая морфология русского языка. М., 1957.
Щепкин, 1901 — В. Н. Щепкин. Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1901 (Сб. ОРЯС, т. LXVII, № 9).
Щепкин, 1902 — В. Н. Щепкин. Новгородские надписи graffiti. «Древности. Труды Московского археологического общества», т. XIX, вып. 3. М., 1902.
Щепкин, 1906 — В. Н. Щепкин. Болонская псалтырь. СПб., 1906 («Исследования по русскому языку», т. II, вып. 4).
Щепкина и др., 1965 — М. В. Щепкина, Т. Н. Протасьева, Л. М. Костюхина, В. С. Голышенко. Описание пергаменных рукописей [ГИМ]. «Археографический ежегодник за 1964 г.». М., 1965.
Ягич, 1876 — V. Jagić. Über einige Erscheinungen des slavischen Vocalismus. AfslPh, I, 1876, 3.
Ягич, 1876—1877 — V. Jagić. Studien über das altslovenische Zographos-Evangelium. AfslPh, I, 1876, II, 1877.
Ягич, 1886 — И. В. Ягич. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг. СПб., 1886 («Памятники древнерусского языка», т. I).
Ягич, 1889 — И. В. Ягич. Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889 (Сб. ОРЯС, т. XLVI, № 4).

АН — Академия наук
ГБЛ — Государственная библиотека им. В. И. Ленина
ГИМ — Государственный исторический музей
ГПБ — Государственная публичная библиотета им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения»
Изв. РЯС — «Известия по русскому языку и словесности [АН]»
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности АН»
ОИДР — Общество истории и древностей российских при Московском университете
РФВ — «Русский филологический вестник»
Сб. ОРЯС — «Сборник Отделения русского языка и словесности АН»
AfslPh — «Archiv für slavische Philologie»
ZfslPh — «Zeitschrift für slavische Philologie»

Ф. П. ФИЛИН

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ И ЛЕКСИКОГРАФИИ

Светлой памяти
профессора
Стойко Ивановича
Стойкова

Диалектная лексика является одной из важнейших частей словарного состава языка. В ней имеется огромное число слов, отсутствующих в литературном языке, без которых невозможно обойтись при построении истории языка от самых ранних ее истоков до нашего времени. Сравнительно-историческое языкознание, этимология, историческая лексикология, история литературного языка в его народных истоках, современная стилистика и другие лингвистические дисциплины могут успешно развиваться лишь при условии тщательного изучения словарных богатств, сохранившихся в народных говорах. Эти богатства весьма обширны. Количество диалектных слов в русском языке XIX—XX вв. значительно превышает число слов (вместе с пассивным словарным запасом), зафиксированное в литературной его разновидности: семнадцатитомный академический словарь современного русского литературного языка содержит в себе сто двадцать тысяч слов, тогда как в «Словаре русских народных говоров» их будет сто шестьдесят — двести тысяч, причем нужно иметь в виду, что из-за отсутствия сведений в этом словаре будет представлена не вся существовавшая и существующая диалектная лексика. На самом деле диалектных слов больше, чем двести тысяч. Разумеется, при этом сравнении не принимаются во внимание миллионы узкоспециальных терминов, употребление которых ограничено рамками профессиональной речи.

Чтобы вся эта масса слов стала доступной для исследования и для практических целей, существующих в культурном обществе, создаются словари, в которых слова подаются в удобном для справок виде. Поскольку аспекты изучения словарного состава безграничны, типы словарей также неисчерпаемы. Однако это только в теории. На самом же деле лексикографам всегда приходится считаться с наибольшей для данного времени целесообразностью описания словарного состава языка и с практическими возможностями выполнения своих планов. Чисто теоретически можно задумать словарь языка русской нации, в котором была бы представлена вся современная русская лексика (общеупотребительная литературная, вся профессиональная, диалектная, жаргонная и т. п.). В такой словарь вошли бы миллионы слов. Однако для

всякого не утратившего чувства реальности лексикографа совершенно очевидно, что такое предприятие невыполнимо по техническим условиям. Кроме того, в этой громадной лексикографической свалке, если бы ее даже удалось осуществить, было бы крайне трудно ориентироваться и находить нужное. Можно взяться за подготовку полного словаря языка большого писателя, в котором были бы приведены в соответствующих контекстах все случаи употребления в произведениях писателя каждого слова, но зачем это нужно делать? Специфика языка писателя потеряется в этой гигантской груде материала, как иголка в сене, так как в основе лексики писателя, как бы своеобразно ни было его творчество, всегда лежат нормы общепринятого словоупотребления. Можно выдвинуть много других максималистских проектов и даже теоретически их обосновать, но без учета общественной необходимости и реальной выполнимости такие проекты не выйдут за рамки лексикографической фантастики. Нужно не только умело задумать словарь, но и до конца продумать, как и в какие сроки можно его выполнить и, что крайне существенно, как его напечатать и распространить. Жизнь наказывает тех, кто не считается с реальной действительностью: многие проекты оказываются невыполнимыми или же картотеки и рукописи словарей обрекаются на съедение архивной пылью.

Диалектная лексикография не стоит в стороне от других отраслей словарного дела. И в ней остро ставятся вопросы, какие из диалектных словарей являются в настоящее время наиболее необходимыми и практически выполнимыми, а какие нет. В пятидесятых годах развернулась дискуссия о преимуществах и недостатках так называемых «полных» и дифференциальных диалектных словарей, которая продолжается и теперь. В отличие от того, что было 10—15 лет тому назад, когда решение этой проблемы представлялось больше теоретически, чем практически, в настоящее время имеется возможность опираться на опыт, накопленный в славянском языкознании: в печати появились словари разных типов. Совершенно очевидно, что нужны и «полные», и дифференциальные словари (что, впрочем, мною всегда подчеркивалось), все дело только в том, какой тип словаря в каждом случае является целесообразным. Полный словарь рассчитывается на лексикографическое отражение лексической системы говора или очень близкой группы говоров, расхождения между которыми несущественны. Структурно полный диалектный словарь должен совпадать с синхронным словарем литературного языка, также представляющим единую лексическую систему, хотя, разумеется, между литературным языком и говором большая разница. Полный словарь говора важен для выяснения живых процессов, происходящих в лексике диалектной речи, установления реального употребления слова в его всевозможных связях с другими словами, этот словарь также интересен для целей исторического исследования — прежде всего для истории данного говора. Впрочем, историче-

ская его значимость ограниченна: историю любого говора можно написать, лишь опираясь на данные всех других говоров и материалы письменного языка. Как известно, в языке существует неопределенное множество говоров (в русском языке их, вероятно, многие тысячи), совокупность которых вместе с разновидностями общенародного языка составляет большую систему или макросистему, реальность которой также очевидна (основой ее являются общенародные средства языка). Система отдельного говора является частью большой системы языка, микросистемой, в которой слиты воедино общенародные языковые средства и местные особенности. Конечно, очень важно изучать этот языковой сплав разных элементов в том его виде, в каком он существует в реальности со всеми специфическими особенностями соединения общенародных и местных явлений. Но только изучение всех говоров языка дает возможность представить все богатство и разнообразие диалектной речи в ее современном состоянии и в прошлом, оказывается одним из важнейших средств изучения языка и родственных ему, а также соседних неродственных языков. Но как можно в одном словаре собрать лексику всех говоров или хотя бы говоров значительных территорий? Любой диалектный словарь, в котором представлена лексика разных говоров, является сводным — в нем сводятся материалы неодинаковых микросистем. Теоретически можно допустить, что в сводном словаре могут быть параллельно, без смешения одних сведений с другими, расположены данные любого количества говоров и без специального отбора лексики. Практически же такое предприятие неосуществимо из-за своей крайней технической громоздкости и непомерного объема, если в словарь включаются слова более, чем трех-четырех говоров. Подготавливая сводный словарь, приходится идти на ограничения, на специальный отбор в него слов, иначе говоря, сводный словарь многих говоров, независимо от рассуждений и деклараций его составителей, может быть только словарем дифференциальным. Дифференциальность диалектного словаря в лексикографической литературе истолковывается по-разному. С нашей точки зрения, наиболее рациональным в интересах лексикологии является отбор слов, присущих только местным говорам и отсутствующих в общенародном языке. Общенародные слова обычно фиксируются в толковых и иных словарях литературного языка. Сводный диалектный словарь существенно дополняет словари литературного языка. Наличие полных толковых и иных словарей литературного языка, словарей узко специальных терминов, жаргонов и т. п. и капитальных сводных диалектных словарей предоставляет возможность лексикологам обзора всего словарного состава языка, что крайне важно для любых лексикологических исследований. Словарные диалектизмы — явление объективное, хотя границы их не всегда четки, и в их выделении могут допускаться ошибки. Когда собиратель-любитель записывает незнакомые ему слова, он в значительной степени находится под

властью произвола. Такое собирательство у нас принято с пренебрежением называть погоней за раритетами, редкими словечками, которое будто бы вовсе не имеет никакого научного значения (хотя фиксация любого ранее неизвестного факта является маленьким открытием). Когда же лингвист вооружен научным пониманием диалектизма и располагает необходимой фактической базой, безусловно можно говорить о серьезном теоретическом обосновании дифференциального подхода к лексике говоров.

Однако, как бы ни понимался принцип дифференциальности, его применение приводит к тому, что лексическая микросистема говора не находит своего адэкватного отражения в лексикографическом труде или в лексикологическом исследовании. Более того, эта система во многом разрушается, искажается, ее интимные стороны не принимаются во внимание. В то же время проигрывая в изучении лексических микросистем, дифференциальный подход позволяет выигрывать в исследовании лексической макросистемы, ее составных элементов. Древнейшее славянское слово *ляда*, *лядина* имеет в русских говорах десятки значений [1]. Совокупности этих разнообразных значений нет и никогда не было ни в одной микросистеме, она представлена только в словаре. Однако никто не сомневается в том, что разбросанные по разным говорам значения генетически связаны друг с другом, отражают собою разные этапы развития русского языка, а когда мы привлекаем данные других языков (славянских и иных индоевропейских), то возводим историю этого слова в глубину тысячелетий. Можно сказать, что все известные нам словари языков (этимологические, исторические, двуязычные и пр.) основываются на данных лексических макросистем и игнорируют микросистемы. Из этого правила не представляют собой исключения и современные толковые словари русского языка, поскольку в них отражается лексика разного исторического времени (XIX—XX вв.). Даже строго синхронный словарь литературного языка (возможность составления такого словаря весьма проблематична) вряд ли безоговорочно можно было бы назвать словарем микросистемы, поскольку лексика языка одного лица или группы культурно близких друг другу лиц всегда будет меньше словарного состава всего литературного языка и в то же время связи между словами, своеобразия их употребления всегда будут в чем-то отличаться от других индивидуальных языков.

Одним словом, полные диалектные словари по своей идее рассчитываются на изучение лексических микросистем в их реальном существовании, тогда как дифференциальные словари направлены на исследование макросистем, историю отдельных слов, разного рода лексических групп и пластов. Говоря о полных диалектных словарях, нужно всегда иметь в виду относительность

[1] О. Г. Порохова. Ля́да и ляда́, ляди́на и ля́дина. — В кн.: Ф. П. Филин. Проект «Словаря русских народных говоров». М. — Л., 1961, стр. 179—189.

понятия полноты. Исчерпывающе полный словарь составить невозможно. Высококвалифицированный лингвист не сумеет составить такой словарь даже собственного языка, не говоря уже об исчерпывающем словаре какого-либо говора, наблюдение за речью носителей которого обычно проводится в ограниченные сроки. Принцип полного словаря предполагает фиксацию лексики говора «подряд», без оглядки на литературный язык или на какую-либо другую лексикографическую точку отсчета (например, на полный словарь какого-либо другого говора). Полные (в указанном смысле) диалектные словари, когда речь идет об описании лексики одного говора или нескольких близких друг к другу говоров, вполне себя оправдывают и оказываются полезными пособиями и для изучения лексики всего языка, хотя и имеют свои уязвимые стороны. Такие словари начали появляться в славянской лексикографии. Ср. «Słownik gwary Domaniewka» (Wrocław—Warszawa—Kraków, 1962, и след. годы) М. Шимчака, «Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich» (Wrocław, 1957) М. Куцалы и др. Из этих словарей особого внимания заслуживает труд замечательного болгарского диалектолога Ст. Стойкова Лексиката на банатския говор (София, 1968). Выбор принципа полного словаря в этом труде является наиболее целесообразным. Банатские болгары еще в конце XVII — начале XVIII в. отделились от метрополии. В течение XVIII—XX вв. их говор не подвергался никакому влиянию книжного болгарского языка и других болгарских говоров, т. е., развивался в полной изоляции от болгарского языка. В то же время банатский говор испытывал воздействие со стороны румынского, венгерского, сербохорватского и отчасти немецкого языка: банатские болгары расселены в теперешней Румынии и Югославии в 22 селах со смешанным населением (из них только в 5 селах болгарское население преобладает над представителями других национальностей). Всего банатских болгар в настоящее время насчитывается около 15 тысяч. В середине XIX в. у этих болгар создается даже своя письменность на основе латиницы. Банатские болгары, будучи католиками, не испытывали никакого влияния церковнославянского языка, в отличие от болгар метрополии. Не было у них никакого контакта и с русской культурой.

Естественно, что именно полная запись лексики банатского говора могла позволить собрать материалы, интересные не только для изучения состояния и истории этого говора, но и для истории всего болгарского языка, поскольку данные банатского говора, долгое время бывшего в изоляции, в известной мере позволяют судить о состоянии болгарского разговорного языка (в его диалектной разновидности) до начала XVIII в. Труд Ст. Стойкова — неоценимый источник для истории болгарского языка, выдающееся произведение славянской диалектной лексикографии. По-видимому, составление словарей полного типа должно применяться к любым славянским (конечно, и неславянским) говорам, которые

длительное время развивались в отрыве от языков метрополий или же по другим причинам развили в себе много своеобразных особенностей, хотя дифференциальный принцип и в данных случаях не должен вовсе исключаться. По этому пути пошла немецкая диалектная лексикография, очень богатая областными словарями, что вполне понятно, так как немецкие диалекты значительно отличаются друг от друга (вплоть до полной потери взаимопонимания между их носителями, когда они не пользуются литературным языком).

Надо отдать предпочтение принципу полных словарей и при изучении лексики русских говоров, по разным историческим причинам находившихся в длительной изоляции от русской языковой метрополии и от воздействия русского литературного языка. Такие говоры имеются. Ср., например, описание русского говора старообрядцев в Олштинском и Белостокском воеводстве современной Польши, выполненное Ирыдой Грек-Пабисовой [2]. Группы русских старообрядцев, спасаясь от преследований, начали селиться в указанных местах еще в XVII в. Переселение их имело место также в 1770, 1815 и 1830 гг. Попав в иноязычное окружение, старообрядцы сохраняют родной русский говор и поныне. Старинные русские переселенцы имеются и в других странах (например, в Турции) и регионах. В Польше под руководством З. Стамировской подготавливается полный словарь говоров Вармии и Мазур, длительное время находившихся на территории восточной Пруссии и подвергавшихся воздействию немецкого языка[3].

В то же время в труде Ст. Стойкова имеются серьезные отклонения от идеи полного диалектного словаря. Ст. Стойков сознательно не включил в свой словарь терминологию местных ремесел, имеющих в общении узкую сферу применения, а также слова, известные не всем банатским болгарам [4]. Если учесть, что эти болгары переселились в Банат из двух различных местностей Болгарии (из северо-западной и из средней северной Болгарии) и у них до сих пор сохраняется два говора, такое своеобразное привнесение в словарь дифференциального принципа, конечно, нарушает картину реального состояния двух (не одной!) лексических микросистем.

Как было сказано выше, нужны словари полного типа и обычных, «рядовых» говоров. В 1969 году вышел в свет (М., изд-во «Наука») под редакцией И. А. Оссовецкого «Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)» — первый в истории русской диалектологии

---

[2] Iryda Grek-Pabisowa. Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim. Wrocław, etc. «Ossolineum». 1968 (200 стр. с картами).

[3] Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Instrukcja redakcyjna. Opracowała Z. Stamirowska. Warszawa, 1969.

[4] Стойко Стойков. Лексиката на банатския говор. София, 1968, стр. 31.

большой словарь говора одной деревни. Словарь этот является крупным вкладом в русскую (и не только русскую) диалектную лексикографию. Он долгое время будет одним из ценных источников по исторической и диалектной лексикологии русского языка, а также по изучению устной ненормативной лексике. И. А. Оссовецкий поместил в словаре большое и интересное «Введение», имеющее прямое отношение к проблеме полного и дифференциального типов диалектных словарей. На некоторых положениях «Введения» необходимо здесь остановиться.

И. А. Оссовецкий считает, что только сбор и лексикографическая обработка лексики одного говора являются единственно возможным путем проникновения в тайны диалектной лексической системы, как живой языковой реальности. Этот путь — путь интенсивного собирания лексики, тогда как сбор материала на относительно широкой территории является экстенсивным, т. е. поверхностным, не позволяющим устанавливать многие звенья диалектной лексической системы. В принципе с этим следует согласиться, если иметь в виду диалектную микросистему.

Что же нужно понимать под звеньями лексической системы? В систему говора, как и в систему литературного языка, указывает И. А. Оссовецкий, входит не только находящийся в употреблении в данное время материальный состав лексики (слова, морфемы, фонемный состав, лексикализованные фонетические варианты слов, ударения и т. п.), но и другие разнообразные компоненты: сумма значений и их оттенков каждого слова, соотношения слова с другими словами по значению (место в синонимическом ряде, соотношение с омонимами, антонимами и пр.), лексически ограниченные связи слова с качественно своеобразным в каждой системе набором слов, своеобразие положения в гнезде однокоренных слов, набор которых в каждой системе может быть неодинаков, различие в стилистической квалификации слов (например, просторечные слова в говорах часто оказываются нейтральными), разное положение одного и того же слова в контекстах речи и др. К этому можно было бы прибавить весь сложный комплекс элементов, составляющих так называемые лексико-семантические поля или группы слов (в каждой системе их бесконечно много) [5], частотность употребления слов и еще многое другое, что относится к звеньям живой лексической системы.

И. А. Оссовецкий даже считает, что при учете всех разнородных компонентов лексической системы окажется, что все слова одной системы чем-нибудь да отличаются от соответствующих слов другой системы. Полное совпадение структуры слов, принадлежащих к разным лексическим системам одного и того же языка,

---

[5] Подробнее об этом см.: Ф. П. Филин. О лексико-семантических группах слов. — «Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан Младенов». София, 1958, стр. 523—538.

может быть лишь единичным исключением [6]. Из этого делается далеко идущее заключение — нет надобности в противопоставлении полного и дифференциального типов словарей: поскольку любое слово говора обязательно отличается хоть одним из своих признаков (любым) от соответствующего слова литературного языка (или иного другого говора), теоретически оправданным может быть только полный тип словаря, что же касается дифференциального принципа, то лексикографы вынуждены применять его из-за практической невыполнимости полного словаря во всем объеме понятия полноты.

Слово — многогранное явление. Его словообразовательные, лексико-семантические, грамматические, стилистические и иные стороны составляют сложный комплекс во многом пересекающихся линий. Теоретически мы вправе ожидать, что различие между одними и теми же словами двух разных лексических микросистем по какому-либо из признаков слова должно быть значительно. Однако является ли это различие обязательным для всех слов сопоставляемых систем одного и того же (в данном случае русского) языка, этого никто не знает. Чтобы проверить выдвинутое предположение (по И. А. Оссовецкому, это установленный факт), следовало бы выполнить такую огромную работу, которая могла бы оказаться не под силу даже электронно-вычислительным машинам. А пока что по этому вопросу мы должны довольствоваться только предположениями. Мы даже не имеем элементарных исходных данных: сколько слов в действительности имеется в языке носителей говора. Во всяком случае, несомненно одно, что общение между представителями разных микросистем русского языка не встречает каких-либо существенных затруднений. Все русские отлично понимают друг друга, говорят ли они на литературном языке или на диалекте. Это во-первых.

Во-вторых, далеко не все особенности слова можно и нужно описывать в словарях. Например, вряд ли вообще возможно составить хотя бы относительно полный словарь семантических полей слов, количество которых даже приблизительно определить невозможно. Во всяком случае, прежде чем составлять словарь каких-либо явлений, надо эти явления предварительно изучить. Однако даже в западно-европейской лексикологической литературе, в которой много внимания уделялось изучению лексико-семантических полей, фактически обследованы только единичные поля. Стилистические особенности лексики говоров пока что почти не изучены. Стилистические тонкости диалектной лексики можно изучить не в результате наездов в деревню, а лишь в совершенстве владея говором, для чего нужно жить вместе с носителями говоров многие годы. Случайные наблюдения в этой области

[6] Эта мысль неоднократно высказывалась И. А. Оссовецким и ранее, см., например, его статью «Словарь говора д. Деулино Рязанского района Рязанской области» в сб. «Вопросы диалектологии восточнославянских языков». М., 1964, стр. 188—190, 198 и след.

вряд ли можно считать серьезным основанием для включения такого материала в научный диалектный словарь. То же можно сказать об объеме значений диалектного слова. Если можно быть более или менее уверенным в действительном существовании того, что записано во время полевой работы, то никогда нельзя быть уверенным в том, что то, что оказалось незаписанным, в говоре отсутствует. Противники дифференциальных словарей говорят, что в таких словарях разрывается живая ткань системы говора, и это верно. Однако сторонники дифференциальных словарей знают, что́ они собирают, точно определяют свой объект исследования. Этот объект — лексико-семантические диалектизмы, которые представляют собой объективно существующее явление. Сторонники полных словарей, стремясь включить в словарь все, что им удается услышать в полевой работе или записать на магнитофон, становятся жертвой случайности, так как всего, когда речь идет о лексике, зафиксировать нельзя. В результате у них слишком много шансов на то, что в их картотеках оказывается представленной не реальная лексическая система говора, а нечто приблизительное, неполное, следовательно в достаточной степени искаженное. Естественно, что достоверность таких словарей, особенно, если они рекламируются как полные, всегда будет вызывать разного рода сомнения. По-видимому, многое, о чем здесь идет речь, следует возлагать на лексикологию, а не на лексикографию, возможности которой ограничены.

В-третьих (и это самое главное), теоретические положения «Введения» находятся в серьезном противоречии с самим словарем говора д. Деулино. Полного словаря не получилось. Можно говорить лишь о том, что в словаре представлены только некоторые фрагменты лексической системы говора. И. А. Оссовецкий называет эти фрагменты «существенными». Вероятно, это так, но можно ли из этих фрагментов воссоздать общую картину лексической системы говора, остается неизвестным. И такая фрагментарность получилась не только из-за вынужденной неполноты записей.

Считая принципы полного словаря единственно теоретически обоснованными и доводя их до беспредельности, И. А. Оссовецкий в то же время в своей лексикографической практике сознательно их ограничивает, применяя дифференциальный подход к отбору материала в словарь.

Прежде всего, резко выраженный дифференциальный принцип был осуществлен в подборе информантов словаря. Записи текстов производились в основном от женщин старше шестидесяти лет. Лишь два информанта были женщинами 33—36 и 35—38 лет. Установка была определенной: записывать лексику людей, в речи которых более или менее сохраняются черты архаического говора. Если такая установка подходит для сбора материала для диалектологического атласа, основа которого — картографирование локальных особенностей, то для полного словаря она

неправомерна. Известно, что культура современной деревни резко изменилась. Основную часть ее населения составляют лица, получившие неполное среднее или среднее образование и в разной степени владеющие литературным языком. Малограмотные или вовсе неграмотные в современной деревне составляют явное меньшинство деревенских жителей. Речь теперешнего сельского населения непохожа на архаические диалектные системы, о которых мы привыкли читать в диалектологических работах. «Хорошо сохранившиеся архаические говоры» фактически реконструируются при обработке записей. Исследования Л. И. Баранниковой, Л. М. Орлова и некоторых других диалектологов показывают, что речь современной деревни переживает сложные процессы перехода от диалекта к литературному языку. Если в процессе собирания материалов для дифференциального словаря на это можно в какой-то мере закрывать глаза, то при подготовке полного словаря, отражающего лексику живой речи в ее системных связях, происходящие в настоящее время процессы должны быть в центре внимания. Между тем, в словаре говора д. Деулино они по возможности обходятся. Лексика, связанная с понятиями современной культуры, не включается в словарь как совпадающая с лексикой литературного языка. Такие слова, как *автобус*, *агроном*, *адрес*, *азбука*, *акт*, *артист*, *база*, *бригада*, *газета*, *звено*, *книга*, *радио*, *колхоз*, *тетрадь*, *школа* и сотни и тысячи им подобных, которые в современной деревне знают и употребляют даже самые замшелые старушки, в деулинский словарь не включены. Дифференциальный принцип широко применяется не только в отборе слов, но и во всех других элементах лексики, которые ничем не отличаются от соответствующих элементов литературного языка (его письменной и разговорной разновидностей). Например, в слове *артель* отмечается только одно окказиональное значение 'постоянная компания одного возраста' («не знаю, одногодки мы аль нет, а в одной *артели* играли»). Это особое, суженное употребление слова *артель* в его просторечном значении о группе лиц, связанных общими действиями, а не собственно значение слова. Основное значение 'группа лиц, объединившихся для совместной работы', несомненно имеющееся во всех говорах русского языка, в том числе и в деулинском (*колхозная артель* и пр.), в словаре отсутствует. Это, конечно, «режет по живому» в лексической системе говора. Неправомерно опускается не только значение, но и возможность выяснить, с какими словами сочетается слово *артель* (ср. возможные сочетания *садовая артель*, *рыболовная артель*, *артель землекопов* и т. п.), в какие синонимические ряды оно входит, и прочее, что прокламируется в качестве принципов полного словаря. В слове *банка* не учтено общенародное значение в выражении *банки ставить* (больному) (конечно же, деулинскому говору это известно). В слове *березка* показывается только выражение *березку ставить* 'отмечать постройку дома, когда он готов (угощать всех) участников стройки)', но опущено

исходное основное значение и т. д., и т. п. Весь словарь заполнен такими примерами дифференциального отбора материала, противопоказанного для принципов полного словаря. Деулинский словарь — словарь не полного, а смешанного типа, а смешение противоположных принципов чревато случайностями и произволом в записях и отборе материала.

В словаре опускаются многие слова и значения общенародного распространения и в то же время широко включаются разного рода окказионализмы, а также нечетко различаются значения и употребления слов. Приводится, например, слово *кинник* 'киномеханик', но исключаются устойчивые общенародные *кино* с его производными. Употребление *кинник* зафиксировано только один раз («Женька хорошо хоть определился-то. Какая никакая (профессия), а матери уж очень не хотелось на *кинника*» — из речи Урускиной Арины Артемьевны, 1891 г. рождения). Можно не сомневаться в том, что это окказионализм, легко образуемый по словообразовательному типу на суффикс *-ник* и также легко выходящий из употребления. Ср. еще *съемка* 'фотоаппарат' (основное значение в словаре не показывается), *легковичка* 'легковая машина', *ответность* 'ответственность' и многие другие примеры.

Конечно, изучение окказионализмов дело нужное. Окказионализмы показывают, какие типы словообразования являются жизненными, развивающимися в лексической системе устной речи (разговорной литературной речи они свойственны не менее, чем говорам). Однако нельзя уравнивать эти эфемерные образования с общепринятыми устойчивыми словами. И уж во всяком случае в словаре полного типа в принципе невозможно помещать окказионализмы, игнорируя их исходную словообразовательную базу: тем самым ведь явно разрушаются имеющиеся в говоре живые лексико-семантические связи, а сами окказионализмы, не имея словообразовательного фона, в научном отношении в значительной степени обесцениваются.

В «Введении» к деулинскому словарю говорится о том, что для устной речи характерна свобода номинации, в связи с чем «значение слова может незакономерно реализоваться в случайных единичных употреблениях индивидуального типа, обусловленных самыми различными причинами»[7]. Это верно. Но из этого вовсе не следует, что значение и употребление не следует противоставлять друг другу. Значение всегда соотносится с понятием, которое является устойчивым обобщением большого числа каких-либо однородных предметов, действий, качеств и т. п., тогда как употребление — реализация значения в контексте речи. Значений даже в полисемантических словах не так много, тогда как количество употреблений слова безгранично. Как ни трудно теоретически определить, что такое значение, практически каждый хорошо владеющий языком отделяет значение от употребления

[7] «Словарь современного русского народного говора», стр. 21.

слова, иначе общение было бы невозможно. Вся лексикография строилась и будет строиться на принципиальном различении значения и употребления. Ошибки в словарях, когда значение и употребление смешиваются, вызываются или недостатком сведений или плохим чувством языка. Как бы ни были своеобразны употребления слов в любой непринужденной устной речи, индивидуальные отклонения не стирают граней между общепринятыми в данном коллективе говорящих значениями и весьма широкими возможностями индивидуальных употреблений слов. «Взаимное проникновение значения и употребления», отсутствие четких границ между ними, о которых говорится во «Введении» деулинского словаря, является скорее результатом невозможности в короткий срок (1960—1963 гг.) полностью овладеть чуждой для носителей литературного языка семантической системой говора, а не объективным фактом. Поэтому в деулинском словаре встречается немало случаев, когда можно полагать, что значение подменяется употреблением. Например, в слове *добрый* выделяется особое значение здоровый, не больной: «он щас хромой, был хороший, *добрый*» (до ранения), «вот щас у мене ета рука, ети пальцы *добрые*, а ети-то нет» (после ушиба), «была *добрая* баба, с машини ветлой зацепило». В просторечии *добрый* означает 'обладающий положительными качествами, хороший' и противопоставляется значению плохой (*добрая сабля*, *добрая лошадь*, *добрый работник*, *добрая баба* и т. п.). В это значение включаются и примеры, приводимые в деулинском словаре. Вот если бы в деулинском говоре *добрый* противопоставлялось словам *больной*, *хворый* и пр., тогда можно было бы говорить об особом значении слова *добрый*, не фиксируемом в словарях литературного языка (если, конечно, это значение было бы общепринятым в говоре, а не окказиональным), но примеры такого противопоставления в словаре не приводятся. Чтобы оценить все достоинства и недостатки словаря говора д. Деулино, необходим подробный разбор всего его текста, чего мы не можем сделать в настоящей статье. Однако и теперь совершенно очевидно, что полного словаря говора (разумеется, не в абсолютном смысле, а такого словаря, который соответствовал бы принципам полноты описания основных слоев лексико-семантической системы) у нас еще нет, его только предстоит создать [8].

Как свидетельствует опыт славянской (и не только славянской) лексикографии, составление полных словарей — дело очень трудное. Сторонники полных словарей пока что ограничиваются заявлениями о превосходстве полных словарей над дифференциальными, а когда переходят к лексикографической практике, то отступают от своих теоретических установок. Среди советских славистов пропагандистом полных словарей выступает Н. И. Тол-

[8] Поэтому нельзя согласиться с В. В. Палагиной, которая пишет о деулинском словаре: «В целом словарь может служить образцом составления словаря одного говора в его современном состоянии» («Русский язык в школе», № 5, 1970, стр. 116).

стой. «Исходя из чисто теоретических предпосылок, — писал он, — диалектный словарь должен быть полным, т. е. он должен стремиться дать инвентарь лексической системы говора без оглядки на литературный язык» [9]. Однако, когда ему и коллективу его сотрудников предоставилась возможность изучать полесскую лексику, он вынужден был из-за «технических и практических трудностей» решительно отступить от идеи полного словаря. Отвергнут был и принцип дифференциальности, так как было неясно, с каким литературным языком нужно было сравнивать лексику говоров Полесья. Полесская экспедиция избрала третий путь: собирать лексику по тематическим группам (земледельческая и строительная терминология, терминология транспорта, ткачества, пчеловодства, названия пищи, одежды и обуви, названия птиц, ботанические термины). Образцом для участников экспедиции были тематические словари и исследования говоров Вармии и Мазур польских диалектологов.

Вообще полных словарей говоров, отвечающих основным принципам полноты лексикографического описания диалектной речи, пока не существует ни у нас, ни за рубежом. Характерным примером «полных» словарей является несомненно полезный труд польского лингвиста Е. Мацеевского «Хелминско-добжинский словарь» [10]. В нем описана лексика двух быдгощских сел — Семонь и Дульск. Фактически словарь этот не является полным. Как замечает рецензент словаря Н. В. Никончук, в нем далеко не полностью охватывается словарное богатство каждого говора, а также не даны все материалы, которые позволили бы «представить содержащиеся в словаре лексемы во всей полноте их семантических манифестаций» [11]. И далее: «если внимательно приглядеться к словнику некоторых лексико-тематических пластов, то создается впечатление его неполноты и в известной мере случайного подбора слов» [12]. Н. В. Никончук заключает: «Хелминско-добжинский словарь» Е. Мацеевского, таким образом, не отражает всей лексики исследуемых говоров и его только в принципе можно считать полным [13]. Правильнее было бы сказать не «в принципе» (какой уж тут принцип, если он нарушается в самой своей основе), а в воображении составителя. Существующие «полные» словари на самом деле всегда включают в себе изрядную долю отбора слов, отбора случайного, обусловленного неподдающимися учету обстоятельствами. Полные словари говоров — это пока что своего рода «синяя птица», мечта о неосуществимом. Составители «пол-

---

[9] Н. И. Толстой. Об изучении полесской лексики (Предисловие редактора). — Сб. «Лексика Полесья». М., 1968, стр. 5.

[10] J. Maciejewski. Słownik chełmińsko-dobrzyński (Siemón, Dulsk). Toruń, 1969.

[11] Н. В. Никончук. Рецензия на словарь Мацеевского. — «Советское славяноведение», № 2, 1971, стр. 101.

[12] Там же, стр. 102.

[13] Там же.

ных» словарей на практике сбиваются на дифференциальный подход, но если современные дифференциальные словари строятся на научном понимании диалектизмов, то дифференциальность «полных» словарей далека от научных методов, поскольку отбор слов и их семантических и иных манифестаций находится во власти случайностей, которые далеко не всегда даже можно предвидеть.

Описание лексики в пределах тематических групп ведется давно, в том числе и русскими лексикологами и лексикографами. *В принципе, оно должно быть по возможности исчерпывающим*, т. е. полным. Правда, как замечает Н. И. Толстой, хотя участники экспедиции и стремились к полноте описания избранных тематических групп полесской лексики, они совсем не уверены, что эта полнота достигнута. Просмотр нами собранных материалов в сравнении их с восточнославянскими литературными языками показывает, что в этих материалах все же заметен крен в сторону дифференциального принципа. Но если бы даже полнота была достигнута, она совсем не могла бы быть отождествлена с полным словарем говора по двум причинам: 1) системность лексики совсем не укладывается в рамки тематических групп, поскольку слова той или иной группы имеют разнообразные связи с лексикой, лежащей за пределами тематической группы, 2) Полесье в диалектологическом отношении пестро, вследствие чего невозможно было бы показать системность и полноту лексики конкретного говора (микросистемы), на что справедливо указывает сам Н. И. Толстой [14].

Создать полный словарь с целью «выяснить во всех деталях лексико-семантическую систему говора» взялись пермские диалектологи под руководством Ф. Л. Скитовой. Пожелаем им успеха на этом многотрудном пути. Ими опубликованы пробные «Материалы к акчимскому словарю» (словарю говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области) [15], однако о реализации идеи полного словаря в данном случае судить пока невозможно, так как словарных статей опубликовано немного и даны они из разных букв алфавита.

После этих замечаний вернемся вновь к деулинскому словарю. Несмотря на непоследовательность и противоречивость принципов, которые фактически лежат в его основе, это очень богатое собрание диалектных материалов, значительно пополняющее наши сведения о лексике южновеликорусских говоров, изученной гораздо слабее словарного состава говоров северновеликорусских. Такие словари очень нужны. Но сколько их нужно? Несомненно, много, хотя мы не должны забывать о трудностях, стоящих на пути их создания, в частности о возможностях их публикации.

---

[14] Н. И. Толстой. Указ. соч., стр. 7.
[15] Живое слово в русской речи Прикамья, вып. I. Пермь, 1969, стр. 3—62.

В связи с этим следует остановиться на далеко не праздном вопросе: можно ли считать, что лексика одного говора является типичной для говоров обширной зоны. И. А. Оссовецкий уверен, что лексика говора д. Деулино типична для многих южновеликорусских говоров и «словарь одного южновеликорусского говора на территории рязанской Мещеры может также рассматриваться и как словарь определенной зоны южновеликорусских говоров и с известным основанием — как словарь южновеликорусского наречия» [16]. Если бы это было так, задачи русской диалектной лексикографии значительно упростились бы. Достаточно было бы подготовить несколько больших словарей отдельных говоров, расположенных в основных диалектных зонах русского языка, и словарный состав русских говоров в основной своей части был бы описан. Однако эта мысль навеяна не фактическим состоянием диалектной лексики, а членением русских говоров по некоторым фонетическим и грамматическим особенностям (членением, сильно упрощающим и схематизирующим подлинную картину бесконечное количество раз переплетающихся на русской территории диалектных изоглосс). Деулинский словарь совсем не словарь южновеликорусского наречия, мысль об этом только самообольщение. В деулинском словаре на букву А помещено всего 12 слов (не считая двух ссылочных статей), из них *артель* 'постоянная компания одного возраста' и *артельский* 'общительный, не замкнутый' не являются диалектными. В «Словаре русских народных говоров» (далее — СРНГ), по моим подсчетам, диалектных слов на букву А, записанных в рязанских, орловских, курских, воронежских и других южновеликорусских говорах, оказалось 445 (в деулинском словаре нет очень многих и рязанских слов). Соотношение 10 к 445! В СРНГ в десятки раз больше, чем в деулинском словаре, южновеликорусских диалектных слов и на другие буквы алфавита. Когда деулинский словарь вышел в свет, его данные стали использоваться в очередных выпусках СРНГ. Эти данные просто тонут в массе другого материала и в словарных статьях встречаются редко. Как тут можно говорить о том, что словарь говора д. Деулино может с известным основанием считаться словарем всего южновеликорусского наречия? Конечно, нужно учитывать, что в СРНГ, охватывающем диалектную лексику XIX—XX вв., есть немало слов, теперь уже не употребляющихся, но в то же время не следует забывать, что лексика южновеликорусских говоров записана далеко не полно (больших словарей одного говора у нас вообще не было).

Я все же полагаю, что южновеликорусские говоры в целом имеют свои лексические особенности, отличающие их от других русских говоров, но пока что мы об этих особенностях знаем немногое. Любые широкие априорные предположения в этой области будут сомнительными. В науке смело поставленные вопросы о не-

[16] Словарь современного русского народного говора, стр. 6.

известном ведут либо к сенсационным открытиям (когда предположения подтверждаются всею массою фактов), либо к весьма рискованным гипотезам.

В отличие от словаря говора д. Деулино, составители «Псковского областного словаря» (выпуск I, Л., 1967) стремятся реализовать принципы полного словаря более последовательно. Они включают в словарь не только общерусские слова и значения слов, существующие в говорах уже давно, но и позднейшие заимствования, недавно проникшие в речь сельского населения из литературного языка: *абажур*, *абортировать* 'сделать аборт', *авансировать*, *аннулировать(ся)*, *баллон*, *бегония* и т. п. Правда, сразу же обнаруживается, что записи подобных слов случайны и ни в какой мере не могут претендовать хотя бы на относительную полноту. В речи сельского населения таких слов несомненно во много раз больше, чем их представлено в словаре. Случайность записей очевидна и из сопоставления включенных в словарь слов с их однокоренными образованиями: есть *абортировать*, но нет *аборт*, соответственно *автомат*, но *автоматный* (обычное *автоматная очередь*), *американец*, но *американский*, *аптека*, но *аптечный*, *аристократка*, но, *аристократ*, *армия*, но *армейский*, *актив*, но *активист* и *активный*, *актировать*, но нет *акт* и т. д., и т. п.[17]

Разумеется, при таком положении дела не может быть и речи о показе слова в кругу родственных ему образований, о месте слова в лексико-семантических группах слов и о некоторых других явлениях, важных для исследования лексической системы говора. А главное, «Псковский областной словарь» является сводным словарем. Материалы для него записаны в 1233 населенных пунктах Псковской, Калининской и Ленинградской областей, Латвийской и Эстонской ССР (см. «Список названий населенных пунктов по районам», стр. 27—41). К этому добавляются записи псковских слов, зафиксированных в печатных и рукописных словарях XIX—XX вв., в фольклорных и диалектных текстах того же времени. Правда, авторы псковского словаря пытаются утверждать, что псковские говоры представляют собой исторически сложившееся единство[18]. Возможно, что до некоторой степени это верно — в основной массе псковских говоров, вероятно, можно обнаружить специфические особенности лексики, объединяющие эти говоры и отличающие их от других русских говоров нашего времени. Однако лексическое разнообразие современной Псковщины, ее диалектная пестрота, обусловленная сложной

---

[17] Об этом уже писалось неоднократно, см. например: В. И. Максимов, Ф. П. Сороколетов. Псковский областной словарь. — «Известия ОЛЯ АН СССР», вып. 2, 1968, стр. 165—168.

[18] Л. А. Ивашко, О. С. Мжельская. Общерусский лексический фонд в словарном составе диалекта. — «Вестник Ленинградского университета», № 20, серия истории, языка и литературы, вып. 4. Л., 1966, стр. 121.

историей Пскова и его области, несомненны. Это прекрасно иллюстрируется в самом псковском словаре: в словах многозначных значения записаны в разных населенных пунктах, часто отдаленных друг от друга, а диалектные однозначные слова известны далеко не во всех говорах. В словаре помещены интересные лингвогеографические карты: разные значения слова *бабурка* (стр. 87), разные названия растения Ledum palustre (*бабняг*, *багульник* и др., стр. 91) и разные значения слова *баркан* (стр. 121), которые показывают сложную сеть лексико-семантических изоглосс, в разных направлениях пересекающих территорию современной Псковщины.

Л. А. Ивашко и О. С. Мжельская пытаются опереться на высказывания И. А. Оссовецкого, который, обосновывая принципы словаря полного типа, полагает, что все слова говора, за редким исключением, чем-нибудь да отличаются от соответствующих слов литературного языка. Что получилось с его теоретическими установками при составлении деулинского словаря, мы видели выше. В то же время И. А. Оссовецкий, как и Н. И. Толстой и другие сторонники составления полных словарей, справедливо подчеркивает, что словарь полного типа, отражающий живую лексическую систему, может быть составлен только при условии обследования одного, а не многих говоров, на что не обратили должного внимания Л. А. Ивашко и О. С. Мжельская. Принципы сводного и полного словарей практически не совместимы [19]. О. Г. Гецова не согласна с этим. Она считает, что каждая статья сводного словаря должна отражать все системные связи как одного говора, так и всех изученных говоров. Правда, такого словаря нет в природе, замечает она, но все же создать его можно [20]. Конечно, это

---

[19] Об этом очень хорошо высказался известный советский диалектолог Г. Г. Мельниченко в своей статье «Новый региональный словарь (А. Ф. Иванова. Словарь говоров Подмосковья. М., 1969)», напечатанной в журнале «Русский язык в школе», № 6, 1971. Как подчеркивает Г. Г. Мельниченко, «словарь говоров обширной территории может быть только дифференциальным» (стр. 110). Он даже предлагает термин «полный словарь» заменить термином «недифференциальный словарь», поскольку по-настоящему полные словари бесписьменной речи неосуществимы. Встает вопрос, не лучше ли пытаться составлять словари говора одного лица, а не говора населенного пункта, поскольку в лексике каждого человека имеются свои особенности, не свойственные лексике даже близких ему лиц. Интересный опыт, пока что первый в этом роде, выполнил В. П. Тимофеев, опубликовавший «Диалектный словарь личности», (Шадринск, 1971). Это словарь говора крестьянки д. Усольцевой Шатровского района Курганской области Евдокии Михайловны Тимофеевой, 1897 года рождения. Материалы для словаря собирались 20 лет. Всего было записано 2705 слов и 87 фразеологизмов. В основном, это диалектизмы. Е. М. Тимофеевой известны 27 337 литературных слов из 52 872 слов «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, которые в «Диалектный словарь личности» не включены.

[20] О. Г. Гецова. К проблемам диалектной лексикографии. — ВЯ, № 3, 1969, стр. 153.

утверждение является утопией. Еще не созданы и не могут быть созданы такие лексикографические средства, которые позволили бы в одном словаре свести и не смешать системные связи сотен говоров, подать их так, чтобы можно было бы выделять каждую лексическую систему из сотен других. Любое положение в лексикографии без реальных возможностей его реализации стоит немногого. Я не говорю уж о том, что в течение трех—четырех недель (а именно столько времени обычно собиралась в каждом населенном пункте лексика для псковского словаря [21]) совершенно невозможно изучить лексику говора как систему. Для этого мало и нескольких лет.

Л. А. Ивашко и О. С. Мжельская, пытаясь оправдать принципы полного словаря И. А. Оссовецкого в необоснованном применении их к сводным псковским материалам, считают, что совпадение семантики слова говора и литературного языка — частный случай, возможный «у слов однозначных в литературном языке и говорах, например, у слов терминологических» [22]. А каков удельный вес однозначных слов по данным словарей? Оказывается, он очень высок. В семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» на буквы А, Б и Н их около 62% всех слов, помещенных на указанные буквы. В диалектных словарях процент однозначных слов еще выше: в деулинском словаре на букву А их 75%, на букву Б — 76%, на В — 74% и на Н — 76%, в 1-ом выпуске Псковского областного словаря 73%, во 2-м выпуске Словаря русских народных говоров (*Ба—Блазниться*) 71%.

Конечно, в словаре дифференциального типа совпадения однозначных слов литературного языка и говоров в принципе не должно быть, но в полном словаре картина должна быть совсем другой.

Для того, чтобы установить объективную истину, следовало бы учесть все общенародные слова говора и сравнить их с соответствующими словами литературного языка. Только после этого мы будем вправе говорить о действительном, а не мнимом расхождении слов говора и литературного языка по их значениям. По данным Псковского областного словаря (как и словаря говора д. Деулино) такое сравнение провести нельзя, так как слова общенародного распространения представлены в нем крайне неполно. Даже в говоре банатских болгар, свыше двухсот лет бывших в полном отрыве от болгарской метрополии, по данным словаря Ст. Стойкова, имеется 15% слов, во всех отношениях совпадающих со словами книжного болгарского языка, а если к ним прибавить еще 5% общих заимствований, то тождественных слов окажется 20% [23].

---

[21] Л. А. Ивашко, О. С. Мжельская. Псковский областной словарь и некоторые дискуссионные проблемы региональной лексикографии. — ВЯ, № 2, 1968, стр. 144.

[22] Л. А. Ивашко, О. С. Мжельская. Общерусский лексический фонд, стр. 121.

[23] Ст. Стойков. Лексиката на банатския говор, стр. 19.

Процент тождественных слов несомненно заметно повысился бы, если сравнение делалось бы с разговорно-литературным языком и если бы Ст. Стойков был полностью свободен в своих записях от дифференциального подхода, который подсознательно действует в полевой работе на самого высококвалифицированного лингвиста.

Прибавление к записям XIX—XX вв. в псковском словаре словарных выписок из ста памятников старопсковской письменности и вовсе выводит этот словарь за пределы полных, системных словарей. Само понятие «система» оказывается настолько туманным, что Л. А. Ивашко и О. С. Мжельская вынуждены признаться: «нам представляется преждевременным и неосторожным употребление термина «система» по отношению к лексике говоров, поскольку и для литературного языка вопрос о лексической системе еще не решен окончательно» [24]. А ведь сам-то словарь задуман как полный только и исключительно для того, чтобы показать исторически сложившуюся «систему» псковских говоров! Как бы ни определять понятие «лексическая система» (таких определений дано немало), во всяком случае для всех должно быть очевидно, что это понятие предполагает обязательное употребление совокупности всех лексических средств в одном коллективе в одно и то же время. Этому условию материалы псковского словаря никак не соответствуют. Псковский областной словарь — сводный словарь справочного характера. В нем имеются очень ценные сведения, и будет весьма огорчительно, если его публикация не будет доведена до конца. Публикация его в значительной мере могла бы быть облегчена, если бы составители словаря отказались от неоправданных установок лексикографического максимализма и удалили из него чисто случайные, отрывочные и хаотические сведения о словах общенародного распространения. Устранение этих сведений заметно уменьшило бы объем словаря и серьезно повысило бы его качество.

Из сказанного выше следует, что если мы хотим иметь более или менее полный учет лексики русского языка и других славянских языков, без чего невозможно создать общую историю их словарного состава, а также решать и очень многие частные историко-лексикологические задачи, мы вынуждены прибегать к дифференциальным принципам в диалектной лексикографии. Другого выхода у нас нет, так как мы не можем ожидать, когда будут составлены полные словари всех или хотя бы большинства говоров (и можно ли достичь этой цели в неопределенном будущем, особенно составления полных словарей русского языка с его громадной территорией, остается весьма сомнительным). Лексика литературных языков в основном описана. Создаются словари древней и старой письменности, следовательно, словарный состав письмен-

---

[24] Л. А. Ивашко, О. С. Мжельская, Псковский областной словарь, стр. 145.

ных памятников прошлых эпох уже известен или будет известен в относительно близком будущем. Остается еще очень важный источник исторической лексикологии — диалектная лексика, которую предстоит лексикографически описать.

Необходимость выполнения этой грандиозной задачи ощущалась многими историками и диалектологами прошлого. Не случайно все диалектологические словари и словарные собрания строились на основе дифференциальных принципов (в словарь помещалось то, чего нет в литературном языке, поскольку лексика литературного языка уже известна). Первым сводным (дифференциальным) словарем русской диалектной лексики (и первым трудом такого рода во всей славянской лексикографии) был академический «Опыт областного великорусского словаря» (1852 и 1858). Еще бо́льшим по объему, но близким по принципам к указанному словарю, был «Słownik gwar polskich» (Kraków, 1900—1911, 6 томов) Яна Карловича. Эти словари и теперь не потеряли своего значения. Однако, кроме того, что диалектная лексика русского и польского языков в них описана далеко не полно, сам дифференциальный подход к отбору слов в этих словарях не имел с нашей теперешней точки зрения научных обоснований. Это был интуитивно-дифференциальный подход к диалектной лексике, допускавший много всевозможных отклонений, как хорошо показал в своей рецензии на словарь Я. Карловича К. Нитш [25].

О том, что теперь понимается под дифференциальными принципами, писалось уже многое. Главное здесь — определение объекта лексикографического описания. В языке наряду с разнообразной лексикой общего в территориальном отношении распространения имеется огромное количество слов локального употребления, имеющих по разным своим признакам изоглоссы в пределах одного языка, иначе говоря диалектизмов, возникших в разные исторические эпохи. Слова общего распространения регистрируются в различных словарях литературного языка, диалектизмы, как объективно существующая лексическая категория — предмет диалектных словарей. Практически диалектизм определяется на основании материалов сводной картотеки, которые постоянно сличаются с данными толковых и иных словарей литературного языка. На этой основе ведется работа над «Словарем русских народных говоров», наиболее продвинутым вперед из всех составляющихся сводных дифференциальных словарей (в масштабе всего языка) не только в славянской лексикографии. Определение лексического диалектизма в принципе дает нам возможность избегать вкусовщины и произвола в отборе материалов для словаря, хотя в случаях отсутствия надежных сведений мы можем допускать (и очевидно допускаем) вынужденные отклонения от наших установок. Не гонясь за миражом «полноты» и «системности»,

---

[25] K. Nitsch. Recenzja słownika gwar polskich J. Karłowicza. — «Rocznik sławistyczny», 1911, IV, стр. 199—243.

мы не искажаем общую картину состояния диалектной лексики, не включая в нее (по крайней мере в массовом масштабе) случайных, отрывочных сведений из других лексических пластов.

Реализуя дифференциальное описание диалектной лексики, мы отчетливо представляем себе недостатки нашего словаря и трудности, стоящие на нашем пути. Любое ограничение в отборе слов, когда в словаре дается не вся находящаяся в употреблении лексика, а только часть ее, разрывает существующие между словами связи. Нарушаются эти связи и в словарях смешанного типа, авторы которых претендуют на полноту описания, но не могут ее достигнуть. Однако нарушение лексических связей в нашем словаре происходит по объективному признаку (выделяются из всей лексики диалектизмы), тогда как в смешанных словарях это нарушение обусловлено субъективными факторами, произволом наблюдателей (недостаток времени для полных записей, плохое знание лексики говоров, случайность наблюдений, неудачный выбор информантов и т. п.). И если пробелы в собирании диалектной лексики имеют количественный характер (не описаны все диалектизмы), то пробелы в словарях полного типа приобретают качественное значение, поскольку они искажают реально существующую лексическую систему говора. Для диалектного словаря дифференциального типа даже запись одиночного слова имеет свою ценность (лишь была бы она верна), тогда как одиночная запись для полного (системного) словаря говора совершенно не пригодна. В дифференциальный словарь включаются все записи диалектных слов XIX—XX вв., которые делали специалисты и не специалисты, независимо от объема этих записей, тогда как для полного словаря подобные материалы ни к чему. Если последовательно стоять на позиции, что только полные словари имеют в наше время право на существование, мы должны в таком случае зачеркнуть все наше богатейшее диалектологическое наследие и браковать любые неполные записи наших дней. А поскольку образцов полного описания лексики говоров мы еще не имеем, это означало бы тупик. К такому безвыходному тупику и приводит необузданный лексикографический максимализм, лексикографическое прожектерство. Совершенно очевидно, что нужны диалектные словари разных типов, а сводные словари могут быть только дифференциальными.

Конечно, на пути определения диалектизмов стоит немало трудностей. На некоторые из них пыталась указать О. Г. Гецова. Она замечает, что академическая словарная картотека, являющаяся базой для «Словаря русских народных говоров», содержит материалы главным образом на предметную лексику, а, например, глаголов в ней сравнительно мало [26], следовательно, эта картотека не обеспечивает полноту регистрации диалектизмов по частям речи. Это верно, но только отчасти. В относительно полном сло-

---

[26] О. Г. Гецова. К проблемам диалектной лексикографии, стр. 152.

варе банатского говора Ст. Стойкова существительных 55,12%, глаголов 25,35%, прилагательных 9,54%, наречий 4,64%, местоимений 1,39%, числительных 1,31%, междометий 0,94%, частиц 0,69%, союзов 0,59% и предлогов 0,53% [27]. В словаре ихтиманского говора М. Младенова существительных 51,1%, глаголов 28,5%, прилагательных 11,9%, наречий 4,4%, местоимений 0,89%, числительных 0,73%, междометий 0,67%, предлогов 0,55%, частиц 0,35% и союзов 0,32% [28]. Примерно та же картина в лексике русского условно-профессионального арго (по данным В. Д. Бондалетова): существительных 50%, глаголов 26%, наречий 5% [29]. Из этих цифр видно, что существительные («предметная лексика») в полном словаре составляют половину или несколько больше всех слов, глаголы около четверти, прилагательные десятую часть, наречия двадцатую часть лексики, остальные слова приходятся на другие части речи. В первых пяти выпусках «Словаря русских народных говоров» существительных 59,63%, глаголов 19,83%, прилагательных 10,43%, наречий 7,71%, а 2,40% падают на остальные части речи [30]. Некоторое отклонение в сторону существительных имеется, но оно незначительно. По-видимому, это отклонение нужно объяснять тем, что собирателям диалектной лексики легче записывать «предметные», нежели отвлеченные слова. Однако утверждение О. Г. Гецовой, будто бы академическая картотека содержит материалы главным образом на предметную лексику, далеко от точности. Между прочим, любопытно, что в первом выпуске «полного» «Псковского областного словаря», по моим подсчетам, существительных 65,81%, прилагательных 16,34%, глаголов (они на третьем месте!) всего 10,09%, наречий 4,79%, а 3,17% приходятся на остальные части речи.

В «Словаре новых слов и значений» под редакцией Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина (М., 1971) на буквы Г (бесприставочная) и П (приставочная) существительных 153 и 139, прилагательных 63 и 63, глаголов всего только 9 и 14, наречий 0 и 1 (*приземленно*). По данным польского лингвиста Ст. Милевского, в жаргоне преступников имеется приблизительно 60% существительных, 20% глаголов, 15% прилагательных, 5% других частей речи [31]. Можно было бы привести много других показаний подобного рода из словарей разных языков и разных языковых подразделений. Цифры колеблются, но серьезные отклонения от средних величин непоказательны. Но если в дифференциальном «Словаре русских

---

[27] Ст. Стойков. Лексиката на банатския говор, стр. 9.

[28] М. Сл. Младенов. Лексиката на ихтиманския говор. София, 1967, стр. 32.

[29] В. Д. Бондалетов. Условно-профессиональные языки русских ремесленников и торговцев. Автореферат докторской диссертации. Л., 1966, стр. 5.

[30] Словарь русских народных говоров, вып. пятый. Л., 1970, стр. 342.

[31] Stanisław Milewski. Gwara przestępcza i jej przenikanie do języka ogólnego. — «Poradnik językowy», № 2 (286), 1971, стр. 93.

народных говоров» имеется некоторый недобор реально существующих диалектных глаголов, это не имеет прямого отношения к определению диалектизмов, как объективно существующего пласта слов.

Следующее замечание О. Г. Гецовой относится к тому, что в «Словаре русских народных говоров», вопреки его теоретическим установкам, помещаются и такие слова, которые встречаются «на севере и на юге, при этом — на основных территориях русского языка» [32], т. е. слова не диалектные, не имеющие изоглосс. К примерам таких слов она относит существительные *бабка* 'малая укладка снопов в поле' из 2-го выпуска словаря и *нива* из «Проекта словаря русских народных говоров» [33], представленному на еще более широкой территории [34]. Примеры взяты, прямо скажем, неудачно. Слово *бабка* обозначает 'самые различные малые укладки снопов в поле': в одних местностях это пять снопов, в других шесть, в третьих десять и т. п., в одних говорах *бабка* обозначает 'укладку любых зерновых культур', в других только 'ржаные снопы или льняные' и т. д. Оттенки в этом значении слова *бабка* очень разнообразны и употребление их имеет ярко выраженный локальный характер. В не меньшей степени это относится к многозначному слову *нива*, все значения которого распадаются на большое количество разнообразных оттенков. Однако, действительно, в нашем словаре встречаются (и нередко) слова и их значения, которые записаны «на севере и на юге», на «основных территориях» русского языка. К словарным диалектизмам понятия северновеликорусского и южновеликорусского наречий надо применять с большой осторожностью. Лексико-семантических диалектизмов в русском языке сотни тысяч. Ни один атлас будущего сколь угодно большого объема не сможет показать границ распространения этого огромного диалектного богатства. Тем более в настоящее время, когда таких лексических атласов еще нет, мы не можем знать в точности всех словарных изоглосс. И все же наши картотеки позволяют уже теперь очерчивать приблизительные ареалы диалектизмов, а главное, в подавляющем большинстве случаев решать вопрос, является ли слово диалектным или общенародным. Мы можем с уверенностью говорить, что лексические изоглоссы (как, впрочем, и другие) пересекают условные границы русских наречий в разных направлениях. Современные исследования, и в первую очередь работы С. И. Коткова, показывают, что противопоставление северновеликорусского и южновеликорусского наречий по традиционному набору немногих слов (*конь — лошадь*, *изба — хата*, *волк — бирюк* и пр.) в большинстве случаев оказывается фактически неверным. Наличие слова на юге и севере вовсе не означает, что оно не является

[32] О. Г. Гецова. Указ. соч., стр. 152.
[33] Ф. П. Филин. Проект «Словаря русских народных говоров». М.—Л., 1961, стр. 190.
[34] О. Г. Гецова. Указ. соч., стр. 152.

диалектным; слово может отсутствовать на западе или на востоке (наличие в русском языке меридиональных изоглосс бесспорно), может употребляться не на всем севере или не на всем юге и т. д. и т. п., может иметь «островное» или какое угодно другое географическое распространение. Важно одно: слово известно (в XIX—XX вв.) не на всей территории русского языка, отсутствует в общенародном языке. Понятие «основные территории», которым оперирует О. Г. Гецова, имеет исторический смысл (области, где формировался в XIII—XIV вв. русский язык). Оно неприменимо к русским говорам XIX—XX вв. Лексика русских говоров любых современных наших земель имеет в принципе одинаковую ценность. Более того, в окраинных говорах нередко сохраняются такие ценные с исторической точки зрения слова, которые давно уже исчезли в говорах «основных территорий». Из этого следует вывод, что критические замечания только тогда могут принести пользу делу, когда они бывают точными и свободными от устаревших представлений.

Конечно, мы не всегда обладаем достаточными сведениями. Бывают случаи, когда у нас нет необходимых данных, чтобы с уверенностью определить, является слово диалектным или нет. В этих случаях мы обычно решаем наш выбор в пользу включения слова в словарь. Это не нарушение наших принципов, а недостаток наших знаний, что далеко не одно и то же.

На основе дифференциальных принципов развертывается работа над словарем польских говоров — вторым в современной славянской лексикографии сводным диалектным словарем в пределах всего языка. Об установках польского словаря писалось уже много. Еще в 1963 году руководитель словаря известный польский славист М. Карась опубликовал статью «Словарь польских говоров (Проблемы и предложения)». Оценивая словарь Я. Карловича, М. Карась отмечает, что «главнейший постулат изучения диалектной лексики — географический принцип — был в нем реализован явно недостаточно» [35]. В новом словаре географический принцип предполагается провести со всей последовательностью. Словарь польских говоров охватит всю диалектную лексику, собранную в XIX—XX вв., включая материалы словаря Я. Карловича, которые будут проверяться по первоисточникам (когда эти первоисточники доступны). В словарь будут включаться все лексические, семантические и формальные (лексикализированные) диалектизмы, что лежит в основе и «Словаря русских народных говоров». Важно отметить, что советские и польские диалектологи пришли к этим установкам независимо друг от друга: общность принципов была обусловлена спецификой лексикографического объекта и логикой развития диалектологических исследований.

---

[35] М. Карась. Словарь польских говоров (Предложения и проблемы). — ВЯ, № 4, 1963, стр. 86.

В польском словаре будут и некоторые существенные особенности. «В словарь войдет вся терминологическая лексика, связанная с материальной и духовной культурой народа, например, stodoła 'овин', stajnia 'конюшня', chlew 'свинарник', названия частей плуга, воза, народная терминология врачевания, астрономия, терминология религиозных культов и верований, хотя многие из этих слов принадлежат и литературному языку» [36].

В «Словаре русских народных говоров» эта чрезвычайно важная для народоведения лексика также представлена очень широко. Однако в тех случаях, когда те или иные термины достаточно определенно представлены в литературном языке и описаны в соответствующих словарях, в нашем словаре они не помещаются: их помещение противоречило бы принципу дифференциальности и без особой нужды (такие слова уже представлены в словарях литературного языка) увеличило и без того огромный объем словаря. В польский словарь включаются также все звукоподражательные слова, междометия и припевки (buch, bach, hola, chy, tralala и т. п.), как «орудия экспрессии и импрессии», независимо от того, имеются эти слова в литературном языке или нет. Такое нарушение дифференциального принципа не составляет большой проблемы, так как подобных слов в языке немного. Указанные отступления являются главными особенностями польского словаря по сравнению со словарем русским в отборе слов.

Есть еще один вопрос, который решен в «Словаре русских народных говоров», по-видимому, неудовлетворительно. Имеются слова (их очевидно не так уж мало), которые обычны в литературном языке и в то же время известны не всем говорам. Ср., например, *пелядь* 'вид рыб Coregonus peled', ставшее литературным термином, но в говорах, по данным А. С. Герда, имеющее узкий ареал распространения (его территориальный очаг — говоры по рекам Печоре и Мезени) [37]. Изучение подобных слов, имеющих изоглоссы, очень важно для исторической лексикологии вообще и для установления путей проникновения диалектных слов в литературный язык в частности. Между прочим, просил включать эти слова в наш словарь покойный немецкий академик В. Штейнитц, считавший их важным компонентом историко-диалектной лексики. И все же мы отказались от помещения в словарь подобной лексики по соображениям скорее практическим, нежели теоретическим. Одним из важных объективных признаков определения диалектизма является отсутствие слова в литературном языке. Сведения же о словарных изоглоссах далеко не всегда достаточны. В диалектологических записях, особенно последних лет, часто встречаются литературные слова, причем для того, чтобы определить, являются эти слова заимство-

---

[36] М. Карась. Указ. соч., стр. 92.

[37] А. С. Герд. Из истории печорских названий рыб. «Севернорусские говоры». вып. I, изд-во Ленинградского ун-та, 1970, стр. 108—110.

ванными из литературного языка или же они исконно общенародные, во многих случаях нужно предпринимать специальные исследования. Результаты таких исследований не всегда были бы надежными и очень задержали бы издание словаря. Ориентируясь только на диалектные записи без оглядки на литературный язык, мы несомненно наделали бы много ошибок в определении принадлежности слов к диалектной лексике.

Понятие дифференциального описания лексики не все лингвисты истолковывают одинаково. Например, О. Г. Гецова полагает, что отбор слов в диалектный словарь не зависит от решения проблемы, что такое диалектное слово, поскольку при учете системного аспекта лексики этот признак не существен. Конечно, верно, что при изучении лексической системы говора (микросистемы) этот признак может быть несуществен, хотя в наше время, когда широкие массы сельского населения овладевают литературным языком, противопоставление в их сознании литературного слова соответствующему по значению местному становится важным. Однако, как было показано выше, сводный диалектный словарь не может не быть дифференциальным. О. Г. Гецова тоже за дифференциальный подход к лексике, но какой? С ее точки зрения, единственный принцип отбора лексики в диалектный словарь — отличие лексики говоров от нормативной лексики литературного языка [38]. В диалектный словарь включается вся наличная в говорах лексика, за исключением той, которая совпадает с нейтральными словами литературной лексики. Иначе, на одной стороне стилистически нейтральная лексика, с другой стороны диалектные, просторечные, разговорные и прочие слова. Конечно, лексику можно делить и так, но во имя чего это нужно делать? Совершенно очевидно, что исключая из словаря говора нейтральную лексику, мы не можем говорить ни о какой системности. Для показа подлинной системности лексики говора любая дифференциальность противопоказана, поскольку она разрывает живые связи слов между собой. При дифференциальном подходе к описанию лексики никакие рассуждения о различиях лексических систем диалектов и литературного языка не помогут.

Может быть, включение в сводный диалектный словарь кроме диалектизмов просторечных и разговорных слов, как это предполагается сделать в архангельском областном словаре [39], поможет раскрыть взаимодействие литературного языка и говоров, движение лексики из говоров в литературный язык, познать сущность просторечия, формирование разговорных слов? Эти проблемы очень важны и в то же время далеко еще не решены. Однако крайне сомнительно, что их можно решить путем составления диалектных словарей, да еще словарей таких периферийных говоров,

---

[38] О. Г. Гецова. Указ. соч., стр. 152.
[39] О. Г. Гецова. Проект архангельского областного словаря. М., 1970, стр. 25 и след.

как архангельские, вклад которых в формировании лексики литературного языка XIX—XX вв., в отличие от говоров московских, петроградских—ленинградских и других, окружающих важнейшие культурные центры, был скромным. Первенство тут принадлежит собственно лексикологическим исследованиям, возможности которых значительно больше, чем лексикографическим методам описания лексики, всегда ограниченным, хотя и очень важным.

Ставя вопросы взаимоотношения лексики литературного языка и говоров, нужно ясно представлять себе, что нужно понимать под литературной лексикой. Словарь литературного языка состоит не из одних стилистически нейтральных слов. Нет такого писателя, нет такого владеющего литературным языком человека, который обходился бы в своей речевой деятельности одними стилистически нейтральными словами. Современный литературный язык — совокупность весьма разнообразных стилистических средств, которые используются по-разному в различных речевых ситуациях. Входит ли в него разговорная и просторечная лексика? О разговорной лексике как будто бы спору нет, а вот просторечную лексику некоторые лингвисты выводят за пределы литературного языка, считая ее особой сферой, относя ее к «полудиалектам», «городской речи» и т. п. Эти лингвисты обычно смешивают функционирование просторечной лексики в системе литературного языка и само просторечие как таковое. Все, что используется в литературном языке и является для данного времени общепринятым в его письменной и устной разновидностях, принадлежит его системе. Такие слова и выражения, как *канючить*, *над кем-либо не каплет*, *караулка* (не то, что нейтральное *караульная*, в караулке помещается не только караул, но и сторож), *на карачках*, *карачун*, *карга* (бранное название старухи), *капут*, *катнуть* (съездить, поехать), *каркать* (предсказывать неприятности, беду), *карманник*, *каюк* и т. д. и т. п., которые в современных толковых словарях дружно определяются как просторечные, в определенной ситуации может употребить любой самый образованный человек, они обычны в художественной литературе и в других разновидностях общепринятой литературной речи. Вывести их за пределы литературного языка означало бы лишить наш язык средств сниженной, непринужденной речи. Подавляющее большинство просторечных слов, описанных в современных толковых словарях, является органической частью лексической системы литературного языка. Иную функцию в литературном языке выполняют попадающие в него диалектизмы. Диалектизмы свойственны только языку отдельных писателей или отдельных групп населения, говорящих на литературном языке, они не общеупотребительны. Разумеется, этим я не хочу сказать, что между литературным и общераспространенным можно поставить знак равенства. Достаточно хотя бы сослаться на нецензурные слова и выражения, которые известны всем, но которые никто не будет зачислять

в состав литературной лексики. Однако зачислять в словарный состав литературного языка только нейтральную и разговорную лексику по крайней мере странно.

Конечно, ядром литературной лексики являются стилистически нейтральные слова. Интересные подсчеты употребления стилистических помет в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова провели П. Н. Денисов и В. Г. Костомаров. Различные пометы в этом словаре употреблены 17 003 раза, из них «разг.» 5768 (33,92%), «спец.» 2888 (16,96%), «прост.» 1582 (9,29%), «устар.» 1946 (11,44%), «книжн.» 1258 (7,30%), «обл.» 299 (1,76%). Из этих цифр авторы делают вывод, что разговорная речь — особая разновидность русского литературного языка [40]. Об этом можно было бы говорить, если бы словарь С. И. Ожегова был составлен на основе данных устно-разговорной речи, но основой этого словаря является словарь под ред. Д. Н. Ушакова, фактической базой которого была картотека цитат из художественной литературы и отчасти знания литературного языка самих составителей, поэтому вернее говорить не о разновидностях, а о разговорных и иных лексических пластах литературного языка. Мною было проверено распределение стилистических помет в седьмом томе «Словаря современного русского литературного языка» (буква Н). Было насчитано всего 15530 стилистических позиций (под позицией понимается любой элемент словаря — слово, значение слова, оборот, форма слова и т. п. — который может получить стилистическую помету или не иметь ее, когда отсутствует стилистическая окраска). Стилистически нейтральных позиций оказалось 11 606 — 75%, стилистически окрашенных 3925 — 25%. Следовательно, три четверти словарных элементов лексической системы литературного языка нейтрально. Это основа, главное ядро литературного языка. Четвертая часть — стилистически окрашенные элементы, из них на «разг.» приходится 38,47% всех стилистических помет (9,71% всех стилистических позиций), «простореч.» 24,40% (6,22%), «устар.» 18,42% (4,65%), «спец.» 10,01% (2,53%) и «обл.» 3,72% (0,94%). Имеются и комбинированные пометы («устар. и простореч.», «устар. и обл.», «устар. и разг.» и др.), на которые приходится 4,63% стилистических помет (1,2% всех позиций). Большая часть стилистически окрашенных элементов (62,87%) приходится на разговорные и просторечные слои. Именно между ними труднее всего проводить границы, что хорошо известно каждому опытному лексикографу. Затруднений в выделении диалектизмов встречается меньше всего хотя бы потому, что помета «обл.» является самой редкой.

Надо полагать, иная картина была бы в разговорной разновидности литературного языка, в просторечии («полудиалектах»)

---

[40] П. Н. Денисов, В. Г. Костомаров. Стилистическая дифференциация лексики и проблема разговорной речи (по данным «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, изд. 3. М., 1953). — «Вопросы учебной лексикографии», изд-во Московского университета, 1969, стр. 112.

и в говорах, а также в жаргонах. Устно-разговорная литературная речь, как и любая другая разновидность устной речи, имеет свои особенности, если иметь в виду речь, специально не подготовленную, не ориентирующуюся на структуру письменно-литературного языка. Как в свое время говорил Л. В. Щерба, для обыденной диалогической речи характерно, что «сознательность» ее стремится к нулю. Специфические особенности разговорно-литературной речи еще предстоит изучить [41]. Определенные шаги в этом направлении предпринимает группа исследователей под руководством Е. А. Земской и некоторые другие языковеды. Уже сейчас начинает выясняться, что непринужденная разговорно-литературная речь отличается от письменно-литературного языка прежде всего структурой своего синтаксиса (нечеткость в делениях речевого контекста на предложения, недоговоренности, обрывы, повторы и т. п.). Достаточно просмотреть стенограммы неподготовленной разговорно-литературной речи, чтобы убедиться в этом. С позиций норм письменно-литературного языка такие стенограммы обычно следует переписывать заново. Что касается лексического состава разговорно-литературной речи, то он уже достаточно хорошо описан в толковых словарях. Правда, по замечанию Л. С. Ковтун, описание это дано через призму языка художественной литературы [42] (точнее было бы сказать, через призму норм письменно-литературного языка). Если бы не смотреть через эту призму, мы, вероятно, могли бы обнаружить повышенную вариативность лексических средств, некоторые сдвиги в значениях слов, особенности в словосочетаниях, наличие разного рода окказионализмов, несколько иное распределение стилистических оценок, в частности, больший удельный вес разговорно-просторечных слов, теряющих свою ярко выраженную окрашенность. Однако, вряд ли бы мы обнаружили сколько-нибудь заметное количество слов, вовсе нам неизвестных и доселе не описанных (при этом, конечно, нужно учитывать, что словари всегда отстают в регистрации неологизмов).

Можно и нужно говорить и о просторечии, о «полудиалектах», частью находящихся на периферии литературного языка, а частью за его пределами. Правда, что такое просторечие за пределами литературного языка, мы знаем плохо. В свое время Б. А. Ларин ставил вопрос о необходимости изучения языка города. Однако дело это не продвинулось не потому, что у Б. А. Ларина не нашлось последователей, а прежде всего потому, что оказалось крайне трудно определить предмет исследования ввиду чрезвычайной пестроты городского населения и в связи с этим неопределенностью методов изучения. По-видимому, в прошлом просторечие — устная речь тех городских слоев населения, которые в должной мере

[41] Е. А. Земская. О понятии «разговорная речь». «Русская разговорная речь». Саратов, 1970, стр. 3—10.

[42] Л. С. Ковтун. Лексические нормы русского языка и разговорная речь. «Современная русская лексикология». М., 1966, стр. 11.

не владели литературным языком и в то же время многое утратили из своей диалектной речевой основы. Лексика просторечия состояла из слов, усвоенных из литературного языка, из других общенародных слов, из всякого рода образований, обозначающих специфику городской жизни, в том числе и жаргонизмов, из искаженных литературных слов и, конечно, из остатков диалектной лексики. Естественно, что просторечие так или иначе территориально расчленялось, хотя в городах, особенно больших, диалектизмы причудливо смешивались. Могли возникать и свои особые городские локализмы, хотя о них мы мало знаем, а то, что знаем, нуждается в серьезной проверке. Например, обычным стало считать, что для городского просторечия Ленинграда характерно употребление слова *вставка*, *вставочка*, тогда как в Москве говорят только *ручка*. Однако, *вставка*, *вставочка* 'ручка с пером для письма', по данным «Словаря русских народных говоров», употребляется также в говорах Новгородской и Ивановской областей [43]. Попало это слово в указанные говоры из ленинградского просторечия или же, наоборот, проникло оно в это просторечие из местных говоров, остается неизвестным.

В настоящее время положение с просторечием, полудиалектами или «просторечно-диалектной речью» несомненно серьезно изменилось. Литературный язык стал достоянием широчайших слоев городского и сельского населения, позиции его расширяются и укрепляются. Вне того или иного воздействия литературного языка не остается ни один человек. В связи с этим образуются разные постоянно изменяющиеся степени овладения литературным языком. Теперешние просторечие или полудиалекты состоят из правильно или неправильно освоенных средств литературного языка, остатков старого городского просторечия, разного рода неизменно возникающих в устной речевой стихии новообразований и неодинаково устойчивых диалектизмов. И современное просторечие так или иначе диалектно окрашено (диалектные элементы нередко обнаруживаются даже в речи высокообразованных людей), но это вовсе не значит, что мы можем смешивать в просторечии его общенародные и диалектные особенности. Утверждение, что есть такие просторечные слова, которые имеют изоглоссы, было и остается нонсенсом.

Разумеется, что в просторечии стилистические оценки слов значительно отличаются от тех, что имеются в литературном языке. Если для носителей литературного языка *крайний* 'последний в очереди', *тролебус* 'троллейбус', *полуклиника* и под. нетерпимы, то для носителей просторечия они стилистически нейтральны.

Как разговорно-литературная речь, так и просторечие, в отличие от письменно-литературного языка и местных говоров, изучены очень плохо. Разговорные и просторечные слова в системе

---

[43] Словарь русских народных говоров, вып. пятый. Л., 1970, стр. 213.

письменно-литературного языка нам известны хорошо, тогда как специфика лексики разговорно-литературной речи и просторечия должна быть еще установлена. Методы изучения этой специфики должны быть различными. Все же мне представляется, что на первых порах главное внимание нужно уделить лексикологическому описанию (подготовка книг, статей и пр.) и лишь тогда, когда станет известен предмет исследования, можно будет приступить к составлению словарей, хотя разного рода словарные опыты возможны и теперь. И уж во всяком случае смешивать задачи разговорно-литературной и просторечной лексикографии с целями лексикографии диалектной означает не решить ни тех, ни других. Конечно, в любом словаре, независимо от его принципов, можно найти много полезного и поучительного, если словарь опирается на обширные и добросовестно записанные материалы. Однако при наших ограниченных возможностях не следует тратить силы на реализацию мало продуманных идей.

В диалектной лексикографии, кроме полных словарей отдельных говоров, сводных дифференциальных словарей, словарей тематических групп лексики и иных могут быть и даже очень желательны новые находки, новые типы словарей, но только такие, которые теоретически обоснованы и практически выполнимы.

Ф. П. ФИЛИН

К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ *

Как известно, существуют разные оценки достоверности реконструкций древнейшего общеславянского (праславянского) языка, как и других древних языков дописьменной эпохи. Для одних лингвистов единственной реальностью являются лишь соответствия между родственными языками, а исходные общие формы под звездочкой представляют собой только условные обозначения устанавливаемых сравнительным языкознанием рядов соответствий. С точки зрения этих ученых восстановить исходный праязык как конкретную лингвистическую единицу, как она существовала когда-то на самом деле, в принципе невозможно. Из этого следует, что определение времени возникновения и существования дописьменного праязыка и поиски прародины его носителей — дело мало перспективное и даже вовсе безнадежное. «Было бы напрасно пытаться локализовать общеславянский язык»[1], — писал в свое время один из крупнейших индоевропеистов и славистов А. Мейе.

Для других лингвистов, наоборот, реконструируемый праязык чуть ли не во всех его частностях — реальная языковая система, которая почти позволяет составлять на этом языке речевые тексты. Общеславянский язык последнего периода его существования отождествляется с исторически засвидетельствованным старославянским языком или, по крайней мере, считается очень близким к нему. Время распада общеславянского языка нередко относится к X—XI вв. и приурочивается к падению редуцированных гласных ъ и ь, диалектные расхождения между славянскими областями сводятся к минимуму (утверждается, что славяне в X—XI вв. по языку отличались между собой не больше или даже меньше, чем современные северновеликорусские говоры от южновеликорусских). Гипотезы о периодах развития праславянского языка и славянской прародине превращаются в догмы, которые любыми способами отстаиваются их сторонниками.

Разумеется, между крайними точками зрения существует множество промежуточных, более умеренных. Первый в нашем изложении скептический подход к проблеме происхождения славянских языков имеет под собой известные основания. Очень многие реконструкции особенностей праславянского языка противоречивы и, следовательно, условны. Достаточно вспомнить, например,

---

* Текст доклада опубликован в журн. «Вопросы языкознания», 1972, № 5.
[1] А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 13.

весьма различные исключающие друг друга толкования, как звучал праславянский гласный *ě*. Продолжается острая дискуссия о происхождении аканья и оканья: одни лингвисты (в том числе автор этих строк) полагают, что эти явления непосредственно связаны с особенностями фонетической системы праславянского языка, другие решительно отрицают эту гипотезу и настаивают на позднем происхождении аканья. Примерами противоречивых восстановлений исходных праславянских форм на всех языковых уровнях, можно сказать, полно современное сравнительно-историческое славянское языкознание. А там, где нет однозначных решений, мы имеем дело лишь с более или менее вероятными (или вовсе невероятными) предположениями, а не с точно установленными фактами.

То же можно сказать и об общих концепциях определения праславянского языка во времени и пространстве. Время выделения древнейшего славянского языка, как и самих славян как особого этнического сообщества, из праиндоевропейской среды называется разными учеными вполне произвольно. Некоторые исследователи зарождение славян и славянской речи приурочивают к III тысячелетию до н. э. (эпохе позднего неолита), другие к середине II тысячелетия до н. э. (например, Т. Лер-Сплавинский), третьи ко второй половине I тысячелетия до н. э. и т. д. и т. п. Со времени Н. Ван-Вейка [2] опубликовано множество не менее произвольных, основывающихся на относительной хронологии отдельных реконструируемых явлений или же на общих соображениях, периодизаций истории праславянского языка. Самый распад этого языка и возникновение отдельных славянских языков одними лингвистами относится к III—IV вв. н. э., другими к VI—VII вв., а третьими даже к X—XI вв., т. е., ко времени, хорошо засвидетельствованному историческими источниками. Проблеме славянской прародины посвящена огромная литература. Среди множества взаимоисключающих гипотез в настоящее время наиболее широкое распространение имеют висло-одерская и среднеднепровско-западнобугская прародины, а также попытки примирить эти гипотезы путем выдвижения компромиссного предположения, согласно которому праславяне занимали территорию между средним течением Днепра и верхним и средним течением Вислы. Постоянно выдвигаются и иные гипотезы. В дискуссиях на эту тему нередко примешиваются соображения, лежащие за пределами науки, а также изрядная доля фантазии.

И все же, несмотря на неизученность многих важных сторон доисторического прошлого славянских языков, мы не можем видеть в реконструкциях исходных праславянских форм только

---

[2] N. van W i j k. Les langues slaves. De l'unité à la pluralité, 1937 (без м. и.), и некоторые другие его работы.

условные обозначения рядов соответствий, за которыми не стоит никакой исторической реальности. Абсолютизировать эту условность в сущности означало бы лишить сравнительно-историческое языкознание всякого смысла. В языкознании, как и в любой другой науке, кроме правил описания предмета существует и главная, онтологическая сторона дела — самый предмет с присущими ему закономерностями, независимыми от исследовательского произвола. Многого мы не знаем, но это непознанное в конце концов будет раскрыто. Уже и теперь можно сказать без преувеличения, что достижения славянского сравнительно-исторического языкознания весьма значительны. Если мы еще не близки к тому, чтобы восстанавливать связные тексты праславянского языка, особенно ранних этапов его развития, которые были бы тождественны реально звучавшей доисторической славянской речи, то во всяком случае наших знаний о праславянском языке достаточно, чтобы отличить его от любого другого индоевропейского языка. Иными словами, основа для дальнейших исследований этой проблемы уже создана. Скептическая позиция в данном вопросе самая легкая и самая удобная, но и самая бесперспективная. Еще на заре славянской истории славяне отчетливо представляли единство своего происхождения и общность языков и даже ставили, подобно древнерусскому летописцу начала XII в., вопросы: «откуду есть пошла русская земля, кто в Киеве первее нача княжити и откуду русская земля стала есть», и по-своему отвечали на них. В течение многих столетий проблема происхождения славян и их языков продолжала обсуждаться, не будет оставлена она и в будущем, что свидетельствует о ее научной и общественной значимости. Нам только теперь представляется, что ее решения невозможно добиться усилиями одного ученого, каким бы мощным исследовательским талантом он ни обладал, так как происхождение славян и славянских языков включает в себя огромный комплекс вопросов, подлежащих ве́дению многих научных дисциплин. Все существующие гипотезы имеют один главный недостаток: отсутствие многих необходимых фактических данных восполняется произвольными предположениями, границы которых определяются субъективными особенностями творческой фантазии исследователя. Такое положение дел создает благоприятную почву для предвзятости, когда из множества противоречивых фактов, добытых наукой, отбираются только некоторые из них, соответствующие заранее созданной схеме, а остальные или нарочито дисквалифицируются или вовсе замалчиваются. Примеров этому можно было бы привести очень много.

Вероятно, для пользы дела было бы лучше сначала вести по определенной программе всемерное расширение знаний о доисторическом прошлом славянства без заранее установленной концепции его происхождения, а все существующие и вновь возникающие гипотезы рассматривать только как черновые рабочие схемы, которые по мере накопления новых данных могут заменяться

другими. Стремление во что бы то ни стало настаивать на своей концепции и отвергать иные точки зрения в таком еще далеко не изученном вопросе, как этно- и глоттогенез славян — путь, ведущий не к раскрытию истины, а к тупику. Этим я вовсе не хочу сказать, что существующие гипотезы должны быть попросту отброшены. В них имеется много ценных наблюдений, которые нужно использовать в дальнейших исследованиях. Только всесторонний и по возможности беспристрастный учет всех данных и строгая критическая проверка материала может привести нас к решению проблемы.

В подходе к этой проблеме на первое место выдвигаются лингвогеографические методы исследования. Надежность их зависит от разных обстоятельств, в том числе от хронологического фактора. Чем древнее эпоха, тем меньше уверенности в правильности наших предположений. Известно, что о времени и характере распада индоевропейского языкового единства высказано огромное количество взаимоисключающих гипотез, которое продолжает возрастать. В частности, получило распространение мнение (ср., например, гипотезу Х. Крае), согласно которому от праиндоевропейского единства сначала отделились индоиранцы, хетто-лувийцы, прагреки и иные «окраинные» индоевропейские племена, тогда как древнее индоевропейское ядро продолжало сохраняться где-то в районе севернее Альп. С этой точки зрения, славяне, балтийцы, германцы и иные «европейцы» являются относительно поздними этноязыковыми образованиями. Однако фактических доказательств для такого предположения нет. Древние индоевропейские племена ранних культур (Средиземноморье, Иран, Индия) получили или создали свои письменности в то время, когда племена центральной и восточной Европы пребывали еще во мраке невежества.

Хеттский, древнегреческий и иные языки, известные нам по письменным источникам, по крайней мере во II тысячелетии до н. э. уже значительно отошли от исходного индоевропейского состояния, но это еще вовсе не означает, что другие бесписьменные индоевропейские языки, в том числе и праславянский, по своему происхождению моложе хеттского и иных древнеписьменных языков. Начало их становления остается нераскрытой тайной. Целесообразней исследовать их историю, двигаясь от известного к неизвестному. Мы можем быть уверены в том, что праславянский язык в I тысячелетии н. э. и в века, непосредственно предшествующие нашей эре, несомненно существовал. Сравнительно-историческое языкознание реконструирует с достаточной достоверностью его структуру и процессы, происходившие в нем. С VI в. имеются несомненные исторические свидетельства о славянах. По-видимому, правы те ученые, которые видят славян в венедах, а это уже начало нашей эры. Есть исторические сведения о племенах и племенных группировках, которые соседствовали или могли соседствовать с славянами. Значит, мы имеем

некоторые отправные данные для локализации прародины славян и установления относительной хронологии некоторых инноваций в их языке, подготовивших в конечном счете почву для образования отдельных славянских языков.

Почти все компаративисты сходятся на том, что наиболее близкие связи праславянский язык имел с прабалтийским языком. Как бы ни истолковывать эту близость (толкования ее очень различны), ее можно объяснить только тем, что праславяне длительное время находились в тесном контакте с прабалтами. Ядром прабалтов в конце I тысячелетия до н. э.—в начале н. э. была область, прилегающая к юговосточному изгибу побережья Балтийского моря. Что касается их восточных границ, то они остаются еще не определенными, о чем свидетельствуют взаимоисключающие гипотезы на этот счет. Когда появились балтийские племена в северном Поднепровье и верховьях Оки, как далеко они заходили на юг от этих мест, занимали ли указанную территорию целиком или только местами — все это еще предстоит установить. Недостатком разысканий балтийской топонимики данных районов является то, что из внимания исследователей выпали топонимы иного, небалтийского происхождения, соседствующие с несомненными балтизмами. Так или иначе, праславяне соседствовали с прабалтами, но где проходила эта граница? Одни исследователи считают, что праславяне жили южнее и юго-восточнее прабалтов, другие помещают их юго-западнее балтийских племен (среднеднепровско-западнобугская и висло-одерская гипотезы прародины славян).

Объективности ради будем считать этот вопрос открытым. В лингвистической литературе высказывались предположения об особой близости праславянского языка к западнобалтийским диалектам, даже о происхождении праславянского языка от одного из западнобалтийских диалектов и, наоборот, о происхождении западнобалтийских диалектов от одной праславянской группы говоров. Об этих предположениях можно сказать, что они по крайней мере преждевременны. Дальнейшие всесторонние и систематические исследования древних балтославянских взаимосвязей, как можно надеяться, принесут много открытий.

Очень важно исследование древних сепаратных славяно-германских отношений, которое могло бы ответить на вопрос, соседствовали ли праславяне с прагерманцами в века, непосредственно предшествующие нашей эре, или нет. Пока что в лингвистической литературе высказывались и высказываются на этот счет взаимоисключающие предположения. Одни исследователи уверены в том, что сепаратные славяно-германские связи существовали, что нашло свое отражение в некоторых общих древних славяно-германских явлениях в фонетике, грамматических формах и лексике. Вся трудность здесь заключается в том, что, во-первых, эти явления не поддаются хронологизации и могут рассматриваться как рудименты более древних эпох, чем то время, о котором у нас идет речь, во-вторых, не исключено их истолкование как независимых

инноваций на общей исходной праиндоевропейской базе. По-видимому, внимание компаративистов должно быть приковано к широким поискам новых данных и беспристрастной оценке всего комплекса вопросов. Другие исследователи настаивают на том, что славяно-германские контакты начались поздно, не раньше начала нашей эры. Н. С. Чемоданов, подведший итоги славяно-германских лексических связей в 1-м томе коллективного труда «Сравнительная грамматика германских языков», получившего высокую оценку германистов различных стран, устанавливает, что лексическая общность славянских и германских языков — явление позднее, в то время как в балтийских языках имеются целые пласты древнейших германских заимствований, из чего следует, что балтийцы на западе издревле соседствовали с германцами [3]. Разумеется, не следует спешить с окончательными выводами, а нужно продолжать исследования в этой области.

Перспективным является изучение славяно-иранских связей. Территория северноиранских племен (скифов, сарматов и др.) и время их господства на южнорусских равнинах (от северного Кавказа до устьев Дуная) известны (вторая половина I тысячелетия до н. э.—начало н. э.). В последние годы выявляются все новые и новые пласты в праславянской лексике, общие с соответствующими словами в иранских языках. Крупнейший советский иранист В. И. Абаев недавно писал: «бросается в глаза обилие специфических скифославянских схождений. По количеству и весу сепаратные скифославянские изоглоссы далеко превосходят сепаратные связи скифского с любым другим европейским языком или языковой группой» [4]. Если эти выводы не будут опровергнуты, из этого следует только одно: во второй половине I тысячелетия до н. э. праславяне были непосредственными соседями северных иранцев. Важно, что славяно-иранский языковой контакт поддается хронологическому определению. С моей точки зрения, также показательно, что сепаратные ирано-балтийские языковые связи, по крайней мере, по данным современной компаративистики, не идут ни в какое сравнение с сепаратными славяно-иранскими связями.

Конечно, исследование связей праславянского языка со своими соседями не должно исчерпываться установлением славяно-балтийских, славяно-германских и славяно-иранских отношений. Объектом изучения должен быть весь комплекс вопросов, имеющих отношение к древней лингвистической географии Европы и сопредельных с нею областей. Ведь обнаруживаются отдельные сходные явления в праславянском и хеттском, в праславянском и тохарском и т. д. и т. п. Оценивая эти и иные сходства, мы должны иметь в виду два непременных условия: 1) являются ли эти сходства элементами микросистемы или же это разрозненные

---

[3] «Сравнительная грамматика германских языков», т. 1. М., 1962, гл. I.
[4] В. И. Абаев. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965, стр. 135.

явления, 2) поддается ли сходство хотя бы относительному хронологическому определению. Без выполнения этих условий мы не избавимся от произвола субъективных схем.

Большое значение для определения пространственно-временных координат праславянского языка имеет анализ пластов древнего словарного состава, содержащих в себе локально-темпоральные признаки. Уже теперь успехи праславянской лексикологии и лексикографии можно считать значительными. Очерчиваются общие границы состава праславянской лексики. В этимологическом словаре славянских языков, который подготавливается О. Н. Трубачевым и его сотрудниками, будет представлено свыше десяти тысяч праславянских слов. Среди них многие сотни слов относятся к нарицательным географическим наименованиям, к обозначениям локальных особенностей живой и неживой природы. Собран богатый материал по нарицательным географическим названиям (восточнославянская лексика этого рода представлена в трудах Н. И. Толстого, М. Юрковского, А. И. Яшкина, В. М. Мокиенко, В. А. Никонова, Т. А. Марусенко и других исследователей), по некоторым славянским языкам почти исчерпывающе. Предварительные исследования (К. Мошинского, автора этих строк и др.) показывают, что праславянскому языку были чужды слова, обозначающие специфические особенности природы степей, гор и морей. В современных славянских языках такие слова являются или заимствованиями или поздними образованиями. Само название *степь* в письменности появляется только в XVII в., этимология его невыяснена (по-видимому, оно заимствовано). Исконнославянское *поле* исстари многозначно и его применение к степи неисконно. Ср. такие сравнительно поздние заимствования, как др.- русск. *евшан* 'степная полынь,' *типчак* (степная трава), *тушканчик*, *черепаха*, *сайгак*, *байбак* и т. д. и т. п. Праславянское *гора* означает и возвышенность и лес, что делает вероятным предположение о его древнем значении 'холм, возвышенность, покрытые лесом'. Наименования особенностей, типичных для горного ландшафта — *хребет*, *гребень*, *ущелье*, *планина (полонина)*, *пик* и пр., явно поздние (переносные значения, производные образования, заимствования). Слово *море* в разных славянских диалектах означает также 'болото', 'озеро', в других индоевропейских языках те же значения плюс 'залив' (ср. лит. *mãrios* 'Куршский залив'), 'лужа', также 'море'. Этимологи не без основания полагают, что древнейшим значением слова *море* было 'болото', 'озеро', 'небольшой водоем'. Названия рыб и животных Балтийского моря — *сельдь*, *салака*, *треска*, *минога*, *килька*, *бельдюга*, *тюрбо*, *тюлень* и др. обычно являются заимствованиями или поздними локальными новообразованиями. Слова *лосось* и *угорь*, которые широко использовались в различных гипотезах о членении и географии индоевропейских языков, обозначают рыб, хорошо известных и в реках балтийского бассейна. Обозначения таких особенностей ландшафта, как *остров*, *залив*, *мыс* и

др. не связаны с особенностями морской топографии: они или «речного» происхождения или являются поздними образованиями и заимствованиями. Праславянское *o-strovъ 'то, что обтекается' (связано с словами *струя*, *струмень*), 'речной остров'. Ср. значение сербохорв. *ȍток* 'остров', т. е. то, что обтекается. Понятия 'залив', 'мыс' и пр. передаются в славянских языках различными словами.

В то же время масса исконнославянской лексики древнего происхождения обозначает реалии, характерные для лесистой местности умеренного климата: названия особенностей ландшафта — *озеро*, *пруд* («быстрое течение в реке», к *pręd- 'прыгать', 'скакать', 'прядать'), *болото*, *багно*, *болонье*, *бор*, *лес*, *пуща*, *дуброва*, *бор*, *луг* и многие другие; названия деревьев — *дуб*, *береза*, *липа*, *осина*, *ясень*, *клен*, *орех*, *ольха*, *ива*, *рябина*, *верба*, *сосна*, *ель* и т. д.; названия диких животных, птиц и пресноводных рыб — *медведь*, *волк*, *лиса*, *заяц*, *рысь*, *лось*, *олень*, *тур*, *зубр*, *вепрь*, *соболь*, *куница*, *ласка*, *горностай*, *гусь*, *утка*, *лебедь*, *голубь*, *стриж*, *ворон*, *ворона*, *соловей*, *скворец*, *дятел*, *сом*, *окунь*, *язь*, *линь*, *елец*, *лещ*, *щука* и т. д. Любопытны наблюдения К. Мошинского, по которым названия деревьев, специфичных для Западной и Центральной Европы, в славянских языках являются заимствованными (*бук*, *явор*, *модрев* 'западноевропейская лиственница', *тис* и др.) [5].

Таким образом, по предварительным данным праславянской лексикологии, праславяне занимали (по крайней мере, во второй половине I тысячелетия до н. э. — в начале н. э.) лесистые земли умеренного климата, обильные реками, озерами и болотами и в тоже время не включавшие в свой состав степи, горы и приморские области. Конечно, это еще не окончательные результаты. В этом плане надлежит обстоятельно исследовать всю праславянскую лексику без каких-либо существенных пропусков. На этом пути нас может ожидать еще немало открытий. Со стороны некоторых лингвистов выдвигаются возражения, которые имеют цель свести на нет значение показаний праславянской лексики в освещении проблемы происхождения славянских языков. Эти лингвисты указывают на то, что значения слов, которые берутся нами в качестве доказательств, изменялись, и крайне проблематична возможность установления их семантического развития, что климатические, а особенно ботанические и зоологические зоны под мощным воздействием человека постоянно изменялись, что праславяне могли называть своими исконными словами природные явления, не свойственные их прародине, узнавая о них от своих соседей, и т. д. Эти возражения неосновательны. Трудности восстановления древних значений слов, конечно, имеются, но они относятся не только к интересующей нас лексике, но и к любым

---

[5] K. Moszyński. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław—Kraków, 1957.

праславянским словам вообще. Если уж не признавать возможностей лексико-семантических реконструкций, надо в таком случае отказаться от этимологии как научной лингвистической дисциплины, для которой содержательная сторона слов — один из краеугольных камней всего ее здания.

Для того чтобы не было серьезных ошибок, очень важно привлекать данные палеоклиматологии, палеоботаники, палеозоологии, науки о палеоландшафте. Необходима увязка истории слов с историей обозначаемых ими реалий. Следует напомнить, что всемирно известный ботаник Н. И. Вавилов сумел обнаружить первичные ареалы ряда культурных растений и проследить историю их распространения. А ведь зоны культурных растений куда более подвижны, чем зоны диких растений и животных. Что касается особенностей ландшафта, то моря, горы, степи и лесная полоса с умеренным климатом со времени праславянской эпохи остались на своих прежних местах. Важно отметить, что мы имеем дело не с единичными примерами, а с массовыми показаниями лексики. Наличие в праславянском языке множества обозначений природных особенностей лесной полосы с умеренным климатом и обилием рек, озер и болот и отсутствие древних названий специфических явлений степей, гор и морей — обстоятельство весьма существенное. Если мы можем ошибаться в анализе отдельных слов, то массовость показаний праславянской лексики невозможно приписать случайности. Отдельными специально для этого подобранными примерами можно манипулировать как угодно, но масса фактов лежит за границами произвола.

Серьезным подспорьем в освещении проблемы происхождения славянских языков является топонимика, которая широко используется в этногенетических исследованиях. Говоря о топонимическом источнике, следует подчеркнуть сложность истории топонимов на славянской территории и прилегающих к ней землях. Всё это районы древнего заселения. Крупные топонимические объекты (большие реки, озера, горы и т. п.) получили свои наименования во времена, предшествующие образованию праславян, прабалтов, прагерманцев и иных этноязыковых единиц древности. Обычно эти наименования с различными вариациями передавались от одного этноса к другому. Вот почему попытки этимологизации названий таких рек, как *Одра*, *Висла*, *Дунай*, *Днестр*, *Днепр*, *Припять*, *Волга*, *Ока* и др. всегда были неоднозначными и вызывали законные сомнения. Их апеллятивы принадлежат языкам эпохи индоевропейского сообщества и других древнейших этнических объединений, поэтому эти топонимы вряд ли помогут нам в прояснении вопроса происхождения славян. Наименования собственно славянского происхождения, поздние по сравнению с вышеупомянутыми, всюду перемешаны с неславянскими топонимами. «Чисто славянских» по топонимике земель не существует. Можно говорить только о сгущениях или разреженном распределении собственно славянской топонимики. Однако сгущения

славянских топонимов еще не являются неопровержимыми доказательствами принадлежности территории, где они наблюдаются, к славянской прародине. Нужно учитывать разные обстоятельства: возможность бурного развития топонимических инноваций на местах позднего заселения, тогда как на прародине было преобладание дославянских топонимов, всякого рода иноязычные воздействия, в результате которых могли произойти серьезные сдвиги в распределении топонимических названий, и т. п. Сама славянская топонимика имеет длительную историю. Еще предстоит выработать объективные методы выделения в ее составе древних пластов, относящихся к праславянскому периоду. По-видимому, важно учитывать повторяемость топонимов, особенно повторяемость не единичных названий, а целых комплексов. Так или иначе, топонимические данные могут иметь значение не сами по себе, а в соединении со всеми другими сведениями, которые дает славянское сравнительно-историческое языкознание. Разумеется, могут быть и другие историко-лингвистические подходы кроме тех, о которых говорится в настоящей статье. Выдвижение новых аспектов, совершенствование самих методов исследования будет способствовать достижению искомой истины.

В настоящее время данные языка представляются наиболее надежным признаком этнических единиц, о которых нет надежных письменных свидетельств. Однако сравнительно-историческое языкознание не всесильно. С его помощью локально-хронологические координаты древних этнических образований можно определить только приблизительно. Проблему происхождения славян и славянских языков лингвистам нужно решать в содружестве с историками, археологами, этнографами, антропологами, представителями других смежных дисциплин. К сожалению, мы еще далеки от того, чтобы с уверенностью сопоставлять лингвистические признаки древнего этноса с признаками, которые выдвигаются другими общественными науками. С моей точки зрения, например, территория, которую занимали северные племена черняховской культуры и племена зарубинецкой культуры, была славянской. Однако, археологи дают взаимоисключающие определения этнической принадлежности этих культур. Примеров разнобоя, когда речь идет об этносе древних археологических культур, в том числе на территории исторически засвидетельствованного славянства, можно было бы привести очень много. Это скорее правило, а не исключение. Между тем, можно полагать, что в материальной и духовной культуре древних племен, обнаруживаемой археологами, имеются явления (особенно не связанные непосредственно с хозяйственной жизнью), в которых отражаются этнические своеобразия древнейшего населения. Однозначное объективное определение таких своеобразий, не зависящее от заранее выдвинутых предвзятых схем, было бы подлинной революцией в изучении истории дописьменных эпох. В отличие от языкознания археология может устанавливать локально-хронологические координаты своих

объектов не приблизительно, а довольно точно. В свете точных данных археологии, в этническом отношении интерпретированных однозначно и объективно, получили бы твердую опору и лингвистические факты, как факты других исторических наук.

А пока что вопрос о происхождении славян, несмотря на длительную историю своей разработки и посвященную ему огромную литературу, во многих отношениях остается открытым. Время образования этноязыковой славянской общности и место нахождения древнейшего славянского населения нам неизвестны. К началу нашей эры славяне, имевшие уже длительную историю, занимали обширные пространства. Как полагают многие исследователи, в том числе и автор этих строк, они занимали земли между средним течением Днепра и верхним и средним течением Вислы [6]. Это были их исходные позиции перед великим расселением, которое произошло в следующие столетия. К VI веку, т. е. ко времени овладения Балканским полуостровом, их племена продвинулись к нижнему и среднему Дунаю, а также в области на запад от Вислы. В VII—VIII вв. они расселились от Греции и Адриатики на юго-западе до Волхова и Ладожского озера на северо-востоке. Славяне оказались в очень различных природных, хозяйственных и культурных условиях; в разном этноязыковом окружении. Праславянское единство распалось. О нем сохранились лишь предания да языковая близость, кое-что из обычаев и верований. Распался и праславянский язык, дав начало отдельным славянским языкам и языковым группам. Распад его был подготовлен всем ходом истории, в том числе усилившимся диалектным расхождением. Следует заметить, что определение, когда мы можем говорить о диалектах и о самостоятельных языках, зависит не только от лингвистических данных. Известно, что современные южные и северные диалекты немецкого языка отличаются друг от друга больше, чем разнятся между собой современные восточнославянские языки, однако в первом случае мы имеем дело с диалектами одного языка, а в другом с близкородственными, но самостоятельными языками. Славянские племенные группы VII—VIII вв. преобразовывались в народности, причем каждая из славянских народностей имела свой особый язык, хотя все славянские языки того времени находились в отношениях ближайшего родства. Приблизительно в это время прекращаются общие инновации, охватывающие всю славянскую языковую область. Ссылки на общеславянское падение редуцированных гласных (X—XIII вв.) и некоторые другие изменения, как свидетельства сохранения праславянского языка в это позднее время, несостоятельны, так как результаты таких инноваций в разных славянских областях были

---

[6] Гипотеза о прародине славян второй половины I тысячелетия до н. э. изложена мною в книгах: Ф. П. Филин. Образование языка восточных славян. М.—Л., 1962; Он же. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.

различными. Один общий исходный материал видоизменялся в разных местностях и в разное время неодинаково, в отличие от многих праславянских изменений, которые были общими для всех славян и по своим результатам.

От времени распада праславянского единства и образования самостоятельных славянских народностей и их языков прошло свыше двух тысяч лет. Однако и в наше время славянство, объединенное общими великими и благородными целями построения нового общества без эксплуататоров и эксплуатации, не забыло и не забудет о единстве своего происхождения.

К. И. ХОДОВА

СТРУКТУРА ОТНОШЕНИЙ, ВЫРАЖАЕМЫХ ФОРМАМИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

§ 1. Замечалось, что формы склонения славянского имени существительного выражают весьма разнообразные отношения, а собственное функциональное назначение каждой формы склонения кажется неуловимым. Например, еще А. Мейе констатировал: «Употребление падежей нельзя свести к простым формулам, так как падежи не выражают ни логических категорий, как, например, чи́сла, ни категорий конкретных, как род, по крайней мере там, где род сохранил определенное значение» [1]. А. А. Потебня так писал о творительном падеже в русском языке: «Мы привыкли говорить об одном творительном в русском языке, но на деле этот падеж есть не одна грамматическая категория, а несколько различных, генетически связанных между собой. Всякое особое употребление творительного есть новый падеж, так что, собственно, у нас несколько падежей, обозначаемых именем творительного» [2]. Указывалось, что существующие определения «общих» значений отдельных падежей не соответствуют истинной картине их функционирования: «На сложность интерпретации употребления индоевропейского генитива обращали внимание многие исследователи. . . Не случайно то обстоятельство, что ни одно «общее» определение значения родительного падежа (в разных индоевропейских языках) — начиная от древнеиндийских грамматиков и . . . кончая новейшими попытками в этом направлении — не являются удовлетворительными», — считает Т. В. Булыгина [3]. Отсутствие прямой связи между «выражением» и «содержанием» падежа подчеркнуто С. Д. Кацнельсоном: «Что, в самом деле, непосредственно выражают формы какого-либо падежа? Ничего, кроме указания на место этих форм в парадигме и способности их получить в предложении одну из многих. . . функций,

---

[1] А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 371.

[2] А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. I—II, М., 1968, стр. 86. Ср. также: «Творительный падеж в славянских языках» под ред. С. Б. Бернштейна. М., 1958, стр. 35.

[3] Т. В. Булыгина. О сочетаниях с родительным падежом в современном литовском языке. «Lietuvių kalbotyros klausimai», II. Vilnius, 1959, стр. 90.

закрепленных за этим падежом в системе данного языка»[4]. Признавая, как и другие авторы, полифункциональность каждого падежа, Е. Курилович обратил внимание на различие двух сфер падежного функционирования: «синтаксической» и «семантической» — и показал, что падеж имеет отношение и к той, и к другой сферам (если у одного падежа может быть первичным синтаксическое функционирование, а вторичным — семантическое, то у другого возможно обратное соотношение этих типов функционирования)[5]. Разделение двух названных аспектов раскрывает важные особенности функционирования падежей и является значительным шагом вперед в постижении их специфики.

В настоящем докладе излагаются некоторые новые наблюдения над особенностями падежного «плана содержания» и предлагаются критерии разграничения типов выражаемых ими различий.

§ 2. Рассматриваемый круг проблем оказывается тесно связанным с дискуссионным вопросом: принадлежит ли падеж со стороны его содержания синтаксису или морфологии?

В редакционной статье журнала «Вопросы языкознания», появившейся сразу после IV международного съезда славистов, была отмечена разноречивость (и даже противоположность) в освещении на этом съезде данного вопроса: «В докладах и выступлениях на съезде были представлены разные концепции в определении падежных значений: морфологическая, утверждающая, что падежи, помимо контекстуальных частных употреблений и смыслов, обладают «общим» или морфологическим значением, не зависящим от контекста (доклад Р. Якобсона), и синтаксическая, отрицающая у падежей наличие какого-либо значения вне контекста словосочетания (например, доклад П. С. Кузнецова). Многое в этих концепциях оказывается спорным, как показала и оживленная дискуссия. Морфологическая точка зрения нуждается в строгом обосновании прежде всего на широком конкретном материале: до сих пор на практике нет четкого разграничения морфологического значения и синтаксических значений. Этот вопрос со времени его возникновения и обострения внимания к нему в 30-х годах текущего столетия оказался мало продвинутым вперед»[6].

Прежде всего, термин «морфология», здесь, на наш взгляд, не подходит: морфологией более уместно называть ту область науки о языке, которая исследует внешнее, материальное выражение разнообразных отношений, формальные средства их передачи

---

[4] С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, стр. 91.

[5] См. Е. Курилович. Проблема классификации падежей. «Очерки по лингвистике». М., 1962.

[6] Вопросы славянского языкознания на IV международном съезде славистов. — ВЯ, 1959, № 1, стр. 11. Ср. аналогичное рассуждение в статье: Н. Ю. Шведова, В. В. Лопатин, И. У. Улуханов, В. А. Плотникова. Изучение грамматического строя русского языка. «Теоретические проблемы советского языкознания». М., 1968, стр. 297.

(ведь μορφή значит «форма», «вид», «внешность»). Нам представляется приемлемым отделение морфологии как учения о форме от учения о грамматическом содержании. При таком подходе вся проблема падежного функционирования оказалась бы достоянием того раздела лингвистики, который занимается изучением грамматического содержания. Этот раздел можно было бы назвать синтаксисом [7].

Грамматическое содержание включает в себя аспекты грамматического значения и функции. В соответствие с этим синтаксис, как мы его понимаем, может быть подразделен на учение о грамматических значениях и учение о функциях. При таком подходе вопрос, поставленный в статье из журнала «Вопросы языкознания», сводился бы не к выбору между «морфологической» и «синтаксической» концепциями, а к выбору между парадигматической и синтагматической концепциями падежа [8]. Действительно, в приведенном высказывании «морфологическое» значение падежа понимается как некое его общее значение, не зависящее от контекста, и «морфологическими» считаются падежные характеристики, которые выявляются в парадигматическом плане языка на основе коммутации и соответствуют единицам значения (ибо значения форм в их отдельности, в отрыве от контекста могут быть выделены лишь в тех условиях, когда эти формы максимально от контекста независимы, то есть находятся в одной и той же позиции).

Признание «морфологического» (в понимании авторов редакционной статьи журнала ВЯ) характера падежа повлекло бы за собой признание существования категории падежа. Действительно, для того чтобы констатировать существование грамматической категории, требуется в первую очередь выяснить, служат ли различающиеся формы для реализации грамматических оппозиций, выражает ли их различие единицы значения, так как грамматические категории познаются только в парадигматических противопоставлениях единиц значения [9]. Под синтаксисом же в приведенном высказывании подразумеваются отношения,

---

[7] Ср. предложенное В. Матезиусом разделение лингвистического исследования на теорию номинации (или лексику, или ономатологию) и синтаксис. Морфологии при таком разделении отводится задача изучения выразительных средств. См. В. Матезиус. О системном грамматическом анализе. «Пражский лингвистический кружок». М., 1965, стр. 228—229.

[8] Отождествление синтагматического анализа с синтаксическим, а парадигматического — с морфологическим имеет широкое распространение в лингвистике. См., например: Б. Трнка и др. К дискуссии по вопросам структурализма. — ВЯ, 1957, № 1, стр. 48—49.

[9] Так, согласно Ю. С. Маслову, во всех случаях, когда мы имеем дело с грамматической категорией вида, «обязательно наличествует грамматическое противопоставление, носящее строгий «парадигматический» характер, охватывающее всю глагольную лексику или хотя бы достаточно широкую ее часть и проявляющееся или по крайней мере могущее проявиться в рамках одного лексического значения» (Ю. С. Маслов. Вопросы глагольного вида в современном зарубежном языкознании. — «Вопросы глагольного вида». М., 1962, стр. 9).

складывающиеся на горизонтальной оси, то есть синтагматические отношения.

Суть проблемы, которую требуется решить, можно сформулировать следующим образом. Каждое имя существительное реализуется совокупностью нескольких различных падежных форм, составляющих словоизменительную парадигму одного слова. Внешне падежные формы различаются окончаниями и изменяемыми частями основы. Но какой тип различий плана содержания передает это формальное различие? Можно ли считать, что разные падежные формы, подобно, например, разным формам глагольных времен, служат средством выражения особой грамматической категории? Каково содержание этой категории? [10]

В основу настоящего доклада положено исследование функционирования форм склонения имени существительного, выполненное на обширном материале древнейших текстов старославянского языка: Мариинского, Зографского, Ассеманиева Евангелий, Саввиной книги, Супрасльской рукописи, Клоцова сборника, Синайской псалтыри, Синайского требника, Енинского Апостола и некоторых других. Рассматривается функционирование форм, зависимых от глагола — как центральное, содержащее в себе наиболее существенные черты изучаемого явления. Ниже, преимущественно в § 3—5, сообщаются установки методического характера, которыми мы руководствуемся.

§ 3. Мы исходим из того, что значение или функция падежа не связаны неразрывно с какой-либо определенной падежной формой; мы будем стремиться к тому, чтобы рассматривать не отдельные формы, а различия форм, потому что различиями форм как раз и передаются интересующие нас различия в содержании [11].

Эти различия могут быть двух родов.

Нам кажется принципиально важной уже давно высказанная мысль о том, что в основу грамматических работ должно быть положено разделение отношений между элементами языка на синтагматические и парадигматические отношения. Смешение этих двух планов может вызвать ошибку применения приема коммутации к элементам, занимающим разные позиции. Представляется неоспоримым провозглашенный тезис о подчинении анализа пара-

---

[10] В некоторых современных работах уже высказывалось сомнение в том, что падеж следует трактовать как грамматическую категорию. См., например: В. Мигирин. К вопросу об определении категории падежа. — РЯШ, 1953, № 5; Д. А. Штелинг. О неоднородности грамматических категорий. — ВЯ, 1959, № 1.

[11] Так, согласно А. Мартине, элементы плана содержания (которые, по его выражению, «неясно видимы») обнаруживаются тогда, когда имеет место фонетическая модификация (типа homini-hominibus) и при этом не требуется, чтобы определенный сегмент означающего отождествлялся с определенным означаемым как его постоянный эквивалент. См. A. Martinet. Quelques traits généraux de la syntaxe. — «Free University Quarterly», vol. VII, N 2. Amsterdam, 1959, стр. 5.

дигматического плана анализу синтагматического плана в масштабе всего языка (так, согласно Г. Гийому, значимость формы в системе «определяется ее позицией, которая предваряет ее оппозицию другим формам») [12].

§ 4. Различия лингвистических единиц на синтагматической оси, то есть контрасты, предполагают возможность одновременного существования различаемых единиц, которое доступно для наблюдения. Установление отношений между одновременно существующими элементами обычно считается основным объектом синтаксиса: «Так как синтаксис трактует соответственную позицию лингвистических элементов, самым существенным в синтаксисе будет определить, находится ли один данный элемент до или после другого элемента», — полагает А. Мартине [13]. Это общее положение нуждается, однако в некоторых уточнениях в применении к падежам. Для единиц означаемого, передающихся различием падежных форм, определение окружения или контекста связано (по крайней мере для славянских языков) с разрешением некоторых особых задач. Порядок элементов высказывания является здесь свободным и не смыслоразличительным, то есть возможные перестановки этих элементов не изменяют его основной смысл; такое положение вещей «препятствует недвусмысленному определению контекста каждого из слов . . . в терминах его окружения в цепи» [14]. Как заметил И. И. Ревзин, синтагматическая модель, если ее перенести в синтаксис из фонологии, «не может адекватно описать явления синтаксиса, поскольку в ней устанавливаются отношения лишь между рядом стоящими словами, ср., например: *в* → *очень* → *большой* → *дом*, где пара (*в*, *очень*) отражает совершенно случайную связь» [15]. В описываемых условиях, то есть при возможном отсутствии связей между элементами, расположенными контактно, и при возможном наличии связей между словами, не находящимися в контакте, определение грамматического контекста следует основывать на критерии ином, чем порядок слов [16]. Падежные различия

---

[12] G. Guillaume. La langue est-elle ou n'est elle pas un système? — «Cahiers de linguistique strukturale», N 1, 1952. Ср. также мысль Е. Куриловича: «Существенной чертой, общей для звуковой и семантической систем, является то, что классы изофункциональных элементов основаны на структурах. . . . От современной лингвистики мы ждем именно строгого и явного анализа структур, в результате которого будут получены классы, основанные по своим синтаксическим функциям на структурах» (Е. Куриловичч. Лингвистика и теория знака. «Очерки по лингвистике», стр. 15).

[13] A. Martinet. Quelques traits généraux de la syntaxe, стр. 2.

[14] S. Lampach. Remarques sur la neutralisation des oppositions grammaticales. — «Travaux de l'Institut de Linguistique», vol. II. Paris, 1957, стр. 190.

[15] И. И. Ревзин. Модели языка. М., 1962, стр. 117.

[16] S. Lampach. Указ. соч., стр. 190. Т. В. Булыгина, излагая вопрос об установлении инвентаря граммем для одной и той же позиции, также замечает, что поскольку речь идет о единицах содержания, «позиция» употребляется не в пространственном смысле. . .» (Т. В. Булыгина. Грамматические оппозиции. «Исследования по общей теории грамматики». М., 1968, стр. 210).

на синтагматической оси или падежные контрасты выявляются не из различий реальных речевых окружений этих форм, но из различий в их связях, то есть из различий их отношений к прочим элементам высказывания.

§ 5. Общее положение о том, что позиционные характеристики падежей раскрываются в предложении, нуждается еще в одном необходимом пояснении. Как известно, Ф. де Соссюр определил отношения на синтагматической оси как отношения in praesentia, в противоположность отношениям in absentia, складывающимся на парадигматической оси. Но все же реально присутствующих элементов предложения для определения истинных синтагматических отношений между его членами недостаточно. В реально произнесенном или написанном предложении могут быть пропущены некоторые звенья, в том числе и важнейшие. Такое предложение относится к речи, общая же схема его построения — достояние языка. А. В. де Гроот различает «предложения речи» — «высказанные предложения» (spoken—sentences) и «предложения языка» — «типы предложений» (sentence—types). В язык входят как раз типы предложений, потому что язык представляет собой не только набор знаков, но и набор правил их употребления [17].

Итак, для выявления истинных позиций падежных форм недостаточно данных того или иного реального предложения речи с определенным числом его наличествующих элементов, а порядок этих элементов, как сказано выше, не имеет существенного значения. Неискаженное представление о синтагматических связях, об истинной позиции грамматического элемента — в настоящем случае падежа — дает не наличествующее предложение — речевая реализация виртуальной языковой схемы, — а сама эта схема, потенциальное предложение, предложение языка, результат мысленного восполнения недостающих звеньев «предложения речи» в их синтагматических связях.

§ 6. Зависимость падежей от глаголов неоднородна; различаются две ее разновидности, разница между которыми определяет тип анализа падежных различий. Есть падежи, состоящие с глаголом в отношениях тесной связи, и падежи, связанные с глаголом свободной связью.

Остановимся на особенностях падежей, связанных с глаголом отношениями тесной связи, или управляемых падежей [18]. Свойство некоторых глаголов «с достаточно большой вероятностью предсказывать одну или несколько форм зависящего от него

---

[17] A. W. de Groot. Structural Linguistics and Syntactic Laws. — «Word», 1949, vol. 5, N 1, стр. 2—3.

[18] Здесь не проводится традиционное разграничение «сильного» и «слабого» управления, так как этот аспект находится в стороне от основной проблемы. Из новейшей литературы по этому вопросу см., например: Б. М. Гаспаров. Опыт теории синтагматических связей (на материале современного русского языка). «Ученые записки Тартуского Гос. Ун-та», вып. 266. Тарту, 1971, стр. 43—52.

слова»[19] называется управлением. Так как сами управляемые падежные формы строго предопределяются семантикой управляющего глагола, то сочетаемость с определенным падежом (или цепочкой падежей) и составляет одну из особенностей лексико-семантической характеристики объектного глагола[20]. Глаголы, управляющие одним и тем же (одиночным) падежом, составляют лексически замкнутую группу, в то время как управляемые определенным глаголом падежи образуются от существительных, разнообразных по лексической семантике[21]. Но лексическая замкнутость круга глаголов с одинаковым типом одиночного управления не предполагает их лексико-семантической однородности: способность управлять одним и тем же падежом характеризует глаголы, «общность которых далеко не очевидна, если она вообще имеется»[22].

Некоторые глаголы связываются с целым последовательным рядом или цепочкой падежей[23]. Расширение при помощи нескольких именных дополнений отличает глагол от других классов слов; по этому свойству к нему приближаются лишь отглагольные существительные (последнее, между прочим, указывает на то, что способность управлять падежами заложена в самой глагольной основе). Количество необходимых дополнений называется валентностью глагола; различаются глаголы с одноместной, двухместной, трехместной, четырехместной валентностью. В русском языке, как показал Ю. Д. Апресян, группы глаголов, управляющих одинаковыми цепочками падежей, лексически замкнуты[24].

Способность глагола к управлению является существенной особенностью не только лексической, но и синтаксической его характеристики.

Еще К. Бюлер, рассматривая падежную концепцию В. Вундта, подчеркивал, что существенный признак грамматических падежей в индоевропейских языках заключается в коннотации со стороны

---

[19] Л. Н. Иорданская. Два оператора обработки словосочетаний с «сильным управлением» (для автоматического синтаксического анализа). М., 1961.

[20] И. С. Ильинская. Управление как проблема лексики и грамматики. «Уч. записки Московского гор. пед. ин-та», т. V, вып. 1, 1941, стр. 78.

[21] А. Д. Григорьева. К отношениям предложности и беспредложности локатива в древнерусском языке. «Доклады и сообщения Ин-та русского языка», вып. 1. М.—Л., 1948, стр. 127—129. См. также: В. Н. Топоров. Локатив в славянских языках. М., 1961, стр. 8, где разграничивается локатив при глаголах «сильной» и «слабой» связи.

[22] Ю. Д. Апресян. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967, стр. 32.

[23] А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7. М., 1956, стр. 238; В. П. Сухотин. Проблема словосочетания в современном русском языке. «Вопросы синтаксиса современного русского языка». М., 1950, стр. 160.

[24] Ю. Д. Апресян. Экспериментальное исследование. . ., стр. 27.

глаголов [25]. Иначе говоря, связь управления служит, по К. Бюлеру, важнейшим показателем, отличающим один из типов падежного функционирования (грамматический тип) от прочих типов. И действительно, функциональные различия между управляемыми падежами носят преимущественно характер синтагматических различий, тогда как «содержание» неуправляемых падежей, как мы это увидим ниже, выявляется в парадигматических оппозициях.

§ 7. Прежде чем приступить к рассмотрению горизонтальных рядов или цепей управляемых падежей и отношений между их элементами, сначала отделим, для того чтобы оставить их в стороне, все формальные различия между управляемыми падежами единственного объекта при разных по семантике глаголах. Эти различия — излишество для языка. По-существу, управляемые падежи могли бы в этой позиции и не различаться, так как падежные морфемы являются здесь всего лишь простыми знаками управления, их функциональное назначение одинаково, а различаются, фактически, только глаголы. Не обозначая никаких синтагматических отличий от прочих падежей объекта при том же глаголе, так как этих падежей нет, падеж единственного объекта служит для того, чтобы отличить, например, объект от субъекта или от предиката. Однако для этой роли могла бы годиться какая-нибудь одна общая форма единственного объекта, которая была бы пригодной для обслуживания данной функции равным образом при всех глаголах. В работе «Проблема классификации падежей» Е. Курилович называет такие косвенные падежи объекта комбинаторными вариантами винительного падежа, обусловленными теми глаголами, которые управляют данными косвенными падежами [26]: между ними и винительным, наиболее типичным падежом объекта, нет смысловых различий. Действительно, винительному при глаголе видѣти — ѣко свѣтъ мира сего видитъ Ио. XI, 9 — синтаксически равноценны и родительный при глаголе жьдати, например, твоего жидетъ въхождениѣ Син. евх. 87b 25, и дательный при глаголах повѣлѣвати, сждити, например: повелѣвающтааго міроу Клоц. 4b 34; сждити живымъ и мрътвымъ Син. евх. 55b 3, и творительный при глаголах власти, обладати, пъвати, пешти сѧ, например: дшами власти покоушаюте сѧ Супр. 88, 15; ѡбладаюи всеѭ тварьѭ Син. евх. 93, 19; пъваѧ своеѭ силоѭ Супр. 105, 12; пешти сѧ власѣмѧ садомѧ Супр. 40, 21—22, и локатив без предлога при глаголах коснѫти сѧ, прикоснѫти сѧ, приказати, например: коснѫ сѧ ѥмѧ Мат. VIII, 3 Савв:; кто прикоснѫ сѧ ризахъ моихъ Лист. Унд. 7—8; приказаша стааго дѫбѣ Супр. 18, 10, и предложно-падежная форма

---

[25] K. Bühler. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena, 1934, стр. 243.
[26] Е. Курилович. Очерки по лингвистике, стр. 185.

о + лок., например: начаса негодовати о иѣковѣ і иоанѣ Марк X, 41; съмате са о словеси его Лука I, 29.

Поскольку на роль указателя объектного характера глагола подходит любая падежная форма, нередки случаи взаимозаменимости падежей в этой функции. Так, глаголы, обозначающие стыд, печаль, пренебрежение управляли как родительным, так и творительным, например: постыдитъ са мене и моихъ словесъ Марк VIII, 38; не стыди са оукорѣными благынѣами Супр. 436, 18; величаныа гноушаатъ са Супр. 545, 12; не възгнѫшаи са множ Син. евх. 79, 6. При глаголах с семантикой наполнения, насыщения выступают и родительный, и творительный, и отъ + род.: Іспльні сьѧ золъ дш҃а моѣ Син. пс. 115b 21; исплъни са дхмь стымъ елисаветь Лука I, 41; храмина же исплъни са отъ вона хризмъныѩ Ио. XII, 3. Объект глагола хотѣти зафиксирован в трех формах: родительного, винительного и дательного падежей: милости хоштѫ Мат. XII, 7; хотѣщеи мнѣ зъло Син. пс. 53b 6; никътоже пивъ вѣтъха абие хоштетъ новоуомоу Лука V, 39. Особенно часто отмечаются колебания в выборе винительного и родительного (что стимулируется и происходящим оформлением различия в выражении одушевленного и неодушевленного объектов, и существующей оппозицией неопределенности: определенности, выражаемой различием родительного и винительного).

Другое дело — цепи управляемых падежей. Здесь присутствует несколько линейно (горизонтально) расположенных различных падежных форм, и их формальная разница передает определенные функциональные различия.

§ 8. Различия в функциях управляемых падежей, образующих цепи, в конечном итоге находятся в зависимости от лексической семантики управляющих глаголов.

По этому поводу С. Д. Кацнельсон заметил, что в содержательном плане глагольный предикат есть нечто большее, чем его лексическое значение. «Выражая определенное значение, он в то же время содержит в себе макет будущего предложения. Предикат имеет «места» или «гнезда», заполняемые в предложении словами, категориальные признаки которых находятся в соответствии с категориальным признаком «гнезда»» [27]. Таким образом, каждый глагол определенного лексико-семантического типа предполагает собственный набор специфических падежных функций [28], и при

---

[27] С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление, стр. 88. Добавим к этому, что на тип управления влияет и форма слова. Так, возвратные глаголы, соотносительные с переходными, отличаются от последних неспособностью управлять винительным падежом, поэтому существуют особые разновидности цепочек при глаголах с сѧ; внутренне они соотнесены с цепочками при соответствующих глаголах без сѧ.

[28] «Открывая «места» для своих предикандумов, каждый тип предикатов тем самым определяет репертуар семантико-грамматических функций, обогащаясь которыми субстанциальные значения получают доступ к этим «ме-

этом «состав семантико-грамматических функций существенным образом меняется от одного семантико-синтаксического типа предикатов к другому» [29]. Существуют группы глаголов с одинаковым типом управления и, следовательно, с одинаковым набором функций управляемых падежей.

Фактическая сторона старославянского глагольного управления подробно освещена в научной литературе [30]. Ниже мы излагаем только некоторые наиболее общие наблюдения над падежными функциями, фиксируемыми в цепях.

Падежные цепочки чаще всего бывают «привязаны» к переходным глаголам. Собственно переходные глаголы обыкновенно выражают воздействие активного существа, в особенности, лица, на другой предмет. Такие глаголы, как правило, обладают многоместной валентностью; они содержат «места́» для нескольких объектов: для ближайшего объекта или объекта воздействия, для объекта, обозначающего орудие, с помощью которого осуществляется воздействие на ближайший объект. При других переходных глаголах имеются «места» для объекта-адресата и объекта мысли, речи, чувства. В наибольшем количестве цепочек, связываемых с переходными глаголами, функцию ближайшего объекта выполняют винительный или родительный, функцию объекта-адресата — дательный, функцию объекта мысли и речи — 0+лок. (сами эти условные наименования падежных функций указывают на достаточно абстрактные представления, выявляющиеся из различий форм на горизонтальной оси). Реже отмечаются цепи при других объектных глаголах, непереходных, которые не имеют специального «места» для винительного ближайшего объекта. В ряде случаев для выявления названных функций каждого из

стам»» (С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление, стр. 201).

[29] С. Д. Кацнельсон. Указ. соч., стр. 201.

[30] Называем основные работы на эту тему: Anders Sjöberg. Synonymous Use of Synthetical and Analytical Rection in Old Church Slavonic Verbs. Stockholm, 1964; Czesław Bartula. Związki czasownika z dopełnieniem w najstarszych zabytkach języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1964; J. Bauer. Bezpředložkový lokál ve staroslověnských evangeliích. — «Slavia», roč. 20, 1951; В. Н. Топоров. Локатив в славянских языках; Я. Бауэр. Беспредложный локатив в старославянском языке. «Исследования по синтаксису старославянского языка». Прага, 1963; А. Б. Правдин. Дательный приглагольный в старославянском и древнерусском языках. «Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР», т. XIII, 1956; Его же. Аблативные значения родительного падежа в старославянском языке. — КСИС, вып. 25. М., 1958; Р. Мразек. Дательный падеж в старославянском языке. «Исследования по синтаксису старославянского языка». Прага, 1963; Р. Вечерка. Синтаксис беспредложного родительного падежа в старославянском языке. — Там же; М. Бауэрова. Беспредложный творительный в старославянском языке. — Там же; К. И. Ходова. Значения творительного беспредложного в старославянском языке. «Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР», т. XIX, 1960; Ее же. Система падежей старославянского языка. М., 1963; Ее же. Падежи с предлогами в старославянском языке (опыт семантической системы). М., 1971.

управляемых падежей достаточно, видимо, одного различия, то есть такой ситуации, когда в цепи стоит хотя бы еще один отличающийся по форме падеж. Так, творительный выполняет орудийную функцию, когда он находится или рядом с винительным — да областатъ і словомъ Мат. XXII, 15; сътвори дръжавѫ мышъцеѭ своеѭ Лука I, 51, — или рядом с дательным — ѩзыкомъ своімъ солъгашѧ емоу Син. пс. 102b 2, или рядом с родительным — коснѫвъ сѧ его ръкамъ Супр. 566, 13. В этих примерах стоящие рядом с творительным падежи также выступают в своих наиболее типичных функциях. Такие же функции несут названные падежи и в цепочках, включающих бо́льшее число членов. Реально, в текстах, многоместные цепочки реализуются очень редко. Ср. один из таких редких примеров, где винительный, дательный, творительный выражают наиболее типичные функциональные разграничения: единъ отъ воинъ. копиемъ емоу ребра прободе Ио. XIX, 34.

При глаголах с лексическим значением присоединения в одном ряду возможны две формы творительного падежа с разными функциями. В имеющихся примерах их совместимость, правда, не зафиксирована: налицо или только один, или только другой творительный (или T_1, или T_2). Но поскольку весь язык непосредственно не наблюдаем, на практике приходится обращаться к отдельным внешним проявлениям языка, дополняющим друг друга. Например, два творительных, занимающих разные синтаксические места, наблюдаются порознь в двух разных примерах при глаголе писати: Ісъ же низъ поклонъ сѧ пръстомъ писааше на земи Ио. VIII, 6; ѩкоже бо шаръчиѧ на ѥднои дѣстѣ. и образы чрътаѭтъ и истинѫ пишѫтъ шаромъ Супр. 418, 2. В первом из этих примеров творительный выполняет функцию «объекта-орудия»; во втором — «объекта-вещества, которое наносится на какой-либо предмет при помощи орудия». Оба творительных могут быть совмещены или соподчинены, заняв при этом два особых места, рядом с винительным и возможным дательным (хотя стилистически такая фраза не была бы безупречной).

Мы хотели бы, далее, на нескольких примерах продемонстрировать отклонения от типичного распределения функций в цепях управляемых падежей При глаголах отчуждения дательный обозначает не объект-адресат, но лицо, у которого нечто отчуждается: нѣстъ добро отѧти хлѣба чадомъ Мат. XV, 26; отемлѫштюмоу тебѣ ризѫ і срачицѧ не възбрани Лука VI, 29. При глаголах простити, свободити родительный обозначает не ближайший объект, как чаще всего бывает, но объект дальнейший: да тѧ проштѫ грѣха Супр. 241, 4; народа свободихъ твоеѧ пакости Супр. 512, 18.

Известны многочисленные случаи взаимозамен, то есть формального варьирования функциональных единиц, выражаемых падежными формами, без какого-либо различия в семантике форм. Ср. параллелизм творительного без предлога и формы къ+лок.

в одной и той же «орудийной» функции (в данном случае — в условиях реального сосуществования с дательным и возможного с винительным): Поїте бо҃у нашемоу... въ гл҃ѧлѣхъ і въ гласѣ пѣсаломьстѣ. Въ тр҃ѫбахъ коканахъ. і гласомь тр҃ѫбы рожѣны Син. пс. 127 b 18.

Рассмотрение функций управляемых падежей позволяет заключить, что функциональные различия этих форм связаны с различиями в их дистрибуции. Например, будучи единственным падежом объекта, творительный не имеет орудийной функции, которая свойственна ему в большинстве цепочек. Если же при глаголе совмещаются два творительных, то одному отводится роль объекта-орудия, а другому — роль указателя на материал или вещество, присоединяемые к объекту. Итак, один и тот же падеж объекта в зависимости от его окружений может быть или свободным от функциональной нагрузки, или иметь различные функциональные назначения.

§ 9. Природа управления в общем и целом не дает возможности свободно выбирать управляемый падеж, так как он жестко предопределяется семантикой управляющего глагола. И все же в некоторых определенных позициях присутствие одной формы исключает присутствие другой, также возможной в этом сочетании, если брать масштаб всего языка. Иными словами, в области объектов не исключены парадигматические оппозиции, при которых одна из форм, возможных в одной и той же позиции, становится предметом сознательного выбора, продиктованного целями сообщения.

Формы языка, выражающие четко противопоставленные единицы плана содержания, в принципе должны четко разграничиваться хотя бы в одной позиции. Важнейшим условием падежных противопоставлений плана содержания является, таким образом, тождество позиций, тождество синтагматических отношений коррелирующихся падежей к прочим элементам высказывания, то есть такая ситуация, при которой падежные формы могут замещать одна другую, не модифицируя структуру высказывания (отсюда вытекает, что неправомерно иногда практикуемое при поисках участков парадигматических оппозиций сопоставление падежей, которые занимают разные «места» при одном и том же глаголе, то есть синтагматически совместимых падежей [31]).

В связи с вопросом об условиях парадигматических противопоставлений существенно также предостеречь от другого ошибочного приема: определения значений падежа через лексическую

[31] А. Мартине выразил эту мысль следующим образом: «. . . нельзя сказать, что дат. падеж противопоставляется вин. падежу, ибо в рамках предложений, в которых они функционируют, и тот, и другой сосуществуют. . . Следовательно, между дат. и вин. падежами не существует оппозиции» (речь идет о вертикальной оппозиции). См. А. Мартине. Нейтрализация и синкретизм. — ВЯ, 1969, № 2, стр. 106.

семантику управляющих глаголов. В действительности спаянность одного и того же падежа с разными по семантике глаголами без учета его противопоставлений другим падежам ничего не изменяет в семантике самого падежа. Поэтому было бы неверно считать, что, например, родительный при глаголах ожидания несет значение объекта ожидания, а родительный при глаголах просьбы — значение объекта просьбы: родительный падеж выражает здесь лишь общую функцию объекта действия, а частные оттенки, усматриваемые некоторыми исследователями в тех или других сочетаниях, есть не что иное как отражения лексических различий глагольных членов словосочетаний. Как установила Т. В. Булыгина, в употреблении при разных глаголах многозначность родительного «оказывается . . . мнимой» [32], а поэтому «общим принципом, которого следует придерживаться при исследовании как именных, так и глагольных сочетаний, представляется принцип . . . элиминации лексики как основания для выделения самостоятельных падежных значений» [33].

Если мы сейчас снова возвратимся к позиционным или функциональным характеристикам падежей, устанавливаемым на основе их сочетаемости на синтагматической оси, то сможем констатировать, что позиция падежа является пунктом пересечения его двух главных внутренних («содержательных») характеристик. Во-первых, согласно позиции определяется функция падежа. Во-вторых, единство позиции служит основным условием принадлежности падежей к одному и тому же парадигматическому классу, в пределах которого возможны поиски противопоставления единиц значения.

§ 10. Понятие «вертикальной», или «парадигматической», оппозиции предполагает разложимость объединяемых ею единиц означаемого на частью общие, частью же различные элементы — дифференциальные признаки означаемого. Грамматической оппозицией считается «отношение между двумя грамматическими единицами, имеющими общий интегральный признак и различающимися при помощи одной дистинкции, или, другими словами, особый тип релевантного различия между грамматическими единицами, которые, следовательно, должны быть инвариантами по отношению друг к другу и, кроме того, принадлежать к одному парадигматическому классу, различаясь одним дифференциальным признаком» [34]. Приведенные общие соображения о парадигматических оппозициях позволяют отнести к таковым отношение беспредложных родительного и винительного объектов, просле-

---

[32] Т. В. Булыгина. О сочетаниях с родительным падежом. . ., стр. 108.

[33] Т. В. Булыгина. Некоторые вопросы классификации частных падежных значений (на материале сочетаний с генетивом в современном литовском языке). «Вопросы составления описательных грамматик». М., 1961, стр. 256.

[34] Т. В. Булыгина. Грамматические оппозиции. «Исследования по общей теории грамматики». М., 1968, стр. 189.

живаемое в старославянском и подкрепляемое данными живых славянских языков [35]. Эта уединенная одномерная оппозиция осуществляется в старославянском при условиях тесной связи родительного : винительного с ограниченным кругом глаголов преимущественно совершенного вида, не имеющих приставок количественного значения. Имена существительные, от которых образуются две формы с коррелирующимися значениями, также входят в замкнутую лексико-семантическую группу: они имеют не предметное, а вещественное, собирательное или отвлеченное значения. Противопоставляемые родительный : винительный способны, видимо, синтагматически сосуществовать при этих глаголах с беспредложными дательным и творительным (если это глаголы «даяния»), с формой оу+род. и беспредложным творительным (если это глаголы «получения»). Реально все звенья этих цепей не выявляются, так как имеющихся примеров мало. Ср.: Въдоунѫ намъ дха стаго твоего Супр. 22, 4, но: въдоунетъ... стыи дхъ Супр. 321, 15; бесцѣнного бісъра достои.... Істъ приѧти Клоц. 14 b 24 — 25, но: прошааше брѧние оу брѧниѧ приѧти Супр. 453, 1. Содержание оппозиции определяется по-разному разными авторами; в настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой родительный несет значение неопределенного объекта в противоположность винительному, несущему значение определенности.

В старославянском эта оппозиция не отличалась, как видно, особой четкостью: формы ее выражения смешивались, т. е. переходили на положение свободных вариантов. Ср., например, варьирование форм в параллельных чтениях, т. е. в абсолютно одинаковых значениях: егда же приѧтъ оцѣта исъ Ио. XIX, 30 Мар. (приѧтъ оцѣтъ — Зогр.); ошъли бѣахѫ въ градъ. да брашъна коупѧтъ Ио. IV, 8 Мар. (брашѧно — Остр.). Собственно, лишь постольку, поскольку эти две падежные формы иногда служат для выражения описываемой оппозиции, мы и имеем право говорить о существовании грамматической категории определенности : неопределенности вещественного объекта, связываемой с различием двух беспредложных падежей. Для беспредложных падежей различия парадигматического плана в общем и целом не характерны; для старославянского языка можно, собственно, констатировать

---

[35] Описание условий релевантности семантического противопоставления родительного и винительного объекта для восточнославянских языков выполнено в работах: А. М. Кузнецова. К вопросу о глагольной переходности и значении так называемого родительного разделительного. «Уч. зап. МГПИ», 1960, т. 158; Е е ж е. Выражение прямого объекта в современных украинских говорах. «Уч. зап. МГПИ». «Статьи и исследования по русскому языку», 1962; Е е ж е. Некоторые вопросы управления приставочных глаголов в русских, украинских и белорусских говорах (на материале переходных глаголов с приставкой *на-*). «Вопросы диалектологии восточно-славянских языков». М., 1964.

только одну такую оппозицию [36]. Но мы напали на след парадигматических оппозиций в зоне беспредложных падежей; мы убедились в том, что беспредложный падеж по своей природе способен служить средством выражения оппозиций такого рода, а, следовательно, и грамматических категорий.

§ 11. Этот след приводит в зону «свободного» употребления форм склонения имени существительного, свободной связи его с глаголом. В отличие от тесной связи, которая была рассмотрена выше, свободной связью можно было бы назвать функционирование форм склонения в условиях максимальной независимости от ограничений в лексической семантике глагола—предиката. (Зато здесь закономерны различные ограничения в лексической семантике имени существительного, от которого образована падежная форма. Так, «обстоятельства места» не образуются от имен существительных абстрактного значения; «обстоятельства причины и цели», в принципе, не образуются от имен существительных конкретного значения; «обстоятельства времени» возможны от имен существительных темпорального значения или подразумевают их.)

Падежи, связываемые с глаголом отношениями свободной связи (или обстоятельственные падежи), обладая относительной автономностью, часто остаются вне структуры предложения, образуемой субъектом, предикатом и объектом; они в большинстве случаев соотносятся с содержанием предложения в целом. От валентности глагола они не зависят и не формируют (не «насыщают») ее.

Если в условиях тесной связи формы склонения выражают различия «грамматического» (или «синтаксического») типа, то при свободном употреблении формы склонения несут различия «конкретного» (или «семантического») типа.

В условиях свободного употребления естественно ожидать максимального количества различающихся по значению форм склонения вообще. Известны языки, где беспредложные падежи образуют разветвленные системы конкретных, в первую очередь пространственных, значений, выявляемых в противопоставлениях. Например, развитая и стройная система беспредложных падежей, реализующая пространственные различия для двадцати трех дагестанских языков в целом, описывается в недавно вышедшей работе А. Е. Кибрика [37]. Выделяется два множества морфем; одни

---

[36] В современных славянских языках можно отметить в сфере объектов и другие одномерные парадигматические падежные оппозиции, которые, впрочем, выражены очень слабо и представлены фрагментарно (ср., например, *бросить камень* : *бросить камнем*; не исключена взаимная заменимость этих форм без различия в значениях).

О парадигматических оппозициях сферы объектов в современном русском языке см.: Н. Ю. Шведова. Категориальные свойства слова на службе его синтаксических связей. — Międzynarodowa komisja budowy gramatycznej języków słowiańskich. Sesja naukowa. Kraków, 1969. Materiały sesji naukowej... Wrocław etc., 1971, стр. 26.

[37] А. Е. Кибрик. К типологии пространственных значений (на материале падежных систем дагестанских языков). «Язык и человек». М., 1970, стр. 110—156.

из них несут ориентирующие, другие — двигательные различия. Ориентирующие значения суть следующие: внутри ориентира, вне ориентира, на горизонтальной поверхности ориентира, на вертикальной или наклонной поверхности ориентира, около ориентира, перед ориентиром, за ориентиром, контактность с ориентиром, неконтактность с ориентиром, обладание ориентиром, совместность с ориентиром. Двигательные значения группируются в следующие оппозиции: приближение : удаление, контактность : неконтактность, ограниченность : неограниченность, отсутствие : наличие дополнительного ориентира, приближение к говорящему : удаление от говорящего, движение вверх : вниз.

Картина знакомая: многие из перечисленных противопоставлений известны и славянским языкам; правда, они передаются здесь предложно-падежными формами [38]. Но есть ли в славянских языках беспредложные падежи пространственного содержания и организованы ли их значения в оппозиции? Такие падежи есть, но они уже малоупотребительны, значения их погасли, так как парадигматические противопоставления в их сфере уже не ощутимы. Место действия могло быть обозначено беспредложным локативом, очень ограниченным по употреблению [39]. В старославянском насчитываются единичные случаи вполне надежных его примеров, и почти во всех в форме локатива стоит название населенного пункта, как например: глїгора вгословца. єппа въикша нанзианзии Ассем. 141, 27. Известен беспредложный дательный, обозначавший предмет или лицо, к которому направлено движение: і шедъши домови обрѣте отроковицѫ Марк VII, 30; прїде емоу Син. пс. 145, 22. Каково было древнейшее значение славянского дательного беспредложного? По этому вопросу известно не менее трех разных мнений: 1) дательный выражал инклюзивность, т. е. направление к ориентиру с заходом в него; 2) он имел эксклюзивное значение; 3) он совмещал в своем значении инклюзивность и эксклюзивность [40]. Остатки винительного направления в старославянском незначительны, их первоначальный смысл затемнен, семантическое его отличие от дательного направления уже не улавливается. Родительный без предлога мог выражать и предельный пункт движения: доидетъ мѣста того Супр. 31,1, и исходный пункт движения: оубѣжикѣ звѣри Супр. 472,2. Творительный без предлога в значении совместности для славянских языков в целом — большая редкость [41]; в старославянском его можно

[38] К. И. Ходова. Падежи с предлогами в старославянском языке (опыт семантической системы). М., 1971 стр. 40—108.

[39] В. Н. Топоров. Локатив в славянских языках, стр. 183—193; Я. Бауэр. Беспредложный локатив в старославянском языке, стр. 265—270.

[40] Д. Станишева. Беспредложный дательный и винительный локальной функции в славянских языках. «Известия на Института за български език при БАН», кн. XI. София, 1964, стр. 105.

[41] Творительный падеж в славянских языках, стр. 44—45.

считать уже не существующим. Сохранился творительный беспредложный в значении предмета, по которому пролегает путь движения, пересекающий или не пересекающий этот предмет, например: нъ инѣмъ пѫтемъ ѿтидоша Мат. II, 12; вьнити тѣснымі враты Син. евх. 69b18. Наблюдается ярко выраженная тенденция утраты пространственных беспредложных падежей и замена их предложно-падежными формами, о чем, в частности, можно составить представление и по вариантам параллельных мест старославянских канонических памятников. Есть основания полагать, что беспредложные падежи пространственной семантики представляют собой в старославянском остатки древней системы (которая, вероятно, была основана на парадигматических противопоставлениях) хотя и не ясны уже отношения между ее единицами. Древние беспредложные падежи пространственной семантики были, вероятно, близки к наречиям, т. е. их флексии могли соединяться с ограниченным числом именных основ [42]. Е. Курилович высказывает предположение о тесной функциональной связи падежей с местоименными (указательными) наречиями, семантическая значимость которых, связанная с пространственными отношениями, требовала обновления новыми средствами [43].

§ 12. В результате наблюдений над беспредложными падежами в целом вырисовывается следующая картина. Нет ни одной формы падежа, которая имела бы одно единственное назначение. Беспредложные падежи функционально принадлежат двум планам языка. Незначительная часть выражаемых ими различий связана с парадигматическим планом (речь идет прежде всего об оппозиции неопределенности : определенности); видимо, также с парадигматическим планом были связаны и пространственные различия, где оппозиции уже не ощущаются. Преобладающая часть различий относится к области синтагматической организации языка. Внутренняя связь между парадигматическим и синтагматическим функционированием не прослеживается, один тип функционирования не вытекает из другого, они кажутся разорванными, разобщенными. Можно только высказать предположение, что синтагматические функции падежа суть наследники его былых пространственных значений, вытекавших из парадигматических различий. Как произошел этот разрыв, каков его механизм? Ответ на этот вопрос может быть даст рассмотрение предложно-падежных форм.

§ 13. Именно поиски внутренних различий, различий плана содержания позволили нам принять точку зрения авторов, которые рассматривают предлог вместе с падежным окончанием формы имени существительного [44]. Действительно, внутренним, смысло-

---

[42] Е. Курилович. Очерки по лингвистике, стр. 180—181.

[43] J. Kuryłowicz. O rozwoju kategorii gramatycznych. Kraków, 1968, стр. 25.

[44] Ср., например: Е. Курилович. Деривация лексическая и деривация синтаксическая. «Очерки по лингвистике», стр. 66—67; В. М. Жир-

вым различиям соответствуют только различия предложно-падежных соединений, а предлог, оторванный от падежа, слишком широк по значению: он соотносится с несколькими разными единицами плана содержания, входящими в разные противопоставления.

Соединение падежного окончания с предлогом — предложно-падежная или аналитическая форма имени — исторически моложе синтетической формы. Соединение падежа с предлогом удовлетворило назревшую необходимость восполнить семантическую недостаточность падежной флексии, особенно ощутимую в тех ситуациях, которые требуют точного воспроизведения пространственных отношений. На материале старославянского языка оказалось возможным обнаружить, что в сфере пространственных отношений, в условиях максимальной свободы сочетаемости имен существительных и глаголов, наблюдается максимальное количество различающихся по значению, а именно, образующих ряд семантических оппозиций парадигматического плана, предложно-падежных форм. Почти каждая предложно-падежная форма выступает здесь в качестве одного из членов парадигматического противопоставления, или, иначе говоря, в большинстве случаев граница члена противопоставления не заходит далее значения одной предложно-падежной формы. (Исключение из этого принципа — скопление форм для обозначения близости: оу+род., при+лок., близъ+род., о+лок.)

§ 14. В области выражения пространственных отношений значения форм с предлогами максимально разграничиваются именно потому, что здесь они максимально нагружены семантическими различительными признаками, которые выявляются в противопоставлениях.

Как заметил голландский лингвист Х. Пос, оппозиция «всегда объединяет два различных объекта, связанных, однако, таким образом, что мысль не может представить один, не представив другой» [45]. Поэтому условия существования оппозиции, т. е. набор словосочетаний, в которых она является релевантной, равным образом действительны для обоих ее членов.

Формы съ+твор. и бѣз+род. «отвечают» на один и тот же «вопрос», который может быть адресован только этим двум формам: «Сопровождается ли действующий или подвергающийся действию предмет каким-либо другим предметом?» Первая форма отвечает на этот вопрос положительно [46], вторая — отрицательно. Противо-

---

мунский. Аналитические конструкции. «Аналитические конструкции в языках различных типов. Тезисы докладов». Л., 1963, стр. 3.

[45] См. об этом: Т. В. Булыгина. Грамматические оппозиции, стр. 182.

[46] Различается сопровождение «активное» (совместность), при котором предметы, связанные формой съ+твор., являются равноправными участниками действия, и сопровождение пассивное, при котором сопровождающий предмет в действии не участвует. И в том, и в другом случае для формы съ+твор. можно найти противочлен в виде формы бѣз+род. Более под-

поставление осуществляется в условиях почти полного отсутствия ограничений в лексической семантике имени, от которого они образуются, и глагола, к которому относятся.

Максимальным количеством предложно-падежных форм реализуется многомерная оппозиция места действия. Если, в пределах этой оппозиции, давать описание противопоставленных значений и их форм в направлении от «вершины дерева» к «терминальным узлам», то все возможные ответы на основной вопрос о месте действия прежде всего разделятся на две группы: «в незамкнутом пространстве» и «в замкнутом пространстве». Каждая из форм выражения «незамкнутого пространства» входит в определенное число противопоставлений, которые неодинаковы по типу отношений между их членами. Так, в значениях двух членов привативной оппозиции 1) при+лок., оу+род., близъ+род. (и дат.), искра+род. — 2) о+лок., окрастъ+род., окружъ+род. имеется общий признак: они обозначают ориентир, близ которого происходит действие или находится действующий предмет; сверх того, формы о+лок., окрастъ+род., окружъ+род. обладают добавочным семантическим признаком: они обозначают ориентир, вокруг или около которого происходит действие. Другая привативная оппозиция отличает от всех этих форм группу форм, уточняющих положение предмета относительно другого на горизонтальной и вертикальной осях (прѣдъ+твор., за+твор., надъ+твор., подъ+твор.); целая серия привативных оппозиций отражает отличие первой группы форм в их совокупности от каждой из этих последних форм. Некоторые формы, обозначающие положение в незамкнутом пространстве, образуют также оппозиции эквиполентные: часть признаков является общей для двух членов, по другим же признакам оба члена различны. Таково, во-первых, отношение форм прѣдъ+твор., за+твор. к формам надъ+твор., подъ+твор. Первая пара форм характеризует пространственные отношения на горизонтальной оси, вторая — на вертикальной, но обе пары семантически объединяются тем, что они указывают некие ориентиры, уточняющие положение одного предмета относительно другого на горизонтали и вертикали. Следующую ступень детализации отношений в незамкнутом пространстве представляют собой две эквиполентные оппозиции: прѣдъ+твор. : за+твор., надъ+твор. : подъ+твор. Значения членов первой из них связаны общим признаком положения на горизонтальной оси, но различаются противоположностью этого положения (впереди : сзади); члены второй оппозиции связаны общим признаком положения на вертикальной оси, но различаются противоположностью этого положения (выше : ниже).

Среди оппозиций замкнутого пространства главное место занимает эквиполентная оппозиция въ+лок. : на+лок.(объ+

робно от этой и других оппозициях см.: К. И. Ходова. Падежи с предлогами в старославянском языке (опыт семантической системы). М., 1971.

вин., о+вин.), члены которой, объединенные общим семантическим признаком полностью замкнутого пространства как места действия, различаются полнотой—неполнотой включения таким пространством предмета или действия: форма къ+лок. обозначает предмет, который полностью, т. е. всеми своими точками, заключает какой-либо другой; форма на+лок. обозначает предмет, в котором другой предмет заключается не полностью (они касаются друг друга или находятся в контакте). В отличие от этих форм, между+твор. служит для обозначения каких-либо предметов (преимущественно двух), неполностью замыкающих пространство. Составная форма отъ+род. . . до+род. обозначает предельный охват действием такого пространства. Форма посрѣдѣ+род. указывает на пространство, в центре которого находится предмет или происходит действие. По+дат. обозначает предмет, на котором рассредоточены некоторые другие. Форма врьхоу+род. связана лишь с одним из членов главной оппозиции замкнутого пространства: с формой на+лок. (о+вин., объ+вин.); если формой на+лок. обозначается какой-либо двумерный предмет (в том числе поверхность трехмерного), то форма врьхоу+род. обозначает только верхнюю поверхность. Форма по+дат.$_2$, которая омонимична форме по+дат.$_1$, участвует в семантическом противопоставлении по признаку непересечения—пересечения движением границ замкнутого пространства; ей противостоит форма скозѣ (скозѣ)+вин., заключающая в своем значении дополнительный признак пересечения движением замкнутого пространства.

Возвращаясь опять к «вершине дерева», отделим от оппозиций с общим значением места действия и непересечения—пересечения замкнутого пространства группу оппозиций, возможных только при глаголах движения.

Оппозиция с общим значением конечного пункта движения, расположенного в незамкнутом пространстве, объединяет — и различает — значения форм къ+дат., до+род., прѣдъ+вин.(твор.), за+вин., надъ+вин., подъ+вин. Если къ+дат. обозначает предмет, в направлении которого совершается движение, то до+род. присоединяет к этому значению момент предельности направленного движения. По отношению к первым двум названным формам остальные выступают как отмеченные члены привативных оппозиций, по-разному уточняющие положение ориентира относительно конечной точки движения. Оппозиция с общим признаком пространства как конечного пути движения включает противопоставленные друг другу по признаку неполного—полного включения в замкнутое пространство формы на+вин. и къ+вин.; им вместе взятым противопоставлено значение формы посрѣдѣ+вин., обозначающей предмет, в центре которого находится конечная точка движения.

Формы отъ+род., из+род, съ+род. отвечают на вопрос «откуда исходит движение?» Первая обозначает предмет, близ которого находится исходный пункт движения, вторая указывает на предмет,

в который полностью включается исходная точка движения, третья — предмет, который включает ее не полностью.

Выясняется, что инвентарь различительных признаков, образующих значения предложно-падежных форм, невелик. Их содержание составляют простейшие, доступные для восприятия пространственные представления: замкнутости и незамкнутости, неполной и полной замкнутости, неполного и полного включения, неокружения и окружения, положения сверху и снизу, впереди и сзади, не в центре и в центре. Наибольшее количество различительных признаков связано с многомерной оппозицией места действия; некоторые из них повторяются также в оппозициях конечного и исходного пунктов движения.

§ 15. Максимально различаясь в «свободном» употреблении, при выражении пространственных представлений, в других специальных употреблениях значения падежей с предлогами теряют, частично или полностью, свои семантические дифференциальные признаки, что приводит к уменьшению инвентаря форм в этих условиях, так как уменьшается или даже вообще ликвидируется необходимость выбора значения, а вместе с тем и связанной с ним формы выражения.

Если в пространственном аспекте наблюдается максимальное количество различаемых форм, то при передаче темпоральных отношений их количество уменьшается. Здесь замечаются и новые противопоставления, отличающиеся по содержанию от пространственных. Условием нейтрализации пространственных противопоставлений служит в данном случае сочетаемость предложно-падежных форм с темпоральным лексическим значением имен существительных. Уменьшение количества единиц значения, по сравнению с пространственным планом, наблюдается также при передаче представлений об образе действия, причине и цели действия, когда аналитические формы образуются от имен существительных абстрактного значения. Здесь также усматриваются новые противопоставления, отличающиеся по содержанию от пространственных [47]. Наконец, семантические противопоставления предложно-падежных форм, наблюдаемые в пространственной сфере, ликвидируются в условиях, когда эти формы вступают в тесную связь с глаголами, т. е. становятся формами объектов.

§ 16. Язык памятников, которые были изучены, включает уже значительное количество глаголов, управлявших падежами с предлогами. Наши материалы показывают, что связь управления, реализуемая с помощью предложных форм (которые в нашем сознании связаны с пространственными представлениями), неизбежно проходит стадию вариантов. Известно большое количество глаголов, объектами которых могут служить несколько взаимозаменяю-

---

[47] К. И. Ходова. Падежи с предлогами в старославянском языке, стр. 109—159.

щихся форм; полнейшая равнозначность этих форм подтверждается вариантами параллельных мест. В то же время зафиксировано несколько глаголов, управляющих единственной (для определенной позиции при глаголе) формой имени, подобно тому, как мы это часто наблюдаем при управлении беспредложными падежами[48]. Широкое распространение в старославянском вариантного типа управления само по себе можно расценивать как свидетельство молодости и неустойчивости грамматической связи управления в этом древнем литературном языке, зафиксированном в период его формирования. Но мало этого: материал старославянского управления открывает картину перехода от недифференцированного использования разных форм объекта при глаголе, от немотивированной взаимозаменяемости объектных форм (дублетности) к константному, т. е. постоянному и единообразному типу управления. Промежуточным звеном перехода от одного типа к другому представляются такие случаи, когда среди нескольких форм объекта выделяется статистически преобладающая форма. Так, глагол оупъвати 'надеяться' управляет формой на+вин. (20 раз), въ+вин. (1 раз), къ+дат. (1 раз), о+лок. (1 раз), творительным беспредложным (4 раза). Как можно видеть, количественно преобладает форма на+вин.; она как раз и имеет тенденцию стать единственной (константной) управляемой формой при этом глаголе.

В сфере объектов, выражаемых предложно-падежными формами, возникают и утверждаются новые «уединенные» одномерные оппозиции, более абстрактные по содержанию, чем оппозиции пространственного плана. Образец новой эквиполентной оппозиции представляет собой, например, противопоставление предложно-падежных форм, наблюдаемое при некоторых глаголах со значением военных действий. Так, вместе взятые формы противѫ + дат. и на + вин., способные заменять друг друга как свободные варианты, противопоставляются форме за + вин.: оуже врѣмѧ оубо противѫ онѣмъ плачити сѧ Супр. 306, 7—8; оуплачітъ сѧ на мѧ плъкъ Син. пс. 31, 20 — но: станѣте добле ѿ братиꙗ и мѫжьскы за х҃а Супр. 63, 1. Здесь первоначальные представления о пространственных соотношениях, складывающихся на поле боя между участниками сражения, переосмысливаются в более абстрактные значения: с одной стороны, в значение 'во вред', с другой — в значение 'в защиту', 'в пользу'[49].

---

[48] К. И. Ходова. Падежи с предлогами в старославянском языке, стр. 160—173.

[49] На базе этих новых значений указанные формы могут становиться еще более абстрактными, отрываясь от описаний военных действий и функционируя независимо от них: іже бо нѣстъ на вы по васъ естъ Марк IX, 40; Лука IX, 50; сѫштаѧ бо на ны по насъ сътвори Супр. 79, 8 (ср. и другой способ выражения этой мысли: іже нѣстъ съ мноѫ на мѧ естъ Мат. XII, 30; Лука XI, 23).

Предложно-падежные объекты способны образовывать цепи. Например: въсхотѣ сътазати сѧ о словеси . съ рабы своими Мат. XVIII, 23. Такие предложно-падежные объекты в цепях часто стоят рядом с беспредложными формами, например: въпрашаахѫ и оученици ѥго о притъчи Марк VII, 17.

§ 17. Наблюдения над предложно-падежными формами приближают к пониманию истоков неоднородности, многоплановости отношений, выражаемых формами склонения вообще, способности этих форм передавать и синтагматические, и парадигматические различия, выражать и функции, и значения. Предложно-падежные формы выступают прежде всего как носители грамматических категорий, познаваемых в вертикальных противопоставлениях: именно они выражают категории пространства, времени, образа действия, мотивированности действия. Связь управления или объектная связь, характеризующаяся другим типом различий (горизонтальные различия) предстает как стадия нейтрализации пространственных противопоставлений, связывающихся с предложно-падежными формами и наиболее типичных для них [50]. Ибо в языке сосуществуют несколько фаз этой эволюции: и парадигматические противопоставления пространственного содержания, выражаемые определенным набором предложно-падежных форм, и варьирование тех же форм — свидетельство нейтрализации противопоставлений, и цепи управляемых предложно-падежных форм, каждое звено которых представлено неварьирующейся и не способной противопоставляться другим константной формой.

§ 18. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что падеж как словоизменительная категория не имеет соответствия в виде какой-либо определенной грамматической категории.

Если говорить о беспредложных падежах, то они вообще чрезвычайно редко служат для передачи парадигматических противопоставлений и, соответственно, грамматических категорий: в старославянском можно более менее уверенно констатировать единственное, не очень ярко выраженное, одномерное парадигматическое противопоставление неопределенности—определенности, передаваемое различием винительного и родительного. Основное назначение беспредложных падежей — выражать синтагматические различия (каждый раз новые — в зависимости от лексического значения глагола), быть функциональными индикаторами.

Падежи с предлогами, наоборот, служат главной опорой парадигматических оппозиций. Эти формы выражают множество категорий: прежде всего — разнообразные пространственные, а затем, на их основе — временные, образа действия, мотивированности действия. Вместе с тем в старославянском имеют значительное рас-

---

[50] Уместно здесь вспомнить замечание Р. Годеля о том, что синтаксические функции вообще «вытекают из семантических определений». См. R. Godel. Remarques sur des systèmes des cas. — «Cahiers F. de Saussure», 13. Genève, 1955, стр. 41.

пространение и цепи предложно-падежных форм, в которых эти последние часто перемежаются беспредложными падежами.

Итак, как беспредложные, так и предложно-падежные формы служат для передачи и парадигматических, и синтагматических различий [51], составляют предмет и парадигматического, и синтагматического изучения (согласно воззрениям представителей некоторых грамматических школ — морфологии и синтаксиса). Через падежи осуществляется связь двух фундаментальных типов отношений между элементами языка.

---

[51] При этом формальное различие одной и той же пары падежей (например, различие родительного и винительного) может быть и вертикальным, и горизонтальным. См. об этом: «Общее языкознание. Внутренняя структура языка». М., 1972, стр. 205—206.

Р. М. ЦЕЙТЛИН

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧЕСКИХ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

(их семантика и стилистические функции)

Задача настоящего сообщения—выделить наиболее характерные лексические категории СЯ[1] как литературно-письменного языка, которым владели книжники культурных центров Юго-Западной (Македонской) и Восточной Болгарии конца X—XI вв. В соответствии с таким определением СЯ каждая рукопись, написанная в этот период и на данном ареале, изучается в совокупности всех ее языковых черт (восходящих нередко к различным ее предшествующим спискам), рассматривается как памятник данного языка данной эпохи. Мы не занимаемся проблемой восстановления словарного состава переводов кирилло-мефодиевского времени, но считаем, что результаты синхронного исследования лексики СЯ по данным СП имеют первостепенное значение при решении этой сложнейшей проблемы. Объект анализа — лексика СЯ в том ее объеме, который зафиксирован в СП, так как последние являются единственным прямым источником наших знаний о старославянской лексике. Данные греческих протографов и данные церковнославянских памятников привлекаются только в качестве косвенных источников. Нам известно 15 СП — меньшая часть рукописей, написанных в древней Болгарии изучаемого периода — в конце X в. и на протяжении XI в. Ограниченные экстралингвистическими обстоятельствами, наши сведения о СЯ, особенно о его лексике (как специфическом уровне языка) неполны, что требует от исследователя анализа буквально каждого слова СП.

В дальнейшем лексику СЯ мы рассматриваем в двух аспектах: 1) выделяем слова, употребляющиеся в большинстве СП, которые называем общестарославянскими, и слова, свойственные определенным группам СП; 2) выделяем непродуктивные типы слов и архаизмы, с одной стороны, и продуктивные типы слов и неологизмы— с другой. Суммарно в языке СП — 9616 слов. Из них инославянских (преимущественно грецизмов) — 1778. При этом в Супр — 5285 слов, в Мар — 2874, в Зогр — 2756, в Евх — 2705, в Ас —

---

[1] Вопросы словообразования мы затрагиваем только в связи с изучением производных и сложных слов.

2603, в Син — 2358, в Сав — 2198, в Клоц — 1346, в Ен — 898, в Рыл — 441, в Хил — 254, в Зогр лл — 242, в Унд — 215, в Охр — 194. Суммарно 4677 слов известно только по одному какому-либо СП. Так, только по Супр известно 3124 слова (все подсчеты произведены нами по Садник и индексам к отдельным СП). Общее количество словоупотреблений по СП не установлено. По нашим (самым приблизительным!) подсчетам в Супр — более 100 000 словоупотреблений, в Мар — более 50 000, в Клоц — около 6200; в целом во всех СП не менее 300 000 словоупотреблений. Это количество достаточно для выявления основных закономерностей, характерных для лексики СЯ. Тем не менее бóльшая часть слов СП отличается низкой употребительностью, ограниченной сочетаемостью, а потому мы располагаем весьма скудными сведениями о значениях слов. Именно в сфере семантики наши знания лексики СЯ наиболее ущербны, а интерпретация значений отдельных слов нередко носит характер предположений, а не окончательных выводов, для которых не хватает данных СП. В ряде случаев непосредственные наблюдения над лексикой СЯ необходимо проверять материалами косвенных источников различного характера.

Примерно четвертая часть словаря СП принадлежит к категории hapax legomena (по недавно установившейся у нас традиции называем их в дальнейшем гапаксами). В языке СП выделяются две группы гапаксов. Во-первых, слова, широко известные в истории болгарского и других славянских языков, которые из-за ограниченного числа сохранившихся до нашего времени СП и будучи, в большинстве случаев, по природе своей редкоупотребляемыми, зафиксированы только в одном единственном контексте. Каждый вновь открытый текст СЯ уменьшает число таких гапаксов (стоит сравнить хотя бы словник Ен со словником ранее известных 14 СП). К таким гапаксам «по неволе» принадлежат, например, слова: баба (Ас 147б 4), бъдрость (Служ За 18—19), весна (Пс 73, 17 Син), дроужьба (Клоц 4б 15), заяць (Пс 103, 18 Син), кобыла (Супр 43, 1), колада (Евх 103б 3), нагло (Рыл 1б 1), тесати (Супр 161, 30), тетъка (Супр 133, 11), хоботъ (Хил 1Аб 23), чеꙗдь (Мар Л 12, 42). Во-вторых, гапаксы в собственном смысле слова, или, как их обычно называют, гапаксы-окказионализмы. К гапаксам этой группы относятся немногие слова СП. Например: длъгослоужие (Евх 92б 17), мъногоочительнъ (Супр 456, 4—5), неиздреченьникъ (Евх 56а 11), народоходима (Супр 278, 23—24), пѫтьоутросиꙗ (Супр 216, 18), свобота (Супр 470, 14), сыновожаствие (Супр 342, 12). В языке СП преобладают гапаксы первой группы. Целый ряд групп производных и сложных слов представлен преимущественно или исключительно гапаксами. Так, продуктивный тип отвлеченных существительных с формантом -ьство представлен в языке СП 129 словами, из них 60 — гапаксы. Гапакс богословъ (Ен 36б 11) — единственный в языке СП пример данного типа десуффиксального словопроизводства, но он позволяет датировать начало этого процесса концом XI в. Ср. обычное

для СЯ богословець (в календаре Ас, 3; Сав, 1; Ен, 1) [2]. Группы сложений с первым компонентом лихо-, любо-(φιλο-), рабьно- и нек. др. представлены только гапаксами. Гапаксы СП, изученные не изолированно, а в границах определенных словарных типов, существенно умножают наши знания о лексике СЯ. В языке СП выделяется группа широко употребляемых слов. Во всех 15 СП употребляются 8 слов: быти, къ, и (союз), иже, не, онъ, рещи, тъ. Каждое из них употребляется не менее тысячи раз, обычно по нескольку тысяч раз. В 14 СП — 25 слов: бесь (местоимение), вѣдѣти, глаголати, господь, да, до, дань, и (местоимение), къ, мои, мъногъ, ни, о, отець, отъ, приимати, свои, сватъ, себе, сръдьце, сътворити, сь, тако, ты, хотѣти, В 13 СП — 25 слов: аще, бо, богъ, божии, видѣти, вѣра, грѣхъ, добръ, доуша, дѣло, же, имѣти, нъ, пакы, по, самъ, сынъ, твои, тѣло, оубо, ходити, ꙗко, ꙗкоже, ꙗгда, ꙗдинъ. В 12 СП — 47 слов: а, азъ, анѓелъ, апостолъ, благъ, великъ, врѣмя, вѣчьнъ, вы, глава, доухъ, дѣꙗти, земꙗ, из, или, инъ, искати, истина, ити, како, кръвь, кънига, къто, ли, мати, миръ (κόσμος), моци, молити, мы, на, наша, обрѣсти, подобати, польѕа, посълати, правьда, правьдьнъ, приити, приꙗти, пророкъ, ради, слышати, съ, съпасение, съпасти, творити, тъжде. В 11 СП — 60 слов: без, благодѣть, блажьнъ, бывати, вещь, волꙗ, врагъ, възнити, вѣкъ, вѣровати, дати, десенъ, диꙗволъ, дъва, за, жена, животъ, идеже, исповѣдовати, исходити, конець, крѣпъкъ, къде, кыи, лице, начати, напасть, небо, новъ, око, паче, плодъ, помиловати, прѣдати, прѣдъ, прѣжде, пѫть, рабъ, разоумѣти, свѣтъ, сила, слава, слово, съмрьть, събирати, съказати, съпасъ ('спаситель'), съде, сѫдъ ('суждение'), таина, тоу, оумрѣти, хлѣбъ, царьствие, чистъ, чловѣкъ, чьто, ꙗзыкъ, ꙗти. Всего в 11—15 СП употребляется 165 слов. В 10 СП — около 100 слов: дбие, богати сѧ,ваша, велии, владыка, вода, въпити, въселюдꙗ, въскрьсѫти, въспѣти, въстати, въторъ, възлюбити, вьсѣкъ вѣрьнъ, глаголъ, господьнь, грѧсти, даръ, дъци, живъ, жизнь, жити, знаменати, знати, зълъ, зъвати, зѫбъ, изъбавити, изити, имѧ, истиньнъ, кротъкъ, кънѧзь, лѣсть, лѣто, любы, малъ, миръ ('покой'), мѣра, мрьтвъ, надъ, немощьнъ, нога, ноць, образъ, огонь, оружие, оставити, отъвръщи, памѧть, пълть, погыбнѫти, подобьнъ, понеже, пострадати, прѣмѫдрость, разоумъ, ружка, се, село, слоуга, слоужьба, слънце, срѣда, страхъ, съвръшити, съвѣдѣтелъствовати, тогда, трьпѣние, оуста, оухо, цѣсарь, цѣсарьство, чаша, чловѣчьскъ, чадо, часть, ꙗгда, ꙗще, ꙗсти. Перечисленные слова, несомненно, можно считать самыми употребительными словами СЯ. В их составе преобладают служебные слова, затем полнозначные первообразные. Количество производных слов (на уровне СЯ) сравнительно невелико. В префиксальных глаголах приставка обычно

---

[2] Цифра, отделяемая от названия памятника запятой, обозначает число употреблений в нем данного слова. Вне цитат из памятников слова даются в нормализованном написании.

лишена собственно лексического значения и является лишь показателем вида глагола. Значительно реже, чем префиксальные глаголы, встречаются префиксальные прилагательные и существительные. Характерно отсутствие двукорневых сложений. В данной группе слов имеется только три грецизма: анѓелъ, апостолъ, и диѧволъ. Среди слов, которые встречаются в 12 и более СП, нет собственных имен. Самым распространенным по охвату СП является имя Исаиъ, оно отмечено в 11 СП. В 9 СП употребляется 170 слов. Сравнительно со словами, встречающимися в 10 СП, здесь резко возрастает число префиксальных глаголов и несколько увеличивается число суффиксальных существительных.

Как правило, если нам известно, что то или иное слово встречается одновременно в одном из старославянских евангелий и в в Супр, то мы его обнаружим и в ряде других СП. Исключения из этого правила наблюдаются редко и заслуживают специального рассмотрения. Такие, например, случаи, как масло (Зогр, 2; Евх, 3; Супр, 24) или подроугъ (Зогр, 1; Супр, 1) в значении 'ближний' (не 'раб'), в числе других особенностей Зогр говорят о влиянии восточноболгарской лексики на словарь этого западного СП. Нужно отметить, что анализ подобных нетипичных соединений двух-трех СП нередко позволяет обнаружить ошибки в прочтениях неясных мест памятника. Так, слово дѫбиѥ 'деревья' до последнего времени (см. Сл. ЧСАН, I, 555) приписывалось и Зогр и Супр. Между тем дѫбъ и его производные в СЯ известны только Супр (значение 'дерево'), а также Син и Евх (значение 'дуб'). Общестарославянским в значении 'дерево' является дрѣво (Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, Евх, Клоц, Супр, Ен). Дѫбиѥ в Мк 8, 24 Зогр — ошибка. Л. Мошинский при изучении рукописи Зогр обнаружил здесь отчетливые следы написания слова дрѣво.

Степень употребительности слов в СЯ и дифференциация их по СП определяется как содержанием текстов, так и собственно языковыми причинами. В числе внешних причин существенны две. Во-первых, зависимость употребительности слова от употребительности понятия, им выражаемого, в целом по СП. Так, например, в коррелятивных парах богъ (отмечено в 13 СП, суммарно несколько тысяч раз) — богыни (Супр, 4) или десница (Зогр, 2; Мар, 2; Ас, 2; Сав, 2; Син, 25; Служ, 1; Евх, 8; Супр, 6) — шоуица (Зогр, 1; Мар, 1; Ас, 1; Сав, 1) первый член пары чаще встречается именно по этой причине. Во-вторых, зависимость употребительности слова от содержания данного памятника. Так, в псалтыри, разумеется, отсутствует новозаветная лексика (типа апостолъ, лавра, чрьноризьць). Напротив, слово оученикъ особенно часто употребляется в евангельских текстах (ср.: Зогр, 203; Мар, 240; Ас, 216; Сав, 114; Охр, 7; Унд, 2; Евх, 24; Клоц, 12; Супр, 83); слово скѧтъ характерно для Супр, содержащей жития и гомилии (ср.: Супр, 684; Мар, 39).

В числе собственно языковых причин также важны две. Во-первых, принадлежность слова к определенному лексико-грамма-

тическому классу. Так, местоимение ты суммарно в СП употребляется более 2 000 раз, а союз оубо — около 1 000 раз. Такая высокая употребительность характерна для значительного количества слов, относящихся к неполнозначным частям речи. Сказанное не означает, что непременно каждое синсемантическое слово является высокоупотребительным. Из этого правила в языке СП имеется ряд исключений. Так, предлоги въскрѧи и скѣне — гапаксы (Супр 76, 17 и 1, 15). Во-вторых, употребительность одних слов сравнительно с другими, близкими или тождественными по значению, зависит от принадлежности писца (или писцов) рукописи к определенному ареалу — диалектному и культурному (имеется в виду школа письменности). В СЯ не было единой лексической нормы, если под нормой понимать совокупность словарных особенностей, характеризующую данный язык, словоупотребление, принятое в данном языке. Так называемые охридские и преславские текстологические дублеты [3] исследованы очень детально. Работы этого рода представляют собою основу современной старославянской (и церковнославянской) лексикологии, но они охватывают далеко не весь словарный состав СЯ, не все категории и типы старославянской лексики, а объект их анализа — изолированные слова (и пары слов) различного ареала и времени. Исследования данного плана ориентированы преимущественно на решение проблем, связанных с восстановлением словаря первых славянских переводов. Применительно к лексике СП охридско-преславские параллели часто неверно интерпретируются: во-первых, охридские слова считаются свойственными только глаголическим СП, преславские — кириллическим[4]; во-вторых, выделенные пары (реже ряды слов) обычно рассматриваются изолированно, вне лексической системы СЯ. Ограничимся несколькими примерами (первый член пары — охридское по происхождению слово, второе — преславское): брѧние (Зогр, 5; Мар, 5; Ас, 5; Син, 3; Евх, 1; Клоц, 2; Супр, 5) и калъ (Евх, 1; Супр, 2); велии (Зогр, 47; Мар, 46; Ас, 36; Сав, 20; Син, 20; Евх, 7; Клоц, 8; Супр, 10; Ен, 10; Рыл, 1) и великъ (Зогр, 8; Мар, 11; Ас, 19; Сав, 29; Син, 10; Евх, 16; Клоц, 12; Супр, 216; Рыл, 1; Хил, 1; Зогр лл, 1; Ен, 1;

---

[3] Текстологическими дублетами называем слова, различно передающие одно и то же слово греческого оригинала в определенном контексте (чтении) определенного литературного памятника. Обычно текстологические дублеты являются одновременно и дублетами лексическими, т. е. словами, которые имеют одно и то же значение (в многозначных словах совпадает непременно одно значение и необязательно остальные), но в отдельных случаях текстологические дублеты могут не совпадать в своих значениях. Например, греч. μογιλάλος в Мк 7, 32 передается в СП двумя различными словами: гъгъннвъ 'косноязычный' (в Зогр, Мар, Сав) и нѣмъ 'немой' (в Ас). Текстологические и лексические дублеты необходимо различать. В данном случае важно и то, что и гъгъннвъ (Зогр, Мар, Сав, Евх, Супр) и нѣмъ (Зогр, Мар, Ас, Сав, Син, Евх, Супр) — слова общестарославянского распространения.

[4] Ср., например: А. М. Селищев. Старославянский язык, ч. I. М., 1951, стр. 32.

цифровые данные из Сл. ЧСАН, I, 171); вьꙗ (Зогр, 3; Мар, 4; Ас, 1; Сав, 1; Син, 1; Евх, 3; Супр, 22) и шиꙗ (Супр, 1); гоумьно (Зогр, 2; Мар, 1; Ас, 1; Сав, 1; Евх, 1; Супр, 1) и токъ (Супр, 1); достоꙗние (Зогр, 3; Мар, 4; Ас, 1; Син, 26; Ен, 1) и наслѣдие (Евх, 1; Сав, 1); дрьколѣ (Зогр, 5; Мар, 5; Ас, 2; Клоц, 2; Супр, 1) и жрьдь (Сав, 2; Супр, 1); дрѧхлъ (Мар, 2; Супр, 6), дрѧселъ (Зогр, 2; Ас, 1) и сѣтьнъ (Супр, 2); стоуденьць (Мар, 5; Ас, 5; Сав, 1; Син, 1; Евх, 1) и кладѧсь (Зогр, 5; Евх, 1); съвѣдѣтель (Зогр, 5; Мар, 8; Ас, 6; Сав, 9; Син, 3; Евх, 1; Клоц, 3; Супр, 8) и послоухъ (Сав, 1; Евх, 3; Супр, 6); шоуи (Зогр, 3; Мар, 9; Ас, ?; Сав, 2; Евх, 1) и лѣкъ (Зогр, 4; Сав, 5; Супр, 6).

Даже из данных примеров видно, что, во-первых, так наз. охридские слова употребляются чаще и в большем количестве СП, чем преславские; во-вторых, охридские слова встречаются и в глаголических и в кириллических СП. Преславские слова, как правило, употребляются несколько реже, но и они сравнительно часто имеют место в глаголических рукописях (особенно в Евх). При изучении словарного состава СП необходимо учитывать, что различные культурные школы, существовавшие в древней Болгарии и в соседних с нею землях, развивались во взаимодействии и испытывали взаимное влияние. Только таким влиянием можно объяснить нахождение в Зогр, македонском глаголическом памятнике, таких восточноболгаризмов, как лѣкъ, масло, островъ, пастоухъ и нек. др. Влияние охридской школы на преславскую общепризнанно. Следует, однако, заметить, что в интерпретации фактов в ряде случаев господствуют ставшие традиционными высказывания палеославистов XIX в. и начала XX в., которые аргументированы случайными материалами (ср. критику их на конкретных примерах в монографии А. С. Львова «Очерки по лексике памятников старославянской письменности», 1966). Новые данные нередко позволяют увидеть старые факты в новом и даже порой неожиданном освещении. Так, например, к общепризнанному западноболгарскому слову лѧжаꙗ (гапакс в СП: Мт 23, 37 Ас) найден вариант в восточноболгарском апракосе XIII в. — лѧжька [5]. Исследователи лексических примет охридской и преславской школ, как правило, оперируют изолированными словами, простыми или производными. Может создаться впечатление, что если прилагательное дрѧхлъ, например, характерно для охридских рукописей в отличие от прилагательного сѣтьнъ, свойственного преславским памятникам, то производные с данным корнем «расходятся» по тем же группам памятников. На самом деле в СП имеет место иная дифференциация. Так, например, существительное дрѧхльство отмечено только в Супр, там же и сѣтование, но глагол дрѧселовати —

[5] К. Мирчев. За едно старобългарско наименование на квачката. «Български език», IX, 1959, стр. 252—253; Его же. Климент Охридски и развоят на българския език. «Климент Охридски», София, 1968, стр. 36; J. Rusek. St.-cerk.-sł. лѧжаꙗ. — «Studia linguistica in honorum Th. Lehr-Spławiński». Warszawa, 1963, стр. 199—203.

только в Зогр и Мар, а глагол свѣтовати — в 5 СП (Зогр Ас Син Евх Супр). Аналогично прилагательное велии считается охридским, но 11 сложений на вель-, веле-, велие- известны только по 3 СП (Син Евх Супр). Наслѣдие употребляется только в Сав и Евх, а однокоренные с ним слова с общим семантическим знаменателем — в самых разнообразных СП: наслѣдити (Зогр Мар Ас Сав Син Евх), наслѣдование (Клоц), наслѣдовати (Зогр Мар Ас Сав Син Евх Ен), наслѣдникъ (Зогр Мар Ас Сав Евх Клоц Ен), наслѣдьствовати (Мар Сав Син Клоц). Так называемое охридское съвѣдѣтель известно в 8 СП, в таком же количестве СП известен и глагол съвѣдѣти, в 10 СП употребляется съвѣдѣтельствовати, в 7 СП — съвѣдѣтельство, но лъжесъвѣдѣние — только в Зогр и Мар, а лъжепослоушьствовати и съвѣда — только в Супр. Вместе с тем послоуховатн и послоушьство — только в Супр, а послоушьствовати — в 3 СП (Ас Евх Супр). Следует также подчеркнуть, что в многозначных так называемых охридских словах нередко основное значение представлено и в западно- и в восточноболгарских СП, а производные значения зафиксированы только в последних. Ограничимся одним примером. Так значение 'свидетель, очевидец' (μάρτυς) в съвѣдѣтель является общестарославянским, а значение 'руководитель, наставник' (παιδαγωγός, ἔφορος) известно только по Супр. Например: да отъ моихъ словесъ разоумѣюши ꙗко творьцъ юесмъ доушам' и срьдьцемъ съвѣдѣтель Супр 393, 15.

Лексическая дифференциация в СП проявляется не только в употреблении в одном и том же значении разнокоренных слов, которые мы называем дублетами (и на которых сосредоточили свое внимание исследователи охридско-преславских лексических параллелей), но и в употреблении многочисленных равнозначных однокоренных слов, различно оформленных, которые мы называем вариантами (лексическими). Дублеты и варианты — явления одного порядка (варианты — подвид дублетов): при совпадении минимум одного значения члены пары (или ряда) дублетов или вариантов генетически принадлежат к разным системам (языкам, говорам), совмещение их в одной системе приводит к утрате ненужного члена пары или к появлению у одного из них новых семантических или стилистических отличительных особенностей. В отличие от них синонимы (т. е. слова близкие, но не совпадающие в значениях) принадлежат к одной системе, и подобные процессы для них не характерны. Назовем два основных типа вариантов (подтипы не выделяем) [6]: фонетические и словообразовательные. К первым, например, относятся: гроздъ (Зогр, 2; Мар, 1; Ас, 1; Евх, 2) и грознъ (Мар, 1; Супр, 2); нѫждьникъ (Зогр, 1; Мар, 1;

---

[6] Оставляем в стороне особый тип вариантов — варианты написания. Например: пьсати, псати и ѱати, къ҃нгы, кънигы, кн҃гы и книгы и т. п. В значительном количестве случаев подобные варианты также показательны для дифференциации СП.

Ас, 1; Евх, 1) и ноуждьникъ (Сав, 1); попелъ (Зогр, 2; Мар, 2; Син, 1; Супр, 1) и пепелъ (Супр, 3); трѣва (Зогр, 6; Мар, 6; Ас, 2; Сав, 2; Унд, 1; Син, 5; Евх, 1; Супр, 3) и трава (Син, 3); тысѧщьникъ (Зогр, 2; Мар, 2; Ас, 2) и тысѧщьникъ (Сав, 1). Второй тип вариантов представлен значительно бо́льшим количеством слов и структурных подтипов. Ограничимся примерами: водоносъ (Зогр, 2; Мар, 3; Ас, 3; Охр, 2) и водонось (Супр, 8); диво (Син, 1) и дивъ (Клоц, 2); богатьство (Зогр, 4; Мар, 4; Ас, 3; Сав, 3; Син, 10; Клоц, 1; Супр, 20; Ен, 1) и богатьствие (Зогр, 2; Мар, 2); вѣровати (в 10 СП) и вѣрьствовати (Супр, 3); лѣнъ (Зогр, 1; Мар, 1) и лѣнивъ (Ас, 1; Сав, 1; Супр, 2); крѣпъко (Евх, 2; Клоц, 1; Супр, 1) и крѣпѣ (Супр, 1); оубогъ (Зогр, 4; Мар, 4; Ас, 3; Сав, 3; Син, 28; Евх, 1; Супр, 38) и небогъ (Супр, 4); незълоба (Син, 2), незълобие (Евх, 1) и безълобие (Супр, 1); пѣние (Зогр, 1; Мар, 1; Ас, 1; Сав, 1; Син, 23; Евх, 6; Ен, 18) и пѣтие (Супр, 7); свѣтильникъ (Зогр, 15; Мар, 15; Ас, 12; Сав, 9; Син, 3; Клоц, 4; Супр, 2; Ен, 1) и свѣтило (Зогр, 1; Мар, 1; Син, 3; Евх, 1; Супр, 8); начало (Зогр, 4; Мар, 5; Ас, 3; Сав, 2; Син, 2; Евх, 1; Супр, 11); зачало (Зогр, 1; Мар, 1; Ас, 2; Сав, 2; Син, 1; Евх, 1) и въчало (Супр, 1); правость (Син, 5), правьіи (Син, 3), правота (Син, 2) и правьда (в 12 СП). Рассмотрение словообразовательных вариантов в данных соотношениях только позволяет установить самый факт их сосуществования в СЯ и распределения по СП. Объяснить причины дифференциации по СП на основании установленных корреляций нельзя. Необходимо исследование каждого члена пары (ряда) в иных соотношениях, прежде всего по типу словообразовательной модели.

СЯ принадлежит к языкам с развитой системой деривации. В языке СП имеется около 100 суффиксов и префиксов различной степени регулярности и продуктивности. В словарном составе СП производные слова занимают значительное место. Исследование мотивированных слов по словообразовательным типам очень важно как для характеристики словарного состава СЯ в целом, так и для выявления особенностей и причин лексической дифференциации СП. Приведем один пример. В словаре СП содержится очень большое число слов со значением лица мужского рода. Они представлены как простыми (немотивированными на уровне СЯ) словами, так и производными. К числу первых относятся, например, общестарославянские слова слоуга, съпасъ ('спаситель'), сѫдъ ('суждение'). К производным словам нерегулярного типа, представленным единичными примерами, относятся такие, например, слова, как женихъ, пастоухъ, пастыра, два слова с суфф. -ика — ближика и жжика, два слова с суфф. -ыка — владыка и всевладыка и нек. др. К непродуктивным типам слов, отличающимся словообразовательной регулярностью (т. е. повторяемостью данного форманта в ряде слов), относится несколько групп существительных мужского рода со значением лица. Слова данных типов

обычно характерны для определенных СП. Например, с суфф. -арь в языке СП известно всего 8 слов: винарь (Зогр, 1; Мар, 1); братарь (Сав, 1, ошибочно вм. братарица; Супр, 2); врътоградарь (Мар, 1; Ас, 1); грънъчарь (Супр, 1); клеветарь (Супр, 1); ключарь (в календаре Ас, 1); мытарь (Зогр.?; Мар, 25; Ас?; Сав, 12; Евх, 3; Служ, 1; Супр, 3) ; рыбарь (Зогр, 3; Мар, 1). Каждое из перечисленных слов обозначает лицо мужского рода по его профессии, постоянному занятию, предмету деятельности. Все они образованы от соответствующих существительных, указывающих на объект такой деятельности. Не все эти мотивирующие слова зафиксированы в языке СП. Так, нет слова грънъца, а существительное клевета в СП употребляется в более позднем значении 'клевета' (см. Сл. ЧСАН, II, 26), тогда как в клеветарь сохраняется более архаичное значение 'обвинитель, обличитель' [7]. Семь слов на -арь суммарно употребляются в СП 14 раз. Восьмое — мытарь известно в 7 СП, суммарно около 80 раз, из которых на неевангельские тексты приходится 7 словоупотреблений. Из 8 слов на -арь в евангелиях отмечено 5, шестое — гапакс в календаре Ас; 4 слова известны в Супр, из них 2 — гапаксы. Только мытарь встречается кроме названных СП также и в Евх и в Служ. Все слова данного словообразовательного типа имеют в СЯ дублеты, варианты или синонимы (за исключением гапакса ключарь): винарь — врътоградарь, синонимично употребляется дѣлатель (обычное греческое соответствие в данном случае γεωργός), например: азъ есмь лоза истинъна҆ѣ.і оца мои дѣлатель естъ И 15, 1 Зогр Мар Ас Сав дважды; Евх 13б 22—23; братарь — братьникъ — дварьникъ; грънъчарь — скждальникъ; клеветарь — обадитель — обличитель, мытарь — мытоимьца — мьздоимьца — старѣишина изацьничьскъ (Супр 545, 29—30, ср. Л 19, 2, в данном случае, собственно, имеем в виду не зафиксированное в СП существительное изацьникъ); рыбарь — рыбитвъ — ловьца (рыбамъ) — ловци. Большинство данных слов принадлежит к продуктивным типам мотивированных существительных со значением лица мужского рода, образованным формантами -ьникъ, -тель, -ьца. Кроме слова братарица в языке СП нет производных от существительных на -арь. Все особенности слов на -арь в СП говорят о том, что данный тип в СЯ не был продуктивным, ряд слов, к нему относящихся, не пополнялся новыми словами и отличался известной ареальной ограниченностью и архаичностью, слова данной модели характерны для евангельских рукописей СЯ.

Во многом аналогично, но в других СП функционируют существительные мужского рода со значением лица, образованные с формантом -(а)тан. Известно 5 таких слов, из них 4 — гапаксы

---

[7] См. В. Н. Топоров. Этимологические заметки (славяно-италийские параллели). 1. Слав. kleweta. — КСИС, вып. 25. М., 1958, стр. 74—79.

в Супр: исходатаи, походатаи, позоратаи, ратаи. Пятое ходатаи употребляется в 3 СП (Евх, 1; Клоц, 1; Супр, 11). Слова ходатаи и исходатаи имеют общий семантический знаменатель со словами ходатаиство (Евх), исходатаати (Евх), исходатаиникъ (Супр). Все слова на -(а)таи имеют в языке СП дублеты, варианты и синонимы, относящиеся к продуктивным словообразовательным типам. Например, исходатаи — исходатаиникъ, застѫпникъ, защититель, защитникъ. Слова этой группы характерны для Супр. Преимущественно в Супр употребляются и слова другого непродуктивного в СЯ типа существительных мужского рода со значением лица — с тюркским по происхождению формантом -чии. Определенная ареальная ограниченность свойственна и некоторым другим непродуктивным словообразовательным типам старославянских слов с признаком регулярности и со значением лица.

В отличие от них, продуктивные типы слов со значением лица мужского рода свойственны всем СП. Ряд слов, составляющий каждый из таких типов, не замкнут, в нем легко образуются новые слова. Остановимся кратко на двух из них. Слова с формантом -(и)тель отличаются ясной структурой, все они образованы от глагольных основ. Слова на -(и)тель имеют два вида значений: во-первых, наименование лица по его постоянным занятиям, профессии, например: жатель, дѣлатель, слоужитель, ицѣлитель, оучитель; во-вторых, наименование лица по его характерным действиям, поступкам; например: гонитель, гоубитель, датель, избавитель, подражатель. В языке СП известно 71 слово с данным формантом. Из них в Супр употребляется 42 слова, при этом только в Супр — 18. Сравнительно много таких слов в Рыл — 6, два из них гапаксы — вѣтитель и слышатель. В евангельских текстах употребляется 18 слов; 7 из них также известны в Супр и в нек. др. СП, т. е. являются словами общестарославянского распространения, например: дѣлатель, родитель, оучитель; 6 слов соотносительны с бессуффиксальными глаголами, т. е. образуют наименее продуктивную подгруппу слов данного словообразовательного типа. Характерно, что слова этого рода редко употребляются и отмечены почти исключительно в евангелиях СЯ: благодатель (Мар, 1), благодѣтель (Зогр, 1; Клоц, 1; Супр, 8), властель (Зогр, 1; Мар, 1; Ас, 1; Евх, 1; Супр, 1), житель (Зогр, 1; Мар, 1; Ас, 1; Сав, 1), жатель (Зогр, 1; Мар, 1; Унд, 1), прѣдатель (Зогр, 1; Мар, 1). Слова на -(и)тель известны всем СП кроме Охр, Хил и Зогр лл. Употребительность их в Супр и в близких к ней СП увеличивается сравнительно с евангельскими текстами главным образом за счет образований от глаголов на -ити (всего в СП 42 таких существительных, из них в евангелиях — 7). Слова с суфф. -(и)тель постепенно вытесняют из употребления ряд простых слов со значением лица, даже таких широко распространенных и весьма употребительных, как, например, съпасъ. Съпасъ известно в 11 СП (Зогр, 3; Мар, 3; Ас, 3; Сав, 1; Син, 4; Евх, 16;

Служ, 1; Клоц, 1; Супр, 48; Хил, 1; Ен, 3), при этом только в Син (один раз в пс 68, 15) и в Супр (несколько раз) это слово употребляется в новом значении 'спасение', во всех остальных случаях съпасъ означает 'спаситель'. В последнем значении производное существительное съпасительь употребляется только в неевангельских СП (Син, 6; Клоц, 1; Супр, 3; Ен, 1). Весьма характерно, что в тексте оглавления в тетрах употребляется прилагательное, образованное от данного суффиксального существительного (ѡ ісконшении спсителевѣ Зогр 129а 8; Мар 186а 7), в соответствии с общими особенностями, отличающими лексику оглавления тетров и календаря апракосов от основного текста и сближающими ее с лексикой Супр и близких к ней СП.

Аналогичный процесс наблюдается в употреблении другой пары словообразовательных вариантов: сѫпьрь — сѫпьрьникъ. Ѳѫпьрь известно только в старославянских евангелиях (Зогр, 4; Мар, 3; Ас, 1; Сав, 1). Например: егда же градеши съ сѫпьремь своімь къ кънязоу... Л 12, 58 Зогр Мар (в церковнославянских евангелиях здесь и в других стихах часто находим соупьрьникъ, так в Вук в данном случае, л. 99д, и во всех остальных). В СЯ сѫпьрьникъ известно только по Супр (2). Например: словесы бо прѣпираѭи сѧ не приѧзникъ робъ.нъ ѩвѣ сѫпьрникъ Супр 328, 16. Ѳѫпьрьникъ следует рассматривать в ряду других существительных мужского рода со значением лица с данным формантом. Слова с суфф. -ьникъ в языке СП весьма многочисленны: всего их 154. К ним близки 11 производных от соответствующих страдательных причастий типа оученикъ, крьмлѥникъ и т. п. Слова, образованные с формантом -ьникъ, имеют в основном четыре вида значений. Во-первых, наименование лица по роду его деятельности, профессии, постоянным занятиям. Например: братьникъ, звѣрокрьмьникъ, копиниикъ, книжьникъ, пѣнѧжьникъ. Это самая многочисленная подгруппа слов. Во-вторых, наименование лица по отношению к кому-либо, по роду его влияния, воздействия на кого-либо. Например: къгодьникъ, закистьникъ, пагоубьникъ, прѣдъборьникъ, съдѣистьникъ. В-третьих, наименование лица как носителя определенных качеств, состояния, отличительных свойств. Например: бестоудьникъ, блѫдьникъ, грѣшьникъ, неджжьникъ, постьникъ. В-четвертых, наименование лица по его отношению к обществу, по его социальному положению. Например: безградьникъ, плѣньникъ, съплеменьникъ, жзьникъ, ѩзычьникъ. Образованные в громадном количестве случаев от соответствующих прилагательных на -ьнъ типа искоусьнъ — искоусьникъ, наслѣдьнъ — наслѣдьникъ, правьдьнъ — правьдьникъ, данные существительные в СЯ постепенно стали непосредственно соотноситься с соответствующими непроизводными существительными типа брата — братьникъ, мьсть — мьстьникъ, пакость — пакостьникъ, невѣста — невѣстьникъ. Через стадию двойной мотивации (грѣшьнъ — грѣшьникъ и грѣхѣ — грѣшьникъ) произошло переразложение основы

и отвлечение -ьн- от основы прилагательного к основе существительного, т. е. суфф. -ьникъ оформился как живая морфема. В СЯ стали широко образовываться существительные данного типа, в том числе не только от именных, но и от глагольных основ типа застѫпьникъ, наставьникъ, обличьникъ, раздавьникъ. Показателем продуктивности данного словообразующего типа являются также слова, в которых данный формант наслаивается на суффиксальные существительные типа исходатаиникъ, обрѣтельникъ, приобрѣтельникъ (все в Супр) и гапаксы-окказионализмы типа жестоколѣганьникъ, неиздреченьникъ. Здесь же следует упомянуть и заимствования с греческого типа корабьникъ, клиросьникъ (Супр 119, 30; 519, 10 и 553, 7).

Слова с формантом -ьникъ отмечены во всех СП. В евангельских текстах употребляется 38 слов, еще 5 слов — в календаре апракосов. Слова, встречающиеся в евангелиях, как правило, известны и по другим СП (например, безаконьникъ, лъжьникъ, иноплеменьникъ, наслѣдьникъ, обѣщьникъ, плѣньникъ, правьдьникъ). 71 слово на -ьникъ отмечено только в Супр, из них гапаксов — 47, но имеются и довольно употребительные слова: къгодьникъ (6), иностраньникъ (6), невѣстьникъ (8), ратьникъ (11) и ряд других. В значительном количестве случаев слова на -ьникъ имеют дублеты и варианты различного характера: простые слова, производные непродуктивные и суффиксальные продуктивные. Например: бестоудьникъ — бесрамъкъ — бестоудьца; благодатьникъ — благодателѣ; блаженникъ — блажь; застѫпьникъ — защитителѣ; исходатаиникъ — ходатаи — исходатаи; обличьникъ — обличителѣ — обадителѣ — клеветарь; отъходьникъ — отъшьлъца; позоранникъ — позоратаи; работьникъ — рабъ и ряд других.

Анализ слов, относящихся к категории лица мужского рода, показывает, что лексическое своеобразие различных групп СП проявляется не только в отборе отдельных слов, но и в преимущественном употреблении слов, входящих в определенные словообразовательные типы. При этом производные слова продуктивных типов в Супр и близких к ней СП, как правило, частично или полностью замещают архаизмы различного рода, свойственные языку евангельских текстов СЯ (ср. хотя бы упомянутые выше варианты съпасъ — съпаситель, сѫпьрь — сѫпьрьникъ). На протяжении истории СЯ наблюдается отчетливая тенденция распространения слова продуктивными формантами. Так рядом с любодѣи появляется любодѣица, рядом с рабъ — работьникъ, рядом с сѫдии — сѫдитель и т. п. При этом неологизмы в СП нередко представлены единичными примерами. Подобные случаи — пример того, когда продуктивность определенного словообразовательного типа и степень употребительности конкретных слов этого типа могут не совпадать. То, что лексическая норма в СЯ находится в становлении, проявляется и в употреблении множества слов-вариантов с продуктивными суффиксами, в том числе и со значением

лица мужского рода на -ьникъ, -тель, -ица (см. хотя бы приведенные выше примеры). Вместе с тем следует отметить, что конкуренция словообразовательных моделей не всегда является конкуренцией конкретных однокоренных слов с различными формантами. Так, слова искоуситель и искоусьникъ или клеветарь и клеветьникъ употребляются в СП в разных значениях. Характерны и омонимы. Например, побѣдьникъ, скждьльникъ, чрьница — названия лица и побѣдьникъ, скждьльникъ, чрьница — названия предметов. Рядом со многими существительными продуктивных типов характерно употребление в СП в тех же значениях однокоренных субстантивированных прилагательных и несколько реже словосочетаний из прилагательного и простого существительного. Например: грѣшьныи, грѣшьныи рабъ или грѣшьникъ; правьдьныи, правьдьныи мжжь или правьдьникъ; сватыи, сватыи отьца или сватьца.

Аналогичные процессы характерны для слов, относящихся к категориям отвлеченных существительных и предметных значений.

Подобные особенности словоупотребления в языке СП характерны и для других классов полнозначных слов (простых и осложненных суффиксами): для прилагательных, глаголов и наречий.

Определенные различия по СП наблюдаются в употреблении префиксальных слов. Наряду с приставочными словами, распространенными в различных рукописях, имеются группы префиксальных слов, свойственные только евангельским текстам или Супр и близким к ней СП. Так, например, слова с приставкой прѣдъ- употребляются в большинстве СП. Из общего числа 29 слов в евангельских кодексах отмечено 9 слов, которые обычно известны и в других СП. Например: прѣдъвити (Зогр, 2; Мар, 2; Ас, 2; Син, 1; Супр, 2), прѣдълагати (Зогр, 1; Мар, 2; Син, 1; Супр, 2), прѣдъложение в выражении хлѣбы прѣдъложениꙗ (ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων) (Зогр, 3; Мар, 3; Ас, 2; Служ, 1; Ен, 1); в Рыл 2а 13—14 иначе; прѣдъложити (Зогр, 4; Мар, 4; Син, 1; Евх, 1; Служ, 1; Супр, 7). 16 слов — гапаксы, из них 13—в Супр, 3 — в Зогр, Ас и Ен. В данной группе слов преобладают глаголы (иногда в форме причастия) и существительные (прѣдъворьникъ, прѣдъдворие, прѣдътеча и нек. др.), известно только одно прилагательное — прѣдъплъчьнъ (Супр 93, 27). В отличие от слов на прѣдъ- 10 глаголов и одно отглагольное существительное (низъхождение), образованные с приставкой низъ-, представляют собою непродуктивную группу слов, здесь сосредоточены малоупотребительные архаизмы СЯ. Например: низъбити (Син, 1), низъвести (Мар, 1; Син, 2; Евх, 2), низъводити (Евх, 2), низъврѣци (Син, 1), низъвѣсити (Зогр, 1; Мар, 1; Ас, 1; Сав, 1) и т. п. В евангельских текстах употребляется 7 слов; в Син — 5; в Евх — 3; в Супр — 1; в Ен — 1. Обычно в значениях глаголов на низъ- употребляются глаголы с префиксом съ-, однокоренные варианты или дублеты,

они характерны для всех СП. Например: І ты каферъналоумъ до нсе възнесъ сѧ. до ада съведеши сѧ Л 10, 15 Зогр (в Мар — низъведеши сѧ; показательна передача этого места в Вук: ...до небесе възнесъ се. до ада низъ съведеши се 90б 8, где наречие низъ излишне по смыслу и сохраняется лишь в соответствии с традицией, тогда как в глаголе старое низъ- уже заменено на съ-). В отличие от данных глаголов, чаще всего встречающихся в евангельских кодексах, 30 прилагательных с приставкой прѣ- усилительного значения составляют продуктивную группу слов, характерную для Супр и близких к ней СП. В старославянских евангельских текстах известно только одно прилагательное с этой приставкой — прѣмѫдръ (Зогр, 2; Мар, 3; Ас, 3; Сав, 2; Син, 3; Евх, 1; Супр, 6; Ен, 1), при этом характерно, что оно отличается рядом особенностей от остальных слов с данным префиксом и от употребления прѣмѫдръ в других СП (в большинстве случаев). Так, в евангелиях ст.-сл. прѣмѫдръ всегда соответствует греч. σοφός, тогда как в Супр — πάνσοφος, σοφώτατος (за исключением одного случая). В евангелиях прѣмѫдръ означает 'обладающий особой, высшей (божественной) мудростью', тогда как в других СП оно обычно имеет значение 'очень мудрый'. В Супр известно 27 прилагательных с начальным прѣ-, в Евх — 13; в Син — 8; в Ен — 6; в Клоц — 4. Для языка этих СП характерно употребление различных усилительных эпитетов типа прѣблагъ, прѣвѣчанъ, прѣисподанъ, прѣлихъ, прѣмилостивъ и т. п. Показательно, например, для стиля Супр добавление эпитета прѣсвѧтъ в цитате из евангелия: повелѣ пилатъ въдати ѥмоу прѣсвѧтоѥ тѣло Іѳоусово Супр 455, 28 (ср. Мт 27, 58 Зогр Мар Ас, где нет этого прилагательного, характерно его отсутствие и в Вук 173а 9 и 177д 1; определение отсутствует и перед σῶμα в греческом тексте). Для Супр и близких к ней СП типичны образования на без- (бес-) — из 118 таких префиксальных слов в СП только 14 употребляется в рукописях евангелий. Примеры подобного дифференцированного по СП употребления целых групп префиксальных слов можно умножить.

Значительное место в словарном составе СЯ занимают двукорневые сложения — каждое 15-е или 16-е слово в СП представляет собою такое сложение (здесь и далее не учитываются слова типа глаголъ, потапѣга или чловѣкъ, которые на уровне СЯ функционируют как простые, т. е. несложения)[8]. Появление сложений вызвано или непосредственно потребностями номинации (в СЯ не было нужного слова), или требованиями стиля (простое слово — стилистически нейтрально, сложное — высокое книжное).

[8] Мы не анализируем здесь и структуру различных типов сложений в СЯ (вроде братоучѧдъ и братолюбьствиѥ, грѣхъпаданиѥ и грѣхопаданиѥ, ржовьѩть и ржоѩть; вроде невѣгласъ, пакыбытиѥ, срѣдоудворие, четврѣногъ и т. п.). Описание ведется по первому компоненту сложения. Вопросы, связанные с анализом второго компонента, мы опускаем.

Функция сложения в СЯ в значительной степени раскрывается при сопоставлении старославянского слова с его греческим соответствием. Перевод греческого несложения старославянским сложением в большинстве случаев говорит о том, что старославянское слово принадлежит к числу древнейших славянских сложений, часть которых — германские (обычно готские) заимствования. Как правило, слова этого рода являются существительными с чисто номинативной функцией, лишь некоторые из них на протяжении истории СЯ и особенно позднее получают окраску высокого архаизма. Например: водоносъ (ὑδρία), кръторадъ (κῆπος), благодѣть (χάρις), дрѣводѣлꙗ (τέκτων). Таковы же и сложения типа лицемѣръ (ὑποκριτής), срьдоболꙗ (συγγενεῖς), которые в качестве греческих соответствий хотя и имеют композиты, но не являются их кальками, не соотносительны с ними по своим компонентам. Греческие сложения далеко не всегда калькировались в СЯ, очень часто они передавались несложениями или словосочетаниями. Например: ἀμπελουργός — винарь (Л 13, 7 Зогр Мар), θανατηφόρος — оубоичьнъ (Супр 399, 9, но ср. съмрьтоносьнъ Супр 484, 10 и 533, 22—23), κατακλυσμός — вода (Мт 24, 39 Зогр Мар Сав; в Ас дважды потопъ, потопъ и в Мт 24, 38 Зогр Мар), καρποφορεῖν — плодити сѧ (Мк 4, 20 и 28 Зогр Мар) и приносити плоды (Л 8, 15 Зогр Мар Ас Сав), но ср. гапакс плодоносьствовати (Супр 280, 4); χορτοβολών — сѣнаница (Супр 190, 27), εὐσέβεια — благаꙗ вѣра (Супр 86, 28), κυνόμυια — пѣсиѩ моухы (Пс 77, 45 Син), ὀπωροφυλάκιον — овощаноѥ хранилище (Пс 78, 1 Син). Возможны вместе с тем были и такие случаи, когда, во-первых, греческое несложение передавалось старославянским словосочетанием типа ἀρετή — добра дѣтѣла (Супр 96, 24, Хил 2а 11—12 и др.) или благыи нравъ (Супр 514, 5 и 520, 24), ἀρώματα — добра конꙗ (Супр 349, 16); во-вторых, греческое словосочетание передавалось старославянским сложением типа ὁ τῆς ζωῆς χορηγός — жизнодавьца (Супр 176, 18), κατὰ κεφαλῆς — стрьмоглавъ (Супр 137, 17 и 234, 7—8), διττὸς τόκος — гоугоубородьство (Супр 451, 16—17).

СП различаются по количеству употребляемых сложений и по их семантическим и стилистическим особенностям. Так, например, в языке Мар — 73 двукорневых сложений, т. е. примерно на одно сложение приходится 40 несложений. Состав их показателен для языка старославянского евангелия (большинство из них имеет место и в Зогр, Ас и Сав): 15 слов на благо- (благодать и его производные, а также сложные глаголы); богочьтьца, вельбѫдъ, вельбѫжда; виноградъ, винопиица, водоносъ, воевода; кръторадъ, кръторадарь, въторопрьвъ, жестосрьдие, житомѣрьние, заимодавьца, законоучитель; 3 на зъло- (зълодѣи и др.); иночадъ, иноплеменьникъ, кокотоглашение, кръвоточивъ; по 2 на лихо-, лице-, лъже-; 4 на любо-; 2 на мало-; 3 на мило-; 4 на мимо- (глаголы); мъногоцѣнаꙗ, пакыбытие, полоунощи; 3 на прѣжде-; 4 на прѣ-

любо-; ржкотворьнъ, самовидьца, стоудодѣꙗние, сьребролюбьца-четврътовластьникъ, четврътовластьствовати, четврѣдьневьнъ, чловѣкоубиица. Здесь преобладают существительные. Слова виноградъ, воевода, вельбждъ и ряд других не являются кальками с греческого. Кальки с греческого обычно передают специальные названия типа житомѣрьние, кокотоглашение, четврътовластьникъ. Здесь немного прилагательных сравнительно с СП неевангельского содержания, и среди имеющихся прилагательных выделяются слова архаичной структуры вроде иночадъ. Прилагательные обычно входят в словосочетания, представляющие собой цельную номинацию (ср. къторопрьвата сжбота). Выделяется сравнительно с другими СП многочисленная группа глаголов типа благовѣстити, благотворити, занимающая особое положение среди сложений как исконно именной категории слов. Глаголы этого рода в значительном количестве случаев находятся на грани юкстапозиции (вопрос о сложных глаголах мы здесь специально не рассматриваем). В нашем перечне отсутствуют сложения Мар, которые встречаются только в оглавлениях (типа водьнотрждовитъ и соухоржкъ), так как язык оглавлений в тетрах и календаря в апракосах отличается от языка основного евангельского текста и имеет в своей лексике много общего с Супр и близкими к ней СП. Ср. чл҃вкъ единъ имы водъныи трждъ Л 14, 2 Мар Ас Сав, но в оглавлении к Л 14: ѿ водънотрждовитѣмь Зогр 130а 20, Мар 76б 31.

В Син — 60 сложений, т. е. примерно на каждое сложение приходится 39—40 несложений. Среди них: 18 сложений на благо-; 3 на вельо-, виноградъ; 2 на вьсе-, грѣхъпадание, десятистроуньнъ; 2 на добро-; дѣломѣрьнъ, заимодавьца; 5 на законо-; иноплеменьникъ; 5 на ино- (иночадъ и др.); лихоимьство, междюрамие; 4 на мимо-; новорасль; 3 на полоу-; прѣлюбодѣи, рабьнодоушьнь, ржковѣть, стьлъпоустѣна, тѣлопьсание, тажькосрьдъ, четыридесять, чловѣкоугодьникъ, Ѥдропишьца. В сложениях Син много общих черт со сложениями Мар: немало глаголов, среди существительных много специальных слов, близких к терминам, типа междюрамие, стьлъпоустѣна, тѣлопьсание, прилагательные обычно употребляются в составе цельных двусловных наименований типа жже дѣломѣрьно, десятистроуньнъ, пъсалътыра. Прилагательных-эпитетов типа велерѣчивъ, рабьнодоушьнъ очень немного.

В Клоц — 30 сложений, т. е. на каждые 44—45 несложений приходится одно двукорневое сложение. Среди них: 6 слов на благо-; 5 на бого-; животолюбьца, законопрѣстжпьникъ, иноплеменьникъ, иночадъ, лицемѣръ; 3 на любо-; медоточьнъ, миротворьца, правосъторюнъ, сьребролюбление и сьребролюбьствие, оунебытивъ, цѣломждрьствие; 3 на чловѣко-; чоудотворьца. Характер данных сложений не отличается в целом от сложений Мар и Син.

В Ен — 49 сложений, т. е. на 19—20 несложений приходится одно сложение. Среди них: 10 на благо-; 6 на бого-; воєвода, грѣхопаданиє, доможивьць, животворѧ, зълострадати, зълодѣи, идоложрьтвьнъ, иноплеменьникъ, иносъказаємъ, козьлогласованиє, листопадъ, любодѣица, любодѣѩниє, мъногоразличьно, мъногочьстьно, масопоустъ, масопоустьнъ, нержкотворьнъ, новосвѣщьнъ, полоудане, полоуноць, присноѣва, правомѫченица, пятикостии (ср. грецизм в Сав — пентикостии и пентикостиинъ), свѧщеномѫченикъ, словопрѣпирати сѧ, стоудодѣѩниє, съприснотекы, сыропоустьнъ, трьсвятъ, тъщеглашениє, христолюбьць, єдиночадъ. Здесь преобладают сложения — наименования различных понятий, увеличивается сравнительно с Мар, Син и Клоц число прилагательных, но они редко употребляются в функции украшающего эпитета.

В Евх — 126 сложений, т. е. примерно каждое 21-е слово — двукорневое сложение. Здесь 20 сложений на благо; блѫдолюбиє; 7 на бого-; братосъториєниє; 2 на братро-; бѣлоризьць; 5 на веле- и вель-; 2 на вино-; блъхволюбиє, водопиица; 4 на воє-; врътоградъ; 6 на вьсе-; длъгослоужиє; 4 на добро-; доушегоубьнъ; дѣтогоублениє, жестоколѣганьникъ, животворити, законоданиє, звѣздозарьць, земелѣганиє, иноплеменьникъ, иночадъ, кротолюбьць, лихоиманиє, лицемѣриє; 2 на любо-; маломоць; 4 на мило-; 2 на миро-; 8 на мъного-; мытоимьць, мракъколѣганиє; 2 на нище-; нѣмоглаголъ; 3 на полоу-; 4 на право-; прѣждесвятити, прѣлюводѣѩниє, патидесятьница; 2 на пѫть-; рѫкописаниє, самодѣльникъ, свѣтьлообразьнъ, скверьнолюбиє; 4 на слово-; слъзоточьникъ; 2 на странъно-; страстотрьпиє; 2 на соухо-; 2 на тръ-; тождеплеменьникъ, тѫжькосрьдъ; по 2 на христо- и на цѣло-; 5 на хоудо-; чародѣѩниє, четвръногъ, чистолюбьць; 2 на чловѣко-; шестокрилатъ; 4 на єдино-. По-прежнему значительное место занимают и здесь существительные в собственно номинативной функции, выражающие различные специальные понятия типа звѣздозарьць, мытоимьць, мракъколѣганиє. Увеличивается число слов, входящих в группы с повторяющимся первым компонентом типа веле-, мило-, мъного-, право-. За счет таких групповых сложений возрастает общее число композит в Евх. Значительное место в Евх занимают и сложные прилагательные в функции украшающего эпитета типа свѣтьлообразьнъ, хоудовѣрьнъ.

В Супр — 386 двукорневых сложений, т. е. каждое 13-е или 14-е слово — сложное. В их числе: 42 слова на благо-; 34 на бого-; по 2 на брато- и на велико-; 6 на вель-; по 2 на вино- и на водо-; 4 на воє-; врътоградъ, врьтопоградъ; 9 на вьсе-; громъгласъ; 3 на длъго-; 21 на добро-; достоиновѣрьнъ, дрѣводѣлъ; 3 на доуше-; 5 на дъва- и дъво-; 3 на жесто-; 3 на живо-;

жизнодавьца; 3 на заково-; звѣрокръмьникъ, звѣроꙗдимъ; 2 на злато-; 14 на зъло-; 7 на ино- (иноꙗзычьникъ и др.); 3 на ино- (иночадъ и др.), искропытаньѣ; 6 на кръвс-; коумирослоужие; 3 на коупьно-; 3 на лихо-; 5 на лице-; 3 на лъже-; лѣторасль; 11 на любо-; лютовѣтрьнъ; 5 на мало-; 2 на междоу-; 3 на мило-; 2 на мимо-; миротворити; 17 на мъного-; 2 на мъздо-; мѫжеблажьствие, народоводима, нищелюбие; 8 на ново-; оржжѣносьствовати; 2 на плодо-; плодъторение; 2 на плъто-; повѣдотворьца; 2 на подобо-; 2 на подобьно-; подобьнъвѣръ; полоуноци; 2 на право-; простовласъ; 3 на пръво-; пѧтидесѧтъ, пѧтьдесѧтьное; 2 на рабьно-; родотворьца; 2 на ржко-; 12 на само-; 2 на свое-; седмьдесѧтьное, скверноꙗдение; 2 на слово-; срьдьцевѣдьца, срьдоболꙗ, срѣдоудворие, стльпотворение, странолюбие; 2 на страсто-; стрьмоглавь, соугоуборьдьство, смьртоносьнъ, сыновожьствие; 2 на сьребро-; 3 на тожде-; тократъ; 2 на три-; 3 на тръ-; тъщеславие; 7 на христо-; хоулолюбивъ, царьноризьца; 6 на цѣло-; цѧтоимьство; 2 на чаро-; четвьрьтодьньнъ, четвьрьдьневьнъ; 8 на чловѣко-; 4 на чрьно-; 5 на чоудо-; 2 на чадо-; шарописателꙗ; 2 на шесто-; штоуждекръмьница, ꙗтъхоульница, ѥдиносѫщие; 8 на ѥдьно-. В Супр почти в два раза больше слов, чем в Мар, но примерно в пять раз больше сложений. Это число резко увеличивается, главным образом, за счет сложений с повторяющимся первым компонентом типа сложений на благо-, добро-, мъного- и т. п. Такие группы слов, в которых первая часть повторяется не менее пяти раз, включают 219 сложений. Среди композит Супр значительное место занимают прилагательные, употребляющиеся в функции украшающего эпитета. Например: бѣсъныи пьсе. кръвопивыи змию, плътоꙗдивыи мечоу Супр 115, 27—28; отъ зълокъзньныихъ сѣтии прѣскверьнаго врага Супр 520, 22—23. Основная масса сложений в Супр — кальки с греческого, появление которых обусловлено стилистическими или номинативными функциями, сравнительно с ними сложений старого типа вроде дрѣводѣлꙗ или лицемѣръ немного.

Увеличение числа сложений в СЯ происходит постепенно. Процесс этот затрагивает только тип сложений-калек с греческого. В употреблении старых славянских сложений значительных изменений в истории СЯ не происходит. Для языка старославянских евангелий наряду со старыми сложениями типа благодѣть или благодать, виноградъ 'сад', зълодѣи, иночадъ сложения-кальки с греческого характерны только как средство номинации, многие из них почти терминологичны в своем употреблении, вроде житомѣрение (σιτομέτριον, Л 12, 42 Зогр Мар). Сложные существительные типа богочьтьца (И 9, 31 Зогр Мар Ас) или самовидьца (Л 1, 2 Зогр Мар Ас), сложные прилагательные типа богочьстивъ

(Л 2, 25 Ас, в Зогр — чѧстивъ, в Мар и Сав — чѧстивъ), въсесъжагаіемъ (Мк 12, 33 Ас, в Зогр и Мар — ѡлокавъгоматъ) встречаются в евангельских рукописях очень редко, под влиянием усложненного стиля агиографической и проповеднической литературы. Греческие сложения, особенно прилагательные, очень часто в евангелиях СЯ передаются простыми словами или словосочетаниями. Например: πρόσκαιρος в значении 'кратковременный, быстротечный': іже на каменихъ сѣмии . . . і не імѫтъ корене въ себѣ. нъ врѣменни сѫтъ Мк 4, 17 Зогр Мар (ср. в Супр прилагательное маловрѣменьнъ, которое употребляется в ней 13 раз); οἰκοδεσπότης — чловѣкъ домовитъ Мт 21, 33 Мар Ас (дважды) Сав (дважды); то же Мт 20, 1 Мар Ас Сав и т. д. Сложения как стилистическое средство не были свойственны простому по слогу языку евангелия. Эта особенность сохраняется и церковнославянскими евангелиями, в которых сложения этого рода встречаются лишь спорадически как дань новым стилистическим приемам, характерным для литературы иных жанров (проверено нами по Остромирову, Вуканову и Добрейшевому евангелиям, а также по Амфилохию). Для языка СП в целом характерно употребление в одном значении нескольких сложений, словосочетаний и простых слов, передающих в большинстве случаев одно и то же греческое соответствие или близкие по значениям слова протографа. Например: εὐγενής — благородьнъ и доброродьнъ (сложения на благо- архаичнее, чем на добро-, последние типичны для Супр в отличие от евангелий), благокоренъ, чкъ блага рода; εὐλαβής — богочѧстивъ, доброговѣйнъ, говѣйнъ; θεομάχος — боговоренъ, богокоторьнъ, богосварьнъ, с одной стороны, и боговорьць, богосварьникъ — с другой; μονογενής — иночадъ, єдиночадъ, єдьночадъ и єдьнорожденъ (калька — только последнее слово, Супр 423, 13—14, гапакс).

В Евх и Супр и отчасти в Ен число сложений греческого типа возрастает сравнительно с другими СП. Постепенно в СЯ целый ряд слов на благо-, бого-, добро-, зъло-, мало-, мъного-, лихо-, само-, своіе- и нек. др. становится продуктивной словообразовательной моделью, по которой легко создаются новые слова, в том числе и такие, которые отличаются от своих греческих соответствий. Например: благодавець (Евх 10а 1, свободный перевод φιλάνθρωπε καὶ ἀγαθέ), благоизволение (Супр 8, 27—28 и 263, 4, ἀρετή), благоиспытание (Зогр лл 1б 18; ἀκρίβεια). Для стиля языка СП неевангельского содержания, особенно для Евх и Супр, характерны сложения-украшающие эпитеты. Например: мы поемъ. медоточаньіѩ пѣсні Клоц 1б 13—14; мастиѫ благожханъноѩ Евх 3б 8—9; ношта лютовѣтраньѫ Супр 96, 25; Ꙗзыкы велерѣчивыи Пс 11, 4. Син. В цитатах из евангелия в Супр почти не употребляется сложений в соответствии с несложениями евангельских текстов, последние обычно сохраняются как стилистическая особенность. Эта черта Супр выделяется на фоне постоянных

замен слов, связанных с иной диалектной и культурной школой Супр. Так, например, евангельские ѧлѧвастръ, дѣвѧ, женихъ, катапетазма, попелъ, текторъ заменяются соответственно на стѧклѧница, дѣвица, некѣстѧникъ (или зѧтъ), опона, пепелъ, дрѣводѣлѧ. Характерна близость в отношении этих замен Супр и Вук, древнейшего из известных нам славянских полных апракосов, в котором постоянно встречаются те же дублеты и варианты (и в ряде случаев синонимы), что и в Супр в отличие от дублетов и вариантов, свойственных старославянским евангелиям. Например: ... а ижѧ речетъ боуе. повиненъ естъ ѣеонѣ огнѧнѣи Мт 5, 22 Зогр (в Вук — оуроде 166а; то же, по наблюдению К. Мирчева, в Краковском евангелии; жродъ и его производные в СЯ отмечены только в Супр): маслома главы моеѧ не помаза Л 7, 46 Зогр, то же Супр 395, 13; то же Вук 85г; в Мар Ас Сав — олѣемь; не сѧ ли естъ тек'тонъ.сн҃ъ марииѣ Мк 6,3 Зогр Мар; в Вук — дрѣводѣле 66а; ср. в изложении евангельского сюжета: комоу же се. не семоу ли дрѣводѣли іωсифоу Супр 246, 13. Сравнение словарного состава Супр с лексикой Вук и рядом других кодексов так называемой второй редакции текста убеждает в их значительной близости. Можно предположить, что если бы до наших дней сохранилась евангельская рукопись, написанная там же, где Супр, то она по своим лексическим (не стилистическим!) особенностям принадлежала бы к группе Супр и близких к ней СП. В Сав наряду с известным количеством восточноболгаризмов наблюдается множество словарных совпадений с Зогр, Мар и Ас, а также слов, отмеченных только в этом СП (например, агода, изгнилъ, напастѧстковати), что свидетельствует об исключительном своеобразии словаря данной рукописи СЯ.

Рассмотрение наиболее характерных лексико-словообразовательных особенностей СП позволяет выделить две группы СП, отличающиеся по своим нормам словоупотребления. К первой группе относятся Зогр, Мар, Ас и Сав. Центр второй составляют Супр и Евх, к ним примыкают Ен, Рыл, Хил и Зогр лл. О таких небольших по объему рукописях, как Охр и Унд, можно предполагать, что они относятся к первой группе, соответственно Служ, по всей вероятности, следует отнести ко второй. Такие рукописи, как Клоц и Син, занимают промежуточное положение, стилистически они несколько ближе к СП первой группы, лексически — к СП второй группы. Все 15 СП — рукописи, написанные на одном языке, между диалектами и литературными школами которого существовало тесное взаимодействие, а потому между отдельными СП и их группами также заметно взаимовлияние, в одних более сильное, в других — более слабое. Лексическое своеобразие каждой рукописи, в частности таких, как Зогр или Сав, Син или Ен, очевидно (но освещение этого вопроса не входит в нашу задачу).

В нашем сообщении мы затронули только один аспект исследо-

вания лексики СЯ. На примере анализа нескольких групп слов категории лица мужского рода, некоторых типов префиксальных слов и двукорневых сложений мы стремились показать возможности изучения лексики СП по определенным лексико-семантическим и лексико-словообразовательным категориям, без чего, на наш взгляд, невозможно создание лексикологии СЯ—одной из насущных задач современной палеославистики.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Амфилохий — Амфилохий. Древлеславяно-греко-русский словарь из Юрьевского евангелия 1118—28 г., сличенный с евангелиями XI в., XII в. и 1270 г. М., 1877.

Ас — Ассеманиево евангелие

Вук — Вуканово евангелие

Евх — Синайский евхологий

Ен — Енинский апостол

Зогр — Зографское евангелие

Зогр лл — Зографские листки

Клоц — Клоцов сборник

Мар — Мариинское евангелие

Охр — Охридские глаголические листки

Рыл — Рыльские глаголические листки

Сав — Саввина книга

Садник — L. Sadnik und R. Aitzetmüller. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955

Син — Синайская псалтырь

Служ — Синайский служебник

Сл. ЧСАН — Slovník jazyka staroslověnského. ČSAV. Praha, 1958 и след.

СП — старославянские памятники (или памятник)

Супр — Супрасльская рукопись

СЯ — старославянский язык

Унд — Листки Ундольского

Хил — Хиландарские листки

КОРРЕКТУРНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Работа над докладом была завершена, когда автор получил возможность изучить вновь открытые старославянские тексты: палимпсесты Зографского кодекса (отрывки из евангелия от Матфея) и Боянского евангелия (отрывки из четырех евангелий), прочитанные Ив. Добревым, а потому, к сожалению, эти тексты в работе не учитываются. Между тем отрывки из Зографского палимпсеста по своим лексическим данным представляют особый интерес: это самый древний текст из известных теперь славянских евангельских рукописей, написанный в той же школе, как можно предположить по его словарным особенностям, что и Супрасльская рукопись.

Е. В. ЧЕШКО, И. И. РЕВЗИН

СООТНОШЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И СИНТАКСИЧЕСКОГО УРОВНЕЙ В КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА

(падежи старославянского языка)

§ 1. Термин «падеж» неоднозначен. Необходимо различать, с одной стороны, категорию падежа, которая — с формальной точки зрения — есть закон, фиксирующий разбиение всего множества словоформ существительных (которые именно в силу этого обстоятельства можно именовать «падежными словоформами», или короче: падежными формами) на определенные подклассы, и отдельные падежи, представляющие эти подклассы разбиения, например, для старославянского языка: И(менительный), Р(одительный), Д(ательный), В(инительный), Т(ворительный), Л(окатив). (Звательную форму мы не включаем в число падежей.)

Как известно, морфемный анализ дает возможность расчленить каждую падежную словоформу на основу и морф, служающий для данного типа основ маркером падежа. Совокупность всех морфов, служащих для данного отдельного падежа его маркером, называется падежной морфемой.

Падежная морфема может рассматриваться как двусторонний знак, означающим которого и является совокупность морфов—маркеров отдельного падежа. Что касается означаемого этого знака, то его структура достаточно сложна, ибо она связана с наличием двух уровней падежного значения, рассмотрению которых — применительно к системе старославянских падежей — и посвящена данная работа [1].

§ 2. Со времени появления работы Р. Якобсона [2] в славистике не прекращается спор (вновь разгоревшийся на IV съезде славистов в связи с обсуждением доклада Якобсона [3]) о возможности опи-

[1] Работа представляет собой обобщение результатов исследования системы старославянских падежей в следующих работах: Е. В. Чешко. Нейтрализация падежных противопоставлений в развитии системы склонения старославянского языка. «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов». М., 1963, стр. 279—288; Е. В. Чешко. Система падежного синтаксиса старославянского языка. «Советское славяноведение», 1967, № 2; Е. В. Чешко. История болгарского склонения. М., 1970.

[2] R. Jakobson. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», VI, 1936.

[3] Р. О. Якобсон. Морфологические наблюдения над славянским склонением. 's-Gravenhage, 1958.

сания семантики категории падежа славянских языков на основе дифференциальных признаков Якобсона. При этом наблюдаются две крайние тенденции: одна из них состоит в полном игнорировании концепции Якобсона [4], другая же — в безоговорочном приятии этой системы, которая либо просто переносится на произвольный индоевропейский язык, либо получает очень абстрактную интерпретацию [5], в то время как конкретный анализ материала в работе Р. О. Якобсона и применяемые там приемы, а также общие устремления автора оставляются без внимания.

С нашей точки зрения, основной вклад Якобсона в теорию падежного значения состоит в том, что — кроме обычного уровня так или иначе определяемых контекстных значений падежей, т. е. значений синтаксического уровня — выделяется еще один уровень, который Якобсон характеризует как морфологический. Это уровень значения, приписываемого морфеме как таковой (в данной работе термин «морфологический» соотносится с термином «морфема» и в этом смысле противопоставлен термину «морфемный», соотносимому с термином «морф»). Морфологический уровень значения падежной морфемы надстраивается — по Якобсону — над всеми контекстными значениями падежей, объясняя их.

Два уровня падежного значения, выделенные Якобсоном, могут быть сопоставлены с двумя типами значения в семиотике [6]: а) денотацией — обозначением предметной соотнесенности слов языка, т. е. указанием на соответствующие им денотаты, и б) способом представления денотата в знаке, что обычно передается термином «смысл» (ср. понятие «внутренней формы» слова как частный случай «смысла» в этом понимании).

«Денотативным» значением падежной морфемы является обозначение отношения слова, стоящего в данном падеже, к другому слову словосочетания и соответственно отношения между денотатами этих слов, т. е. тех функций, которые выполняет падеж (контекстные значения Якобсона). Это значение составляет важную часть значения падежей, и именно этот уровень падежного значения мы назвали выше синтаксическим.

Понятию «смысл» соответствует грамматическое представление тех функций, которые выполняются падежами в системе данного

---

[4] Имеются в виду такие важные для теории падежных значений работы, как: Е. К. Курилович. Проблема классификации падежей. «Очерки по лингвистике». М., 1962, а также построенное на основе этой концепции описание К. И. Ходовой «Система падежей старославянского языка». М., 1963.

[5] В качестве примера можно привести трактовку М. Янакиева в рецензии на работу Е. В. Чешко. — «Български език», 1971, кн. 4, стр. 378—379. Здесь система Якобсона представлена как состоящая из значений-атомов (для В и Р) и значений-молекул (для других падежей). Такая трактовка, в принципе, возможна, но нам кажется, что она таит в себе опасность полного отрыва от тех синтаксических функций, которые падежи выполняют в языке.

[6] См. И. И. Ревзин. От структурной лингвистики к семиотике. «Вопросы философии», 1964, № 9.

языка. Грамматическое представление и относится к морфологическому уровню значения падежей.

Единицами морфологического уровня являются падежные морфемы. На синтаксическом уровне падежная морфема и представляющие ее морфы (именно они, как указывалось, и являются маркерами отношения) выступают как часть более сложного знака — словоформы. Единицами синтаксического уровня являются падежные словоформы. В составе словоформы падежная морфема выражает отношения, в которые данная словоформа входит, сигнализируя о синтаксически назависимом (И) или зависимом положении слова (другие падежи) относительно других слов в словосочетании. Вместе с тем падежная морфема сигнализирует о признаках, благодаря которым варьируются отношения между словами и их денотатами (ср. в русском языке: *письмо отцу — письмо отца* или *дай хлеб — дай хлеба*, где характер отношений, выражаемых сочетаниями форм одних и тех же слов, изменяется в зависимости от падежа подчиненного слова). Варьирование отношений между словами осуществляется падежными морфемами не только в парадигматическом, но также и в синтагматическом противопоставлении словоформ (ср. *письмо моего отца твоему отцу*).

§ 3. С семиотической точки зрения каждое высказывание есть многоместный предикат, т. е. такой предикат, в котором фиксируется ряд мест [7], занимаемых так называемыми термами, т. е. обозначениями предметов, вступающих в выражаемое предикатом отношение. Падежная морфема, с этой точки зрения, выступает как функтор, определяющий тип связи слова, выражающего терм, с глаголом, выражающим предикат. При этом два разных предложения, например *плотник начинает строить дом* и *начинается постройка дома плотником*, могут воплощать одно и то же высказывание, где предикат выражается как словами *начинать строить*, так и словами *начинать постройку*, а термы воплощены формами слов *плотник* и *дом*. Переход от одного предложения к другому при тождестве соответствующего высказывания (т. е. предиката и семантических отношений между термами и предикатом) называется трансформацией. При трансформации остается инвариантным семантический тип предиката. Тип предиката, отражающийся, например, в лексическом значении глагола, определяет, может ли данный терм, а значит, и выражающее его слово, занимать соответствующее место. Падежная морфема при этом показывает, какой из возможных для данного слова тип отношений выражен падежной словоформой в конкретных случаях.

---

[7] Возможен — в качестве частного случая — и одноместный предикат типа *сидеть*, где единственное место может быть занято субъектом, и даже нуль-местный предикат типа *светает*. Поскольку нас интересуют предикаты, при которых падежи противопоставлены друг другу, одноместные и нуль-местные предикаты специально нами не рассматриваются.

Исходя из ограничений, накладываемых лексическим значением сначала главного, а затем зависимого слова и, наконец, значением падежной морфемы, мы и будем в дальнейшем определять типы отношений между предикатами и термами, выраженными соответственно главным и подчиненным словом сочетания. Таким образом, мы получим значения синтаксического уровня, а именно: систему синтаксико-семантических функций падежей. И только после того как значения синтаксического уровня будут получены, мы перейдем к установлению значений морфологического уровня.

Морфологическое значение падежей не есть общее значение [8], понимаемое как обобщение всех синтаксико-семантических функций падежей. Оно постулируется как конструкт [9] таким образом, чтобы из него можно было вывести все основные особенности функционирования падежей в языке — и в первую очередь систему синтаксико-семантических функций. Если при этом значения синтаксического уровня (синтаксико-семантические функции) получаются путем наблюдения над основными контекстными значениями падежей и объединения этих контекстных значений в классы (ср. определения в § 4), то морфологическое значение постулируется исходя из всей системы синтаксико-семантических функций, причем используются уже противопоставления не в тексте, а на множестве самих функций.

При постулировании значений морфологического уровня используется система дифференциальных семантических признаков, приписываемых падежной морфеме. В этом мы целиком следуем Якобсону. Представляется, однако, что впервые выявленные в его работе 1936 г. связь между обоими уровнями и правила перехода от одного уровня к другому нуждаются в дальнейшем развитии. Как известно, Якобсон выделил три [10] противопоставления, а именно по: 1) направленности, 2) периферийности и 3) объемности. Первые два противопоставления непосредственно отражают синтаксические отношения в тексте и могут быть увязаны с ними, а признак объемности не имеет непосредственного синтаксического содержания, если не считать его условным обозначением признака несколько иной природы, ведущего действительно в определенных случаях к значению объемности (см. § 8). Если для синтаксического противопоставления по направленности (субъектно-объектные отношения) Якобсон смог предложить четкую операционную процедуру выделения главных функций падежей и определения их маркированности по этому признаку (эта процедура используется

---

[8] Это подчеркивал сам Якобсон в работе 1936 г. В докладе 1958 г. этот вопрос изложен менее четко.

[9] О понятии «конструкт» см.: С. К. Шаумян. Проблемы теоретической фонологии. М., 1962.

[10] От четвертого противопоставления из работы 1936 г. Якобсон в докладе 1958 г. отошел.

нами в § 5), то противопоставление по объемности не случайно оказалось неоперационным

Мы хотим обобщить подход Якобсона к субъектно-объектной корреляции В—И и на другие возможные противопоставления и сформулировать морфологическое значение падежей в таких дифференциальных признаках, чтобы в терминах этих признаков можно было бы объяснить синтаксико-семантические функции падежей и тем самым связать оба уровня падежного значения: синтаксический и морфологический. При этом морфологическое значение падежей должно регулировать возможности синтаксического функционирования их: запрещать им выражать одни функции и разрешать другие (разумеется, при наличии соответствующих условий). Таким образом, если с формальной точки зрения категория падежа есть закон, распределяющий множество словоформ существительных по классам (см. § 1), то с содержательной точки зрения она есть совокупность падежей, организованная системой противопоставлений в терминах дифференциальных признаков.

Поскольку для синтаксического уровня основную роль, как указано, играет отношение термов к предикату и между собой, мы будем при установлении системы синтаксико-семантических функций исходить из субъектно-объектных отношений в предложении, т. е. исследовать, в первую очередь, оформление термов при предикате. Обстоятельственные использования падежных словоформ относятся не к выражению терма, а к модификации предиката и менее существенны для определения значений падежей, чем субъектно-объектные связи, представляющие собой основную сферу употребления беспредложных падежей. Значения, привносимые предлогами, должны быть элиминированы. По этим соображениям мы ограничиваемся рассмотрением только беспредложного употребления падежей.

Мы полагаем, что сделанные на данном материале заключения об отношении падежей и их дифференциальных признаков существенно не изменятся и при переходе к более широкому кругу явлений, включающему обстоятельственные и приименные функции (отчасти это показано в § 8).

Как указывалось, все изучаемые здесь нами падежные формы выражают термы. Среди термов при предикате выделяется субъект действия, ибо выражающая его падежная форма (И) морфологически не подчиняется глаголу, выражающему предикат. Этой особенностью субъект характеризуется в основном типе предложений, а именно построенных по формуле: субъект+предикат (+объекты). Выделенность субъекта в этом основном типе предложений позволяет говорить о субъекте и в тех предложениях, где он выражен другими падежами (Д, Т, Р) и выделяется уже только по характеру выражаемых отношений, являясь производителем действий, носителем свойств и отношений, выраженных предика-

том (с этим связана возможность трансформации, приводящей к основному типу предложений, где субъект уже выражен морфологически, ср. *дом строится плотником — плотник строит дом*). Остальные термы суть объекты действия.

§ 4. Мы исходим из того, что нам дано множество падежных словоформ и множество их контекстных значений. Каждая падежная форма может, вообще говоря, иметь несколько контекстных значений, а две словоформы, относящиеся к разным падежам, могут иметь одно и то же контекстное значение. Мы хотим теперь с помощью определенных операций выделить основные контекстные значения падежей и укрупнить их.

Мы будем говорить, что контекстное значение a подчинено в данном падеже контекстному значению b, если любая форма данного падежа, выступающая в значении a, одновременно имеет значение b. Назовем контекстное значение самостоятельным для данного падежа, если оно не подчинено в данном падеже никакому другому значению (аналогично выделяются и элиминируются подчиненные признаки в фонологии, например, признак напряженности, подчиненный признаку глухости согласных в русском языке). Так, В в старославянском языке может иметь контекстное значение воспринимающего объекта, например: ꙗко азъ оумолѫ оца Ио. XVI, 26, Сав; и ставъ ісъ зъва ꙗ Мт. XX, 32 Сав; бѣ бо ѹча ихъ ꙗко власть имѣі Мт. VII, 29, Сав. Однако объект, обозначенный В при глаголах речи, если это одушевленное существо, всегда выступает как объект психологического воздействия. Следовательно, контекстное значение воспринимающего объекта для В подчинено значению объекта, видоизменяемого в процессе действия, а стало быть, не является самостоятельным для В. При выделении синтаксико-семантических функций принимаются во внимание лишь самостоятельные контекстные значения падежей.

Мы будем говорить, что два контекстных значения принадлежат к одной синтаксико-семантической функции, если любой падеж, служащий для выражения одного из них, может служить и для выражения другого. Например, выделяемые в грамматиках Д адресата и Д предназначения мы относим к одной функции (мы называем ее функцией воспринимающего объекта), потому что как первое, так и второе значения не могут выражаться никаким беспредложным падежом, кроме Д. Напротив, значению субъекта мы ставим в соответствие две разных синтаксико-семантических функции: субъекта действия (активно действующего субъекта) и субъекта восприятия и отношения, так как первая выражается И и Т, а вторая может быть выражена не только этими падежами, но, кроме того, еще и Д. Предложенное определение разбивает все множество контекстных значений на непересекающиеся подмножества. В старославянском языке множество всех контекстных значений беспредложных падежей, выражающих субъектно-объект-

ные отношения, разбивается на 8 подклассов и получается 8 следующих синтаксико-семантических функций [11]:

Функции	*Выражающие их падежи*
1. Субъект активного действия (СД)	И, Т
2. Субъект восприятия и отношения (СВО)	Д, И, Т
3. Инструментальный объект (ИнОб)	Т
4. Объект действия (ОбД)	В, И, Т, Д
5. Объект восприятия и отношения (ОбВО)	Р, В, Д, Л, И, Т
6. Воспринимающий объект (ВОб)	Д
7. Объект неполного охвата действием (ОбНО)	Р, В, Л
8. Изъяснительный объект (ИзОб)	Л, Д

Семантическим критерием, используемым уже при различии контекстных значений, а затем и при наименовании соответствующих функций, является противопоставление двух типов предикатов: 1) активного действия и 2) восприятия и отношения. Предикатом активного действия называем такой, в структуре которого обязательно предусмотрено место для объекта, на который субъект оказывает какое-либо влияние. Например, тъı (СД) сътлъче главѫ змѥевѫ (ОбД) Син. пс. 73, 14. Под «влиянием» понимается не только физическое воздействие на объект, но и получение объектом некоторой новой информации, например: онъ (СД) же повелѣ имъ (ВО) книти Лук. VIII, 32, Сав. В противоположность этому предикат, передающий восприятие или отношение, обозначает действие, не оказывающее влияния на свой объект, например: оузрѣѭтъ праведници (СВО)... и разоумѣѭтъ милости (ОбВО) гнѣ Син. пс. 106, 42—43. Активные предикаты и предикаты восприятия различаются между собой направленностью действия: если в первых действие направлено только к объекту, то во вторых обязательно предполагается и обратная связь: объект обозначает источник, из которого субъект черпает информацию. Таким образом ОбВО противопоставлен ОД и ВОб по направленности информации (слушать ← кого, учить → кого, говорить → кому). Указанные различия в предикатах активного действия и восприятия-отношения дают основания приписать СД признак активности в отличие от СВО, характеризуемого признаком пассивности, а соответствующие объекты, которые также являются пассивными, характеризовать дополнительно признаками направленности

---

[11] Эти функции были выделены в работах, приводимых в сноске 1. Весьма показательно, что близкие типы отношений постулируются в новейших построениях универсальной грамматики. Так, Филлмор (Ch. J. Fillmore. The Case for Case. «Universals in Linguistic Theory». Edited by E. Bach. 1968, 1—88) выделяет следующие функции: агентивную (ср. СД), инструментальную (ср. ИнОб), дативную (ср. ВОб), фактитивную (ср. ОбД), объективную (ср. ОбВО) и локативную. Эти типы присутствуют, по Филлмору, в «глубинных структурах» предложений каждого языка, т. е. характерны уже для отношений между термами и предикатом.

к (ОД и ВОб) и направленности от (ОбВО). Введение признака центральности—периферийности разграничит ОД и ВОб, ОбВО и ИзОб, а также СД и ИнОб, который, как и СД, характеризуется признаком активности.

Итак, различия в значении синтаксико-семантических функций могут быть выражены в системе бинарных противопоставлений по дифференциальным признакам: 1. центральность—периферийность, 2. пассивность—активность, 3. направленность от объекта—направленность к объекту.

Первое противопоставление Якобсон характеризует как положение объекта по отношению к содержанию высказывания. Объекты различаются по этому признаку, если один из них является менее обязательным и необходимым для выявления данного содержания, а также семантики глагола. Наличие двух объектов еще не означает, что один из них обязательно занимает периферийное положение в содержании высказывания, например при глаголе лишити равно необходимы оба объекта, например: ѥдиноѭ бо отца ма лишивъ Супр. 366, 25. Необходимостью для выявления содержания высказывания характеризуются ОбД, ОбНО и ОбВО, ибо наличие или отсутствие их сказывается на семантическом типе предиката. Функции СД и СВО, которые непосредственно не отражаются на семантическом типе предиката, являются центральными в силу того, что именно субъекту и приписан предикат, т. е. субъект и есть тот центр, из которого разворачивается высказывание.

Признак периферийности ИнОб говорит о том, что обозначаемый им активный предмет занимает периферийное место в содержании высказывания, т. е. несуществен для законченности высказывания, в частности для выявления семантического типа предиката, и может быть опущен. Как правило, он сосуществует с субъектом, выраженным И, например, изгна дх҃ъі словомъ МТ, VIII, 16, Сав., ср. онъ же изгна вса кънъ Лук. VIII, 54, Сав., откуда видно, что Т необязателен, он легко может быть опущен, а семантический тип предиката ясен и без этого объекта. Что касается второго противопоставления, то у Якобсона субъект и объекты различаются с помощью признака направленности—ненаправленности. Предлагаемое нами противопоставление пассивность—активность разграничивает лишь субъект и объект активного действия, субъект и адресат, но зато позволяет разграничить пассивный и активный субъекты, ибо пассивность понимается как инактивность: пассивен предмет, действия которого не оказывают влияния на другие предметы. Это же противопоставление дает возможность разграничить активный (инструментальный) объект и все остальные объекты, которые пассивны.

Признак направленности в предлагаемой здесь бинарной системе применяется только для характеристики пассивных объектов: «направленность к объекту» означает, что предмет является

конечным пунктом действия, «направленность от объекта» означает, что предмет конечным пунктом действия не является, но сам становится его исходным пунктом. Это противопоставление выявляет такие различия между объектами, которые Р. О. Якобсон связывал с признаком объемности, например противопоставление объектов полного и неполного охвата действием: направленность действия от объекта предполагает, что объект может быть лишь частично охвачен действием, что по крайней мере в какой-то своей части он должен остаться за пределами действия, иначе не может осуществиться направленность от объекта. Функции ОбНО и ОбВО характеризуются одними и теми же признаками. Однако они находятся в отношении дополнительного распределения, выступая при разных глаголах. Функция ОбВО при глаголах восприятия и отношения, функция ОбНО при глаголах активного действия.

Приведенные признаки так распределяются между синтаксико-семантическими функциями:

1) СД: активность + центральность;
2) СВО: пассивность + центральность;
3) ИнОб: активность + периферийность;
4) ОбД: пассивность + центральность + направленность к объекту;
5) ОбВО: пассивность + центральность + направленность от объекта;
6) ВОб: пассивность + периферийность + направленность к объекту;
7) ОбНО: пассивность + центральность + направленность от объекта;
8) ИзОб: пассивность + периферийность + направленность от объекта.

Предложенная система функций может быть дополнена, если включить, например, обстоятельственные функции беспредложных падежей. Так, той же совокупностью признаков—пассивность+ + периферийность+направленность к объекту, — что и ВОб, характеризуется выражение цели действия, например: даѩи намъ имѧ твое цѣленью отъ всего надѫга Син. евх. 414 Легко заметить, что функция ВОб возникает, когда существительное в Д является (или представлено) одушевленным, а функция цели действия, — когда существительное в Д является неодушевленным.

Система не является ни замкнутой, ни однозначной. Так, уже констатировалось, что функции ОбНО и ОбВО характеризуются одинаковой совокупностью признаков. Кроме того, множество признаков для СВО оказывается вложенным как во множество признаков для ОбД, так и во множество признаков для ОбНО и ОбВО. Признаки конструируются вовсе не для различения и однозначного определения каждой функции (для этого была предложена иная операционная процедура), а для того, чтобы, исходя из признаков, приписанных функциям, перейти к установлению пра-

вил приписывания тех же признаков отдельным падежам. Этому и посвящен следующий параграф.

§ 5. В соответствии с правилами, которые следуют из проведенного Р. Якобсоном анализа субъектно-объектной корреляции В—И падежей русского языка, мы будем определять коррелятивные падежи по отношению к каждой синтаксико-семантической функции, т. е. пары таких падежей, один из которых по отношению к данной функции будет маркированным, а другой — немаркированным. При этом коррелятивной мы будем называть функцию, по которой строится корреляция.

Синтаксико-семантическая функция называется главной для данного падежа, если он выполняет эту функцию в позиции максимального синтагматического противопоставления, т. е. со всеми другими коррелятивными падежами, возможными при одних и тех же глаголах. Так, при глаголах активного действия возможно синтагматическое противопоставление четырех падежей: например, И, Т. В, Д: кръстаи (СД) . . . азъкомъ (ИнОб) съпасение (ОбД) тебѣ (ВОб) творитъ Супр, 362, 5; И, Т, В, Р, например: иже дѣлатель (СД) добръи разлѫчаѧ доухомъ (ИнОб) стъимъ плѣвъі (ОбД) п'шеница (ОбНО) Супр. 143,19; в первом примере в функции СД выступает И, в функции ИнОб выступает Т, в функции ОбД выступает В, а в функции ВОб выступает Д. Во втором примере И, Т и В выступают в тех же функциях, а Р выступает в функции ОбНО, а именно объекта, от которого отделяется часть, составлявшая ранее единое целое с ним. По нашему определению, эти функции являются главными функциями данных падежей. Главные функции падежей, противопоставленных в контексте, будут противопоставлены и в корреляциях, при этом главная функция маркированного падежа будет коррелятивной, а главная функция немаркированного — прямо противопоставленной ей специфической функцией этого падежа.

Наконец, мы будем считать, что функция является комбинаторной для данного падежа, если одновременно выполнены следующие условия: а) она не главная для данного падежа, б) она противопоставлена главной по тому же признаку, по которому главная функция противопоставлена коррелятивной. Так, Д в старославянском языке может выражать функцию ОбД, прямо противопоставленную функции ВОб, т. е. такого объекта действия, который в то же время не является воспринимающим объектом. Например, тои (имеется в виду рука) пакъі глинънъимъ бранием грьнъчаремъ съткоренѣ бъіти Супр. 396, 20, где Д тои обозначает неодушевленный предмет, создаваемый в процессе действия. Поэтому мы вправе строить корреляцию:

В объект действия Д { объект действия / воспринимающий объект

Построение корреляций предполагает: 1) наличие у одного из входящих в корреляцию падежей комбинаторной функции, совпадающей с коррелятивной и противопоставленной главной и 2) наличие контекстов, в которых коррелятивные падежи в своих противопоставленных функциях были бы представлены при одном глаголе. Это правило следует из положения Якобсона, согласно которому наличие в тексте маркированного падежа в коррелятивной функции предполагает, что прямо противопоставленная ей функция при данном управляющем слове может выполняться только немаркированным членом данной корреляции [12].

§ 6. Мы строим корреляции функций таким образом, чтобы каждая корреляция автоматически выявляла противопоставление падежей по одному дифференциальному признаку и тем самым можно было бы перенести признаки, выделенные для функций, на падежи.

В схеме 1 корреляции расположены в таком порядке, что каждый немаркированный член последующей корреляции немар-

Схема 1

Корреляции функций			Корреляции признаков		
1. Р — объект восприятия и отношения	Д	Объект восприятия и отношения Воспринимающий объект	Р Направленность от объекта	В, Д	Направленность от объекта Направленность к объекту
2. Р — Объект неполного охвата действием	В	Объект неполного охвата действием Объект действия			
3. В — Объект действия	Д	Объект действия Воспринимающий объект	Р, В, И — центральность	Д, Т	Центральность Периферийность
4. В — Объект действия	И	Объект действия Субъект действия			
5. И — Субъект действия	Т	Субъект действия Инструментальный объект			
6. Д — Субъект восприятия и отношения	Т	Субъект восприятия и отношения Инструментальный объект	В, Д — пассивность	И, Т	Пассивность Активность

[12] R. Jakobson. Beitrag. . ., стр. 248.

кирован и по отношению хотя бы к одной из коррелятивных функций каждого маркированного падежа предшествующих корреляций.

Поэтому для каждого маркированного падежа запрещены все главные функции немаркированных падежей в последующих корреляциях, т. е. для Р запрещены главные функции В, Д, И и Т; для В запрещены главные функции Д, И и Т; для Д — главные функции И и Т; для И — главная функция Т.

Диагностическими контекстами к 1-й корреляции могут служить следующие: а) текст, в котором коррелятивные падежи в противопоставленных функциях употреблены при одном глаголе: и закрывающа обнажение да ѥмоу (ВОб) не бѫдеѣ видѣти голъ прьсии (ОбВО) Супр. 187, 8, 9. Здесь Д ѥмоу выступает в значении адресата причинения, так как обозначает лицо, принадлежностью которого является предмет, подвергающийся действию (Р). Реакция данного лица (выраженная словами закрывающа обнажение своѥ) показывает, как оно воспринимает данное действие, б) комбинаторная функция Д, а именно ОбВО, представлена, например, в текстах: аще ти (ОбВО) послушаетъ Мт. XVIII, 15 Сав; не вси разоумѣете словоу Мт. XIX, 11.

Диагностическими контекстами ко 2-й корреляции могут служить: а) синтагматическое противопоставление В в функции ОбД и Р в функции ОбНО: тѫ бо одеждѫ (ОбД)... никтоже инъ васъ (ОбВО) не имѧтъ мощи съвлѣшти Супр. 508, 1, 2, где В обозначает отторгаемый предмет, составлявший ранее единое целое с предметом, обозначенным Р, б) функция ОбНО может быть комбинаторной функцией В. В этом отношении интересны разночтения в древних евангельских текстах, когда в одних и тех же примерах находим Р или В, например: егда же приѩтъ оцѧта ис҃ъ рече съвръши сѧ Ио. XIX.30. Мар.; в соответствующем месте Зогр. и Ассем. — еда же приѩтѧ оцѧтъ. Последний пример не означает, что имеется в виду весь объект, обозначенный словом оцѧтъ, в противоположность части в трактовке первого переводчика. Неполнота охвата падежом здесь не выражена, но она выражена контекстом.

Диагностическим контекстом 3-й корреляции может служить: а) и сънъмище (ОбД) тъ съезда намъ (ВОб) Лук. VII, 5, Сав., в котором противопоставлены друг другу В внутреннего объекта, наиболее тесно связанный с действием, и Д предназначения, наименее тесно связанный с действием, где противопоставление по центральности — периферийности выражено наиболее рельефно, б) рассмотренный выше пример комбинаторной функции Д: тои (ОбД) пакъі глинъінмъ брѣниемъ грѣнѣчаремъ съткоренѣ бъіти, где Д выступает в значении внутреннего объекта, обозначая предмет, создаваемый в процессе действия. В этой комбинаторной функции Д представлен в страдательных конструкциях оборотов Д самостоятельного и Д при инфинитиве.

Комбинаторные функции И объекта действия в 4-й и Т субъекта действия в 5-й корреляциях представлены в страдательных конструкциях, например, и ерꙋсалимъ (ОбД) бѫдетъ попираемъ ꙗзыкы (СД) Лук. XXI, 24, тъгда цѣсарь ѳеѡдосии (ОбД)... красти сѧ тоу сѫштиимъ епископоупомъ ахолиюмъ (СД) Супр. 197, 27; да прославитъ сѧ има (ОбД) твоє множ оубогыимъ рабомъ (СД) твоимъ Супр. 103, 20.

Объектная функция И всецело зависит от наличия Т субъекта. Если убрать Т субъекта, И перестает обозначать объект и выступает в функции субъекта, который, однако, не является активным, так как производимое им действие замыкается в нем самом. На этом примере наглядно раскрывается смысл того факта, что множество признаков СВО вложено во множество ОбД, а именно признаки центральности и пассивности остаются инвариантными относительно операции опущения Т субъекта.

Комбинаторная функция Т в 6-й корреляции, а именно функция СВО, также представлена в страдательных конструкциях от переходных глаголов восприятия и отношения, например: и бѫдете ненавидими вьсѣми Мт. X, 22.

Диагностические контексты 6-й корреляции с синтагматическим противопоставлением Д в функции СВО и Т в функции ИнОб в инфинитивных конструкциях представлены не только с глаголами восприятия и отношения, например: мнѣлъ ли еси страхы (ИнОб) оубогати сѧ намъ (СВО) Супр. 176, 15; но также с глаголами активного действия, например: толикъ бо даръ дастъ сѧ ѥмоу ꙗкоже ѥмоу (СВО) словомъ (ИнОб) въскорѣ прогонити нечистыꙗ дхы Супр. 531, 22—24. По правилам, приведенным выше, наличие в тексте коррелятивного В в значении ОбД предполагает, что прямо противопоставленная ему функция СД может быть выражена только И, например: онъ же изгна всѧ вънъ Лук. VIII, 54, Сав. В соответствии с этим через Д ѥмоу при инфинитиве прогонити обозначается не действующий субъект, а субъект отношения к действию, субъект, которому приписывается возможность, способность, умение совершать данное действие [13]: 'ибо таков дар был дан ему, чтобы уметь ему словом мгновенно прогонять нечистых духов'. Собственные значения падежей (в данном случае

[13] Характерно, что Р. Мразек (Р. Мразек. К дативно-инфинитивным конструкциям в старославянском языке. «Sbornik praci filosofické faculty Brnenské university», 1963, A. II, стр. 110) характеризует субъектный Д в таких оборотах, как «субъектное дополнение», подчеркивая его двойственную природу. Он же отмечает в таких конструкциях возможность нейтрализации субъектно-объектных отношений (ср. наш анализ предыдущего примера, где указана близость функций СВО и ОбД), и подчеркивает, что «в диахроническом плане значение косвенного субъекта так и восходит, по всей видимости, к значению объектному или объектно-адвербиальному; лишь постепенно, начиная с отдаленной доисторической эпохи, объект процесса переосмыслялся в его субъект» (стр. 111). Очевидно, что с объектом может сближаться только СВО, но ни в коем случае не СД.

признак пассивности Д) наглядно проявляются там, где они вступают в противоречие с семантикой глагола, на основании которой были определены сами синтаксико-семантические функции.

В первой корреляции Р—Д представлено различие по двум признакам—направленности и центральности. Это объясняется тем, что пропущены корреляции Р и Д с Л, который в беспредложном употреблении уже не является полноправным членом системы. Система корреляций предполагает наличие падежа, главной функцией которого являлась бы функция ИзОб. В Супрасльском сборнике встретилось два примера, в которых ИзОб выражен синкретической формой Л — Д: и се джвъ вапиетъ доброте старчи свѣдѣтелствꙋа Супр. 300, 28; свѣдѣтелствоваша лъжи прѣдаша и на осжжденые смрьти Супр. 477, 14. Словоформы доброте и лъжи К. Мейер[14] определяет как Д. А. Д. Григорьева[15] относит доброте старчи к Л. В. Н. Топоров[16], повторяя этот пример, не возражает против данного толкования. Мы считаем его вполне вероятным, так как при глаголе свѣдѣтелствовати Д зафиксирован в своей главной функции ВОб, ср.: свѣдѣтелствоуетъ ми (ВОб) пакалъ глагола Супр. 347, 8. Естественно предположить, что коррелятивная функция ИзОб при этом глаголе выражена Л, тем более что Д в функции ИзОб зафиксирован в старославянском только в синтагматическом противопоставлении В одушевленному, обозначающему объект, подвергающийся обучению, наставлению, например: томꙋ ли та (ОбД) наказа оучитель повѣждъ ми Супр. 411, 3. Это дает основание построить следующую корреляцию падежей:

Л изъяснительный объект Д { изъяснительный объект / воспринимающий объект }

Данная корреляция определяет Л как падеж, маркированный в отношении признака направленности от объекта, в то время как Д в отношении данного признака немаркирован.

Анализируя коллекцию примеров из древнерусских текстов, приводимую А. Д. Григорьевой, где Л выступает с глаголами речи (глаголати, изложити, повѣдати, проповѣдати, въпияти, сьвѣдетельствовати) и глаголами восприятия и отношения (въсхотѣти 'узнать', вѣдати, помянути, помышляти, пощадити, пещися и т. п.), В. Н. Топоров[17] считает, что наличие такого Л (ИзОб и ОбВО в нашей терминологии) в церковнославянских памятниках почти несомненно.

---

[14] K. Meyer. Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis. Glückstadt und Hamburg, 1935.

[15] А. Д. Григорьева. К отношениям предложности и беспредложности локатива в древнерусском языке. «Доклады и сообщения Ин-та русского языка АН СССР», вып. 1. М.—Л., 1948, стр. 143.

[16] В. Н. Топоров. Локатив в славянских языках. М., 1961.

[17] В. Н. Топоров. Указ. соч., стр. 28.

В дошедших до нас памятниках старославянского языка отражена такая стадия развития, когда беспредложный Л в функции ИзОб и ОбВО почти вытеснен дублетной конструкцией Л с предлогом *о*, прочно занявшей место беспредложного Л в системе [18].

Для построения корреляции Р—Л по признаку центральности—периферийности мы не располагаем необходимыми контекстами их употребления при одном глаголе во взаимно противопоставленных функциях. В этом противопоставлении представлен лишь Л с предлогом *о*, например: не боиши ли сѧ мене (ОбВО) о семъ (ИзОб) Супр. 139,5. Однако в функции ОбВО беспредложный Л представлен в примерах: приведе же ї къ господѫ и прилежаше емь Лук. X, 34, Сав.; приподобатъ сѧ цръквании кръмлѥници дѣтехъ Супр. 384, 13, 14, а функцию ОбНО можно видеть в ряде примеров с глаголами, обозначающими прикосновение, приобщение, установление контакта, например: коснѫ сѧ емь ї҃с Мт. VIII, 3, Сав.; прїльплї ѩзкъ мої грътани моемь Син. пс. 136, 6; прїлѣпїхъ сѧ съвѣдѣнїїхъ твоїхъ Син. пс. 118—31. При глаголах движения беспредложный Л ни в старославянских текстах, ни в более поздних, связанных с первыми традицией, не встречается [19]. Поэтому и в приведенных примерах и подобных им беспредложный Л не следует рассматривать как выражающий направление (пространственную цель).

Таким образом, косвенно можно восстановить корреляцию Л с Р по признаку центральности, в которой Л является немаркированным падежом.

§ 7. Признаки функций, относительно которых падеж маркирован, мы перенесли на этот падеж. Таким образом, мы получили следующее отношение между падежами и признаками, которое можно представить в виде таблицы 1.

Таблица 1

Признаки	Падежи					
	И	Р	В	Т	Л	Д
1. Центральность	+	+	+	—	—	—
2. Пассивность	—	+	+	—	+	+
3. Направленность от объекта	—	+	—	—	+	—

Порядок падежей в таблице отражает иерархию признаков: по признаку центральности они разбиваются на две группы, затем по признаку пассивности в каждой группе выделяется по два мар-

[18] Е. В. Чешко. История. . ., стр. 57—66.
[19] В. Н. Топоров. Указ. соч., стр. 189.

кированных падежа, которые в свою очередь делятся на маркированный и немаркированный по признаку направленности от объекта. Немаркированность И и Т в последней корреляции определяется их немаркированностью в предыдущей, где И и Т противопоставлены В и Р по признаку пассивности и, следовательно, выражают коррелятивные функции того и другого падежа (ОбД и ОбВО). В сфере периферийных падежей инструментальная функция Т, определяемая признаком активности, означает и направленность от объекта. Таким образом, корреляция направленности для этих падежей в данной системе оказывается избыточной.

В отличие от Р. Якобсона, в системе которого морфологическое значение падежа определяется как общее значение, которое, по крайней мере для маркированного падежа, должно обнаруживаться в любом его употреблении, в нашей системе признаки маркированных падежей отражают только признаки синтаксико-семантических функций. Связь между морфологическим значением падежа и случаями его частных употреблений опосредствована синтаксико-семантической функцией.

Так, например, в функции ВОб различаются значения адресата предоставления и адресата причинения. Частным случаем последнего является ситуация, когда вред причиняется действием изъятия какого-либо предмета, принадлежащего данному лицу, например: нѣстъ добро отдати хлѣба чадомъ и повръщи псомъ Мт. XV, 26. Сав. Для разграничения частных значений адресата предоставления и адресата причинения (представленных в данном примере словоформами чадомъ и псомъ) реальная направленность движения объекта действия (хлѣба) значима [20]. Однако для того общего, что объединяет эти значения и позволяет их отнести к одной синтаксико-семантической функции — функции воспринимающего объекта, эти различия нерелевантны, так как направленность определяется здесь по отношению к процессу восприятия: существа, обозначенные словоформами чадомъ и псомъ, воспринимают обозначенные глаголом действие или его результат, следовательно информация и в том и в другом случае направлена к объекту (релевантным для функции воспринимающего объекта является признак направленности к объекту).

Изменения в употреблении падежей, разрешенные системой, — это появление таких новых частных значений, которые не выходят за пределы синтаксико-семантических функций каждого падежа, определенных системой. Напротив, какое бы то ни было перераспределение падежей в отношении выражения синтаксико-семантических функций означает изменение системы падежных корреляций и, следовательно, морфологического значения падежей. Так, например, в среднеболгарский период Д утрачивает функцию ОбД [21], что нарушает древнеболгарскую систему падежных кор-

[20] Е. В. Чешко. История. . ., стр. 151, 152, 156, 157.
[21] Там же, стр. 182 и сл.

реляций. Напротив, В расширяет свое употребление и позднее приобретает возможность обозначать воспринимающий объект, не являющийся одновременно объектом действия [22]. В результате этого маркированный и немаркированный падежи в корреляции положения меняются местами.

В работе «История болгарского склонения» этот системный критерий введен для оценки тех изменений, которые происходят в истории употребления падежей болгарского языка, и процесс утраты склонения рассматривается в свете тех изменений, которые происходят в системе древнеболгарских падежей [23].

До сих пор рассматривались приглагольные функции падежей. Приименные функции могут быть объяснены из приглагольного употребления падежей (о другой возможности объяснения см. § 8). Приименные падежи, независимо от значения управляющего существительного, выражают только отношения. Естественно появление в этих словосочетаниях тех падежей, которые в приглагольном употреблении специализируются на выражении отношений, а именно Р и Д падежей [24].

Употребление Р при отрицании и супине можно объяснить исходя из главных функций Р, общая черта которых, связывающая эти функции с данным употреблением, — в обозначении предмета, остающегося за пределами действия.

§ 8. Признак Р можно определить иначе, если исходить не из бинарных, а из тернарных [25] противопоставлений главных синтаксических функций падежей (т. е. отвлекаясь от их комбинаторных функций). Если рассмотреть главные синтаксико-семантические функции И, В и Р падежей в отношении признака направленности действия, то увидим, что функция В объекта действия предполагает направленность на предмет, функция И субъекта активного действия — направленность действия от предмета, а функция Р объекта восприятия и отношения (как и функция неполного охвата) — одновременную направленность и на предмет и от предмета.

Можно считать, что значение Р состоит в своеобразном снятии противопоставления между И и В, т. е. субъектно-объектная направленность снимается и остается только выражение отношения. По теории Якобсона, немаркированный член противопоставления может обозначать или значение маркированного члена, или противоположное ему, но не оба одновременно (И означает либо субъект действия, либо его объект — в пассивной конструкции,

---

[22] Там же, стр. 48.
[23] Там же, стр. 184—186, 271—283, 309—310.
[24] Там же, стр. 238—244.
[25] Следуя идее того же Р. Якобсона, изложенной в работе Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Upsala, 1941, посвященной общим законам развития и распада фонологических систем, можно принять, что на основе первичных бинарных противопоставлений возникают и тернарные, трехчленные, противопоставления.

но не имеет в конкретном высказывании обоих значений сразу). Здесь же можно предполагать, что реализуется другая возможность [26]: падеж одновременно выражает оба значения, в результате чего противопоставление просто снимается (можно представить себе эту ситуацию как аналогичную той ситуации в фонологии [27], которая описывается Якобсоном в «Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze» [28].

Для более полного анализа функций Р и постулирования соответствующего ему семантического дифференциального признака в сопоставлении с И и В представляется целесообразным рассмотреть и те цепочки, в которых глагол трансформируется в именную форму (nomen actionis, супин или причастие). Чрезвычайно важен тот факт, что беспредложный В в именных синтагмах невозможен, ибо в имени действие представлено замкнутым в себе, и полный охват объекта становится невозможным. Здесь мы опираемся на идею Бенвениста, который предположил, что основная функция, обуславливающая все значения Р, состоит в том, что Р используется как оператор, переводящий имя из глагольной синтагмы в именную. Бенвенист демонстрирует этот тезис на конструкциях типа tolerans frigoris и tolerantia frigoris по сравнению с tolerare frigus. Если согласиться с Бенвенистом, что здесь отражено индоевропейское состояние, то становится очевидным, сколь исконны и архаичны случаи употребления Р при супине в старославянском. Ср. и посъла і на село своє пасть свинии Лук. XV, 15, Сав., да не възвратитѣ са въспать възать ризъ своіхъ. Мт. XXIV, 18, Сав. Именно полная нейтральность Р по признаку направленности в предлагаемой тернарной системе обеспечивает одновременное использование этого падежа в именной конструкции и для выражений субъекта и для выражения объекта. Ср. пришастиє сн҃а. Мт. XXIV, 37 Сав., оумножение безакониꙗ Мт. XXIV, 12, Сав.

Заметим, что по Бенвенисту чисто определительное значение Р следует объяснить аналогией: сначала возникают синтагмы типа ludus pueri из puer ludit [29].

---

[26] В. В. Иванов обратил наше внимание на то, что в семиотике этот случай имеет очень большую значимость.

[27] См. И. И. Ревзин. Некоторые замечания в связи с дихотомической теорией в фонологии. — ВЯ, 1970, № 3.

[28] В противопоставлении по непрерывности первым появляется (и, стало быть, функционирует как немаркированный) прерывный элемент, например, t раньше, чем s, p раньше f и т. п. Затем появляется промежуточный элемент-африката, например ts, в которой это противопоставление снимается таким образом, что звук является одновременно прерывным и непрерывным.

[29] E. Benveniste. Pour l'analyse des fonctions casuelles: le génitif latin. «Problèmes de linguistique générale», 1966. Тезис Бенвениста целиком поддерживается Филлмором в указанной статье (см. сноску 11). Обратного мнения придерживается Уоткинс (C. Watkins. Remarks on the Genitive. «To Honor Roman Jakobson», vol. II. The Hague, 1967), который исходным в генетическом плане считает именно Р принадлеж-

Постулируемое тернарное противопоставление по направленности и тем самым включение Р в число падежей, выражающих субъектно-объектное отношение, где Р играет роль промежуточного члена, дает общее объяснение всех контекстных значений Р, которое, в частности, естественным образом интегрирует данное выше, в § 7, объяснение употребления при супине и отрицании. Любое ограничение в направленности действия на объект вне зависимости от того, связано ли оно с переходом от глагольной синтагмы к именной и, стало быть, с замыканием действия в себе, или с отрицанием, или, наконец, с употреблением формы совершенного вида, благоприятствует употреблению Р как среднего члена противопоставления по направленности. При этом мы не отрицаем возможности появления у Р вторичной семантики, связанной с границами протекания действия (это ясно уже из обсуждения в § 5), ибо нейтральность по отношению к направленности оставляет широкие возможности для выражения неполноты охвата действия. Эта же особенность Р может привести к широкому недифференцированному употреблению Р как своего рода универсального падежа не только при существительных, но и в приглагольном употреблении [30].

Примечания.

1) Ступенчатое построение системы противопоставлений, при котором сначала возникает противопоставление И—В, а затем осложняется третьим промежуточным членом, а именно Р, может быть подкреплено как сравнительно-историческими аргументами (ср. поздний характер индоевропейского Р и в ряде случаев его развитие из того же источника, что и И), так и типологическими соображениями (подобное развитие постулируется, например, для протоаккадского языка [31]), с другой стороны, общий источник для В и Р реконструируется и для тюркских языков [32].

2) Имеется еще один довод в пользу проведенной реконструкции. Как показал Р. Якобсон в работе «Детская речь», более поздние приобретения скорее исчезают в процессе распада системы. В истории развития болгарского языка распад системы начинается именно с Р, который либо передает свои функции другим падежам, либо заменяется предложными конструкциями [33]. Интересно, что аналогичный процесс имел место в развитии немецкого Р, семантику которого В. Г. Адмони [34] связывает с общей идеей соотнесенности с действием, выражаемой Р в индоевропейских языках.

ности. Однако рассматриваемый им приглагольный Р относится к конструкциям, допускающим и нашу трактовку.

[30] В. Н. Топоров обратил наше внимание на почти универсальные функции Р в литовском языке.

[31] I. C. Gelb. Sequentional Reconstruction of Proto-Accadian. «Assyrological Studies». The Oriental Institute of the University of Chicago, N 18. Chicago, 1969.

[32] Д. Киекбаев. О происхождении падежных форм в урало-алтайских языках. Ученые записки Тартуского Гос. университета, 201, вып. «Труды по востоковедению». Тарту, 1968, стр. 104.

[33] См. Е. В. Чешко. История. . ., ч. II, гл. 3.

[34] В. Г. Адмони. Развитие функций родительного падежа в немецком языке. «Труды Института языкознания АН СССР», т. IX, 1959.

Аналогичным образом определяется место Л среди периферийных падежей. Функция Т инструментального объекта характеризуется признаком направленности от предмета, функция Д воспринимающего объекта — направленностью к предмету. Функция изъяснительного объекта, которая принадлежала ранее беспредложному Л, а в старославянском, как правило, выражается Л с предлогом *о*, характеризуется одновременной направленностью к предмету и от предмета, т. е. Л является промежуточным членом тернарного противопоставления в сфере периферийных падежей.

Для понимания соотношения в этой подсистеме плодотворно понятие фазовости, которое введено Фр. Мико [35] и которое мы продемонстрируем на примере: пѣснѣмы и хвалами благодаренїꙗ въздадимъ ѥмоу Супр. 319, 26, 27. Здесь действие начинается с объекта песни и хвалы и кончается лицом, которому предназначено действие. Ср. также помаѧжъ же имъ рѫкоѭ Супр. 33, 20 и потрасъ имъ рѫкоѭ Супр. 35, 13, где разная степень связанности Т и Д с предикатом, однако фазовость та же самая: действие начинается от руки и кончается лицом. Это противопоставление остается инвариантным для разнообразных видов объектных Д и Т. Еще более четко оно выявляется в субъектных и квази-субъектных функциях: направленность от субъекта характерна для Т в функции ИнОб, направленностью к субъекту характеризуется Д в функции СВО.

Что же касается Л, то в данной тернарной системе он нейтрален по направленности. Это видно, в частности, из приведенных в § 6 примеров, где эта нейтральность отражалась как направленность от объекта в случае изъяснительного объекта, т. е. объекта действия и одновременно источника информации. Уже в § 6 указывалось, что Л не следует трактовать как выражающий цель действия и в пространственном употреблении. К приведенным там соображениям следует добавить то, что безразличие Л к признаку направленности ярко проявляется в том, что Л выражает и а) направление к некоторому пункту, например жївотѣ мої адѣ прїближї сѧ Син. пс. 87—4, и б) приобщение к чему-то, например приказаша сѵаго дѫбѣ соусѣ Супр. 18, 10, и в) уподобление, например приподобатъ сѧ цръкъвьнїи кръмьїеницї дѣтехъ Супр. 384, 13, 14, и в) неполный охват действием: прикоснѫ сѧ веригах Супр. 182, 6; причастиша сѧ кръвї и плъти Хиланд. л IАа. В последних примерах особенно ясно сходство с Р: нейтральность по направленности.

Примечание.

Нейтральное положение Л по направленности в качестве третьего, промежуточного члена в системе периферийных падежей Т — Л — Д может быть

---

[35] F. Miko. Das Kasussystem in der slowakischen Sprache. «Recueil linguistique de Bratislava», II. Bratislava, 1968.

(так же как и соответствующее место Р в системе центральных падежей И — Р — В) косвенно подтверждено сравнительно-историческими соображениями.

Здесь развитие, по-видимому, не полностью совпадает с логически реконструированной нами схемой, с которой, однако, сближается конечный результат. Как показал В. Н. Топоров в своей работе о древнеиндийском Л [36], первоначально Л представлял собой чистую основу в наречном употреблении и при включении в падежную систему противопоставлялся как недифференцированный периферийный падеж И и В, т. е. наряду с треугольником И — Р — В, о котором мы говорили выше, возникло тернарное отношение И — Л — В, где Л (также как и Р) нейтрализован по признаку направленности. Постепенно Л становится центром в группе возникающих далее периферийных падежей, причем и здесь он, как правило, нейтрален по направленности, в то время как Д означает адресат, а О(тложительный) и/или Т означают разные аспекты значения исходного пункта и/или овозможнителя действия, т. е. в конце концов возникает система, в которой Л воспринимается как нейтрализованный по признаку направленности средний член среди двух периферийных падежей: Д и Т (и/или О). Это развитие прослеживается в разных индоевропейских языках, причем Л вовсе не обязательно выступает, как в древнеиндийском, первоначальной формой, ибо Л, отделенный от Д, вовсе не является исконной еще индоевропейской формой и для ряда языков гораздо более правдоподобно параллельное развитие, приведшее к выделению Д и Л из одного общего падежа [37]. Выше уже указывалось, что широкое, почти универсальное развитие Р в ряде индоевропейских языков, в особенности балтийских, может быть объяснено первоначально нейтрализованным значением этого падежа. Аналогичное явление — но на этот раз для Л — В. Н. Топоров [38] отмечает для древнеиндийских языков, где Л становится своего рода Casus generalis, объясняя его первоначально диффузным характером Л. Представляется, что немаловажным обстоятельством явилось и реконструируемое нами вторичное нейтрализованное положение Л в системе Д—Л—Т (и/или О), чем подчеркивается и своеобразная «дополнительность» Р и Л в разных индоевропейских языках (широкое развитие одного из них ограничивает другой).

Если бинарная система принимает во внимание как главные, так и комбинаторные функции падежей, то тернарная строится на противопоставлении только главных синтаксико-семантических функций падежей: падежи разбиваются на две группы — центральные и периферийные в соответствии с их главными функциями: И—СД, Т—ИнОб, В—ОД, Д—ВОб, Р—ОбВО, Л—ИзОб. Затем внутри каждой группы проводится сопоставление главных функций трех падежей по их отношению к признаку направленности, который включает в себя не только значение, приписываемое ему в бинарной системе, предложенной в настоящей работе (направленность от объекта, выявляемая в сопоставлении с главными функциями В и Д), но также значение, придаваемое ему в системе Якобсона (направленность на предмет как сигнализация об объектном значении) и, наконец, в противоположность

---

[36] В. Н. Топоров. К вопросу о природе древнеиндийского локатива. «Краткие сообщения Института народов Азии», 62. Языки Индии. М., 1964.

[37] В. Н. Топоров. Локатив в славянских языках. М., 1961, ч. II.

[38] В. Н. Топоров. К вопросу о природе древнеиндийского локатива, стр. 178—180.

этому — направленность от субъекта, как сигнализация об источнике действия. Р и Л в своих главных функциях оказываются носителями и того и другого признака одновременно — признака направленности на объекты в противопоставлении с субъектом действия, и признака направленности от в противоположность другим падежам объекта В и Д. Это и позволяет им выступать в качестве источника информации, направляющейся к субъекту, или в качестве объектов, которых действие лишь касается или охватывает лишь частично и которые в силу этого обозначают границу, за пределы которой действие не распространяется. Совмещение признаков направленности от и направленности на характеризует Р и Л как падежи, в которых снимается противопоставление по признаку направленности, свойственное парам В—И, Д—Т. Отсюда возможность употребления этих падежей для обозначения положения контакта (глаголы с приставкой *при*), употребления Р для обозначения предела действия (до) и локатива для обозначения места действия.

§ 9. Таким образом, исходя из семиотической концепции падежной морфемы как знака, имеющего не только функциональные значения, но и план грамматического представления (морфологическое значение падежа), можно построить систему, в которой все семантические дифференциальные признаки старославянских падежей конструируются на базе выражения фундаментальных синтаксических отношений в предложении и соответствующей ему логико-грамматической структуре. Рассмотрены две системы оппозиций: бинарная и тернарная, причем эти системы не противоречат друг другу, различаясь лишь степенью идеализации наблюдаемых в языке соотношений. Более общая тернарная концепция (в свою очередь теоретически выводимая из первичных бинарных противопоставлений) позволяет увязать положение в старославянском языке с некоторыми общими тенденциями индоевропейской падежной системы, но при этом оставляет большую степень свободы для значений отдельных падежей (а именно Р и Л), что связано с игнорированием комбинаторных функций в этой системе, в то время как более специфическая концепция трех бинарных противопоставлений (по центральности, пассивности и направленности от объекта), смысл которой, в особенности статус признака направленности от объекта (вызвавшего определенную дискуссию после появления работы «История болгарского склонения»), раскрывается именно в связи с тернарной концепцией, накладывает более жесткие ограничения на употребление падежей и в связи с этим лучше описывает конкретные процессы, имевшие место в развитии старославянского языка. Хотя логически эти концепции связаны отношением выводимости (в данном случае бинарной из тернарной), каждая из них имеет право на существование как разные и в известном смысле дополняющие друг друга инструменты исследования, позволяющие более полно описать фактическое положение в системе падежей старославянского языка.

Существенно при этом не столько то, избирает ли исследователь предложенную (или иную) бинарную концепцию, либо предложенную тернарную, либо, наконец, как предложено в докладе, комбинацию той и другой. Важной представляется продемонстрированная в докладе возможность последовательного построения падежной семантики, проходящего следующие этапы:

а) фиксация множества падежных форм и множества контекстных значений беспредложных падежей, выражающих субъектно-объектные отношения;

б) выделение самостоятельных контекстных значений и разбиение их на непересекающиеся подмножества, названные синтаксико-семантическими функциями падежей;

в) установление дифференциальных семантических признаков, характеризующих эти функции;

г) переход — с соблюдением определенных правил, намеченных уже в работе Якобсона 1936 г., — от характеристики синтаксико-семантических функций к характеристике отдельных падежей на основе тех корреляций, в которые они входят.

Таким образом, значения морфологического уровня, опосредованные системой синтаксико-семантических функций, дают возможность глубже понять синтаксическую природу падежа, отразившуюся в синтаксической концепции падежа как показателя класса абсолютно эквивалентных состояний — концепции, которую Якобсон горячо поддержал в своем выступлении на IV Международном съезде славистов [39].

---

[39] См. «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», том II. М., 1962, стр. 48. Обсуждение соответствующих моделей для категории падежа см. в работе: И. И. Ревзин. Метод моделирования и типология славянских языков. М., 1967, гл. 6, а также в работе: А. А. Зализняк. Русское именное словоизменение. М., 1967, стр. 38—42.

Н. Ю. ШВЕДОВА

О СООТНОШЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

В последние годы отмечается усиленный интерес к информативной стороне предложения как к специальному объекту лингвистического исследования. Самый этот объект не может считаться новым: и в русской, и в западноевропейской лингвистической традиции можно назвать имена ученых, уже давно обращавшихся в своих исследованиях к «смысловой форме» предложения, к его коммуникативному содержанию [1]. Еще в 70-х гг. XIX в. русский ученый и педагог В. Сланский выдвинул и развил идею о необходимости выделения в предложении «членов содержания» и «отношения этих членов», а также идею «уравнения предложений», которое в переводе на современную терминологию есть не что иное, как синтаксико-смысловое преобразование (трансформация). В. Сланским указаны были и основные виды «уравнений», разграничиваемые на основе разных соотношений «членов содержания» [2].

В наше время в работах В. В. Виноградова, в частности в книге «Русский язык», постоянно присутствует тот аспект изучения предложения, который он называл его «коммуникативным смыслом». Именно под этим углом зрения излагается, например, в главе о «категории лица» весь материал о типах субъекта (ср. термины «скрытое или устраненное лицо», «лицо как орудие действия», «неизвестное производящее лицо» и др.). Та «категория лица», которую В. В. Виноградов наряду с категориями времени и модальности считал обязательно присутствующей в каждом предложении, есть категория именно «коммуникативно-смыслового уровня» [3].

---

[1] См. об этом в называемых ниже работах Фр Данеша, Т. Б. Алисовой, В. Г. Гака, Н. Д. Арутюновой. Специально о русских исследованиях смысловой стороны предложения см. в кн. В. В. Виноградова «Из истории изучения русского синтаксиса». М., 1958.

[2] См. В. Сланский. Две экскурсии в область русской грамматики. «Семья и школа», 1876, №№ 2, 4, 5 и 10; Он же. Коренная ошибка грамматик. «Семья и школа», 1878, №№ 4 и 5; Он же. Грамматика — как она есть и как должна быть. СПб., 1887. Подробно о работах В. Сланского см. в указ. соч. В. В. Виноградова.

[3] Подробнее об этом см.: Н. Ю. Шведова. Входит ли лицо в круг синтаксических категорий, формирующих предикативность? «Русск. язык

Особый интерес к информативной стороне предложения в последнее десятилетие явился естественной реакцией на весьма энергично пропагандировавшиеся методы сугубо формальных описаний строения предложения — как в плане чисто линеарном, так и в плане порождающем или трансформационном. Сейчас уже можно говорить о нескольких направлениях в изучении семантической структуры предложения и категорий этой структуры. Основное разграничение проходит в сфере выделения самих объектов семантического уровня в синтаксисе. С одной стороны, семантика предложения описывается в непосредственной опоре на конкретную, данную ситуацию речи; смысл предложения ищется в реальных сферах внеязыкового положения вещей. С другой стороны, делаются попытки установить категории семантической структуры предложения и самые типы таких структур на основе фактов собственно языковых. Именно здесь и определилось сейчас несколько различных подходов. Во-первых, это описания, построенные на основе теории «глубинных» и «поверхностных» структур в духе Хомского (см., например, описание семантики именных одночленных предложений у Фр. Мико [4]); во-вторых, это работы, направленные на построение такой типологии семантических структур предложения, которая опиралась бы на характеристики, отвлекаемые от самих этих предложений как единиц, несущих в себе комплекс грамматических и лексико-семантических показателей. Из работ этого направления нужно прежде всего назвать исследования Фр. Данеша (1966—71) [5], сопоставительные описания В. Г. Гака (1965—69) [6], Т. Б. Алисовой (1969—71) [7]. Объектом изучения здесь являются собственно

за рубежом», 1971, № 4. Оригинальное рассмотрение семантической категории субъекта см. в статье: K. Hausenblas. Subjekty v promluvě. — Sesja Naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich w Krakowie, 3—5 grudnia 1969 r. Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk. 1971.

[4] Fr. Miko. K menným jednočlenným vetám. Jazykovedný zborník venovaný VI slavistickému kongresu. Bratislava, 1968.

[5] Fr. Daneš. Semantic considerations in syntax. Actes du X-e Congres International des linguistes. Bucarest, 1970, стр. 407—413; Он же. Sémantická structura větného vzorce. Otázky slovanské syntaxe II. Brno, 1968; Some thoughts on the semantic structure of the sentence. Lingua, vol. 21. Amsterdam, 1968, стр. 55—69, и др. его работы (библиографию см.: Slovo a slovesnost, 1971, 3, стр. 206).

[6] В. Г. Гак. Очерки по сопоставительному изучению французского и русского языков. М., 1965; Он же. Проблемы лексико-грамматической организации высказывания. М., 1967 (докт. дисс. и АДД); Он же. К проблеме синтаксической семантики (семантическая интерпретация «глубинных» и «поверхностных» структур). — В сб.: Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1969; Он же. Использования лексических средств при синтаксических трансформациях. — НДВШ, Филол. науки, 1965, № 4, и др. его работы.

[7] Т. Б. Алисова. Очерки синтаксиса современного итальянского языка М., 1971; Она же. Опыт семантико-грамматической классификации простых предложений. — ВЯ, 1970, № 2; Она же. Семантико-

синтаксико-семантические структуры предложения, либо с учетом их изоморфности (или неизоморфности) внеязыковой ситуации (Гак, Алисова), либо без ориентации на реальные ситуации, на основе собственно языковой триады: «грамматическая модель предложения — его семантическая модель—коммуникативная структура высказывания» (Данеш).

Исследования семантической структуры славянского предложения ведутся сейчас почти исключительно на материале предложений глагольных. Самые категории семантической структуры предложения нерёдко выводятся из лексической семантики глагола и связанных с ним «актантов». Не приходится сомневаться в том, что для предложений, организуемых спрягаемой формой глагола, такой путь является совершенно целесообразным. Оригинальный анализ глагольных значений и основанная на этом анализе типология глаголов, предложенная Фр. Данешем [8], открывает путь исследования семантической структуры глагольного предложения как категории, организуемой взаимным действием собственно глагола и его правовалентного и левовалентного окружения.

Задача выявления и систематизации всех категорий семантической структуры предложения, действующих в данном языке в определенный момент его развития, чрезвычайно сложна. В работах, посвященных изучению этой проблемы, выводы нередко делаются на основе анализа наиболее ясных, «удобных» типов предложения (например, предложений со значением «дѐятель—действие—объект» или «деятель—безобъектное действие», «бессубъектное действие» и под.). Поэтому актуальной остается задача выработки единых критериев для определения и разграничения категорий семантической структуры предложений разных грамматических типов — как тех, в которых за самой организацией и информативным качеством компонентов легко просматривается внеязыковое положение вещей, так и тех, лексико-грамматическая организация которых не изоморфна такому положению.

Вопрос о том, как и чем формируется семантическое качество разнообразных типов безглагольных предложений, в разных славянских языках представленных в разных соотношениях с предложениями глагольными, остается нерешенным. Бесспорно, большую роль здесь играет лексическая семантика слов, заполняющих структурную схему предложения. Это хорошо показано в некоторых специальных исследованиях [9]. Но этот момент не является

коммуникативный субстрат безличных предложений. — В сб.: Инвариантные синтаксические значения. М., 1969, и др. ее работы.

[8] Fr. Daneš. Pokus o strukturní analýzu slovesných významů. Slovo a slovesnost, 1971, 3. См. там же статью: J. Kořenský. K problému větněsemantických funkcí nédějových významů českého slovesa.

[9] См., например, Н. Д. Арутюнова. О номинативном аспекте предложения. — ВЯ, 1971, № 6.

единственным, поскольку, как мы уже в другом месте пытались показать [10], информативное качество в предложениях без Vf, построенных по одной и той же абстрактной схеме, может совпадать или различествовать независимо от лексической семантики входящих в него слов (см. об этом также ниже).

В настоящем докладе представлен опыт разграничения смысловых структур так наз. «номинативного» русского предложения на основе комплекса собственно языковых характеристик. Этот опыт показывает, что разные соотношения этих характеристик могут служить объективными показателями несовпадения семантической природы предложения одного и того же абстрактного грамматического типа.

Под семантической структурой предложения понимается его информативное содержание, представленное в абстрагированном виде как закрепленное в языковой системе соотношение типизированных элементов смысла. Семантическая структура предложения располагает системой своих собственных категорий, причем категории эти могут быть общими, абстрактными, и частными, более конкретными. На первых ступенях анализа необходимо ограничиться вычленением и систематизацией основных, наиболее обобщенных категорий семантической структуры, т. е. тех, которые так или иначе соотносятся, во-первых, с компонентами структурной схемы предложения, во-вторых, с их облигаторными (на уровне сильных связей) распространителями и, в-третьих, с необстоятельственными детерминантами предложения [11]. Эти категории и их характеристики отвлекаются не от отдельных конкретных высказываний, а от определенных их классов. Поэтому категории семантической структуры предложения являются общеязыковыми.

Элементарная грамматическая организация предложения (структурная схема), безотносительно к ее конкретному лексическому наполнению, уже сама по себе является фактором, небезразличным для семантической структуры построенного по этой схеме предложения. Отвлеченные значения компонентов схемы и отношения между ними служат первоосновой семантической структуры предложения, представляя ее в максимально обобщенном виде. Так, например, значение экзистенциальности, заложенное в структурной схеме односоставных номинативных предложений (N_{N_1}), является тем семантическим остовом, на котором средствами лексики, субъектной детерминации, парадигматических и модификационных свойств, специфической дистрибуции

---

[10] Н. Ю. Шведова. О соотношении грамматических и семантических характеристик предложения (Доклад на Синтаксическом симпозиуме в Брно; печатается в сб. Otázky slovanské syntaxe, III).

[11] В настоящем докладе принято то понимание структурной схемы предложения и его распространителей, которое изложено в «Грамматике современного русского лит. языка». М., «Наука», 1970.

формируются конкретные смысловые типы номинативных предложений (подробнее см. ниже).

2

Обратимся теперь к вопросу о семантической структуре номинативных предложений (схема N_{N_i}), о категориях этой структуры и о языковых средствах формирования и объективации этих категорий.

Русские номинативные предложения хорошо изучены. Описана их формальная организация и информативная специфика [12], в общем виде — их парадигматические возможности [13]; изучались также способы их распространения и введения в контекст [14]. К самому последнему времени относятся работы, описывающие номинативные предложения с позиций трансформационной и порождающей грамматики [15]. И все же еще много неясного остается и в принципах отграничения собственно номинативных предложений от разнообразных по функциям номинативов, такими предложениями не являющихся [16], и в смысловом качестве этих

---

[12] А. В. Бельский. Типология предложений в современном русском языке. «Уч. зап. I МГПИИЯ», т. II. М., 1940; Он же. Опыт экспериментального исследования интонации номинатива в функции предложения. «Уч. зап. I МГПИИЯ», т. 8. М., 1954. Экспериментальная фонетика и психология речи; Грамматика русского языка АН СССР. М., 1952—54; В. П. Шутова. Семантические типы номинативных предложений в современном русском языке. «Уч. зап. Саратовск. Гос. пед. ин-та», вып. XVII, 1955; Б. П. Ардентов. Номинативные предложения в совр. русск. языке (На материале художественных произведений). «Уч. зап. Кишиневск. Гос. ун-та», т. 55, филологический. Кишинев, 1959; Vl. Hrabě. O dvojčlenných a jednočlenných větách v současné ruštině. — Československá rusistika, 1970, 4; В. В. Бабайцева. Односоставные предложения в совр. русск. языке. М., 1968; Г. А. Золотова. О взаимодействии лексики и грамматики в подклассах имен существительных. — В кн.: Памяти акад. В. В. Виноградова. М., 1971, и др. работы (см. библиографию в статье А. С. Попова «Изменения в употреблении номинативных предложений». В сб.: Развитие синтаксиса совр. русск. языка. М., 1966).

[13] Н. Ю. Шведова. Парадигматика простого предложения в современном русском языке (опыт типологии). В сб.: Русский язык. Грамматические исследования. М., 1967; Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970; И. А. Попова. О «двусоставности» номинативных предложений. — В сб.: Исследования по совр. русскому языку. М., 1970.

[14] А. С. Попов. Указ. соч.

[15] А. Е. Михневич. К характеристике номинативных предложений. — Zeitschrift für Slawistik, 1965, 5; Fr. Miko. K menným jednočlenným vetám; H. Křížková. Na okraj jednočlenných nominálních vět. ČR, 1970, 4; Н. Д. Арутюнова. О номинативном аспекте предложения. — ВЯ, 1971, № 6.

[16] В дальнейшем изложении мы будем придерживаться тех принципов отграничения номинативных предложений от разнообразных небытийных или называющих номинативов, которые приняты в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. (§ 1282—1288, 1310—1313,

предложений, и в их парадигматике, находящейся в непосредственной зависимости от той информации, которая заключена в предложении.

Нельзя говорить о семантике предложения, не определив точно и строго самый круг относящихся сюда первичных, основных категорий и методов их установления. При этом языковедческий анализ не предполагает обращения к внеязыковой «структуре ситуации»: он должен базироваться на собственно языковом материале.

Категории семантической структуры предложения формируются совместным действием трех факторов: во-первых, грамматической организации того формального элемента предложения (в иных терминах — «позиции»), который соотносится с определенным отрезком смысла, а именно: компонента структурной схемы предложения; облигаторного распространителя этого компонента либо распространителя предложения в целом — детерминанта, в том случае, когда такой распространитель по своей семантике необходимо входит в круг формантов элементарного смыслового целого; во-вторых, лексико-семантического наполнения этого формального элемента; в-третьих, места этого элемента в определенном ряду синтаксико-смысловых соотношений, объединяющем предложения разной грамматической, но одинаковой семантической структуры.

Корректность выделения семантических категорий проверяется различиями: а) в лексическом материале, принимаемом или не принимаемом предложениями определенных семантических структур; б) в парадигматических свойствах этих предложений; в) в характере их регулярных реализаций (грамматических модификаций той же самой структурной схемы); г) в наборах субъектно и объектно детерминирующих форм и в других семантико-синтаксических дистрибутивных свойствах предложения; д) в его месте в ряду синтаксико-смысловых соотношений.

В соответствии со сказанным, в пределах той или иной структурной схемы семантические типы предложения, складывающиеся как особое качество на основе взаимного отношения определенных семантических категорий, разграничиваются по пятичленному набору признаков: 1) лексико-семантическое наполнение компонентов схемы; 2) характер субъектного или субъектно-объектного детерминанта и другие дистрибутивные свойства предложения; 3) система форм (парадигма); 4) система регулярных реализаций (грамматические модификации); 5) соотношения. У разных семантических типов предложений могут совпадать отдельные из названных признаков, но никогда — система признаков в целом. По этому набору признаков будут рассмотрены и номинативные

1352—1353, 1374, 1469). Соответственно не относятся к номинативным все предложения, которые Е. П. Кржижкова называет оценивающими (квалифицирующими) и предикативными.

предложения. Различия в этих наборах являются реальными собственно языковыми показателями различий между элементарными семантическими типами номинативных предложений и могут служить основанием для их общей семантической классификации.

Семантические структуры номинативных предложений формируются сочетанием и взаимодействием — в каждом случае своим, неповторяющимся — трех основных семантических категорий и их «подкатегорий»: категории бытийности (экзистенциальности), т. е. наличия, бытия кого-, чего-либо (I); категории субъекта (II) и категории объекта (III).

Бытийность — это существование, наличие: 1) ситуации (I1), 2) события (I 2), 3) предмета (лица или нелица) (I 3), 4) действия (I 4), 5) состояния (I 5), 6) восприятия, обнаружения (I 6), 7) отношения (I 7) или 8) признака (I 8). Субъект — это тот (то), от кого (чего) исходит действие, состояние, восприятие, отношение (в широком смысле, включая обладание) или признак. Субъект может быть: определенный (II 1), неопределенный (II 2) и обобщенный (II 3). Объект — это тот (то), на кого (что) направлено чье-либо действие (III 1), состояние (III 2), восприятие (III 3) или отношение (III 4).

Дальнейшая детализация этой системы возможна. Однако для выявления и разграничения основных (элементарных) семантических структур номинативных предложений она достаточна.

Специфика номинативных предложений состоит в том, что единственный компонент их структурной схемы словесно представляет лишь одно из названных значений, но синтаксически соответствует всему комплексу категорий того или иного семантического типа. Так, например, в предложении: *Оглядываюсь: отец!* имя называет только объект восприятия; однако семантическая структура этого предложения формируется взаимным действием категории определенного субъекта, наличия восприятия и объекта восприятия ('Я вижу отца'). В предложении *Зима* словесно названо только время года; однако семантика предложения — наличие ситуации.

В современном русском языке основной семантической оппозицией внутри класса номинативных предложений является оппозиция «бессубъектность—субъектность». В бессубъектных предложениях ситуация, событие, предмет представлены в своем статальном существовании. Конечно, раз есть то (тот), что (кто) существует, и само существование, то можно и в этих предложениях усматривать субъектное значение. Например, в предложении *Зима* можно видеть двучленную семантическую структуру: предмет (зима) — его существование. Однако при анализе номинативных предложений мы будем связывать с субъектом понятие носителя действия, состояния, восприятия, отношения или признака. Такое разграничение не произвольно: оно основывается на

собственно языковых показателях. Субъектные предложения последовательно отличаются от бессубъектных, во-первых, открытой позицией субъектного детерминанта; во-вторых, собственными соотношениями, т. е. спецификой того ряда, в котором им принадлежит определенное место, и самим характером этого ряда; в-третьих, в одних случаях обязательной, в других — открытой семантической позицией объекта.

Существуют два класса бессубъектных предложений и два класса предложений субъектных — с последующими подразделениями внутри этих последних. Общий список объединяет одиннадцать семантических типов:

I. Бессубъектные предложения

А. Бытийные ситуационные.

Б. Бытийные предметные.

II. Субъектные предложения

А. Неопределенно- или общесубъектные предложения: 1. Неопределенно-субъектные событийные и ситуационные. 2. Общесубъектные со значением состояния.

Б. Определенно-субъектные предложения: 1. Определенно-субъектные предметные со значением отношения. 2. Определенно-субъектные со значением восприятия. 3. Определенно-субъектные со значением действия или состояния. 4. Определенно-субъектные со значением характеристики состояния субъекта через предмет. 5. Определенно-субъектные со значением характеристики субъекта через признак. 6. Двусубъектные. 7. Субъектно-объектные.

Далее будут рассмотрены все эти семантические типы предложений по следующему комплексу признаков: 1) категории семантической структуры и общая семантика предложения; 2) лексическая семантика имени, занимающего позицию компонента схемы (номинатива); 3) характер субъектной детерминации и другие дистрибутивные характеристики; 4) регулярные реализации с полузнаменательными глаголами; 5) парадигма; 6) соотношения [17]. Там, где это необходимо, будет специально характеризоваться роль контекста.

Таким образом, семантическая структура будет рассматриваться как одна из сторон языковой организации предложения и в связи с его отношениями с другими предложениями той же семантики. Изучение предложения не в линейном плане, а по комплексу признаков, включая в этот комплекс и его синтаксические потенции, дает наиболее проверенные результаты [18].

---

[17] Термин «соотношения» точнее, чем «преобразования»: в языке не происходит никакого преобразования (трансформации) одного предложения в другое, а имеет место вхождение предложений в синтаксический ряд, объединяющий единицы общей семантики, но разного грамматического строения.

[18] Ср., правда совсем с других позиций, изучение номинативных предложений на основе одиннадцати дифференциальных признаков в статье А. Е. Михневича (см. сноску на стр. 462).

БЕССУБЪЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Бытийные ситуационные предложения.

Семантика этих предложений: наличие ситуации. Категории семантической структуры: наличие, бытие — ситуация (I 1). Имя называет ситуацию. Лексическая семантика имени: названия времен года, суток, месяца, дня, сезона, отрезка времени, праздника; названия стихийных проявлений, состояний среды, погоды, обстановки; названия разнообразных бессубъектных ситуаций, а также явлений, характеризующих ситуацию.

Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле (А. Ахматова); Хочу у зеркала, *где муть* И сон туманящий, Я выпытать — куда вам путь И где пристанище (М. Цветаева); *Еще не пожар*, Это просто закат (В. Вольтман) [19]; Давно не было такой погоды: *снег*, *метель*, *минусовая температура воздуха*; *Ветер*. Ничего не поделаешь: *ноябрь*; *Зима*; *Лето*; *Сквозняк*; *Опять оттепель*; *Наводнение*; *На дворе мороз*, *пурга*.

В условиях контекста бытийными ситуационными могут быть и предложения, в которых лексическая семантика номинатива не отвечает традиционно прикрепляемым к этим предложениям разрядам слов, например: *Не пойду в лес*: *к о м а р ы*; *В клубе вечер*: *торжественная часть*, *буфет*; *Боится поступать в вуз*: *большой конкурс*.

Субъектная детерминация отсутствует; обычный здесь детерминант «*у*+родит. пад.» имеет обстоятельственное значение.

Для предложений с номинативом экзистенциального лексического значения регулярны реализации с полузнаменательными глаголами бытия и становления: *бывать*, *стать* — *становиться*, *делаться* — *сделаться*, *наступить* — *наступать*, *оказаться* — *оказываться*, *получиться* — *получаться*, распределенными по семантическим группам существительных: *Там бывает жара*; *Стала* (*наступила*, *сделалась*) *тишина*; *Совсем весна делается* (*сделалась*, *стала*); Я наверху сидела, хорошо было, *а теперь-то ветер стал* (рзг. речь).

Эти предложения имеют все формы синтаксического индикатива — наст., прош. и буд., а из форм ирреальных наклонений не имеют формы долженствовательности.

Уйдем. . . Мне более невмочь Застылость этих четких линий И этот свод картонно-синий. *Пусть будет солнце или ночь*! (И. Анненский); Тоска!. . . *Хоть бы*, *что ли*, *громовый раскат* (В. Маяковский); *Метель*, но без снега. *Если бы снег*! (М. Кольцов); *Пусть ливни и громы*, *и радуга*, *словно ворота*! (М. Алигер); Если

---

[19] Некоторые из приводимых далее материалов, относящихся к поэтической речи, почерпнуты из дипломных работ студ. МГУ Н. Зацепиной и Т. Лафарь, занимавшихся изучением форм синтаксических ирреальных наклонений у односоставных предложений.

год мне осталось прожить на свете, Возьмите за это себе полгода. . . *Только бы солнечная погода, Только бы свежий восточный ветер!* (В. Тушнова); *Был месяц июль*; *В тот день был четверг* [20].

Характерной семантико-грамматической дистрибуцией этих предложений [21] является их локальная и темпоральная детерминация.

В огромном городе моем — ночь (М. Цветаева); *За окнами было хорошее лето* (В. Боков); *Внутри церкви запустение* (М. Пришвин); Тут Марфа открыла глаза. *В избе было утро* (Ф. Абрамов); *В подъезде сквозняк*; *У нас оттепель*; *Теперь лето*; *На будильнике час* [22].

Бытийные ситуационные предложения входят в соотношения: 1) с безличными глагольными предложениями: *Метель — Метет, Пурга — Пуржит*; 2) с двусоставными глагольными предложениями — в тех случаях, когда глагол в сочетании с существительным определенной семантики имеет бытийное значение: *Дождь (снег) — Дождь (снег) идет*; *Метель — Метель метет*; *Холода (морозы) — Холода (морозы) стоят*; 3) с безличными предложениями наречного типа: *Жара — Жарко*; *Холод — Холодно, Сушь — Сухо*. Возможности таких соотношений ограничены лексически со стороны предикативов. Ряд соотношений может быть трехчленным (*Жара — Жара стоит — Жарко*).

Бытийные ситуационные предложения — «классический» представитель номинативных предложений. Однако в общей массе номинативных предложений этот тип не может считаться главенствующим.

2. Бытийные предметные предложения.

Семантика этих предложений: наличие предмета (нелица или лица). Категории семантической структуры: наличие, бытие — предмет (I 3). Имя называет предмет. Лексическая семантика существительного: название конкретного предмета или лица, явления. Конситуативная обусловленность обычна, но не обязательна.

И хором шестеро бесов За волченихой — уррр! — Егорушка! — *И частокол Ощеренных клыков* (М. Цветаева); *Здесь шестнадцатый*

---

[20] Абсолютная регулярность парадигматического ряда типа *Зима — Была зима — Будет зима*, члены которого различаются единственно и только временными значениями, не позволяет согласиться с мнением некоторых исследователей (В. Грабе, И. А. Попова и др.), видящих здесь в *был, будет* полнознаментальный глагол бытия (подробнее см.: ВЯ, 1973, № 4).

[21] Вряд ли можно согласиться с А. Е. Михневичем (указ. ст.), полагающим, что предложение не имеет дистрибутивных характеристик. См. полемику с ним В. Д. Климанова (Zeitschr. für Slaw., 1969, 5, стр. 721—23).

[22] В бессубъектных бытийных ситуационных предложениях так же как в предложениях бытийных предметных и в неопределенно- и общесубъектных, открыта позиция объекта, имеющего отношение к ситуации, предмету, событию или состоянию, например: *Для всех день, а ей еще ночь*; *Кому воскресенье, а кто и без выходных*. Такой объект не входит в круг основных категорий семантической структуры предложения.

век. Забытье. *Деревянное зодчество* (К. Ваншенкин); Поезд замедляет ход. *Станция*.

Субъектная детерминация отсутствует. Формально возможное включение субъектного детерминанта (*кому*, *у кого*, *для кого*) переводит такие предложения в класс определенно-субъектных предметных предложений со значением отношения, см. стр. 471.

Для этих предложений возможны (ограничения, по-видимому, идут от лексической семантики существительного) реализации с полузнаменательным глаголом *стать* в значении превращения, обнаружения: *Росло дерево*; *прошли туристы — стал пень*.

Бытийные предметные предложения имеют все формы, кроме долженствовательной.

Пусть над новой избой Будет свод голубой — Полно соснам скрывать синеву! (А. Блок); Петербург готовился к встрече высокого гостя. . . Надо было украсить въезд. *Чтобы из каждого окна — флаги! С каждой крыши — фейерверк! Из-за каждого угла цветы!* (К. Федин); Надо бежать. Без оглядки. К бесу. Бросить отряд. Я хочу домой. *Если бы поезд*. Сначала к лесу. После полями, а там тропой (Э. Багрицкий); Но обязательно будет и другое. *Будет притихший космодром*. И Земля замолкнет, отсчитывая предстартовые секунды (Р. Рождественский); Войдет гусар в заснеженной шинели, И *будут свечи*, ссора и дуэль (Б. Некрасов); Было шесть часов вечера, конец мая 1971 года. *Был сквер у Большого театра*. Мы шли к месту встречи, жутко волнуясь (К. пр., 29.V.71).

Характерной семантико-грамматической дистрибуцией таких предложений является локальная детерминация. *Слева тайга*; *Там теперь музей*; *В пяти километрах зимовье*; *За бортом — свинцовая волна*. Темпоральная детерминация: *Через двадцать минут — станция*.

Позиция объекта отсутствует.

Бытийные предметные предложения могут вступать в соотношения с двусоставными предложениями той же семантической структуры со сказуемым — глаголом бытия, пребывания, нахождения, появления (в результативном значении): *На поле снег — На поле лежит снег*; *Если бы деревце! — Если бы росло хоть одно деревце! Пусть всегда будет солнце — Пусть всегда светит солнце. Слева тайга — Слева расстилается (находится, раскинулась) тайга*. Такие соотношения существуют всегда, когда словарь предоставляет синтаксису полнознаменательный глагол, в сочетании с данным существительным приобретающий бытийное значение.

СУБЪЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. Неопределенно- или общесубъектные предложения.

1. Неопределенно-субъектные событийные и ситуационные предложения.

Семантика этих предложений: бытие, наличие события, представленной как ситуация деятельности или собственно деятельности, осуществляемой неопределенно мыслимым субъектом. Категории семантической структуры: неопределенный субъект — ситуация или событие как действие этого субъекта (II 2, 3 — I 1, 2, 4). Имя называет событие или ситуацию. Лексическая семантика существительного — названия событий и ситуаций, обнаружений деятельности, поведения.

Война; *Бой*; *Бомбёжка*; *Канонада*; *Паника*; *За билетами очередь*; *Снова суд*; *В цехе кража*.

Эти предложения не принимают субъектного детерминанта: семантическая категория субъекта выявляется в них из лексической семантики имени и из системы соотношений. Введение детерминанта «*у*+ родит. пад.» или, если субъект мыслится как целое множество, «*среди*+ родит. пад.», при значении взаимно-направленного действия — «*между*+ тв. пад.» переводит эти предложения в определенно-субъектный класс со значением действия или состояния (см. стр. 472).

У предложений этой семантической структуры возможны реализации с полузнаменательным глаголом *бывать*, при отдельных словах — со *стать*, *сделаться*, *оказаться*: *За билетами бывала очередь*; *Сделалась паника*; *В цехе оказалась кража*.

Неопределенно-субъектные событийные и ситуационные предложения регулярно образуют все формы синтаксического индикатива и ирреальных наклонений, кроме долженствовательной; возможность образования формы долженствовательного наклонения определяется ситуацией и субъективно-модальной окраской высказывания [23].

Была война; *Будет бой*; *Снова был* (*будет*, *был бы*) *суд*; Порою шум из-за дверей Доносится неясный, И по ошибке этот шум Мы песнею зовем И утешаемся: *Пусть шум!* Бывает шум прекрасный (Н. Матвеева); *Пусть будет бой*. И бой пришел с рассветом (Л. Ошанин); Трудно поверить, что кто-то может распространять такое. . . Главное, *пусть будет паника* (Пр., 21.VIII.69).

Характерной чертой описываемых предложений является то, что в них открыта позиция объекта, предопределенная валентно-

---

[23] Форма долженствовательного наклонения может быть образована тогда, когда говорящий мыслит действие как с чьей-то точки зрения обязательное, но субъективно им не принимаемое, например: *В доме будь порядок* [а сами что делают?]. Этот субъективный оттенок может быть приглушен, ср.: Решили установить порядок, *так уж и будь порядок во всем* (разг. речь).

стью существительного: Я был в эфире! *Там игра на лире* (Л. Мартынов); *Война с захватчиками*; *Очередь за билетами*; *Суд над расхитителями*.

Неопределенно-субъектные событийные и ситуационные предложения входят в соотношения с глагольными неопределенно-личными предложениями: *Пусть шум — Пусть шумят*; *Где-то война — Где-то воюют*; *Кража бриллиантов — Украли бриллианты*.

2. Общесубъектные предложения со значением состояния.

Семантика этих предложений: наличие, бытие всеобщего состояния; субъект обобщенно-множествен. Категории семантической структуры: обобщенный субъект — наличие состояния (II 3, I 5). Именем названо состояние. Лексическая семантика существительного — отвлеченные названия состояний, свойств. Такие предложения конситуативно обусловлены, вне конситуации — всегда детерминированы.

Он звал на землю красивую жизнь, *где справедливость* и нет нужды (Л. Леонов); *Всюду жизнь*; *Там человеконенавистничество, ненависть*; *Здесь любовь, свобода, добро и правда*; *У нас полное равенство*.

Предложения принимают детерминант «*у* + родит. пад.», совмещающий значение обобщенно-множественного субъекта со значением локальным (локально-субъектная детерминация): *У них человеконенавистничество; У нас справедливость*.

При отдельных существительных возможны реализации с полузнаменательным глаголом *бывать*.

Парадигма полная; ограничения в образовании форм долженствовательного наклонения — те же, что и в неопределенно-субъектных событийных и ситуационных предложениях (см. стр. 469).

Жизнь повсеместно изменится, все вокруг похорошеет, *будет замечательная жизнь. Будет полный социализм* (П. Нилин); *Да будет* свет, *любовь, свобода, Добро и правда на Руси* (В. Немирович-Данченко); Ты погибла взаправду — как надо. Так подобало. *Да будет жизнь!* (О. Берггольц).

Для таких предложений характерна темпоральная и локальная детерминация. Номинатив открывает позицию субъекта в родит. пад. и — при наличии сильной связи — объекта: *Всюду радостная жизнь возрожденного народа*; *Там — ненависть друг к другу, здесь — любовь к человеку, равенство всех со всеми, справедливость по отношению ко всем*.

Субъектное значение в таких предложениях может быть заключено в согласованном прилагательном при номинативе: *Здесь — всеобщее (всенародное) равенство*.

Соотношения — с двусоставными личными предложениями с подлежащим *все, мы, они* (в знач. «они все», «мы все»): *Всюду*

радостная жизнь — Все живут радостно; *Здесь свобода и справедливость — Здесь все свободны и справедливы.*

Б. Определенно-субъектные предложения.

1. Определенно-субъектные предметные предложения со значением отношения.

Семантика этих предложений: наличие у субъекта предмета или представленного как предмет состояния, к которому он имеет отношение (включая обладание). Категории семантической структуры: определенный субъект — наличие отношения — объект отношения (II 1, I 7 — III 4). Именем назван предмет. Лексическая семантика существительного: названия предметов, лиц, свойств, качеств, состояний, явлений. Так же, как и предложения предыдущей группы, эти предложения конситуативно обусловлены, вне конситуации — всегда детерминированы.

Сейчас уезжаем. *Полчаса на сборы*; Он красавец, умница: *прекрасная фигура*, *голос*; *У нее высшее образование*; *У тебя (тебе) пятерка*, *а у Кости? (Косте?) — У Кости (Косте) — три*; Куда я поеду? *Дети*, *семья*.

Субъектные детерминанты обычны. Детерминирующие формы: «*у* + родит. пад.», при элементе значения направленности — дательн. пад.: *У вас (вам) еще одна минута на размышления*; *Тебе (у тебя) пятерка по алгебре*; *У него душа*, *а у меня что*, *пар?* (ср. ниже предложение без детерминанта у Маяковского).

Если обладающим субъектом представлен неодушевленный предмет, то локальный детерминант совмещает локальное и субъектное значения (локально-субъектная детерминация) и может соотноситься с субъектным детерминантом или с подлежащим: *В багаже — две тысячи снимков и кинопленка (—Багаж содержит. . .)*; *В письме — злобный тон (—Письмо имеет. . . — У письма. . . — Письмо — злобного тона).*

Реализации (обычно при детерминации, но возможно и без нее) — с глаголами *оказаться — оказываться*, *стать* (ограничения накладываются лексической семантикой существительного): Взял же когда-то человек в руку зажженное молнией дерево, *стал у всех огонь* (М. Пришвин); *Оказалось только полчаса на сборы.*

Парадигма полная; формы долженствовательности могут быть образованы у предложений с номинативами — названиями конкретных предметов.

Пусть сердце, *даже душа*, но такая, чтоб жила, паровозом дыша, никакой весне никак не потакая (В. Маяковский); Я смотрю на учительницу и про себя внушаю: *пусть у меня будет пять*, *пять*, *пять!* Внушал, внушал и вдруг слышу: «*У Кости — пять!*» (Изв., 4.IV.69); Колхоз открыл цех по изготовлению электроящиков: *лишь бы прибыль* (Пр., 8.XII.69); *Полчаса на сборы — было (будет*, *было бы*, *лишь бы было*, *пусть будет) полчаса на сборы.*

Определенно-субъектные предметные предложения со значением отношения входят в соотношения с двусоставными предложениями со сказуемыми — глаголами обладания, наличия, давания, а также со сказуемыми — именными группами с тем же значением: *У вас (вам) полчаса на сборы — У вас есть полчаса на сборы*; *У нее высшее образование — Она имеет высшее образование — Она с высшим образованием.*

2. Определенно-субъектные предметные предложения со значением восприятия.

Семантика этих предложений: восприятие субъектом обнаруживаемого им объекта. Категории семантической структуры: конкретный субъект — наличие восприятия — воспринимаемый объект (II 1, I 6, III 3). Именем назван объект. Лексическая семантика существительного: названия конкретных предметов и лиц. Предложения этой семантической структуры всегда конситуативно обусловлены, вне конситуации — обязательно распространены локально-субъектным детерминантом (см. ниже).

Присел в тени под деревом. Глядь — *сверток*; Знаю, что меня ждут подарки. Вхожу. *Книги, цветы*; Оглядываюсь: *она*!; Слышишь: *стон!*; Мама, *море!*

Субъектная детерминация отсутствует; субъектное значение выявляется контекстуально, в системе соотношений, а также (при значении зрительного восприятия) средствами локально-субъектного детерминанта в форме «*перед*+тв. пад.»: *Перед ним (перед глазами) сверток*; *Передо мной книги, цветы.*

Регулярные реализации с полузнаменательными глаголами отсутствуют. Форм прош. и буд. вр. нет. Возможно образование форм сослагательного и желательного наклонений [24]. Для этих предложений характерна нераспространенность и отсутствие позиции объекта.

Соотношения — с двусоставными предложениями с глаголами восприятия, обнаружения; номинатив соотнесен с объектом: *Море! — Я вижу море*; *Стон! — Я слышу стон*; *Вхожу: книги, цветы — Вхожу и вижу (нахожу) книги, цветы.*

3. Определенно-субъектные предложения со значением действия или состояния.

Семантика этих предложений: действие или состояние определенного субъекта. Категории семантической структуры: определенный субъект — наличие действия или состояния (II 1, I 4, 5). Именем названа деятельность или состояние. Лексическая семантика существительного — названия действий и состояний, как правило (но не обязательно, ср. названия болезней), словопроизводна с соотносительными глаголами и прилагательными.

---

[24] Указание И. А. Поповой («О двусоставности номинативных предложений», стр. 179—180) на противоречивое толкование формоизменения этих предложений в статье «Парадигматика простого предложения» основано на недоразумении; см. в статье «Парадигматика. . .», стр. 33, 49 и 59—60.

Предложения этой семантической структуры конситуативно обусловлены, вне конситуации — всегда детерминированы.

Этим надо самому переболеть, перемучиться, перегореть, *и тогда — озарение*, и слово само, как ручной голубь, опускается на плечо (М. Борисова); *В доме за ближним леском* — утро, *зевота. В сердце студеным ледком — та же забота* (С. Дрофенко); Студенты возвращаются к обычным будням — *занятия, экзамены. А потом прогулки по старому городу. И разговоры, разговоры о будущем и прошлом*; Год спустя зимовщики вернулись на станцию. *Радость и удивление!* Навстречу вертолету, приветливо махая хвостами, бежало несколько лаек.

Предложения этой семантики принимают субъектные детерминанты в форме «*у*+родит. пад.», при значении воспринимающего субъекта — дат. пад. и «*для*+родит. пад.», при значении множественности взаимодействующих субъектов — «*среди*+родит. пад.» и «*между*+родит. пад.».

У поэта озарение; *У студентов экзамены*; *То-то матери (у матери, для матери) радость*; *У больного ухудшение*; *Мне с ним мука*; *Нам и самим стыд* (Пр., 1.X.69); *Среди пассажиров (у пассажиров) волнение*; *Между друзьями (у друзей) недоразумения.*

При значении состояния, заключенного в субъекте, возможна субъектная детерминация формой «*в*+предложн. пад.»:

И я кулак бы сохранить хотел. Я буду добр. *Но в нем пусть будет сила* (Е. Винокуров); *В этом городе (у этого города) — своя необъяснимая прелесть*; *В нашем народе — доброта и незлопамятность*; *В сердце боль*; *В суставах ломота.*

При назывании объектно направленного действия или состояния возможна субъектная детерминация «*от*+родит. пад.», «*со стороны*+родит. пад.»: *От муравьев польза*; *От сына помощь*; *Со стороны окружающих безразличие.*

При назывании объектно направленного действия, исходящего от субъекта, известного по местонахождению, возможна локальная детерминация «*из*+родит. пад.», «*с*+родит. пад.», а также наречная:

С Кавказа — поздравление и привет; *Оттуда пока — одни обещания*; *Из школы — предупреждение.*

Если со значением субъекта совмещается значение времени пребывания в качестве этого субъекта, то возможна детерминация формой «*в*+предложн. пад.» (=в бытность кем): *В секретарях — одно беспокойство*; *В учениках — мученье.* Ср.: *Секретарям (у секретарей) — одно беспокойство*; *Ученикам (у учеников) мученье.*

При обозначении состояния, не зависящего от личной воли, субъект может быть обозначен детерминантом в форме «*с*+тв. пад.»: *С соседом беда*; *С женщиной обморок*; *Со мной смешное приключение.*

Как видно, определенно-субъектные предложения со значением действия или состояния располагают весьма богатыми возможностями субъектной детерминации, что вполне согласуется

с их семантикой. Эти возможности еще расширяются за счет других дистрибутивных свойств этих предложений (см. ниже).

В предложениях без детерминантов регулярные реализации с полузнаменательными глаголами отсутствуют. При наличии детерминантов «*у*+родит. пад.», дат. пад., «*в*+предложн. пад.», «*между*+тв. пад.», особенно для распространенных предложений, возможны реализации со *сделаться — делаться*, *стать — становиться*, *оказаться — оказываться*, *бывать*: *У больного сделался жар*; *У каждого оказываются свои претензии*; *Учителю с этим мальчишкой настоящая мука бывает*.

Парадигма определенно-субъектных предложений со значением деятельности или состояния — неполная: отсутствует форма долженствовательности:

«А боль? — спросил он себя. — Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?» Он стал прислушиваться. «Да, вот она. Ну что ж, *пускай боль*» (Л. Толстой); А когда б в глаза твои взглянуть мне хоть во сне, Пусть опять и чудо мне, *пусть и мука мне* (И. Анненский); *Пусть будут печали* — от слез прозревают глаза (В. Тушнова); *Да будет мир меж вами!* (Д. Кедрин); Войдет гусар в заснеженной шинели, И *будут* свечи, *ссора и дуэль* (Б. Некрасов); *Снова была (будет, была бы) учеба*; *Потом было (будет, было бы) озарение*; *В ней было (будет, было бы) очарование*.

Характерными дистрибутивными свойствами предложений этой группы, помимо отмеченных выше возможностей субъектной детерминации, являются: а) распространение субъектно недетерминированного номинатива согласованным определителем с субъектным значением; б) открытость присловной позиции субъекта, выраженного родит. падежом; в) открытость позиции объекта (при сильной связи); г) распространение детерминантом, локализующим неназванный субъект.

а) *Пусть будут* те же речи Про вольное житье, Твои высокие плечи, *Безумие мое!* (А. Блок). б) Егорушка! — И частокол Ощеренных клыков. — Егорушка! — *Седых боков Дых — и седин — дыб* (М. Цветаева); *И хоть бы моря дальнего мерцанье!* (В. Казин); *Встреча друзей*; Последний крик, *последний всплеск руки*. в) Фырк, дерг, *вскид руки*; *вновь зажим на коленях их с недоумением* (А. Белый; пример Н. Д. Арутюновой); *Месть фашистским захватчикам!* [25] г) *Там опять скандал*; *В доме — бесцельные разговоры, скука*; Врач подводит консультанта к больному: «*Здесь астения*».

Обычна обстоятельственная детерминация, например: *За час до отъезда — новое распоряжение*; *Вместо расчета — эмоции, вместо резонов — восклицания*.

Определенно-субъектные предложения со значением деятельности или состояния входят в соотношения: а) с личными двусо-

---

[25] Показательно, что позиция объекта («*с*+тв. пад.») в этих предложениях может открываться и при отсутствии сильной связи: — Но и мост-то мне нужен. *У меня с мостом свой интерес* (К. пр., 12.II.70).

ставными предложениями — глагольными и именными; б) предложения с локальными детерминантами — также с неопределенно-личными предложениями с той же детерминацией: а) *У него бессонница — Он не спит*; *Мне с тобой мука — Я с тобой мучаюсь*; *В сердце боль — Сердце болит*; *С ней обморок — Она в обмороке*; б) *Дома ссоры — Дома ссорятся*; *Из Москвы поздравление, привет — Из Москвы поздравляют, шлют привет.*

При соответствующих условиях возникают трехчленные ряды: *В аудитории удивление — В аудитории удивлены — Аудитория удивлена*; *У них ссора — Они в ссоре — Они поссорились.*

4. Определенно-субъектные предложения со значением характеристики состояния субъекта через предмет.

Семантика этих предложений: состояние субъекта, характеризуемое через предмет, к которому субъект имеет отношение или с которым связана его деятельность. Категории семантической структуры: субъект — наличие состояния — наличие предмета, обусловливающего это состояние (II 1, I 5, I 3). Именем назван предмет. Лексическая семантика существительного — названия конкретных предметов, лиц, явлений. Такие предложения всегда конситуативно обусловлены.

Субъектно-объектная детерминация отсутствует [26]. Реализаций с полузнаменательными глаголами нет. Из форм изменения присутствует синтаксический индикатив, формы сослагательности и побудительности. Обычна темпоральная детерминация (*потом*, *снова*, *тогда*, *опять* и т. д.).

Она порой ложилась на тахту. . . и плакала: еще две—три недели — *и опять Москва!* (И. Бунин); Он больше без меня не мог: Пускай позор, *пускай острог* (А. Ахматова); Затем роковая ночь, черная мгла в окнах. *Морфий, камфора, кислород. Последний глоток воды, в дорогу* (Л. Леонов); Еще хоть месяц так, А там — *пускай опять штыки, застенки, мавры* (К. Симонов); Учился в школе. Потом аттестат зрелости, *Балтийский завод.*

Такие предложения соотносятся с личными двусоставными предложениями, в которых слово, занимающее позицию номинатива, оказывается в позиции подлежащной, объектной или обстоятельственной: *Опять будет Москва — Опять она будет в Москве*; *Пускай острог — Пускай он будет в остроге*; *Потом опять врачи, госпиталь — Потом его лечили врачи, он был в госпитале.*

5. Определенно-субъектные предложения со значением характеристики субъекта через признак.

Семантика этих предложений — наличие признака субъекта. Категории семантической структуры: конкретный субъект —

---

[26] В неисходной форме возможен субъектный детерминант «*у* + родит. пад.» в тех случаях, когда имеется в виду длительное состояние, например: *У тебя был завод, армия*, а он еще только начинает жить.

наличие признака (II 1, I 8). Именем назван признак как состояние (а) или как ситуация (б). Такие предложения, как правило, детерминированы, без детерминанта — конситуативно обусловлены.

К случаям типа (а) относятся предложения, в которых субъект характеризуется по возрасту; лексическая семантика существительного — название возраста. К случаям типа (б) относятся предложения, в которых субъект характеризуется по создавшейся ситуации; это предложения со словами *конец*, *каюк*, *крышка*, *капут*, *труба*, *гроб*, *петля* и некот. др. В обоих случаях нормален детерминант в форме дательн. пад.

а) *Сыну месяц*; *Дочери полгода*; *Этой истории уже второй год*; с замещением места номинатива предложной формой: *Ей за тридцать*; *Ему под сорок*. б) *Ему теперь капут*; *Ваське каюк*; *Калымщикам труба*; *Всем вам будет крышка*; *Войне конец*; *Без этих денег ему петля* (М. Булгаков).

Без детерминанта: а) *Четвертый год*. Глаза — как лед. Брови — уже роковые. Сегодня впервые С кремлевских высот Наблюдаешь ты Ледоход (М. Цветаева). б) Утомился я достаточно от этой игры со стрельбой. *Пускай будет любой конец* (П. Нилин); *Крышка*. Убили. Главное, жжет. В плохой ты, Василий, Попал переплет (В. Инбер).

Реализации с полузнаменательными глаголами: в группе (а) — с глаголами *оказаться* — *оказываться*; в группе (б) — с глаголами *оказаться* — *оказываться*, *бывать*. Формы: у группы (а) — наст., прош., буд., сослагательн. и желательн. накл., у группы (б) — также еще и побудительность: *Ему был (будет, был бы) год*; *Если бы ему уже был год!*; *Им всем была (будет, была бы) крышка*; *Вот бы им всем была крышка!*; *Пусть им всем будет крышка!*; *Пожару был конец бесповоротный* (В. Чивилихин).

Нормальный обстоятельственный распространитель таких предложений — темпоральный.

Соотношения: для группы (а) — с двусоставными предложениями со сказуемым — прилагательным (там, где оно есть): *Сыну год* — *Сын годовалый*; для группы (б) только со словом *конец* — с двусоставными или с односоставными причастными: *Делу конец* — *Дело кончено* — *С (этим) делом кончено (покончено)*.

6. Двусубъектные предложения.

Семантика этих предложений: состояние субъекта как результат действия, направленного на него как на объект. Категории семантической структуры: конкретный субъект состояния — неопределенный или конкретный субъект действия — наличие действия — объект этого действия (он же — субъект состояния) — наличие состояния (II 1, II 1, 2, I 4, III 1, I 5). Именем названо действие или состояние. Такие предложения всегда конситуативно обусловлены, вне конситуации — детерминированы.

Лексическая семантика существительного — названия состояний по пассивному или деятельному отношению, самого такого

отношения, объектно направленного действия. Детерминирует дательный падеж, при словах *честь*, *почет*, *слава* и под. — также «*у*+родит. пад.». Субъект состояния может быть обозначен формой, предопределенной сильной связью имени: *Вызов врача*; *Наказание преступника*; *Расстрел партизана*; *Казнь предателя* (ср. двусубъектную модель соответствующих словосочетаний: *вызов врача больным*; *расстрел партизана карателями*).

Регулярные реализации — с полузнаменательным глаголом *бывать*; возможны также реализации с *выйти — выходить*, *получиться — получаться* при отдельных словах: *позор*, *стыд*, *срам*. Парадигма — полная, кроме формы долженствовательности.

Пятьдесят лет — пятьдесят вех; Пятьдесят лет — пятьдесят лестниц. Еще б этот счет! всход вперед! *И пусть на дне Суд обо мне Мировых сплетниц!* (В. Брюсов); Что ж! *Пусть прошедшему забвенье* — Не в настоящем жизни смысл! (А. Блок); *Да будет срам*, *Да будет проклятье вам!* (А. Вознесенский); Будут стихи посвящать, песнопения, *Будет о вас самолучшее мнение!* (В. Боков); Как бы ему тут опять не упасть, в этом кабинете. *Вот был бы позор* (П. Нилин); Класс встретил Толю благоговением. *Уважение*, *кругом уважение*; Спортсмен недооценил противника, *в итоге — поражение*; *Детям в детдомах и интернатах — все внимание*; Заготовители постарались: и *честь бы им и почет*.

Присловные связи могут открывать в таких предложениях позицию субъекта действия: *Им — внимание начальства (со стороны начальства, от начальства)*; *Всем — смерть от карателей (от руки карателей)*; *Ему благодарность дирекции (от дирекции)*.

Двусубъектные предложения вступают в соотношения с предложениями со сказуемым — страдательным причастием или возвратным глаголом, а также с переходным глаголом: *У него слава — Он прославлен — славится*; *Ему позор — Он опозорен — Его опозорили — Он опозорился*; *Ему уважение — Он уважаем — Его уважают*.

7. Субъектно-объектные предложения.

Семантика этих предложений: действие субъекта, направленное на объект. Категории семантической структуры: конкретный субъект — наличие действия — объект действия (II 1, I 4, III 1). Именем назван объект действия. Лексических ограничений нет. Предложения всегда конситуативно обусловлены. Субъектный детерминант — «*у* + родит. пад.». Регулярные реализации — с полузнаменательным глаголом *бывать* (при значении неодноразовости действия). Парадигма — неполная: нет формы долженствовательности.

Вечер. Зеленая детская С низким ее потолком. *Скучная книга немецкая*. Няня в очках и с чулком (И. Анненский); Огни — как нити золотых бус, *Ночного листика во рту — вкус* (М. Цветаева); Ночевка. Спать не хочется. *Костер*, *чай*, *песни*; *Впереди* — путина и, как надеется сезонник, *большие деньги*.

Субъектно-объектные предложения входят в соотносительный ряд с личными двусоставными предложениями, в которых позиция объекта замещена словом, занимающим в номинативных предложениях место компонента схемы: *Во рту вкус листика — Я чувствую во рту вкус листика*; *Костер, чай, песни — Мы разводим костер, пьем чай, поем песни.*

Итак, была рассмотрена семантическая структура номинативных предложений современного русского литературного языка и выявлены их основные семантические классы. Мы попытались показать, что ни один из семантических типов не может быть установлен на основании лишь одного признака — лексической семантики номинатива. Характер субъектной детерминации — в сочетании с фактором лексико-семантическим — также не оказывается достаточным признаком для определения семантического типа номинативного предложения: эта детерминация может совпадать у предложений разных семантических структур. Лишь анализ по комплексу различительных признаков, в который входит: грамматическая структура предложения, лексико-семантический характер его главного компонента, способы субъектной детерминации, система регулярных реализаций, парадигма, возможные несубъектные распространители предложения и его место в системе синтаксико-смысловых соотношений — позволяет удовлетворительно определить различия в семантических структурах номинативных предложений и выявить общую типологию этих структур [27].

Этот анализ убеждает также в том, что грамматисты не ошибаются, выделяя структурную схему N_{N_1} (односоставные предложения, организуемые им. падежом существительного) как абстрактный синтаксический образец. Для этого образца практически нет лексико-семантических ограничений: такие ограничения действуют не по отношению к схеме, а по отношению к предложениям определенных семантических структур, строящихся по этой схеме. Верно и то, что эта схема имеет полную парадигму: все формы синтаксического индикатива и все формы ирреальных наклонений; ограничения действуют по отношению к построенным по этой схеме предложениям определенных семантических структур, парадигмы которых могут обнаруживать разные виды неполноты. Эта схема, наконец, имеет широкие возможности субъектной детерминации; выбор детерминантов, самый их набор также предопределяется семантической структурой предложения.

---

[27] В описание не вошли два типа предложений, по отношению к которым правомерна постановка вопроса о неноминативном характере схемы. Это: 1) обобщенно-субъектные предложения со значением квалифицируемого действия (*Без музыки не свадьба*; *Под дождичек самый сон*) и 2) определенно-субъектные предложения со значением квалифицируемого состояния (*Ей теперь прямая дорога в вуз*).

3

Далее возникает вопрос: только ли рассмотренные выше два ряда факторов — грамматические и лексико-семантические — участвуют в формировании семантической структуры предложения или есть еще нечто, способное вносить в его смысловое строение дальнейшие дифференциации, причем дифференциации иногда настолько значительные, что в конкретном акте информации они оказываются существеннее того, что можно назвать основными категориями семантической структуры данного предложения. Обращают на себя внимание случаи, когда лексико-грамматические факторы не оказываются определяющими, и семантическая структура конкретного предложения формируется на основе явлений совсем иного характера.

Для примера обратимся к семантическим типам предложений, строящихся по двусоставной схеме N_1—N_1. На первых ступенях анализа здесь обнаруживается достаточно четкая смысловая типология, доказательно подтверждающаяся грамматическими характеристиками предложения — модификационными и парадигматическими.

Первоначально разграничиваются четыре семантических типа: 1) «субъект и его характеристика как приписывание признака» (*это таково*); 2) «субъект и его характеристика идентифицирующая» (*это адекватно тому-то, это есть то-то*); 3) «субъект и его характеристика как открывание признака» (*в этом открывается то-то*) и 4) «субъект и его характеристика по отношениям ассоциирования, порождения или результирования» (*это связано с тем-то, порождено тем-то, ассоциируется с тем-то, влечет за собой то-то* [28]). Внутри каждого из этих семантических типов, кроме третьего, существуют более частные подтипы. Всего выделяется десять семантических типов, характеризующихся каждый своим набором связок и связочных сочетаний, своими парадигматическими свойствами. Не имея возможности подробно излагать здесь всю эту систему, проиллюстрируем взаимодействие семантических и грамматических характеристик таких предложений на отдельных примерах. 1) Семантическая структура: «субъект — его характеристика информирующая» (один из пяти подтипов первого типа): *Сын — студент университета*; только нулевая связка; полная парадигма; 2) семантическая структура: «субъект— его идентификация с кем-чем-н.»: *Человек — тайна*; связка и связочные сочетания: нулевая, *это*, *есть*, *не что иное как*, их контаминации и модификации; неполная парадигма (нет формы долженствовательности) со своим специфическим набором вариативных форм; 3) семантическая структура: «субъект — его ха-

---

[28] В «Грамматике» 1970 г. этот тип выделен в особую схему, однако такое решение должно быть пересмотрено (см. справедливое замечание Е. Кржижковой, ČR, 1971, № 5, стр. 223).

рактеристика по ассоциативным связям»: *Полет в космос — это слава*; только связка *это*; четырехчленная парадигма (наст., прош., буд., сослагат.). Эти типы различаются также и по характеру дистрибуции предложения в целом и отдельных его компонентов.

Однако далее выясняется, что эти характеристики могут оказаться недостаточными для определения информативного качества того или другого конкретного высказывания.

Сопоставим предложения: *Петр — учитель* и *Петр — это (вот, вот это) учитель!* Это предложения одной грамматической структуры (N_1—N_1) и одного лексического наполнения; служебное связочное слово или его отсутствие в состав элементов, влияющих на семантическую структуру предложения, в данном случае не входит, так как такое слово здесь не обязательно, ср.: *(Наш) Петр — (действительно) учитель (а остальные все просто службу отбывают)*. Одинаково ли семантическое качество этих двух предложений? Очевидно, нет. Семантика первого: «лицо — его характеристика по роду деятельности»; оно имеет полную парадигму, реализуется с полузнаменательными глаголами *стать*, *сделаться*, *оказаться* и под., не реализуется с субъективно-модальными формантами. Семантика второго: «предмет (не обязательно лицо!) — его характеристика как носителя характерных положительных свойств» (ср.: *Ваня — [это] человек!*; *Москва — [это, вот это] город!)*; оно имеет неполную парадигму (из ирреальных наклонений есть только сослагательное), практически не реализуется с полузнаменательными глаголами, свободно реализуется с субъективно-модальными формантами (*Петр — вот учитель так учитель*; *Петр — вот это да — учитель!*). Эти предложения, имеющие разную семантику, четко противопоставлены по возможностям синтаксической и смысловой сочетаемости сказуемостного компонента, ср., с одной стороны: *Петр — учитель в школе (уже шесть лет учитель / учителем, учитель географии)* и, с другой стороны: *Петр — учитель божьей милостью (учитель по призванию, настоящий учитель, именно и прежде всего учитель)*.

Чем же обусловливается различие в семантике предложений одинакового строения и одинакового лексического наполнения? Очевидно, здесь решающую роль играет уже не лексическая семантика и не грамматика (хотя эта последняя сейчас же включается как разграничитель на уровне парадигматическом и модификационном), а непосредственно самый характер конкретного информативного задания, индивидуально предопределенный «коммуникативный смысл», конкретная ситуация речи.

Проиллюстрируем соотношение в семантической структуре отдельного высказывания этих трех факторов — структурно-грамматического, лексико-семантического и ситуационного (контекстного) — на примере форм долженствовательного наклонения (в иных терминах — предложений со значением долженствовательности). Сопоставим три предложения:

(1) [Я бригадир, а] *бригадир*, известно, *за все будь в ответе.*
(2) *Ей (по ней) и жених будь красавец, и дом будь у него, и сад.*
(3) *И дом будь её, и сад* [а мы — куда хочешь].

На смысловом уровне в наиболее обобщенном виде эти предложения разграничиваются следующим образом: (1) «конкретный долженствующий субъект — состояние, в котором он должен пребывать»; (2) «конкретный предписывающий субъект — то, что им предписывается»; (3) «подразумеваемый или неопределенно мыслимый предписывающий субъект — то, что им предписывается». Во всех трех случаях есть субъект, с которым так или иначе связана семантика долженствования: тот, кто должен (1), тот, кто считает что-то должным (2) или тот, кто относится говорящим в позицию лица, считающего что-то должным (3) [29]. В первом предложении семантика долженствования отражена в самой грамматической форме предложения; во втором — в его форме в сочетании с субъектным детерминантом; в третьем — в его форме, выступающей в условиях определенного контекста (долженствование, исходящее от неназванного, но известного субъекта и внутренне отрицаемое говорящим). Таким образом, субъект, с которым связана объективированная формой предложения семантика долженствования, во всех трех случаях выражается по разному: либо только формой предложения (1), либо формой предложения в сочетании с его распространителем (2), либо формой предложения в сочетании с контекстом (противопоставление и скрытая негация). Мы видим, таким образом, что семантика предложения может складываться на основе целого комплекса различных по своей природе факторов и разных их комбинаций. Результатом взаимодействия этих факторов оказывается неодноплановость того, что можно назвать семантикой предложения. В ней обнаруживается разная степень абстракции, как бы многоступенчатость. Ср. случаи типа *Ей и жених будь красавец, и дом будь у него, и сад*, где самый общий смысл определяется как «тот, кто считает нечто должным — то, что считается должным», а на следующей ступени второй компонент разлагается на семантические элементы: «лицо — его признак» или «предмет — его наличие у лица».

Другой пример. В русском языке существуют предложения типа *Много забот*; *Мало времени*; *Масса знакомых* и т. п. (структурная схема Adv_{quant} (N_{1quant}) Gen). Семантическая структура таких предложений: «наличие, существование кого-чего-н. в некотором количестве». Здесь, таким образом, уже существуют три смысловых компонента: предметы (лица), их бытие и их количество. В показанном соположении все эти три компонента расположены на одной экзистенциальной оси: предметы (лица) существуют в оп-

---

[29] Ср. соотношения: *Я будь за все в ответе — Я должен быть за все в ответе*; *Ей и жених будь красавец, и дом будь у него, и сад — Она требует (хочет. . .), чтобы и жених был красавец. . .*; *И дом будь ее, и сад* [а мы —куда хочешь] — *Хотят (считают, требуют. . .), чтобы и дом был её, и сад. . .*

ределенном (или неопределенном) количестве. Средствами изменения словопорядка или интонационными (*Знакомых масса* или: *Масса — знакомых* [*а не друзей*]) эти компоненты семантической структуры могут быть представлены расчлененно: «лица (или предметы) как субъект существования — их существование — их количество». Инвариантом значения остается существование некоего количества кого-чего-н. Его варианты представлены соотношением (1) *Масса знакомых* — (2) *Знакомых масса (Масса знакомых* [*а не друзей*]). Различие в семантическом качестве создается здесь не грамматической организацией схемы, не лексической семантикой слов, а средствами актуального членения. Эти разные частные семантические структуры имеют свои синтаксические характеристики: в парадигме: *Было (будет) много забот — Забот было (будет) много*; в регулярных реализациях: *Стало (становится) много забот — Забот стало (становится) много.*

Приведенные примеры показывают, что семантика предложения не есть явление одноплановое. Можно говорить, по-видимому, о семантической структуре предложения как явлении языковом — она создается всем тем комплексом факторов, о котором говорилось в связи с анализом номинативных предложений, — и как о явлении речевом, возникающем в употреблении и имеющем свои собственные показатели (см. выше о предложении типа *Петр — это учитель!*). Иными словами, семантическая структура как определенная языковая категория имеет свои возможности функционирования. Поэтому актуальной оказывается задача не только инвентаризации семантических структур самих по себе, но и изучения возможностей их переосмысления в определенных речевых ситуациях. Так с другой стороны мы подходим к вопросу о непосредственном соотношении предложения и внеязыковой ситуации.

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:

1. Выдвигая те или иные критерии для определения и разграничения семантических типов предложений, на первых ступенях анализа не следует забывать о том, что эти критерии должны быть в каком-то смысле универсальны. Нельзя избирать наиболее ясные, «удобные» типы предложений и на них строить общую теорию. Так, конструируя категории семантической структуры предложения, вряд ли следует опираться только на глагольные предложения, где вычленяются субъект, действие, объект и их определители и за которыми легко просматривается «внеязыковое положение вещей». Для того чтобы определить самую природу и специфику категории семантического уровня в синтаксисе, нужно посмотреть, каковы семантические «составляющие» предложений самых разных грамматических типов.

2. Чем дальше мы отходим от формального синтаксиса в сферу семантики, тем многообразнее оказываются те компоненты, из которых составляются категории соответствующего уровня. Это

и собственно грамматические отношения в схеме, и синтаксические потенции предложения, и лексическая семантика входящих в него слов. Взаимодействием всех этих факторов создаются категории, которые не всегда поддаются строгому и точному разграничению.

3. Разграничение предложений разных семантических структур обязательно должно проверяться и корректироваться их грамматическими характеристиками. Это естественно, так как семантика не существует сама по себе, без грамматического оформления; а таким оформлением и является все синтаксическое поведение предложения. Эта проверка должна идти по линии парадигматических свойств (набор форм и их вариантов), реализаций, синтаксических и семантических дистрибутивных возможностей, синтагматических связей.

4. Внимание к семантической стороне предложения привело некоторых современных авторов к утверждению, будто бы семантика и есть грамматика. По мысли этих авторов, абстрактных образцов предложений не существует в природе, и предложение сразу складывается из «кусочков смысла» в соответствии с требованиями информации. Такие утверждения на практике означают отказ от тезиса об асимметрическом дуализме языкового знака. Между тем очевидно, что вся область семантической структуры предложения относится к внутренней стороне предложения, к сфере его значений. Как и всякое значение, семантика предложения имеет реальные средства своей объективации. Однако это не значит, что проникновение в сферу «смысловых форм» предложения может хотя бы в какой-то степени поколебать тезис о его грамматической природе, об абстрактном характере его моделей и, следовательно, об асимметрии отношений между означающим и означаемым.

5. В описании синтаксической системы языка семантический аспект имеет большое значение. Без учета семантического фактора многие грамматические характеристики, корректные для собственно грамматической схемы, оказываются максимально обобщенными, и эта обобщенность часто воспринимается как неточность. Грамматические характеристики структурной схемы предложения должны быть соотнесены с разными семантическими типами предложений, реализующих эту схему, и дифференцированы на основе этого соотнесения.

Г. А. ЛИЛИЧ

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК-ПОСРЕДНИК ДЛЯ ЧЕШСКИХ ПЕРЕВОДОВ НАЧАЛА XIX ВЕКА

В период становления чешской национальной литературы исключительно большое значение имели художественные переводы, появившиеся в начале XIX в. По существу в них создавалась языковая основа для чешской поэзии и прозы нового времени. «Для перевода эпохи национального возрождения, — отмечает Иржи Левы, — характерно, что он еще не вполне обладает функцией эстетической. . . Перевод не стремится быть автономным художественным произведением, а в первую очередь служит созданию средств для развития чешской литературы» [1]. Роль переводов как своеобразной лаборатории художественного мастерства отмечается и для других литератур на определенном этапе их развития [2]; для чешской же литературы начала XIX в. она особенно велика, так как литературное развитие в этот период определялось стремлением «доказать, что чешский язык, расцениваемый тогда как важнейший национальный признак, способен сравниться с языком развитых литератур» [3].

Особое место среди художественных переводов эпохи чешского национального возрождения занимают работы Йозефа Юнгмана: «Потерянный рай» Джона Мильтона [4] и «Атала» Ф. Шатобриана [5]. В этих переводах воплощена языковая и художественная программа Й. Юнгмана, которую с энтузиазмом поддерживали его многочисленные сторонники из рядов чешских «будителей». Историки чешской литературы подчеркивают выдающееся значение юнгмановского перевода «Потерянного рая» для становления

---

[1] J. Levý. České theorie překladu. Praha, 1957, стр. 75.

[2] Ср., например: Б. Томашевский. Пушкин и французская литература. — «Литературное наследство», т. 31—32. М., 1937, стр. 11—12; Ю. Д. Левин. Об исторической эволюции принципов перевода (К истории переводческой мысли в России). — В сб.: «Международные связи русской литературы». М.—Л., 1963, стр. 5—63.

[3] «Dějiny české literatury», II. «Literatura národního obrození». Praha, 1960, стр. 9.

[4] «Jana Miltona Ztracený ráj, přeložený z anglického jazyka do českého». Praha, 1811.

[5] «Atala aneb láska dvou divochů na poušti, přelozená z francouzského do českého jazyka» (Spis pana F. Chateau-Brianda). Praha, 1805.

чешской национальной поэзии, а переводы «Аталы» — для развития «высокой» прозы.[6] Оба текста стали одним из важных источников выразительных средств как для последующих переводчиков, так и для авторов оригинальных произведений молодой национальной литературы [7].

Несмотря на то что выдающиеся творения Юнгмана-переводчика отнюдь не были обойдены вниманием исследователей, как литературоведов, так и лингвистов [8], остается еще немало неизученных сторон этого подлинного переводческого подвига. В частности, требует специального изучения вопрос о том, каковы источники и способы создания многочисленных лексических и семантических неологизмов, использованных Юнгманом для обозначения разнообразных отвлеченных понятий и тонких стилистических оттенков, которые содержались в переводимых произведениях, относящихся к высшим достижениям современной ему литературы. В научный оборот вошла, в основном, лишь та лексика, которая самим Юнгманом обозначена как необычная и требующая пояснения для читателя: в «Атале» она снабжена разъяснительными сносками внизу страниц, а в «Потерянном рае» вынесена в специальный словарик-приложение («Poznamenání slov pozatmělejších»). Среди этих слов выделяются как неологизмы (в том числе заимствования из польского и русского языков), так и слова, известные Юнгману из памятников древнечешской литературы, но вышедшие к тому времени из общелитературного употребления [9]. Функция этих слов выходит за рамки простой номинативности: они служат и средством создания особого поэтического языка, резко отличного от повседневной речи [10].

Для изучения лексических средств юнгмановских переводов важное значение имеет установление возможных литературных посредников этих переводов.

Литературное посредничество в переводческом деле — явление неоднородное; неодинаковы и причины его появления. Ве-

---

[6] F. Vodička. Josef Jungmann. — В кн.: «Dějiny české literatury», II, стр. 241.

[7] Ср. оценку языка переводов, данную В. Вондраком: «Перевод «Потерянного рая» поднял поэтический язык на небывалую до этого высоту и стал поэтому на целые десятилетия образцом для чешских поэтов. Очень свежим и смелым языком выделяется также вышедший ранее (1805) перевод «Аталы» Шатобриана» (V. Vondrák. Vývoj současného spisovného českého jazyka. Brno, 1926, стр. 48).

[8] См. библиографию в кн. «Dějiny české literatury», II, стр. 253.

[9] См.: V. Vondrák. Указ. соч., стр. 48—50; B. Havránek. Vývoj spisovného jazyka českého. Československá vlastivěda, řada II. Praha, 1936, стр. 89—93; F. Vodička. Počátky krásné prózy novočeské. Praha, 1948, стр. 67—74.

[10] Ср. рассуждение Й. Юнгмана в письме А. Марку (1811 г.): «Прибавляю и то, что существует некий поэтический язык, стоящий сам по себе, и кто его не чувствует и не владеет им, далек от того, чтобы быть настоящим поэтом» («Časopis musea království českého», 1881, стр. 520).

роятно, более типично посредничество, обусловленное тем, что на каком-то этапе затруднен или даже невозможен прямой перевод того или иного произведения, например, из-за малой распространенности и слабого знания языка, на котором оно создано [11]. Так, для чешских переводов начала XIX в. характерно немецкое «промежуточное звено» [12], естественное в условиях немецко-чешского билингвизма, который был распространен в чешском обществе того времени.

Однако обращение к переводам-посредникам могло вызываться и совсем другими причинами, не связанными со стремлением автора глубже проникнуть в переводимый текст, опираясь на тот язык, которым он владеет в большей степени. В частности, чешские переводчики периода национального возрождения, решавшие в первую очередь задачу обогащения родного языка, обращались к славянскому посредничеству с целью облегчить себе выполнение этой главной задачи. Родственный язык давал им обильный материал, на который они опирались в собственном словотворчестве и из которого черпали прямые заимствования. Начало использованию славянских переводов-посредников как вспомогательного средства при переводе с западноевропейских литератур положил Антонин Ярослав Пухмайер, который опирался на польские посредники, переводя из Лафонтена и Монтескье. В предисловии к одному из переводов он так обосновывает свой подход: «Мы от этого получаем двойную пользу: во-первых, переводя что-нибудь с иностранного языка на наш чешский, мы сбережем половину усилий, имея под рукой перевод польский, а во-вторых, мы так будем учиться более совершенным славянским способам выражения, не опасаясь испортить дело неуклюжей онемеченной «чещиной»» [13].

Исследователями установлено и обращение Й. Юнгмана к переводам-посредникам при работе над мильтоновским «Потерянным раем». Уже Э. Халупный [14] указал на два немецких посредника и один польский; М. Шийковский [15] подробно изучал отношение юнгмановского перевода к польскому [16].

---

[11] Ср.: П. Р. Заборов. «Литература-посредник» в истории русско-западных литературных связей XVII—XIX вв. — В сб.: «Международные связи русской литературы». М.—Л., 1963, стр. 64—85.

[12] J. Levý. Указ. соч., стр. 77.

[13] Цит. по: J. Vlček. Kapitoly z dějin české literatury. Praha, 1952, стр. 30.

[14] E. Chalupný. Jungmannův překlad «Ztraceného ráje». «Časopis Musea království českého», 1912, стр. 387—393.

[15] M. Szyjkowski. Polská účast v českém národním obrození, I. Praha, 1931, стр. 137—233.

[16] («Miltona. . . Raj Utracony, Ksiag Dwanaście, z angielskiego, przekładania Jacka Przybylskiego». W Krakowie, 1791). В дальнейшем цитаты из польского перевода даются по этому изданию; ссылки на него даются в тексте с обозначением страницы в скобках.

Л. Цейп [17] обобщил результаты вышедших ранее исследований и проделал сопоставление пяти текстов (английского оригинала, перевода Й. Юнгмана, двух немецких посредников и одного польского). Ученый пришел к выводу, что Юнгман прибегал к комбинированному использованию трех посредников; при этом немецкие тексты служили ему для более точного понимания и передачи смысла оригинала, а польский был опорой при словотворчестве (отсюда большое количество полонизмов в языке перевода).

В лексике юнгмановского перевода есть и немало русизмов; на русское происхождение некоторых слов указывает сам Юнгман в словаре-приложении. Например: «cár. . . слово, от татар к русским перешедшее или, может быть, образованное стяжением слова Caesar; . . .příroda (рус. природа). . . vzduch — из русск. воздух. . .» [18] Наличие этих и целого ряда других русских элементов в лексике перевода заставило Л. Цейпа предположить и возможность обращения Юнгмана к русскому посреднику [19]. Сопоставление переводов поэмы Дж. Мильтона на русский язык, опубликованных до создания перевода Йозефа Юнгмана [20], показало определенную зависимость чешского текста от русского перевода 1777 г., выполненного В. П. Петровым [21]. Этот перевод неполный (из двенадцати песен поэмы переведены три первых), прозаический, язык его перегружен старославянизмами; вместе с тем он надежен в смысле верности оригиналу. В. П. Петров, придворный поэт Екатерины II, имел возможность серьезно изучить английский язык, находясь в течение нескольких лет в Англии. В отличие от ряда других, данный перевод сделан не через французское посредство, а прямо с подлинника.

Таким образом, к трем вспомогательным текстам, комбинированное использование которых Юнгманом хорошо показано в работе Л. Цейпа, следует прибавить и четвертый, русский текст. Имея возможность опереться на результаты Л. Цейпа относительно связи юнгмановского перевода с немецкими посредниками, а также соотношения этих текстов с оригиналом, мы провели в свою оче-

---

17 L. Cejp. Jungmannův překlad Ztraceného ráje. — В кн.: Josef Jungmann. Překlady, L. Praha, 1958, стр. 360—430.

18 Josef Jungmann. Překlady, I. Ztracený ráj. Praha, 1958, стр. 337—341. В дальнейшем все цитаты из юнгмановского перевода «Потерянного рая» даются по этому изданию; ссылки на него даются в тексте с обозначением страницы в скобках.

19 Л. Цейп указывает на русский перевод 1780 г., с которым он, однако, не имел возможности сопоставить текст Юнгмана (L. Cejp. Указ. соч., стр. 386). В действительности между этими переводами отсутствует какое бы то ни было языковое сходство.

20 См. обзор русских переводов «Потерянного рая» в работе: Ю. Д. Левин. Английская поэзия и литература русского сентиментализма. В сб.: «От классицизма к романтизму». Л., 1970, стр. 195—297.

21 «Потерянный рай. Поема Иоанна Мильтона». Переведена с английского. СПб., 1777. В дальнейшем цитируется это издание, ссылки на него даются в тексте с обозначением страницы в скобках.

редь сопоставление чешского, польского и русского текстов. Приведем здесь некоторые примеры, показательные с точки зрения переводческого метода Юнгмана.

Обращает на себя внимание значительное сходство в выборе лексических средств между русским и польским переводами [22]. Ср., напр.; Петров: противу нашего величайшего сопостата, который днесь торжествует, и в избытке радости, яко тиран, един одержит владычество неба (6).

Przybylski: Z wielkim Nieprzyjacielem... który dziś tryumfuje, a w zbytku radości sam dzierzy Tyrannią Pan Niebeskich włości (10).

Сравнение данных контекстов с соответствующим чешским дает наглядное представление о подходе Юнгмана-переводчика. Ср. чешское соответствие: s velkým vrahem svým // ježto nyní i vítězném plésání // samodržec, vládne nebes královstvím (24).

Во-первых, примечателен пропуск в чешском переводе слов, отвечающих англ. the tyranny, русск. яко тиран, польск. Tyrannią. Л. Цейп [23] убедительно объясняет это стремлением Юнгмана избежать (вероятно, по цензурным соображениям) некоторых политических терминов, которые могли иметь актуальную окраску в условиях Габсбургского режима.

Во-вторых, характерно употребление существительных vrah и samodržec. Samodržec — русизм, но появление его в данном контексте — не прямой перенос из русского посредника: здесь это существительное инспирировано русским сочетанием «един одержит (владычество неба)» и польским sam dzierzy. В то же время в других случаях русскому «самодержец» соответствуют в юнгмановском тексте иные лексические средства. Ср.: наш ненавистный самодержец (45) — mrzutý pán naš (50); восстал самодержец (54) — vstane král (56); по зову великого их самодержца (16) — na hlas krále velkéno (31). Очевидно, что лексическое заимствование было для Юнгмана процессом отнюдь не механическим, причем среди факторов, обусловливающих выбор слова, важную роль играли и соображения размера и ритма стихотворного перевода.

Нет в данном русском контексте и прямого соответствия чешскому vrah, хотя из двух десятков его употреблений в первых трех песнях юнгмановского перевода в девяти случаях они отвечают слову «враг» в русском тексте. Ср., например: kdo premohl mocí, premohl vraha odpolu (38) — побеждающий силою, получает половину победы над врагом своим (39); ale tento můj, z mých beder pošlý vrah (65) — но оный мой утробовоспитанный враг (66). В некоторых случаях можно наблюдать тройное соот-

---

[22] Учитывая, что перевод В. П. Петрова относится к 1777 г., а перевод Я. Пшибыльского — к 1791 г., можно сделать предположение о том, что польский автор был знаком с русским переводом и опирался на него при работе над первыми тремя песнями поэмы; но этот вопрос требует специального изучения.

[23] L. Cejp. Указ. соч., стр. 398—399.

ветствие: в русском, польском и чешском текстах. Ср.: противу толь великого врага (43) — przeciw mocnemu wrogowi (42) — mohutného vraha (49); всех моих врагов (88) — wszystkie wrogy (81) — veškeré své wrahy (81).

К началу XIX в. чешское существительное vrah уже не употреблялось в значении неприятель, выступающем в приведенных примерах. Это значение, свойственное слову в древнечешском языке, впоследствии сузилось (vrah — убийца). Здесь же Юнгман оживляет архаическое значение существительного, обогащая таким образом синонимические ресурсы литературного языка (nepřítel — vrah).

Несомненное значение для Юнгмана имел тот факт, что оживление старого значения в чешском слове было в то же время восстановлением утраченного семантического тождества русского, польского и чешского слов.

Подобно русскому и польскому переводчикам, Юнгман употребляет слово vrah и в значении 'дьявол, сатана'. Ср.: Ledva dokonal, i pílí ouhlavní k břehu jíti vrah (28) — Едва он скончал свои глаголы, как начальник врагов двигнулся ко брегу (13) (польское соответствие — Arciwróg). Данное значение слова представлено и в Словаре Юнгмана [24], но документировано только одним, более поздним примером — поддельной (приписанной) глоссой из памятника XIII в. Mater verborum (wrah, diabolus. 76ᵇ3) [25]. Далеко не всегда усилия Юнгмана оживить то или иное устаревшее слово или значение увенчались прочным успехом. В частности, и существительное vrah, а также его производное vražda остались в чешском языке в значениях 'убийца', 'убийство'. В данном случае более важным, вероятно, оказалось то, что они входили в синонимические ряды mordéř — vrah, mord — vražda, и в ходе пуристических замен германизмов исконно чешскими словами стали основными наименованиями данных понятий [26].

Сопоставим еще некоторые отрывки рассматриваемых переводов. *Петров*: мрачный беспредельный океян, без конца, без меры; где долгота, широта, высота, время и место теряются (71). *Przybylski*: Widać czarny Ocean niegraniczony//Nie mający ni kręsów, ni miar z żadnej strony//Gdzie się szerz, dłuż, wysokość, czas i miejsce gubią (64).

Jungmann: mrákotný a nezměřený okeán,//bez břehu a beze dna, kde šíř i dýl,//výš i čas i prostranství se ztracují (68).

---

[24] J. Jungmann. Slovník česko-německý d. V. Praha, 1839, стр. 408 (В дальнейшем — JS).

[25] Ср.: «Чешские глоссы в Mater verborum. Разбор А. О. Патеры и дополнительные замечания И. И. Срезневского». СПб., 1878. Раздел Б. Поддельные и вновь приписанные глоссы, стр. 79.

[26] См.: B. Havranek. Указ. соч., стр. 96.

Русский текст подсказал чешскому переводчику формы mrákotný (ср. мрачный), okeán (ср. океян)[27]. Под влиянием польских форм szerz, dłuż Юнгман употребляет šíř, dýl, а также výš (русск. высота, польск. wysość). Эти и подобные им безаффиксные существительные, известные и в языке древнечешской литературы, очень охотно использовались авторами периода национального возрождения в качестве поэтических синонимов более обыденных форм с суффиксом -ka (šířka, výška, dýlka/délka).

Еще один пример знаменательных совпадений между тремя переводами.

Петров: В сию безобразную бездну, чрево природы, и может быть гроб ее, где не было ни моря, ни брегов, ни воздуха, ни огня, но все сии вещи в их первородных причинах безразборно смешенны лежали (71—72).

Przybylski: Po tej dzikiej Przepaści, gdzie państwo bez rządu// Ni ognia, ni powietrza, ni morza, ni lądu//nie ma, po tej Macicy Natury lub Grobie, gdzie wszystkie jej nasione są przeciwne sobie// W swych brzemiennych przyczynach (65).

Jungmann: U té divé propasti, té dělohy || přírody a snad i hrobu jejího, kde ni zem, ni mok, ni vzduch, ni oheň jest,//nébrž vše to v těhotných svých přičinách//pomíšeno zmateně (69).

При общем лексическом сходстве трех сравниваемых текстов, пожалуй, более тесная близость имеется между русским и чешским переводами (прежде всего потому, что польский переводчик иногда распространяет текст для достижения рифмы; ср. gdzie państwo bez rządu).

Большой интерес представляет употребление Юнгманом существительного příroda, соответствующего в данном контексте русскому «природа» и польскому natura. В словаре-приложении к переводу мы читаем: «příroda (rus. priroda) — přirození, natura»[28]. На этом основании слово příroda всегда трактовалось как русизм в чешском литературном языке. Между тем выяснилось, что оно уже было зафиксировано в немецко-чешском словаре К. Тама (1788 г.) как перевод немецкого die Natur [29] и даже еще раньше — в памятниках XIV—XV вв [30]. Таким образом, и здесь Юнгман оживляет архаизм (вероятно, под влиянием русского текста), что дает ему возможность пополнить синонимический ряд přirození — přirozenost—natura еще одним словом. В целом этот ряд соответствует русскому *природа — естество—натура*, функционирующему в переводе В. Петрова.

---

[27] В словаре-приложении Юнгман указывает эту форму: okeán — lépe než oceán; moře veliké (стр. 338).

[28] J. Jungmann. Překlady, I, стр. 339.

[29] J. Zima. Jungmannův překlad Ataly. — «Slovo a slovesnost», roč. XVII, 1956, стр. 105.

[30] В. П. Андел. Про один факт з історії чеської лексикології. — «Вісник Львів. держ. у-ту, сер. філолог.», 1969, вип. 6, стр. 15—18.

Обратимся к слову vzduch, которое употреблено здесь впервые в чешском языке. В словаре-приложении Юнгман отмечает: «vzduch — из русск. воздух, Luft. Это словечко использовано в песне II «ради нужной там краткости»» [31]. Действительно, слово vzduch удачно зачленяется в ряд соседних односложных существительных (ni zem, ni mok), но гораздо важнее, что этому, единственному в переводах Юнгмана, применению слова суждено было стать началом активного употребления в чешском литературном языке русизма vzduch, в течение нескольких десятилетий вытеснившего исконно чешское обозначение данного понятия — povětří. Быстрому усвоению нового слова способствовал, вероятно, ряд факторов, в том числе и его преимущество перед существительным povětří как удобной производящей основы. Видимо, стремясь избежать словообразовательных трудностей, связанных со словом povětří, Юнгман в качестве его синонима употреблял в своем переводе существительное vítr 'ветер' и производные от него. Ср. соответствующие русские и чешские тексты: нежный усладительный воздух будет дышать своим бальсамом (51) — libý, příjemný větřík. . . milým bude dmýchati balšámem (54); распростерет свой воздушный полет (51) — větrným bral se letem (54). Синонимическое использование слов vítr и povětří было известно чешскому языку старшего периода; в Словаре Юнгмана, в частности, приведен пример из Яна Амоса Коменского [32]. В таком употреблении смыкались семантические признаки 'воздушная струя' и 'воздушная среда', свойственные обоим существительным. Между тем, мильтоновский текст, изобилующий описаниями воздушного и надвоздушного пространства, требовал не сближения, а расчленения понятий 'ветер' и 'воздух'. Это хорошо чувствовал переводчик, которому иногда приходилось выпускать наименование воздуха, если в ближайшем контексте оказывалось слово, обозначающее ветер, т. к. оба понятия становились недостаточно противопоставленными друг другу. Ср., например, у В. Петрова: и в вихре проезжают воздух (57); у Й. Юнгмана: a na vichru jezdí (58).

Неудивительно, что неологизм Юнгмана был сразу же подхвачен в научной литературе, где в тот период происходило создание чешской терминологической базы: если povětří кроме значения 'воздух' имело и ряд других ('погода', 'ненастная погода', 'буря'), то слово vzduch было заимствовано как однозначное, что особенно важно для термина. На базе этого слова было образовано и несколько производных терминов (см. в Словаре Юнгмана: vzduchoměřský, vzduchoměřství, vzduchopráznina, vzduchoprázdný, vzduchopudný, vzduchotokoměrský, vzdušina, vzdušničnatý) [33].

---

[31] J. Jungmann. Překlady, I, стр. 341.
[32] JS, d. V, стр. 408.
[33] Там же.

Примеры влияния славянских посредников на образование неологизмов или оживление архаизмов в языке чешского перевода «Потерянного рая» весьма многочисленны[34]. Отметим еще некоторые из неологизмов[35]: noci bezhvězdné (86) — беззвездныя нощи (95); o blaženosti a bídě konečné (59) — о блаженстве и конечном бедствии (58); jatí harpynohých od vzteklic (60) — привлачимы Гарпиеножными фурьями (59); žádného z všech těch nebestekoucích bojovn-íků (55) — никто из сих... небовоюющих витязей (52); z tvrdé skály diamantové, neproniknutelné (61) — из адамантовой скалы, непроницаемые (61); v něm otec veškeren se skvěl zobrazený podstatně (78) — в нем весь его отец возблистал ипостасне изображенный (84), v moři ... od Trinakrí šumných břehů (62) — в море, разделяющем Калабрию от шумливого Тринакрии брега (61).

В приведенных случаях в польском тексте отсутствует опора для рассматриваемых слов, однако можно заметить отчетливую тенденцию переводчика предпочитать при выборе слов те, основа которых повторяется в обоих посредниках. Ср., например: k kouzelnicím do plesu laponským (62) — do Lapońskich Czarownic pląsów (57) — плясать с Лапландскими чародеицами (61); krajina ... ubitá bouří vichřice a hradu hrozného (60) — i grady spadające (55) — биению вихря и лютого града (59); zvaliště (50) — zwalisko (55) — развалины (59)[36].

Любопытной иллюстрацией того, до каких пределов Юнгман доводил метод комбинированного использования материала переводов-посредников, может служить следующий пример. Юнгмановскому неологизму spolník (věrných přátel svých, spolníků a druhů — 28) отвечает в русском тексте «сообщник» (верным другам, сообщникам урона — 12), а в польском wspołca (wiernych przyjaciół, wspołców — 15). Таким образом, при создании слова Юнгман использовал основу польского и суффикс русских слов-соответствий.

Образованием новых лексем и актуализацией устаревших слов и значений не ограничивается та огромная филологическая работа, которую проделал Юнгман, прибегая к славянским текстам-посредникам. Не меньшее значение имело создание новых языковых метафор, переносное употребление слов, применяемых ра-

---

[34] Некоторые из русизмов приведены в работе: Г. А. Лилич. Об одном источнике русских заимствований в чешской поэтической лексике. В сб.: «Исследования по эстетике слова и стилистике художественной литературы». Л., 1964, стр. 140—148.

[35] К неологизмам мы относим слова в том случае, если они представлены в Словаре Юнгмана только данным или другими, более поздними употреблениями. Признаком авторского неологизма может служить и отсутствие слова в Словаре Юнгмана (при определении юнгмановских неологизмов следуем подходу А. Едлички: A. Jedlička. Josef Jungmann a obrozenská terminologie literárně vědná a linguistická. Praha, 1948, стр. 35—36).

[36] Приведенные здесь слова ples в значении 'пляска, танец', hrad как наименование вида атмосферных осадков и zvaliště 'развалины' включены Юнгманом в словарь-приложение как непонятные.

нее в прямом значении, а также обогащение слов новыми оттенками смысла. Ср., например, смелое метафорическое употребление прилагательных bledý, křídlatý: měsíc... blíže k zemi svůj bledý kloní běn (42) — луна... ближе к земле направляет свое бледное течение (35); jak kdy hon skrz pouště spěchem křídlatým ...honí Arimaspa (70) — якоже Гриф крылатым бегом сквозь пустыню... гонит в след Аримаспа (73).

В целом опора на польский текст проявилась у Юнгмана в более значительной степени, чем на русский, что оправдано и большей близостью между польским и чешскими языками. Тем знаменательнее те отклонения от польского вспомогательного текста в пользу русского, которые сознательно допускает чешский переводчик. Назовем здесь только одну причину такого рода отклонений: последовательное стремление Юнгмана по возможности избегать в переводе слов с иноязычной неславянской основой. Ср., например:

В. Петров:	*Я. Пшибыльский:*	*Й. Юнгман:*
тосканский мудрец (13)	kunsztmistrz (16)	toškánský mudřec (29)
стражи (52)	orszaki (49)	stráže (55)
безупадны (35)	nie po szwanku (35)	něz před padem (44)
силою (46)	gwałtem (39)	silou (47)
каждый завор, каждый заклеп (70)	zapory i rygle (64)	všecky závory a zápory (68)

В этом смысле характерно комбинированное использование словообразовательных морфем польского и русского лексических соответствий в следующем примере:

В. Петров:	*Я. Пшибыльский:*	*Й. Юнгман:*
твердую землю (72)	ugruntowaną zemią (65)	utvrzenou zemi (69)

Вероятно, в этом же плане следует рассматривать и замену Юнгманом названия Каспийского моря; ср. у В. Петрова: два черные облаки... сближаются гремя над Каспием (64), у Я. Пшибыльского: dwie brudne chmury nad Morzem Kajspijskiem (59), у Й. Юнгмана: dvě černá mračna... hřmíce nad mořem se sejdou Chválenským (63). Юнгман оживляет здесь старое русское название моря (Хвалынское), известное ему из Истории Н. М. Карамзина и древних чешских памятников [37].

Мы не рассматриваем здесь вопрос о влиянии русского текста-посредника на грамматическую сторону чешского перевода, так

---

[37] См. обширную документацию слова Chvalenský (Chvalinský) в Словаре Юнгмана (JS, díl I, 1835, стр. 836).

как он требует особого обсуждения. Укажем лишь на то, что морфологические и синтаксические русские элементы в языке Юнгмана также служили стилистической задаче: созданию необычного, торжественно-поэтического строя речи. Одним из средств для достижения данной цели была обязательная архаизация, которая осуществлялась различными способами [38]. В частности, Юнгман переносил в свой перевод некоторые русские (или старославянские) конструкции и формы, подобные или тождественные древнечешским. Ср., например, употребление под влиянием русского текста устаревшей формы инфинитива, которая к XIX в. была уже вытеснена новой — dosáhnouti: dosíci moku vnadného (60) — досящи прелестныя струи (59); архаичную для чешского языка конструкцию с род. падежом существительного: dríve slunce bylo jsi, dříve nebes (74) — прежде солнца, прежде небес ты был (79); оживление древней конструкции с повторяющимся союзом ni: kde ni zem, ni mok, ni vzduch, ni oheň jest (69) — где не было ни моря, ни брегов, ни воздуха, ни огня (71) и т. п. Любопытна созданная Юнгманом конструкция «родительного самостоятельного», импульсом для которой послужила, видимо, форма дательного самостоятельного, не раз встречающаяся в сильно славянизированном тексте перевода В. П. Петрова. Ср. у Петрова: Тако вещающу богу амвросийское благовоние наполнило все небо (84); у Юнгмана: Takto mluvícího boha rozsel se po vsem nebi zápach ambrosiový (78). В авторских комментариях к переводу дано объяснение этой формы: «Ген. абсол., т. е. Когда так говорил бог» [39]. При объяснении такой же конструкции, употребленной в другом месте перевода, Юнгман отмечает: «ген. абсол., который использован здесь на пробу» [40].

Если данная «проба» не удалась Юнгману, и предложенная конструкция не привилась в чешском языке, то совсем иная судьба у другого его грамматического нововведения — членной формы действительных причастий прошедшего времени на -sí (-vsí). Эта форма, впервые употребленная Юнгманом в переводе «Потерянного рая» на месте соответствующих форм в русском посреднике, со временем стала прочным достоянием чешского литературного языка [41].

В тесной связи с созданием перевода «Потерянного рая» находится другое крупное литературное предприятие Й. Юнгмана — перевод повести Ф. Шатобриана «Атала». Хронологические рамки этих трудов почти совпадают: над «Потерянным раем» Юнгман работал в период с 1801 по 1804 г., а опубликовал его в 1811 г.,

---

[38] См. B. Havránek. Указ. соч., стр. 96.
[39] J. Jungmann. Překlady, I, стр. 331.
[40] Там же, стр. 330.
[41] См. Об этом: Г. А. Лилич. К вопросу о взаимодействии чешского и русского литературного языков. — В сб.: «Славянское языкознание». Л., 1962, стр. 34—43.

первое же издание перевода «Аталы» состоялось в 1805 г. Исследователи не раз задавались вопросом, почему были избраны Юнгманом для перевода именно эти, столь различные в идейно-художественном отношении произведения. «Общий знаменатель» обоих юнгмановских переводов установил Ф. Водичка в своем глубоком исследовании, посвященном начальному этапу развития чешской художественной прозы нового времени [42]: им был особый поэтический язык, к созданию которого стремился Юнгман и который, по его убеждению, должен быть присущ не только стихотворному, но и прозаическому творчеству. С этой точки зрения выбор для перевода ритмической прозы Шатобриана весьма удачен, если учесть богатство и разнообразие ее лексических средств — синонимики, метафор, эпитетов, необычных словосочетаний и т. п.

Общность творческих задач обусловила и общий подход Юнгмана к работе над обоими переводами. В частности, обращает на себя внимание значительное сходство в словоупотреблении автора, общая денденция к архаизации языка, стремление создать «некий общеславянский запас слов» [43].

Так же, как при изучении перевода «Потерянного рая», и здесь встал вопрос о возможном литературном посредничестве. В предисловии к первому изданию «Аталы» Юнгман указывает на существование к тому времени трех итальянских, одного немецкого и двух русских переводов повести [44]. В результате тщательного анализа текстов Й. Ш. Квапил обнаружил, что Юнгман имел в своем распоряжении упомянутый им в предисловии немецкий перевод (выполненный К. Ф. Крамером и опубликованный в 1802 г.), известное влияние которого сказывается на языке перевода Юнгмана [45].

Высказывалось предположение и о польском посредничестве при переводе «Аталы», так как в лексике имеется немало явных полонизмов. Однако, М. Шийковский указал на то, что первый польский перевод «Аталы» относится уже к 1817 г.[46]

Наконец, допускалось и существование русского перевода-посредника [47]. Й. Ш. Квапил даже сопоставил юнгмановский текст с двумя более ранними переводами «Аталы» на русский язык: В. Измайлова (1802 г.) и анонимным, без указания года издания и обозначенным инициалами И. . . С. . . (издатель). По мнению

---

[42] F. Vodička. Počátky krásné prózy novočeské. Příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Praha, 1948.
[43] F. Vodička. Указ. соч., стр. 76.
[44] J. Jungmann. Překlady, II. Praha, 1958, str. 9. Все цитаты из юнгмановского перевода «Аталы» даны по этому изданию; ссылки на него даются в тексте с обозначением страницы в скобках.
[45] J. Š. Kvapil. Jungmannovy překlady z francouzských spisovatelů. — В кн.: J. Jungmann. Překlady, II, стр. 450.
[46] M. Szyjkowski. Указ. соч., стр. 193.
[47] F. Vodička. Указ. соч., стр. 62.

исследователя, эти переводы не были использованы Юнгманом в качестве вспомогательного текста [48].

Между тем выяснилось, что существуют еще два русских перевода «Аталы», более ранних по сравнению с юнгмановским: анонимный («Атала, или Любовь двух диких в пустыне». Сочинение Франциска Августа Шатобриана. Пер. с фр. Н. Р. Москва, 1801) и перевод И. Мартынова («Атала, или Любовь двух диких в пустыне». Соч. Ф. А. Шатобриана. Пер. с фр. Иван Мартынов. Смоленск, 1803). Эти переводы настолько близки между собой, что могли бы быть двумя редакциями одной и той же работы. Как показало сопоставление текстов, Юнгман использовал указанные русские переводы в качестве опорного средства, попеременно обращаясь к каждому из них [49].

Проиллюстрируем это хотя бы двумя примерами.

Chateaubriand [50]: Il fut un temps, répliquai je avec des larmes, que j'étais aussi porté, dans une peau de castor, aux épaules d'une mère (22).

Перевод Н. Р.: Было время, ответствовал я со слезами, как я носим был в коже бобровой на раменах матери (31).

Перевод Ив. Мартынова (в дальнейшем — И. М.): Было время, возразил я со слезами, что и меня носила мать моя в *бобровых кожах* на плечах своих (37) [51].

Перевод Юнгмана: «Ach, bylo», odpovím slzavě, «že i mne nosila v koži bobrové na plecích matka má (18).

Это предложение типично для языка юнгмановского перевода «Аталы» особенностями своего построения: местом сказуемого, которое, вопреки литературной традиции того времени, не замыкает предложения; постпозицией согласуемого определения (v koži bobrové, matka má). Образец для последней черты Ф. Водичка справедливо видит в библейских текстах [52]; но очевидно, что она была поддержана и русскими соответствиями. Еще один пример: *Chateaubriand*: un geste vers le soleil couchant (25). Перевод Н. Р.: телодвижение, обращенное на захождение солнца (36). Перевод И. М.: телодвижения простирались к заходящему солнцу (42). Перевод Юнгмана: tu tváření obráceno k slunci zapadajícímu (19).

---

[48] J. Š. Kvapil. Указ. соч., стр. 451 и след.

[49] Остается загадкой, каким путем обе названные книги попали к Юнгману. Во всяком случае, это нужно считать большой случайностью, т. к. известно, что в то время русские книги проникали в Чехию с немалыми трудностями и нерегулярно (См.: А. С. Мыльников. Русская книга в Чехии в период национального возрождения страны. Книга. Исследования и материалы, сб. V. М., 1961, стр. 271—293).

[50] Цитаты даны по изданию (страницы его указаны в тексте в скобках): Chateaubriand. Atala. René. Paris. Librairie de la bibliothèque nationale, 1911.

[51] Подчеркнуты слова, послужившие моделью при выборе чешского выражения.

[52] F. Vodička. Указ. соч., стр. 84.

Слово tvaření известное Юнгману из словаря Росы[53], было им уже употреблено в «Потерянном рае». Это далеко не единственный случай совпадения лексических средств обоих переводов. Так, не раз встречается в «Атале» существительное příroda, которое Юнгман объясняет в сносках словом přirození. Как правило, в русских посредниках имеется опора для этого употребления. Ср.: Zlořečený ten Bůh, který protivuje se přírodě (42) — Погибни бог, противящийся Природе! (Н. Р., 133); řeky vystouplé, hory bučící, hrozná a výtečná přírodo (32) — разлившаяся река, ревущие горы, ужасная и величественная Природа! (И. М., 110).

Как и в «Потерянном рае», русскому *блаженство* (с разными оттенками значения) здесь соответствуют слова blahost и blaženost. Ср.: blahost s neštěstím stýká se úzce (19) блаженство всегда близко он нещастия (Н. Р., 33). В оригинале: la douleur touche de pres au plaisir (23). Konati život svůj u nohou tvých ... byla by pro mne blaženost svrchovaná (43) — для меня было бы верховнейшим блаженством (И. М., 163). В оригинале: eut été pour moi le bonheur supreme (82).

В тексте «Потерянного рая» встречалось существительное předmět, правда, без прямого соответствия в русском посреднике. Зато здесь мы обязательно находим такое соответствие, например: přítomost neustavná předmětu milého (29) — беспрестанное присутствие возлюбленного предмета (Н. Р., 81). В оригинале: la présence continuelle de l'objet aimé (50).

A ty, milý a smutný předměte náruživosti (41) — И ты любезный и горестный предмет страсти (И. М., 155). В оригинале; E toi, cher et triste objet d'une passion (78).

Примечательно, что позднейшая многозначность заимствованного в чешском языке слова předmět еще не нашла отражения в языке Юнгмана, который употребляет это слово лишь в значениях 'объект размышлений, рассуждений' и 'объект страсти, возлюбленный'. Для обозначения вещи Юнгман в своих переводах не применяет этого слова.

В привлеченных нами русских переводах «Аталы» обнаруживается опора и для ряда других лексических русизмов чешского текста: hranostaj (горностай), krajnost (крайний член тела, конечность), obřad (обряд), ústí (устье), záliv (залив), ženština (женщина). Приведем эти соответствия.

Шатобриан:	*Русские переводы:*	*Юнгман:*
Mila a les yeux d'une hermine (27)	У Милы глаза горностаевы (И. М., 48)	Míla má oči hranostajové (20)
les extrémités de son corps (87)	крайности тела ее (И. М. 174)	krajnosti těla jejího (45)

---

[53] JS, d. IV, 1838, str. 678: Tváření, . . posunky, Geberde, gestus.

pendant les jours consacrès à cette cérémonie (35)	во дни, посвященные сему торжественному обряду (Н. Р., 55)	ve dny zasvěcené tomu velikému obřadu (23)
le fleuve... les pousse au golfe Mexicain (6)	река... влечет их к своему устью (Н. Р., 3)	řeka... pudí k ústí je svému (11)
Les femmes... témoignaient pour ma jeunesse une pitié tendre (17)	Женщины... оказывали юности моей нежную жалость (И. М., 26)	Ženštiny ... osvědčovaly nad mou mladostí útrpnost laskavou (16)

Как и в языке «Потерянного рая», здесь широко представлены неологизмы, импульсом для которых явились соответствующие формы в тексте перевода-посредника. В одних случаях образцом послужила основа русского соответствия, в других калькировались словообразовательные аффиксы. Так, односложным юнгмановским новообразованиям ples (25), střed (22), ryk (68) в русском тексте отвечают «пляски» (Н. Р., 62), «средина» (Н. Р., 50), «рыкания» (Н. Р., 85).

Несомненно под влиянием русского соответствия под пером Юнгмана появляются формы: zplameňovati: zorní záře ... zplameňovala východ (37) — заря ... воспламеняла восток (И. М., 138); zkrášený: na nebi zkrášeném (47) — по украшенным небесам (И. М., 188); záhyb: zdaž není, kde by nás ukryli lesové, záhybu (faldu) v zelenitém oděvu jejich (18—19) — Не имеют ли леса в зеленой своей одежде изгибов для нашего убежища? (И. М., 38); šumání: mimo povlovné šumání člunа našeho (29) — кроме тихого шума лодки нашей (И. М., 25); postupně: viděl jsem postupně mizeti podobu své milenky (52) — я видел, как постепенно исчезали черты моей любезной (И. М., 212).

Наряду со случаями, когда выбор чешского слова мотивирован его прямым соответствием в языке перевода-посредника, наблюдаются и другие, — когда русское влияние не связано с опорными текстами или эта связь опосредована.

Характерно в этом смысле употребление Юнгманом существительного vějíř, которое рассматривается в литературе как несомненный русизм. Оно встречается в «Атале» один раз, в составе образного сравнения: oblouky ... okrývají stánek ten na způsob vějíře dnového (22). Ср. русское соответствие: покрывали кущу наподобие прозрачного опахала (И. М., 66). Воздействие русского посредника проявилось здесь очень своеобразно: в авторском пояснении неологизма vějíř употреблено слово opachadlo: «vějíř — oháňky, opachadlo, vadrle». Можно предположить, что слово vějíř, более уместное в данном контексте по соображениям ритмического построения фразы, чем opachadlo, было образовано Юнгманом по образцу русского *веер*, — слова, которое он мог встретить в каком-нибудь русском словаре как объяснение существи-

тельного *опахало*. Впоследствии из двух юнгмановских неологизмов — vějíř и opachadlo — в чешском литературном языке привился только первый; слово же opachadlo даже не вошло в Словарь Юнгмана.

Глубокая продуманность чувствуется в употреблении Юнгманом слов obraznost и ohromný в соответствии с русскими *воображение* и *огромный*. Оттолкнувшись от русских лексем, он сообщает этим словам несколько иное, чем в русском, содержание. При этом Юнгман учитывает как потребности выражения понятия, так и возможные семантические связи новых слов с родственными чешскими основами. Не рассматривая здесь этого вопроса, который должен стать предметом специального исследования, остановимся еще на обращении Юнгмана к русской лексике в целях архаизации текста. Среди устаревших слов, которые переводчик пытается ввести в поэтический обиход, находим, в частности, mrav (нрав), ostříhati (стеречь), osudí (посуда, сосуд), reptati (роптать). Все они имеют поддержку в тексте переводов-посредников: nemeňme ničeho na mravu otcovském (23) — не переменим что-либо во нравах наших предков (Н. Р., 52); já ostříhám vězně (18) — я постерегу пленника (И. М., 34); některé dřevěné osudí (34) — несколько деревянных сосудов (И. М., 120); nerepci proti osudu (29) — не ропщи на судьбу свою (Н. Р., 82).

Не так очевидно русское влияние на употребление глагола celovati и его производных. Этот глагол, известный древнечешскому языку, к тому времени уже вышел из языкового обихода, вытесненный его синонимом líbati (к этому слову каждый раз прибегает Юнгман, объясняя употребленные им в тексте формы celuje (49), celovávala (49), celování (21). В переводах-посредниках имеется близкое соответствие лишь для формы celování (поцелуи), тогда как в других случаях русские авторы используют иные способы передачи данного понятия: лобызать (И. М., 170), прикасаться устами (И. М., 200). Отсутствие прямого соответствия объясняется, по всей видимости, различной стилистической окраской рассматриваемых слов в русском и чешском языках: русской синонимической паре целовать—лобызать, где первое слово стилистически нейтрально, а второе имеет оттенок возвышенности, соответствует в юнгмановском употреблении пара líbati—celovati, где архаизм celovati играет роль элемента высокого стиля.

Приведенными в нашей работе примерами далеко не исчерпывается многогранное и глубокое влияние русского языка на язык чешских переводов «Потерянного рая» и, в особенности, «Аталы». Установление языковых соответствий между этими текстами и переводами-посредниками должно стать базой для изучения тонких и сложных процессов внедрения новых семантических оттенков, развития сочетаемости, новых способов образной реализации слова, — всего того, что характеризует обогащение литературного языка в процессе его становления как языка национального.

Л. Н. СМИРНОВ

К ТЕОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
(проблемы лингво-стилистической адекватности)

I. Одним из важных аспектов теоретического осмысления переводческой практики является научное изучение вопросов художественного перевода. В последние годы заметно возрос интерес ученых к этой проблематике [1]. Серьезное внимание некоторым вопросам, связанным с переводческой деятельностью в области художественной литературы, уделяется в фундаментальных трудах по общей теории перевода [2]. Вместе с тем все более отчетливо проявляется стремление выделить теоретическую проблематику художественного перевода как относительно автономную, самостоятельную область научных исследований.

---

[1] Значительный вклад в разработку вопросов художественного перевода вносят советские исследователи. В нашей стране выпускается богатейшая литература, посвященная теории и практике художественного перевода. Назовем только некоторые монографические работы, появившиеся за последнее десятилетие: Е. Г. Эткинд. Поэзия и перевод. М.—Л., 1963; Г. Р. Гачечиладзе. Вопросы теории художественного перевода. Тбилиси, 1964; Его же: Введение в теорию художественного перевода. Тбилиси, 1970; В. В. Коптілов. Актуальні питання українського художнього перекладу. Київ, 1971; П. И. Копанев. Вопросы истории и теории художественного перевода. Минск, 1972.

Разнообразие взглядов, теоретических и методологических позиций при изучении данной проблематики наглядно отражается в таких непериодических изданиях, как «Мастерство перевода» (М., «Советский писатель»), «Тетради переводчика» (М., «Международные отношения»), в сборниках «Актуальные проблемы теории художественного перевода» (т. I и II. М., «Советский писатель», 1967), «Вопросы теории художественного перевода» (М., «Художественная литература», 1971). См. также обзорную статью: В. Россельс. Советская переводческая школа в 60-х годах. — Slavica Slovaca, roč. 6, 1971, čís. 4, стр. 295—315. Из зарубежных работ последнего времени отметим следующие: J. Levý. Umění překladu. Praha, 1963; Его же. Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt am Mein, 1969; A. Popovič. Poetika umeleckého prekladu. Bratislava, 1971; R. Kloepfer. Die Theorie der literarischen Übersetzung. München, 1967. См. также новое расширенное издание книги: T. Savory. The Art of Translation. London, 1968. Заслуживают упоминания и новейшие сборники статей по проблемам художественного перевода: Изкуството на превода. София, 1969, и «Překlad literárního díla». Sborník současných zahraničních studií. Praha, 1970.

[2] См., в частности: А. В. Федоров. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк). Изд. 3-е. М., 1968; И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг. Основы общего и машинного перевода. М., 1964.

До недавнего времени при обсуждении вопросов художественного перевода резко проявлялось характерное для переводоведческой литературы разграничение и противопоставление лингвистического и литературоведческого подходов [3]. Между тем именно в области художественного перевода такое противопоставление нецелесообразно и в своих крайностях ошибочно. Сама специфика художественного перевода как явления, с одной стороны, принадлежащего к области искусства, творческой литературной деятельности, а с другой стороны, несомненно подчиняющегося и некоторым закономерностям, характерным для процесса перевода вообще (независимо от видов и жанров перевода), говорит о том, что литературоведческий — или, точнее, литературно-эстетический — и лингвистический подходы должны дополнять друг друга. В связи с этим представляется верным мнение А. Людсканова о том, что оба эти подхода «абсолютно необходимы и равноправны в практике и теории художественного перевода» [4]. Характерной чертой современного состояния теоретических проблем художественного перевода, на наш взгляд, являются попытки создания концепций комплексного, филологическо-эстетического характера. Эта тенденция представляется нам важной и перспективной, так как она знаменует переход от одностороннего рассмотрения художественного перевода к такому рассмотрению, которое учитывает многогранность самого предмета исследования.

Интересным опытом в этом плане является развиваемая советским литературоведом и переводчиком Е. Г. Эткиндом концепция художественного перевода, основывающаяся на широком понимании сопоставительной стилистики. Он пишет: «Мнимые противоречия между языкознанием и литературоведением в области художественного перевода, и прежде всего поэтического перевода, снимаются в сфере филологии в широком смысле слова, — в данном случае в сфере стилистики, или, точнее говоря, той новой науки, которая пока делает лишь первые шаги — сопоставительной стилистики» [5]. Раскрывая понимание используемого им термина «сопоставительная стилистика», автор постулирует необходимость учета следующих типов или уровней сопоставления: 1) сопоставление систем двух языков (грамматический строй, лексика и фразеология и т. д.); 2) сопоставление стилистических систем двух языков (например, законы формирования функционально-речевых стилей, соотношение в каждом данном языке литературной нормы с диалектами, жаргонами, просторечием);

---

[3] См. об этом: А. Людсканов. О литературоведческом и лингвистическом подходе в теории художественного перевода. — Slavica Slovaca, roč. 6, 1971, čís. 4, стр. 390—394.

[4] А. Людсканов. Указ. соч., стр. 393.

[5] Е. Г. Эткинд. Художественный перевод: искусство и наука. — ВЯ, 1970, № 4, стр. 25.

3) сопоставление традиционно-литературных стилей в пределах двух языков (например, языковых стилей классицизма, сентиментализма, романтизма, или, более конкретно, определенных узкожанровых стилей — оды, элегии, басни и т. д.); 4) сопоставление двух специфических национальных просодических систем; 5) сопоставление историко-культурных традиций двух национальных цивилизаций; 6) сопоставление двух индивидуальных художественно-стилистических систем (автора оригинала и автора перевода) [6].

Перечень уровней сопоставления, видимо, может быть дополнен или в некоторых пунктах конкретизирован (в частности, можно говорить о сопоставлении эстетических традиций в двух национальных культурах, о соотношении национальных систем словесно-художественной образности), однако ясно, что в принципе при таком подходе исследователь рассматривает художественный перевод с учетом широкого историко-культурного контекста. А это важно и для анализа художественного перевода, и для работы переводчика.

В ином конкретном воплощении отмеченная выше тенденция к преодолению разрыва между лингвистическим и литературоведческим подходами в исследовании художественного перевода проявляется в работах В. В. Коптилова [7]. Считая художественный перевод творческим процессом, направленным на достижение определенного эстетического качества, автор в то же время подчеркивает роль в этом процессе языковых и стилистических средств. При этом он не идет по пути эклектизма, механического смешения лингвистического и литературоведческого подходов, а стремится найти специфический аспект анализа художественного перевода, выделить область собственно переводоведения, объектом которого является «исследование художественного перевода как структурно организованного целого литературного произведения» [8]. За рамками «переводоведения» в таком понимании [9]

---

[6] Е. Г. Эткинд. Указ. соч., стр. 25—26.

[7] Кроме указанной выше монографии см. также: В. В. Коптилов. Актуальные теоретические вопросы украинского художественного перевода. Автореферат дисс. на соискание уч. степени докт. филолог. наук. Киев, 1971; В. В. Коптілов. Перекладознавство як окрема галузь філології. — «Мовознавство». Київ, 1971, № 2, стр. 50—57; В. Коптилов. Этапы работы переводчика. «Вопросы теории художественного перевода». М., 1971, стр. 148—166.

[8] В. В. Коптілов. Перекладознавство як окрема галузь філології, стр. 56.

[9] Представляется не совсем удачным подобное употребление термина «переводоведение», то есть сведение этого понятия, в сущности, к понятию теории художественного перевода. По нашему мнению, логичнее считать переводоведением теорию перевода вообще, или весь комплекс переводоведческих дисциплин. Ср., например, подобное широкое понимание переводоведения в концепции, разрабатываемой А. Людскановым (Преводаческата мъсъл в чужбина и у нас. «Изкуството на превода». София, 1969, стр. 31—32).

остаются чисто литературоведческие и лингвистические проблемы критики и истории перевода.

Большое значение Коптилов придает анализу соотношения оригинала и перевода. По его мнению важнейшей задачей критики и исследования перевода является определение степени близости семантико-стилистических структур перевода и оригинала. Этому соответствует и предлагаемое автором определение художественного перевода: «Художественный перевод — это литературное произведение, выступающее как семантико-стилистическая параллель иноязычного литературного произведения (оригинала), благодаря сохранению его идейно-образной структуры» [10]. Это определение хорошо раскрывает двойственную природу художественного перевода. Этим оно выгодно отличается от определений, в которых подчеркивается, а иногда и абсолютизируется какая-то одна, пусть даже весьма существенная сторона художественного перевода. Некоторые исследователи, например, чрезмерно акцентируют такой момент, как творческий, литературно-эстетический характер художественного перевода. Г. Р. Гачечиладзе дает такое определение: «. . . художественный перевод есть вид художественного творчества, где оригинал выполняет функцию, аналогичную той, которую выполняет для оригинального творчества живая действительность» [11]. Ср. другое его высказывание: «художественный перевод — это творчество, и оно подчинено мировоззрению переводчика, оно выполняется в соответствии с его художественным методом» [12]. Как бы в ответ на подобные определения В. В. Коптилов справедливо замечает: «Нельзя смешивать эстетические качества текста как художественного произведения с его качествами как перевода: плохой перевод плох не в «абсолютном» плане (он может представлять собой замечательное литературное произведение), а потому, что он не дает надлежащего представления о подлиннике» [13].

С размежеванием лингвистической и литературоведческой сфер в теории и практике перевода связано противопоставление художественного перевода (как литературного творчества, как искусства) другим, нехудожественным видам перевода (как нетворческой деятельности в области языка). Разрабатывая семиотическую концепцию процесса перевода, А. Людсканов указывает на безосновательность такого противопоставления [14]. Он признает специфику художественного перевода, но вместе с тем рассматривает и его (наряду с другими видами перевода) как явление язы-

---

См. также: Ю. В. Ванников. О едином комплексе переводоведческих дисциплин. «Вопросы теории и техники перевода». М., 1970.

[10] В. В. Коптилов. Актуальные теоретические вопросы. . ., стр. 44.

[11] «Введение в теорию художественного перевода», стр. 148.

[12] Там же, стр. 149.

[13] «Актуальные теоретические вопросы. . .», стр. 31.

[14] См.: «О литературоведческом и лингвистическом подходе в теории художественного перевода», стр. 392—393.

ковой коммуникации, как разновидность процесса передачи информации. Примечательно, что такие моменты, как учет идейного и эмоционального содержания произведения, его эстетической значимости, историко-культурных, национальных, индивидуальных особенностей и т. п., характерные для литературоведческого взгляда на перевод, представляют, по его мнению, «ничто иное, как специфическую для области художественного перевода форму проявления общей закономерности при переводе, требующей внелингвистического подхода» [15].

Из нашего краткого обзора некоторых новейших исследований по проблемам художественного перевода видно, что теория художественного перевода еще не вполне конституировалась. Однако можно утверждать, что такая теория постепенно складывается, что все отчетливее выступают ее черты как комплексной научной дисциплины филологического профиля, как специфической области общей теории перевода. Ее комплексный характер обусловлен самой сущностью художественного перевода (его общими и отличительными чертами сравнительно с другими видами переводов, а также общими и отличительными чертами в сопоставлении с другими видами искусства и прежде всего с литературным творчеством). Ведь художественный перевод (процесс и результат) это не просто перекодирование инвариантного смысла из одной знаковой системы в другую, это творческая литературная деятельность, поставленная в определенную зависимость от оригинала (уже существующего литературно-художественного произведения). Эта зависимость заключается в том, что переводчик должен создать целостное литературно-художественное произведение, имеющее самостоятельную художественную ценность, но вместе с тем в ряде своих существенных признаков не оригинальное, а уподобляющееся подлиннику (по теме и сюжету, по идейно-образной структуре, по стилю, по эмоциональному эффекту).

Анализ перевода (и особенно художественного перевода) не ограничивается, однако, лингвистическим и литературоведческим аспектами. Современное переводоведение развивается в контакте с другими гуманитарными (психология, психология искусства, эстетика, история культуры) и точными науками (семиотика, теория информации, теория игр и др.) [16].

II. Комплексный характер теории художественного перевода отражает реальную возможность (и необходимость) многопланового изучения перевода литературно-художественных произведений. Конечно, для определенных целей исследования допустимо

---

[15] А. Людсканов. Указ. соч., стр. 393.

[16] Круг необходимых связей теории художественного перевода с другими научными дисциплинами, ее интердисциплинарный комплексный характер хорошо показал А. Попович (см. A. Popovič. Poetika umeleckého prekladu, стр. 21—26).

и оправданно выделение какого-то одного аспекта. Важно также учитывать, что комплексный подход при изучении художественного перевода может реализоваться поэтапно.

Важную роль в процессе всестороннего исследования художественного перевода играет лингво-стилистический анализ, базирующийся на сопоставлении переводного и оригинального текстов. Подобный анализ не служит целям лингвистическим в собственном смысле слова, он должен быть обращен прежде всего на выявление степени словесно-художественного соответствия перевода оригиналу. Ведь важнейшей задачей художественного перевода является не просто верная передача идейно-тематического содержания подлинника, а создание на другом языке литературно-художественного произведения, способного обеспечить эмоционально-эстетический эффект, подобный или максимально близкий эффекту, производимому оригиналом. А это может быть достигнуто применением в переводе адекватных словесно-художественных средств, к числу которых относятся и элементы языкового и стилистического плана. Следовательно, при анализе художественного перевода лингво-стилистические средства должны рассматриваться с учетом их специфической эстетической («поэтической») функции, которую они выполняют в литературно-художественном произведении, где язык — не только материал искусства, но и «эстетически преобразованная форма искусства», «воплощение поэтического творческого познания» [17]. Это важно подчеркнуть, так как в работах по художественному переводу еще нередко можно встретить явную недооценку роли языковых средств или несколько одностороннее представление о лингвистическом подходе (как о стремлении сводить все к языковым соответствиям). А с таким представлением связано неправомерное разобщение, а иногда и противопоставление моментов художественно-эстетических и лингвистических.

Следует также отметить, что изучение роли лингво-стилистических средств в художественном переводе — как целостной словесной структуры — не вполне совпадает с изучением «художественной речи» («поэтического языка») в оригинальном литературном произведении. В сфере анализа переводного текста возникает дополнительный аспект, который отсутствует при изучении словесной ткани оригинального произведения. Здесь подбор лингво-стилистических средств служит не просто воплощению творческого замысла художника-переводчика (хотя этот момент играет определенную роль и при художественном переводе), а направлен на создание такой словесно-художественной структуры текста, которая как можно лучше доносила бы до читателя творческий замысел автора, его художественное видение, созданные им образы и т. п. Это, в свою очередь, определяет и сопоставительную направ-

---

[17] В. В. Виноградов. О теории художественной речи. М., 1971, стр. 4.

ленность лингво-стилистического анализа художественного перевода.

III. Принципиальное значение для теории художественного перевода имеет вопрос о критериях установления качества перевода в его соотношении с оригиналом. При оценке перевода приходится учитывать многие стороны: идейно-тематическую, художественно-эстетическую, литературную, языковую, психологическую.

В научной литературе предлагаются разные критерии определения качества перевода, по-разному формулируются признаки «хорошего», «верного», «точного», «адекватного» перевода. К тому же и сами эти понятия интерпретируются порой неодинаково. И здесь сказывается различие литературно-эстетического и лингвистического подходов. Это ярко проявляется, в частности, в продолжающихся дискуссиях по вопросу об определении понятия «адекватность» перевода. Иногда этот термин толкуется широко и недостаточно определенно [18], поэтому некоторые исследователи предпочитают отказаться от него и заменить его другими терминами («полноценность», «верность»), что, в сущности, не решает вопроса. Трудность заключается в том, что в силу объективных причин, определяемых характером самого предмета исследования, при установлении адекватности (полноценности) художественного перевода оригиналу необходимо учитывать довольно разнородные признаки. Не случайно говорят об адекватности смысловой, художественной, языковой, стилистической, об адекватности словесно-структурного оформления или выразительно-изобразительных средств, об адекватности реакции и т. п. В конденсированном виде признаки адекватного (полноценного) перевода сводятся обычно к смысловой и стилистической (функционально-стилистической) верности оригиналу [19]. В плане установления качества именно художественного перевода эти два «параметра» необходимы, но недостаточны. Шкала оценок в этом случае должна быть дополнена и конкретизирована.

---

[18] Ср. определение А. А. Смирнова: «Адекватным мы должны признать такой перевод, в котором переданы все намерения автора (как продуманные им, так и бессознательные) в смысле определенного идейно-эмоционального художественного воздействия на читателя, с соблюдением, по мере возможности [путем точных эквивалентов или удовлетворительных субститутов (подстановок)] всех применяемых автором ресурсов образности, колорита, ритма и т. п.; последние должны рассматриваться, однако, не как самоцель, а только как средство для достижения общего эффекта. Несомненно, что при этом приходится кое-чем жертвовать, выбирая менее существенные элементы текста». — «Литературная энциклопедия», т. VIII, 1934, стр. 527.

[19] См.: М. Ф. Рыльский. Художественный перевод с одного славянского языка на другой. М., 1958, стр. 31. Характерно в этом смысле определение полноценного перевода, данное А. В. Федоровым: «Полноценность перевода означает передачу смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-стилистическое соответствие ему» (Основы общей теории перевода. М., 1968, стр. 151). Правда, в этом определении не раскрывается в полной мере специфика художественного перевода, но благодаря указа-

При этом в ней несомненно должен быть учтен такой существенный фактор, как соответствие перевода оригиналу по признаку художественно-эстетическому. Задачу выработки полного и достаточно строгого определения адекватности художественного перевода еще предстоит решать [20].

Для этого, как нам кажется, может оказаться полезным углубленное изучение отдельных звеньев сложного отношения перевод — оригинал, на основе которых синтезируется общее понятие адекватности (полноценности) художественного перевода. В предлагаемом докладе исследуется вопрос о соотношении языковых и стилистических элементов перевода и оригинала. В связи с этим представляется целесообразным ввести термин «лингво-стилистическая адекватность». В нашем понимании, этот термин обозначает одну из сторон более общего и широкого понятия полноценность перевода. Мы исходим из того, что смысловое содержание оригинала должно быть передано точно (конечно, в рамках объективных возможностей переводящего языка и воспринимающей культуры), а художественно-языковая форма в переводе должна быть равноценной, равнозначной (но не обязательно тождественной). Иначе говоря, мы исходим из концепции функционального подобия, которая завоевывает все большее признание в современных работах по теории художественного перевода. Существо лингво-стилистической адекватности, в нашем понимании, не в формальном совпадении языковых средств перевода и оригинала, не в копировании последнего, а в создании на языке перевода целостной словесно-художественной структуры текста, оптимально близкой по своей эстетической и стилистической ценности оригиналу. Решение этой задачи предполагает поиски, подбор и умелое использование в переводном тексте языковых и стилистических средств, рассчитанных на достижение заданного оригиналом эмоциально-художественного эффекта. Следует сразу же подчеркнуть, что лингво-стилистическая адекватность выступает в тесной связи с другими признаками высококачественного художественного перевода. И прежде всего, она ба-

---

нию на «функционально-стилистическое соответствие» оно применимо и в этой сфере.

[20] Г. Гачечиладзе прав, считая, что такое определение надо вырабатывать, «невзирая на все трудности, присущие формам творчества». Однако, трудно согласиться с его категорическим выводом: «Разумеется, новое определение адекватного художественного перевода должно быть направлено по литературоведческому пути» («Введение в теорию художественного перевода», стр. 148). На наш взгляд, существенные стороны художественного перевода отмечены в понятии адекватности, сформулированном с позиций структурной лингвистики: «Адекватный художественный перевод предполагает. . . установление соответствия между двумя художественными моделями, принадлежащими к разным литературам, и установление эквивалентности элементов художественной речи. . .» (В. Ю. Розенцвейг. Перевод и трансформация. «Трансформационный метод в структурной лингвистике». М., 1964, стр. 95).

зируется на точной передаче смыслового, идейно-тематического содержания оригинала и возможна только при этом условии. Поэтому в дальнейшем при рассмотрении проблем лингво-стилистической адекватности мы сознательно отказываемся от анализа переводов, в которых не передано (или передано неточно, плохо) смысловое содержание подлинника.

IV. Проводя лингво-стилистический анализ перевода в сопоставлении с оригиналом, следует учитывать, что литературное произведение (в нашем случае и оригинал, и перевод) — это определенное художественное целое. В связи с этим, решая вопрос о том, удалось ли переводчику достичь лингво-стилистической адекватности, следовало бы провести всесторонний сопоставительный анализ словесно-художественных структур перевода и оригинала. В данной работе мы ограничимся лишь частными наблюдениями по отдельным уровням текстовой структуры, что может служить подготовительной фазой для обобщающего анализа. При этом особое внимание мы будем обращать на перевод («перевыражение») тех языковых элементов и стилистических приемов, которые автором оригинального произведения намеренно используются как средства художественной выразительности и эмоционально-оценочной характеристики.

1. В плане выявления степени лингво-стилистической адекватности перевода оригиналу существенную роль играет проверка соответствия стилистических характеристик сопоставляемых элементов. Ими могут быть отдельные слова, словосочетания, предложения и более развернутые отрезки текста. Необходимость такой проверки диктуется тем, что переводчик, как правило, легче находит смысловой эквивалент, чем стилистическое соответствие.

Вот несколько иллюстраций:

Ráno už byl u jednoho okresního hejtmanství a nechal si vzbudit hejtmana; na štěstí se ukázalo, že toho pána už jednou vlastnoručně *vykuchal* a zašil a odevzdal mu na památku slepé střevo naložené v lihu (K. Čapek). Ср. перевод: «Скоро он был уже у начальника управы одного из загородных районов и потребовал, чтобы его разбудили. На счастье оказалось, что начальник — пациент Гольдберга: доктор когда-то *вырезал ему апендикс* и вручил на память в баночке со спиртом».

Смысл данного отрезка текста передан верно. Однако стилистическая информация, содержащаяся в оригинале, до читателя перевода не доведена, не передается эмоциональная окраска высказывания, характерная для оригинала. Переводчик не нашел стилистического соответствия выражению vlastnoručně vykuchal. Глагол vykuchati имеет в чешском языке яркую экспрессивную окраску. А в переводе на его месте находим нейтральное «вырезал ему апендикс». В данном случае целесообразно было бы использовать глагол «выпотрошил».

Иногда стилистическое расхождение перевода и оригинала не столь очевидно. Покажем это на следующем примере: Jeseň sa

silne blížila. Záhrada Jablonského *obliekla* šedý každodenný, trochu osúchaný kabátik (Vaj. L. t.) [21]. Сравним два перевода этого отрывка. «Осень быстро приближалась. Сад Яблонских *облекся* в обыденный серый, слегка суховатый покров» (II). «Быстро приближалась осень. Сад Яблонского *оделся* в серый, будничный, немного потертый наряд» (III). Если отвлечься от смысловой ошибки, допущенной во втором переводе (osúchaný kabátik — это не «суховатый покров», а «изношенное пальтишко»), то оба они в целом близки друг другу и оригиналу. Они различаются, в сущности, подбором синонимов, ср.: облекся — оделся, обыденный — будничный, слегка — немного. Здесь существенное значение имеет первая синонимическая пара, так как прежде всего благодаря стилистической дифференцированности этих двух глаголов (*облечься* — это книжно-торжественный синоним глагола *одеться*) возникает и неодинаковая стилистическая окраска сопоставляемых предложений. Это же определяет разную степень лингво-стилистической адекватности переводов оригиналу. В первом случае переводчик, вероятно поддавшись внешнему совпадению глаголов *obliect'sa* и *облечься*, не принял во внимание, что нормативно-стилистическая характеристика этих глаголов в словацком и русском языках не совпадает (словацкий глагол obliect' sa '*одеться*' не относится к книжной лексике). Из-за этого в первом переводе и все высказывание оказалось в иной тональности. По соотношению с оригиналом адекватным следует признать второй перевод.

Проанализированные нами примеры стилистических сдвигов в переводе по сравнению с оригиналом показывают, что в первом случае переводчик «не дотянул» до стилистического уровня авторского текста, во втором несколько «превысил» его, внося дополнительную стилистическую информацию.

2. Требование соответствия нормативно-стилистической окраски, стилистической тональности используемых в переводе языковых средств «заменяемым» средствам оригинала имеет важное значение, в частности, при передаче эпитетов. Являясь изобразительно-выразительным средством литературы, они нередко характеризуют индивидуальное своеобразие авторского стиля, раскрывают существенные стороны его образно-эмоционального мышления, выполняют важную художественно-эстетическую функцию. Все это ставит перед переводчиком задачу чрезвычайно бережного отношения к «перевыражению» эпитетов (если он стремится показать не свое, а авторское художественное видение). В этом плане

---

[21] Роман Св. Гурбана-Ваянского «Летящие тени» (Letiace tiene. 1883) трижды переводился на русский язык: в 1887 г. («Звезда». СПб., № 44—52, перевод Ф. Ф. Тютчева), в 1891 г. («Сын отечества». Еженедельное приложение. СПб., №№ 7—15, перевод А. Сахаровой) и в 1953 г. (в кн. «Словацкие повести и рассказы». М., стр. 107—206, перевод Г. Матвеевой, Л. Смирнова и И. Шухниной). Эти переводы мы будем далее обозначать соответственно цифрами I, II, III.

представляет интерес анализ переводов на русский язык романа С. Г. Ваянского «Летящие тени». В системе словесно-изобразительных средств этого писателя эпитеты служат, как правило, для выражения подчеркнутой эмоциональности, красочности, для актуализации и субъективной интенсификации признаков; многие из них относятся к книжной, поэтической лексике (ср.: pery karmínové, koralové; svetlo vít'azné; oči hodvábne, fantastické; les majestátny, melódie melancholickodivé, život planúcy и т. п.). Подобного рода эпитеты являются у Ваянского элементами характерного для него «возвышенного» стиля. Поэтому важно определить, выполняют ли они аналогичную функцию в переводных текстах. Рассмотрим некоторые примеры:

«Adela!» zavolal radostným, triumfujúcim hlasom (Vaj. L. t.).

—Адель! — воскликнул он задыхающимся, страстным голосом (I).

—Адель! — воскликнул он радостным, торжествующим голосом (II).

—Адела! — воскликнул он радостным, ликующим голосом (III).

Первый перевод — явно вольный. Вместо авторских эпитетов переводчик использует «свои», отражающие его собственное художественное видение. Адекватным такой перевод считать нельзя. Второй и третий переводы хорошо передают смысл оригинала. Они различаются выбором синонимических эпитетов («торжествующий» и «ликующий»), которые относятся к одинаковому стилистическому уровню (к книжной, «высокой» лексике). В этом отношении они совпадают с переводимым эпитетом. Таким образом, оба эти перевода можно признать стилистически адекватными оригиналу.

Однако в передаче эпитетов переводчики нередко терпят неудачу, не находя им точного семантико-стилистического соответствия.

Hrubý belasý vrkoč stelie sa ponad čielko; v bledistej tvári iskria sa *zduchovnelé*, *fantastické* oči (Vaj. L. t.). Переводы: «. . . густая белокурая коса обрамляла головку, в бледном лице искрились глаза» (II); «. . . льняная коса уложена короной, на бледном лице блестят волшебно-прекрасные глаза» (III). Первый перевод мы не приводим, так как в нем выпущена вся фраза. Во втором переводе подчеркнутые нами эпитеты опущены: Здесь нет ни смысловой точности, ни стилистической адекватности. Третий перевод также характеризуется смысловым сдвигом, но здесь все же сделана попытка приблизиться к авторскому стилю, как-то передать экспрессивно-поэтическую тональность оригинала. Примечательно, что данное место оказалось трудным и для чешского переводчика, который не уловил переносного, метафорического значения эпитета fantastický: «. . . v pobledlé tváři se třpytí zduchovnělé oči plné fantasie» (Let. st.).

I tam čnely ozrutné lipy. . . (Vaj. L. t.). Ср. переводы: «Густые, широко раскинувшиеся ветви огромных лип. . .» (I). «И там чер-

нели густолиственные липы» (II). «И там шептались развесистые липы» (III). Очевидно, что ни один из указанных переводов нельзя признать адекватным. Во втором и третьем переводе допущены явные смысловые ошибки. В первом переводе правильно передан эпитет ozrutný 'гигантский, огромный, громадный', но и здесь переводчик привнес дополнительную смысловую информацию. Ср. более удачный перевод на чешский язык: Tam také se tyčily obrovské lípy. . . (Let. st.).

Отмеченные нами промахи и ошибки в переводе эпитетов, если их рассматривать изолированно от целостной словесно-художественной структуры литературного произведения, выглядят как частные и незначительные. Если же учесть, что многие эпитеты, используемые в переводном тексте, выбиваются из стилистического ряда, заданного оригиналом, и образуют цепь стилистических несоответствий, станет ясно, что и подобные промахи снижают качество художественного перевода.

3. Переводчику литературно-художественного произведения приходится учитывать, что определенную эмоционально-экспрессивную функцию в структуре оригинала могут выполнять грамматические формы, словообразовательные средства и т. п.

Так, например, в романе Ваянского «Летящие тени» важную оценочно-характеристическую роль играют деминутивы. Они являются неотъемлемым элементом «художественной речи», «поэтического языка» Ваянского, одним из средств выражения субъективного авторского восприятия действительности. Особенно ярко проявляется это при описании внешности и окружения молодой героини романа (например: hlávka, nôžky, ústočky, ramienko, palčeky, vlásky, tvárička, chalátik, suknička, zrkadielko, poduštičky, izbička, postiel'ka и т. п.). Казалось бы, в этом случае у переводчика задача простая — неукоснительно следовать за автором (поскольку в русском языке имеется аналогичное формальное средство — имена существительные с уменьшительными суффиксами эмоционально-субъективной оценки). Отчасти это так. В соответствующих местах переводов мы действительно находим слова: головка, ножки, плечико, личико, зеркальце, подушечки и т. д. И все же именно на примере деминутивов можно показать, что механическое следование за языковой формой оригинала может повлечь за собой стилистические промахи. Чрезмерное насыщение русского текста деминутивами может вызвать нежелательный эффект. Поэтому при передаче деминутивов от переводчика требуется чувство меры, тонкое понимание стиля, обычных для переводящего языка норм словоупотребления. В этом плане показательно сопоставление второго и третьего переводов. В третьем переводе деминутивы используются реже, чем во втором; иначе говоря, в третьем переводе чаще встречаются формальные отступления от оригинала. Например: Oblokom zasa blyslo ramienko. . . (Vaj. L. t.). «В окне же опять показалось плечико» (II); «В окне опять забелело плечо» (III). Nôžky zmizli. . . pod sivou sukničkou (Vaj.

L. t.). «Она мигом подобрала ножки под серое платьице» (II); «Ноги скрылись под серой юбкой» (III). «Hlava ma bolí» riekla sama sebe Ela, ked' sa zdvihla z bielej postiel'ky» (Vaj. L. t.). «. . . поднимаясь с белой постельки» (II); «. . . поднялась с белой постели» (III). Ela sršala blahorodným hnevom, jej milá voňavá hlávka potriasala sa na labut'om hrdle (Vaj. L. t.). «Елла дрожала благородным негодованием, а ее маленькая грациозная головка тряслась на лебединой шейке» (II); «Элла кипела благородным гневом» (III). Нагнетание уменьшительности во втором переводе явно неуместно, фраза воспринимается как пародийная. В третьем переводе конец предложения опущен; это решение в данном случае стилистически оправдано.

Иногда отклонения от «буквы» оригинала — на наш взгляд совершенно оправданные — обнаруживаются в обоих переводах. Например: Ela zatvorila oblok i l'ahla na postel'. Rúčkou podoprela hlávku a hl'adela do tmy (Vaj. L. t.). « . . . она подперла рукою голову» (II); «. . . подперев голову рукой» (III). При сохранении деминутивов в русском тексте («подперев головку ручкой») данная фраза воспринималась бы как иронически-насмешливая. Приведенный анализ показывает, что в данном случае нередко реализуется возможность формально-точного, пословного перевода, обусловленная близостью словацкого и русского языков. Подобный перевод, если он не нарушает художественности текста на переводящем языке, вполне допустим. С другой стороны, стилистически оправданы и отклонения от формально-точного воспроизведения деталей «художественного языка» автора, если они в конкретном контекстном окружении перевода вступают в противоречие с художественной целью, заданной автором.

4. С особой остротой проблема нахождения стилистически адекватных языковых средств встает при переводе прямой речи — особенно, когда речевая характеристика персонажей служит одним из приемов построения образа. Например: — А для чего же было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы *не воротились*? (А. С. Пушкин). Ср. перевод на словацкий: «A načo si kvôli tomu zamykal Palašku?» — opýtala sa velitel'ova žena. «Prečo chudina dievka musela sediet' v komore, kým *sme sa nevrátili?*» Смысл русского текста передан точно, однако полного стилистического соответствия между переводом и оригиналом нет. Словацкое стилистически нейтральное vrátit'sa неадекватно русскому просторечному «воротиться» (ср. нейтральное «возвратиться»). А между тем в оригинале слово «воротиться» наряду с другими подобными элементами используется для речевой характеристики персонажа. Это подтверждает и следующий пример: «Прощай, мой Иван Кузьмич. *Отпусти мне*, коли в чем я тебе досадила»! (А. С. Пушкин). «Zbohom, môj Ivan Kuzmič. *Odpust' mi*, ak som t'a niekedy nahnevala». Смысл и здесь передан правильно. Однако в оригинале такие слова, как *отпусти (мне)* и *коли* в противоположность стилистически нейт-

ральным синонимам *прости(меня)* и *если* помогают передать специфический колорит речи комендантши. В переводе им не нашлось стилистического соответствия (стилистически перевод равноценен русскому «прости меня, если»), из-за чего речь персонажа приобрела несвойственную ему литературно-приглаженную форму. Аналогичный промах обнаруживаем и при анализе перевода К. Чапека «Исчезновение актера Бенды». В речи одного из персонажей рассказа — пани Марешовой — бросаются в глаза такие формы, слова и выражения, которые характеризуют специфическую разновидность чешского разговорного языка (obecná čeština), например: «. . . já, mám zapsanej každej jeho kousek prádla. ..», «. . . že pán mistr celej tejden nevyšel z bytu. . .», «. . . jestli vodešel, tak musel bejt . . . docela nahej». Все это не нашло отражения в переводе (хотя смысл передан правильно). А ведь в оригинале речевая характеристика помогает автору выявить социальное лицо персонажа. В данном случае перед переводчиком стояла нелегкая задача. Строго говоря, он и не мог добиться вполне адекватного «воссоздания» указанной особенности оригинала, поскольку в русском языке нет аналогичной разновидности разговорной речи. Все же, на наш взгляд, можно было в какой-то мере приблизиться к оригиналу, используя функционально сходные языковые средства (например, элементы просторечия).

5. Значительный интерес представляет вопрос о передаче в переводе художественных средств оригинала, относящихся к более высокому уровню структуры текста. В связи с этим мы остановимся на переводе метафор и сравнений.

Характерной чертой стиля С. Г. Ваянского, проявляющейся в романе «Летящие тени», является широкое использование поэтических метафор. Поэтому важной задачей перевода было «сохранение» этой словесно-художественной особенности авторского стиля. Удалось ли это переводчикам?

Проанализируем несколько примеров:

Asi na pol míle od Jablonového *poskočný syn horský* zanechal svoje vodopády, papradie a žulové balvany (Vaj. L. t.). На месте авторской метафоры находим в I переводе просто «поток», во II — восприятию метафоры мешает буквализм («игривый горный сын», надо было «игривый сын гор»), в III — метафоричность снята («стремительный горный ручей»). Ни в одном из переводов не удалось достичь лингво-стилистической адекватности.

. . . na čiernom kabáte *vzišla rudá žiara hodvábnej stužky* — šťastné to miestečko, kde spočíval v slávnostné chvíle vysoký rad (Vaj. L. t.). Ср. переводы: «. . . В петлице своего пиджака он постоянно *носил ярко-красную орденскую ленточку* — знак его силы» (I); «. . . *была ярко-красная лента* на черном сюртуке, свидетельствовавшая о высоком положении, занимаемом им» (II); «Доказательством этого *была красная шелковая лента* на черном сюртуке, — счастливо то местечко, где покоится в торжественные минуты знак высокой награды» (III).

Метафорический стиль Ваянского не получил в этих переводах верного отражения. В первом и втором переводах метафоричность вообще не передана, в третьем делается попытка иными средствами «воссоздать» возвышенный стиль автора: отсутствие стилистически верного соответствия метафорическому выражению vzišla rudá žiara hodvábnej stužky частично компенсируется тем, что vysoký rad переводится иносказательно — «знак высокой награды». Примечательно, что в чешском переводе в данном случае также имеются стилистические потери, ср.: ...na důkaz toho zářila na černém kabátě červená hedvábná stužka — šťastné místečko, kde za slavnostních okamžiků visel vysoký řád (Let. st.). Здесь zářila стилистически «слабее», чем vzišla rudá žiara. Кроме того, следует признать неудачной замену в данном контексте книжного spočíval глаголом visel.

И еще один показательный пример: «V čom záleží moja vina? Že videl som *mramor, obložený kryštalom*? (Vaj. L. t.) (Такими словами один из персонажей говорит о том, что он видел в воде ручья женские ножки.) В переводах: («. . . случайно видел каррарский *мрамор, погруженный в кристалл*» (I); «. . . видел *мрамор, обложенный хрусталем*» (II); «. . . в хрустальной воде видел *мрамор ваших ног*» (III). Во всех трех переводах метафора сохранена, и, тем не менее, в плане стилистическом они неравноценны. Метафора первого перевода в силу своего книжного, поэтического характера наиболее соответствует авторскому стилю. Из-за явного буквализма второго перевода метафорическое выражение воспринимается как искусственное, надуманное. Интересно, что чешский перевод, в сущности пословный, не представляется буквальным, ср.: «V čem jsem vinen? Že jsem videl mramor obložený křišťálem?» (Let. st.) В третьем переводе метафора несколько «заземлена», ассоциативные связи, на которых она строится, поясняются, расшифровываются («в хрустальной воде», «мрамор ног»).

Рассмотренные нами примеры, число которых можно было бы увеличить, показывают, что задача «воссоздания» своеобразных авторских метафор не решается автоматически. Даже если смысл отрезка текста в целом передается точно, степень лингво-стилистической адекватности перевода оригиналу оказывается различной, доходя в отдельных случаях до отрицательной величины. Указанные различия между переводами одного и того же произведения свидетельствуют о том, что успех или неудача переводчика в данном случае обусловлены причинами субъективного характера. На наш взгляд, переводчики иногда не осознают необходимость, важность воспроизведения художественной детали. Между тем пристальное внимание к словесно-образной структуре литературного произведения, понимание роли конкретных художественных средств в этой структуре помогает переводчику находить адекватное решение. Ср., в частности, примеры из перевода на русский язык повести словацкого писателя Доброслава Хробака «Дракон возвращается». В системе словесно-изобрази-

тельных приемов, характеризующих стиль повести, большую роль играют метафоры. Автор особенно склонен к олицетворению[22]. Эта особенность авторского стиля вполне отчетливо отражается в переводе: Celá dedina sa náhle zježila a vystrčila tisíc tykadiel oproti neviditel'nému nepriatel'ovi (Chrobák. D.) «Вся деревня ощетинилась, выставив навстречу невидимому врагу тысячи щупальцев».

Tesne v pätách za stúpajúcimi chlapmi dvíha sa z údolia hmla. Obchádza ich z dolnej strany svahu a nečakane sa im stavia do cesty s nehybnou, studenou výzvou (Chrobák. D.). «По пятам за поднимающимися в гору мужчинами ползет из долины туман. Обходит их внизу по склону и неожиданно встает перед ними на пути с неподвижным холодным вызовом» (Д. Хробак).

Важным условием достижения лингво-стилистической адекватности является верная передача образных поэтических сравнений. Наши наблюдения показывают, что сравнения простые по форме и смыслу переводятся обычно легко и правильно. Конечно, и здесь бывают неудачи, например: Toho dne objevil se doktor Goldberg u továrníka Korbela; byl to velký a silný človek s bradou *jako galoše* a tělem *jako pilíř* (K. Čapek). «В тот же день доктор Гольдберг посетил фабриканта Корбеля, крупного мужчину с тяжелой нижней челюстью» (К. Чапек). Образность и экспрессивность, присущая оригиналу, в переводе утеряны, поскольку яркие авторские сравнения заменены прямой характеристикой данного лица.

При переводе сравнений более сложных по своей семантической и формальной структуре отступления от оригинала, стилистические промахи встречаются значительно чаще. Ср.: Tvár spokojná ako tvár svätého na ruských ikonách (Vaj. L. t.) «Лицо светлое, как лица святых на русских иконах» (I); «. . . лицо такое спокойное, как лицо лежащего в гробу покойника» (II); «Лицо умиротворенное, как лик святого на русских иконах» (III). Во втором переводе имеется значительное смысловое отступление от оригинала, поэтому мы сопоставим лишь первый и третий переводы. Более удачным представляется третий: здесь умело использовано противопоставление стилистически нейтрального слова «лицо» и книжного слова «лик»; кроме того в данном контексте очень уместно и книжное слово «умиротворенный».

Другой пример: Mliečna cesta hmlistým pásmom tiekla jasnou oblohou. V nej jasaly sa bližšie jasné hviezdy *ako brilianty v závoji* (Vaj. L. t.).
В первом переводе сравнение вообще опущено. Во втором находим иное сравнение: «. . . в нем сверкали ближайшие светлые звезды, *как алмазы в чалме*». И только третий перевод дает близкое соот-

---

[22] См.: V. Š a b í k. Chrobákova novela Drak sa vracia. — «Z historickej poetiky» I. Vydavatel'stvo SAV. Bratislava, 1964, s. 230—232.

ветствие: «. . . самые яркие звезды сияли в тумане, *как бриллианты сквозь вуаль*».

Яркие оригинальные сравнения характерны и для повести «Дракон возвращается». Как правило, в переводе они находят адекватное воплощение. Например: Čím vyššie stúpajú, tým redšia je hmla. Napokon, ked' vyjdú do sedla, majú ju pod sebou zo všetkých strán *ako mlieko rozliate na nerovnom kastróle*. Vrchy z nej vystupujú v nesúvislých osihotených skupinách (Chrobák. D.) «Чем выше они поднимались, тем больше редел туман. Наконец, когда они достигли верхнего края седловины, туман оказался под ними со всех сторон, *походя на молоко, налитое в кастрюлю с неровным дном*. Горы выступают из него разбросанными порознь осиротелыми группами».

...Tam chvíl'u postojí, lebo je prekvapený, že je už skoro biely deň, že nebo na východe jasne planie *ako sviatočne osvetený oltár* (Chrobák. D.). «Там он на минуту останавливается, пораженный тем, что уже почти рассвело, и небо на востоке сияет *как празднично освещенный алтарь*».

В некоторых случаях недостаточное внимание переводчика к языковой основе образного сравнения приводит все же к определенным художественным потерям. Рассмотрим только один пример: Vec má naozaj i žartovnú stránku. Teraz, ked' *krpka — frajerka neverná* — koluje už po tretí či po štvrtý raz od úst k ústam a každý sa s ňou môže pomaznat' podl'a chuti, teraz by sa už radi zvesela zasmiali (Chrobák. D.). «Оказывается, есть в этом и смешная сторона. Теперь, когда *кувшин с водкой — неверная подружка!* — в третий и четвертый раз пошел по кругу и каждый может с ним вдоволь понежничать, впору и посмеяться» (51). В оригинале яркая образность данного отрезка текста достигается уподоблением krpky (глиняный сосуд с узким горлышком, предназначенный для хранения жидкостей, и в частности, как в этом примере, для водки) «неверной подружке». При этом важную роль играет грамматический признак женского рода, ср.: *krpka — frajerka neverná* и дальше: ..a každý sa *s ňou* môže pomaznat'... В переводе образ, в сущности, разрушен, ср. «*кувшин с водкой*» — «*неверная подружка*» и далее: ... «и каждый может *с ним* (т. е. с кувшином) вдоволь понежничать». Конечно, при чтении переводного текста не возникает тех ассоциаций, которые столь существенны для оригинала. Видимо, для того, чтобы попытаться сохранить образную структуру оригинала, переводчику следовало искать слово женского рода (даже за счет отказа от обозначения конкретной реалии), например: «бутыль с водкой» или (обл.) «корчага», «корчажка». Ср. как удачно решена эта задача в чешском переводе: Věc má věru i svou žertovnou stránku. Ted', když *baňatka — frajerka nevěrná* — koluje už potřetí čí počtvrté od úst k ústům a každý *s ní* může pomazlit podle chuti, ted' by se už rádi zvesela zasmáli (D. Chrobák).

В плане отражения в переводе стиля автора подобного рода промахи оказываются иногда весьма существенными, если они затрагивают характерные особенности художественно-образной структуры оригинала, важные черты авторского стиля. Например, Н. Ф. Копыстянская обратила внимание на то, что в русском переводе романа И. Ольбрахта «Николай Шугай, разбойник» (М., 1952) «не сохранены существенные черты стиля Ольбрахта», что проявилось, помимо прочего, в пропуске некоторых сравнений, характерных для стиля автора. Она упрекает переводчика в том, что он выпустил «сравнение гор с измятым клочком бумаги, который собираются бросить в печь». А между тем это сравнение «полюбилось писателю, с него он начал очерк «Земля без имени», а потом перенес сравнение в роман, дав очерку другое начало»[23]. Этот пример показывает, насколько тактичным и бережным должно быть отношение переводчика к словесно-образным деталям оригинала, если он хочет остаться верным стилю, творческой манере автора переводимого им литературного произведения.

V. Мы осветили лишь некоторые аспекты, связанные с изучением проблем лингво-стилистической адекватности художественного перевода оригиналу. Сопоставительный лингво-стилистический анализ, естественно, может быть продолжен и по другим компонентам «художественной речи» оригинала и перевода. Такой анализ поможет установить, удалось ли переводчику достаточно полно выявить и «воссоздать» систему художественно-выразительных средств оригинала, определить, насколько близка словесно-художественная структура созданного им литературного произведения словесно-художественной структуре оригинала. В данной работе мы ограничились рассмотрением прозаических переводов. Однако в принципе понятие лингво-стилистической адекватности применимо и при изучении стихотворных переводов. При этом следует учитывать, что как общие критерии, так и отдельные частные признаки лингво-стилистической адекватности могут видоизменяться в зависимости от жанра литературного произведения.

Лингво-стилистическая адекватность — неотъемлемое качество полноценного художественного перевода, хотя это только одно из проявлений смыслового и художественно-эстетического соответствия перевода оригиналу. Проблемы лингво-стилистической адекватности составляют важную область теории художественного перевода. Они несомненно заслуживают дальнейшего углубленного изучения.

---

[23] Н. Ф. Копыстянская. Из истории создания романа Ивана Ольбрахта «Никола Шугай, разбойник». — НДВШ, Филологические науки. М., 1971, № 1, стр. 26.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. А. С. Пушкин — А. С. Пушкин. Избранные произведения. М., 1969.
2. Д. Хробак — Д. Хробак. Дракон возвращается. Перевод со словацкого О. Малевича. М., 1967.
3. К. Чапек — К. Чапек. Как это делается (Избранные рассказы и очерки). Перевод с чешского. М., 1952.
4. K. Čapek — K. Čapek. Povídky a drobné prózy. Praha, 1955.
5. D. Chrobák — D. Chrobák. Drak se vrací. Ze slovenského originálu přeložila Herta Chrobáková. Praha, 1960.
6. Chrobák D. — D. Chrobák. Drak sa vracia. Bratislava, 1968.
7. Let. st. — Svetozár Hurban-Vajanský. Letící stíny. Přeložila Bela Dunajská. Praha, 1959.
8. A. S. Puškin — A. S. Puškin. Piková dáma a iné prózy. Preložil Ján Ferenčík. Bratislava, 1967.
9. Vaj. L. t. — Svetozár Hurban Vajanský. Letiace tiene. V malom meste. Jarný mráz. «Zobrané diela», zv. III. Turč. sv. Martin, 1948.

СОДЕРЖАНИЕ

Р. И. Аванесов
К вопросам периодизации истории русского языка 5

С. Б. Бернштейн
Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии 25

А. В. Бондарко
Категории и разряды славянской функциональной морфологии (морфологические категории и лексико-грамматические разряды) 42

В. И. Борковский
Основные черты сходства и различия в истории синтаксического строя восточнославянских языков (XI—XVII вв.) 63

Ж. Ж. Варбот
О возможностях диахронического истолкования морфонологической вариантности в славянских отглагольных именах 91

Е. И. Демина
Проблема нормы в формировании книжного болгарского языка XVII в. на народной основе 118

В. Я. Дерягин
Изучение истории словарного состава языка по данным деловой письменности 142

В. В. Иванов и *В. Н. Топоров*
Этимологическое исследование семантически ограниченных групп лексики в связи с проблемой реконструкции праславянских текстов 153

В. В. Колесов
Праславянская фонема /ǫ/ в ранних преобразованиях славянских вокалических систем 170

Т. П. Ломтев
Основные направления в развитии структуры простого предложения в славянских языках 196

А. С. Львов
Иноязычные влияния в лексике памятников старославянской письменности (тюркизмы) 211

Г. П. Нещименко
О некоторых особенностях словообразования экспрессивной лексики в чешском литературном языке 229

А. И. Толкачев
Основные факторы фонетических изменений в заимствованных греко-христианских именах в древнерусском языке 252

Н. И. Толстой
К реконструкции праславянской фразеологии 272

О. Н. Трубачев
Лексикография и этимология 294

Б. А. Успенский
Древнерусские кондакари как фонетический источник 314

Ф. П. Филин
Актуальные проблемы диалектной лексикологии и лексикографии 347

Ф. П. Филин
Проблема происхождения славянских языков 378

К. И. Ходова
Структура отношений, выражаемых формами склонения имени существительного в старославянском языке 390

Р. М. Цейтлин
Характеристика лексических и словообразовательных средств старославянского языка (их семантика и стилистические функции) . . . 414

Е. В. Чешко и *И. И. Ревзин*
Соотношение морфологического и синтаксического уровня в категории падежа (падежи старославянского языка) 435

Н. Ю. Шведова
О соотношении грамматической и семантической структуры предложения 458

Г. А. Лилич
Русский язык как язык-посредник для чешских переводов начала XIX века. 484

Л. Н. Смирнов
К теории художественного перевода (проблемы лингво-стилистической адекватности) 500

Славянское языкознание

VII Международный съезд славистов (Варшава, 1973 г.)

Утверждено к печати Советским Комитетом славистов

Редактор издательства *Т. М. Скрипова*. Художественный редактор *Т. П. Поленова*

Художник *А. Г. Кобрин*. Технические редакторы *Е. Н. Евтяпова* и *Л. И. Куприянова*

Сдано в набор 8/I 1973 г. Подписано к печати 12/IV 1973 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага № 2. Усл. печ. л. 32,5. Уч.-изд. л. 36.9. Тираж 4000. Тип. зак. 28. *Цена 2 р. 44 к.*

Издательство «Наука», 103717 ГСП Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

1-я типография издательства «Наука», 199034, Ленинград, 9 линия, д. 12

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
190	Нижняя схема, верхняя строка	е (3 раза)	ě (3 раза)
446	11 св.	обнажению	обнажению свою
»	»	бждеъ	бждетъ
»	23 св.	(ОбВО)	(ОбНО)
»	11 сн.	съезда	създа
452	25 св.	възвратитѣ	възвратитъ
454	13 сн.	жiвотѣ	жiвотъ

На стр. 189 в верхней схеме вм. tg следует читать tǫ, вм t'g следует читать t'ǫ́; между первой и второй группами схемы пропущено *но*, между второй и третьей группами пропущено *т. е.*

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ